



СЕРИЯ
ЛИТЕРАТУРНЫХ
МЕМУАРОВ

Редакционная коллегия:

Н. И. БАЛАШОВ
Д. В. ЗАТОНСКИЙ
П. В. ПАЛИЕВСКИЙ
А. И. ПУЗИКОВ
Б. Ф. СТАХЕЕВ
Е. П. ЧЕЛЫШЕВ

МОСКВА
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1988

Г Е Й Н Е

В ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННОКОВ

Перевод с немецкого и французского

МОСКВА

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

1988

ББК 84.4Г
Г29

*Составление, предисловие,
научная подготовка текста
и комментарии*
А. ДМИТРИЕВА

Оформление художника
В. МАКСИНА

Г $\frac{4703000000-331}{028(01)-88}$ 137-88
ISBN 5-280-00325-5

© Состав, предисловие, коммента-
рии, переводы. Издательство
«Художественная литература»,
1988 г.

О ТИТАНЕ ДУХА И ЧЕЛОВЕКЕ

Эта вводная статья, предвещающая том воспоминаний о великом немецком поэте XIX века Генрихе Гейне (1797—1856), не претендует на полноту характеристики его творческого пути. Литература о жизни и творчестве Гейне весьма обширна, весомый вклад внесли в нее и наши отечественные исследователи¹. Поэтому, в самом общем плане определив место его в литературном процессе, мы должны уяснить себе, как он вписался в современную ему литературную и общественно-политическую жизнь Германии и Европы. Да, и Европы, потому что Париж, который Гейне в 1831 году, не найдя применения своим силам и возможностям на родине, вынужден был избрать постоянным местом жительства, был в ту пору средоточием культурной и политической жизни Центральной, а отчасти и Восточной Европы.

Около 25 лет Гейне провел в Париже, где создал большинство своих произведений. Оставаясь во Франции глубоко немецким национальным писателем, выполняя здесь даже миссию некоего, говоря современным языком, «полпреда» немецкой литературы в этой стране (что, в частности, было отмечено Бальзаком), Гейне вписался и в литературный процесс Франции 30—40-х годов, и даже начала 50-х.

Пути развития немецкой национальной литературы сложились так, что в отсталой и захолустной Германии, раздробленной на сотни мелких и относительно крупных государств, литература лишь на рубеже XVIII—XIX веков переживает яркий взлет и завоевывает наконец-то международное признание. Общий подъем немецкой литературы и выход ее за пределы национальных границ связан прежде всего с творчеством Гете, отчасти и Шиллера, и с группой ранних немецких романтиков, за которыми закрепилось название «Иенской школы» (братья Август и Вильгельм Шлегели, Вакенродер, Тик, Новалис и др.). Эстетико-философские взгляды иенских романтиков заложили основы нового направления в европейской литературе и искусстве — романтизма, который завоевывает позиции на рубеже

¹ Назовем некоторые из этих работ: Дейч А. И. Поэтический мир Генриха Гейне. — В кн.: Дейч А. Судьбы поэтов. М., 1974; Шиллер Ф. П. Генрих Гейне. М., 1962; Гиждеу С. П. Лирика Гейне. М., 1983; Дмитриев А. С. Генрих Гейне. М., 1957, и др.

столетий и в Англии, и на Европейском континенте (в том числе и в России), сменяя, в процессе борьбы, изживающее себя Просвещение, а в чем-то с ним и смыкаясь. Конечно, романтизм в целом, как новая философско-эстетическая и нравственно-религиозная модель бытия, есть духовное детище Великой французской революции. Но при этом каждая национальная модель романтизма обусловлена собственным развитием, конкретными экономическими условиями и литературно-художественными традициями. В то же время каждая европейская национальная модель романтизма складывалась с учетом и под воздействием теоретических постулатов венских романтиков. Таким образом, к концу XVIII—началу XIX века Франция заметно теряет свою былую роль законодательницы эстетических норм и вкусов в искусстве и литературе, для которых «буржуазно-солдатская» (Д. И. Писарев) диктатура Наполеона была, конечно, малоблагоприятной почвой; на первое место выдвигается Германия, в иные моменты с ней успешно соперничает Англия. Однако при таком изменившемся положении Париж и при Наполеоне продолжает оставаться центром не только политической (при Наполеоне-то тем более!), но и культурной жизни Европы. Эту высокую миссию Франция окончательно потеряет лишь после контрреволюционного переворота 1851 года, в пору последовавшего за ним режима Второй империи.

Гейне вступил в литературу примерно в 1815 году и сделался заметной фигурой в литературном процессе Германии к середине 20-х годов. Он прославился прежде всего своими лирическими стихотворениями («Книга песен», 1827) и художественной прозой («Путевые картины», 1826—1831), обратившими на себя внимание яркостью и оригинальностью таланта их автора. Уже по этим ранним произведениям Гейне можно было судить, что их создатель обладает «чародейным могуществом слова, которого, может быть, ни один из писателей Германии не имел в такой силе...» (В. А. Жуковский, письмо Н. В. Гоголю от 29 янв. 1848 г.). Вскормленный в лоне немецкого романтизма, блестяще овладевший всеми его поэтическими достижениями, Гейне явился в то же время смелым литературным новатором. Он мастерски переосмысляет романтические образы с помощью иронии и сатиры, придавая им неожиданное, нередко совсем не романтическое звучание.

К этому времени—точнее, на исходе 20-х годов—романтизм в Германии как общее литературное явление, по сути, перестает существовать, и большинство его завоеваний становится уже перевернутой страницей. С кончиной Гофмана (1822 г.) временно угасает слава романтизма. На некоем литературном перепутье в 30-х годах оказывается и Гейне, вынужденный к тому же покинуть в 1831 году родину и до конца своих дней проживать на чужбине, в Париже.

В 1832 году умирает Гете—патриарх немецкой литературы, творец «Фауста», давно уже выдвинувшийся на рубежи европейской культуры. По определению Гейне, с уходом Гете в немецкой литературе заканчивается так называемый «эстетический период»

(Kunstperiode), который Гейне связывал не только с Гете, но и с романтиками. С этой поры в общеевропейском масштабе немецкая литература как категория общенациональная до конца столетия отходит на второй план, хотя и в те годы, никак не ассоциирующиеся для нее с упадком, в ней выдвигается немало значительных и ярких дарований.

Надо отметить, что в Англии уже к середине 20-х годов романтизм как литературное направление также в основном себя исчерпал. С кончиной кумира тогдашней Европы Байрона и его друга Шелли, с поэтическим закатом блестящей «Озёрной школы», с некоторым оскудением пера «шотландского чародея» В. Скотта в английской литературе наступает заметный спад до начала 30-х годов, когда в нее приходят крупнейшие представители европейского критического реализма Диккенс и Теккерей. Напротив, во Франции (в отличие от Германии и Англии) романтическое движение именно в 20-х годах собирает свои силы (не так-то просто было поколебать непререкаемый авторитет французского классицизма, за которым стояла слава таких имен, как Корнель и Расин, Мольер и Вольтер!). Французский романтизм становится в эти годы подлинной «школой», со своими литературными манифестами и периодическими изданиями, и выдвигает из своей среды крупнейших поэтов и прозаиков — Ламартина, Альфреда де Виньи, Гюго, а также ярких романтических художников, композиторов, деятелей театра. В тесной связи с этим мощным романтическим движением и в совместной борьбе против общего литературного противника — эпигонского классицизма — складывается и крепнет во французской литературе также и новое литературное направление — критический реализм, представленный ранним творчеством Бальзака, Стендаля, Мериме. Эта молодая литературная Франция, в которую вот-вот вступит Жорж Санд, а несколько позже Флобер, быстро отвоевывает своей национальной литературе былой общеевропейский авторитет. Уже с середины 30-х годов и на протяжении последующих десятилетий французской литературе, без сомнения, будет принадлежать роль лидера в Центральной Европе. С этой блестящей литературной средой столкнется Гейне, поселившись в Париже.

Наряду с общением на первых порах с кругом своих соотечественников — немецких изгнанников, Гейне познакомится в парижских салонах с Бальзаком и Францем Листом, Жорж Санд и Теофилом Готье, Жераром де Нервалем, братьями Гонкурами, Альфредом де Виньи и другими яркими светилами французского и общеевропейского небосклона.

Бальзак и Гейне — художники совершенно различные по специфике своего творческого дарования не только потому, что один был прозаиком эпического склада, а другой — субъективно лирическим поэтом. Бальзак считал себя убежденным легитимистом, а Гейне — друг Маркса — на волне предреволюционного подъема конца 30 — начала 40-х годов сделался союзником коммунистов, и Энгельс сказал о нем в ту пору: «...Генрих Гейне, наиболее выдающийся из

всех современных поэтов, примкнул к нашим рядам...»¹ В то же время они могли отлично понять друг друга, ибо многое их объединяло: с объективно прогрессивных общественных позиций каждый из них, в соответствии с собственным дарованием, осмыслил и отразил бурные социально-политические конфликты современности и пути исторического развития. Сближение этих двух современников (Бальзак был младше Гейне всего на полтора года) и их взаимные симпатии вряд ли можно назвать чистой игрой случая: это была та случайность, в которой проявилась определенная историческая закономерность. В 30—40-е годы Гейне создает широкую панораму общественно-политической и художественной жизни Парижа. Он делает это в своих аналитических корреспонденциях, посылаемых из столицы Франции в аугсбургскую «Всеобщую газету» — одно из самых авторитетных в тогдашней Германии многотиражных периодических изданий, орган крупнейшего немецкого издателя барона фон Котты, с которым Гейне познакомился через Варнхагена еще в 1827 году. Эти свои парижские корреспонденции Гейне впоследствии объединил в книги «Французские дела» (1833) и «Лютеция» (1854). При сопоставлении этих книг с некоторыми произведениями Бальзака, вошедшими в состав «Человеческой комедии», нельзя не увидеть явной переключки: особенно заметно слышится голос автора «Утраченных иллюзий» в корреспонденциях Гейне начала 40-х годов. Пожалуй, без всяких натяжек можно утверждать, что Гейне — романтик по преимуществу — в этой своей зрелой публицистике 40-х годов является нам трезвым социальным аналитиком бальзаковского склада.

Поздний романтизм (понятие, правда, достаточно условное) все более включает в круг своего видения объективные приметы действительности, ослабляя ярко выраженное субъективное начало ранних романтиков и не только подготавливая реалистическое направление, но и явно с ним сближаясь. Пожалуй, основным фактором, определившим мощный расцвет литературы Франции с начала 30-х годов, и явилась органическая связь ее критического реализма с эстетикой и художественной практикой романтизма, а равно и тот факт, что значительный поздний этап французского романтизма (Ж. Санд и зрелый Гюго) совпадает по времени с порой расцвета критического реализма. Это не могло не привести к взаимным плодотворным, как прямым, так и косвенным контактам писателей обоих направлений. И конечно, плодотворность таких контактов была ощутима не только в литературе французской. Думается, что сочность и как бы зримо ощутимая пластичность стиля зрелого Гейне также, если и не полностью, то во многом, восходит к этим контактам между романтизмом и реализмом.

В осмыслении творчества Гейне всегда был важен и сложен вопрос — был ли Гейне на протяжении всего своего творчества романтиком, и если был, то в полной ли мере и в чем это конкретно

¹ Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 2, с. 521.

проявлялось. Вопрос этот был важен не только для многочисленных исследователей творчества Гейне, но и для него самого, и для его окружения. Он был важен для определения позиций в ожесточенной литературной борьбе тех лет, для формирования и утверждения своих взглядов; от ответа на этот вопрос нередко зависели и материальное благополучие, престиж и авторитет. Довольно любопытные суждения о Гейне-романтике мы найдем в отрывках из помещенных здесь воспоминаний Лудольфа Винбарга, автор которых — бывший член группировки радикальных писателей «Молодая Германия», видный публицист и теоретик этой школы, выступивший против романтизма в своей программной работе «Эстетические походы» (1834). В декабре 1835 года германский Союзный сейм принял постановление, запретившее в Германии сочинения младогерманцев, а вместе с ними и Гейне, который был от них весьма далек, — как написанные, так и еще не написанные его произведения.

Сам Гейне, незадолго до своей кончины, как бы подводя итоги жизненного и творческого пути в своем исповедальном произведении «Признания» (1854), так недвусмысленно высказался о своем отношении к романтизму: «Несмотря на мои смертоубийственные походы на романтизм, я все же всегда оставался романтиком и был им в большей степени, нежели сам подозревал. После того как я нанес романтической поэзии сокрушительные удары, меня самого вновь охватило беспредельное томление по голубому цветку в призрачной стране романтики...» Не всегда суждения художников о собственном творчестве должны приниматься во внимание, но в данном случае суждения Гейне достаточно прозорливо и объективно. Несмотря на физическую немощь и тяжелейшие страдания, ум умирающего художника был предельно ясен, и ему крайне важно было отдать отчет самому себе, современникам и будущим читателям в своем отношении к таким важнейшим проблемам своей жизни, как коммунизм, религия и романтизм. Хотя Гейне был теснейшими узами связан с немецким романтизмом прошлого и романтизмом ему современным, он сам отчетливо сознавал и подчеркивал в тех же «Признаниях»: «Мною заканчивается у немцев старая лирическая школа, и мною же открывается новая лирическая школа, современная немецкая лирика». Так раскрываются смысл и причины одного из кажущихся парадоксов литературного процесса Германии: романтик Гейне, он же и антиромантик, причем речь здесь идет совсем не об отступничестве, хотя Теофиль Готье и назвал Гейне весьма остроумно «романтиком-расстригой».

Прослеживая столь важные для поэта его отношения с романтизмом, следует вспомнить, что Гейне был вскормлен в его лоне не только в переносном, абстрактном смысле, но читатель найдет здесь указания на прямые, чисто житейские контакты. Так, в 1819 году, в пору своей учебы в Боннском университете, «студизус» Гейне был восторженным почитателем и прележным учеником блестящего профессора Августа Вильгельма Шлегеля, одного из основателей и ведущих теоретиков иенской школы, пропагандиста ее идей и

выдающегося филолога своего времени. Гейне называл его тогда «высокопочтимым мастером» и «реформатором литературы». В свою очередь маститый учитель отмечал своим благосклонным вниманием преданного и одаренного ученика: именно у А.-В. Шлегеля Гейне прошел основательную версификаторскую школу, что он сам неоднократно отмечал. Но даже и в те годы, которые были для Гейне годами ученичества, он уже не был ортодоксальным приверженцем романтических канонов, что явствует как из его стихов, так и из первой и весьма знаменательной эстетической декларации — статьи «Романтика» (1819). Примерно через полтора десятка лет последовали его «смертоубийственные походы на романтизм» в блестящем литературно-политическом памфлете «Романтическая школа» (1833—1836). Автор «Книги песен», создатель многих будущих поэтических шедевров отрекался не только от романтизма, но и от поэзии вовсе. «Время стихов... прошло для меня, — писал он в 1837 году. — Я давно уже заметил, что со стихами у меня не ладится, и поэтому обратился к доброй прозе...» Не парадокс ли? А затем... Затем в 1842 году последовала поэма «Атта Тролль», поэтический шедевр, которую сам Гейне в период завершения работы над ней назвал «последней вольной песней романтизма». Последней ли? А ведь ему так хотелось расстаться с романтизмом! И в осуществлении этого желания он кое в чем преуспел, и преуспел, как то и подобало Гейне, блестяще. Тем не менее в других своих произведениях он остался романтиком, о чем посчитал для себя совершенно необходимым засвидетельствовать незадолго до смерти.

В наше время едва ли найдется мало-мальски просвещенный читатель, который не знал бы об отношениях Гейне и Маркса. Конечно, теплый, душевный характер их контактов основывался прежде всего на взаимной личной симпатии; с Энгельсом, который в 40-х годах видел в Гейне политического единомышленника, у него такой близости не установилось. Но все же нужно подчеркнуть, что не один лишь случай сблизил Гейне с основоположниками марксизма, прежде всего с Марксом, а то важное обстоятельство, что к 40-м годам Гейне стоял на передовых рубежах тогдашней общественной мысли. Его суждения о коммунизме, о программе немецких мелкобуржуазных радикалов, о сути Июльской монархии, несмотря на известную непоследовательность его мировоззрения, изобилуют глубокими и смелыми прозрениями. Так, по свидетельству друга Гейне, младогерманца Генриха Лаубе, Гейне был среди немногих в Париже, предвидевших не только революционную грозу февраля 1848 года, но и последовавшую вскоре реакционную диктатуру Наполеона III. Его публицистические корреспонденции начала 40-х годов на многих страницах явственно воспроизводят ту атмосферу, в которой смогли возникнуть и возникли идеи, нашедшие гениальное воплощение в «Манифесте коммунистической партии». Автору парижских корреспонденций дано было воочию увидеть «призрак коммунизма», который тогда «бродил» по многим городам и промышленным районам Европы; более того, Гейне был твердо убежден, что этот призрак

рано или поздно станет реальностью и что именно коммунизму принадлежит будущее, победа в острой социальной схватке современности. Признавая историческую неизбежность этой победы и даже ее желательность, Гейне испытывал перед ней страх, во многом черпая свои представления о коммунизме из различных вульгарно-уравнительных теорий раннего, домарковского социализма. На основе этих наивных и смутных взглядов Гейне воспринимал коммунизм в качестве силы всеразрушающей, так и не постигнув его исторической созидательной роли.

В заключение следовало бы коснуться отношения Гейне к религии. Это также узел противоречий мировоззрения позднего Гейне (но подчеркнем — именно *позднего*). До рубежа 40—50-х годов акт принятия им в 1825 году христианства был обусловлен чисто тактическими соображениями, так же мало отношения к религии имеет его увлечение «богом пантеистов» (по собственному выражению Гейне). Можно считать, что в эту пору Гейне был равнодушен к религии, если вообще не был атеистом. Во всяком случае, он не касается ни религии, ни бога в своих произведениях, нет ничего об этом и в документальных свидетельствах о жизни поэта.

Вопрос о боге возникает для него в годы «матрачной могилы». Стал ли поэт верить в бога? Ответ на этот вопрос вряд ли однозначен. Категорическое отрицание религиозности позднего Гейне как будто бы вступает в явное противоречие с его декларациями о возвращении к богу (хотя «возвращаться» в прямом смысле слова было не к чему). В то же время мотивировки этих деклараций поражают своим наивным цинизмом и дают основания сомневаться в полной искренности подобного обращения («Когда лежишь на смертном одре, становишься очень чувствительным и мягкосердечным и не прочь примириться с богом и миром...» — «Да, признаюсь уж во всем, я вдруг ужасно испугался вечного огня...» — «Стихотворения, хотя бы отдаленно заключавшие в себе колкости против господ бога, я с боязливым рвением предал огню. Лучше пусть горят стихи, чем стихотворец...»). В послесловии к «Романсеро» за прямыми заявлениями о возврате к богу следует такое описание жизни в раю, которое иначе как кошмарным не назовешь. К тому же Гейне настойчиво подчеркивает, что не признает никакой церкви, никакой конфессиональной религии. Да и трудно себе представить, чтобы даже на смертном ложе этот глубокий скептик, этот иронический насмешник подчинил себя догматам какой-либо веры. Он никогда не любил «попов», достаточно красноречиво описано в этой книге его резко отрицательное отношение к поборнику «христианского социализма» Ламенне.

Мемуарная литература о Гейне разнообразна — это и переписка, и отдельные письма, и отрывки из сочинений разных авторов о своем времени, о выдающихся современниках, в том числе и о Гейне. Это и

выдержки из статей о Гейне, из предисловий к его работам, наконец, это дневники и воспоминания, то есть собственно «мемуары». Популярность такой «аутентичной» литературы в наше время чрезвычайно велика, что свидетельствует о возросших духовных запросах и расширении кругозора массового читателя.

И в самом деле, являясь одним из богатейших источников для историка, мемуарная литература имеет свои, только ей присущие функции, не свойственные ни историографии, ни литературоведению, в чем-то им и вовсе недоступные. Историк и литературовед стремятся прежде всего к объективности, их собственное «я» проявляется главным образом в полемике, но и тут всячески маскируется и скрывается. В мемуарной литературе все совершенно иначе, она открыто *субъективна*, опирается на личность повествователя и его вполне заинтересованную оценку; читателя как раз и привлекает здесь субъективное, живое свидетельство очевидца, современника, друга или недруга, свидетельство человека, находившегося в тех или иных контактах с выдающейся личностью и свидетельствующего о ней в своих дневниках, заметках, воспоминаниях.

Субъективность присуща, конечно, и любому научному исследованию, но субъективность литературоведа, к примеру, — это субъективность концепции, суммы принципов, а субъективность мемуариста — выражение нравственного и интеллектуального уровня конкретной эмпирической личности.

В силу отмеченного выше мемуаристика куда в меньшей степени, нежели историография или литературоведение, может дать объективное представление о предмете. Это происходит не только в связи с ограниченностью точки зрения того или иного мемуариста, но и потому, что мемуарист (в отличие, например, от летописца) едва ли ставит себе задачей дать последовательную и обобщающую характеристику событий в их причинной и временной связи. Мемуарная литература привлекает не этим, она привлекает живостью факта, характеристик, оценок, в особенности когда мемуарист к тому же владеет словом; со страниц его записей перед читателем предстают тогда, как живые, в неповторимых своих реалиях прошлые эпохи, выдающиеся личности в их человеческом, порою житейском, облике. Мемуарист поведаст нам многое, о чем не может, да, наверное, и не должен рассказывать историк литературы, — разве что изредка тот сошлется в своем исследовании на свидетельство мемуариста.

Мемуарная литература о Гейне весьма обширна, если не сказать необозрима. Основным критерием отбора материалов для этой книги была прежде всего их максимальная *аутентичность*, хотя установление ее с абсолютной точностью совсем не всегда возможно. Далее, отбирался материал *содержательный*, на основе которого читатель может составить себе представление о чертах духовного и внешнего облика Гейне, об этапах его жизненного и творческого пути, о его окружении, о его хлопотах и заботах — больших и малых, о его быте, о слабых и сильных сторонах его характера. Предпочтение отдавалось тем свидетельствам, которые исходят от лиц, близких поэту,

или от людей значительных, в той или иной мере определявших свою эпоху, духовную и общественную жизнь своего времени, хотя бы оставивших в ней определенный след. За редкими исключениями, собственно литературоведческий материал, так или иначе оценивающий произведения Гейне, в книге не представлен.

Собрание воспоминаний о Гейне имеет тем более важное значение, что Гейне сам не вел дневников и не оставил никаких автобиографических записей, за исключением фрагмента своих сильно стилизованных «Мемуаров»¹. Поэтому документальные свидетельства о многообразных связях и контактах Гейне — личных и деловых — мы черпаем главным образом из переписки и сообщений его современников, которые нередко с разных точек зрения освещают нам один и тот же предмет, благодаря чему он предстает перед нами в более объективном и полном виде. Благодаря подобным свидетельствам жизнь поэта является нам не только более богатой и разносторонней, но и, в значительной мере, освобожденной от неизбежного налета лакировки.

* * *

Как жизненный, так и творческий путь Гейне логически разделяется на три периода: первый — жизнь на родине, до переезда в мае 1831 года в Париж; следующим драматическим рубежом, изменившим его судьбу, был один из майских дней 1848 года, когда Гейне последний раз вышел из дома; для него потянулись, вплоть до кончины, долгие годы мучительной агонии, годы «матрачной могилы», как он назвал их сам (из-за острых болей в позвоночнике он мог лежать только на сложенных на полу комнаты один на другой нескольких матрацах).

Примечательно, что с этими главными вехами жизненного пути Гейне совпадают две революции (или, наоборот, эти вехи совпадают с революциями): Июльская революция 1830 года во Франции и европейские революции 1848 года. Конечно, оба эти совпадения — случайность в плане личной биографии Гейне, в особенности второе. Что касается отъезда во Францию в 1831 году, то и здесь Июльская революция не была единственным решающим фактором, а лишь ускорила для Гейне принятие этого давно уже назревшего решения; здесь случайность, но сказавшаяся жесткой закономерной детерминантой в творческом пути поэта.

Естественно, что резкая смена жизненных обстоятельств, обусловленных переездом в Париж, существенным образом изменила круг частных и деловых контактов Гейне. Что же касается перелома 1848 года, то после него характер его личных общений принципиально не изменился, но значительно сузился из-за вынужденного затворничества.

¹ Поистине драматическая история «Мемуаров» Гейне кратко изложена в кн.: Гейне Генрих. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 6. М., 1983, С. 422—426.

Довольно широкий круг контактов Гейне уже на первых этапах жизненного пути (в Германии) определялся не только общительностью его характера, но и тем обстоятельством, что он не раз меняет место жительства. Главные мемуарные источники первого периода — это свидетельства его сестры Шарлотты Эмбден, его брата Максимилиана, товарищей по учебе в школе и университетах — Ведекинда, Штейнмана, Руссо, Менцеля, Нойнцига и других, а также тех, кто работал с ним вместе в Образовательном обществе для евреев — Мозера, Лемана.

Воспоминания Шарлотты Эмбден, хотя и далеки от крупных серьезных проблем, вызывают огромный интерес как живой и наглядный рассказ о ранних годах жизни поэта, о семейных преданиях; они остались неопубликованными, и их использовала впоследствии в своих воспоминаниях дочь Шарлотты, княгиня дела Рокка Мария Эмбден-Гейне. Воспоминания Максимилиана (Макса) Гейне иные, они представляют собой в большей мере собрание различных курьезных случаев из жизни старшего брата, причем многое почерпнуто мемуаристом из вторых рук. Нередко Макс явно стремится акцентировать внимание читателя на своей собственной персоне. В целом его воспоминания отмечены стремлением сгладить острые вопросы жизненных перипетий поэта.

Максимилиан был человеком поверхностным и эгоистичным (по мнению самого Гейне). В дальнейшем он преуспел на поприще врача в Санкт-Петербурге и рассказывал брату всякую всячину о России, в благожелательных и даже восторженных тонах, но, судя по всему, ничего не рассказал ему о русской литературе и о русской культуре — не тот был круг интересов у Макса. А ведь среди окружения Гейне он был единственным, кто мог бы пробудить у него интерес к русской литературе, о которой Гейне, судя по всему, остался совершенно неосведомленным.

Примерно с 1815 года Гейне довольно быстро входит в литературную жизнь Германии. В этой связи возникают новые деловые и дружеские контакты, а стало быть, и новые информаторы о поэте: среди них известный драматург Граббе, супружеская чета Варнгагенов фон Энзе, Губиц — издатель берлинского журнала «Собеседник», в котором появились первые стихи Гейне, А. Левальд, Л. Винбарг, Л. Кампе, ставший постоянным издателем и другом, Линднер — публицист и сотрудник авторитетнейшего издательства барона Котты в Мюнхене.

Все эти новые источники информации представляют нам облик Гейне той поры с разных позиций. Почти все авторы этих сообщений относятся к нему дружески и доброжелательно, по меньшей мере нейтрально, за исключением журналиста и литературного критика Менцеля, который поначалу, придерживаясь либеральных убеждений, был в добрых отношениях с поэтом и его кругом, но, став в 1835 году редактором штутгартского «Литературного листка», опубликовал серию статей-доносов на Гейне и «Молодую Германию».

Переезд в Париж довольно быстро ослабил старые немецкие связи, хотя в кругу парижских контактов Гейне появились и новые соотечественники — эмигранты¹. Среди них Маркс и Энгельс, Бёрне и Руге, Лассаль, Геббель и др. Возникают также связи французские, точнее говоря, парижские, прежде всего в мире литературы и искусства. Естественно, что чрезвычайно интересны для нас материалы, которые характеризуют отношения Гейне и Маркса, в частности через посредство одного из секретарей Гейне, члена Союза коммунистов Рейнгардта. Свидетельства К. Маркса и Ф. Энгельса, помещенные в особом подразделе в конце третьей части книги (хотя не все из них являются собственно «воспоминаниями»), собранные вместе, очень важны для воссоздания исторически верного облика поэта и представляют для советского читателя особую ценность и интерес. Живой интерес вызывают также те или иные отзывы о Гейне Бальзака, Листа, Ж. Санд, Готье, Сю, Нерваля, братьев Гонкуров, Андерсена, Геббеля и даже холодно относившегося к Гейне Виньи. Их свидетельства красноречиво говорят о том, что на сверкающем литературном Олимпе тогдашнего Парижа Гейне стал вскоре равным среди равных.

Из собственно мемуарной литературы богатейший материал о парижском периоде жизни Гейне дают нам воспоминания французского журналиста А. Вейля, состоявшего с поэтом в тесных деловых и личных отношениях, а также воспоминания друзей Гейне — младогерманца Г. Лаубе и молодого тогда австрийского поэта А. Мейснера, познакомившегося с Гейне в 1847 году и сохранившего с ним тесные контакты до конца его дней. Немало интересного сообщают о годах парижской жизни писатели А. Левальд, Фанни и Адольф Штар. Суждения о Гейне его идеологического противника и идейного антипода Людвиг Бёрне отмечены крайней недоброжелательностью, тем не менее и они тоже представляют несомненный интерес, если принять во внимание остроту ума, передовые общественные взгляды и неподкупную честность этого знаменитого соотечественника Гейне. Наконец, содержательным мемуарным источником являются записи о Гейне его страстной почитательницы Элизы Криниц — молодой писательницы, публиковавшейся под псевдонимом Камилла Зельден. Она пришла в его дом в июне 1855 года и почти неотлучно находилась у его ложа до кончины; ей Гейне посвятил несколько последних стихотворений.

Вышеупомянутые источники сильно разнятся по своему характеру. Записки А. Вейля отмечены богатством и точностью фактического материала. Воспоминания Генриха Лаубе, хотя они и свидетельствуют о доверительных отношениях между ним и Гейне, к тому же

¹ Примечательно, что сам Гейне, с точки зрения французских официальных инстанций, эмигрантом не являлся, поскольку в год его рождения Дюссельдорф находился под французской юрисдикцией. В результате этого поэт был освобожден властями от специальных формальностей для узаконения его постоянного проживания во Франции.

собратьями по перу, неоднозначны: в них содержатся многие противоречивые суждения, связанные с изменениями собственных оценок их автора.

Следует упомянуть весьма специфическую малочисленную категорию резко недоброжелательно настроенных к Гейне информаторов, тайных агентов австрийского и прусского правительств, таких как Борнштедт и Бойрман. Судя по их сообщениям, они добросовестно отработывали свои сребреники, и потому их свидетельства также не лишены интереса.

* * *

Уже при жизни Гейне завоевал себе прочную репутацию одного из самых остроумных людей своего времени. Его остроты и шутки, порой чрезвычайно язвительные и злые, были широко популярны в светских салонах и воспроизводились на страницах немецкой и французской прессы, трансформируясь, порождая различные анекдоты и легенды, обрастая все новыми вариантами. Поэтому установление подлинности таких сообщений в большинстве случаев представляется крайне затруднительным.

Далее, всякий читатель, мало-мальски знакомый с биографией поэта, обратит внимание на другую особенность собранных о нем материалов. Гейне — человек общительный по натуре — в своих обширных контактах с людьми: и близкими, и малознакомыми — на шутки не скупился, охотно делился своими мыслями на общие темы — о литературе, о политике, о текущих событиях, об издательских делах, но он был весьма сдержан во всем, что касалось его личной жизни. Выше уже отмечалась нарочитая стилизованность его мемуаров. Хотя, как мы видим, нельзя сетовать на скудость источников, сообщающих нам о жизни Гейне (в настоящую книгу вошла лишь незначительная их часть), многие стороны его биографии стараниями самого поэта так и остались неясными, затушеванными. Это относится и к его упорной мистификации с датой рождения, и к его коммерческому образованию, к его переходу в христианство, к его отношениям с кузинами Амалией и Терезой и, наконец, к его отношениям с Матильдой. Свою частную жизнь он заботливо оберегал от постороннего глаза, тем более от вторжения в нее журналистов, для которых все, связанное с Гейне, было желанным сенсационным материалом. То, что он из этой сферы считал возможным сделать достоянием гласности, подвергалось им тщательному отбору и фильтрации. Более того, Гейне сам нередко прилагал немалые усилия к тому, чтобы направлять поток информации о нем в прессе в желательное для него русло, инспирируя, прямо или косвенно, те или иные о себе сообщения или опровержения.

Внимательное рассмотрение круга информаторов о Гейне приводит к констатации еще одного факта, на первый взгляд довольно парадоксального, — в этом кругу лиц или отсутствуют вовсе, или представлены очень мало как раз те люди, с которыми Гейне был

более всего близок — Христиан Зете, Мозер, Христиани, Меркель, Детмольд, Лассаль; почти отсутствуют и все друзья и знакомые Матильды.

Общее представление о носителях информации о Гейне, небезынтересное само по себе, важно для нас прежде всего потому, что именно с ними связан вопрос о степени достоверности сложившегося облика поэта, который основывается на этих источниках.

Как уже говорилось, Гейне возрос и впоследствии оставался в той или иной мере в русле немецкого романтизма. Но иным сторонам романтизма он был чужд с самого начала. Для сознания немецких романтиков прошлого был характерен культ дружбы, душевной гармонии между друзьями, глубокого слияния душ. Таково было иенское содружество, таковы были близость Тика и Вакенродера, Арнима и Брентано. Гейне же решительно не унаследовал эти черты от своих духовных предшественников. Нередки случаи, когда возникшие поначалу дружеские отношения (как с Зелигером и Ведекиндом), переживали внезапное охлаждение. Гейне как будто боялся близости и намеренно препятствовал установлению более глубоких и прочных связей, а его партнер, в свою очередь, испытывал разочарование. Всякую попытку завязать с ним близкие отношения Гейне рассматривал как угрозу суверенности своего внутреннего мира. Примечательно, что единственным примером его действительно длительного и тесного личного контакта с другим человеком были его отношения с женой Матильдой. А ведь среди всех окружавших Гейне людей именно Матильда менее всего могла посягать на проникновение в его духовный мир — настолько глубоко различны были эти натуры.

В силу этих обстоятельств биограф поэта найдет сравнительно мало свидетельств о его подлинных душевных конфликтах. Характерно, что в последние годы жизни (около восьми лет), когда, прикованный мучительным недугом к своему скорбному ложу, Гейне вынужден был ограничить все свое общение с внешним миром преимущественно разговорами с посещавшими его людьми, он и тогда свои сугубо личные проблемы — а их, конечно, было немало — старался в беседах с друзьями обходить, сводя все преимущественно к проблемам мировоззренческим и религиозным. Так или иначе, более тесные личные контакты возникали у Гейне прежде всего с людьми, с которыми у него были общие литературные и общественно-политические интересы.

Все же среди лиц, сообщающих нам о Гейне, есть и его немногие добрые друзья, общение с которыми происходило как бы на взаимной основе, в отличие от довольно большой группы профессиональных журналистов и литераторов, которые из всякой беседы с Гейне стремились, как правило, извлечь звонкую монету. Заметим, однако, что это последнее обстоятельство скорее повышает, нежели снижает ценность их информации и ее объективность, поскольку такой профессиональный наблюдатель мог подмечать какие-то факты и детали, неизбежно ускользавшие от другого человека.

Предлагая читателю настоящую книгу, все же следует остановить его внимание на некоторых представленных здесь фактах, которые не только дополняют, но в чем-то и корректируют сложившиеся представления о поэте.

Так, во многих биографических очерках тот факт, что он получал материальную поддержку от правительства Луи Филиппа, оценивается как порочащий Гейне. Причем нередко утверждается, что достоянием гласности этот факт стал лишь после свержения этого режима. Но совершенно очевидно, что эта пенсия не была оплатой каких бы то ни было услуг со стороны Гейне и, стало быть, не налагала на него никаких обязательств по отношению к французскому правительству, а тем самым ее выплата никак не может быть расценена как некий подкуп. По свидетельству К.-М. Кертбени, сам Гейне не делал никакой тайны из этого факта. Основываясь на многих данных, свидетельствующих о крайне напряженных отношениях, сложившихся между поэтом и кругами радикальной немецкой эмиграции в Париже, можно безошибочно предположить, что шумиха вокруг этой пенсии исходила именно из этих кругов, с целью опорочить Гейне. Кстати сказать, тогдашняя буржуазная пресса — и французская и немецкая, — столь же падкая, как и теперь, на всякого рода сомнительные сенсации, время от времени специально распространяла о Гейне были и небыли, вплоть до известия о его мнимой кончине, а уж пустить о нем какую-нибудь дурно пахнущую сплетню было истинным и отнюдь не бескорыстным удовольствием для иного газетчика.

Далее, немало кривотолков вызвала с самого начала книга Гейне о Людвиге Бёрне — одно из ключевых программных произведений, в котором изложены и аргументированы основные принципиальные позиции его мировоззрения. Вместе с тем вышеупомянутый Генрих Лаубе, друг Гейне, с основанием назвал ее самой «злополучной из его книг». Ее публикация вызвала острые дискуссии, в ходе которых высказывались мнения отнюдь не в пользу Гейне. Как бы ни оценивать эту книгу в целом, нельзя не согласиться с тем, что появление ее в немецкой ситуации на рубеже 30—40-х годов свидетельствовало по меньшей мере о грубом тактическом просчете Гейне, и об этом его прозорливо предупреждал мудрый и многоопытный издатель Кампе.

Диапазон оценок этой книги был весьма широк и противоречив. Для самого же Гейне идеи ее были выстраданы и потому бесконечно дороги. Так или иначе, эта книга стала предметом активных откликов многих современников, темой бесед с поэтом многих его друзей. Не может не привлечь внимания свидетельство Альфреда Мейснера, глубокого почитателя Гейне, в котором он передает весьма примечательные суждения самого Гейне об этой книге, в частности его глубокое сожаление по поводу ее публикации.

Гейне был, как никто, беспощаден к своим недругам и недоброжелателям. Можно положительно утверждать, что в ту пору среди немецких, а может быть, и французских писателей не было другого столь опасного противника. Он, например, не щадил и «самого» Ротшильда, у которого был принят и который оказывал ему свое могущественное покровительство в финансовых делах. Во всей тогдашней европейской литературе разве только Теккерей по остроте и язвительности его пера можно было бы поставить в один ряд с Гейне. Но всегда ли Гейне был справедлив в своей полемике? Увы, нет. Естественно, как всякий человек, он мог заблуждаться. В известной мере результатом заблуждений была его полемика с Бёрне. Другим сходным примером является непримиримая позиция, занятая Гейне по отношению к поэту Августу фон Платену. К тому же в обоих этих случаях Гейне не удержался на уровне принципиального спора (как и в еще более достойной сожаления полемике со своим учителем А.-В. Шлегелем). Особенно некорректен он был по отношению к Платену. Взятые в историческом ракурсе его раздоры и с Бёрне и с Платеном представляются тем более досадными, что в конечном итоге они способствовали ослаблению сил в лагере немецкой оппозиции, как бы эта оппозиция ни была разнородна. К тому же к Платену Гейне был явно несправедлив: пусть стихи последнего не внесли особенно ярких красок в палитру немецкой поэзии, все же он занял в ней хотя и скромное, но прочное место. Поскольку в историях литератур и в работах о Гейне его полемика против Платена обычно оценивается весьма односторонне, с позиций самого Гейне, следует обратить внимание читателя на то обстоятельство, что значительно позже, через два десятка лет, когда резонанс этой полемики давно уже улегся, Гейне в беседе с тем же Мейснером, дав довольно суровую, но все же объективную оценку Платена, недвусмысленно заявил о своей по отношению к нему несправедливости. Но отнюдь не всегда Гейне мог подняться над своими субъективными пристрастиями, которые особенно трудно оправдать, когда они оказывались связанными с прямой материальной выгодой. Об этом мы, в частности, узнаем, когда читаем материалы о его отношениях с Мейербером и Дессауэром.

Немало страниц этой книги связаны также со скандальным делом о наследстве, получившим, благодаря стараниям самого Гейне, довольно широкую огласку. Внимательное ознакомление с фактами не может не привести к выводу, что традиционно установившаяся негативная трактовка позиции основного оппонента Гейне в споре, его кузена Карла, сына и наследника гамбургского банкира Соломона Гейне, нуждается в существенных коррективах. Как, впрочем, столь же традиционное изображение самого дяди-миллионера как эдакого жестокосердного денежного мешка и скряги, державшего своего гениального неимущего племянника в жестких финансовых тисках.

Ярко и нетрадиционно предстает в мемуарных материалах фигура издателя Гейне Юлиуса Кампе, заметная и прогрессивная роль

которого в развитии тогдашнего литературного процесса в Германии еще не изучена и не оценена в должной мере, В этом смысле немецкому Ю. Кампе близок его петербургский современник и собрат по профессии издатель Александр Филиппович Смирдин, глубокий почитатель Пушкина. Правда, в своей издательской и книготорговой деятельности Смирдин еще в меньшей мере руководствовался коммерческими соображениями, нежели Кампе, почему в конце концов и разорился, выплачивая огромные гонорары.

В завершение следует особо обратить внимание читателя на то, сколь непросто для понимания феномен дружбы Гейне с Марксом. Поэт, завоевавший на рубеже 30—40-х годов поистине всемирное признание, обычно с симпатией относился к новым молодым талантам и часто им покровительствовал. Об этом свидетельствуют его встречи и беседы с Андерсеном, Эленшлегером, Геббелем, а еще ранее — поддержка им группы младогерманцев. Но это всегда были отношения маститого мэтра с неофитами, даже в случае с гордым и независимым Геббелем. В общении же с теми, кто стоял на Олимпе европейской культуры, — с Бальзаком, Жорж Санд, Беранже, Листом, Шопеном, Берлиозом и другими, — Гейне, как мы знаем, держался «богом среди богов». Не надо забывать и о тех жестких границах в общении, которые он всегда себе ставил. Комплекс неполноценности был ему чужд — поэт отчетливо и в целом объективно сознавал свое место в литературе и в общественной жизни. Вспомним далее, как упорно Гейне избегал контактов с кругами немецкой эмиграции в Париже, особенно с немецкими мелкобуржуазными радикалами.

Тем удивительнее на фоне этого нежная дружба с Марксом (иначе эти отношения не назовешь), дружба 46-летнего уже увенчанного мировой славой поэта и тогдашнего 26-летнего талантливого журналиста левой оппозиции, еще только начинающего закладывать основы грандиозного переворота в общественном сознании и в практике революционной борьбы, известного пока что в довольно узком кругу соратников и единомышленников.

Гейне не высказывал своему новому молодому другу никаких пророчеств относительно его будущей мировой славы (во всяком случае, нам об этом ничего не известно), но он сам оказался не только под влиянием его личных человеческих качеств, но — что куда более знаменательно — признал и его авторитет в той области, в которой самого себя считал авторитетом непререкаемым и, быть может, даже верховным судьей, — в области поэзии. Известно, что к критическим замечаниям в адрес своих произведений Гейне относился болезненно, нередко с раздражением; в то же время Марксу и его жене он охотно читал свои только что написанные и еще не опубликованные стихи и внимательно выслушивал их критические замечания, а возможно, и вносил по ним в свои произведения какую-то правку. По тону тех немногих писем Маркса к Гейне, которые до нас дошли, по косвенным свидетельствам об отношениях между этими двумя великими немцами можно предположить, что

Маркс, в свою очередь, высоко ценил то доверие и уважение, с которыми к нему относился Гейне. Очевидно, что и здесь случай — тот случай, который свел в Париже Гейне с Марксом, — стал проявлением мудрой и логичной закономерности, вопреки многим и немаловажным частным обстоятельствам, которые этой закономерности противоречили.

Именно такие закономерности и должны быть высвечены в первую очередь в книге воспоминаний. Не просто обширный свод материалов, суждений и впечатлений передается здесь на суд читателя, но по ним должна быть воссоздана личность поэта, убедительная и притягательная, представленная в живом историческом контексте и увиденная в самых различных ракурсах.

А. Дмитриев

Кроме того, Генрих Гейне, наиболее выдающийся из всех современных немецких поэтов, примкнул к нашим рядам и издал том политических стихов, куда вошли некоторые стихотворения, проповедующие социализм.

Ф. Энгельс

Г Е Й Н Е

В ВОСПОМИНАНИЯХ
СОВРЕМЕННОКОВ

НА РОДИНЕ
ПЕРВЫЕ ПОИСКИ
И СВЕРШЕНИЯ

ШАРЛОТТА ЭМБДЕН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Около 1866)¹

Мой отец, который долго жил в Англии, первым стал звать моего брата Генриха Гарри. Однажды во время прогулки мы заметили, что за нами следовала орава уличных мальчишек, которые каждый раз шептали друг другу «Слышал?», как только отец окликал брата, называя его этим именем. Отец подозвал одного из мальчишек и пообещал дать ему монету, если тот скажет, что он слышал. На что тот ему ответил: «Да, господин, нас удивляет, что Вы называете такого хорошего мальчика Гарри, словно он осел» (в моем родном городе всем ослам действительно дают кличку «Гарри»). После этого брата звали только Генрихом, и лишь когда мы, дети, ссорились, мы кричали ему «Гарри!».

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

ПО СООБЩЕНИЮ ЙОЗЕФА НОЙНЦИГА

(* 1867)

Дома родители требовали от Гарри строгого выполнения всех религиозных предписаний иудаизма. Насколько точно он соблюдал их, показывает следующий случай, о котором сообщает Йозеф Нойнциг. Однажды в субботу оба мальчика стояли на улице, когда внезап-

¹ Дата в скобках означает время написания или (со знаком *) время публикации материала.

но загорелся один из соседних домов. Подъехали, громыхая, пожарные со своими насосами и потребовали, чтобы стоявшие без дела зеваки встали вместе с ними в цепь и передавали ведра с водой. Когда с этим же требованием обратились к Гарри, он твердо сказал: «Мне нельзя, и я не буду этого делать, так как сегодня мы празднуем субботу!» Однако в другой раз этот мальчик восьми или девяти лет от роду проявил достаточно хитрости, чтобы обойти эту заповедь Моисея. В прекрасный осенний день — это опять была суббота — он играл вместе с несколькими школьными товарищами перед домом Прага, с обвитых виноградом шпалер которого почти до земли свисали две сочные зрелые грозди. Дети заметили их и бросали на них жадные взгляды, но, вспоминая заповедь, согласно которой нельзя ничего срывать с деревьев во время еврейских праздников, они повернулись спиной к соблазнительному зрелищу и продолжали игру. Только Гарри остался стоять у этих гроздьев, задумчиво разглядывая их с близкого расстояния, а затем вдруг подпрыгнул, ухватился за шпалеры и, откусывая одну за другой виноградины, съел их. «Рыжий Гарри! — это прозвище он получил от своих товарищей за рыжеватый цвет его волос, который позже сменился почти каштановым, — Рыжий Гарри! — в ужасе воскликнули дети, заметив, чем он занялся, — что ты наделал!» — «Ничего страшного, — засмеялся юный хитрец, — мне нельзя ничего срывать рукой, а откусывать зубами и есть закон не запрещает».

ШАРЛОТТА ЭМБДЕН

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ

(Около 1866)

Когда мы были маленькими, мы заболели корью и долго должны были сидеть дома. Чтобы мы не скучали, нам дали ящик с кусочками пестрой материи. Мы долго обсуждали, на что их пустить. Решили сделать из них шутовской балахон, и самым усердным портным был мой брат Генрих. Скоро у меня лопнуло терпение, и он один дошил этот балахон, намереваясь нарядиться в него во время карнавала. Когда долгожданный день настал, родители не разрешили ему бегать в таком виде по улицам, как это было принято в нашем родном городе, и брат подарил этот балахон одному бедному

мальчику, жившему по соседству с нами. И когда я спустя много лет, уже будучи замужем, жила в Гамбурге, ко мне однажды пришел рослый красивый матрос и обратился со следующими словами: «Мадам! Я всегда помню о той радости, которую доставил мне ваш брат, подаривший мне однажды балахон из пестрых тряпок. Тогда я еще не знал, какой дорогой памятью он для меня будет. Я всегда верно хранил его во время своих плаваний, это прямо-таки чутье <?!>, что я не мог с ним расстаться. Теперь я распорол его и подарил по лоскутку семнадцати своим землякам, которые таким образом чтут память о нашем знаменитом земляке». Я была крайне удивлена, услышав такие слова от простого матроса. Когда я была у брата в Париже и старалась развеселить его воспоминаниями о нашей юности, я рассказала ему и об этом балахоне: «Ты должен написать об этом стихи». К сожалению, он не успел этого сделать, смерть его опередила.

Живое воображение проявилось у него уже в десятилетнем возрасте. Однажды в школе профессор Б. читал нам рассказ, который мы должны были письменно изложить дома. Слушала я очень внимательно. Дома я села за работу, но ничего не могла вспомнить. Я громко вздыхала, и когда брат озабоченно спросил меня, что со мной, я со слезами на глазах пожаловалась на то, что на уроке была невнимательна и потому не могу пересказать прочитанный нам рассказ. Брат сказал: «Успокойся, скажи мне хоть примерно, о чем шла речь, и я напишу тебе пересказ». Через час он принес мне этот рассказ, и я, обрадовавшись тому, что выпуталась с его помощью из беды, даже не дала себе труда прочесть написанное; на следующий день в школе я вместе с другими сдала свою тетрадь, но когда после проверки нам снова раздали эти тетради с оценками, моей среди них не было, пока наконец профессор Б. не пригласил меня пройти в его кабинет этажом ниже. Прежде всего он спросил меня, кто написал этот рассказ. Довольно нагло я ответила, что написала его я. Профессор не обратил никакого внимания на мои слова и продолжал: «Я не буду тебя ругать, дитя мое, скажи мне только, кто это написал». Устыдившись своей лжи, я еле слышно сказала: «Мой брат». Профессор воскликнул: «Это же шедевр!» При этом разговоре присутствовали еще два профессора, и Б. прочел им эту историю, в которой описывалось привидение. Я слуша-

ла с восторгом, но несколько раз вскрикивала от страха. Вернувшись в класс, я рассказала девочкам об ужасном привидении с горящими глазами, громадными когтями и такой огромной глоткой, что оно могло бы проглотить всех нас. Уступая нашим просьбам, профессор прочел этот рассказ в классе. Три маленькие девочки плакали от страха.

Наши родители очень любили музыку, и поэтому мой брат Генрих волей-неволей должен был учиться играть на скрипке. К нему регулярно приходил учитель, и как-то раз после трех месяцев занятий мать случайно проходила мимо комнаты, где они занимались, и была изумлена успехами, которые за короткое время сделал ее сын. Она не хотела мешать, но когда в следующий раз услышала снова, как хорошо он играет, тихонько открыла дверь; что же она увидела: брат лежал, удобно растянувшись на диване, а учитель ходил взад-вперед по комнате и играл. Брат был так погружен в свои мысли, что он не слышал, как вошла мать, и забыл даже об учителе, но, увидев мать, вскочил и воскликнул: «Ах, какие хорошие стихи я только что сочинил!» На этом обучение игре на скрипке прекратилось. Рано проявившееся у брата поэтическое дарование заставляло все остальное отступать перед его любимым занятием.

Двенадцати лет его отдали в школу для молодых людей, желавших посвятить себя торговому делу. Он не проучился там и года, когда директор этого учебного заведения сообщил моим родителям, что у мальчика есть все предварительные знания, необходимые для занятий коммерцией, и он столь щедро наделен умом, что его следовало бы готовить для поступления в университет. <...> В результате этой беседы его действительно отдали в лицей, где его успехи были столь велики, что тогдашний ректор лицея Шальмайер предложил моим родителям подумать, не перейти ли мальчику в духовное звание, где, столь щедро наделенный умом, он сможет стать даже кардиналом. Однако мой отец не прислушался к этому предложению.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* Нач. февр. 1866)

Наша мать, которая вообще была сторонницей довольно строгого воспитания, приучила нас с раннего детства к тому, чтобы мы, будучи у кого-либо в гостях, не съедали дочиста все, что лежало у нас на тарелках. То, что должно было остаться, мать называла «приличием». Она никогда не позволяла нам также, когда нас сажали пить кофе, класть в чашку слишком много сахара; в сахарнице непременно должен был оставаться хотя бы один большой кусок.

Как-то в прекрасный летний день мы, мать и все дети, пили кофе за городом. Когда мы выходили из сада, я заметил, что в сахарнице остался большой кусок сахара. Мне было тогда семь лет, я думал, что меня никто не видит, и, улучив минуту, быстро вытащил сахар из сахарницы. Но мой брат Генрих заметил это, испуганно подбежал к матери и торопливо сказал: «Мама, подумай только, Макс съел приличие!»

Когда Генрих Гейне учился в дюссельдорфской гимназии, в конце учебного года его включили в группу учеников, которые должны были декламировать стихи на публичной школьной церемонии.

В то время юный гимназист был влюблен в дочь президента верховного апелляционного суда фон А. <...> удивительно красивую стройную девушку с длинными белокурыми локонами. Я уверен, что многие из его первых стихов были посвящены этому прелестному, почти идеальному созданию. Зал, в котором должна была состояться торжественная церемония, был битком набит. В первом ряду, в парадных креслах, сидели школьные инспекторы. Позолоченное кресло в середине ряда было не занято.

Президент верховного апелляционного суда приехал со своей дочерью очень поздно, и не оставалось ничего другого, как посадить прелестную барышню на свободное позолоченное кресло между почтенными школьными инспекторами. Гейне как раз декламировал балладу

¹ Верхняя дата указывает на хронологию описываемых событий. При наличии подобных указаний в тексте дата опускается.

Шиллера «Кубок» и с большим подъемом произнес строку:

И дочери царь приказал... —

и тут злая судьба заставила его взглянуть именно на то позолоченное кресло, где сидела обожаемая им красавица. Гейне запнулся. Трижды повторял он «И дочери царь приказал...» — но дальше не мог вымолвить ни слова. Напрасно классный наставник пытался ему подсказывать, Гейне ничего не слышал. Широко раскрытыми глазами он смотрел на девушку в позолоченном кресле как на внезапно возникшее неземное видение и затем упал без чувств. Никто и предположить не мог, что было этому причиной. «Наверное, в зале было слишком жарко», — сказал инспектор моим подоспевшим родителям и велел открыть все окна.

Спустя много лет брат рассказал мне, что послужило причиной этого происшествия, при этом он часто прерывал себя восклицанием: «Каким же я был тогда непосредственным и наивным!»

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

ПО СООБЩЕНИЮ ЙОЗЕФА НОЙНЦИГА

(* 1867)

Больше, чем наказаний отца, запрещавшего выходить из дому, дети боялись тяжелой руки строгой матери, причем не только собственные дети, но и соседские мальчики, когда они проказили вместе с ее детьми или когда они обижали ее детей. Так, однажды не повезло Йозефу Нойнцигу, который, бросаясь камнями во время игры, попал Гарри в голову и так сильно его задел, что из раны потекла кровь. На крик мальчика тут же прибежала мать, и виновник едва успел спастись бегством в родительский дом, когда туда ворвалась госпожа Бетти и нагнала на него страху следующей угрозой: «Где негодный мальчишка, который пробил голову моему Гарри? Он у меня за это получит!» Со страху Йозеф заполз под кровать и был очень рад, что его там никто не нашел. Позднее, когда оба были студентами Боннского университета, Йозеф напомнил Гарри о том, как он попал ему камнем в голову, и тот сказал с иронической улыбкой: «Кто знает, какая от этого была польза. Если бы ты не угодил в поэтическую жилку и не проветрил мне мозги, то я, быть может, никогда не стал бы поэтом!»

ГУСТАВ КАРПЕЛЕС

1814/1815

ЧАСТИЧНО ПО СООБЩЕНИЮ ГОТФРИДА ВЕРНЕРА

(* 1888)

Можно с уверенностью сказать, что <в торговой школе Фаренкампа в Дюссельдорфе> он не слишком много занимался коммерческими науками; зато рассказывают о разных забавных выходках юного Гарри, которые уже тогда позволяли судить о его предрасположенности к поэзии. Так, он имел обыкновение переводить для своих школьных товарищей античных классиков на «милый сердцу диалект Иудеи». Гомер или Овидий в переводе на еврейско-немецкий вызывали на переменах громкий хохот. О другой шутке рассказывает один из его товарищей, Вернер, бывший немного старше Гейне, впоследствии окружной архитектор в Бонне; в школе он сидел справа от Гейне, тогда как слева от него сидел некий Фасбендер, сын владельца пивоварни «У дятла». Однажды в классе вдруг раздался шум — Гарри Гейне полетел со своей скамьи под стол. «Что здесь происходит?» — спросил вошедший учитель. «О, — ответил молодой Фасбендер с покрасневшим от гнева лицом на тягучем рейнском диалекте, — этот проклятый еврей бормочет: «Где дятел стучит, там работница с конюхом спит». Тогда я дал ему затрещину, и он слетел со скамьи». При общем веселье учитель дал обоим мальчикам хороший нагоняй.

Нач. лета 1819

ПО СООБЩЕНИЮ В. КОППЕЛЯ

(* 1899)

Некий Арон Гирш, бывший другом деда и бабки Коппеля, рассказывал однажды в присутствии отца <Коппеля>, что ему, бухгалтеру Соломона Гейне, было поручено сопровождать Гарри Гейне при его отъезде из Гамбурга и заранее позаботиться об этом отъезде. В дороге, сидя в карете, Гирш пытался усостыдить Гейне за то, что тот так легкомысленно испортил себе карьеру в фирме своего уважаемого и состоятельного дяди. В ответ на это Гейне похлопал его по плечу и сказал: «Любезный Гирш, вы еще обо мне услышите!»

ФРИДРИХ ШТЕЙНМАН

Осень 1819

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1857)

Когда осенью 1819 года я приехал в Бонн, я еще не знал, что Гейне там. На следующий день после моего приезда я встретил его на берегу Рейна, где он вместе с другими смотрел, как рыбаки ловят рыбу с лодки. Там я услышал его первую остроуту. Он негромко сказал стоящим вокруг него: «Будьте осторожны, не упадите в воду! Здесь ловят треску»¹. При этом уголки его рта растянулись, и хорошо знакомая сардоническая усмешка заиграла на его губах...

Шапка огненно-красного цвета, сдвинутая далеко на затылок, сюртук — зимой из мягкого драпа, летом из желтой нанки, руки в карманах панталон, походка небрежная, спотыкающаяся, взгляды направо и налево, — так можно обрисовать внешность Гейне, когда он с папкой под мышкой медленно шел по боннской мостовой в университет; у него было тонкое лицо, белая кожа, светло-каштановые волосы, небольшие уши и легкий румянец.

ЖАН БАТИСТ РУССО

1819/1831

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 11.2.1840)

Небольшого роста, довольно мускулист; белокурые волосы с более светлыми прядями, высокий лоб; вокруг рта постоянно ироническая добродушная усмешка; руки держит большей частью за спиной и ходит какой-то трясущейся утиной походкой. Считает себя красавцем и украдкой кокетничает со своим отражением в зеркале. Он хорошо говорит и любит слушать себя; сострив, каждый раз раздражается громким смехом, благодаря чему его физиономия, в которой обычно восточные черты не бросаются в глаза, становится совершенно еврейской, а глаза, и без того маленькие, почти исчезают.

¹ Игра слов. Нем. der Stockfisch одновременно обозначает «треска» и «дурак».

Осень 1819

Гейне, который так и не выучил латынь в Гамбурге, обратился тогда с просьбой к профессору Гейнриху рекомендовать ему филолога, который смог бы помочь ему наверстать упущенное. Гейнрих направил его ко мне. Каждое утро, начиная с 7—8-ми часов, мы читали сначала Саллюстия, затем Вергилия; со временем Гейне, который слыл тогда в Бонне совершенным чудачком и над которым студенты подсмеивались как над форменным идиотом, стал приносить рукописи и журнал «Страж», а потом показал мне стихи Фройдхольда Ризенхарфа, которого выдавал за одного из своих ближайших гамбургских друзей, и попросил меня высказать мнение о них; с его точки зрения они-де нигуда не годились. Когда же я, совершенно не предполагая в Гейне их автора, высказал свое восхищение ими и, несмотря на самые определенные и даже резкие возражения Гейне, заявил, что этого Ризенхарфа следует считать гением первой величины, Гейне вдруг бросился, как безумный, мне на шею, рыдая и ликуя одновременно, и повторилась знакомая сцена.

ВОЛЬФГАНГ МЕНЦЕЛЬ

1819/1820

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1877, посмертно)

Седьмого ноября <1819> <...> я был избран старшиной буршеншафта вместо Гаупта и вступил в эту должность, чтобы поддерживать прогрессивные настроения в университете <...> так долго, как только будет возможно; ибо я знал заранее, что обстоятельства скоро изменятся. Карлсбадский съезд закончился, и его постановления угрожали патриотической партии полным уничтожением <...>

Среди многих молодых людей из моего окружения особенно старались завоевать мое расположение без какого-либо к тому желания с моей стороны двое, а именно: маленький еврей Генрих Гейне, который носил длинный темно-зеленый сюртук до пят и очки в позолоченной оправе, делавшие его при его неимоверном безобразии и навязчивости еще более потешным, из-за чего над ним часто насмеялись, называя его

очкастой лисой¹. Но он был остроумен, и поэтому мы, студенты старших семестров, защищали его от насмешников. Другим был Ярке, протестант, уроженец Восточной Пруссии, который спустя несколько лет перешел в католичество и подвизался в качестве публициста в Вене. <...> Этот Ярке очень привязался ко мне, причем по другим причинам, чем Гейне, который стремился лишь воспользоваться моей защитой, поскольку над ним так часто издевались. Тогда еще никто не мог предположить, что эти два студента, которых часто звали моими «лейбфуксами», будут олицетворять деструктивную и консервативную крайности нашего века.

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

Нач. декабря 1819

ПО СООБЩЕНИЮ ЙОЗЕФА НОЙНЦИГА

(* 1867)

Приемные экзамены в Боннском университете включали в себя письменные работы, среди которых было сочинение о цели академических занятий в университете. Когда Гейне сдал свою работу, переписанную набело, он отправился вместе с остальными экзаменовавшимися, среди которых был и Иозеф Нойнциг, в студенческую пивную и там, под громкий смех своих товарищей, прочел по черновику, который он тайком захватил с собой, свое сочинение. Он разработал заданную тему, избегая всяких серьезных размышлений, в сугубо юмористическом духе, не чурался дерзких выражений и дал полную волю своему остроумию. Йозеф Нойнциг вспоминает, в частности, что там было место, где говорилось приблизительно следующее: «Наукам, которые преподаются в этих аудиториях, нужны прежде всего скамьи с пюпитрами; ибо именно они суть опоры, носители и основы той мудрости, которая исходит из уст учителей и благоговейно переносится учениками в тетради. Но скамьи с пюпитрами суть одновременно как бы памятные доски для наших имен, когда мы вырезаем их перочинными ножами, чтобы оставить будущим поколениям следы нашего бытия».

¹ Слово «фукс» (нем.), наряду со значением «лиса», значит также «студент-корпорант первого года обучения».

1819/1820

(* 1867)

Йозеф Нойнциг рассказывает, что однажды в некоей студенческой компании зашел разговор о религии. Один еврей, изучавший медицину, признался, что он предпочитает христианство иудаизму и охотно согласился бы креститься, если бы только догмат о непорочном зачатии девицы Марии не противоречил столь фатально законам науки. Гейне внимательно слушал, но ничего не сказал, и лишь саркастическая улыбка играла на его губах. Он вообще говорил мало; он больше наблюдал и размышлял, нежели активно участвовал в общем разговоре; когда же он в него вмешивался, то это были большей частью краткие, подобные удару молнии меткие замечания или забавные остроты. Даже самым близким друзьям он лишь очень редко позволял заглянуть в мир своих глубоко скрытых переживаний; он не любил выставлять напоказ обуревавшие его чувства; добродушный и до чрезмерности мягкий, он почти стыдился своей врожденной чувствительности и пытался спрятать ее с упрямой гордостью за резкой, отталкивающей формой обхождения.

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

1819/1820

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1868)

Когда Гейне изучал право в Боннском университете, он приезжал во время каникул в Дюссельдорф. Он был очень мил, кроток и мягкосердечен, но в гневе крайне резок, а иногда, против своего обыкновения, даже склонен к насильственным действиям. Я еще помню, как однажды он вышел из себя, возмущенный бесстыдным вымогательством носильщика с тележкой, который должен был доставить его чемодан с почты в родительский дом; другой на его месте дал бы грубияну пощечину. Генрих же, бледный от гнева, взял себя в руки, спокойно отсчитал деньги, которые запросил с него носильщик, и изо всей мочи дернул мужлана за его длинные черные бакенбарды, любезно сказав ему: «Друг мой, я думал, что у вас накладные бакенбарды».

«Так я, — рассказывал он позднее, — дал волю своей страшной злости, не дав этому субъекту повода пожаловаться на меня».

С ранней юности я любил пьесы немецких драматургов; для развития этой склонности много значило, очевидно, то, что меня, еще почти ребенка, очень часто брали с собой в театр. Это было время, когда театральные сцены были заполнены пьесами из рыцарских времен. Моим любимым чтением были «Иоганна фон Монфоко́н», «Крестоносцы», «Солнечная дева» и т. д. Было мне тогда тринадцать лет. Это увлечение очень не нравилось моему брату Генриху.

«Макс, — сказал он однажды, — такие книги портят вкус, я подарю тебе другую книгу, чтобы ты читал ее в свободное время. Это тоже пьеса». С этими словами он взял со своего стола маленькую книжечку в черном картонном переплете и сказал: «Это мой подарок тебе». Я раскрыл книгу и впервые прочел заглавие: «Фауст» Гете. Первая часть трагедии.

Я полистал первые страницы чудесного пролога, а затем, по мальчишеской привычке, раскрыл томик на последней странице, где прочел слова: «Генрих! Генрих! — «За мной скорее!» — «Спасена!»¹, которые показались мне столь загадочными. Я поглядел на брата, совсем оцепенев, словно человек, который хочет сказать: «Такую комедию я не пойму». Тогда он взял книгу, быстро схватил перо и написал на внутренней стороне переплета следующие строки:

«Труден «Фауст», я не скрою.
Ты не раз его прочтешь,
Но когда его поймешь,
Черт придет уж за тобою».

С тех пор прошло много десятилетий, и когда я был в Париже за несколько лет до кончины поэта, мы случайно заговорили о второй части «Фауста» Гете. «Генрих, — сказал я, — я не забыл, что ты мне однажды написал на переплете первой части «Фауста», — и прочел ему это четверостишие.

«А что ты мне сейчас на это ответишь, Макс?»

Я взял лист бумаги и написал карандашом следующее:

Брат, я понял эту книгу.
Было все, как ты сказал,
Но зачем великий Гете
Часть вторую написал?

¹ Перевод Н. А. Холодковского.

Брат улыбнулся, пожал мне руку и сказал: «Этот стишок издайте среди моего наследия».

ФРИДРИХ ШТЕЙНМАН

1819/1820

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1857)

Все напечатанные в его «Стихотворениях» песни и баллады были написаны, за редким исключением, в период его жизни в Гамбурге; он привез их в рукописи в Бонн, где постепенно ознакомил меня с ними, читая их мне вслух, и требовал, чтобы я высказал свое мнение о произведенных изменениях и вариантах, короче — снова и снова усердно и тщательно перечитывал и шлифовал их.

Весна 1820

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 1834)

Ближе познакомившись <...> с А.-В. фон Шлегелем, он передал последнему рукопись для просмотра; тот охотно взял ее и откровенно высказал автору, что именно ему в ней не нравится; места, вызвавшие его недовольство, он отметил в рукописи карандашом, и когда рукопись была возвращена Гейне, его единственным занятием стало устранение и исправление всех тех незначительных огрехов, на которые обратил внимание такой знаток, как Шлегель; и делал это он с такой строгостью и почти полным отсутствием жалости к себе как к автору, равных которым не было. Часами он мог размышлять над тем, как изменить одну-единственную строку; и для него было вполне достаточной наградой, если поправка была удачна и друзья одобряли ее.

1820

(* 1834)

С особой любовью он изучал сочинения Байрона, и никто не будет отрицать, что между ними существует некое духовное «избирательное сродство». Он чувствовал это в то время и сам и часто признавал в своих беседах с друзьями.

Следует упомянуть, что переводы из Байрона создавались им на Рейне; летом 1820 года он часто нанимал лодку до Годесберга, деревни, расположенной в часе гребли от Бонна вверх по течению; там он имел обыкновение отдыхать, лежа в лодке и держа перед собой томик Байрона, изданный в Цвиккау.

Август/октябрь 1820 г.
(* 1834)

С середины августа <...> до половины октября 1820 года он жил в расположенной напротив Бонна деревне Бойель, где он снял комнату на время каникул, и там в уединении он начал работу над своей известной трагедией «Альманзор», которая, когда он уехал в Геттинген для продолжения обучения в тамошнем университете, была написана больше чем наполовину.

Зима 1820/1821

ИЗ БИОГРАФИИ БЕНЕДИКТА ВАЛЬДЕКА

(1849)

Влияние Г. Гейне на нас, молодых, было значительно уже по той причине, что он, родившийся в 1797 году, был, следовательно, на четыре года или, в любом случае, на несколько лет старше нас, и потому, что он, сначала готовивший себя в течение ряда лет во Франкфурте-на-Майне и в Гамбурге к занятиям коммерцией, поступил в университет только на полгода раньше нас.

«Пользующийся дурной славой авантюрист Гейне, которого я хвалю как поэта», — как когда-то писал Гентц, — обрел, как ранее в нас в Бонне, очень скоро и в Гёттингене в Вальдеке такого ученика, который хотя и не особенно любил клясться словами учителя, но при этом тем сильнее привязывался к Гейне, чем более тот сближался с ним во взглядах и политических убеждениях; вскоре, таким образом, он примкнул к «общине верующих в Гейне», которая возвела в культ «учение о едином человечестве, не знающем никаких национальностей».

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ ГУБИЦ

Конец апр. — начало мая 1821 г.

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1868)

В один из дней второго квартала 1821 года ко мне пришел молодой человек и спросил, не хочу ли я напечатать его стихи, вручив мне красиво написанную рукопись под названием «Выставка стихов».

Прежде у меня была привычка не спрашивать имени у незнакомых людей, которые не представлялись мне в начале разговора, что часто и, видимо, заслуженно расценивалось как пренебрежение к собеседнику; поэтому я посмотрел на подпись и прочел: «Г. Гейне».

Я жестом предложил ему сесть, и когда он увидел, что я листаю его рукопись, он сказал: «Я вам совершенно незнаком, но с вашей помощью хочу стать известным». Я засмеялся и ответил: «Весьма охотно помогу, если смогу!» — и затем прочел про себя несколько строк. Гейне сам не раз вспоминал при мне об этой нашей первой встрече, о нашем немногословии и о том, как я наконец сказал лишь: «Придите, пожалуйста, еще раз в следующее воскресенье!» Понятно, что я мог прочесть при нем лишь несколько строк, а именно те, которыми начинается стихотворение «Кладбище»:

Бежал я от жестокой прочь,
Бежал, как безумный, в ужасную ночь;
И старый погост миновать я спешил,
Но что-то манило, сверкало с могил, —
Блеснуло в безжизненных лунных лучах
С могилы, где спит музыканта прах,
Блеснуло мне: «Братец, минутку постой!» —
И вдруг поднялось, как туман седой¹.

При слове «поэт» обычно представляешь себе до болезненности стройную фигуру, на которой одежда болтается как на вешалке, бледное исхудавшее лицо, на котором успела оставить свои следы слишком ранняя жажда наслаждений, и вы найдете естественным, что и упомянутые строки, и впечатление от внешности моего

¹ Перевод В. Левика.

посетителя содержали нечто злое. Но по мере того, как я читал дальше, его поэтический талант стал для меня несомненным, и когда Гейне пришел опять, я объявил ему, что готов напечатать его стихи на определенных условиях. Почерк, которым были написаны его первые стихотворения, отличался обилием крючочков у гласных и согласных букв, и автор столь свободно употреблял неточные рифмы, что я посоветовал ему еще раз просмотреть с этой точки зрения переданные мне пять стихотворений. Он ответил, что все это соответствует тону народных песен; я не оспаривал этого, но добавил, что имею в виду лишь чрезмерную склонность к употреблению подобных традиционных приемов, когда они скорее мешают, нежели способствуют восприятию содержания. Кроме того, я прямо сказал ему, что в стихотворении «Брачная ночь» он так бесцеремонно обошелся с требованиями морали, что цензор неизбежно сделает купюры и я также откажусь опубликовать эти стихи, если он не подчистит их в нескольких местах. Он был готов еще раз просмотреть текст и внести в него необходимые поправки, хотя — я уверен — лишь скрепя сердце, однако перерабатывал он очень умело. Первые пять стихотворений («Кладбище», «Миннезингеры», «Разговор в Падерборнской степи», два сонета к другу) были напечатаны в мае 1821 года. «Брачная ночь» появилась лишь месяцем позже, так как я неоднократно должен был отказываться от ее публикации, прежде чем Гейне не удовлетворил мои требования. Позднее подобные ситуации возникали между нами всего лишь несколько раз, и я рассказываю об этом сейчас, потому что это объясняет значение придуманного Гейне глагола «губицевать», который встречается в одном из приводимых ниже писем. Однако я испытал большое удовлетворение от того, что стихи, которые ему пришлось по моему настоянию перерабатывать, он перепечатал в позднейших изданиях своих произведений в том самом виде, в каком журнал «Собеседник» познакомил с ними читателя.

Следующее, что принес мне Гейне, был «Венок сонетов А.-В. фон Шлегелю».

Осень 1821/весна 1822

Осенью 1821 года он передал мне, что болен и просит навестить его; когда я пришел к нему, он лежал на диване и выглядел очень измученным. Он сделал

меня доверенным лицом во всем, что касалось его доходов и расходов; поскольку доходов никогда не хватало, образовался значительный долг. В этом разговоре он впервые — и это было для меня новостью — упомянул о своем дяде, гамбургском миллионере Соломоне Гейне, и я спросил, почему же он в столь стесненных обстоятельствах не обратился к своему дяде. В ответ я услышал, что дядя уже не раз оказывал ему значительную денежную помощь, но теперь хочет предоставить племянника его собственной судьбе. Я знал, что берлинский банкир Леонгард Липке поддерживает тесные деловые связи с Соломоном Гейне, отправился к нему и уверил его в том, что талантливый племянник богатого дяди остро нуждается в деньгах и дядя, конечно, сделает что-то для родственника, что бы ни произошло между ними раньше. Мой собеседник, к которому я обратился с просьбой о посредничестве, также не сомневался в этом и помог некоторой суммой в качестве аванса, заявив: «Соломон Гейне, несомненно, возместит мне этот расход!» Одновременно он сказал мне, что у его гамбургского компаньона в скором времени будут дела в Берлине и он сообщит мне, когда его можно будет у него встретить, чтобы я мог, со своей стороны, оказаться полезным; но это произошло лишь весной 1822 года. Соломон Гейне спокойно выслушал меня, однако не скрыл своего недовольства племянником и привел при этом достаточно убедительные доводы; племяннику неоднократно оказывалась солидная денежная поддержка, однако он до сих пор не оправдал возлагавшихся на него надежд и так и не избрал для себя серьезного дела на жизненном пути. Так, простым языком, без возмущения и громких слов, подтверждая свою мысль фактами, почтенный торговец разъяснил свою точку зрения; после этого мой умудренный опытом собеседник сказал, что теперь, по-видимому, остается только одно: следовать пословице «Кого слово не проймает, того палка прошибет». Я возразил, приведя то единственное возражение, которое было возможно в этих условиях: «Часто поэтическая натура слишком мало представляет себе условия действительности, пока она не заявит все же о своих правах». Я закончил словами о том, что такой дядя не может бросить на произвол судьбы такого племянника, к которому обычные мерки неприменимы. «Я этого никогда не хотел; но он должен понять, что нужно использовать деньги разумно, каждому в соответствии с его профессией!» — сказал в конце концов оживившийся дядя и, обернувшись к Липке, добавил:

«Этот господин утверждает, что иначе может погибнуть великий гений; я поверю ему. Выплатите моему племяннику двести талеров сейчас же, затем платите ему по пятьсот талеров ежегодно в течение трех лет, а там посмотрим». Это была моя единственная встреча с Соломоном Гейне, и я вспоминаю об этом его поступке всегда с удовольствием, так как наш разговор привел к длительному примирению между по-своему доброжелательным дядей и почти во всех отношениях легкомысленным племянником.

Во время болезни Генрих Гейне показал мне и тетрадь со стихами, которые он, по его словам, сам основательно почистил. «Вы же знаете! — сказал он с язвительным намеком. — Их хватит на целый томик, но я не могу найти издателя». При моем посредничестве он договорился с книготорговцем Маурером, и в конце 1821 года (на титульном листе было напечатано «1822») «Стихотворения Генриха Гейне» были изданы.

Начало 1822

Хотя первый томик песен Гейне был принят благосклонно, он не был этим удовлетворен: он требовал немедленного эффекта в виде всеобщего восторга. <...> Я слышал от Гейне всякого рода выпады, которые выдавали его дурное расположение духа от успехов других писателей и, видимо, повлияли на некоторые из его позднейших произведений. «Нужно истязать бесчувственный немецкий характер, чтобы добиться от него признания нового гения и таланта», — говорил он, и когда однажды какая-то из его песен, в которой он, после начала в духе Зигварта, размахивал дубиной женоненавистничества, вызвала у меня двусмысленный смех, он также рассмеялся, добавив, однако: «У немцев легче стать забытым, чем знаменитым, особенно сейчас; они так упивались блаженством, доставляемым им чувствами, что необходимы весьма сильные средства для того, чтобы взволновать их, совсем так же, как ярмарка для них не ярмарка, если они после последнего танца не избьют друг друга ножками от скамеек».

ЙОЗЕФ ЛЕМАН

Конец 1821 года

ИЗ ВВЕДЕНИЯ К АДРЕСОВАННЫМ ЕМУ ПИСЬМАМ ГЕЙНЕ
(* 11.1.1868)

Зимой 1821 года я посещал лекции Гегеля по эстетике, и там один студент из Мекленбурга представил мне Генриха Гейне. Он только что напечатал у книготорговца и издателя Маурера книгу стихов, которую мекленбуржец тут же подарил мне, отрекомендовав своего старого товарища по Боннскому университету. Хотя эти стихи были напечатаны поэтом-студентом, они действительно содержали столько значительного, что не могли не imponировать нам, молодым людям. Я заинтересовался поэтом, который и сам, со своей стороны, сблизился со мной, ввел его в хорошо знакомый мне дом банкира Фейта, и там он ближе познакомился также с Мозером, ставшим впоследствии его задушевым другом, с профессором Гансом и с рано умершим несчастным поэтом Даниэлем Лесманом.

ФРИДЕРИКА ФОН ГОГЕНХАУЗЕН

1821 — 182

ПО СООБЩЕНИЮ ЕЕ МАТЕРИ ЭЛИЗЫ ФОН ГОГЕНХАУЗЕН
(* 19.3.1853)

Он был небольшого роста, щуплый, с белокурыми волосами и бледным лицом. В его лице не было ничего бросающегося в глаза, но ему было присуще столь своеобразное выражение, что оно сразу же обращало на себя внимание и оставалось в памяти. Тогда его характеру еще была свойственна мягкость, те шипы сарказма, которые позднее усыпали розу его поэзии, еще не выросли. Он сам был скорее чувствителен к насмешкам, нежели расположен к ним. На добрые чувства, которые он позже часто осмеивал, его душа откликнулась благозвучным эхом. <...>

Они <общие знакомые Гогенхаузенов и Гейне> встречались тогда в доме поэтессы Элизы фон Гогенхаузен; каждый вторник непритязательные берлинцы собирались там за чашкой чая. Среди них было много литературных знаменитостей: Варнхаген с тонким аристократическим выражением лица; Шамиссо, чье худое,

но благородное лицо причудливо обрамляли длинные седые вьющиеся волосы; Эдуард Ганс, чья удивительно красивая голова, свежий цвет лица, гордые дуги бровей над темными глазами вызывали в памяти одухотворенного Антиноя; Бендавид, этот располагающий к себе философ, ученик Мозеса Мендельсона, блещущий остроумием великолепный рассказчик забавных историй. Затем тогдашняя молодая поросль, теперь сплошь седовласые мужи, достижения высокого положения: художник Вильгельм Гензель, ныне профессор; Леопольд фон Ледебур, в ту пору лейтенант, учившийся в университете, ныне известный историограф и директор кунсткамеры в Берлинском музее; поэт Аполлониус фон Мальтиц, ныне русский посланник в Веймаре; граф Георг Бланкензее, певец рыцарства и эпигон Байрона, ныне член первой палаты, и т. д. Среди женщин первенствовала, конечно, Рахель фон Варнгаген; рядом с ней цвела тогда ее прекрасная золовка Фридерика Роберт, муза, которой поклонялся Гейне; к ее ногам были положены его самые прекрасные, самые лирические стихотворения о любви, например «На крыльях песни, подруга», «Твои жемчуга и алмазы» и т. д. К этому кружку принадлежали Амалия фон Гельвиг, урожденная фон Имхоф, переводчица саги о Фритьофе, Гельмина фон Чези, странствующая женщина-мейстерзингер того времени, равно как и еще многие обладавшие выдающимся умом женщины из высшего берлинского общества, такие, как госпожа фон Барделебен, с которой дружил Раумер, госпожа фон Вальдов, ныне теща А. фон Штернберга. Гейне читал там стихи из только что вышедшего «Лирического интермеццо», трагедии «Ратклиф» и «Альманзор». Ему нередко приходилось терпеливо выслушивать указания на недостатки и критические суждения, в частности его иногда высмеивали за поэтическую сентиментальность, которая спустя немного лет пробудила в сердцах молодежи такие теплые к нему чувства. Стихотворение, кончавшееся словами «И с громким рыданьем бросаюсь к ногам любимой моей», вызвало такой хохот, что Гейне так его и не напечатал. Мнения относительно его таланта были самые разные, лишь меньшинство предчувствовало, что в будущем его ждут признание и поэтическая слава. Элиза фон Гогенхаузен, которая в то время занималась переводами прославленного британца, лорда Байрона, первая провозгласила Гейне его преемником в Германии, что вызвало немало возражений; однако это ее признание обеспечило ей вечную благодарность со стороны Гейне.

ВИЛЬГЕЛЬМ ФОН ЧЕЗИ

1821—1823

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1863)

В Берлине Элиза <фон Гогенхаузен> вращалась в кругу лиц, которые с готовностью переносили свое восхищение красивой женщиной на ее поэтические произведения, что происходило бы и в том случае, если бы они обладали меньшей ценностью по сравнению с той, которую они действительно имели. Ее дом посещал Генрих Гейне, еще неизвестный как поэт широкой публике, хотя некоторые выдающиеся люди уже пророчили ему большое будущее. Это мнение разделяла и Гельмина фон Чези <мать Вильгельма фон Чези>, однако основание ей давали не стихи, уже написанные Гейне, а влажный блеск и мечтательное выражение его карих глаз.

ЭДУАРД ФОН ФИХТЕ

1821 — 1823

ПО СООБЩЕНИЮ ИММАНУЭЛЯ ГЕРМАНА ФОН ФИХТЕ

(* декабрь 1858)

Гейне <...> был среди нас одним из самых молодых, однако он уже утратил юношескую веселость и свежесть. Об этом рано увядшем телесно и пресыщенном духовно юноше говорили, что он споспешует общему веселью не столько собственными остротами, сколько своей ролью мишени для острот; Эдуард Ганс особенно преследовал Гейне своими злыми насмешками, не раз позволяя себе рискованные шутки по поводу его тщеславия и любопытства. В обществе Гейне большей частью был молчалив, держался обособленно и иронически наблюдал за остальными, чтобы затем внезапно привлечь к себе всеобщее внимание брошенными вскользь едкими остротами и язвительными замечаниями и по возможности вызвать в обществе некое волнение; этому искушению, щекотавшему его самолюбие, Гейне поддавался без всякого стеснения и не задумываясь. Его большое поэтическое дарование было признано в нашем кружке уже тогда (1821—1822), хотя не было недостатка и в людях, которые высказывали сомнение по поводу ценности произведений, рожденных его гением, отмечая известную слабость нравственной позиции и недостаток достоинства.

СООБЩЕНИЕ АДОЛЬФУ ШТРОДТМАНУ

(* 1867)

Внешность Гейне не была импозантной. Он был бледен и хил, его взгляд был тусклым. Из-за близорукости часто щурился. Из-за выпиравших скул на его лице образовались те мелкие морщинки, которые могли выдать его польско-еврейское происхождение. В остальном он не был похож на еврея. Цвет его гладко причесанных волос был неопределенным, зато он любил показывать свои изящные белые руки. В его характере и поведении была благородная сдержанность, некое личное инкогнито, с помощью которого он скрывал свое истинное достоинство от других. Он редко бывал оживленным. Я никогда не видел, чтобы он, будучи в дамском обществе, говорил комплименты женщине или молодой девушке. Он говорил тихим голосом, монотонно и медленно, словно подчеркивая каждый слог. Время от времени, когда он вставлял острое слово или умное замечание, на его губах возникала какая-то четырехугольная улыбка, совершенно не поддающаяся описанию.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1866)

В первый же день, как мы возобновили наше знакомство, мы подружились, проникшись доверием друг к другу, и Гейне предложил мне отказаться от чопорного «вы» и говорить друг другу «ты», как положено двоюродным братьям. За здоровье друг друга мы не пили, так как я был корпорантом первого семестра, а Гейне вообще не соблюдал студенческих обычаев.

Когда Гейне приходил ко мне, он обычно ложился на диван и жаловался на головную боль. Такая уж у него была привычка.

В один из вечеров, который я никогда не забуду, он сказал: «Фукс! Ты пишешь! Я давно это заметил. Или ты полагаешь, что по тебе этого не видно? Оставь стыдливость, прочти мне что-нибудь из твоих первых опусов!» Я так и сделал. Гейне внимательно слушал,

исправляя отдельные выражения и обороты, и время от времени говорил: «Браво! Подлинный на уральный мистицизм!» Напоследок он воскликнул с такой живостью, которую позволял себе очень редко: «Хорошо! Очень хорошо! Это лучшее из написанного в последнее время, за исключением того, что написал я!» <...>

Когда мы встретились в 1822 году в Берлине, я напомнил ему о «Гезейрес Хенгельпетхе» и историю «Хеп-хеп». «Подобные вещи не могут повториться, — говорил он, — так как пресса теперь — это оружие, и есть два еврея, которые владеют настоящим немецким слогом. Один — это я, другой — Бёрне». Следовательно, уже тогда у Гейне было предчувствие или, скорее, проистекающее из чувства собственного достоинства предощущение того значения, которое он приобретет в будущем. Тем не менее в 1835 году в Гамбурге опять были гонения на евреев, так называемый «скандал в Альстерхалле», который, однако, по своему размаху лишь наполовину напоминал историю «Хеп-хеп» и был значительно слабее.

КАРЛ ВИЛЬГЕЛЬМ ВЕЗЕРМАН

1822

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 16.2.1882)

Когда я впервые встретил Гейне в начале 1822 года в Берлине, внешность его — а ему было лет двадцать пять — двадцать шесть — производила приятное впечатление; хотя ростом он был всего лишь пять футов три дюйма (то есть несколько ниже среднего роста), он был тем не менее строен и весьма пропорционально сложен; черты его лица были правильными и почти не выдавали его еврейского происхождения; у него был несколько бледный цвет лица, бороду он брил, одет был в полном соответствии с модой: носил черный фрак, черные панталоны, сапоги с острыми носками, черный жилет, высокий белый галстук, который слегка прикрывал подбородок, и высокую войлочную шляпу с широкими полями (так называемый «боливар»). Он столовался со своим другом, поэтом фон Мальтицем, в «Кафе Националь» на улице Унтер-ден-Линден и вообще жил по-барски. Что касается меня, то я проживал вместе с моим другом Вернером и моим братом — оба были

офицерами во время Освободительных войн — на большой улице Егерштрассе в бельэтаже. Все трое мы увлекались архитектурой и изучали ее в Строительной академии и в университете, где учился и Гейне.

Вернер и мой брат были знакомы с Гейне с ранней юности, почему он по старой привязанности и бывал у нас два-три раза в неделю. Кроме того, нас часто посещали старые друзья, которые вместе с нами и с Гейне образовали своего рода клуб или веселое товарищество. Это были лейтенанты фон Ховилу, Меденвальд и фон дер Габленц, затем студенты Риц, Фаренкамп, фон Кречман и Пельцер. Мы были также вхожи в некоторые дома, в частности бывали на вечерах у господина старшего тайного советника строительного комитета Крелле и у господина Зете, президента ревизионного и кассационного суда (уроженца Рейнской области). У последнего мы также каждый раз встречаем Гейне, который был в задушевной дружбе с сыновьями господина президента Кристианом и Юлиусом. В таких домах при входе следовало сразу же сделать комплимент хозяйину и хозяйке дома и при этом поцеловать ей ручку — по возможности преклонив колено, что для нас, жителей Рейнской области, было несколько необычно, поскольку у нас это было не принято <...>

Что касается Гейне, о нем еще можно сказать, что он был несколько ипохондрического нрава и потому, посещая нас, часто жаловался. Когда я спрашивал его, как он поживает, он большей частью отвечал, просовывая ладонь под высокий галстук: «Ах, я чувствую себя плохо, у меня болит и здесь, и там, и везде». После того как мы выслушали этот ответ несколько десятков раз, мы подумали, что его жалобы, хотя бы частично, объясняются воображением, и решили, по крайней мере в этом отношении, подвергнуть его радикальному лечению. Как только Гейне появился у нас в следующий раз и начал свои обычные жалобы, брат сказал мне: «Иди-ка сюда, Вернер, попробуем излечить Гейне», после чего мой брат подхватил Гейне под одну руку, Вернер — под другую, и некоторое время они покружились с ним так по комнате, а потом спросили, не лучше ли ему. Тогда Гейне воскликнул: «Друзья, милые, отпустите меня, мне уже лучше!» Этот способ применялся от случая к случаю еще несколько раз, после чего Гейне, бывая у нас, уже не жаловался так много.

Кроме того, Гейне как писатель был несколько тщеславен: вот маленькое свидетельство. Брат иногда

переписывался с доктором Шульцем, редактором газеты «Вестфальский вестник», и вот однажды в письме д-ра Шульца моему брату мы прочли: «Скажите Вашему другу Гейне, что у Дункера и Гумблота (владельцы большого книжного магазина в Берлине) для него оставлен...» Далее следовало неразборчиво написанное слово, которое, после долгих усилий, мы наконец расшифровали. Нам казалось, что оно должно было читаться как «бокал». Вскоре после этого пришел Гейне, и мы встретили его радостными криками: «Гейне! У Дункера и Гумблота для тебя оставлен бокал!» — «Бокал?» — спросил Гейне удивленно, и лицо его приняло веселое выражение. «Да! Посмотри-ка сам вот здесь в письме д-ра Шульца, правда, слово написано не очень разборчиво, но мы не можем прочесть его иначе, чем «бокал». Снова начали рассматривать и расшифровывать это слово и наконец пришли к выводу, что оно должно читаться не «бокал», а «пакет». Лицо Гейне снова стало серьезным.

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

Лето 1822

ПО СООБЩЕНИЮ ГЕРМАНА ШИФФА

(* 1867)

Совершенно неожиданно летом 1822 года дело дошло до той дуэли, о которой он <Гейне> вспоминает в своем автобиографическом наброске; о подробностях, связанных с этой дуэлью, нам рассказал Шифф со слов ее свидетеля, еще здравствующего ныне гамбургского врача д-ра Филиппа Шмидта. Шмидт, который в то время учился в Берлинском университете и жил вместе со своим двоюродным братом Шаллером из Данцига, был еще по Гамбургу знаком с Гейне, часто его посещавшим. По студенческому обыкновению, Гейне называл Шаллера, лишь недавно поступившего в университет, не иначе как «фукс». «Фукс, — спросил его однажды Гейне, — дома ли твой двоюродный брат?» Это разозлило долговязого Шаллера, и он резко ответил Гейне обычным в таких случаях среди студентов оскорблением. Придя домой, Шмидт попытался уладить дело, он корил своего двоюродного брата за грубость, но Шаллер никак не хотел согласиться принести Гейне свои извинения. «Моя фамилия Шаллер, а не Фукс, — твердил он, — и Берлин — это не Геттинген. А вообще я бы с удовольствием хоть раз вышел на поединок,

чтобы научиться вести себя в таких случаях, и Гейне не будет для меня слишком опасным противником». Поэтому дуэль стала неизбежной. Раутенберг, впоследствии курортный врач в Куксхафене, передал Шаллеру вызов на дуэль. Шмидт был секундантом Шаллера. Когда противники сошлись, выяснилось, что оба они совсем не умели владеть своими рапирами. Они встали в позицию для отражения колющих ударов и сходились, чуть ли не повернувшись друг к другу спиной. Опасность грозила не дуэлянтам, а скорее их секундантам, и поединок неумелых противников закончился тем, что Гейне сам напоролся правым бедром на острие рапиры своего противника. «Укол!» — воскликнул он и опустился на землю. Укол в поединке на рапирах считается грубой ошибкой, и тот, кто, получив его, прежде чем упасть, своим криком высказывает возмущение этим нарушением студенческих обычаев, получает почетное удовлетворение. К счастью, рана, несмотря на сильное кровотечение, была неопасной, и прикладывания холодных компрессов в течение восьми дней ее залечили.

А. РЕБЕНШТЕЙН

Осень 1822

ИЗ СТАТЬИ ОБ ИММЕРМАНЕ

(* 22.7.1836)

Совсем недавно я разговаривал с молодым человеком, которому, когда он был школьником, Г. Гейне преподавал историю. В то время Гейне жил на четвертом этаже в доме на улице Росштрассе и печатал, будучи начинающим писателем, в журнале «Собеседник» свои стихи и некоторые прозаические произведения, которые лишь гораздо позже привлекли к себе внимание многих читателей. Его ученик много рассказывал мне о невысоком бледном молодом человеке, в котором он никак не мог бы увидеть чего-то особенного и который на уроках даже не был остроумным; рассказывал о том, как он варил себе кофе на уроках после обеда, как постоянно высовывался во время занятий из окна и его порой посещали веселые молодые друзья, которые, со всякими выдумками, заходили в комнату, нередко выпроваживали учеников за дверь и вели с Гейне такие речи, из которых ученики легко могли заключить, что он, собственно говоря, тоже принадлежит к тем, кого именуют поэтами.

СООБЩЕНИЕ ГУСТАВУ КАРПЕЛЕСУ

(* 1899)

Четырнадцатилетним мальчиком <...> я совершил свое первое путешествие в Берлин очень бедно одетый и всего с тремя серебряными грошами в кармане. О том, как я перебивался в дороге, умолчу. Короче говоря, после утомительного шестинедельного путешествия пешком я наконец попал в город, куда я стремился. В моем кошельке осталось четыре пфеннига. Томимый голодом, я купил на эти последние четыре пфеннига на Александерплац крыжовнику, который съел с жадностью. Подкрепившись этим лакомством, я продолжил путь по мосту Кенигсбрюкке и наконец пришел на улицу Нойе-Фридрихштрассе, где со мной заговорил какой-то господин, которому я пожаловался на свое бедственное положение и который привел меня в свою квартиру. Моей первой заботой было поступление в какую-нибудь школу, так как в то время я не имел совершенно никакого образования. Мой благодетель рассказал, что в Берлине образовалось общество, задачей которого является преподавание всех предметов юношам моего вероисповедания. Основателем и руководителем учебного заведения при этом Образовательном обществе были такие филантропы и ученые мужи, как Леопольд Цунц, Эдуард Ганс, Мозес Мозер, д-р И. Ауэрбах, д-р Рубо, Г. Норман, Людвиг Маркус, д-р Шёнберг, д-р Эстеррайх и... Генрих Гейне.

Из учеников, обучавшихся там вместе со мной, могу особо упомянуть одного — Соломона Мунка, который впоследствии стал всемирно известным ориенталистом. Занятия обычно проводились в квартирах вышеупомянутых деятелей по утрам, с 7 до 10 часов, а также после обеда. Цунц преподавал немецкую грамматику, стилистику и т. д., д-р Ганс — латинский язык, историю Рима и Греции, Людвиг Маркус очень основательно занимался с нами географией и естествознанием, д-р Шёнберг учил нас французскому языку.

Перехожу теперь к рассказу о главном лице упомянутого кружка преподавателей, а именно — о гениальном поэте Генрихе Гейне, который в то время жил на улице Нойе-Фридрихштрассе в доме № 47, принадлежавшем члену магистрата Давиду Фридлиндеру.

В торговом доме «М. Фридендер и компания» служил тогда в качестве доверенного представителя его лучший друг Мозес Мозер, которого он называл живым эпилогом к «Натану Мудрому» Лессинга. Гейне вел с нами занятия по французскому, немецкому языку и истории Германии. Он был великолепным лектором. С большим воодушевлением, более того, с неподражаемым поэтическим вдохновением он описывал победы Германа, или Арминия Германца, и поражение римского войска в Тевтобургском лесу. Герман, или Арминий, был для него примером великого героя и патриота, который рисковал жизнью, всем, что имел, чтобы завоевать свободу для своего народа и сбросить римское иго. Когда Гейне, напрягая голос, восклицал, как некогда Август: «Вар! Вар! Отдай мне мои легионы!» — его сердце ликовало, его прекрасные глаза блестели и его выразительное мужественное лицо сияло радостью и блаженством. Мы, его слушатели, были в высшей степени изумлены и даже потрясены; еще никогда прежде мы не слышали, чтобы он говорил с таким воодушевлением. Мы были готовы целовать ему руки, и наше почтение к нему сильно возросло и осталось у нас на всю жизнь. Само собой разумеется, что попутно он высказывался и о современной Германии. Мне особенно запомнилось, как он при этом выражал глубочайшее сожаление по поводу тогдашней раздробленности нашего отечества и говорил буквально следующее: «Когда я смотрю на карту Германии и вижу эту уйму цветных пятен, меня охватывает настоящий ужас. Напрасно спрашивать себя, кто, собственно, управляет Германией». К сожалению, поэт так и не дожил до объединения Германии во главе с доблестным и справедливым императором, которое он предсказывал в одном из своих последних стихотворений <...>

С радостью и любовью мы занимались у него французским языком. Уже после трех месяцев занятий я мог переводить Плуларха. Будучи девяностотрехлетним старцем, я и сейчас горжусь тем, что могу сказать: великий поэт особенно благоволил ко мне. В шутку он называл меня своим маленьким любимым учеником Вагнером. Я должен был приносить ему книги из Королевской библиотеки и менять их, а также оказывать другие мелкие услуги, за что получал от этого благородного человека щедрое вознаграждение. Насколько я сейчас еще могу вспомнить, Гейне находился в то время в расцвете своей молодости. Он был скорее высок, чем коренаст, его прекрасное, еще юношеское лицо излучало здоровье. У него были красивой формы

голова и белокурые волосы. Ничто в его внешности не указывало на его восточное происхождение. Одевался он всегда модно и элегантно. Одним словом: «He was a real gentleman, comme il faut»¹ с головы до пят.

Очень часто Гейне говорил о своей матери, которую любил с истинной нежностью. «Моя мать, — говорил он, — верно, родом из благородной еврейской семьи. Евреев часто изгоняли из европейских стран, так что мои предки оказались заброшенными в Голландию, где словечко *фон* превратилось в *ван*».

Каждый раз, когда он заводил речь о терпимости и свободе вероисповедания, он советовал нам эмигрировать в Америку или хотя бы в Англию. «В этих странах никому не приходит в голову спросить, во что ты веруешь или во что не веруешь? Каждый может там приобрести вечное блаженство на свой лад».

Он часто рассказывал короткие смешные истории из своих школьных лет. В частности, он рассказал о том, что однажды ему пришлось пережить почти то же, что и Шпигельбергу с собакой. О своих родных местах в Рейнской области он говорил с воодушевлением и описывал их как рай земной.

ФРИДРИХ ФОН ЮХТРИЦ

1822

ИЗ ПИСЬМА ФРИДРИХУ ГЕББЕЛЮ

Дюссельдорф, 3 мая 1853

Кружок молодых людей, в который я был принят по приезду в Берлин в конце 1821 года и в котором пробыл примерно полтора года, изображается <в книге Карла Циглера «Жизнь и характер Граббе»> как пример распущенности гениев <...>. Там же напечатаны записки отдельных его членов, адресованные Граббе, которые, будучи взяты сами по себе, действительно производят достаточно скверное впечатление. Но прежде всего Вы найдете вполне понятным то обстоятельство, что все вредные испарения, которые скапливались в этом кругу, получали выход по преимуществу в отношениях членов нашего сообщества с такой натурой, как Граббе, и в переписке с ним.

¹ Он был настоящим джентльменом (*англ.*), комильфо (*фр.*).

К тому же я ни в коем случае не хочу отрицать того факта, что в нашем кругу (наряду с респектабельными начинающими филистерами) были также и весьма ветреные молодые люди. Среди нас, включая и будущих филистеров, видимо, не было ни одного полностью безупречного человека; я, по крайней мере, не могу этим похвастаться и ничуть не желаю приукрашивать то, что мне ставят в вину.

Но я могу со всей определенностью утверждать, что среди моих тогдашних друзей (по крайней мере когда я там бывал) не происходило ничего такого, что заслуживало бы названия распущенности гениев. Конечно, в высказываниях и беседах требования приличия и чувство прекрасного уважались не всегда и не всеми, однако *никогда* — когда я бывал на этих собраниях — там не было ни одной женщины. Собирались мы по вечерам то у одного, то у другого попить чаю, который подают в берлинских меблированных комнатах, что было весьма далеко от всякого роскошества, и Кёхи или я читали что-нибудь из только что вышедших произведений Тика, Иммермана и т. д. или же произведение какого-нибудь старого автора; конечно, читали и Шекспира, распределив роли. Летом устраивались совместные прогулки и сборища в каком-нибудь общественном месте со скромными и безобидными удовольствиями. Вспоминаю лишь об одной ночной пирушке, которая происходила в одном винном погребке и закончилась всеобщей попойкой. От слишком частых роскошеств нас удерживали уже наши скромные финансовые возможности (исключение составляли лишь двое или трое) <...>. И вот в 11 номере «Пограничного вестника» за этот год я читаю: «На пасху 1822 года он, Граббе, уехал в Берлин, где примкнул к некоему литературному кружку (членами его были Гейне, Юхтриц, Людвиг Роберт и т. д.), в котором гениальность *самым упорным образом выражалась в извращенном образе жизни* и т. д.» Гейне, который тогда почти постоянно и обычно во время наших собраний сидел в углу дивана, жалуясь на головную боль, также совершенно незаслуженно назван *участником разгула, которым попрекали наш кружок*; бедный Людвиг Роберт тоже получил здесь, совсем как Гейне... оплеуху <...> Истина же состоит в том, что речь идет о совсем другом Роберте, которого звали вовсе не Людвигом и который никогда и не думал стать писателем.

СООБЩЕНИЕ АДОЛЬФУ ШТРОДТМАНУ

(* 1867)

Я был студентом второго семестра, когда в «Западногерманском альманахе муз за 1823 год» появилось стихотворение Гейне «Мне снился сон, что я господь...». Одна берлинская газета перепечатала его, и экземпляры этой газеты лежали на столах в кондитерской Иости, которую особенно часто посещали офицеры. Мы, «любители задираться», не преминули громко обсудить ту часть стихотворения, где говорилось о лейтенантах и юнкерах. Между тем присутствующие офицеры оказались умнее нас и не обратили никакого внимания на наши дерзкие замечания. Однако Гейне полагал, что ему следует опасаться какого-то акта мести с их стороны, и пожелал переменить место жительства. Я жил тогда на улице Унтер-ден-Линден недалеко от дворца принца Вильгельма в доме Шлезингера, где снимал просторную мансарду, за которой находилась маленькая комната, в то время пустовавшая. Гейне перебрался туда, и его вполне устраивало, что каждый, кто хотел его видеть, должен был сначала пройти через меня и я мог сказать нежелательным посетителям, что его нет дома. Он только сразу попросил меня остановить стенные часы, так как страдал головными болями нервного происхождения и стук маятника мешал ему. Несколько дней все шло замечательно, и Гейне был очень доволен новой квартирой. Вот только для студентов, которые хотели разрешить спор между собой с помощью рапиры, трудно было найти более удобное место, чем моя квартира, добраться до которой можно было, лишь поднявшись по трем внушительной высоты лестницам. Если надо было решить спор дуэлью, то мы выставляли часового, который патрулировал по Унтер-ден-Линден, ходя там взад и вперед, чтобы никакой педель не застал нас на месте преступления. Прежде чем такой непрошенный гость добрался бы до нас, мы были бы уже давно оповещены <...>, а острые рапиры и бинты спрятаны у нашего хозяина, где педелю нечего было делать. Я считал своим долгом известить Гейне о том, что после обеда в моей комнате произойдет нечто такое, что нельзя осуществить бесшумно. «А сколько времени это будет продолжаться?» — спросил он недовольно. «По меньшей мере несколько часов». — «Я не хочу при этом

присутствовать». — «Но мы здесь в полной безопасности». — «А я буду в еще большей безопасности, если не буду иметь с этим ничего общего». И он ушел. Дело закончилось довольно благополучно: рана в полтора дюйма на лбу и задетое левое веко — этого оказалось достаточно, чтобы прервать поединок. Зашивать рану не потребовалось, обошлись липким пластырем. Острые рапиры были убраны, сюртуки надеты, и мы развлекались, фехтуя тупыми рапирами. Я хорошо владел рапирой, и со мной охотно бились. Гейне, который потешался над всей этой суетной стороной студенческой жизни, сказал мне однажды с самодовольной насмешкой: «Ты научился фехтовать только из трусости. Мужества у тебя так же мало, как и у меня». Когда наши развлечения были в разгаре, он вернулся домой, поздоровался, как водится у буршей, не сняв шляпы, и молча прошел в свою комнату. Я тотчас же прекратил фехтовать и последовал за ним. «Сколько будет еще продолжаться эта кутерьма?» — недовольно спросил он. «Еще несколько выпадов. Ведь и на тебя и на меня обидятся, если я скажу, чтобы немедленно кончали фехтовать». — «Кто это? — спросили меня, когда я вернулся в комнату. — Филистер?» — «Поэт Гейне, старый бурш и мой двоюродный брат. Я бы не жил так вместе с посторонним, чтобы и он, и каждый, кто хочет его видеть, проходил через мою комнату». — «Почему ты нам об этом ничего не сказал?» — «Он живет здесь всего несколько дней». — «Все равно, мы не попросили у него разрешения и должны перед ним извиниться». Несколько человек пошли к нему, и Гейне был, как всегда, аристократичен и учтив. Тем не менее из-за этого случая он счел себя вынужденным съехать от меня на следующий же день и возвратился на свою старую квартиру. Я не подходил к его кругу, а он еще меньше подходил к кругу моих знакомых... тем не менее мы остались лучшими друзьями.

ЭДУАРД ГРИЗЕБАХ

Конец дек. 1822

ПО СООБЩЕНИЮ КАРЛА КЁХИ

(* 1902)

Губиц якобы показал <...> Гейне, когда тот однажды посетил его, рукопись «Готланда» и предложил ему посмотреть этот «бред сумасшедшего». Гейне полистал толстую рукопись и затем сказал: «Вы заблуждаетесь, дорогой Губиц, автор — не сумасшедший, а гений».

МАКС ЛЁВЕНТАЛЬ

Нач. 1823

ИЗ ДНЕВНИКА

Вена, 31 марта 1841

Как известно, Гейне ругает всех современных ему немецких писателей и хвалит только Иммермана, поскольку ему нужен кто-то для контраста. Но о Граббе он нигде не говорит. Причину этого объясняет следующий случай, о котором рассказал здесь лондонский профессор музыки Бехер. Иммерман, Гейне и Граббе проживали в Берлине совместно. Между двумя последними часто возникали трения. Но Граббе всегда превосходил Гейне по остроумию и грубости. Однажды Граббе особенно удачно показал свое превосходство над Гейне, так что тот не нашел ничего другого, как пригрозить Граббе, что отомстит ему в печати. Тогда силач Граббе схватил тшедушного Гейне, прижал его к стене, поднес к его глазам обнаженный нож и прокричал: «Если ты осмелишься когда-нибудь напечатать обо мне хоть одно худое слово, я тебя найду, где бы ты ни был, схвачу тебя вот так и зарежу, как курицу!»

ЛЕВИН БРАУНХАРДТ

Весна 1823

СООБЩЕНИЕ ГУСТАВУ КАРПЕЛЕСУ

(* 1899)

Весной 1823 года я встретил у него поутру д-ра Эдуарда Ганса, которому он радостно сообщил, что его сестра Лоттхен обручена в Гамбурге с господином Эмбденом. По случаю этого семейного события и мне досталась монета в восемь грошей, которую счастливый брат сунул мне в руку, чтобы я мог разделить его радость и побаловать себя чем-нибудь. Одновременно он вручил мне на память свой литографический миниатюрный портрет. <...> Самым близким его другом был, видимо, д-р Ганс, он ладил с ним более, чем с другими.

ИЗ СТАТЬИ О ПОСЕЩЕНИИ ГЕЙНЕ

(* 13.7.1854)

Гейне, как и я, постоянно оставался верен памяти о нашей совместной учебе в Берлинском университете, которая связала нас тесными дружескими узами. Ведь именно мне он читал свои первые прекрасные песни в комнатке на Мауэрштрассе, читал со свойственными ему переливами голоса, как бы подчеркивающими ритм стихотворения; ведь именно я держал корректуру этих песен, ставших классическими, когда они впервые печатались; в результате моих замечаний поэт даже вносил некоторые мелкие изменения; и именно я, раньше чем читательская публика, чем какой-либо критик, оценил красоту этих песен и расхваливал их другим.

**ИЗ ПРЕДИСЛОВИЯ К ИЗДАНИЮ
АДРЕСОВАННЫХ ЕМУ ПИСЕМ ГЕЙНЕ**

(* 11.1.1868)

В 1822 году я, общавшийся тогда с Гейне почти ежедневно и первым слышавший из его уст только что сочиненные им стихи, взял на себя корректуру трагедий «Ратклиф» и «Альманзор», изданных им под названием «Трагедии с лирическим интермеццо»; между трагедиями был помещен ряд его самых прекрасных лирических стихотворений, посвященных Фридерике (Рахели) Варнхаген фон Энзе. Позднее эти стихи были включены в «Книгу песен». Однако печатание этой книги продвигалось очень медленно, так как Гейне постоянно вносил в текст изменения. Эдуард Гитциг уговорил своего друга, книготорговца Фердинанда Дюмлера, издать эти произведения, сразу же высоко оцененные всеми друзьями немецкой народной поэзии. Но прохладный прием, оказанный им тем не менее публикой, — попытки Гейне добиться постановки одной из трагедий на сцене успеха не имели, а из всего тиража его книги было продано едва ли двести экземпляров, — так расстроил молодого поэта, что он, главным образом из-за этого, покинул Берлин и отправился к своим родителям, проживавшим тогда в Люнебурге.

АПОЛЛОНИУС ФОН МАЛЬТИЦ

1821—1823

ИЗ ПИСЬМА ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Веймар, 26 марта 1856

Как же нам не говорить о Гейне! Когда его хоронили, я проводил взором его катафалк. Мое мнение о его поэтическом таланте совпадает с мнением Тика — но как можно отрицать, что, собственно говоря, он — последний немецкий поэт, *который делал читателей счастливыми*, и, как я ни противлюсь этому в душе, он является любимцем нации, единственным, к кому молодежь не остается равнодушной. Почти тридцать четыре года тому назад он, полный безмятежности, подсел ко мне в кофейке Бойермана в Берлине или, лучше сказать, оказался сидящим рядом со мной. Мы очень хорошо поладили друг с другом и много смеялись вместе. Однажды я навестил его на Мауэрштрассе, где он жил у одного пекаря и где с каждым вдохом мы глотали полфунта муки, — он читал мне там свое новое стихотворение, начинавшееся словами: «Ах, этот свет, он слеп и глуп!» — и кончавшееся строкой: «Ты не рожала никогда и пьяной не была ты». При этих словах я издал горестный вопль — не знаю, сократил ли он это стихотворение, напечатанное в его сочинениях, именно потому, что я предостерег его таким образом. Я уже не помню, в какой газете появилось его описание кофейни Бойермана с ее завсегдатаями, одним из которых был я. С тех пор я больше не ношу зеленый сюртук, потому что Гейне, как сказали бы теперь, дагерротипировал меня в нем. Я вспоминаю, что иногда он страдал оглушавшими его головными болями. Насколько я помню, он принадлежал к компании, куда входили Юхтриц, Фуке и мой тезка Мальтиц — последний однажды в густой чаще Тиргартена вполголоса сказал мне: «Только между нами: я немного горбат»... Сказав об этой компании, я позабыл упомянуть Клиндворта и Губица. Первый *знал* почти столько же, сколько он выдумывал: такой, на мой взгляд, должна быть его эпитафия; второй был добрейшим человеком, имевшим слабость проходиться своим пером по чужим стихам. Мне вспоминается еще, что однажды я начал читать вместе с Гейне Вергилия, но он счел его слишком скучным и больше не открывал.

ОСКАР ЛЮДВИГ БЕРНГАРД ВОЛЬФ

Нач. сент. 1823

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 15.5.1835)

Я познакомился с Гейне в Гамбурге четырнадцать лет тому назад. Мы оба только что окончили университет и вступили в жизнь, полные гигантских надежд и планов, а также великой скорби как по поводу друзей, так и врагов, скорби, которая была свойственна всем нам, которую легко поймет посвященный; других эта скорбь не касается. Только что вышли трагедии Гейне с «Лирическим интермеццо»; в большинстве своем люди лишь глядели на эту книгу, только немногие ощущали ее истинную глубину, ту сжатую гордость, которая так великолепно давала себе волю и отрадное чувство главенства духа. О поэте было известно лишь то, что он очень остроумен и зол; да и что еще могли знать о нем в добропорядочном Гамбурге, особенно в том кругу, в котором вынужден был вращаться Гейне, понуждаемый к этому обстоятельствами, как и я, скованный сходными обстоятельствами? В характере Гейне было что-то от перелетной птицы, чего добрые гамбуржцы не очень-то любят, хотя город и ведет мировую торговлю; гамбургские обыватели не в состоянии понять, что можно есть, пить и спать в Гамбурге, а ощущать себя дома на Ганге и безуспешно пытаться заглушить тоску по своей настоящей родине...

Но я хотел говорить о Гейне. Не могу сказать, что он в те годы еще формировался, напротив, он представлялся тогда столь же зрелым, как и теперь; его отличительная черта состояла в том, что он с самого начала знал, чего хочет, и с железной последовательностью этого добивался; никто из его друзей и знакомых—и это действительно говорит о многом—не в состоянии упрекнуть его даже в малейшей непоследовательности.

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

ИЗ ДНЕВНИКА

Гамбург, 12 сент. 1823

У меня был Гейне со своей сестрой Лоттхен, которая замужем за ван Эмбденом. Это нежная, юная и приветливая особа. Он хотел познакомить ее со мной. Ассинга к Гейне не тянет. Он считает его тщеславным и эгоистичным. Гейне еще очень молод; возможно, его сделало несколько тщеславным то обстоятельство, что публика благосклонно приняла его стихи, чему, очевидно, способствовали и друзья, помещавшие хвалебные отзывы. Но это все образуется. Имея некоторый талант, в столь молодом возрасте легко стать высокомерным. Любовь и нежность, с которыми он относится к сестре, мне в нем нравятся. В остальных отношениях у меня еще нет о нем сложившегося мнения, но он интересует меня как человек и земляк.

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

Осень 1823

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1868)

В течение временного пребывания в Люнебурге Генрих жил в комнате, которая находилась рядом с моей, и мне удалось подслушать многое из того, что происходило в мастерской поэта. Он прочел мне также многие из своих прекраснейших стихов, на которых еще не высохла чернила, например, «Цветешь ты, словно ландыш...»; голосом он подчеркивал то, что находил удавшимся, и, как благонаправленный ребенок, выслушивал обоснованные и необоснованные замечания. Эта доверчивость придала мне храбрости, и я прочел ему некоторые из своих поэтических опытов. Он терпеливо выслушал мои плохие вирши и ласково сказал: «Милый Макс, пиши прозу; семье достаточно неприятностей и от *одного* поэта».

Мой брат Генрих неоднократно был свидетелем того, как я, участь в последнем классе гимназии, выполнял домашние задания по стихосложению. Мне очень нравились тогда античные размеры, я много переводил и ежедневно упражнялся в писании стихов,

что позволило мне достичь исключительной легкости в изготовлении немецких дистихов. Хотя Генрих высоко ценил античных авторов и уже тогда снискал себе своими стихами громкую славу как поэт, он еще никогда не пробовал себя в сочинении немецких гекзаметров. Мы много беседовали об этом предмете. Я цитировал прекрасные элегии Гете и не раз предлагал брату, чтобы и он обработал какую-нибудь тему в этом стихотворном размере. Несколько раз я повторил очаровательное стихотворение Гете, где он говорит о том, как отсчитывал ритм гекзаметров пальцами по затылку возлюбленной, когда «глаз, осязая, глядит; чувствует, глядя, рука»¹.

Наконец Генрих меня послушался, и когда я в один из следующих дней утром вошел в его комнату, он встретил меня с листом бумаги в руках, радостно восклицая: «Вот видишь, я тоже пустился сочинять гекзаметры!» Он прочел мне несколько строк из стихотворения «Утешение Дидоны», причем уже на третьем гекзаметре я прервал знаменитого поэта (отчего, будучи всего лишь учеником последнего класса гимназии, испытал немалое удовлетворение). «Ради бога, милый брат, — сказал я ему, — ведь в этом гекзаметре у тебя только *пять стоп!*» Затем, преисполненный школьной премудрости, я с важностью проскандировал ему этот стих. Когда он убедился в ошибке, он, к сожалению, порвал тот лист со словами: «Всяк сверчок знай свой шесток!»

Спустя несколько дней после того случая, о котором мы больше не говорили, однажды утром, когда я только проснулся, я увидел Генриха стоящим у моей постели. «Ах, дорогой Макс, — начал он с жалобным выражением лица, — какая это была ужасная ночь». Я перепугался. «Подумай только, сразу же после полуночи, когда я только уснул, меня начали мучить кошмары; несчастный гекзаметр с пятью стопами, хромя, подошел к моей постели и потребовал от меня шестую стопу, испуская ужасные стенания и изрыгая страшные угрозы. Сам Шейлок не мог бы настойчивее требовать свой фунт мяса, чем этот наглый гекзаметр—свою недостающую стопу. При этом он ссылался на свои исконные древние права, строил ужасные гримасы и отстал от меня, лишь когда я обещал, что никогда больше, куда жив, не покушусь ни на один гекзаметр».

¹ Перевод Н. Вольпин.

СООБЩЕНИЕ АДОЛЬФУ ШТРОДТМАНУ

(* 1873)

Гейне едва достигал среднего роста и был тщедушен. У него был очень приятный голос, лукавые глаза средней величины, светившиеся умом и живостью; увлеченный разговором, он имел обыкновение их прикрывать; у него был красивый, резко очерченный нос с легкой горбинкой, ничем не примечательный лоб, светло-русые волосы и рот, который постоянно подергивался и очень выделялся на его продолговатом, худом и болезненно бледном лице. Его алебастрово-белые руки отличались изящнейшей формой и некой одухотворенностью. Особенно красиво они выглядели, когда друзья, собравшись в своем кругу, просили Гейне продекламировать его великолепную песню о Рейне: «Как из тучи светит месяц...» и т. д. Тогда он обычно вставал и далеко простирал свою красивую белую руку. Присущая ему неистощимая веселость уже тогда в значительной мере определялась его телесным состоянием. Когда он хорошо себя чувствовал, он поистине очаровывал всех окружавших его людей. Поэт постоянно носил застегнутый доверху коричневый сюртук с двумя рядами пуговиц и маленький платок из черного шелка, легко повязанный на шее; летом на нем постоянно были нанковые панталоны и нередко башмаки с белыми чулками; форма его ног отнюдь не напоминала о «еврейской расе», как отмечает Лаубе. Наконец, он постоянно носил желтую соломенную шляпу или зеленую шапку с четырехугольным просторным верхом, который тогда опускали до самого козырька.

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН**ПО СООБЩЕНИЮ ГАНСА ЭЛИССЕНА**

(* 1867)

Как и во время своего первого пребывания в Геттингене, Гейне обедал в гостинице «Энглишер Хоф», у Михаэлиса, и ему и на этот раз пришлось пережить здесь неприятность из-за грубости одного студента. Гейне был очень разборчив в еде, и поэтому он иногда долго держал в руках блюдо с мясом, пока не выбирал наконец устраивавший его кусок. Такое гурманство

зливо его соседей по столу, и когда он однажды снова колдовал у этого блюда, случилось, что у сидевшего рядом с ним студента из-за затянувшегося ожидания лопнуло терпение, и он со словами: «Я вам покажу, как натывать мясо на вилку!» — не слишком деликатно ткнул наглого лакомку вилкой в руку. Насколько Гейне любил дразнить других, настолько он сам не любил быть мишенью злых шуток; он вызвал обидчика на дуэль и с того дня больше не показывался в этой гостинице.

К.-А. ВАРНХАГЕН ФОН ЭНЗЕ

Ок. 6 апреля 1824

ИЗ АНЕКДОТОВ О ГЕЙНЕ

(* 20.3.1856)

Весной 1824 года молодой Гейне приехал погостить из Геттингена в Берлин и, будучи еще студентом, должен был вместе с другими явиться за видом на жительство к статскому советнику Шульцу. Последний сделал весьма строгий вид, дотошно расспрашивал Гейне о его намерениях, предостерег его от крамольных действий и упрекнул в том, что ранее он вызвал своими взглядами подозрения у прусского правительства. «Боже мой! — сказал Гейне самым вежливым тоном, — да у меня всегда те же взгляды, что и у самого правительства, у меня вообще нет никаких взглядов!» Шульц почувствовал, что дальнейший разговор в этом духе поставит его в смешное положение, тут же оборвал его и этим удовольствовался.

МОЗЕС МОЗЕР

Апр./май 1824

ИЗ ПИСЬМА ИММАНУЭЛЮ ВОЛЬВИЛЮ

Берлин, 3/4 мая 1824

Наш друг Гейне просит меня передать тебе сердечный привет. Уже в течение нескольких недель я наслаждаюсь его обществом, но завтра он возвращается в Геттинген. Состояние его здоровья улучшилось. Хотелось бы все же, чтобы он скорее оказался в таком положении, которое дало бы ему возможность

спокойного развития и позволило бы создать самые значительные произведения. Я много слышал о нем от гамбургских барышень и проявил при этом довольно слабости, заставившей меня хотя бы частично составить себе плохое о нем представление. Однако, когда я вновь увидел его, я вернулся к собственному о нем мнению. Мне также совершенно ясно, почему эта натура так легко может быть неправильно понята или недоброжелательно охарактеризована недалекими людьми.

ФЕРДИНАНД ГРИММ

Май 1824

ИЗ ПИСЬМА ЯКОБУ И ВИЛЬГЕЛЬМУ ГРИММАМ

Берлин, 6 мая 1824

Я рекомендую вам хотя и не окончившего курс, но наблюдательного Г. Гейне из Дюссельдорфа, который возвращается, чтобы еще раз прослушать лекции о пандектах, в Геттинген, где он уже прежде учился с Гакстгаузенем и Штраубе и охотно хотел бы познакомиться с вами. Хотя его внешность не способствует возникновению хорошего впечатления о нем, зато в стихах его содержится что-то подлинно пережитое, они привлекают тем, что звучат как хорошие народные песни и многое в них напоминает Рюккерта.

ЭДУАРД ВЕДЕКИНД

ИЗ ДНЕВНИКА

Геттинген, 23 мая 1824

Сегодня в полдень я видел и поэта Гарри Гейне, который находится здесь с лета. Он изучает юриспруденцию и живет в одном доме с Мертенсом, где мне, может быть, представится возможность познакомиться с ним. Его внешность весьма мало располагает к нему, он мал ростом, похож на карлика с бледным и скучным лицом. Грютер знает его ближе и сегодня вечером рассказал мне, что Гейне работает теперь над новеллой, действие которой будет происходить в средние века.

14 июня 1824

Вечером я пошел к «Ульриху». Там встретил Грютера, вместе с которым был и Гейне. Я начал с Грютером разговор, в который Гейне вмешался, после чего я иногда обращался и к нему и задал ему несколько вопросов. Когда Гейне говорит, его лицо становится очень интересным. Впрочем, наш разговор не касался важных тем. Я намеренно старался не показать виду, что мне хочется с ним познакомиться, хотя в действительности это было для меня очень важно. Я лишь дал ему понять, что я его знаю, и спросил его, скоро ли он опять что-нибудь опубликует; услышав мой вопрос, он заулыбался и ответил отрицательно. Между прочим, он случайно упомянул о том, что уже бывал здесь раньше, но из университета его исключили. Почему это произошло, я его не спросил.

15 июня 1824

Вечером опять пошел к «Ульриху», надеясь встретить там Гейне, и не ошибся. Он сидел возле Мертенса, с которым он живет в одном доме. Я сел между ними и начал с Гейне разговор, который вскоре стал весьма содержательным. Сначала мы продолжали сидеть на скамье, затем вместе гуляли по саду. Наверное, мы проговорили друг с другом более часа. Речь шла в основном о следующем. Я рассказал ему об оценке Бутервеком его стихотворений и совершенно откровенно высказал ему и мое собственное мнение. Я ощущал некое практическое превосходство перед ним и поэтому вел себя по отношению к нему весьма непринужденно, вызывая его на откровенность, так что выслушал почти полностью его поэтическое кредо. Раньше он был очень привержен к крайнему романтизму, особенно из-за его близости к Шлегелю, когда еще учился в Боннском университете. Теперь он ему не симпатизирует и, значит, также предпочитает Бутервека. Он довольно высоко ценит еще и сказки и говорит, что сущность животных, о которой каждое животное как бы вещает нам, еще никто не понял; он связывает эту мысль с тем, что на самом деле сказка еще вовсе не создана. Своими ранними произведениями он недоволен; последние: «Альманзор», «Интермеццо» и «Ратклиф» нравятся ему больше, особенно вторая трагедия, о которой он рассказал мне много интересно: «Собственно, я ни от кого не слышал, что такое Ратклиф, и о том, что он безумен; этого еще никто не обнаружил, и все же это несомненно, ведь у него

навязчивая идея. Ратклиф следует ей, потому что иначе не может. Этим частично объясняется своеобразное воздействие этой драмы, так как отнюдь не Ратклиф действует в ней и борется с судьбой, но главным активным началом является сама судьба, а Ратклиф — несвободная личность, он должен поступать именно так». Я сам никогда «Ратклифа» так не воспринимал, напротив, то, что Гейне считает несвободой воли, я рассматриваю как проявление железной воли, как твердое свободное решение. Гейне весьма почитает Бюргера; Гете он оценивает выше, чем Шиллера, но последнего *любит* больше. «Гете, — говорит он, — это гордость немецкой литературы, Шиллер — гордость немецкого народа». «Кстати, — продолжал он, — Гете многое присвоил, например, «Дикую розочку» и «Скажи, что так задумчив ты? Все весело вокруг...»¹, ведь это старые, преданные ныне забвению народные песни». Я читал к тому времени все, что Гейне до сих пор выпустил в свет, и знал многие его стихотворения наизусть; то, что это ему до известной степени польстило, вполне естественно, и я со спокойной совестью похвалил несколько его стихотворений. Когда я сказал ему, что его «Ратклифа» можно читать и перечитывать, ибо в нем заключен глубокий смысл, он ответил мне, что и сам все еще открывает в нем нечто новое и что эта трагедия, когда он ее перечитывает, производит и на него сильное впечатление. Я сказал, что я основательно изучил все его стихотворения. «Собственно говоря, — ответил он, — их и следует изучать, так как их не так уж просто понять». Он произнес это без всякой похвальбы. Хоть я и хвалил его во время нашего разговора, тем не менее я не утаил, что кое-что мне у него не нравится. Так, между прочим, я заявил ему, что мне было бы приятно, если бы он перестал писать ничего не значащие стихотворения о сновидениях, а по поводу его «Альманзора» выразил свое недовольство тем, что, изображая любовь своего героя вначале такой чистой и благородной, автор низвел ее к концу до скотской. По поводу своих стихов о сновидениях он высказался в том смысле, что в них все же что-то есть и что, наверное, он снова сочинит цикл таких стихов. А «Альманзор» потому начинается с показа столь пылкой любви, что автор должен был сразу же продемонстрировать нарастающую напряженность действия, в конце концов доведя своего героя чуть ли не до зверского

¹ Начало стихотворения Гете «Утешение в слезах», Перевод В. Жуковского.

состояния. К тому же, как он полагает, нужно было доказать, что герой—африканец. Я на это возразил, что жестокость в характере героя в конце пьесы не соответствует изображению его характера в начале и не украшает трагедию в целом и что постепенный переход от любви, обожествляющей свой предмет, к чисто плотской страсти вовсе не дает какого-либо нарастания напряженности. Он, казалось мне, согласился с этим. Сюжет «Альманзора» он нашел в одном испанском романсе, сюжет «Ратклифа» — полностью плод его собственной фантазии. Разговор об «Интермеццо» привел нас к разговору о его собственной любви и о причинах этой любовью страданиях; все это у него — исключительно результат воображения, вероятно, почти так же, как у меня. Говоря об «Интермеццо», он спросил меня, не сложилось ли у меня при чтении этих стихов впечатление, что их автор — добродушный человек; на что я должен был ответить ему отрицательно.

Гейне очень болезнен; на мой вопрос, ощущает ли он поэтическое вдохновение всегда или только временами, он ответил, что ощущает вдохновение всегда, когда хорошо себя чувствует. Далее он сказал, что у него сейчас много планов и он ведет обширную подготовительную работу. Он делает выписки из старинных хроник в библиотеке и работает над новеллой, которая будет историческим повествованием из времен средневековья. Вернуться к сочинению небольших стихотворений он пока что не намерен; в этом я пытался его разубедить. Когда я заговорил о его оригинальности, он сказал: «Сначала она мне вредила, люди не знали, за кого им следует меня считать, а вот теперь она приносит мне пользу». Он шестой год учится в университете и все еще должен потеть над пандектами. Он слушает о них лекции Мейстера и пока больше ничего не делает. Вчера он сказал мне, что если бы свод законов римского права был напечатан в книге календарного формата, он бы, конечно, разобрался в этом предмете, но большой формат его отпугивает. К Михайлову дню он хочет окончить университет и затем отправиться путешествовать, вероятно, по Италии. Знакомых у него мало; мы договорились по взаимному согласию ходить друг к другу в гости.

Гейне родом из Дюссельдорфа и в дальнейшем думает избрать себе юридическое поприще, но будет ли он заниматься этим в Пруссии, он еще не знает. Он был ранее исключен из здешнего университета за участие в студенческих выходках в новогоднюю ночь и из-за

попытки вызвать кого-то на дуэль. Сюда он прибыл уже из Бонна, с подписанным решением об его исключении. Он говорит, что там он натворил немало всяких проказ и каждый вечер приходил домой очень поздно и в подпитии, так что его хозяйка, когда он, скажем, был дома уже в десять часов вечера, всегда в испуге заглядывала к нему и спрашивала, не заболел ли он. Я благоразумно воздержался от того, чтобы позволить себе в его присутствии хоть малейший намек на свои поэтические опыты. Однажды у нас зашел разговор и о журналах; по его словам, он читает только два журнала, на что я сказал ему, что он мог бы купить очень много журналов у Ванденхука и за очень дешевую цену. «Ах, — ответил он, — это мне не поможет, там я получу их на полгода позднее, а я должен читать их сразу же по выходе». Думаю, что знакомство с Гейне будет для меня очень полезно; уже сегодня он подкинул мне несколько хороших идей.

16 июня 1824

Вечером я пошел к «Ульриху», будучи, как всегда, уверен, что встречу там Гейне. На этот раз я дал ему повод заговорить со мной; затем мы снова пошли гулять по саду, и Гейне опять развивал передо мной множество совершенно новых взглядов и идей. Он — колоссальный гений, притом совсем не занятый одним собой, так что общение с ним для меня чрезвычайно интересно. Я думаю, что и я ему нравлюсь, и, насколько я теперь его знаю, мы будем очень хорошо ладить друг с другом, хотя во многих отношениях мы очень разные. Я вновь запишу самое интересное из нашей беседы. Позади нас в беседке сидело несколько дам; я спросил его, разглядел ли он их. «Ах, — ответил он, — я очень близорук». — «Почему же вы тогда не носите очки?» — «Очки придают такой напыщенный вид». — «Как вы можете говорить это мне? — спросил я его смеясь. — Ведь я же как раз хожу в очках». — «Ах, боже мой, я совсем этого не заметил», — сказал он быстро и очень долго извинялся. Эта история нас позабавила, и мы оба над ней очень смеялись.

Пока мы гуляли, он все время пинал перед собой маленькие камешки, лежащие на дорожке. Мы проходили мимо растущих вдоль дороги ярко-красных роз. В связи с его вчерашними замечаниями о сказке я спросил его, что, по его мнению, говорят ему эти розы. «Они напоминают мне разряженную бедность», — сказал он после некоторого раздумья удивительно

метко. Показав на нераспустившийся бутон розы, он спросил, не выглядит ли бутон почти наивно, и я это подтвердил. Сегодня я намеренно заговорил с ним о юриспруденции. Он слушает лекции Мейстера о пандектах. «Во-первых, это чудесный парень, — сказал он, — во-вторых, излагает все кратко, и сразу видишь, как это можно применить». Римское право его тоже интересует, но больше его интересует каноническое право: «Было бы очень интересно изобразить борьбу канонического и римского права друг с другом, показать, как декретисты и романисты чуть не поубивали из-за этого друг друга до смерти в Болонье». «Кстати, — добавил он, — я в праве ничего не смыслю, кроме того, что случайно застряло в памяти из разных разделов. Но иногда оказывается, что в памяти застряло больше, чем я сам думал. Я вообще ни в чем не разбираюсь, кроме метрики. Впрочем, это было моей постоянной остротой: когда кто-нибудь писал что-нибудь хорошее или плохое, я говорил: «Он разбирается в метрике», или: «Он не разбирается в метрике». «Метрика, — продолжал он, — ужасно трудна; в Германии есть, может быть, всего шесть или семь человек, которые ее освоили» (будучи написано на бумаге, это звучит несколько заносчиво, но в том тоне, в каком он это сказал, заносчивости совсем не было). «Меня познакомил со стихосложением Шлегель, — продолжал он, — это — колосс. Он совсем не поэт, но, в совершенстве владея метрикой, писал иногда такое, что оказывалось настоящей поэзией. Фосс тоже очень хорош». — «Мне кажется, — сказал я ему, — что вы связываете со словом «метрика» более широкое понятие, чем то принято. И это вполне естественно, — хотя счет стоп и слогов рассматривают лишь как нечто второстепенное и элементарное и, по моему мнению, характер большинства поэтических форм постигнуть довольно легко. Правда, его не всегда можно выразить в ясных словах, но чувство, если оно в какой-то мере развито, поведет тебя по верному пути. Я вообще-то убежден, что поэт никогда не должен искать только форму, ему не следует отделять ее от содержания; скорее я полагаю, что с возникновением стихотворения вместе с ним и одновременно возникает и свойственная ему форма, образующая с ним единое целое». «Как правило, — сказал Гейне, — это, наверное, так, но не всегда: иногда можно, по-видимому, и заранее поискать форму, потому что она должна быть не просто вспомогательным средством, но и чем-то продуктивным». Здесь я хотел было возразить ему, но он тотчас же продолжил свою

мысль: «Я до сих пор так и не могу постигнуть, в чем же заключается истинная прелесть античных размеров, ведь, на мой взгляд, они совсем не согласуются с немецким языком, например гекзаметры. У нас есть немало хороших стихов, написанных гекзаметрами, они сделаны мастерски и с соблюдением всех правил, к ним никак нельзя придаться, но все же мне они не нравятся. Существуют лишь несколько исключений, причем все равно это далеко не самые лучшие стихи, например «Римские элегии» Гете. Шлегель рассказывал мне, что Гете читал ему свою рукопись и что он <Шлегель> обратил его внимание на многие неточности в версификации, но Гете сказал ему, что он, конечно, видит эти неправильности, но ему не хочется вносить изменения, потому что стихи в их теперешнем виде нравятся ему больше, чем если бы они были исправлены. В чем же здесь дело?» — «Дело здесь, конечно, в духе немецкого языка, — сказал я, — это звучит общо, но я не могу выразить это точнее. К тому же, — продолжал я, — среди этих исключений, то есть таких стихотворений, в которых мне античная форма нравится, есть несколько од Клопштока, например «Ода к Цюрихскому озеру» и оды к Эберту и Гизеке». — «Вообще из сочинений Клопштока мне больше всего нравятся оды», — сказал Гейне.

Я: «Читали ли вы уже «Мессиаду»?»

Гейне: «Нет, я бы этого не смог одолеть».

Я: «У меня такое же чувство, я никогда не могу прочесть больше первых двухсот стихов. Иногда «Мессиада» кажется мне проповедью в стихах». Гейне со мной согласился.

Затем, я уже не помню, как это получилось, мы заговорили о размышлениях в стихах. «Терпеть их не могу <сказал Гейне>, особенно рассуждения, которые вкладываются в уста всяких портных; как раз сегодня я написал маленькую шутку, в которой я их пародирую». Я попросил его прочесть мне это стихотворение, если он его помнит. «Оно у меня, наверное, с собой», — сказал Гейне. Он сунул руку в боковой карман и вытащил аккуратно сложенную половину листа почтовой бумаги. В рукописи было много зачеркнутых мест и исправлений, текст был примерно такой.

Блаженны те, кто честь хранят,
Презренны, кто честь утратили!
Меня — несчастного юношу —
Сгубили дурные приятели!

Они завладели моим кошельком
Не в ту роковую минуту ли,
Когда они к картам меня подвели
И с грязными девками спутали?

И вот, когда я упился в дым,
Совсем потерявши голову,
Они меня — бедного юношу —
Швырнули на улицу голого.

А утром, очнувшись, почувал я —
Ползут по спине мурашки.
Сидел я — несчастный юноша —
В Касселе, в каталажке!¹

Он читал это стихотворение очень живо и пародировал при этом жеманную, приторную манеру декламации. Стихотворение мне понравилось. «Хорошим пробным камнем для таких стихов, — сказал я, — иногда может быть попытка тотчас же представить себе при этом конкретное лицо, и я сразу вообразил себе такого жеманного субъекта, который рассказывает о своих ужасных злоключениях со всей плаксивостью, на какую только способен. Кстати, я посоветовал бы вам изменить в последней строфе рифмующиеся слова *Sache* и *Wache* и поставить вместо них слова со звуками «i» и «и»; слова с этими звуками стоят во всех остальных строфах и превосходно соответствуют характеру изображаемого человека».

Гейне: «Да, я знаю, конечно, что последние рифмы *gebracht* и *Sache* не годятся, но я не могу их ничем заменить, так как в конце непременно должно стоять *Wache*². Видите ли, здесь тоже есть метрическая хитрость: «*zu Kassel auf der Wache*» звучит совсем по-иному, чем «*auf der Wache zu Kassel*», а «*es haben mich die bösen Gesellen verführet*» тоже звучит иначе, чем «*die bösen Gesellen haben mich verführet*». Вся соль заключается в слове *der Jüngling* <юноша>, которое стоит в строках, где не хватает одной стопы, и потому произносится особенно протяжно».

«Кстати, — сказал я ему, — ведь не всякий поймет это стихотворение, если он не слышал, как *вы* его читаете». — «Боже сохрани, — ответил Гейне, — да его никто не поймет».

Я: «Однако меня радует, что вы не храните верность высказанному вами вчера намерению не писать в ближайшее время никаких стихов». — «Ах, — сказал Гейне, — это не стихи». — «Вообще я думаю, — продолжал

¹ Перевод Л. Гинзбурга.

² Каталажка (нем.).

я, — что поэту не нужно строить никаких планов, он должен следовать велению своей музыки».

Потом я спросил его еще, не пробовал ли он свои силы в жанре собственно сатиры. «Это опасное ремесло», — ответил он. «Почему? Она только не должна задевать личности». — «Ах! Любая сатира кого-нибудь да задевает». В качестве примера, опровергающего эту его мысль, я привел ему сатиры Горация. «Это скорее хороший юмор, — гласил его ответ. — Величайшим сатириком был Аристофан, и мне было бы очень желательно, чтобы у нас снова появилась сатира, задевающая личности». — «Это было бы нехорошо, — сказал я, — это послужило бы причиной слишком многих и слишком ожесточенных чернильных войн». — «Так ведь народу нельзя давать закусать». — «Тогда пусть он хватается за меч, но только не за перо». — «Но ведь Эразм и Лютер сражались пером». — «Это было совсем другое дело, — возразил я, — там перед ними была высокая важная цель, и на карту было поставлено благо целых наций. Естественно, что Лютер должен был всеми возможными способами защищать высшие принципы и то, что он распроставлял как истину, чтобы оно не погибло. Занимайтесь пока что сатирой, направленной на личности, для себя; это хорошая возможность поупражняться и повеселить ваших друзей, хотя вы и не будете печатать ваши сатирические вещи». — «Я уже начал этим заниматься, я пишу мемуары и написал уже довольно много. Пока что они лежат без движения, потому что у меня другие дела, но я их буду продолжать, и изданы они будут либо после моей смерти, либо при жизни, но тогда, когда я достигну столь же зрелого возраста, как этот старый господин <Гете>». — «Я бы пожелал ему, — начал я, — чтобы он умер раньше, мир потерял бы много, а его слава выиграла бы». Гейне всячески оспаривал эти мои слова. «Возьмите Шиллера, — сказал я ему, — он вот умер как раз вовремя; он сказал достаточно для того, чтобы стать бессмертным, и дал миру возможность сожалеть о том, что он даже не закончил своего «Димитрия». Гейне молчал.

По дороге мы увидели нескольких индюков, которые взлетели на перила маленького моста и смотрели оттуда на воду. «Они хотят вернуться на землю, — сказал Гейне, — но слишком глупы для того, чтобы оглянуться». Его это очень позабавило.

Нам повстречался также д-р Лахман, один из здешних молодых доцентов, у которого высокомерие прямо-таки на лбу написано. В определенные часы он дежурит в библиотеке, у него бывают разные прихоти,

и это испытал на себе Гейне. «Этот тип заявил мне недавно, — начал Гейне лукаво, — что я не имею права сам брать книги с полок, как всегда делал это до сих пор». — «Но ведь это действительно запрещено», — возразил я. «Да, но у него есть и другие причуды. И он за это заплатится, — сказал Гейне с самым плутовским выражением лица. — Когда он больше не будет мне нужен, я нагряну в библиотеку с оравой студентов, и вот тогда-то он ползает на все самые высокие полки, и если он не сможет найти нужные книги или не захочет их искать, я скажу ему, что он совсем не знает, где что стоит». — «И это называется добродушие?» — спросил я его, имея в виду его вчерашний вопрос, не нахожу ли я в его стихах нечто, свидетельствующее о добродушии их автора. Гейне сначала подумал над моими словами, а потом начал смеяться.

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

1824/1825

ПО РАССКАЗАМ ГЕТТИНГЕНСКИХ СТУДЕНТОВ

(* 1868)

Хотя Гейне избрал своей специальностью юриспруденцию, он все же считал ее слишком сухой, чтобы находить в ней для себя удовольствие, и не упускал случая испробовать свое остроумие на геттингенских профессорах-юристах.

Не был пощажен и Мейстер, знаменитый знаток пандектов, учивший Гейне; улицу, где находился дом, в котором Мейстер читал свои лекции, все называли Пандектенгассе.

С помощью своих друзей Гейне распространил в городе слух, что на Пандектенгассе каждую ночь является привидение. Геттингенские филистеры даже не осмелились усомниться в этом; молва гласила, что там бродит дух одного студента, умершего со скуки на лекции Мейстера, и что душа покойника не найдет себе успокоения до тех пор, пока Мейстер не отпустит хотя бы одну остроту. Эта история так разозлила Мейстера, что он перенес свои лекции из дома на Пандектенгассе в помещение, расположенное на другой улице.

ЭДУАРД ВЕДЕКИНД

1824/1825

ИЗ ПИСЕМ АДОЛЬФУ ШТРОДТМАНУ

Услар, 5 сент. 1876

«Ну и окаянный же ты парень, будь ты проклят», — сказал он <Гейне> мне дважды. В первый раз это было, когда я, не зная ровно ничего о его любовных приключениях и основываясь лишь на его стихах и «Ратклифе», доказал ему, что он, вне сомнения, был влюблен в одну из своих кузин; это такое родство, которое, особенно учитывая атмосферу, царящую в гамбургских семьях, допускает большую близость, не оставляя места притязаниям на любовь. Другой раз это произошло во время разговора о Гете, который является моим кумиром среди поэтов и у которого, при всем том, преобладает рефлексия (по крайней мере, весьма высокая степень рассудительности). Этого не хотел признавать Г<ейне>, пока я не обратил его внимание, в частности, на сновидение Клерхен в «Эгмонте» и на обручальное кольцо на пальце Доротеи в «Германе и Доротее». Г<ейне> восхищался Гете чуть ли не больше, нежели я сам, тогда как я ставил Шиллера как драматурга выше него. Г<ейне> не хотел этого признавать и сказал, что Шиллер никогда не написал ничего равного «Эгмонту».

Услар, 30 сент. 1876

Гейне, который, как известно, был мал ростом и худ, выглядел каждый раз по-иному в зависимости от своего состояния. В хорошие минуты ему была свойственна невероятно располагающая к нему приветливость, и всего интереснее было его лицо, когда он замышлял какую-нибудь добродушно-плутовскую проделку. Тогда его небольшие, миндалевидной формы глаза (нередко с покрасневшими веками) сверкали добродушной хитрецой.

ИЗ ДНЕВНИКА

Геттинген, 20 июня 1824

Гейне все же узнал, что я занимаюсь сочинительством. Сегодня мы хотели поехать за город; когда я в связи с этим пришел к нему домой, он показал мне

новый журнал «Агриппина», который издавался несколькими его друзьями и куда почти все его друзья писали статьи. «Вас я тоже хочу просить, — сказал он, — написать что-нибудь для журнала». Я спросил его, как ему пришла в голову эта мысль; мне нечего дать в журнал. «У вас нет никаких стихов?» — «Нет». — «А прозаических сочинений тоже нет?» — «Нет». — «Ах, признайтесь же откровенно, что у вас есть, я терпеть не могу, когда кто-нибудь изображает из себя этакое скромника. В ближайшие дни, как только у меня будет хорошее настроение, — сказал он мне, — я приду к вам, чтобы вы почитали мне что-нибудь». Я сделаю это отчасти охотно, отчасти нет; охотно, потому что он, конечно, выскажет мне свое суждение без обиняков; неохотно, потому что почти каждый человек, и в особенности тот, кто уже сам что-то напечатал, не может как следует оценить неопубликованные вещи другого. Насчет тех материалов, о которых он меня просил, я еще ничего ему не сказал, но я не дам ему для журнала ничего, потому что я хочу стать известным читателям сразу. Я придерживаюсь мнения, что можно многое выиграть, если появиться в литературе неожиданно для публики. В гостиной у Гейне царит страшный беспорядок; кровать находится тоже там вместе с прочей мебелью, хотя у него есть очень хорошая спальня, а все книги и журналы валяются вперемежку на столах. Я сказал ему, что я приведу сюда какого-нибудь художника, вроде Тенирса, чтобы он нарисовал все это. После мы отправились в «Мариашпринг», а вечером — Гейне, Мертенс, Швитринг и я — еще и в «Ландвер»; когда мы вернулись, мы еще остались все вместе до 10 часов вечера у Мертенса. Я все больше привязываюсь к Гейне, он премилый малый. Во многом наши мнения совпадают, во многом — полностью расходятся, и у нас всегда бывают очень интересные обсуждения. Сегодня мы говорили о любви в поэзии. Он отдает предпочтение чувственной любви перед платонической; но вскоре мы сошлись, потому что мы, собственно, придерживались одного и того же мнения и только вкладывали разный смысл в одни и те же слова. Платонической любовью он называет гиперсентиментальность, я же понимал чувственную любовь только как животное влечение. Мы легко согласились, что земная любовь в облагороженной форме, равным образом далекая и от животной и от небесной, является самой благодатной темой для поэзии. Одной даме, которая, желая повергнуть Гейне в смущение, как-то спросила его: «Вы, наверно, любите платонически?»,

он ответил: «Да, милостивая государыня, как казачий атаман Платов». «Ну и ошеломлена же она была», — добавил он добродушно. Мы заговорили о «Фаусте» Гете. «Я тоже думаю написать своего «Фауста», — сказал он, — но не для того, чтобы соперничать с Гете, а потому, что каждый человек должен написать своего «Фауста». — «Тогда я хотел бы посоветовать вам по крайней мере не печатать его, — сказал я, — в таком случае работа над ним будет для вас хорошим упражнением. Если бы вы решились его напечатать, то публика...» — «Послушайте, — прервал он меня, — на публику вовсе не нужно обращать внимания; все, что она обо мне говорила, я всегда узнавал случайно из разговоров с другими». — «Я разделяю ваше мнение, что нельзя давать публике сбивать нашего брата с толку, — ответил я ему на это, — так же как нельзя гоняться за ее благосклонностью, но не следует доводить дело до того, что у нее возникнет предубеждение против вас, если вы хотите услышать ее беспристрастное суждение, и, конечно, вы настроили бы ее в какой-то мере против себя, если бы вы написали «Фауста». Публика сочла бы вас заносчивым, приписав вам такое качество, которое вам совсем не свойственно». — «Тогда я подберу для него другое название». — «Это хорошо, — сказал я, — в таком случае вы избежите отрицательных последствий; Клингеману и Ла Мотту Фуке тоже следовало так поступить». Кстати, он очень высоко ценит Ла Мотта, а я — нет; для меня Фуке слишком приторен, и я в самом деле не понимаю, как Гейне может так высоко его оценивать. Один раз речь зашла у нас о «Кримхильде» Эйхгорна. «В этом произведении есть одна главная ошибка, — сказал Гейне, — а именно то, что оно написано; Эйхгорн — не только не поэт, он антипоэтичен». Потом, снова впадая в свой иронический тон, он сказал: «Эйхгорн — один из наших величайших сатириков». Я никогда по-настоящему не мог найти удовольствия в произведениях античных авторов, в том числе и в поэмах Гомера. «Да не зачтет вам этого бог!» — сказал Гейне. Теорию поэзии Гейне целиком прослушал у Шлегеля. Гейне почти все время прихварывает и очень страдает головными болями. Этим, видимо, и объясняется такая переменчивость его настроения. Время от времени он целиком погружается в ипохондрию, а потом вдруг отпускает изысканнейшие остроты. Когда он в хорошем расположении духа, он в высшей степени остроумен, а если заговариваешь о его любви, он всегда начинает пародировать. Я задал ему вопрос и о его переводах. «Собственно говоря, мои переводы из лорда

Байрона были проявлением большого тщеславия с моей стороны, — Шлегель всегда говорил мне, что Байрон неперево́дим, и поэтому я взялся за перевод и занимался им день и ночь с величайшим напряжением». — «Ну и что же сказал в результате Шлегель?» — «Да, он признал, что мой перевод производит такое же впечатление, как и оригинал; но перевод должен был даваться мне легче, чем любому другому, потому что у меня есть некоторое сходство в характере с Байроном». Для меня было добрым знаком, что Гейне спросил меня, что я думаю о Грютере, которого он очень хорошо знал. «В нем есть что-то юношески благотворное», — сказал он. Я уклонился от ответа на эти слова, но мне было приятно, что он уже спросил меня, какого я мнения о его прежнем друге.

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

Июнь/июль 1824

(* 29.5—2.6.1839)

Когда я учился с ним в университете, я иногда спрашивал его, почему то или иное его стихотворение особенно хорошо; однако он никогда не мог назвать точную причину этого, и еще сегодня я могу предложить ему пари, что он сам не понимает своей трагедии «Ратклиф» — своего самого мистического и возвышенного, действительно почти непостижимого (равно как «Гамлет») произведения <...> Гейне любил говорить о Байроне и ощущал себя ему равным, в чине примерно надворного советника, как он выражался, тогда как Шекспира он называл королем, который вправе их обоих немедленно отставить от должности. <...>

Трагедия Гейне «Ратклиф», представляющая собой, по моему мнению, его шедевр, ставит критике столь же трудную задачу; однако попытка ее решения в данной статье завела бы слишком далеко. Быть может, я попытаюсь это сделать в следующий раз и — пусть с запозданием — выполню пожелание, высказанное мне Гейне еще в Геттингене.

В то время он работал там над новеллой, сюжет которой должен был быть взят из эпохи средневековья, но никаких подробностей о ней никому не рассказывал и не закончил эту работу из-за своего путешествия по Гарцу, после которого он написал первую часть «Путевых картин».

АДОЛЬФ ПЕТЕРС

ИЗ ПИСЬМА ФИЛИППУ ШПИТТА

Геттинген, 1824

Гейне ставит на карту свои лучшие чувства, для него они — деньги, которые он тратит; кажется, для него нет ничего настолько святого, что бы он не принес в жертву своему острословию и ненавистной всем иронии; его все время повторяемое, обычно злорадное самовысмеивание, которым все заканчивается, оскорбляет меня. Я содрогаюсь, когда за молнией, воспламеняющей сердце, сейчас же следует холодный, гасящий пламя удар. Но нужно по возможности щадить его самолюбие; при всем своем легкомысленном, злобном и дерзком остроумии это, в конечном счете, очень глубоко чувствующий и мягкий человек, которого можно легко довести до слез серьезными упреками.

ЭДУАРД ВЕДЕКИНД

ИЗ ДНЕВНИКА

Геттинген, 16 июля 1824

Сегодня вечером у меня был Гейне. Он попросил меня прочесть ему еще несколько моих стихотворений, что я и сделал, выбрав в том числе и несколько более ранних своих вещей. Мне кажется, что они понравились ему больше, особенно жалоба: «Мой друг, поэтов берегись!..» Однако теперь мне стало совершенно ясно, что я, собственно, не поэт; у меня нет фантазии, а есть лишь хорошая наблюдательность, которая в объективных описаниях легко может быть суррогатом фантазии. Но это не причина для того, чтобы отказываться и от драматургии; как только я окончу университет и наступит спокойная жизнь, я примусь за своего «Абеяра», и эта работа будет иметь для меня решающее значение...

Гейне думает написать «Фауста», мы очень много говорим об этом, и его замысел мне очень нравится. «Фауст» Гейне будет прямой противоположностью геттевскому. У Гете Фауст все время действует, именно он приказывает Мефистофелю сделать то или другое. У Гейне действующим началом будет Мефистофель, ко-

торый склоняет Фауста ко всякой чертовщине. У Гете дьявол — отрицательное начало. У Гейне он станет началом положительным — Фауст же у Гейне будет геттингенским профессором, которому наскучила собственная ученость. Тут к нему и приходит дьявол, записывается на его лекции, рассказывает ему, что делается в мире, и подчиняет профессора своей воле, так что тот начинает понемногу распутничать. Студенты, собирающиеся у «Ульриха», начинают острить по этому поводу. «Наш профессор не дает проходу женщинам, — говорят они, — наш профессор распутничает». Слух об этом разносится все шире, пока господин профессор, будучи вынужден покинуть город, не отправляется с дьяволом в путешествие. Тем временем на небесах ангелы устраивают званые чаепития, на одно из которых попадает и Мефистофель, и там они советуются, что делать с Фаустом. Бог должен полностью выйти из игры, а дьявол заключает с добрыми ангелами пари о судьбе Фауста. Мефистофель очень любит добрых ангелов, и Гейне намеревается показать эту его любовь, особенно любовь к Гавриилу, которая становится чем-то средним между любовью добрых друзей и любовью между людьми разных полов, которые у ангелов отсутствуют. Эти чаепития ангелов должны пройти через всю пьесу. Конец Гейне еще не представляет себе достаточно ясно, может быть, он заставит Мефистофеля, который стал живодером, повесить Фауста, а может быть, он так и не доведет дело до конца, потому что тем самым получит возможность внести в пьесу многое, что собственно к ней не относится. Мне кажется, что его «Фауст» может достичь весьма большого объема; я только опасаясь, и Гейне тоже, что из-за показа чаепитий в пьесе будет слишком мало действия. Будь у меня время, я мог бы привести здесь еще массу характерных черт Гейне и свидетельств его ума, ведь я встречаюсь с ним почти каждый день; но мой дневник и так уже отнимает у меня довольно времени.

Геттинген, 5 авг. 1824

В четверг 5 августа Гейне пришел ко мне с одним из своих братьев, о котором он мне уже много рассказывал и которого восхвалял и как поэта. У того типично еврейская физиономия, и, придя ко мне, он показал невероятное, истинно еврейское нахальство, так что у меня сразу же возникло предубеждение против него. Но позднее он вырос в моих глазах; в действительности

он вовсе не нахальный, а только немного непринужденный; кстати, он очень добр и чистосердечен, но я не считаю его большим гением. Его брат осуществляет своеобразную умственную опеку над ним. Младший приехал сюда погостить из Лüneбурга, где он учился в школе, и хочет теперь изучать медицину в Берлине.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

1824/1825
(1876)

Гейне учился со мной в Геттингенском университете с пасхи 1824 года по 1825 год и после моего ухода остался там, потому что все еще никак не мог получить докторскую степень. Он водил компанию с вестфальцами, среди них особенно со студентами из Оснабрюка, которых там было очень много и которые держались особняком. Настоящих корпораций тогда не было, существовали лишь землячества со своими цветами и их свободные объединения, у которых не было даже постоянных пивных. Собирались то здесь, то там, как правило у «Ульриха» или в пивной, известной под названием «Ландвер», где нас самым любезным образом обслуживали дочери и племянницы хозяина (среди них премиленькая Лоттхен с чудесными глазками, позднее, спустя много лет, к сожалению, ослепшая), которых мы, конечно, весело кружили во время танцев. Однако Гейне не танцевал.

Гейне был очень сдержан в отношении различных студенческих вольностей (видимо, они ему надоели, так как до того он уже учился в университетах Геттингена, Бонна и Берлина), и когда летом 1824 года завязалась большая дуэль на рапирах между студентами из Оснабрюка и прочими вестфальцами, он в ней не участвовал и занимал нейтральную позицию. После этого мы встретились реже; поскольку эта история разбиралась в совете университета, пришлось отсидеть много времени в карцере, затем настали долгие осенние вакации, на которые мы разъехались в разные стороны, а после них — последний семестр. Тут наша жизнь стала более спокойной, и, как кажется, Гейне потерял к ней сколько-нибудь заметный интерес, хотя он еще показывался среди нас и особенно поддерживал отношения с одной из наших маленьких компаний.

Тогда он издал только свои стихотворения (Берлин, 1822) и трагедии с «Лирическим интермеццо» (Берлин,

1823); его «Берлинские письма», по крайней мере, были нам незнакомы. Он также никогда не говорил о своих напечатанных вещах, кроме трагедии «Ратклиф», и вообще ничего не рассказывал о том, как он учился в предыдущие годы, хотя я тоже проучился один семестр (1823/1824) в Берлинском университете; я не припомню, чтобы воспоминания о Берлине были когда-нибудь темой наших разговоров.

Исповедовал ли Гейне иудаизм или был христианином, крещенным еще в детстве, или выкрестом, об этом ходили самые разные слухи; ясного ответа на этот вопрос никто не получил...

Когда и я, в связи с упомянутыми событиями, был посажен на несколько дней в карцер, Гейне попросил меня использовать это время, чтобы написать рецензию на его трагедию «Ратклиф», но у меня до этого не дошли руки. Однако «Ратклиф» часто (до и после) был предметом наших обсуждений, и я трактовал эту трагедию, в частности, совсем по-иному, чем он; я доказывал ему, что наделение им героя навязчивой идеей прямо-таки лишает пьесу трагической силы.

Взамен я написал на белой стене карцера следующее стихотворение Гейне, которое он прочел мне незадолго до того и которое таким образом стало известно всем студентам:

Царь фараон египтянам на горе
С войском погиб в Красном море.
От радости дщери Израиля тут
Вскричали громогласно:
«Наш фараон, наш фараон,
Наш фараон к ...».

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

Август 1824

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1868)

Студентом Генрих Гейне жил в Геттингене у одного красильщика на улице Вендерштрассе, занимая в его доме две большие хорошие комнаты, где его часто посещали члены студенческого землячества «Вестфала», к которому принадлежал и сам Гейне.

На другой стороне улицы, как раз напротив, жил студент Адольф <Петерс>, который позднее стал знаменитым поэтом, писавшим лирические и религиозные стихи. Но тогда Адольф делал лишь первые успехи на поприще поэзии, и это происходило на глазах у

такого остроумного и оригинального поэта-сатирика, как Гейне.

Когда Гейне хотел развлечься или заснуть, он открывал окно и громко кричал через улицу: «Адольф!», приглашая его прийти к нему со своими стихами. Адольф, добродушный, спокойный и кроткий, тотчас же следовал этому лестному для него приглашению. И вот, постепенно приходя в экстаз, поэт начинал читать Гейне свои вирши. После каждого стихотворения, сколь бы посредственным оно ни было или каким бы слабым и пустым, по выражению Гейне, оно ни казалось, Гейне говорил: «Знаешь, Адольф, это твоё *лучшее* стихотворение».

Так продолжалось в течение года со всеми стихотворениями без исключения, и всякий раз, когда автор читал своё последнее стихотворение, Гейне говорил: «Адольф, это твоё *самое лучшее* стихотворение, пожалуйста, прочти его ещё раз», — после чего он нередко задремывал.

Адольф считал эту дремоту проявлением крайней степени восторга, доводящего поэта до изнеможения, закрывал свою папку и вне себя от счастья на цыпочках выходил из комнаты. Как говорит Гете: «А тот, кто не созрел, доволен будет всем»¹.

Однажды у Гейне собралось несколько друзей, живых и веселых студентов. Зашел разговор о лирической поэзии и начинающих чувствительных поэтах.

«Если вы хотите посмотреть на типичного представителя этого сорта поэтов, — сказал Гейне, — могу доставить вам это удовольствие». Гейне крикнул через улицу: «Адольф!» — и Адольф тотчас явился с большой папкой, полной стихов.

Прежде чем продолжить рассказ, я должен сообщить, что возлюбленную Адольфа звали Хульда и что он посвятил ей, как некогда Шиллер Лауре, великое множество стихов под самыми разными названиями.

Молодые люди, уже и без того настроенные коварными замечаниями Гейне на самый веселый лад, уселись в кружок. Сладким голосом, пришепывая и с томным выражением сияющих глаз Адольф стал читать своё первое стихотворение, начинающееся словами: «Хульда плывет». Кто когда-либо учился в университете или даже лишь просто общался со студентами, тот знает, в каком сверхпрозаическом значении студенты употребляют это слово. Все присутствовавшие разразились даже не смехом, а каким-то поистине нечленораз-

¹ Цитата из «Фауста». Перевод Н. А. Холодковского.

дельным ревом. Если бы было возможно восстановить тишину и спокойствие хоть на мгновение, Гейне охотно сказал бы: «Адольф, это твоё самое лучшее стихотворение», но в тот день звучали лишь роковые слова: «Хульда плывет».

1824/1852

(* апрель 1866)

Все, кто учился в двадцатые годы в Геттингенском университете, наверное, ещё помнят, что многие студенты посещали расположенную всего в часе ходьбы от Геттингена вполне приличную пивную, известную под названием «Ландвер».

Но, наверное, особенно запомнилась бывшим буршам красивая девушка, прислуживавшая там, которую они звали «Лоттхен из Ландвера». Это было прелестное создание. В высшей степени порядочная, одинаково любезная со всеми посетителями, она обслуживала всех удивительно быстро и с грациозным проворством. В этом кабачке очень часто бывал Генрих Гейне со своими друзьями из землячества «Вестфалия» и ужинал там, обычно заказывая голубя или четверть утки с яблоками. Девушка нравилась также и Гейне, он любил пошутить с ней, к чему она, впрочем, не давала повода и чего не разрешала; однажды он обнял её и хотел поцеловать.

Надо было видеть, как это оскорбило девушку; вся красная от гнева, она встала перед Гейне и произнесла речь с таким достоинством, так отчитала его, прочла ему такую мораль, что не только он, но и все остальные студенты, которые вначале в самом веселом настроении наблюдали эту сцену, в совершенном смущении и не говоря ни слова удалились прочь, стараясь не привлекать к себе внимания.

Долгое время Гейне не ходил в «Ландвер» и, рассказывая всем об этом случае, говорил, что сознание юной девушки своего женского достоинства само по себе является для неё самой надёжной защитой от любой фривольности. Через месяц, однако, его снова потянуло в «Ландвер»; он пошел туда с тщеславным намерением полностью игнорировать красавицу. Но как он удивился, когда вошел в кабачок! Весело улыбаясь, девушка подошла к нему, подала руку и сказала совершенно непринужденно: «Вы — совсем другое дело, чем остальные господа студюзусы; ведь вы уже так же знамениты, как наши профессора, я читала ваши стихи,

ах, как они удивительно прекрасны! А стихотворение о кладбище я почти выучила наизусть, и теперь, господин Гейне, вы можете меня поцеловать в присутствии всех этих господ. Но будьте и дальше прилежны и напишите еще больше таких прекрасных стихов».

Когда позднее, почти в конце своей жизни, брат рассказал мне эту маленькую историю, он сказал печально: «Этот маленький гонорар доставил мне больше чистой радости, чем позднее все те блестящие золотые, которые я получил от господ Гофмана и Кампе».

ЛЮДВИГ ШПИТТА

Октябрь 1824

СВЕДЕНИЯ, СОДЕРЖАЩИЕСЯ В ПИСЬМАХ АДОЛЬФА ПЕТЕРСА К ФИЛИППУ ШПИТТА

Геттинген, 1824

Когда он предпринял летом 1824 года описанное им впоследствии путешествие по Гарцу, он побывал также у Гете в Веймаре и позднее, по возвращении в Геттинген, в беседах со встречавшими его товарищами по университету излил им, совершенно не скрывая, свое недовольство тем, что его превосходительство принял его, если называть вещи своими именами, до неприличия холодно.

ГОТЛОБ КРИСТИАН ГРИММ

Май 1825

ИЗ ДОНЕСЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВУ В ЭРФУРТЕ

Хейлигентадт, 28 мая 1825

Еврей по имени Генрих Гейне, родом из Дюссельдорфа, сын ранее занимавшегося торговлей, а в настоящее время живущего в Люнебурге на собственные средства еврея, обратился ко мне с просьбой крестить его. Он изучает юриспруденцию в Геттингенском университете и хочет принять крещение не там, где его знают, а здесь, где он никому не известен, и без всякой огласки, чтобы не стало известно его происхождение от еврейских родителей, которое он уже мальчиком скрывал в тех христианских школах, где он учился, и чтобы его, всегда выдававшего себя за христианина и до сих

пор считавшегося таковым, тем более не называли евреем и евреем-выкрестом после его выхода из еврейской общины. Он настоятельно просил меня сохранить в тайне перемену им вероисповедания и в качестве второй причины указал, что он лишится существенной поддержки одного из своих еврейских родственников, если тот узнает, что он отказался от веры своих отцов.

КРИСТИАН ФРИДРИХ РУПЕРТИ

ИЗ ПИСЬМА ГОТЛОБУ КРИСТИАНУ ГРИММУ

Геттинген, нач. июня 1825

Оба его квартирных хозяина, у которых он проживал, отзываются о нем самым благоприятным образом и хвалят его спокойный и уединенный образ жизни. Ни о чем порочащем его я нигде не слышал. О нем говорят как о прилежном человеке и хвалят его поэтический талант.

ГОТЛОБ КРИСТИАН ГРИММ

28 июня 1825

ИЗ СООБЩЕНИЯ В. ФЕЛЬГЕНХЕГЕРУ (?)

(* январь 1877)

Его ответы свидетельствовали об обстоятельных размышлениях над содержанием и сущностью христианской религии, а его вопросы — об остром уме; вообще он не просто принимал на веру изложенное ему учение — он хотел, чтобы его убедили, и смена веры была для него не простой сменой внешней формы, а скорее представлялась результатом внутренней необходимости. Во время беседы мы (Гримм и Бониц) пришли к единодушному мнению, что Гейне стал христианином по глубокому убеждению, и я и теперь еще твердо придерживаюсь того мнения, что его позднейший скептицизм в вопросах веры был лишь поверхностным и в глубине души он никогда не терял веры в бога. Перед крещением я глубоко заглянул в его сердце, и он раскрыл перед нами все свои мысли и чувства, а человек, который мыслит и чувствует как Гейне в те годы, по моему глубочайшему убеждению, никогда не может полностью утратить веру в господа.

ВИЛЬГЕЛЬМ ФЕЛЬГЕНХЕГЕР

28 июня 1825

РАССКАЗ О КРЕЩЕНИИ ГЕЙНЕ СО СЛОВ Г.-К. ГРИММА

(* январь 1877)

Это было в 1825 году во время цветения роз. В доме пастора царило оживление. Несколько недель тому назад хозяйка дома подарила своему мужу, г-ну Готлобу Гримму, пару близнецов, и следующий день был определен для крещения близнецов, для чего уже накануне из Лангензальцы прибыл друг дома, суперинтендант д-р Бониц, которого просили быть свидетелем при крещении. Крещение предполагалось отметить как следует, и все были заняты по горло, но когда хозяин дома коротко сообщил: «У нас сегодня будет еще один гость», — все начали строить всевозможные предположения. Причиной тому было не столько предстоящее появление нового члена нашего застолья, что занимало женскую часть семьи, — ведь в то время жили просто и было привычно видеть гостей, хотя угощение и было простым, а блюд было немного, — сколько необычная лаконичность сообщения, из которого нельзя было почерпнуть никаких сведений о личности незнакомца.

Незадолго до десяти часов раздался звонок, и служанка, открывая дверь, доложила, что пришел тот бледный студент из Геттингена, который часто бывал здесь в последнее время, и сразу же отправился наверх к хозяину дома, где уже находится и господин д-р Бониц. Таким образом, хотя и стало известно, кто этот гость, но не было никаких сведений о том, какие дела столь часто приводят бледного студента к хозяину дома. После двенадцати мужчины появились в комнате, где собралась вся семья, и хозяин дома представил незнакомца как студента-юриста Генриха Гейне, произвольно сделав более сильное ударение на имени, что побудило друга дома, д-ра Боница, быстро поднять взгляд и улыбнуться. Обед прошел тихо; хозяин дома и Бониц поддерживали разговор в основном сами, но и они уделяли разговору как бы половину своего внимания. Гейне участвовал в разговоре ровно настолько, чтобы не быть невежливым; на его лице лежала печать глубокого внутреннего волнения, и по его темным глазам было заметно, что мысли его были очень далеко от темы разговора. То же испытывали и оба пастора, которые, будучи известны в своем кругу как остроумные собеседники, сегодня явно были отвлечены други-

ми предметами, нежели те, о которых шел разговор, и часто устремляли свои взоры на молодого человека, глядя на него испытующе и тем не менее с особой ласковостью и радостью. Вскоре после обеда Гейне откланялся. Его прощание с пастором Гриммом было особенно сердечным и теплым, и когда, уже будучи у двери, он еще раз обернулся и протянул последнему руку, в его глазах появилось влажное мерцание.

Тогда Гримм сообщил своей семье, что сегодня студент-еврей Гейне был им крещен, после того как он долгое время готовился к этому, и что Бониц был при этом свидетелем.

ЮЛИУС КАМПЕ

Конец янв. 1826

ИЗ ПИСЬМА К АНОНИМНОМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ В ГАМБУРГЕ

(* 12.3.1856)

Моя первая встреча с Гейне выглядела так: я находился в лавке и продавал книги, когда вошел молодой человек и потребовал трагедии Гейне. Я подал ему аккуратно переплетенную книгу. «Ах, очень приятно, что книга вышла в переплете». Пока он смотрел книгу, я подошел к полкам, на которых были расставлены книги стихов, и принес ему стихотворения того же автора. «Сударь, — торопливо перебил он меня, когда я хотел было рекомендовать ему эту книгу, — мне не нравятся эти стихи, я их презираю!» — «Как? — сказал я. — Вы их презираете? Тогда вам придется иметь дело со мной!» — «Сударь, я знаю их лучше, чем вы, так как это я их написал». — «Ну, господин доктор, если вы опять когда-нибудь напишете что-нибудь столь же ничтожное и у вас не будет в это время более устраивающего вас издателя, приносите ваши стихи мне, и я почту за честь для себя связать с ними существование моей фирмы». — «Не шутите со мной, я мог бы поймать вас на слове». — «И тогда вы увидите, что я умею держать свое слово». На другой день Гейне пришел опять, сослался на тот разговор и сказал: «Вчера вы были столь любезны, предложив мне стать моим издателем. У меня действительно есть кое-что готовое к печати, и, если вы не шутили, я готов передать вам то, что я сочинил. Это «Путевые картины» — «Путешествие по Гарцу» и 44 стихотворения». — «Хорошо: вы передадите мне книгу объемом в 25 ли-

стов, на титульном листе которой стоит ваша фамилия. На какой гонорар вы претендуете?» — «30 луидоров». — «Хорошо! Вы хотели бы, чтобы я сразу выплатил вам гонорар?» — «О, это бы меня очень устроило!» С тех пор Гейне каждый день бывал в моей книжной лавке, и мы стали близкими друзьями.

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

Май 1826

ИЗ ПИСЬМА ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 26 мая 1826

Как сообщил мне Гейне, он узнал, что ты был болен, а теперь снова совсем здоров, иначе, добавил он, он бы мне об этом не рассказал... Он иногда нас навещает и всегда Для нас желанный гость. Ассинг считает его очень тщеславным и чересчур занятым собой; это действительно так, он, как кажется, мало интересуется вещами, которые не имеют к нему отношения, и много и охотно говорит о себе, но делает это всегда остроумно, и я охотно пускаюсь с ним в долгие разговоры и расположена к нему из-за той большой любви и того почтения, с которыми он постоянно говорит о вас.

ЛУДОЛЬФ ВИНБАРГ

1826

ПО СООБЩЕНИЮ ЮЛИУСА КАМПЕ

(* 13.9.1857)

Его легко возбудимая подозрительность, его постоянный страх стать жертвой злых шуток, которые с ним могут сыграть задетые его сатирой лица и корпорации, имели в себе, так сказать, что-то средневековое, итальянское и приводили иногда к весьма комичным заблуждениям. Одна веселая история такого рода вполне заслуживает того, чтобы быть рассказанной. Его веселый друг и издатель господин Кампе проходил однажды вечером в рождественские праздники мимо дома, где Гейне жил, и заметил свет в окне его комнаты в верхнем этаже. «Добрый вечер, Гейне!» — крикнул он, глядя вверх. Свет тотчас же погас. Перед домом находилась лавка, где торговали пряниками. Кампе взял один пряник и кинул

его в окно Гейне. «Добрый вечер, Гейне!» Ответа не было. Последовали второй и третий пряники, сопровождаемые громкими возгласами, но окно все не открывалось и оставалось безмолвным и темным. Господин Кампе купил целый кулек пряников и подошел к двери дома; она была заперта. Он долго стучал, наконец послышались шаги, и незнакомый низкий голос спросил: «Кто там?» — «Откройте, пожалуйста, — сказал Кампе, — у меня поручение для господина Гейне». Когда дверь нерешительно открыли, он передал незнакомому мужчине кулек с пряниками и в шутку добавил: «Отнесите это господину Гейне, ему послал это профессор Гуго из Геттингена». Кампе знал, какой охотник Гейне был до лакомств. Вечером следующего дня поэт и издатель сидели рядом за одним из маленьких столов в «Дамском павильоне», где обычно собиралось тогдашнее литературное общество. Гейне ни словом не обмолвился об этих пряниках, которые он получил от профессора Гуго. Такое же молчание он хранил по этому поводу и на следующий вечер, и еще через день, пока у Кампе не вырвался вопрос: «Как вам понравились пряники?» — «Так это вы их послали?» И тогда выяснилось, что он считал их даром данайцев и, боясь отравы, не притронулся к ним. «А теперь я их съем», — сказал он облегченно, радуясь, что это не было дьявольским заговором, направленным против него.

ЛЮДВИГ ФОН ДИПЕНБРОК-ГРЮТЕР

ИЗ ДНЕВНИКА

Люнебург, 23 ноября 1826

После обеда Гейне разбудил меня (я действительно спал) и сказал следующее: «Грютер, ты думаешь, что я не знаю, чего я хочу. Но это только слова. Я не мистик-христианин, а мистик-неоплатоник. Мистик-христианин считает, что всякое познание приходит к нам только извне, мистик-неоплатоник полагает, что оно лежит в нем и дремлет и пробуждается лишь только благодаря соприкосновению внешнего и внутреннего мира».

Недавно он сказал: «Бог есть; но сказать «я верю в бога» — это уже богохульство. Он есть, и я рассматриваю его как сущее. Христос божествен; пророки, основатели персидской, индийской религий, Платон, Сократ и многие другие также были божественны, хотя

не в такой степени, как Христос. В его религии ясно то, что в других религиях неясно.

Я должен умалчивать о многом, во что я верю, потому что, на мой взгляд, не стоит труда говорить об этом другим людям. То плохое, что во мне есть, я изливаю в моих произведениях, чтобы оно больше не давило меня». Какая ужасная ирония, а с другой стороны, сколько ясности и чистоты!

Зибольд сказала: «А если он только комедиант?» Но я не могу с этим согласиться. Он заверил меня всем святым, что высказал свои самые сокровенные убеждения.

Правда, после этого я изумился, когда он высказал также утверждение, что тело принадлежит человеку. Оно даровано ему без каких-либо ограничений, и человек может делать с ним все, что ему угодно. Я, со своей стороны, утверждал, что, хотя бог и даровал его нам, но с теми оговорками, которые диктует нам совесть. Я сказал ему, что, исходя из его принципа, душа тоже принадлежит нам без всяких ограничений и что тем самым он присваивает себе право продать ее дьяволу. Видимо, это высказывание было лишь шуткой с его стороны. Наши права на нас самих представляются мне доставшимся нам имуществом, управление которым творец всего сущего доверил нам без прав собственности. Даже для осуществления управления он дал нам указания, как нам надлежит вести себя, которые должны и могут быть видимы нашим внутренним оком. Наверное, так обстоит со всеми благами этого мира.

Зибольд предостерегала меня еще настойчивей и сердечнее, чем прежде. В конце концов она сказала, что делает это и от имени Шпитта, и дала мне как талисман книгу Якоби «Божественное и его откровение»...

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

22 янв. 1827

ИЗ ПИСЬМА ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 24 февр. 1827

Твой пакет для Гейне <книги Варнхагена, пересланные 21 декабря 1826 года> я могла передать только 22 января. Я сразу же осведомилась о нем, и его сестра сказала мне, что его ожидают со дня на день. Однако

его приезд затянулся до упомянутого дня. Твоя книга его обрадовала, и он поручил мне пока что передать вам привет, так как сразу он вам, наверное, не напишет. Второй том его «Путевых картин» выйдет, видимо, в ближайшее время. Эти «Путевые картины» произвели чрезвычайную сенсацию <...> в нашем кругу почти все против него, и я оказалась в одиночестве с моей радостью и удовлетворением, которые мне доставила эта книга.

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

Март/апрель 1827

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1868)

Когда дядя однажды не спеша и с наслаждением пил свой утренний кофе, племянник сказал ему: «Я должен увидеть страну моего Ратклифа, я должен побывать в Англии».

«Ну и поезжай», — ответил дядя.

«Но в Англии очень дорогая жизнь».

«Но ты недавно получил деньги!»

«Да, на хлеб насущный их хватит, но имя обязывает, и для представительства мне нужно кредитное письмо на солидную сумму в банк Ротшильда».

И действительно, добряк дядя дал племяннику — который лишь недавно получил кругленькую сумму, а от матери еще и на дорогу дополнительно сто луидоров, — для представительства кредитное письмо на 400 фунтов стерлингов, т. е. 10 000 франков, и рекомендательное письмо на имя барона Ротшильда в Лондоне.

На прощание дядя еще сказал ему: «Кредитное письмо я дал тебе только для формального подкрепления рекомендации, тех наличных денег, которые ты берешь с собой, тебе вполне хватит. До свидания и счастливого пути!» И что же сделал поэт? Не прошло и двадцати часов после его прибытия в Лондон, как он уже появился в конторе Ротшильда со своим кредитным письмом и спокойно получил эти 10 000 франков. Потом он отправился к главе фирмы барону Джеймсу <Натану Мейеру!> Ротшильду, который тотчас пригласил его на торжественный обед...

Весьма необычная сцена разыгралась, когда гени-

альный племянник после возвращения впервые предстал перед разгневанным дядей.

Упреки в безграничном расточительстве и угрозы дяди навсегда с ним рассориться — все это Генрих выслушал с олимпийским спокойствием.

Когда дядя наконец закончил свою проповедь, племянник ответил на все лишь одной-единственной фразой: «Знаешь, дядюшка, лучшее, что есть в тебе, — это то, что ты носишь мое имя», — и гордо вышел из комнаты.

ШАРЛОТТА МОШЕЛЕС

ИЗ ПИСЬМА НЕИЗВЕСТНОМУ АДРЕСАТУ

Лондон, апр. 1827

Мой старый гамбургский знакомый Генрих Гейне теперь также здесь, и естественно, что этот знаменитый интересный человек всегда будет для нашей семьи в высшей степени приятным гостем; часто он приходит к обеду и без приглашения, что позволяет мне думать, что он охотно бывает в нашем обществе. Его гению можно удивляться, его произведениями можно только наслаждаться; однако я не могу избавиться от какого-то страха перед его разящей сатирой. Уже во время его первого визита у нас состоялся странный разговор; я не знаю, откуда я набралась смелости, но, когда он мне рассказал, что он хочет посмотреть здесь, я сказала: «Для посещения этого и всех частных галерей и парков, всех общественных зданий я могу достать Вам входные билеты и почту за честь для себя это сделать; только я кое-что потребую за это и хотела бы заключить об этом пакт». Естественно, я должна была объяснить и не заставила себя долго просить. «Я хотела бы, — пояснила я, — чтобы Вы не упоминали имени Мошелеса в той книге, которую Вы будете теперь писать об Англии». Тут он по-настоящему удивился, а я продолжила свои объяснения: «Специальность Мошелеса — музыка, может быть, она Вас и интересует, но ведь Вы не особенно хорошо ее понимаете и, значит, не можете подробно о ней писать. Напротив того, Вы могли бы легко отыскать в нем самом какой-нибудь повод для проявления Вашей гениальной сатирической склонности и разработать эту тему, а я бы этого не желала». Он засмеялся или, точнее, ухмыльнулся характерной для

него усмешкой, и мы ударили по рукам: он обязался не упоминать нашего имени, а я обязалась достать для него входные билеты. Чтобы тотчас же начать выполнять свое обещание, я попросила для него письмом входной билет, чтобы он мог посмотреть знаменитые картины Рафаэля.

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

ИЗ ДНЕВНИКА

Гамбург, 4 окт. 1827

Четвертого октября нас посетил Генрих Гейне, который возвращался из своей поездки в Англию. Я была очень рада снова увидеть его, он мне очень нравился. Ассинг, который обычно ему не симпатизирует, на этот раз также не имел ничего против его посещения. Манера, в которой Гейне говорил об Англии и Германии, порадовала меня до глубины души. Он вполне воздает справедливость великолепным учреждениям Англии, признает преимущества этой страны и нации, не умаляя при этом ни в малейшей степени достоинств Германии, более того, он уверяет, что Германия стала ему еще дороже и ближе и что ее великолепие и величие он по-настоящему постиг только тогда, когда побыл вдали от отечества. Впервые он тогда понял, что такое любовь к родине. Где-то ему случайно попался в руки «Немецкий вестник». «О, мое отечество!» — воскликнул он в восхищении, когда увидел эту газету, которая так верно отражает все мелкие филистерские обстоятельства немецкой жизни в их национальном своеобразии. По сравнению с Англией здешние общественные условия кажутся ему такими ничтожными и ограниченными, и все же он признает, что ему нигде не было бы так хорошо, как здесь. Великолепие и величие, сила, трудолюбие и верность — все это наличествует в Германии, и немца всегда отличает высокое уважение и бережное отношение к обычаям и особенностям иностранцев.

«Так и должно быть, — сказала я ему на это, — иногда нужно покинуть свой дом, чтобы при возвращении испытать счастье от того, что именно дома мы чувствуем себя лучше всего. Если бы вы и не получили от вашего путешествия ничего более, кроме этого взлета любви к вашему отечеству и осознания его

высокой ценности и его достоинств, то и тогда вы уже могли бы быть довольны итогами вашей поездки». Он согласился.

Большей частью он приходит к нам на короткое время и всегда торопится, если только не приглашен, к примеру, на вечер; но визиты его всегда дают пищу уму, они никогда не бывают пустыми, так как, при всей своей краткости, всегда содержат в себе так много. Во всем, что он говорит, проявляются ум, жизнь и весьма своеобразные взгляды. Он пообещал нам вскоре прийти на более продолжительное время и считать, что этого последнего визита как бы вообще не было.

Вспомнили мы и о его «Путевых картинах». «Поздравляю вас, — сказала я, — ваши «Путевые картины» запрещены в Австрии и в Рейнской области. Поэтому их будут читать тем усерднее».

«Да, книга имела успех, — ответил он, — особенно у бонапартистов, хотя я совсем не бонапартист».

«Вы не бонапартист?» — с удивлением спросил Ассинг.

«Нет, совсем не бонапартист. Я лишь использовал Бонапарта как образ».

У многих это не укладывается в голове, я же хорошо понимаю, что значит использовать образ Бонапарта, представив его так, как он мог бы существовать в душе бонапартиста; почему бы фантазии поэта мысленно не поставить себя на место последнего?

Мы говорили и о «Биографических памятниках» моего брата. Он всячески хвалил их, в особенности жизнеописание Блюхера. С большим удовольствием он прочел также жизнеописания трех поэтов, но более всего из них ему понравился очерк о Бессере. «Вы знаете, — сказал он, — что у него есть некоторое сходство с Варнхагеном?»

Ассинг никак не хотел соглашаться с этим утверждением и с полным правом заявил, что в Варнхагене гораздо больше благородства и величия, чем в Бессере, который в свои годы все же очень опустился.

«Ну так что же, — сказал Гейне, — о возрасте Варнхагена и говорить еще не приходится».

Сходство — это ведь еще не полное тождество, и того, что Бессер, который в свои молодые годы показал себя достойным уважения, имеет отдаленное сходство с моим братом, я также не могу полностью отрицать.

ЮЛИУС КАМПЕ

Сент./окт. 1827

ИЗ ПИСЬМА КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Гамбург, 5 окт. 1827

Гейне здесь уже две недели; он хочет уехать в Лейпциг и там писать третий том «Путевых картин». Запрещение «Путевых картин» в Рейнской области, которое я рассматриваю как дело рук местных властей, так как в остальной Пруссии все осталось по-старому, непонятным образом польстило ему и сделало его тщеславным; обстоятельство, которое меня искренне огорчает. Такой способ удовлетворить свое тщеславие отдалит его от поэзии и приблизит к политике, где можно добиться большей славы, во всяком случае, с меньшими усилиями. О чем будет в третьем томе «Путевых картин», ясно уже сейчас: о либерализме в лице Каннинга, об Англии, о радикалах и т. д.

Он обещал мне написать Вам. Мне он говорит, что с ним сблизился Котта, который готов принять все его условия. Я не хочу состязаться с К<отта>, который видит в Гейне только бонапартиста и потому его любит. Одним словом, Гейне не сможет устоять перед такой приманкой и сохранить свободу своих взглядов под давлением таких рычагов, хотя он очень часто и очень пылко заверяет меня, что никогда со мной не расстанется. То, что я сделал для Гейне и его признания читателями, никакой Котта никогда не сделает. Он бросит Гейне горсть золотых монет и будет думать, что тем самым он сделал все, что поэт может пожелать, и предоставит книгу ее судьбе.

Я упоминаю об этом, чтобы Вы не удивились, если какая-нибудь книга Гейне будет издана не мною, а другой фирмой.

ФРИДРИХ ЛЮДВИГ ЛИНДНЕР

11—13 февр. 1828

ИЗ ПИСЕМ ИОГАННУ ФРИДРИХУ ФОН КОТТА

Мюнхен, 13 февр. 1828

Уважаемый друг!

Мое позавчерашнее письмо Вам, вероятно, еще вчера побывало в руках господина Кирхгертена, который, если меня ничто не обманывает, вскрыл его и

сообщил господину Гейне его содержание. Сегодня я уже в который раз убедился в том, как мало можно доверять господину Кирхгертену. Он рассказывает в публичных местах о том, что происходит в нашей фирме, лжет и хвастается, натравливает людей друг на друга, шляется по трактирам и всюду показывает себя как ветрогон и сплетник. В самом скором времени я выведу его на чистую воду, но считаю необходимым уже сейчас заранее предостеречь Вас, чтобы Вы доверяли этому человеку лишь в той мере, в какой это будет для Вас неопасно. Я слышал также, что он, как говорят, увлекается карточной игрой. Если Вы не совсем уверены в нем, я бы советовал Вам, не давая ему заранее заметить что-либо, неожиданно для него проверить, как он ведет все дела, и в любом случае подумать о том, чтобы как можно скорее заменить его надежным человеком. Иначе он опорочит Ваше дело, если только не устроит чего-нибудь еще более скверного. Он связался и с господином Витом, позволял ему часами оставаться в бюро, где, конечно же, говорились такие вещи, которые этот пронырливый шпион использует, чтобы при случае скомпрометировать того или другого из своих противников. Г<осподин> Кирхгертен так же ввел вчера г<осподи>на Вита в «Общество веселого расположения духа», правление которого, однако, удалило этого подозрительного человека. Сегодня г<осподина> Вита высылают из города полиция, как говорят, по прямому приказу его величества короля. В любом случае доверительные отношения господ Гейне и Кирхгертена с этим Витом производят неприятное впечатление.

Только что я узнал следующее. Когда позавчера во второй половине дня господин Кирхгертен в подпитии пришел в бюро, он нашел мое письмо к Вам, распечатал его и показал его господину Виту, именуящему себя фон Деррингом, который как раз тоже оказался там; после того как оба прочли письмо, г<осподик> Кирхгертен бросил его в огонь. Таким образом, Вы не получите этого письма. В нем я писал Вам о том, что у меня был господин герцог фон Дальбург... Далее я сообщал Вам, что г<осподин> Гейне передал мне предназначенную для «Анналов» статью в честь господина Вита и что я счел необходимым добавить к ней примечание. Я решил послать Вам эту статью с моим примечанием, полагая, что Вы не позволите напечатать ее в «Анналах».

В то же время я писал Вам, что я заметил, что господину Гейне недостает морали. И вот это-то выра-

жение г<осподин> Гейне под вымышленным предлогом употребил в разговоре со мной, из чего я тотчас же понял, что он явно читал мое письмо к Вам. Поэтому сегодня я послал за г<осподином> Кирхгертенем и спросил его, кто вскрыл мое письмо. Он все отрицал. Г<осподин> Гейне, зашедший в это время, также отрицал, что вчера в разговоре со мной он употребил эти слова, сказанные о нем; одновременно он дал мне честное слово, что он ничего не знает об этом письме. Однако я как раз сейчас узнал от молодого Лёвенцеллера, как в действительности все происходило.

11—21 февр. 1828

Мюнхен, 21 февр. 1828

Уважаемый друг!

Г<осподин> Рейхель подробно напишет Вам о том, как обстоит дело с Кирхгертенем. Последний подписал заявление, где он свидетельствует, что в кассе недостает 1176 флоринов 36 крон, в которых он не может отчитаться, но которые хочет возместить. Итак, Вы имели бы полное право требовать его ареста, но потом пришлось бы представить суду приходно-расходные книги, и ужасный беспорядок, царящий в них, стал бы известен всему свету, чего лучше было бы избежать.

С Гейне это дело связано следующим образом. Из многих его высказываний я понял, что его моральные принципы и характер никак нельзя отнести к числу самых твердых. Когда г<осподин> Вит приехал сюда, он ежедневно встречался с этим человеком и неоднократно пытался уговорить меня, чтобы я разрешил ему бывать у нас. Но я заявил, что я вышвырну его за дверь, если он придет. После этого он принес мне статью о Вите, которая явно была направлена против меня или, скорее, против моей статьи, напечатанной за границей. Сейчас эта статья у Вас в руках. К ней я написал примечание, также пересланное Вам, которое должно было показать г<оспдину> Гейне лишь всю неуместность его нападок на меня. Однако дойдя до места, где я говорю о подлинной тонкости его нападок, он громко расхохотался и заявил, что он не будет иметь ничего против моего примечания, если только его статья будет напечатана в «Анналах». После этого я сложил вместе статью и примечание и послал их Вам, написав одновременно, что я предоставляю Вам право решить, печатать их или нет. При этом я употребил

следующие слова: «Я весьма уважаю талант господина Гейне, но я думаю, что ему не хватает морали». На следующее утро он пришел ко мне и спросил, какова судьба его статьи о Вите. «Я переслал ее для окончательного решения вопроса г<осподину> ф<он> Котта». Гейне: «Этого Вам не следовало бы делать, обо мне и без того говорят, что мне не хватает морали». Я: «Кто это говорит?» Г<ейне>: «Да это общее мнение». Мне было ясно, что мое письмо к Вам было вскрыто и прочитано. Я вызвал к себе Кирхгертена, который утверждал, что он совершенно ничего не знает об этом деле. Во время разговора с Кирхгертенем ко мне случайно зашел г<осподин> Гейне, который дал мне честное слово, что он ничего не знает о моем письме и что его слова о недостатке морали были лишь чистой случайностью. Пусть в это поверит кто-нибудь другой. Я откровенно сказал ему, что то, что я Вам написал, — это давно сложившееся у меня мнение о нем и что его дружба с Витом, его нападки на меня, хотя я благожелательно относился к нему, еще раз убеждают меня в этом. Дело находилось в таком состоянии до тех пор, пока я не узнал от г<осподина> Лёвенцеллера, что Кирхгертен вскрыл мое письмо и сообщил о его содержании Виту. Г<осподин> Гейне все еще продолжает утверждать, что Вит ничего не сказал ему о письме. Но это явная ложь. Г<осподин> Гейне и я сейчас по-прежнему оказываем друг другу услуги, но я его остерегаюсь. Кстати, в ближайшее время Вы снова найдете в «Анналах» его очередную интереснейшую статью.

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

Весна 1828

ПО СООБЩЕНИЮ ФРИДРИХА ШТАММАНА

(* 1869)

Один гамбургский архитектор, господин Фридрих Штамман, который в то время учился в Мюнхене и часто встречался с Гейне, рассказывает, что последний поначалу довольно высокомерно взирал сверху вниз на молодых художников, которые имели возможность общаться с этим человеком выдающегося ума, и позволял себе иногда зло пошутить по поводу их устремлений. Однажды он даже хотел всерьез доказать им меньшее значение их искусства по сравнению с искус-

ством поэзии. «Песня, трагедия непосредственно воздействуют на сердца людей, — так гласили его странные рассуждения, — а вам нужен сторонний посредник, ваши большие исторические картины и аллегории понятны лишь немногим избранным знатокам искусства, и ваша слава находится в руках писателя, который только и должен разъяснять публике ваши намерения, истолковывать для всего мира иероглифическое письмо вашей кисти». Задорный хохот прервал оратора. Пока последний утверждал, что слава живописца зависит от благожелательных комментариев писателя, один одаренный молодой художник молча нарисовал на листе бумаги злую карикатуру на Гейне и затем, торжествуя, поднял этот набросок над головой. Рассерженный и смущенный, рассматривал Гейне этот убедительный аргумент в пользу того, что при известных условиях и художнику дана некоторая власть над поэтом, и в будущем он остерегался унижать достоинство самостоятельного родственного искусства столь неразумными высказываниями. С тех пор он прилежно посещал картинную галерею, и с ростом знаний по мере его ознакомления с богатейшими сокровищами искусства росли и его уважение к живописи и восхищение ею, хотя в общем он не был приверженцем направления в искусстве, избранного Корнелиусом и его преемниками, поскольку не находил в нем жизнерадостного веселья.

РОБЕРТ ШУМАН

8 мая 1828

ИЗ ПИСЬМА ГЕНРИХУ ФОН КУРРЕРУ

Лейпциг, 9 июня 1828

В Мюнхене мне нездоровилось и было <...> не совсем уютно, и я почти сразу же почувствовал холодный, резкий тон столичного города. Глиптотека <!>, хотя и великолепно задумана, еще не завершена и поэтому теперь оставляет лишь чувство неудовлетворенности, и только знакомство с Гейне, чем я обязан господину Краэ, <...> сделало мое пребывание там в какой-то мере интересным и привлекательным. Со слов господина Краэ я представлял себе Гейне ворчливым мизантропом, который уже находится слишком высоко над людьми и жизнью, чтобы снова сблизиться с ними. Но насколько иным я нашел его: он был совершенно не

таким, как я его себе представлял. Он любезно встретил меня, напомнив своей человечностью греческого поэта Анакреонта, дружески пожал мне руку и несколько часов водил меня по Мюнхену — я не ожидал ничего подобного от человека, написавшего «Путевые картины», лишь вокруг его рта застыла горькая ироническая улыбка, но это была улыбка человека, стоящего выше мелочей жизни, и насмешка над мелочными людьми; однако даже та горькая сатира, с которой сталкиваешься на каждом шагу в его «Путевых картинах», та глубокая, внутренняя неприязнь к жизни, пробирающая до мозга костей, делали разговоры с ним очень привлекательными. Мы много говорили о великом Наполеоне, и я нашел в нем такого его восторженного почитателя, какого, наверное, редко найдешь где-нибудь, кроме как в Аугсбурге. Он говорил также о том, что в ближайшем будущем отправится в древнюю Аугусту, прежде всего чтобы познакомиться с Вами.

ВИЛЬГЕЛЬМ ЙОЗЕФ ФОН ВАСИЛЕВСКИ

8 мая 1828

ПО СООБЩЕНИЮ ГИСБЕРТА РОЗЕНА

(* 1858)

Он <Гейне> жил в прекрасной комнате, окно которой выходило в сад; ее стены были богато украшены картинами живших тогда в Мюнхене художников. Высокоодаренный поэт с его странностями полностью соответствовал тому представлению, которое мои друзья, не знавшие его ранее лично, составили себе о нем по его произведениям, а то, что могло бы еще отсутствовать в этом представлении, очень скоро было дополнено саркастической, едко-остроумной манерой выражения, которой поэт дал полную волю.

Шуман пробыл у Гейне несколько часов, а Розен, попрощавшись, ушел, чтобы навестить земляка. Но все трое снова встретились в галерее Лейхтенберга, где обоим моим друзьям представились богатые возможности в течение длительного времени то восхищаться забавными экспромтами Гейне, чье остроумие казалось неисчерпаемым, то смеяться над ними.

ЭДУАРД ФОН ШЕНК

1828

ИЗ БИОГРАФИИ МИХАЭЛЯ БЕРА

(* 1835)

В то время в Мюнхене находился поэт, который был знаком с Михаэлем Бером уже в Берлине и через него познакомился со мной; это был Генрих Гейне.<...>

Он тепло относился к нам и вошел в нашу компанию. В то время он редактировал вместе с Линднером «Европейские анналы». Хотя его политические взгляды были почти противоположны нашим, а его религиозные воззрения столь же не соответствовали моим, это различие во мнениях забывалось в те мгновения, когда в присутствии Гейне мы ощущали веяние крыльев его поэтического гения. Когда Гейне с величайшей задушевностью или с грустной иронией декламировал нам либо свои старые, либо только что сочиненные стихи, нам казалось, что мы слушаем заблудившегося соловья, а Гейне тем временем то сетовал, страстно тоскуя о прошлом, об утраченном внутреннем мире, то в отчаянии подвергал уничтожающей насмешке настоящее. Вскоре после этого он уехал из Мюнхена, и я его больше не видел.

АНОНИМ

1828

ЗАМЕТКА В ПЕЧАТИ

(*5.3.1856)

Когда много лет назад Генрих Гейне приехал в Мюнхен, он неоднократно получал приглашения от некой графини «попить с ней кофе в пять часов пополудни». Он побывал у нее раз или два и всегда заставал большое общество, которое перед этим отлично обедало у графини и которому Гейне своим остроумием и юмором должен был помочь переваривать пищу. Естественно, его рассердило, что не считали возможным удостоить его чести приглашения на обед в три часа, и он несколько раз с благодарностью отклонил дальнейшие приглашения на кофе; несмотря на это графиня продолжала присылать их, и поэтому Гейне однажды написал под таким приглашением следующий

ответ: «Милостивая государыня! Имею честь с сожалением сообщить Вам, что я не могу последовать полученному от Вас любезному приглашению, так как я придерживаюсь твердого правила пить кофе там, где я обедаю!»

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

Июль 1828

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1868)

В Мюнхене я и мой брат Генрих очень часто бывали в гостеприимном доме графини Д. По средам вечером там, как правило, собиралось большое общество. Приезжали знатные люди всякого рода, и графиня дорожила возможностью видеть у себя знаменитых иностранцев. В один из таких вечеров все собравшиеся оживленно беседовали, когда некий пожилой господин, морской офицер в больших чинах, находившийся на голландской службе, начал описывать одно из своих плаваний, которое, казалось, очень заинтересовало слушателей. Все внимательно слушали. И когда рассказчик совершенно случайно употребил слово «астролябия» (известный инструмент для измерения углов в градусах, минутах и т. д. на море), Гейне вдруг разразился таким громким смехом, что не только рассказчик замолчал в изумлении, но и все сидевшие вокруг посмотрели на поэта с величайшим удивлением. Графиня Д., хозяйка дома, попросила рассказчика продолжать, и когда тот повторил слово «астролябия», снова раздался смех Гейне.

Все уже начали опасаться какого-нибудь не спровоцированного ничем коварного замечания Гейне; на лицах присутствующих уже было видно сострадание к этому столь внезапно шокированному иностранцу, когда графиня Д. быстро оценила обстановку и сказала: «Милый Гейне, сделайте одолжение, скажите нам откровенно, что вы сочли столь смешным в таком серьезном рассказе, который так заинтересовал всех нас?» Тогда Гейне взял себя в руки, встал, подошел к иностранцу, протянул ему руку и сказал: «Сударь, я должен дать вам удовлетворение, и уважение к хозяевам требует, чтобы я не медлил с этим ни секунды. Позвольте мне рассказать вам одну маленькую историю. Молодые дамы могут спокойно смотреть на меня, пожилым я позволяю потупить глаза.

Когда несколько лет назад я учился в Геттингенском университете, я иногда ездил верхом и при этом для удобства пользовался бандажом, который ученые бандажисты называют суспензорием.

У меня была очень добросовестная прачка, которая перечисляла в счете каждую вещь с указанием стоимости ее стирки, и вот однажды я прочел в самом начале списка следующее: за стирку льняной астролябии шесть пфеннигов.

Бог знает каким образом моя прачка узнала это морское слово и столь неправильно связала его с совсем другим предметом. Я не мог не рассмеяться от всего сердца, и сегодня, когда я так внезапно и неожиданно услышал это слово, заставившее меня в прошлом столь сильно смеяться, мной опять овладел такой болезненный смех, что я при всем желании не мог подавить его, и я покорнейше прошу тех из присутствующих дам или господ, кто собирается что-то рассказать, чтобы они были столь любезны и заранее предупредили меня, если в их рассказе встретится слово «астролябия».

Можно представить себе, как общее веселье последовало за этим разъяснением. Графиня Д. самым любезным образом протянула молодому поэту свою красивую руку для поцелуя, сказав при этом: «Вас совершенно справедливо назвали дурно воспитанным любимцем граций».

Лето 1828

Из всех писателей своего времени Гейне никого не любил так искренне и горячо, как Карла Иммермана, «младого орла» Парнаса, как он его называл. Может быть, Иммерман был единственным — и даже ближайшие и самые любимые родственники Гейне не составляли здесь исключения, — кто никогда не испытал на себе ни его остроумия, ни его сатиры. Гейне буквально проглотил остроуту, которую сообщил мне по секрету и которая, будь она тогда произнесена и стань она известной публике, сделала бы прекрасную драму Иммермана, его «Трагедию в Тироле», возмечивавшую Андреаса Гофера, всеобщим посмешищем. Трагическая заключительная сцена пьесы показывает, как Гофер, который никогда не хотел верить в то, что Австрия пожертвует Тиродем и его верными защитниками, презирающими смерть, все же в конце концов должен убедиться в этом, когда ему предъявляют

императорский документ соответствующего содержания, и, совершенно уничтоженный, потрясенный, он рассматривает документ и произносит последние слова трагедии: «Печать императора!» Но всем ныне известно, что тогдашний император Австрии Франц был страстным любителем варить в свободные минуты сургуч всевозможных цветов. «Макс, — сказал мне Генрих, когда мы прочли пьесу, — как растрогал бы Андреас Гофер или кто-либо другой публику, воскликнув в конце с отчаянием: «Сургуч императора!» Но ради бога не рассказывай об этом никому, я люблю Иммермана и щажу его куда больше, чем — *моего брата*».

ЭДУАРД ФОН ШЕНК

ПРЕПРОВОДИТЕЛЬНОЕ ПИСЬМО КОРОЛЮ ЛЮДВИГУ I БАВАРСКОМУ

Мюнхен, 28 июля 1828

Почтительнейше осмелюсь покорнейше рекомендовать Вашему величеству для всемилостивейшего рассмотрения прежде всего два из многих ходатайств, представленных Вашему величеству министерством в последние два дня, а именно прошение о вспомоществовании для нескольких из наших самых известных естествоиспытателей, особенно для профессора Окена на поездку в Берлин, и прошение д-ра Генриха Гейне о принятии его на службу экстраординарным профессором здешнего университета. В произведениях последнего проявляет себя истинный гений, они вызвали величайший интерес во всей Германии; некоторые недостатки и заблуждения содержались в юношеских произведениях всех наших великих писателей; многим поистине гениальным людям в нашем немецком отечестве вначале не хватало только благодетельной княжеской руки, которая бы их защищала и одновременно заботилась о них, поощряла бы их хорошие качества и пыталась отечески исправить их недостатки и заблуждения. Д-р Гейне также нуждается в такой руке, и я убежден, что он — если Ваше величество высочайше удостоит его Вашей защиты — станет одним из наших самых превосходных писателей.

АВГУСТ ФОН ПЛАТЕН

Октябрь 1828

ИЗ ПИСЬМА ПРОФЕССОРУ ШВЕНКУ

Сиена, 26 дек. 1828

Об «Эдипе» у меня, к сожалению, нет никаких более добрых вестей, кроме тех, что Котта обещал сразу же напечатать его, но тем не менее до сих пор этого не сделал. Я опасаясь интриг Гейне, с которым Котта очень считается и который пронюхал о том, что о нем упоминается в «Эдипе». Прошлым летом он был во Флоренции и заверил одного из моих тамошних знакомых, что ему будет легко вызвать у публики подозрения относительно меня как аристократа. По его словам, за несколько месяцев разошлось шесть тысяч экземпляров его последней книги, тогда как я в Германии совершенно неизвестен как писатель и меня читают только аристократы. Тем не менее этот добрый человек побоялся встретиться со мной в Италии; он полагал, что я вызову его на дуэль из-за той эпиграммы. Так далеко заходит тщеславие этого глупца! С одной стороны, я, по его мнению, — аристократ, а с другой стороны, мне следует настолько опуститься, чтобы драться с каким-то еврейчиком из-за эпиграммы!

ЭДУАРД ВЕДЕКИНД

Янв. 1829

СО СЛОВ РУДОЛЬФА ХРИСТИАНИ

(1876)

Когда Гейне после смерти отца снова приехал в Люнебург, он очень болезненно ощутил его отсутствие там и сказал, обращаясь больше к самому себе, чем к слушателям: «Да, вот говорят о свидании, ожидающем праведных, когда они воскреснут из мертвых! Но что мне с того? Я помню его в его старом коричневом сюртуке и таким хочу его опять увидеть. Вот так сидел он во главе стола, а перед ним стояли солонка и перечница, солонка справа, перечница слева; и если бывало, что перечница стояла справа, а солонка слева, он менял их местами. Я помню его в коричневом сюртуке и таким хочу его опять увидеть».

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

10 февр. 1829

ИЗ ДНЕВНИКА

Гамбург, 10 февр. 1829

Лучом света в моем мрачном настроении сегодня после обеда был визит Генриха Гейне; я не знала, что он в Гамбурге, и поэтому его приход был для меня нечаянной радостью. Целый час прошел в приятном остроумном разговоре, в котором затрагивались многие темы. Причиной его приезда сюда была смерть его отца. Вместе с братом он приехал утешить мать и сам казался очень сильно страдающим и потрясенным тяжелой утратой. Мы говорили об Италии, о которой он рассказывал с восхищением и куда он думает поехать еще раз. «Вас в самом деле можно считать счастливым, — сказала я ему между прочим, — ибо в юности, в те годы, когда ум столь восприимчив к подобным впечатлениям, вы так часто сталкивались с прекрасным и могли легко и бездумно радоваться этому счастью, не зная горестей и забот». Кажется, он с этим полностью согласился. Он вспоминал о моем брате с большой любовью и уважением и говорил, что, почти не задумываясь, следует всегда совету Варнхагена, убежденный, что тот может посоветовать только хорошее, и что он питает величайшее доверие к его уму и осмотрительности. Потом мы еще говорили о Мюнхене и о баварском короле. «Мир, — сказал Гейне, — еще не вполне понимает короля, потому что король еще не понимает сам себя». Речь зашла также и о докторе Бёрне, которого он очень высоко ценит. «Он, собственно, пишет довольно лениво, — сказал он о Бёрне, — как, впрочем, и еще один человек, — добавил он, — которого я знаю». — «Зато они пишут тем лучше», — возразила я. «Конечно, у них оказывается больше времени, им легче, чтобы сконцентрировать и выносить свои мысли, чем тем, кто пишет слишком много, как наш друг на этом портрете», — отозвался он. «Этот, — сказал он, указывая на портрет Фуке, — просто не выпускает пера из рук».

ЮЛИУС КАМПЕ

Февр. 1829

ИЗ ПИСЬМА КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Гамбург, 16 февр. 1829

Гейне часто бывал у меня в это время и постоянно вспоминал о Вас. Сегодня я попросил его написать несколько строк для Вас; он не может. Он просил меня передать Вам много сердечных слов, которые я не могу повторить. Но он просил передать Вам также, что Платен написал на Вас пародию под названием «Эдип», где изображен и сам Гейне. Когда собирается ее печатать, и Гейне, кажется, пытался этому воспрепятствовать. Одним словом, Г<ейне> говорит, что если П<латен> осмелится ее опубликовать, то он его так отделает, что этому графчику будет больно при одном воспоминании о нем. В Специи, между Каррарой и Генуей, он проезжал мимо его дома; он, Гейне, к нему не заехал. Я спросил, что П<латен> там делает. «Он жрет апельсины и предается содомскому греху». Вот Вам и возлюбленная Платена! Я считал, что это подражание греческим поэтам, а наткнулся на такую грязь.

Уважения к П<латену> у меня, как бы это сказать, поубавилось.

В своем влиянии на Гейне я настолько преуспел, что он теперь всерьез хочет заняться работой, но где, где он может работать? Везде ему немило.

Я предложил ему поехать в Ганновер.

Ему нравятся крепкие, здоровые люди; пусть ганноверские дворяне немножко займутся им, если он будет вести себя среди них слишком дерзко.

Он хочет ехать в Берлин. Там он, конечно, работать не будет, поэтому мне бы так хотелось, чтобы он остался на своей старой квартире, где в зимний холод он писал вторую часть «Путевых картин».

РАХЕЛЬ ВАРНХАГЕН ФОН ЭНЗЕ

ИЗ ПИСЕМ К.-А. ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Берлин, 4 марта 1829

Теперь о вчерашнем вечере. Были супруги Арнимы, Котта, Людвиги, Морицы, Виллизен и Гейне. Все очень, очень веселились. Все неоднократно за это

благодарили. Беттина фон Арним даже трижды, и каждая ее фраза была длинна, как речь. Она очень много времени проводит с Виллизеном. Госпожа фон Котта находила все прекрасным и сама была прекрасна во всех отношениях; Ахим <фон Арним> много беседовал с Котта и Людвигом <Робертом> и Гейне. Затем Беттина не замедлила подсесть к Морицу <Роберту> и Эрнестине; эти трое очень привязаны друг к другу и за столом сидели вместе. Барон Котта был столь любезен и разговорчив, так много рассказывал и сердечно смеялся, что каждый с удивлением и восхищением хвалил и мужа и жену, когда они уехали. Мне были приятны его смех и всеобщее удовольствие. Каждый был доволен и благодарил за это: да! Мориц благодарил! — и не только из вежливости, а вполне удовлетворенно и серьезно. Виллизен превзошел самого себя в разговорчивости, веселье и гибкости... Рике <Роберт> очень славно вела себя; она была прелестна... Мы сидели в таком порядке: я, справа от меня Котта, Беттина, Мориц, Рике, Гейне, Людвиг, Эрнестина, Виллизен, госпожа фон Котта, слева от меня Арним. Беттина подозвала меня до обеда и попросила посадить Ахима рядом с госпожой фон Котта. Я всех рассадил.

Берлин, 11 марта 1829

<...> Гейне я почти не вижу; он занят самим собой; говорит, что должен много работать; чуть ли не удивлен тем, что его постигли такие реальные несчастья, как смерть отца и горе матери в связи с этим; утверждает, что он был необыкновенно близок с этим «прекрасным» отцом, что тот его полностью понимал; и живет далеко в конце длинной Фридрихштрассе, за мостом, напротив клиники и казарм — своего рода крепость — слишком далеко. Выглядит он получше; почти не жалуется на здоровье; но на его лице появляется иногда некое, обычно мимолетное, выражение, которое не красит его; этакое подергивание рта, когда он говорит, что прежде казалось мне почти прелестным, хотя это его никогда не украшало. Не думаю, что у меня лично есть причины жаловаться; когда об этом говоришь или пишешь, мимолетные ощущения обретают большую определенность, чем они того заслуживают. В обычной жизни все течет как один большой поток <...>

В четверть третьего Гейне был у меня, как будто он пришел подтвердить все, что я написала. Он прямо-таки сражен смертью отца. Другие это так сильно не

ощущают: например, его братья и сестры. Он начал критиковать Гете: я невольно улыбнулась; это у него не получалось. Он стал порицать Ганса; это тоже не получалось. Он хотел хвалить Вит-Дерринга; я полностью расстроила и это его намерение, и его самого тоже. Тогда он стал критиковать то, что написал Линднер: я доказала ему обратное. Все сплошь личности, которым не давали проявиться. Люди, которым надо показать, на что они способны. До этого я прочла ему из твоего письма то место, где ты передаешь ему привет, который его смутил; он думал, что тебе о нем что-то рассказали: так как ты написал, что он должен на тебя положиться и т. д. Это было единственное проявление серьезности с его стороны. При этом от его сапог пахло сапожником, а от его одежды — плесенью. Поэтому после его ухода открыли окно.

Берлин, 13 марта 1829

Странно, что ты мне писал о Вит-Дерринге во вчерашнем письме, а я тебе в позавчерашнем. Это летучий жалиющий бешеный навозный жук. Давай поэтому никогда больше о нем не говорить. В том числе и потому, что я никогда больше не буду так хорошо отзываться о нем, как я это делала позавчера для Гейне (который договорился до того, что назвал его лучшим немецким политическим писателем; потому-де, что так пишут только он, ты и Гентц; у Линднера, по его словам, нет никаких идей. Эта манера Гейне говорить о чем-то без знания дела и без какого бы то ни было основания начинает вызывать презрение). Негодяй с плохими наклонностями, *плут*, каждое мгновение выдающий себя за честного человека, глупый злодей, для которого лишь *интрига* кажется благородной, независимо от того, на что она направлена; невоспитанный мерзавец, который нагло во все лезет, «как мышиный помет в муку». Позавчера вечером я разговаривала с госпожой Котта о визите Гейне и о нашей с ним беседе. И тут она сказала мне чуть ли не в гневе: в ее присутствии он бы не осмелился так отзываться об этом человеке. Ведь он причинил Гейне несомненный ущерб. Неожиданно, одним своим знакомством с ним; теперь Гейне обвиняют в предоставлении ему материалов для его книги — я думаю, для второй, недавней, — это самое скверное, что только можно сказать. Гейне, говорю я, еще не раз замазывает себя, так как и ему доставляет удовольствие вызывать досаду людей, даже если для этого самому приходится бегать по улицам в

роли дерьмового арлекина или палача. Не думай, что я испытываю им лишь минутное возмущение. Честное слово, это не так! Просто я его насквозь вижу.

Французские газеты хвалят Михаэля Бера за его пьесу «Струэнзее», которую уже перевели; по этому поводу Гейне сказал: «Пока он жив, он будет бессмертен». О концерте из произведений Баха, который он слушал позавчера, он сказал — впрочем, «он сказал» звучит слишком сильно, — что посещение концерта принесло ему восемь грошей прибыли: билет стоил гульден, а скуки было на талер. Очень хорошо, да и первая острота тоже. *Voilà ce que vous me demandez, de ses bonmots!*¹ Я тоже скучала на этом концерте.

ГУСТАВ ДРОЙЗЕН

Весна 1829

СО СЛОВ ИОАННА ГУСТАВА ДРОЙЗЕНА

(* 1902)

Дройзен познакомился с Гейне в доме у Мендельсонов; и поэт, который был на восемь лет старше его и давно стал знаменитым, выказывал явное расположение к «молодому другу», которого он считал возможным причислить к своим безусловным почитателям. «Вы, наверное, думаете, что я стихи из рукава вытаскиваю», — начал он однажды разговор, а затем разобрал одно из своих стихотворений, чтобы показать, как он снова и снова шлифовал его, чтобы искусство наконец превратилось в естественность и стихи зазвучали совсем как народная песня.

ГЕНРИХ ШТИГЛИЦ

Апрель/ май 1829

ИЗ МЕМУАРОВ

(*1865, посмертно)

В начале весны мы совершили поездку в Потсдам, где прожили восемь счастливых дней. В то время там пребывал в сельском уединении и Г. Гейне, который любезно присоединился к нам <к Штиглицу и его молодой жене Шарлотте> и совершал с нами прогулки

¹ Вот то, что я должна была Вам ответить относительно этих острот! (*фр.*)

по окрестным холмам. Тогда Гейне как раз писал третий том своих «Путевых картин», который содержит не всегда чистоплотную полемику с Платеном.

«Ради бога, сударыня, — сказал он как-то раз с любезной иронией в собственный адрес, — прошу вас, не читайте никогда те отвратительные вещи, которые я сейчас пишу».

ФЕРДИНАНД МЕЙЕР

Авг./сент. 1829

ИЗ СТАТЬИ О ВСТРЕЧАХ С ГЕЙНЕ

(* 28.11.1849)

Когда в 1829 году я был на морских купаниях в Гельголанде, я познакомился там с Генрихом Гейне, который после безрезультатных попыток на юге надеялся восстановить свою уже тогда расшатанную нервную систему с помощью мощных ударов волн Северного моря. Хотя наши политические и религиозные взгляды были прямо противоположны, мы все же скоро почувствовали, что нас тянет друг к другу; и так как у нас никогда не было недостатка в других темах для бесед, нам было легко избегать разговоров об этих предметах. Я должен признать, что быстрое ключом остроумие Гейне, для коего нашлась обильная пища в виде многих комических фигур, пребывавших в то время на Гельголанде, а также его только что появившиеся «Путевые картины» и особенно «Книга песен» произвели на меня чарующее впечатление, так что я предпочитал его обществу любому другому. То, что Гейне особенно полюбил меня, объяснялось, видимо, тем, что уже в самом начале знакомства я предложил ему свои услуги в качестве секунданта на дуэли на пистолетах с неким господином Н. из Гамбурга, которого он оскорбил ядовитой остротой. Дуэль между тем не состоялась, но мы благодаря этому случаю стали друзьями.

Поводом для дуэли послужило следующее: Гейне, который жил в одном доме с господином Н., приехавшим на Гельголанд лишь на короткое время и без багажа, одолжил ему свой фрак для визита к знаменитой в то время певице Ш. из Гамбурга, которая также лечилась на Гельголанде. До приезда господина Н. Гейне ухаживал за Ш., но затем от нее отдалился; Н. же тотчас стал ее самым ревностным поклонником. Когда

Ш., услышав однажды историю об одолженном фраке, пошутила, что господа пользуются одним фраком на паях, Гейне очень ядовито ответил, что так уж у него заведено: господин Н. донашивает то, что он, Гейне, уже не носит. Конечно, после этого Н. не оставалось ничего другого, как вызвать Гейне на дуэль. Не помню точно, как уладилось дело, вспоминается только, что Гейне поднял своего противника на смех.

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

1829?

СО СЛОВ НЕИЗВЕСТНЫХ ЛИЦ

(*1873)

Оба соседа <Соломон Гейне и Лазарь Гумпель> жили друг с другом в состоянии безобидной перепалки, каждый пытался всячески разыграть другого, и Соломону Гейне доставила величайшее удовольствие забавная карикатура на его соперника, которую его племянник показал всему миру в «Луккских водах». Прототипом Гиацинта был бедный продавец лотерейных билетов, чье звучавшее на иностранный манер имя — Исаак Рокамора — так развеселило Гейне, что он воскликнул: «Рокамора! Какое прелестное название для книги! Прежде чем умру, я напишу поэму «Рокамора!»»

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

ИЗ ДНЕВНИКА

Гамбург, 4 февр. 1830

Уже некоторое время тому назад мы узнали, что Гейне снова здесь. Вскоре после этого он встретил Ассинга на улице. Ассинг пригласил его в гости, но он не пришел, о чем я очень жалела.

Сегодня после обеда он неожиданно появился у нас, охрипший, простуженный и жалующийся на боли в груди, чтобы спросить нас, не хотим ли мы передать что-нибудь моему брату, который осведомлялся о нас и которому он на этих днях будет писать. В разговорах незаметно пролетел час, от беседы осталось приятное впечатление, хотя Гейне показался мне очень больным, так что Ассинг сказал ему, что ему не следовало

выходить из дому в такой холод и при таком резком ветре.

Мы заговорили о картинах. Больше всего ему нравятся картины венецианских и голландских художников. Между теми и другими, по его словам, есть сходство; мне кажется, что это очень тонко подмечено, когда я думаю о двух картинах Каналетто с видами Венеции, которыми я любовалась на прошлой неделе. Потом он сказал, что Ян Стен—один из его любимых художников. Пейзажи, как жанр, его, как и меня, мало привлекают. Я не могу как следует запоминать их, хотя и восхищаюсь красотой пейзажей в природе. Гейне, видимо, испытывает то же самое.

Затем мы говорили о недавно вышедшей последней книге Юстинуса Кернера «Провидящая из Префорста». Он о ней только слышал, имел, по-видимому, отрицательное мнение о ней, а после того, как я кое-что рассказала из ее содержания, заявил, что окончательно утвердился в своем суждении и что ее читать не будет, но ему кажется, что эта книга написана как раз для немцев.

АВГУСТ ЛЕВАЛЬД

1830

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ (*1836)

После этой первой встречи я долго не видел Гейне, как вдруг однажды, когда я дремал после обеда, он разбудил меня. Это было для меня сюрпризом. Как он мне сказал, он пришел посмотреть мою квартиру и снять ее, если она его устроит, так как слышал, что я собирался съехать. Однако, как он вскоре убедился, она оказалась для него слишком шумной. Он сказал, что страдает головными болями нервного происхождения и поэтому дома всегда должно быть совсем тихо.

Многие сомневались в том, что он действительно страдает таким заболеванием; говорят, что он кокетничает этим, и его слова «Ах, я очень болен!», которыми он начинает каждый разговор, ничего, собственно, не значат. Дамы даже утверждают, что все это говорится только для того, чтобы он мог поднести руку ко лбу и таким образом продемонстрировать эту изящную, белую руку, что составляет предмет немалой гордости поэта. <...>

Я верю в головные боли Гейне. У него ослабленная

конституция; часто он внезапно багровеет без всяких видимых причин; почти всегда он находится в раздраженном состоянии; его образ жизни никак не может быть рекомендован для подражания людям, которые должны внимательно следить за своим здоровьем. Гейне несколько раз ночевал у меня, и приходилось не только убирать часы из его спальни, но даже останавливать часы в соседней комнате. Как уверял Гейне, тиканье маятника и бой часов мучили его так сильно, что на другое утро он всегда страдал сильнейшими головными болями.<...>

Первый визит Гейне был кратким, но тем не менее он меня обрадовал. Для меня было много лестного в том, что меня посетил этот превосходный человек; мне было очевидно, что он желал ближе познакомиться со мной.

С тех пор я часто видел его в Гамбурге, ему так понравилось у меня, что вскоре он стал приходить ко мне ежедневно.

Он настоятельно просил меня собрать и издать различные новеллы, написанные мной ранее и напечатанные в газетах «Абендцайтунг», «Моргенблатт» и других. Он самым дружеским образом интересовался моей работой и говорил о моих новеллах со своим издателем Юлиусом Кампе, который их взял.

Я часто повторял ему со смехом, что он навлечет на себя проклятья читающей публики, если я теперь, подобно другим новеллистам, постепенно издам этак с пятьдесят томиков. За первым томом, содержащим написанные ранее новеллы, вскоре последовал второй. Пять новелл, которые вошли в него, были написаны одна за другой в течение короткого времени, и Гейне взял на себя труд прочесть их в рукописи с карандашом в руках и высказать мне свои замечания. События в Польше побудили меня описать мои впечатления от этой страны и издать их под названием «Варшава». Гейне просмотрел и эту рукопись. «Это не новелла, — сказал он. — Вы должны назвать ее по-другому». И он придумал для нее название «Современная зарисовка», как он раньше придумал «Путевые картины» и как позже придумал «Дела». С тех пор все эти названия приобрели права гражданства.<...>

<Гейне> узнал в Италии о скоропостижной смерти своего отца и тотчас же поехал домой, махнув на все рукой, потому что он полагал тогда, как он сказал мне, «что и его мать тоже умрет». Его отец был несчастным

человеком, рассказывал он мне однажды, всю его жизнь ему ни в чем по-настоящему не везло.<...>

Гейне жил в Гамбурге, не получая общественного признания. Его произведения проглатывались читателями, но до него самого никому не было дела. Тем более непринужденную жизнь он мог вести. У него было мало знакомых. Кроме своей сестры он чаще всего посещал, пожалуй, меня. После обеда его иногда видели в кружке, который обычно собирался у актера Форста и состоял из самой разнородной публики. Там были некоторые артисты из труппы городского театра, Корнет, Йост, Эмиль Девриент, несколько молодых адвокатов и врачей, автор комедий Тепфер и я. Обычно до начала спектакля в театре играли в карты. Гейне следил за игрой; сам он никогда не играл. Позднее он любил бывать в салоне Петера Арендса, — так в Гамбурге обычно называют залу, где каждый вечер устраивались пользующиеся дурной репутацией балы. «В Берлине меня называют салонным демагогом, — рассказывал он со смехом, — совершенно не представляя себе, как это верно сказано. В салоне Арендса собирается самое приличное общество. Я постоянно нахожу там самый изысканный и непринужденный тон и очень хороших людей».

До обеда его видели у его издателя Кампе; особенно когда вместе с тюками книг из Лейпцига приходили новые журналы, которые он затем быстро просматривал. Он очень любил Кампе. «Пока он остается таким, каков он есть, — обычно говорил Гейне, — я останусь с ним. Вы не поверите, — прибавлял он затем со смехом, — как сильно он изменился. До своего путешествия в Италию он был превосходным человеком».

Кампе привык к тому, чтобы над ним шутили, и совершенно не обижался на Гейне за это.

«Бёрне стоит вам слишком дорого, — говорил Гейне, — и его книги все еще не расходятся как следует».

«Но Бёрне будут раскупать, когда вас давным-давно забудут», — парировал это Кампе.

«Для него и для вас несчастье, — отвечал Гейне, — что этого придется так долго ждать».

Когда в Гамбург приехал Паганини, Гейне очень хотелось послушать его игру, однако мне казалось, что он не без ревности относился к тому всеобщему интересу, который вызывал скрипач. Мы несколько раз обедали со знаменитым виртуозом, и Гейне внимательно наблюдал за ним; кажется, он тогда намеревался вывести Паганини в своей книге. Позднее он предложил это мне, и я дал свое согласие. Но когда я потом

не выполнил своего обещания, он упрекнул меня и сказал, что он хотел передать мне эту тему как другу и что я поступаю неверно, отказываясь от работы над ней. Кажется, ему особенно нравился спутник Паганини, известный писатель из Ганновера, которого он намеревался изобразить самым забавным образом.

Он был постоянно начинен подобными шутками; он очень быстро загорался какой-нибудь идеей, которая захватывала его целиком, но до ее осуществления дело никогда не доходило.

Однажды мы пошли посмотреть, как ловят корюшку. На пути туда стоят две ветряные мельницы. «Взгляните, — сказал мне Гейне, — на эти бедные создания, которые так тоскуют друг о друге и тем не менее никогда не смогут сойтись вместе. Вот эта мельница здесь — мельница-мужчина, а другая там — мельница-женщина. Я напишу цикл романсов о судьбе этих несчастных». <...>

В театре он бывал редко. Говорил со мной о том, что ему очень досадно, что он не получил от директоров театра даже права на бесплатное посещение спектаклей, которое они предоставляют каждому, кто сумел правдами и неправдами тиснуть хоть одну корреспонденцию в самой незначительной газетенке. Сам он просто не придавал значения этому факту, который казался ему свидетельством ничтожности этих людей. Тем не менее он не мстил им за это; он лишь ограничился тем, что никогда не упоминал о гамбургском театре. <...>

ЛУДОЛЬФ ВИНБАРГ

Весна 1830

ИЗ ВВЕДЕНИЯ К СТИХОТВОРЕНИЯМ ГЕЙНЕ В ОДНОЙ ИЗ АНТОЛОГИЙ

(* 1835)

Летом 1830 года я жил в Гамбурге, где в то же время находился и Генрих Гейне. Вспоминаю, как однажды рано утром я нанес ему визит <...>

Когда я подсел к нему на диван, первый же взгляд на предметы, находившиеся вокруг, очень живо напомнил мне гетевскую перелетную птицу, которая нигде не находит себе пристанища: открытый чемодан, разбросанное белье, пара элегантных тросточек с еще не стертými следами тщательной упаковки, но прежде

всего сам этот человек, ибо хотя он уже несколько месяцев дышал гамбургским воздухом и устроился на жительство в приличном бюргерском доме, тем не менее производил впечатление путешественника, который, казалось, лишь накануне сошел с почтовой кареты и провел в гостинице несколько утомительную ночь. Это общее впечатление подвижности совершенно естественно вызвало разговор о путешествиях и странствиях, и я заговорил о «Путевых картинах», хотя это было явным прегрешением против чувства такта, которое запрещало мне напоминать писателям об их произведениях. В то время у меня еще были свежи воспоминания о моих студенческих годах, и я рассказал ему о том, как я познакомился с его стихами, предшествующими первой части «Путевых картин», раньше чем с самим этим произведением и даже до того, как узнал имя автора. Это произошло, рассказывал я, так. В студенческие годы я очень мало интересовался новинками литературы. Госпожа Шверс вряд ли видела в регистрационной книге своей библиотеки в Киле против моей фамилии что-нибудь другое, кроме номера произведений Гете, которые я читал и перечитывал. Это происходило отнюдь не из презрения к новейшей литературе, которую я просто не знал, или из-за ложно понятого принципа или чрезмерного рвения в занятиях наукой. По-видимому, основной причиной было то обстоятельство, что еще ребенком, а затем обучаясь в гимназии, я в значительной степени переболел общей лихорадкой чтения.

Другая причина заключалась в том, что, благодаря ранним опытам и полученным в студенческие годы поэтическим импульсам, мое собственное творческое начало находилось в полном расцвете. Наконец, имело значение то, что я принимал слишком живое участие в текущей студенческой жизни, находя в этом немалое удовольствие, чтобы при этом с таким же любопытством вторгаться в чуждые, далекие от меня и к тому же еще бумажные фантастические миры. Тем не менее нельзя сказать, что меня совершенно не затрагивали скрытые воздействия, исходившие от этих миров. Мое окружение состояло из живых и остроумных молодых людей, часть которых испытывала меньшую боязнь перед литературой, чем я. Во время прогулок в Дюзерброкский и Вибургский лес и в пахнущей вином глубокой шахте, куда мы весело спускались по вечерам, я слышал не одну «божественную остроту», не одну фразу, «поистине неизбежную», слышал, как пели столько песен и декламировали столько стихов, кото-

рые стали песнями, и поскольку в них явственно звучал голос новой литературы, я составил себе о ней самое общее впечатление, ничего не читая и не зная имен авторов. Так услышал я и ваши песни, причем самые пикантные, безумные и дерзкие, из уст гениального человека, который однажды рано или поздно станет заметной фигурой в мире. При этом мы знали об авторе только то, что он раньше учился в Геттингенском университете, и если попытаться определить в целом своеобразное впечатление, которое произвели на нас эти стихотворения, то я должен признаться, что оно лишь соответствовало нашей студенческой нелюбви к филистерам, которым, как нам казалось, эти целомудренные песни давали новый повод для неудовольствия. Во время моего рассказа Гейне показал себя прелестнейшим образом. Прижав обеими руками к гладким черным волосам носовой платок из красного шелка, которым он повязывал себе голову на ночь, он сначала, как обычно, пожаловался на головную боль, затем, смяв и расправив свой пестрый мефистофелевский халат, он небрежно набросил его наподобие плаща Фауста себе на плечи и начал, улыбаясь и подмигивая, но при этом самым сухим доцентским тоном объяснять мне, молодому школяру, скрытое всемирно-историческое значение своих легкомысленных песен. Во время этой лекции я не раз принимался хохотать ему прямо в лицо и тем не менее продолжал внимательно слушать его. Ситуация была настолько комична, что когда сразу после этого в комнату вошел глухой Лизер, Гейне, посмеиваясь, сел за стол напротив нас и набросал одну из самых забавных карикатур, которые нередко удавались его легкому искусному перу и которые, как я полагаю, Гейне хранит и до сих пор. На этом можно закончить эту веселую историю и присовокупить к ней замечание, которое позволит перейти к следующей части. В настоящее время я полностью согласен со словами Гейне о том, что его песни переживут его. На мой взгляд, это относится как к его сказочно прекрасным и глубоким песням, так и в особенности к тем, которые отличаются необузданностью и фривольностью. Самый маленький и грязный лепесток, упавший с одной из роз в цветнике его любовной поэзии и посвященный какой-нибудь берлинской красотке сомнительной репутации, будет унесен по пути в бессмертие гораздо дальше, чем тысячи и тысячи теологических и морализирующих курдюков нашего времени, также претендующих на это.

ИОГАНН ПЕТЕР ЛИЗЕР

Апрель 1830

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 21/22.1.1848)

<...> Гейне и я отлично ладили друг с другом, когда мы жили в Гамбурге, и усердно ходили друг к другу в гости; четвертую часть «Путевых картин» Гейне более чем наполовину написал в моей комнатке, потому что ему там меньше мешали, чем в его собственном жилище, где к нему нередко являлись всякого рода непрошеные гости. Ему было трудно заставить себя сесть писать, но уж если он брался за перо, то работал на совесть, без перерыва, забывая об обеде, и писал, пока не начинало темнеть, а я в это время рисовал. Вечером Гейне никогда не работал; напротив того, я начинал свою писанину лишь поздно вечером, и эта привычка сохранилась у меня до сих пор; в такие дни мы проводили вечерние часы вдвоем, совсем по-домашнему — я кипятил чай и варил картошку в мундире, а Гейне выставлял голландскую селедку, сахар и ром, и так мы проводили время за совместным ужином, смеясь и болтая, до 9-ти часов, когда он обычно шел еще на часок к Марру или в павильон на Альстере; если у него в то время случались деньги, я должен был составить ему компанию, и тогда мы нередко кутили, причем основные труды ложились на меня, так как Гейне отличался большой умеренностью во всем, что касалось еды и питья.

Так мы прожили всю зиму. Весной Гейне снял квартиру в Вандсбеке и простился со мной в самом приподнятом настроении, тогда как меня совсем не устраивало, что мы будем жить летом так далеко друг от друга.

Однако уже через несколько дней однажды утром в мою комнату вошла коренастая служанка из Вандсбека и передала мне записку от Гейне, в которой он настоятельно приглашал меня как можно скорее посетить его, так как он нездоров и скучает, как мопс госпожи сенаторши, когда та поет сентиментальные песни.

Я обещал посетить его на следующий же день, если будет хорошая погода; и так как погода утром следующего дня была действительно великолепная, я собрался пораньше и отправился пешком в эту живописно расположенную деревню.

Раньше я никогда не бывал в Вандсбеке, и потому мне потребовалось некоторое время, чтобы разыскать гостиницу, где жил Гейне. Как обычно, Гейне снял себе за большие деньги жалкое жилище: это была высокая, просторная и темная комната в первом этаже, с голыми стенами, в ней можно было замерзнуть, когда на улице стояла сильная жара; там были два стула, старый диван и непрочная кровать, и за все это мой друг Гейне платил 30 марок в месяц. Он был очень удивлен, когда я убедил его, что он мог бы в той же гостинице снять за 10 марок несравненно более комфортабельную комнату, светлую, теплую и сухую. Но он оставил все как было и удовлетворился тем, что назвал хозяина, который столь бесстыдно обманул его, мошенником, что того весьма мало обидело, поскольку Гейне продолжал платить эту неслыханную сумму еще два месяца.

Когда я вошел к нему в комнату, Гейне лежал на диване и принял меня самым сердечным образом. На столе были аккуратно приготовлены чай, сахар, ром, масло, хлеб, сыр, сваренные вкрутую яйца и вареные раки, появилась служанка, и я должен был, как обычно, приготовить чай.

Несмотря на то что Гейне был, по его словам, нездоров, в то утро он ел с большим аппетитом, и когда я высказал ему по этому поводу свое недоумение, он со смехом признался мне, что он, собственнo говоря, здоров и написал мне о своей болезни, чтобы я наверняка пришел к нему и затем рассказывал об этом в Гамбурге, что обезопасило бы его от других посетителей.

Я не воспринял эти слова как комплимент в свой адрес, да это и не был комплимент. Уже в Гамбурге Гейне мне слишком часто доказывал, что у него бывали дни, когда ему не хотелось разговаривать ни с кем, кроме меня, потому что, в сущности, никто не понимал его лучше меня в те дни, когда у него было плохое настроение.

— Гейне, как же вы можете в такую райскую погоду лежать в этой холодной темной дыре? Разве так следует наслаждаться весенним утром в деревне, да еще в таком месте, где пел свои весенние песни честный Клаудиус?

— Клаудиус? А кто это?

— Асмус, вандсбекский рассыльный!

— Я его не знаю!

— Естественно, вы ведь не знаете и стихов Шиллера.

— Конечно! Я их никогда не читал!

— Да в них и нет ничего такого!

Гейне заметил, что он больше не может, как раньше, рассердить меня, притворяясь, будто он не читал ничего из Шиллера и других моих любимых поэтов. Ведь теперь я знал, что он часто особенно высоко ценил как раз те стихи, которых он якобы не знал.

— Но в этой книге есть действительно прекрасные стихотворения! — сказал он через некоторое время и передал мне элегантную книжечку; это были стихи, посвященные ему и написанные совершенно в его манере <«Эрато» Гауди>. Уже после первых двух строф я понял, в чем тут дело, и, отбросив книгу, воскликнул:

— До чего же красива природа в общем!

Гейне громко расхохотался и тотчас записал эту критическую оценку на титульном листе книги; но затем он сказал:

— Вообще на этих днях я прочел в одном лейпцигском журнале несколько песен поэта по имени Герман Мейнерт, которые меня поразили. Из всех моих эпигонов никому не удавалось воспроизвести мою манеру так, как ему, и некоторые из этих подражаний действительно поэтичны! Попробуйте для развлечения тут же экспромтом написать песенку в моей манере, немножко фривольную, вспомните при этом о прекрасной Ванту и о вашем последнем приключении с ней у <Георга> Лотца в отсутствие госпожи Лотц.

Я не заставил долго просить себя и тут же написал маленькое стихотворение, которое дало Гейне повод сочинить одну из своих прелестных песен, почему я здесь и привожу свои стихи.

Они гласят:

Можешь лгать себе, плутовка,
Но меня смутишь едва.
Может быть, что лгут, и ловко,
Поцелуй, как слова.

Лги, как прежде, в поцелуе,
Лги в словах. Не мне судить.
Лги смелее, я рискую,
Должен я тебя любить.

Гейне прочел эти стихи и быстро заговорил:

— Неплохо — за исключением конца, который напоминает манеру Гете, а для меня звучит слишком невинно. Подождите! Я бы сделал так! — и он написал:

Лгут уста, но ложь понятна,
И лобзания как дурман!
Ах, обманывать приятно,
Слаще — веровать в обман!

Пусть ты в руки не даешься,
Знаю я, чего добьюсь;
Верю, если ты клянешься,
Сам, поверив, поклянись.

Гейне подал мне текст, и когда я прочел его, я свернул листок с моими стихами в трубочку и использовал его, чтобы зажечь свою сигару.

— Если бы я не знал вас лучше, — сказал Гейне, смеясь, — я посчитал бы вас ужасно тщеславным и чувствительным; я понял вас правильно: ведь удалась моя песня, не так ли?

— Да, в самом деле!

— Хорошо, я включу ее в новое издание «Книги песен»! А теперь давайте пойдем гулять: уделять особое внимание туалету я не собираюсь.

Гейне действительно наскоро оделся, и мы сразу вышли на улицу, где светило солнце и легко дышалось. К моему удивлению, Гейне отправился на кладбище, где обменялся несколькими словами с могильщиком и затем как бы бесцельно пошел со мной между рядами могил. Внезапно он остановился, с улыбкой сжал мою руку и показал на могильный холмик, на котором стоял простой надгробный камень. Это была могила рассыльного из Вандсбека Маттиаса Клаудиуса, известного как Асмус, и когда я, приятно пораженный и растроганный этим свидетельствующим о тонкости чувств вниманием, взглянул на друга, он улыбнулся, и в его глазах блеснули слезы. И тот же самый Гейне, который незадолго до того пытался рассердить меня тем, что он якобы не знает ничего о старике Клаудиусе, цитировал теперь его слова:

..Они

Похоронили хорошего человека,
А мне он дороже всех.

¹ Перевод В. Зоргенфрея.

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1905, посмертно)

Мы <Эдуард и Тереза Девриент> отослали наши рекомендательные письма к Соломону Гейне, и уже на другой день нас посетил молодой господин <Карл> Гейне, который очень любезно пригласил нас от имени своего отца приехать на следующий день в его имение к обеду. <...> В шесть часов, перед тем как у старого банкира обычно бывал обед, у нашей двери остановилась в высшей степени элегантная карета с кучером и лакеями в очень красивых ливреях. <...> Имение Соломона Гейне расположено на берегу Эльбы рядом со знаменитым Рейнвиллем, и оттуда открывается прославленный своей красотой вид. Нас любезно приветствовал маленький полный седовласый старичок, он от всего сердца потряс нам руки и сказал: «Если я вам в чем-нибудь могу оказаться полезным, то я сделаю это с удовольствием, так как мой лучший друг Абрахам Мендельсон рекомендовал мне вас так, словно вы его родные дети». Он пригласил нас последовать за ним в сад, где мы нашли довольно многочисленное общество, в котором, несмотря на всю непринужденность поведения, чувствовалась некая церемонность, которая бросилась мне в глаза. Молодая хорошенькая женщина, его младшая дочь <Тереза Галле, урожденная Гейне>, единственная из присутствующих, кому удалось освободиться от воздействия этой атмосферы, она приветливо встретила меня, и мы ходили по красивым аллеям, болтая и наслаждаясь видом великолепной Эльбы, пока наконец слуга не позвал нас в семь часов к обеду.

Соломон Гейне предложил руку мне, Эдуард предложил руку молодой хорошенькой женщине. Внутреннее убранство дома отличалось необыкновенным уютом и столь изысканной элегантностью, что она вначале просто не замечалась, все выглядело лишь удобным и радующим глаз. В столовой, расположенной прямо на первом этаже, не было ничего достойного внимания, кроме тесно заставленного серебряной посудой буфета и многих слуг в ливреях. Беседа за столом мне не понравилась, так как большей частью говорилось о подававшихся на стол деликатесах, которые тут же съедались. Нам, никогда не бывшим гурманами, приходилось из-за этого вдвойне тяжело: мы должны были чуть ли не по три раза пробовать каждое из всего множества называвшихся и восхвалявшихся за столом

лакомств. Напротив меня в некотором отдалении сидел господин, который привлек к себе мое внимание тем, что он окинул меня взглядом, прищурившись и помаргивая, а затем пренебрежительно и равнодушно отвел глаза в сторону. При этом выражение его лица вызвало у меня такое впечатление, словно я выгляжу слишком прилично, чтобы привлечь к себе его внимание.

— Кто этот господин там, напротив? — спросила я моего соседа.

— Вы его не знаете? Это же мой племянник Генрих, поэт, — и, прикрыв ладонью рот, он прошептал: — Каналья.

Теперь я поняла естественную антипатию, которую мы с его племянником испытывали друг к другу. Я стала обращать больше внимания на то, что он говорил, и слышала, как он равнодушно, полунасмешливо, полужалуясь, говорил о своей бедности, которая не позволяет ему совершать достаточно далекие путешествия. Тут дядя (о котором знали, что он оказывал племяннику щедрую поддержку) воскликнул:

— Ах, Генрих, уж тебе-то нечего жаловаться. Если тебе не хватает денег, ты идешь к нескольким добрым друзьям и угрожаешь им, что изобразишь их в своей следующей книге в столь смешном виде, что все порядочные люди будут избегать их, или ты выставишь на позор какого-нибудь дворянина! Ведь у тебя достаточно средств для этого.

Поэт прищурил глаза и резко ответил:

— Он <Платен> задел меня своими словами о старых нянюшкиных сказках и о том, что я люблю есть чеснок; я должен был его уничтожить. <...>

Обед подошел к концу. Некоторые из сидевших за столом удалились, и среди них поэт, который не очень хорошо чувствовал себя рядом с дядей.

ФЕРДИНАНД МЕЙЕР

Июль/авг. 1830

ИЗ СТАТЬИ О ВСТРЕЧАХ С ГЕЙНЕ

(* 28.11.1849)

Когда в 1830 году я продолжил свое лечение на Гельголанде, мне было очень приятно вновь встретить там Гейне, но так уж случилось, что во время июльских событий в Париже я получил поручение, которое

нужно было исполнить в Лондоне, как раз в тот момент, когда некое высказывание Гейне, сделанное им в присутствии министра Р. и генерала К., не позволило мне и впредь сохранить с ним прежние сердечные отношения. Дело в том, что, в связи со свержением старшей ветви Бурбонов, Гейне недавно в берлинском цейхгаузе говорил, что надпись на прусских пушках «ultima ratio regis»¹ в ближайшем будущем придется переделать в «ultimi regis ratio»², и вот теперь это как будто осуществляется.

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

ИЗ ДНЕВНИКА

Гамбург, 10 сент. 1830

Сегодня после обеда у меня был с визитом доктор Генрих Гейне, что всегда приятно и пробуждает к духовной жизни. Этим летом он был на курорте в Гельголанде и выглядит здоровее и сильнее, чем когда-либо. Мне показалось также, что он очень взволнован событиями во Франции, да иначе и быть не может. Полиньяк, как он выразился, личность необыкновенно занятая и весьма забавляет его своей редкой глупостью. События в Гамбурге его возмутили, и вполне справедливо. Я сказала, что, на мой взгляд, это все в прошлом. Он считает, что волнения могут начаться снова в любое время именно в силу их стихийности. В большом воодушевлении он написал несколько произведений на политические темы, однако, по его словам, в этом ему крайне мешали здешние события. Он полагает, что Пруссия непременно захватит Гамбург, в данный момент ей было бы легко это сделать, если бы прусские войска стояли поблизости. Не вдаваясь слишком в спор с ним и не выказывая свое неодобрительное отношение к такому насильственному акту, я посоветовала ему не высказывать подобные мысли вслух и быть осторожнее, если он хочет избежать неприятностей. Я также много рассказывала ему о своем пребывании в Берлине, живо и доверитель-

¹ Последнее средство короля (лат.).

² Средство последнего короля (лат.).

но с ним все обсуждая. Он воспринимает все ясно, откликается остроумно и с пониманием. Всегда бывает самим собой, человеком правдивым и лишенным манерности, а поэтому самостоятельным в суждениях и высказываниях.

ИЗ ПИСЬМА ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Гамбург, 10 сент. 1830

Только что у меня был д-р Гейне, он передает тебе самый сердечный привет. Он считает, что ты сейчас, наверное, очень занят, так как он не получил от тебя ответа на два письма. Он был на гельголандском курорте и выглядит очень поздоровевшим, конечно, текущие события его весьма взволновали, и он с воодушевлением написал несколько произведений на политические темы, в чем ему, однако, по его словам, самым неприятным образом помешали инциденты в Гамбурге. Он возмущен здешними эксцессами, и справедливо. <...> Толпа разбила несколько окон также и в доме его дяди, Соломона Гейне. При этом последний — один из тех людей, которые стремятся делать как можно больше добра.

АДАЛЬБЕРТ ФОН ШАМИССО

16 сент. 1830

ИЗ ПИСЬМА АНТОНИИ ФОН ШАМИССО

Гамбург, 19 сент. 1830

Утром 16-го я случайно встретился с автором «Путевых картин» Гейне, после того как он безуспешно охотился за мной. Мы просидели вместе пару часов в одном погребке за устрицами, и я остался им очень доволен. То, что он стал значительной силой в литературном мире Германии, не отгораживает его от людей, чем я и не преминул воспользоваться. Своим ядом он брызжет только во врагов, с нашим братом он ведет себя как добрый черт, а в разговоре справедлив как к врагам, так и к друзьям или, во всяком случае, позволяет с собой спорить. Так, он отказался от своей прежней слишком высокой оценки Иммермана.

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* сент. 1857)

Начало моего личного знакомства с ним <с Гейне> относится ко времени незадолго до того, как разразилась Июльская революция; и еще довольно долго после нее, пока мы оба не уехали, я наслаждался прелестью общения с ним, будь то в книжной лавке его издателя, будь то в так называемом Дамском павильоне на старой улице Юнгфернштиг, во время прогулок или у него дома. Найдется ли человек, который может забыть свою первую встречу с Генрихом Гейне? Ведь его стихи и «Путевые картины» нельзя было читать, не испытывая одновременно напряженного любопытства к личности автора и их героя. Ибо одной из черт Гейне, поражавших читателей, было как раз то, что в его стихах перед нами предстал и поэт, что он сам так дерзко выставлял себя со всеми своими внутренними и внешними переживаниями и что сам, несмотря на эту дерзость, откровенность и открытое афиширование своей музыки, оставлял в своих стихах достаточно недосказанного, чтобы дать читателю возможность гадать, из каких нежных и таинственных жизненных глубин они появлялись. В интересах истины я должен сказать, что мое окружение не было в особом восторге от Гейне. Там его считали выдающимся жонглером от поэзии; особенно сомневались в истинности его любовных чувств и переживаний, что и отразилось в следующем язвительном стихотворении, написанном по этому поводу:

Садовника кормит лопата,
Нищего — стук клюки,
А я— я стригу дукаты
С моей любовной тоски.

Я не разделял подобных предрассудков, для меня было важно общее поэтическое впечатление, целостный образ поэта, который в самом деле был нов для тогдашней молодежи, хотя она и не была к нему совсем не подготовлена. «Фауст» Гете проник в образованное общество в гораздо большей степени, чем обычно считают, для каждого нового поколения школьников и студентов он стал поэтической библией, которая отвлекала от тривиального, питала высокие и бунтарские

прометеевские идеи и выступала за смелость в постижении жизни и в наслаждении ею. Конечно, в тот период, о котором я говорю, мне были известны фигуры, стоявшие на более высоком духовном уровне и отличавшиеся большим размахом, нежели Генрих Гейне; но я не знал ни одного, кто по своему поэтическому дарованию и выдающемуся эстетическому сознанию стоял бы ближе к творцу «Фауста» и кто в своей области, менее идеальной и дающей мало свидетельств о мужественной борьбе с проблемами жизни и науки, был бы более Фаустом и Мефистофелем одновременно, чем Генрих Гейне. В Англии эту двойную роль воплотил в себе лорд Байрон. Его лордство оказывало мощное тайное воздействие на молодого поэта, которому, конечно, гораздо больше недоставало норманнских предков и путешествий по свету, чем Ньюстедского аббатства, чтобы сравняться с мощным полетом британца. Ибо, подобно гетевскому началу, и байроновское начало претерпело в нем ломку, хотя нередко обломки — объединению которых противилась не знавшая удержу в своем остроумии субъективность, это свращающее наследие востока, — могли быть поставлены рядом с самыми прекрасными и блестящими образцами творчества этих гениальных поэтов. Под влиянием такого анализа я составил себе представление и о его внешнем облике и отнюдь не был удивлен, когда при первой встрече увидел перед собой не пылкого, сильного и бесшабашного, но утонченного, тихого, аристократического и любезного человека.

В то время поэт, не будучи худым, не был и тучным, таким он стал лишь позже, переварив так много жертв своей сатиры и рядом со своей Матильдой. Одевался он аккуратно, но просто; я никогда не видел, чтобы он носил драгоценности. Красивые мягкие темно-каштановые волосы обрамляли его овальное, совершенно гладкое лицо, цвет которого определяла нежная бледность. Его скорее маленькие, чем большие глаза отличались красивым разрезом. За ресницами полуприкрытых век обычно скрывался немного мечтательный взгляд, более всего выдававший поэта; когда он бывал возбужден, сквозь мечтательность пробивалась жизнерадостная умная улыбка, в нее могло вкрасться и немного ехидства, что, однако, не делало ее колючей. В его характере и внешности не было ничего от фавна. Довольно слабая переносица выдавала в нем в соответствии с физиогномическими принципами недостаток силы и величия, нос с умеренной горбинкой также был несколько обвисшим. На его красивом, слегка выпук-

лом лбу не было морщин, губы были тонкими, подбородок — округлым, но не тяжелым. «Злое подергивание» верхней губы было, очевидно, для него привычкой, но не знаком презрения к людям и пресыщенности жизнью, как у лорда Байрона, который, впрочем, не был в этом так уж виноват. Английскому поэту с его типичной для англосаксов короткой верхней губой и сверкающими белизной зубами эта гримаса, может быть, была более к лицу, во всяком случае, она была для него более естественной. Походка и движения Гейне были, как правило, скорее медленными, чем быстрыми. Его замкнутость, его аристократичный или робкий характер недотроги проявлялись во всех движениях; на улице он прижимал руки к туловищу, словно хотел избежать любого случайного соприкосновения с людьми. Тем не менее однажды случилось так, что на Гейне, гулявшего на валу с дамой, наскочил некий усатый господин, одетый в польское платье; вместо того чтобы извиниться, он в грубой форме попытался начать с ним ссору. Гейне, который легко склонялся к подозрению, что его враги нарочно подсылали к нему таких субъектов, гордо вручил ему свою визитную карточку и потребовал визитную карточку обидчика. Однако при этом он вовсе не помышлял о рыцарском поединке, как можно было бы подумать. В полиции выяснилось, что тот человек приехал в Гамбург в поисках приключений. Он должен был немедленно покинуть пределы города и его окрестностей. Гейне рассказал мне об этой истории на том месте, где она случилась. <...>

Осень 1830

Гейне проявлял живейший интерес к текущим событиям, но мысль о вмешательстве в них в качестве действующего лица или хотя бы писателя была ему бесконечно чужда. Стремление к политической или социальной агитации никогда не руководило им в его писательской деятельности. Книга о дворянстве ему только приписывается. Он столь же мало был или хотел быть человеком революции, как и реформатором в других областях, в связи с чем мне следует только напомнить о его известных словах: «Я самый больной из всех». Если бы от него зависело свергнуть существующий строй одним росчерком пера, преобразить мир и установить достаточно совершенные порядки, он бы еще хорошенько подумал, стоит ли это делать. Мир и

жизнь давали ему материал для сатиры, для отражения характерного, для поэтических излияний, его симпатии и антипатии были выражены самым ярким образом, и, как это естественно было ожидать от поэта, он мог мечтать о великих характерах и об освобождении от оков исторических сил, — но от людей там, на улице, от схватки борющихся, от интриг руководителей и подстрекателей его отделяла пропасть. Он знал, что эта его сдержанность при случае может быть истолкована как аристократизм, а свобода суждений, направленное во все стороны беспощадное остроумие вполне могут довести его до гибели. Если в Германии, сказал он однажды, разразится революция, — а она будет гораздо ужаснее и основательнее французской, — то я буду не последней ее жертвой. Случайно в те дни в его комнату вломился немецкий студент, выдававший себя за его величайшего поклонника, и наговорил ему одним духом грубейших дерзостей, как полагаю, из-за его нетвердой морали и его восхищения Наполеоном. <...>

Окт. 1830

Начало Июльской революции привело Гейне, страдавшего от мрачного, непродуктивного настроения, в лихорадочное волнение; он чувствовал, что она станет значительным периодом и в его жизни. Тогда он освежил для себя в памяти историю прошлой французской революции главным образом по классическому труду Минье. Когда я однажды утром зашел к нему — накануне он переехал на другую квартиру, — я нашел его очень бледным и нездоровым, он прижимал свою маленькую белую руку к голове, повязанной шелковым платком. В моем вопросе, как он себя чувствует, на сей раз не было ни следа иронии, как это бывало иногда, когда мне казалось, что его вечные утренние жалобы граничат с кокетством. «Я совершенно разбит, — отвечал он. — И всему виной Минье и французская революция. Я допоздна читал ночью в постели, нет, я уже не читал, я видел, как со страниц Минье встают люди того времени, видел благородные головы жирондистов и гильотину, которая с тупым стуком отделяла их от тел, и воющую толпу народа, и тут я посмотрел вниз, и мой взгляд упал на кровать, на вот эту отвратительную красную кровать, и мне показалось, что я сам уже лежу на красной гильотине, и я одним прыжком соскочил с постели. С того момента я не сомкнул глаз». Меня растрогала эта нервная возбуди-

мость фантазии поэта, которую я наблюдал своими глазами в ее нелицемерной истине. С тех пор я стал гораздо терпимее по отношению ко многим чрезмерно ярким описаниям чувств в его произведениях, которые слишком легко можно было счесть искусственными и утрированными. <...>

1830/1831

У самого Гейне был только талант собеседника. Наверное, мне не нужно заверять читателей в том, что с его тонких губ нередко срывались тончайшие замечания, драгоценнейшие доказательства его остроумия и иронии и самые поразительные описания характеров и событий. В его устах даже будничное и незначительное приобретало известную прелесть. В хорошем настроении он был всегда уверен, что выразит какую-то мысль так, как требуется, или скорее наиболее удачно, и тогда он мог положиться на свое превосходство. Кто-то хотел рассказать мне смешной анекдот. «Стойте, — перебил его Гейне, — дайте я расскажу!» Он слишком хорошо знал, что эта история будет звучать в его устах на двадцать процентов смешнее.

Он не обладал даром красноречия и не стал бы оратором, даже если бы имел более сильный голос. Он был столь робок, что всякое мало-мальски многочисленное общество стесняло его. Даже в обычной беседе резкое возражение или тем более сатирический выпад подрезали ему крылья. Это достаточно странно, но именно он становился первой жертвой того оружия, которым столь мастерски владел, как только оно направлялось против него; то колкое, искрящееся остроумие, о котором он как-то сказал, что в это время биржевых спекулянтов его хорошо носить с собой вместо шпаги, изменяло ему, когда оно должно было послужить ему средством мгновенной защиты. Он был очень чувствителен к подобным уколам; тем лучше он мог оценить воздействие своих собственных остроумных выпадов против других, он скорее их переоценивал, нежели недооценивал. Однако не одна только робость удерживала его от публичных речей и даже всего лишь от выступлений в обществе, он испытывал отвращение ко всякого рода риторике и не был к тому же наделен этим даром. <...>

Оценивая тогдашних немецких писателей, стремившихся к той же цели, Гейне отдавал предпочтение Карлу Иммерману, по отношению к которому испытывал симпатию и благодарность. Иммерман был первым, кто в подробной и очень умной рецензии приветствовал появление в лице Гейне истинного поэта и высоко оценил его. Гейне всегда об этом помнил. В то время сильный ум Иммермана все еще находился под воздействием позднеромантических туманов и шекспиромании, и, как мне казалось, нельзя было с определенностью сказать, овладеет ли он полностью данными ему богатыми средствами, что, как известно, все больше и больше проявлялось в его позднейшем творчестве, столь жестоко прерванном ранней смертью. Однажды, когда я гулял с Гейне и речь зашла об Иммермане, я спросил его, действительно ли он считает Иммермана большим писателем. В ответ Гейне обрисовал мне в нескольких чертах величие природы и свойств Иммермана. Немного помолчав, он остановился и добавил: «А потом, чего же вы хотите, ведь это так жутко — быть совсем одиноким». <...>

1830/1831

Гейне был убежден, что он является последним немецким поэтом-романтиком. Правда, своему издателю он однажды небрежно сказал: «Кампе, я теперь первый». В ответ на это господин Юлиус Кампе, взяв понюшку табаку, возразил: «Гейне, древние греки и римляне почитали различных богов — Юпитера, Меркурия, Аполлона и как их там всех звали. У каждого бога был свой храм, а в каждом храме — свой жрец. Жрецы точно знали, каким уважением пользуются их боги, масштабом для этого им служили жертвы и подарки, которые верующие приносили на их алтари; бог, который получал больше всего жертв и даров, и был *pro tempore*¹ самым уважаемым. Так вот, вы — бог, эта книжная лавка — ваш храм, а я — ваш верховный жрец. И я могу заверить, что с дарами, которые вы получаете, я имею в виду сбыт ваших книг, дело обстоит сейчас еще довольно посредственно». Попутно замечу, что последние слова были сказаны с учетом той большой известности, которой Гейне пользовался уже

¹ В данное время (*лат.*).

тогда и которая привела во Франции и в Англии к несравненно более быстрому и массовому сбыту его произведений; не говоря уж о том, что такие проявления авторского самоутверждения звучат для издателей менее абстрактно и их профессия требует от них время от времени оказывать на авторов отрезвляющее воздействие. Что же касается упомянутого вначале взгляда Гейне на себя как на последнего романтика, то он публично высказывался об этом не только в более позднее время, но я вспоминаю, что уже тогда он выдвигал эту идею в часы наших доверительных бесед и ему было очень важно, чтобы его воспринимали и оценивали именно с этой стороны. Но я также вспоминаю, что в этом отношении я оказался непонятливым учеником и не хотел считать его романтиком. <...> Я тем более не мог представить себе Гейне в обществе романтиков, так как у него отсутствовали национальные и религиозные чувства, из которых было соткано ветхое покрывало романтизма. Самое раннее собрание его стихотворений, изданное не у Гофмана и Кампе, было мне неизвестно, и я бы ныне не оценил столь высоко выраженного там восхищения немецким отечеством и кокетничанья с девой Марией; ведь он тоже не мог понять во мне того, что я мог почитать старика Э.-М. Арндта и тем не менее быть последователем гуманизма. Между тем в дальнейшем та поэтическая позиция, которую он сам себе определил, оказалась не столь уж плохо выбранной, хотя она и остается односторонней, что ему не на пользу. Глубокие впечатления, полученные им в юности от романтической школы, проявились позже в его одноименном произведении, в этой непревзойденной работе, которую не мог бы написать обычный историк литературы, а только один из выдающихся умов этого самого романтизма; они проявились также в неоднократных, продолжавшихся до конца его жизни возвратах к этому кругу, к его людям и к отношениям внутри него. Это проявилось, наконец, в самих его произведениях, если рассматривать их не в духе ортодоксального романтизма, а как возникшую на пути многих скрещиваний или заимствований разновидность последнего, и тем удовлетвориться. От Тика он взял иронию и остроумие, которым он, правда, владел куда искуснее, от Арнима — искусство перспективы, от Новалиса — серебристое звучание голоса, от Гёрреса — сильную склонность к образованию новых слов, от Брентано — вкус к подлинной народной песне и сказке, и он понимал сущность народной песни как никто другой и

умел репродуцировать ее в оригинальной форме. Он был романтиком по преимуществу в силу своего ярко выраженного субъективизма, однако субъективизм у него имел совершенно иную направленность, он был тесно связан с современной общественной жизнью и, согласно своей истинной сущности, служил глубоко гуманному культу ясности и красоты, который, правда, нашел у него лишь очень несовершенное воплощение. Ибо, вместо того чтобы следовать собственным склонностям, не сдерживая сил и желаний, он более всего любил играть роль Тангейзера со своей госпожой Венерой и, подвергаясь за это обвинению в ереси, тайком общаться со старыми богами, преданными проклятью и отправленными в изгнание. Романтизм был его недомоганием, и он довел его изысканный вкус до самой крайней степени. <...>

Он говорил без диалектной окраски. Только один раз я был свидетелем того, как исполненное страсти волнение исторгло из его уст слова, звучание которых очень напоминало своеобразные хриплые гортанные звуки, присущие тому народу, к которому он принадлежал по рождению. Тогда я как раз попал в его комнату и увидел, как он горячится и жестикулирует дрожащими руками, обращаясь к незнакомому мне человеку. Когда этот человек удалился, он сказал все еще ожесточенно, но уже спокойнее и в ином тоне: «Мерзкий сводник, он обманул меня». — «Я сразу же подумал, — ответил я со смехом, — что это, должно быть, очень важное дело, если вы так обозлились». Однако его давнишние и лучшие друзья, видимо, не наблюдали у него подобных рецидивов, напоминающих о его раннем детстве в Дюссельдорфе.

В то время Гейне был еще очень робким и несвободным, опасаясь предрассудков, которые могли возникнуть у людей из-за его происхождения и которые, как известно, самым недостойным образом эксплуатировались людьми вроде Платена и ему подобных. Лишь в позднейшие годы своей жизни, будучи уже тяжело больным, он приоткрыл завесу, скрывавшую его внутренний мир, и высказал как человеческие, так и поэтические симпатии к народу своих отцов. В «Романсеро» он сделался романтиком еврейства.

Он мало соприкасался с евреями, за исключением своих родственников; он их избегал, и его также

избегали, по крайней мере те, которые еще чтили религию отцов и которые, возможно, простили бы насмешливому остро слову все, кроме его насмешек над своим Иеговой.

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

ИЗ ДНЕВНИКА

Гамбург, 23 дек. 1830

Нас посетил Генрих Гейне. Он пришел за своим экземпляром «Штернера и Пситтихера», который мой брат приложил для него к нашему. Он отрицательно высказывался о рыцарской поэзии и одновременно о поэтах швабской школы Уланде, Швабе, Кернере. Тем самым он опять совершенно испортил отношения с Ассингом. Я сказала ему, что он не должен нападать на рыцарский дух, без которого мужчины «кажутся в высшей степени непривлекательными. Он ответил, что старается повсюду уничтожать этот дух. Я заверила его в том, что это ему никогда не удастся.

К.-А. ВАРНХАГЕН ФОН ЭНЗЕ

1831

ИЗ АНЕКДОТОВ О ГЕЙНЕ

(* 20.3.1856)

Генрих Гейне написал в альбом своему дяде Соломону Гейне: «Дорогой дядя, дай мне взаймы сто тысяч талеров и забудь навеки твоего любящего тебя племянника Генриха Гейне».

АЛОИЗ КЛЕМЕНС

9—15 мая 1831

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ ВО ФРАНКФУРТЕ

(* 29.10.1854)

Весной 1831 года Гейне покинул свою родину Германию, потому что, по его собственному признанию, в Шпандау наверняка есть цепи, но нет устриц. <...> Какие бы причины ни побудили его в действительности отправиться во Францию, мне безразлично; его дорога пролегла через Франкфурт. <...>

Потрясения, вызванные Июльской революцией в умах, все еще ощущались во всех слоях общества. <...> Тогда нас достигло известие, что Генрих Гейне проедет по пути во Францию через наш город. Я должен признаться, что я был сильно обрадован возможностью поближе познакомиться с ним. <...>

В то время в нашем городе жил, читал и писал Жан Батист Руссо, некогда товарищ Гейне по Боннскому университету; Руссо знал и читал нам много забавных стихотворений Гейне, которые, как я предполагаю, вряд ли напечатаны в Полном собрании его сочинений, изданном Кампе. По вечерам он нередко развлекал нас рассказами о разных случаях из жизни нашего поэта. Вот, например, известная история о стихах в альбоме Зюдова, который, будучи в Бонне, вручил Гейне вырванный оттуда лист. Гейне взял его, присел к столу, чтобы написать на нем что-нибудь. И тут он, к своему удивлению, увидел, как еще крепкий для своего возраста декламатор, хромя, кружит по комнате. «Почему вы хромаете, Зюдов?»— «Ах, боже мой, у меня так болят мозоли!» Небольшая пауза, и Зюдов держит в руках лист, который он вручил поэту, надеясь, что тот напишет что-нибудь для его альбома. На листе написано:

Глазки, что вдаль не глядят
И к любви не склоняют тем боле,
Но ужасно саднят и болят, —
Это зюдовские мозоли¹.

На память о Генрихе Гейне

Наконец, 9 мая, я получил от Пфейльшифтера приглашение прийти к нему 10 мая вечером с просьбой быть обязательно, так как у него будет ужинать Гейне. Пфейльшифтер был в то время редактором газеты, издававшейся франкфуртским почтовым управлением. Гейне и Пфейльшифтер! Можно ли было представить себе большие противоположности? Пфейльшифтер, которого все, кто его не знает ближе, считают обскурантом, иезуитом, заядлым папистом—впрочем, какими только почетными титулами его в течение долгого времени ни награждали—и Гейне, самый свободомыслящий поэт, тогда либеральнейший из всех либералов, не только почитатель Зевса и всего Олимпа, но и только что приехавший из Берлина гегелевский бог собственной персоной. Наверное, правильно говорят: гора с горой не сходится, а человек с человеком.

¹ Игра слов. По-немецки мозоли — *Nühneraugen* (букв. «куриные глаза»).

Однако в тот вечер этим противоположным натурам не пришлось встретиться. Мы сидели в ожидании за круглым столом, но Гейне сообщил с извинениями, что его задерживают дела и он не может прийти, но надеется встретить всех собравшихся на следующее утро за чашкой шоколада у Руссо.

Здесь я его впервые и увидел. Этот бледный молодой человек с тонкими чертами лица, с еле видными глазами, мягкими белокурыми волосами, изящными руками в лайковых перчатках, в элегантном черном костюме, с розой в петличке, причем другую розу он, играя, вертит в руке и так изысканно небрежно покачивается на канаве, не говорит, а шепчет, так изысканно шепчет обо всем, этот Меттерних в миниатюре, — и это тот поэт, которого я представлял себе юношески свежим, фривольно дерзким, как его песни! До чего же редко великие люди оказываются похожими на те представления, которые мы составляем о них, находясь на расстоянии!

Вечером 12 мая, в цветущий день Вознесения, все это веселое общество собралось у меня. До глубокой ночи мы играли в салонные игры, сочиняли буриме, разыгрывали пословицы и разгадывали шарады. Гейне был сама прелесть. Одной из наших дам было предложено разгадать двусложную шараду. Когда очередь дошла до Гейне, мы услышали следующее:

На первом я люблю сидеть,
Второе — при себе иметь.
Вас целое всегда обманет,
И доверять ему никто не станет.

Загаданное им слово было «барышник»¹. Гейне и Руссо должны были разыграть пословицу, какую — я уже не помню. В частности, там была представлена месть автора рецензенту. Руссо изображал рецензента, Гейне — поэта. Рецензент сидел за письменным столом; вдруг распаивается дверь, и входит поэт, дающий волю своему настроению в предельно страстных словах: «Так это вы — тот негодяй, который осмелился написать столь мерзкую рецензию на мои стихи! Наконец-то я вас нашел! Не отпирайтесь! Я знаю, что это вы мечтали заставить меня замолчать навеки. Теперь очередь за мной! Ты должен исчезнуть, пришел твой час!» — «Как, постойте, неужели вы хотите меня убить?» — «Я твердо намерен это сделать. Но не просто

¹ Нем. «Rosskamm» состоит из частей «Ross» (конь) и «Kamm» (гребень).

убить вас, нет, я хочу медленно замучить вас до смерти, как вы мучили меня!» — «На помощь, на помощь, спасите!» — «Все напрасно. Мы одни. Дверь заперта. Мерзавец, настал твой конец!»

Правой рукой тщедушный Гейне вдавил долговязого Руссо в кресло, а левой мгновенно открыл стеклянную дверь книжного шкафа, выхватил оттуда заранее положенную туда «Уранию» Тидге и начал читать, читать, читать самым монотонным голосом. Рецензент некоторое время мужественно выдерживал эту пытку, затем ему стало плохо, он начал вертеться и извиваться, упал на колени, самым жалким образом просил смилостивиться над ним и дать ему всего лишь один час, всего лишь минуту отдыха. Напрасно! Поэт оставался неумолимым и все читал и читал. Постепенно рецензент начал говорить все тише и тише, несколько раз дернулся и наконец

Перед отмщенным автором
В кресле труп сидел,
Застывшими глазами
На книгу он глядел.

«Я замучил его чтением до смерти, — воскликнул Гейне, торжествуя, — вот чего заслуживают все рецензенты!»

Когда несколькими днями позже я побывал у Гейне в гостинице «Лебедь», где он остановился, я нашел у него другого выдающегося остролиста и юмориста. Это был хорошо известный Сафир, тот самый, который несколько дней назад, когда я встретил его на прогулке, на вопрос, как ему нравятся наши парки, ответил мне в высшей степени лестной для жителя Франкфурта фразой: «Знакомство с городом снаружи в любом случае приятнее, чем знакомства в городе». И все-таки остроты Сафира в целом были безобиднее, чем остроты Гейне. Они состояли большей частью в игре слов и каламбурах, в то время как остроты Гейне были в большей степени направлены на лица, на общественные отношения и порядки, и хотя Гейне острил реже, нежели постоянно блистающий остроумием Сафир, но при этом резче, язвительнее, оскорбительнее.

Было совершенно невозможно в это беспокойное время договориться с Гейне по животрепещущим политическим вопросам. Он был самым кровожадным из всех республиканцев, и особенно отвратительным для него было господство золотой середины, тогдашняя Гота. «Посудите сами, как много сохранено, спасено благодаря этой системе. Сколько крови пролилось бы,

если бы конституционный принцип снова был сменен демократическим абсолютизмом, новым конвентом!» — «Бог мой, ну и пусть ее прольется!» Я в растерянности поглядел на моего молодого Барнава. Мне вспомнились слова самого Барнава: «Le sang qui coule, est il donc si pur?»¹ Право же, я хирург и, наверное, за всю свою жизнь видел больше крови, чем все эти господа сочинители. Наверное, этим и объясняется то, что я не так расточительно обхожусь с этим «совсем особым соком», как эти герои переворотов с их неукротимым стремлением лечить болезни общества кровью.

Конечно, между словом и делом пролегал солидная пропасть. Даже наш Гейне, будучи членом Комитета общественного спасения, с гораздо большим удовольствием провел бы время с какой-нибудь старорежимной маркизой в интимной обстановке за устрицами и шампанским, чем послал бы ее на гильотину из чистого стремления осчастливить народ, подобно второму Сен-Жюсту с его метафизическими умствованиями и жаждой уравнивать все и вся. Гейне с его тонким, бледным лицом, изящными руками, аристократическими манерами был с самого начала республиканцем только на словах, оставаясь в душе убежденнейшим аристократом.

МОРИЦ ОПЕНГЕЙМ

Май 1831

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1924, посмертно)

В то время Гейне приехал во Франкфурт: он уже создал себе имя своими произведениями, прежде всего «Путевыми картинами», содержащиеся в которых остроты нашли наибольший отклик в еврейских кругах, так как там их лучше всего понимали. Я рисовал его; позднее из Парижа он потребовал от меня этот портрет для своего издателя Кампе, которому я его и отослал. Однажды в субботу я пригласил Гейне к обеду; кроме него, я пригласил нескольких почитателей его таланта и, чтобы сделать ему приятное, велел приготовить настоящие еврейские кушанья «кухель» и «шалет», которые Гейне и ел с большим аппетитом. Я в шутку заметил, что, когда он ест такие блюда, он, должно

¹ Льющаяся кровь, так ли она чиста? (*фр.*)

быть, чувствует тоску по родине, как швейцарец, который на чужбине слышит швейцарскую пастушескую песню. В связи с этим зашел разговор о его крещении: на вопрос одного гостя, что побудило его к этому, коль скоро он, как известно, не очень деликатно отозвался о христианстве в своих сочинениях, Гейне уклончиво ответил: «Для меня труднее пойти удалить себе зуб, чем сменить религию». В одном из своих поздних сочинений, где говорится о его пребывании во Франкфурте, Гейне рассказывает о том, какой вкусный субботний обед он ел у Штибеля, ставшего позднее тайным советником. Но он, конечно же, хорошо помнил, что этим субботним обедом его кормили вовсе не там и, без сомнения, коварно рассчитал, что недавно крещенный еврей, конечно, рассердится, если приписать ему пристрастие к ветхозаветной кухне; когда я однажды заговорил об этом с д-ром Штибелем, я убедился, что булавочный укол Гейне достиг цели.

В ПАРИЖЕ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ

ГЕРМАН ФРАНК

Авг./сент. 1831

ИЗ ПИСЬМА САРЕ ОСТИН

Дрезден, 26 июня 1843

Ваше местопребывание <Булонь-сюр-Мер> мне хорошо знакомо. Несколько недель я провел там в обществе Гейне <август—сентябрь 1831>. Он поселился в такой крошечной комнате, что при первом моем посещении я попросил его выйти, чтобы мне протиснуться внутрь. Я никогда до этого не видел моря, и Гейне с сожалением говорил, что Булонь, безусловно, не то место, чтобы свести знакомство с морем. Он много рассказывал о Гельголанде, где море было гораздо внушительней. «Получаешь представление!» Пока он излагал это обстоятельно и серьезно, один немецкий поэт <заметка Варнхагена на полях: Михаэль Бер>, который присутствовал при разговоре и явно завидовал таланту и успеху Гейне, прервал его вопросом: «Есть ли что еще интересного на Гельголанде?» — «О да, — сказал Гейне, — еще бы! Там показывают дом, где я жил».

ФЕРДИНАНД ГИЛЛЕР

1831—1835

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1877)

В первой половине тридцатых годов я очень часто видел Гейне в Париже, куда он приехал приблизительно через год после Июльской революции <...>. Мне едва

исполнилось двадцать лет, когда он побывал у меня, чтобы передать мне приветы от моих родных из Франкфурта, и сейчас, по прошествии стольких лет, я ставлю ему в большую заслугу то, что он охотно со мною общался, — тогда в юношеском самомнении мне это казалось совершенно естественным. Ведь моя юность была, по-видимому, тем единственным, что могло ему нравиться во мне, — хотя я и был хорошим музыкантом, но именно это было ему безразлично: я не припоминаю, чтобы хоть однажды ему пришло в голову попросить меня сыграть для него что-нибудь. Музыка не интересовала его сверх меры, хотя он и написал о ней столько остроумного и глубоко прочувствованного, наряду с великолепными юмористическими замечаниями. Его внешность, видимо, известна вам по портретам, насколько можно было составить себе представление из них, до появления фотографии, если только случай не сводил значительного человека со значительным художником. Копии портрета, написанного талантливым профессором Оппенгеймом, вполне сносны, хотя они очень неполно воспроизводят превосходный портрет. Я не думаю, что лицо Гейне слишком обращало на себя внимание, пока оставалось неизвестным, для какой головы оно служило вывеской; но если знали, что это — Гейне, нужно было найти и нечто значительное в его лице. Лоб был очень благородных очертаний; в его глазах то отражалось утомление, то вспыхивал огонь. Живее всего мне вспоминается его рот: он очень, очень часто кривил его в сардонической пренебрежительной усмешке, и хотя это выражение лица превосходно подходило к направлению его ума, это почти издевательское оттягивание нижней губы казалось мне несколько искусственным; я думаю, он знал, как это выглядело, и он нравился сам себе в такие моменты. В остальном же нельзя было представить себе более простого, более естественного во внешних проявлениях своей сущности человека, чем он, — небрежная непринужденность в походке и манере держаться и ни малейшего намека на претенциозность!

Меня часто спрашивали, был ли Гейне-собеседник столь же остроумен, как и Гейне-автор? Это было невозможно! Когда я однажды посетил его, я нашел его работающим за письменным столом и бросил любопытный взгляд на лежавший перед ним лист бумаги, где вряд ли можно было найти хоть одну строчку, которая не была бы зачеркнута и заменена новой, надписанной сверху. Он почувствовал мое удивление и сказал иронически: «Вот люди говорят об

озарении, о вдохновении и тому подобном, — я же работаю, как ювелир над цепочкой, который выковывает колечко за колечком, соединяя их одно с другим». Он часто декламировал мне небольшие стихотворения, только что сочиненные им, и при этом очень часто ошибался. «Не думайте, — сказал он однажды, — что меня подводит память. Я выбираю между столькими различными выражениями, что в каждый данный момент легко забываю, на каком из них я остановился». Если писатель старается, как это бывает при создании изысканнейших вин, приготовить нам напиток из отобранных им плодов его духа, то, что пресс отжимает из оставшихся ягод, по необходимости будет более низкого качества. Однако Гейне был очень находчив, и в беседе с людьми одного с ним умственного уровня он, очевидно, поднимался до свойственных ему высот. В общем же он любил легкую болтовню, во время которой с его стороны не было недостатка в метких, в том числе и язвительных выпадах. Неожиданно пришедшая меткая острота доставляла ему величайшую радость, и я уверен в том, что иногда он наносил подряд несколько визитов только для того, чтобы разнести эту остроту и каждый раз снова самым сердечным образом посмеяться над ней. В общении со своими близкими знакомыми Гейне, несмотря на склонность к резкой критике, был в высшей степени тактичен.

Он, создававший такие прекрасные тексты для сочинителей песен, в сущности, не знал как следует, что нужно музыканту от поэта. Одно из доказательств этого я храню как сокровище. Это дюжина небольших стихотворений (которые в том составе, как он дал их мне, чтобы я положил их на музыку, отсутствуют в его собрании сочинений) под общим заголовком «Китти, сумасбродные слова Генриха Гейне, еще более сумасбродная музыка Фердинанда Гиллера, 1834 год». Поводом для этого подарка, очевидно, мог послужить один из моих ранних сборников песен, называвшийся «Новая весна» и содержащий исключительно песни на его стихи, слышать которые из прекрасных уст он часто имел возможность. Но эти стихи о Китти вряд ли можно даже прочесть вслух, и хотя не без основания говорится, что многое, не годящееся для чтения, можно спеть, здесь это не соответствует действительности. Если бы эта тетрадь не была переписана начисто со всей тщательностью и великолепным почерком, я мог бы подумать, что поэт хотел подшутить надо мной, так как вряд ли даже одно стихотворение из всех

двенадцати могло быть положено на музыку. Может быть, он представлял себе под «еще более сумасбродной музыкой» тот вид композиции, где гротескные прыжки, с помощью коих он перескакивал в тех стихах от самых пламенных чувств или самых чувственных переживаний к упоминанию о прогулках на ослах или чае с бутербродами, должны были быть переданы в музыке легкой, с жизнерадостной ритмикой, характерной для итальянской оперы-буффа. Подобные вещи еще могли быть возможны на сцене, где музыка рисует определенный образ, появление которого уже дает основание для именно такого способа музыкального выражения; в песне подобная попытка закончилась бы самым жалким образом.

Бёрне <...> был духом, постоянно преследовавшим Гейне, его *bête noire*¹. Гейне был готов признать высокий талант этого блестящего остроумием публициста, однако для него было невыносимо, что их всегда упоминали вместе, как Диоскуров. Часто он недовольно восклицал: «Что общего у меня с Бёрне! Я же *поэт!*» И в этих словах было столько же правды, сколько и чувства собственного достоинства.

СООБЩЕНИЕ ГУСТАВУ КАРПЕЛЕСУ

(* 1888)

Теоретически, а тем более практически Гейне ничего не понимал в музыке; однажды он со смехом рассказал мне, что в течение многих лет считал, что генералбасом называют контрабас из-за его внушительных размеров. Он также написал для меня тетрадь песен (под названием: сумасбродные слова Генриха Гейне, еще более сумасбродная музыка Фердинанда Гиллера), большую часть которых совершенно нельзя было положить на музыку. И все же он слышал и угадывал своим состоящим из фантазии и проницательности умом в музыке гораздо больше, чем так называемые музыкальные люди. По моему мнению, такая способность относится к тем многим непонятным свойствам, которые присущи гениальным натурам. У меня никогда не было случая заметить, что он глубоко захвачен музыкой. Вообще нельзя говорить о том, что его что-то действительно «захватывало»: в разговорах его впечатления выражались в остроумных, большей частью

¹ Жупел (*фр.*).

сатирических высказываниях. <...> Но талантливые или значительные музыканты живо интересовали его. Однако то, что он написал о них, было продиктовано весьма различными настроениями и намерениями.

ЛЮДВИГ БЁРНЕ

ИЗ ПИСЕМ ЖАНЕТТЕ ВОЛЬ

26 сент. 1831

Париж, 27 сент. 1831

Моим первым вопросом к госпоже Валантэн было: как ей понравился Гейне? Эта дама обладает в известной степени Вашим качеством нежелания говорить о людях плохо; однако все же по ней было заметно, что там, в их доме, он *не* понравился. Впрочем, она порицала лишь то, что он *говорит так ordinarily*, а от писателя и в беседе ожидают изысканной манеры выражаться. <...>

Вчера в первой половине дня ко мне пришел какой-то молодой человек, радостно бросается ко мне, смеется, подает мне обе руки — я его не знаю. Это был Гейне, о котором я целый день думал! Он должен был вернуться из Булони уже восемь дней назад, но, по его словам, он там «заболел, влюбился в какую-то англичанку» и т. д. Нельзя поддаваться первому впечатлению, но с Вами мне незачем осторожничать, это останется между нами, и если я изменю свое мнение, я Вам об этом скажу. Гейне мне *не* нравится. Вы не поверите, но, когда я поговорил с ним четверть часа, какой-то голос в моем сердце прошептал мне: «Он — как Роберт, у него нет души». А Роберт и Гейне, как далеки они друг от друга? Я сам точно не знаю, что я понимаю под словом *душа*; но это нечто такое, что часто есть у обыкновенных людей и отсутствует у значительных, что часто есть у злых и ограниченных и чего нет у добрых и остроумных людей; это что-то невидимое, что начинается за видимым, за сердцем, за умом, за красотой и без чего сердце, ум и красота ничего не значат. Короче говоря, я не знаю. Я допускаю, что душа есть у Раупаха, но не у Гейне! А Вы же знаете, какого мнения я о сердце Раупаха! Но за ним что-то скрывается. Я и мне подобные, мы часто делаем вид, что шутим, когда мы очень серьезны; но серьезность Гейне кажется мне всегда наигранной. Для

него нет ничего святого, в истине он любит только красоту, у него нет веры. Он в открытую говорит мне, что он из сторонников золотой середины, и так как все люди возводят свои склонности в принципы, сказал он, то нужно быть деспотом из любви к свободе; деспотизм, по его словам, ведет к свободе; свобода *тоже должна иметь своих иезуитов*. Он прав, но человек не должен играть роль бога, который один только знает, как вести людей через заблуждения к истине, через преступления к добродетели, через несчастье к благу. Как я здесь от многих слышал, Гейне нравится изображать меланхолию, которой у него совсем нет, и он безгранично тщеславен. Я говорил с ним относительно совместного издания журнала; но он не желает участвовать в этом деле. Ему удаются великолепные остроты экспромтом, но он охотно повторяет их и смеется сам над собой. Вчера вечером мы с ним ужинали вместе с <Фридрихом> Листом. Вам надо было бы присутствовать при этом. Я и он, одна острота лучше другой, и хохот Листа, у которого никогда не бывает во рту меньше полфунта мяса! Я всерьез боялся, что он задохнется. Гейне сказал, что я виноват в том, что его всюду считают шутом; так как когда он приводил мои остроты из моих произведений, он всегда так смеялся, что его считали сумасшедшим. Как утверждают, Гейне — обыкновенный распутник. Он живет на окраине города и часто говорит мне, что этим ограждает себя от гостей и что мне тоже не следует приходиться к нему. Кстати, я преследую свои, несколько коварные цели тем, что я так клеветую Вам на Гейне. Сейчас я заметил то, что ускользнуло от меня при нашей первой встрече: он красив, и у него такое лицо, которое нравится женщинам. Но поверьте мне, *за этим* нет ничего, совершенно ничего; я в этом разбираюсь. Гейне говорит мне также, что Кампе — большой скряга и что от него денег не дождешься. <...>

<Продолжение письма, 28 сентября>

Гейне сказал мне также, что он хочет заняться искусством и уже написал большой очерк о последней выставке картин. Странно — вчера вечером я слышал, как у Валантэнов подсмеивались над тем, что Гейне так часто и много говорит о своих работах. Как же различны люди! Если я над чем-то работаю, то я не могу сделать поверенным своей тайны кого-нибудь, кроме Вас; меня удерживает от этого некий стыд.

Париж, 1 окт. 1831

Гейне я с тех пор не видел. То, что я слышу о нем, не позволяет мне составить хорошее мнение о его характере. Все же странно, что у меня всегда было какое-то предчувствие этого и я находил в его сочинениях, как бы они мне ни нравились, очевидные признаки слабости характера. Слабость же характера есть сосуд для всех страстей, и чем он будет заполнен, зависит от обстоятельств, случая и темперамента. Говорят, что его тщеславие безгранично. Он — *игрок*, и не может быть ничего другого, что внушило бы мне большее недоверие к нему. Однажды он проиграл сразу 50 луидоров. Мне кажется, что он использует несколько ограниченного доктора Дондорфа в качестве инструмента для своего восхваления, это я заметил еще в Бадене. Сегодня это мне подтвердил один посетивший меня немец. По словам этого человека, который меня повсюду расхваливает, он сказал в разговоре с Дондорфом, что Бёрне — единственный политический писатель в Германии, тогда как Гейне — не политический писатель, а только поэт. В ответ на это Дондорф встал на сторону Гейне и поставил его выше меня. Это навело меня на мысль, что Гейне не хочет вместе со мной издавать журнал только из-за боязни, что он не сможет достаточно блистать рядом со мной. Этот же человек рассказал мне, что некоторое время тому назад он попросил Гейне сочинить несколько стихов о свободе, которые можно было бы распространять в Германии среди народа. На это Гейне ответил, что он это сделает, но ему должны за это хорошо заплатить. А потом сказал: «Если мне заплатит прусский король, то я напишу стихи и для него».

Париж, 3 окт. 1831

Сегодня в первой половине дня у меня был Гейне. Он осведомился о Вас и сказал, что Вы очень милая женщина. Странные отношения у нас с Гейне. Первое впечатление, которое он произвел на меня, все более усиливается. Как собеседника я нахожу его бессердечным и пошлым. Кажется, что его ум весь ушел в пальцы, которыми он держит перо. Он не сказал ни одного разумного слова и не смог выманить у меня ни одного разумного слова. Притворяется человеконенавистником, презирающим людей. Очень чувствителен к публичной критике его сочинений. Он сам говорил мне, что лучше всего чувствует себя с незначительными

людьми. Он очень угрюм и неприветлив. Я отчетливо видел, что, сидя у меня, он с нетерпением ожидал момента, когда он сможет уйти. Я тоже был рад, когда он ушел, — так он мне надоел.

4 и 7 дек. 1831

Париж, 8 дек. 1831

На концерте Гиллера Гейне сидел рядом со мной. Он настолько несведущ в музыке, что принял четыре части большой симфонии за совершенно различные произведения и пометил их номерами из программы концерта в порядке их следования. Так, вторую часть симфонии он принял за объявленное в программе соло для альты; третью часть — за соло для виолончели и четвертую — за увертюру к «Фаусту»! Он очень скучал и очень радовался тому, что все так быстро исполнялось, и был словно громом поражен, когда узнал, что сыгран только первый номер программы, тогда как он думал, что вытерпел уже четыре номера. <...>

Когда я рассказал Гейне, что статья из «Биржевого зала» помещена и во «Франкфуртской почтовой газете», он словно остолбенел от удивления и ужаса. По его словам, невозможно, чтобы Руссо напечатал какой-нибудь материал, в котором он, Гейне, подвергался бы оскорблениям, так как они знакомы уже двенадцать лет. В любом случае, те места, которые касаются его, в статье, конечно же, выпущены. Затем он предложил мне прочесть статью в «Почтовой газете» и написать ему, действительно ли это так. Если Гейне только наполовину такой подлец, как он добровольно признает, то он заслужил, чтобы его пять раз повесили и десять раз наградили орденом. Уже двадцать раз он признавался мне, причем без всякой нужды, предупреждая возможные подозрения, что его можно склонить на свою сторону, подкупить; и когда я ему заметил, что в таком случае он потеряет свою ценность как писатель, он возразил: отнюдь нет, он будет писать против своих убеждений так же хорошо, как и в их защиту. И не думайте, что это шутка: эти слова доказывают мне, что Гейне уже *стал* тем, кем — как он не отрицает — он мог бы быть. То, что он откровенно и добровольно говорит о своей испорченности, не может заставить усомниться в серьезности его слов; это старая известная уловка, когда человек с помощью самообвинений смело предупреждает собственные упреки самому себе и упреки других. Это вылазки из крепости собственной совести с целью оттеснить осаждающих. <...>

Жаль, что Гейне самое сильное поэтическое вдохновение черпает из напитка чувственной любви, и я сам сказал ему об этом вчера. Десять лет более зрелого возраста сильно убавят ему цену. Правда, эротические стихотворения Гейне в большей степени внушены ему фантазией, предвкушающей ожидаемое блаженство или предающейся воспоминаниям об уже пережитом, чем непосредственно испытываемым наслаждением, к представляют собой скорее бумажные деньги, чем звонкую монету любви; однако с годами теряешь вместе с кредитом и способность притворяться, и тогда поток поэзии Гейне сильно обмелеет. Мне пришло это в голову, когда я читал его размышления по поводу картины, изображающей Юдифь и Олоферна; он заканчивает их словами: «Боги, если я должен умереть, дайте мне умереть смертью Олоферна».

<Продолжение письма, 9 дек.>

Статью в «Утреннем листке» написал не Менцель. Это не его стиль. Гейне мне называл и автора, но я забыл имя.

Париж, 15 дек. 1831

Только что у меня был Гейне, после того как он прочел сегодня письма. Он вне себя от восхищения. По его словам, это лучше всего, что я написал до этого, а стиль несравненен. То, что я несколько раз очень похвалил его, могло, конечно, сделать его суждение несколько экзальтированным. Гейне одновременно самый тщеславный и самый трусливый человек на свете. Мои письма окажут на его будущую деятельность политического писателя очень вредное влияние. У него с его боязливостью не хватит в будущем смелости писать даже со свойственной ему в прежние годы умеренной силой. Это говорит он сам, правда, не в моем присутствии, но мне об этом рассказали, как и о том, что одновременно он очень порицал мой радикализм. Этим обоснованием своей будущей умеренности он обманывает других, а может быть, и самого себя. Основная причина — тщеславие. Не веря в то, что у него достанет сил и мужества соперничать со мной в смелости на политической арене, он добровольно опустится ниже собственного уровня только для того, чтобы оказаться подальше от меня и избежать сравнения. С каждым днем он все меньше нравится мне, хотя он очень высоко меня ценит и его суждение, суждение

знатока, для меня должно быть очень лестно. Он — мелкий негодяй, у него нет чести, и он не дорожит ею. Но партия либералов в Германии еще так слаба, что только величайшая честность может придать ей вес. Как все боязливые люди, Гейне боится народа, и он никак не может примириться с тем, как это я столь предан *черни* и могу так упорно ее защищать. Только сегодня я сказал ему: давайте уважать наших будущих господ.

Париж, 17 дек. 1831

Гейне отнюдь не лучше, чем <Михаэль> Бер, конечно, у него больше ума, но его душа совершенно такая же мелкая, совершенно такая же тощая, совершенно такая же ссохшаяся и мелочно эгоистическая, как у Бера. Ни тот, ни другой не имеют представления об общественном мнении, о его достоинстве, о том, как воздействовать на него и как оно оказывает обратное воздействие. Они хотели бы, чтобы борьба миров велась как процесс о наследстве: с плутнями, с крючкотворством и ябедами, по-иезуитски. Они не имеют представления о личности, которая жертвует собой для общего дела, а тем более о личности, которая полностью забывает о себе и совсем не думает о том, что она приносит себя в жертву. Все, что я хвалил, все, что я порицал, они все объясняют личными симпатиями и антипатиями, а затем начинают их оспаривать и осуждают мой плохой вкус. Они никак не могут мне простить того, что я «представил Сафира интересным человеком» (чего я, кстати, и не хотел и не делал). По его словам, о таком ничтожестве даже не следует говорить публично. Сам Гейне общался с Вит-Деррингом, этим, как он хорошо знает, величайшим подлецом под солнцем, говорят, что тот его лучший друг, однако он ни за что на свете не напечатал бы его имени и не признался бы в том, что с ним знаком. Гейне — аристократ от рождения, заклятый враг всякой общественной жизни. Он слишком труслив, чтобы подвергнуть себя ее опасностям, слишком болезнен, чтобы вынести участие в ней. Народ вызывает у него приступ морской болезни, его волнения нагоняют на него смертельный страх. Он — низкий презренный раб, прикованный к собственным нервам, этим удивительным оковам, которые держат тем крепче, чем они слабее. Во время революции Гейне мог бы быть Робеспьером полдня, но сильным человеком свободы — ни одного часа.

ГУСТАВ КОЛЬБ

ИЗ ПИСЕМ ИОАННУ ФРИДРИХУ ФОН КОТТА

Париж, 7 окт. 1831

Ваше высокоблагородие!

Получите при сем вместе с моей статьей для «Всеобщей газеты» обещанную рукопись Гейне. Когда Вы или госпожа фон Котта будете ее читать, не обращайтесь внимания на кажущуюся незначительность первых страниц; в дальнейшем Вы убедитесь, что эта рукопись принадлежит к числу самых лучших, прекрасных и продуманных произведений, когда-либо написанных Гейне. Он боится только одного — цензуры. Поэтому он рассчитывает на то, что Вы будете особо ходатайствовать о публикации этой статьи. Мне не кажется, что статьи могут возбудить большое недовольство, так как отдельные сильные места уравновешиваются очень многими частями, выдержанными в примирительном тоне. Гейне не раз предлагали печататься в Гамбурге, Берлине и Франкфурте, и он имел намерение принять некоторые предложения, так как полагал, что Вы настроены по отношению к нему отрицательно. Я заверил его, что из того тона, в котором Вы говорили со мной о нем, я никак не мог сделать такого вывода; при этом я уговаривал его писать статьи для «Всеобщей газеты»; после этого он принес мне упомянутую рукопись и пообещал уже на следующей неделе написать кое-что для «Всеобщей», а в ближайшие дни он хочет сам высказать Вам в сердечном откровенном письме свое желание и в дальнейшем сотрудничать с Вами.

Париж, 14 дек. 1831

Гейне обещает, начиная с этого времени, очень активно писать для Ваших газет. При сем прилагаю его письмо для «Утреннего листка». Я надеюсь, Вы еще получите от него весьма дельные и превосходные материалы; кажется, он относится к этому серьезнее, чем когда-либо. <...> Гейне я выплатил 350 франков.

ИЗ АНЕКДОТОВ О ГЕЙНЕ

(* 20.3.1856)

Гейне никогда не испытывал судьбу за карточным столом. Однажды из любопытства он вместе с доктором Германом Франком посетил в Париже Salon des étrangers¹ и наблюдал за игрой. Через некоторое время, по предложению Франка, он рискнул несколькими пятифранковыми монетами и проиграл их. Больше у него с собой не было. Но этот проигрыш, хоть и небольшой, огорчил его и заставил устыдиться. Уходя отсюда, он под влиянием такого настроения сказал своему спутнику: «Знаете, Франк, сегодня я получил хороший урок. Я понял, что игра—порок, если ты проигрываешь!» Этой остротой он утешился.

В Париже особым объектом насмешек Гейне был писатель Михаэль Бер. Бер сочинил трагедию, которую любил читать вслух и давать почитать другим. Гейне замучил доктора Германа Франка разговорами об этой трагедии, настаивая на том, что он должен попросить ее у автора, ибо она непременно изумит его. Однажды утром Гейне пришел к Франку и сказал: «Я уже знаю, что вы получили рукопись и прочли ее. Что скажете?» — «Плеваться хочется!» — ответил Франк. — Вещь совершенно ничтожная и скверная». — «Как я вам и говорил, — заметил Гейне со спокойным равнодушием и, сделав паузу, добавил: — Этого человека я могу хвалить безбоязненно, не правда ли? Ведь нечего опасаться, что мне поверят?»

ФЕЛИКС МЕНДЕЛЬСОН-БАРТОЛЬДИ

Нач. 1832

ИЗ ПИСЬМА КАРЛУ ИММЕРМАНУ

Париж, 11 янв. 1832

Гейне я вижу редко, он весь ушел в либеральные идеи, другими словами—в политику. Некоторое время тому назад он издал 60 «Весенних песен», на мой

¹ Салон для иностранцев (фр.).

взгляд, лишь немногие из них проникнуты искренним чувством, но эти немногие воистину великолепны. Вы уже их читали? Они помещены во 2-м томе «Путевых картин».

ГУСТАВ КОЛЬБ

ИЗ ПИСЕМ ИОГАННУ ФРИДРИХУ ФОН КОТТА

Париж, 2 янв. 1832

Ваше высокоблагородие!

Честь имею препроводить при сем корреспонденцию Гейне для «Всеобщей газеты». Он намерен продолжать в том же духе. Мне кажется, что такие остроумные послания должны непременно присутствовать во «Всеобщ. газете», чтобы газета могла противостоять все более распространяющемуся мнению, будто она стареет и становится слишком сервильной.

Париж, 2 февр. 1832

Принимаю все меры к тому, чтобы выехать 10-го, самое позднее — 12-го. Гейне может писать отсюда все, что мог бы писать я, и сделает это гораздо лучше меня. Если он употребит там или сям неподобающее выражение, редакция сможет легко это поправить. Мне отрадно было прочитать во «Всеобщей газете» от 28-го должную похвалу первой гейневской статье. Используемые с известной осмотрительностью, эти статьи для нас конечно же в высшей степени выигрышны.

ИОГАНН ФРИДРИХ ФОН КОТТА

Февр. (?) 1832

ИЗ ПИСЬМА К.-А. ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Штутгарт, 10 марта 1832

Гейне использует теперь свой редкостный талант в таком роде, что привлекает к себе всеобщее внимание. Я то и дело слышу, будто у старых немецких либералов в Париже он как бельмо на глазу, а ему неприятно, что его имя всегда ставят рядом с именем Бёрне, дабы оба

они красовались как вывеска всяческого свободомыслия. Г<ейне> якобы очень остроумно заметил, что раз уж его имя должно быть упаковано вместе с именем Б<ёрне>, то ему хотелось бы, чтобы между ними, по крайней мере, проложили побольше хлопчатой бумаги.

АВГУСТ ЛЕВАЛЬД

Февр. 1832

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1836)

Его любовь к тишине и покою вокруг его дома часто <...> вызвала у меня тревогу за него. В Париже он подолгу ищет себе квартиру, прежде чем найдет такую, которая удовлетворяла бы его в этом отношении. Самые пустынные и отдаленные улицы ему милее всего, и вот он опять выбирает пустынный, тихий двор, часто, если можно, второй, третий, подальше от шума и житейской сутолоки, поблизости не должно быть ни конюшни, ни прачечной, ни мастерской ремесленника. Только тогда он наконец чувствует себя спокойно. Но ведь известно, что именно в Париже такие квартиры отнюдь не безопасны при том несчетном количестве преступлений, что совершаются там ежедневно.

Незадолго до того, как я уехал из Парижа, Гейне вселился в новую квартиру на улице Эшикье, au second¹, снятую им у одной старой дамы; квартира эта помещалась в поросшем травой втором дворе большого особняка, где царил мертвая тишина. Здесь Гейне и обосновался, устроившись как мог удобнее: уродливый арап приносил ему воду для чая и вел его petit ménage², как называют это парижане. Он доверчиво отдался попечению этого слуги, чьи намерения вполне могли оказаться еще чернее, нежели он сам. Здесь он написал «Французские дела» для «Всеобщей газеты»; здесь воображал себя окруженным шпионами всех наций, ведь из-за одних только смелых высказываний о Луи Филиппе он не мог чувствовать себя спокойно. Интересно было наблюдать, с каким презрением к опасности высказывал он во всеуслышание свое мнение.

¹ На третьем этаже (*фр.*).

² Скромное хозяйство (*фр.*).

Он избегал всякого соприкосновения с низостью
<...>

<...> например, я был свидетелем, как он отклонял предложения книгопродавцев, чьи убеждения казались ему непорядочными. В то время, когда он писал «Французские дела», один парижский книгопродавец предложил ему за них значительную сумму. В моем присутствии Гейне укоряли в том, что он не посылает за этими деньгами, которые для него уже приготовлены, однако он упорно отвергал все предложения такого рода.

«Надо остерегаться таких сношений, — сказал он мне, — чести они не приносят».

Янв. — апрель 1832

В 1832 году Бёрне отправился на Монмартр, чтобы выступить перед немецкими кузнецами и башмачниками, и произносил речи в пассаже «Сомон», между тем как Гейне в тиши над этим смеялся и старался держаться подальше от всех таких мест, где мог возникнуть шум. Бёрне в большей степени человек действия, чем Гейне. Гейне целыми днями шатается туда-сюда в *dolce far niente*¹ и размышляет о прекрасных песнях.

Он с удовольствием язвил насмешками поведение Бёрне, но вместе с тем никогда не отказывал в уважении его характеру.

«Мне вполне понятно, почему Бёрне пошел бы навстречу опасности, если бы она перед ним возникла, — говаривал он. — У Бёрне большой желудок и подагра, так что терять ему особенно нечего. Со мной же дело обстоит иначе».

ЛЮДВИГ БЁРНЕ

ИЗ ПИСЕМ ЖАНЕТТЕ ВОЛЬ

Париж, 13 февр. 1832

Гейне — пропащий человек. Я не знаю никого, кто был бы более достоин презрения, чем он. Но к нему

¹ В сладком безделье (*ит.*).

можно испытывать не то презрение, которое смешано с ненавистью, а то презрение, которое смешивается с сожалением. Мои «Парижские письма» уничтожили его. Он движим исключительно тщеславием, его влечет лишь надежда обратить на себя внимание, а тут — мои письма, которые отравили ему радость от его либерального писательства, потому что он отчаялся наделаться больше шуму, чем я. У него плохой еврейский характер, совсем нет души, и он ничего не любит и ни во что не верит. Его трусость была бы непростительна даже женщине. Недавно он написал для «Всеобщей газеты» статью, в которой он очень презрительно высказался о Луи Филиппе. Эта статья была переведена и опубликована в одной из здешних революционных газет, и газету конфисковали. Посмотрели бы Вы, какой смертельный страх испытал Гейне от того, что его тоже могут привлечь по этому делу во время следствия. И все же его тщеславие не позволило ему молчать, и он повсюду рассказывал, что это он написал статью и что без его признания его авторство совсем нельзя было бы установить. Ему хорошо только в обществе людей, по отношению к которым он чувствует свое превосходство; мое присутствие полностью подавляет его. К тому же он избегает меня как может. Он связывается с самыми скверными людьми, общается с личностями, известными как шпионы, сам выступает как доносчик и делает это, в чем я полностью уверен, за деньги! Он ведет столь беспорядочную жизнь, что у него, как он сам сказал мне вчера, только одна-единственная пара сапог, которые теперь разорвались, так что он не знает, что делать. Недавно он написал и опубликовал во «Всеобщей газете» вторую статью, в которой говорит, что он — *хороший роялист по собственной склонности*. И это действительно так. Вся его природа и направление ума, его беспутство, его слабонервность и бабье тщеславие делают его прирожденным аристократом. Он не делает секретов из того, что пытается подольститься к пруссакам. И там это знают. В моем «салате с селедкой» (за который я не брался восемь дней, но который я теперь скоро кончу) я поместил две взятые из берлинских газет статьи, касающиеся Гейне, из них Вы увидите, как недостойные люди вознамерились с помощью грубейшей лести перетянуть его на свою сторону. Ведь для мужчины нет большего проклятия, чем слабость характера. Можно быть уважаемым членом в любой партии, и Гейне благодаря своим талантам мог бы быть украшением любой из них, если бы только он был способен полностью постичь ее

интересы. Но он все время колеблется от одной партии к другой, обе стороны презирают его как трусливого беглеца, и он получит побои от обеих сторон, что я ему уже часто предрекал.

5 янв. 1833

Только что от меня ушел Гейне после весьма долгого визита, который меня утомил. В эту зиму он впервые побывал у меня, хотя живет совсем близко. Нечистая совесть делает для него мое общество тягостным. Под нечистой совестью я разумею здесь не то, что разумеют под этим на языке морали. Правда, я предполагаю, что Гейне прохвост, но уличить его в каком-либо дурном поступке я не могу. Однако совесть нечиста у каждого, кто в разладе с собой, кто чувствует иначе, чем думает, говорит иначе, чем думает и поступает иначе, чем говорит. Гейне пришел сегодня потому, что узнал, что я получил «Ксении», где речь идет о нем. Этого тщеславного дурака подобная вещь делает глубоко несчастным, а я, злыдень, по сему случаю наслаждался злорадством.

ГЕРМАН МАРГГРАФ

1832 и позже

ПО СВЕДЕНИЯМ ИЗ НЕСОХРАНИВШЕЙСЯ СТАТЬИ Ю. ДЮСБЕРГА

(* 16.10.1856)

Ю. Дюсберг рассказывает, что, когда Гейне в первые годы своей жизни в Париже приходил в немецкую книжную лавку на улице Вивьен и брал там немецкие газеты, ему была свойственна глубокая внутренняя скованность; его руки дрожали, он забивался в угол, он всегда читал и перечитывал свои собственные вещи, если они были там напечатаны, или доброжелательные рецензии на них, после первого раза гордо выпрямлялся, после второго раза брал шляпу и шел к двери, не здороваясь больше ни с кем и не глядя ни на кого. Если он говорил: «Сегодня газеты совсем неинтересные», то это значило, что имя Гейне там не упоминалось. Но если какой-нибудь рецензент обрушивался на него с критикой, он бросал газету на стол и несколько раз прохаживался взад и вперед, «как тигр в клетке, дико рыча. Вдруг, словно от сжатия пружины, его фигура уменьшалась в размерах; он становился

робким, приветливым, смиренным, вкрадчивым». Дюсберг рассказывает далее: «Он был особенно зол на Лейпцигский журнал «Листки для литературного развлечения». «Там дело поставлено, как в сибирских рудниках: бедняги, которые там надрываются, теряют имена; дальше они существуют только как номер такой-то. Но тем не менее я их знаю, и им следует поостеречься; и если я поднимусь и потрясу гривой, я их разорву».

Писателю Лёве-Веймарсу он однажды сказал: «Господин Лёве-Веймарс, вы живете, как соержанка».

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

1833

ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ

(* 26.4.1846)

В те времена, когда г-н Генрих Гейне сотрудничал в «Ревю Франсез», платившем ему очень много — франк за строчку, тогда это был неслыханный гонорар, — некоторые его друзья и собратья по перу устроили роскошный ужин, где собрались господа Теофиль Готье, Жерар де Нерваль, ныне покойный Ласайи и многие другие. Было условлено, что ужин состоится в «Роше де Канкаль» и будет стоить 50 франков с человека.

Ужин прошел очень весело, настолько весело, что большинство участников, вставая из-за стола, были более чем оживленны. В дверях ресторана г-н Генрих Гейне встречает знакомого.

— Кажется, вы хорошо поужинали, — замечает тот.

— Дорогой мой, мы съели каждый по пятьдесят строчек.

ФРАНЦ ЛИСТ

ИЗ ПИСЬМА МАРИ Д'АГУ

Париж, весна 1833

Если не ошибаюсь, сударыня, как-то недавно Вы просили меня привести и представить Вам нашего знаменитого соотечественника Гейне. Это один из самых выдающихся людей Германии, и если бы я не боялся обидеть его таким эпитетом, то охотно приме-

нил бы к нему пресловутое наречие «исключительно», повторив его трижды. Позвольте ли Вы мне, после такого предисловия, привести его к Вам в будущий вторник?

АНРИ БЛАЗ ДЕ БЮРИ

1833 г. и позднее

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ А. ДЮМА

(* 1885)

Это притворное добродушие, сквозь которое всегда пробивается какая-то резкая пронзительная нота, было и останется характерной и очаровательной особенностью Гейне; в письмах он предстает точно таким, каким бывал в беседе. В ту пору я виделся с ним у него дома, на улице Амстердам, и часто встречал его, выходя от Дюма, жившего тогда на улице Шоссе-д'Антен. Однажды мы с ним ужинали вместе с Бальзаком у графини Мерлен, потом встречались в Опере, у «Итальянцев». Тогда я очень увлекался немецкой литературой, и это расположило его ко мне. Услыхав, вероятно, об успехе моего перевода «Фауста», он попросил меня перевести его «Книгу песен». Но мне тогда еще не было и двадцати лет, меня манили другие приключения, и потому дело не сладилось. Это обстоятельство не помешало нам остаться добрыми друзьями — если только кто-либо вообще может похвалиться, что Гейне был его другом. Все добивались знакомства с ним, ценили его общество, ласкали и хвалили его наперебой, но обезоружить его никому не удавалось. «Наверно, я кажусь вам очень скучным, — сказал он нам как-то после недолгого разговора, — это потому, видите ли, что когда вы входили, отсюда вышел наш друг Икс, а я перед тем обменялся с ним мыслями».

Этот друг, которого он приносил в жертву присутствующим, в то время оказывал ему неоценимые услуги в литературе.

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

1833 и позднее

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

И действительно, тот Генрих Гейне, которому я был представлен в 183... году, вскоре после его приезда в Париж, нисколько не походил на человека, который

в эту минуту лежал передо мной недвижный, словно покойник, ожидающий, когда его положат в гроб.

Это был красивый мужчина лет 35—36, на вид здоровый и крепкий; германский Аполлон—так хотелось его назвать тому, кто глядел на его высокий белый лоб, чистый, словно мрамор, и осененный пышными белокурыми волосами. Голубые глаза блистали светом и вдохновением; круглые полные щеки были изящно обрисованы и не отличались модной в ту пору мертвенной романтической бледностью. Напротив, на них цвел классический румянец; небольшая еврейская горбинка слегка мешала линии его носа стать вполне греческой, но не искажала чистоты этой линии: его безупречно вылепленные губы «подобрались одна к одной, как две удачно найденные рифмы», если воспользоваться одной из его фраз, и в минуты покоя выражение их было очаровательно; но, когда он говорил, с этой алой тетивы со свистом слетали острые, зазубренные стрелы, колючие сарказмы, неизменно попадавшие в цель; ибо никто и никогда не был более беспощаден к глупости; божественную улыбку Мусагета сменяла насмешка Сатира.

Фигура его отличалась некоторой языческой полнотой, какую в последствии должна была искупить чисто христианская худоба; он не носил усов, бороды или бакенбард, не курил, не пил пива, испытывая, подобно Гете, отвращение к этим трем вещам—он был тогда страстно увлечен Гегелем; если ему претила вера в то, что бог сделался человеком, он легко мог поверить, что человек сделался богом, и вел себя соответственно. <...>

Я часто видел Гейне в тот божественный период, это было очаровательный бог—лукавый, как бес, но очень добрый, что бы там ни говорили. Считал ли он меня своим другом или одним из поклонников, было для меня не так уж важно, раз я мог наслаждаться его блистательной беседой; ибо если он щедро расточал деньги и здоровье, то был не менее, а даже еще более щедр на остроты. Хорошо зная французский язык, он иногда направлял свои остроты сильным немецким акцентом—чтобы воспроизвести это, потребовались бы те своеобразные звукоподражания, при помощи которых Бальзак в «Человеческой комедии» передает причудливые фразы барона Нусингена: тогда это производило необычайно смешное впечатление, то был Аристофан, говоривший в манере Эйленшпигеля.

АВГУСТ ТРАКСЕЛЬ («ВИКТОР ЛЕНЦ»)

Май 1833

ОТЗЫВ О СОЧИНЕНИИ ГЕЙНЕ «К ИСТОРИИ НОВЕЙШЕЙ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ГЕРМАНИИ»

(* 1835)

Вольфганг Менцель направил публику по ложному следу своей критической статьей, в которой он сравнивает Гейне и Бёрне, выявляя значение каждого или противопоставляя их друг другу для определения различий между ними. Я могу заверить вас в том, что оба писателя не встречаются здесь друг с другом и живут в совершенно различных сферах, и если Бёрне в своих письмах часто говорит о своем друге Гейне, который сказал то-то и то-то, то в этом нет ни слова правды.

Я не знаю, чем, собственно, Гейне здесь еще занимается, потому что я немного слежу лишь за общественной жизнью. Достаточно того, что он пишет и печатается. В политические интриги он не вмешивается, напротив, он держится в отдалении от так называемых патриотов. Но не из принципа, как могло бы показаться, нет, а от лени. Если бы можно было реформировать мир, лежа на диване или стоя за гардиной, и так, чтобы для этого потребовалось всего лишь потянуть за шнурок звонка, надеть халат и сунуть ноги в домашние туфли, то он конечно принял бы в этом участие.

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

Сер. июня 1833

ИЗ ПИСЬМА КРИСТИАНУ ФОГТУ

Париж, 26 июня 1833

Меня ввели в «Л'Эроп литерер»¹, это некий род «Атенеума» для эстетов Парижа. Я дал себе зарок не искать Гейне, однако судьбе было угодно, чтобы он оказался первым, кого я здесь встретил. Он весьма приветливо обратился ко мне, с большим уважением

¹ «L'Europe littéraire» — «Литературная Европа» (фр.).

говорил о нашей литературе и громко, перед всеми объявил, что Эленшлегер конечно же первый поэт Европы. Меня попросили сделать обзор нашей литературы, особенно в том, что касается Эленшлегера и молодых поэтов: его сейчас переводят на французский язык и будут печатать, только не рассказывай про это никому, кто способен разболтать. Гейне посетил меня <в отеле «Вивьен»>, вернее — посетил портье, <визитной> карточки Гейне у меня нет. И все же я не хочу с ним водиться, думаю, что с ним надо держать ухо востро.

Июнь/август 1833

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1855)

Однажды я зашел в «Л'Эроп литерер», своего рода парижский литературный клуб, куда ввел меня Поль Дюпор; там ко мне дружески подошел маленький человек еврейской наружности. «Я слышал, что вы датчанин, — сказал он, — а я немец! Датчане и немцы — братья, поэтому вот вам моя рука!»

Я спросил, как его зовут, и он ответил: «Генрих Гейне!»

Итак, это был тот поэт, который в далекие, полные любовного томления годы моей молодости столь всецело завладел мною, столь полно выразил мои чувства и настроения. Мне никого не было так приятно встретить и увидеть, как его; и я сказал ему все это.

«Это все слова! — улыбнулся он. — Если бы я вас так интересовал, как вы говорите, то вы бы побывали у меня».

«Я не мог этого сделать! — ответил я. — У вас так развито чувство комического, и вам, конечно, показалось бы смешным, если бы я, совершенно неизвестный вам поэт из малоизвестной Дании, пришел и сам бы представился вам как датский поэт! К тому же я вел бы себя неуклюже, я это знаю, и если бы вы потом смеялись или издевались над этим, меня бы это бесконечно огорчило именно потому, что я так высоко ценю вас, и из-за этого я предпочел отказаться от встречи с вами!»

Мои слова произвели на него хорошее впечатление; он был очень приветлив и любезен. Уже на следующий день он побывал у меня в отеле «Вивьен», где я остановился; мы нередко встречались, несколько раз

гуляли по бульвару, но у меня тогда еще не было настоящего доверия к нему и я не ощущал с его стороны стремления к более сердечному сближению, которое он проявил несколькими годами позже <в 1843 году> при нашей второй встрече, когда он прочел «Импровизатора» и несколько моих сказок.

КАРЛ ВОЛЬФРУМ

Август 1833

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1893, посмертно)

Герман <брат Карла Вольфрума> представил меня также Бёрне и Гейне, имен которых я до тех пор вообще не слышал и их литературная слава мне была совершенно неизвестна. От первой встречи с Бёрне у меня осталось в памяти лишь то, что это был маленький, худой, черноволосый человек. Позднее я несколько раз был у него с другими людьми, так как немецкие республиканцы в Париже высоко ценили его за честный характер.

Но о посещении Гейне я помню еще кое-что, потому что Герман рассказывал мне о нем больше, чем о Бёрне, а именно, что он весьма прославленный поэт, что он очень остроумен, но его сильно подозревают в получении денег от Меттерниха, который оплачивает его вероломные корреспонденции во «Всеобщей газете». Если бы он спросил меня, читал ли я его «Книгу песен», о которой я тогда еще не слышал ни словечка, я должен был ответить утвердительно и добавить, что она пользуется большим успехом среди подмастерьев.

Когда мы пришли к Гейне, было еще рано, он сидел в халате, и его брил парикмахер. Он был маленького или, по крайней мере, небольшого роста, умеренно полный и белокурый и действительно сразу же спросил меня, читал ли я его «Книгу песен». Я ответил, как было условлено, и все лицо Гейне озарилось светлой радостью, вызванной моей ложью. Он расспрашивал меня о том, что сейчас занимает умы немцев. Но больше я никогда не видел Гейне, так как немецкие республиканцы в Париже избегали его.

АНОНИМ (ЮЛИУС ГЕНРИХ КЛАПРОТ?)

ТАЙНОЕ ДОНЕСЕНИЕ ПРУССКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Париж, ок. окт. 1833

У меня обнаружился новый и весьма надежный источник, откуда я могу почерпнуть совершенно точные сведения о всех делах газеты «Тан» начиная с прошлого года. Теперь я знаю, что самые замечательные статьи против Пруссии принадлежат господину Гейне, по меньшей мере с 1832-го до лета нынешнего года. Так, например, знаменитая статья против Ансйона и прусского кабинета написана не Тракселем, а Гейне. Последний получил письмо от некоего господина Нольте, где ему сообщалось, что кое-кто из прусских офицеров и несколько дворян готовятся к поездке в Париж и намерены остаться там на зиму. Их главная цель — вызвать Гейне к барьеру, а если он не захочет принять вызов, то иным способом наказать его за оскорбления, нанесенные им Пруссии и прусскому офицерству в изданных им сочинениях. Гейне теперь ужаснейшим образом разъярен против Пруссии и пустит в ход все, чтобы отомстить.

У него есть план: выпускать одну за другой брошюры против Пруссии и распространять их в Германии, он и многих других безумцев призвал помочь ему в этом деле; так образуется новый союз, направленный исключительно против Пруссии. Поэтому я полагаю, что Пруссия будет вынуждена через Вертера настаивать перед Луи Филиппом, чтобы Гейне выслали из Франции. Французские министры получили от палат право высылать из Франции чужеземцев. Ибо если Гейне использует своих приверженцев, а те — все разветвленные связи, имеющиеся у них на Рейне и в Южной Германии, то можно опасаться, что он попытается употребить для своих целей и здешние немецкие Народные союзы, а это могло бы помешать Цейдлеру продолжать его деятельность в этих союзах. Пруссии было бы сейчас очень легко убедить французский кабинет выслать Гейне и не разрешать ему также пребывание в Бельгии, достаточно только обратить внимание на множество оскорбительных нападок на Луи Филиппа во «Французских делах», и если потребуется, Цейдлер охотно поможет их истолковать. Надо было бы немедленно поручить господину Вертеру сделать оттуда выдержки и во французском переводе

представить их кабинету, одновременно предъявив и те гнусности, какие он позволяет себе в отношении нашего короля и кронпринца. Деньги на его содержание поступают к нему сейчас из кассы Гейделофа, а в случае его высылки этот источник иссякнет. Гейне никак вдоволь не наговорится о страшном заговоре Тёпфера (Пруссия) против него. Он было хотел даже пойти к Гроссеру <Вертеру>, чтобы молить того о защите, от чего его, однако, отговорили друзья. Будьте так добры и побудите действовать Гейдевиттера (Т.) и всех тех, кого это дело может интересовать, оно должно вестись в величайшей секретности и *непрерывно так, чтобы даже Гроссер <Вертер>, когда оно попадет к нему, не мог догадаться, каков его источник.* Эта строжайшая секретность необходима тем более, что мне пришлось дать страшную клятву человеку, поставляющему мне сведения, что я его не выдам, поскольку значительную часть того, что он сообщил мне о Бухе <Гейне>, он знает от него самого. Скрытность нужна тем паче, что от этого человека можно будет еще многое узнать. Однако источник сведений иссякнет тотчас же, как только он хотя бы заподозрит, что его каким-то образом раскрыли перед Бухом <Гейне> и Морёром <Косте>.

Еще раз рекомендую принять во внимание предложение о высылке Гейне, в дальнейшем он будет большою помехой Цейдлеру в Союзе, а свои махинации против Пруссии Гейне предпринимает с большим рвением. Поскольку Луи Филипп намерен сейчас из-за своих разногласий с Испанией проявить благосклонность к Пруссии, то Пруссии следует именно сейчас и как можно скорее дать господину фон Вертеру свои поручения касательно Гейне.

АНОНИМ

Осень 1833

СООБЩЕНИЕ ИЗ ПАРИЖА

(* 12.11.1833)

2 ноября 1833

Из частн<ого> п<исьма>. Нижеследующее происшествие с известным писателем, которое здесь находят очень забавным, по своим последствиям интересно и с политической точки зрения, особенно потому, что из этого понятно, по каким нелепым причинам наши

бешеные демагоги часто нападают на то или иное государство. В первой половине минувшего сентября несколько находящихся в Париже немцев собрались вместе, чтобы приятно провести вечер. Зашел разговор о подписках, которые тамошний Народный союз открыл в пользу находящихся во Франции эмигрантов. По этому случаю Некто заметил, что есть все же существенная разница между людьми, сбитыми с толку чтением газет и брошюр и могущими стать опасными для спокойствия и благоденствия своего отечества в убеждении, что они споспешествуют доброму делу, и писаками, которые используют так называемый патриотизм лишь как средство для добывания денег и, сочиняя свои писания, видят перед собой только гонорар.

Разумеется, при этом не были забыты господа Бёрне и Гейне. Особенно шутили над смешным самомнением последнего, уверяющего, будто стоит ему лишь показаться в Германии, как там разразится революция. Между тем хвалили его едкое остроумие, увлекательный стиль и тонкость ума. «Ну, не так уж он тонок, его ум», — заметил некто из собравшихся и предложил пари: посредством мистификации он заставит г-на Гейне объявить, что он находится на осадном положении, которое он так рьяно высмеивал во «Французских делах». Пари было принято и выиграно, и вот каким образом. Г-ну Гейне написали письмо, якобы из Франкфурта и за подписью несуществующего господина Нольте. В этом письме ему сообщалось, что большой почитатель его таланта г-н Нольте спешной почтой из Дрездена получил известие, будто группа прусских офицеров и несколько дворян намереваются поехать из Дрездена в Париж, чтобы там поодиночке вызвать его на дуэль на пистолетах.

Адрес на письме был написан по-немецки, только слово «Париж» вычеркнули и по-французски надписали «Boulogne-sur-Mer», где Гейне тогда лечился на водах. В таком виде письмо отдали на почту. Оно сделало свое дело. Со дня своего возвращения в Париж злополучный Гейне, мнящий, будто его преследуют, бродит по городу в глубокой тоске, считает себя мучеником немецкой свободы и рассказывает, как пруссаки составили заговор, угрожающий его жизни, и собираются его застрелить, заколоть или даже задушить. То он разгуливает, вооруженный парой пистолетов; то хочет обратиться к своему заклятому врагу, префекту полиции Жиске, и просить у того эскорт из муниципальных гвардейцев; то намерен броситься в объятья прусскому

посланнику, чтобы тот защитил его от юнкеров, коих г-н Гейне так сильно ненавидит.

Короче говоря, героический сочинитель «Французских дел» ведет себя так, будто сам находится в состоянии непрестанной осады, и теперь он охотно прощает королю Луи Филиппу его *etat de siège*¹, которое, разумеется, привлекало к себе несколько большее внимание, нежели осада нашего писателя. В самом деле, надо быть более чем тщеславным, чтобы поверить, будто компания прусских офицеров и дворян предпримет путешествие из Дрездена в Париж ради того лишь, чтобы вызвать на смертельный поединок посредственного поэта и политического якобинца, жизнь которого не подчиняется ни порядку, ни необходимости. После этого происшествия нетрудно поверить, что достойное какого-нибудь Марата гнусное сочинение против Пруссии, которое г-н Гейне называет «Предисловием» к своим «Франц. делам» и которое издано у Кампе и Гейделофа, по всей вероятности, также обязано своим возникновением лишь уязвленному тщеславию, отказу в должности или чему-либо подобному. Все, что бы ни вышло теперь из-под пера этого человека против Пруссии, будет иметь своей причиной мифического, никогда не существовавшего г-на Нольте!

ФЕРДИНАНД ГИЛЛЕР

Конец ноября 1833

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1880)

<...> поздней осенью <1833> состоялось венчание <Гектора Берлиоза>, и состоялось оно в часовне английского посольства. Генрих Гейне и я были свидетелями со стороны супруга. Это была тихая, немножко мрачная церемония, по свершении каковой новобрачные отправились на свою квартиру в одной из дальних улиц, а Гейне в разговоре со мной дал волю своим грустно-насмешливым суждениям. Невозможно было достичь предела желаний при обстоятельствах более неблагоприятных. Да и по своим последствиям союз этот никак нельзя было назвать счастливым, о чем я слышал со всех сторон, будучи вдали от Парижа, и в чем Берлиоз признается и сам в своих мемуарах.

¹ Осадное положение (*фр.*).

ЖОРЖ САНД

Нач. ноября 1834

ИЗ ПИСЬМА ФРАНЦУ ЛИСТУ

Париж, ноябрь 1834

Не знаю, сударь, получили ли вы записку Альфреда де Мюссе с просьбой немедленно привести ко мне г-на Берлиоза. Если вы не сможете исполнить его желание (а также и мое) раньше, чем через два-три дня, позвольте мне, по крайней мере, заявить, что по возвращении я буду весьма и весьма расположена познакомиться с г-ном Берлиозом и г-ном Гейне.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

4 апреля 1835

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

На одном из балов в Париже зимой 1835 года мне представили Генриха Гейне. В то время он еще не вполне свободно говорил по-французски, но все же умел с блеском излагать свои мысли. Его золотистые волосы были подстрижены ровно и немножко длинноваты, отчего он казался моложе своих лет, на что, смеясь, указал мне сам. «Я первый мужчина своего века», — говорил он. Оживленно беседуя с ним, я заметила, что его раздражает наша манера без конца восхищаться одними и теми же именами — Гете, Байрон, Виктор Гюго. Так, заметив среди вальсирующих Альфреда де Мюссе, он сказал: «Не могу понять, что за люди эти парижане: когда слушаешь ваши разговоры о поэзии, кажется, будто вы от нее без ума, но вот я вижу здесь замечательного поэта, который принадлежит вам волею судеб... И, однако же, я убедился, что в свете его сочинения столь же мало известны, как если бы это был какой-нибудь китайский поэт!»

При первой встрече у меня создалось впечатление, что он лишен того неоценимого свойства <доброты>, которое отлично уживается с озорным лукавством, этой игрушкой высокого ума. В беседах с ним такое впечатление возникало снова и снова и долгое время мешало мне ответить на его дружеские чувства. И все же очарование его фантазии, общее оживление, возбужденное его остроумием, делало его присутствие необычайно приятным в узком кругу. Он всех веселил,

он блистал, его совершенно особое, искрящееся остроумие ни с чем нельзя было сравнить, и я часто просила его присоединиться к обществу моих гостей, если они могли прийти к нему по вкусу. В отношениях с людьми ему была присуща любезная обязательность: если он был приглашен и не мог прийти, об этом вовремя предупреждала записка с извинениями.

Лето 1835

В окрестностях Марли жила княгиня Бельджойозо, у которой мы тоже часто встречались. Генрих Гейне бесконечно восхищался ее своеобразной красотой, причудливой и классической одновременно, ее живым и пытливым умом, ее страстной и загадочной душой. Эта богато одаренная и весьма противоречивая натура захватывала всякого, кто ее наблюдал. Княгиня легко увлекалась, но была проницательна, поэтому ей часто приходилось разочаровываться. Немецкий поэт несколько раз попробовал шутить на эту тему, — взгляды и мнения прекрасной миланки он уподоблял мимолетным прихотям. Однако немедленная и безжалостная отповедь сразу отбила у него охоту к таким шуткам. С тех пор он предпочитал спорить или пререкаться с теми, кого судьба поочередно приводила в кружок г-жи Бельджойозо — литераторами, академиками, философами. Среди последних был Виктор Кузен, к которому Гейне в то время относился очень враждебно. Он утверждал, что это лжеученый, обкрадывающий всех философов Германии. И все время старался дать почувствовать это Кузену. Увлеченный беседой, Кузен принимался систематически излагать свои идеи. «Знаю, знаю, что вы хотите сказать, — перебивал его Гейне, — это теория Фихте, которую развил Шеллинг». И высказывал свои возражения так, словно обращался к названному им философу. Одна-две такие выходки портили настроение Кузену, и он бежал от этого философского поединка к привычной для него толпе восторженных слушателей.

Оставшись хозяином положения, поэт проявлял свою германскую сущность в том упорстве, с каким продолжал обличать противника. Этот ум, который за присущую ему язвительность, порой тонкую, а порой просто забавную, справедливо сравнивали с умом Вольтера, в беседе не всегда отличался истинно французской легкостью, он не прекращал разговора о том, что его волновало, а настойчиво продолжал его. Так, не переставая нападать на Кузена, он вдруг сравнивал его

с г-ном Минье: дав остроумный перечень заимствований, замеченных у первого, он противопоставлял ему второго, восхвалял его честность, благородную прямо-ту и подлинный талант историка. «Этот человек никогда не скрывает, у кого он что-то взял! браво! Вот это писатель! Настоящий, правдивый, без уверток, прекрасная душа!»

После этой искренней похвалы снова начинались колкости:

«Да, говорю я, прекрасная душа! Она наделена особой красотой, которая так понятна женщинам и проявляется в правильных чертах лица; красота эта, можно сказать, бросается в глаза, говорит на всех языках, — перед нами космополитическая душа!» <...>

В 1835 или 1836 году, в пору любовных огорчений поэта, друзьям открылась тайна его привязанности, его связь с молодой и хорошенькой работницей и разрыв с нею после страшной сцены ревности. Он рассказывал это всем подряд, вместо того чтобы излить свою печаль безгласным деревьям и немым скалам, как велит древний обычай. Когда он принимался жаловаться, все как будто удивлялись, не понимая его обиды. Напоминали ему собственные его слова: «Мотылек не спрашивает у цветка: целовал ли тебя уже другой мотылек, а цветок не спрашивает: порхал ли ты уже вокруг другого цветка?»

Однако наш поэт не желал умирать от горя, а, напротив, желал вылечиться и прилежно старался влюбиться в кого-нибудь другого. Но мог ли он понравиться, если беспрестанно вспоминал ту, что оплакивал, «свою крошку»? Его принуждали молчать. Этот любовный кризис в конце концов разрешился: не в состоянии разлюбить или утешиться с кем-либо, влюбленный через несколько месяцев добился примирения.

АДАЛЬБЕРТ ФОН БОРНШТЕДТ

Апрель 1835

СООБЩЕНИЕ ИЗ ПАРИЖА (* 1836)

В апреле месяце 1835 года в полуденный час я неторопливо шел по площади Виктуар, где неуклюжая конная статуя Людовика XIV работы барона Бозьо, но не скульптора Бозьо, скорчила мне рожу.

На углу улицы Рампар я натолкнулся на Гейне, —

облаченный в свой синий плащ, он забавлялся рассматриванием гравюр.

— Куда вы идете?—спросил я его.

Ответ:

— Не знаю.

— Хотите казаться оригинальным, милейший.

<Гейне:>—Вовсе нет, а вы разве знаете, куда идете?

— Бога ради, обойдемся без философии и без состязания в каламбурах.

<Гейне:>—Ну, так я прогуливаюсь, je flâne.

— Ладно, flânons¹.

<Гейне:>—Отлично, nous flânerons.

— Вы еще не забыли спряжение глаголов.

<Гейне:>—Латинские забыл, а французские с каждым днем заучиваю все тверже.

Мимо проехал омнибус.

— Сядемте в него.

— А куда он едет?

— Куда бы ни ехал, внутри нам будет удобнее разговаривать, а потом мы сможем пересесть в другой.

Только мы начали усаживаться, как в омнибус влезла многопудовая толстуха француженка и величественно водрузилась между нами. Гейне скрылся за ее левым бедром, я—за ее безграничными рукавами-буфами.

— Боже мой, нас разлучили, это уж слишком, — посетовал Гейне.

— Эта женщина в самом деле...

<Гейне:>—Вот видите, человек не знает, куда идет. Мы с вами хотели поболтать, а нас отделило друг от друга это мясное Чимборазо, эти груди-Гималаи, этот живой Монблан...

Мы проехали по многим старым улицам предместья Сент-Антуан, — мы и не подозревали о существовании этих улиц, дома там были старые, много пустующих особняков и высоких каменных оград; вот мы в Марэ, пассажиры входят и выходят, мы на площади Бастилии.

— Сойдемте и пройдемтесь пешком по бульвару.

Нам обоим хотелось есть, и мы вошли в какую-то кондитерскую довольно жалкого вида. Пирожки были черствые, ликер скверный.

<Гейне:>—Вот видите, мы не знаем, куда идем.

На углу бульвара Тампль нам встретился молодой, элегантный знатный поляк.

¹ Будем прогуливаться (*фр.*).

— Где вы так долго пропадали? — спросил его Гейне.

— Я побывал в Лондоне и надеялся осесть в Брюсселе, но волею обстоятельств вынужден был вернуться в Париж.

<Гейне:> — Вот видите, мы не знаем, куда идем.

— К сожалению, нет, — отвечал поляк. — Подумайте только — молодой Х. был схвачен в Литве.

<Гейне:> — Вот видите, мы не знаем, куда идем.

— В нынешнее время быть революционером стало совсем невыгодно, — добавил он с иронической усмешкой. — Шагу нельзя ступить, чтобы здесь кого-то из твоих знакомых не схватили, там не засадили за решетку, еще где-то не изгнали, и всякий раз тебе рассказывают какую-нибудь горестную историю. Право, это очень неприятно. Счастливые были времена, когда в Германии я был единственным революционером, однако с тех пор, как в это дело влезли другие, у меня пропал всякий аппетит.

— Вы были такой же единственный революционер в Германии, как гофрат Фридрих Фёрстер — единственный прусский придворный демагог.

— Прошу вас, избавьте меня от таких неприятных сравнений. Боже мой, да неужто вы никогда не поймете, как это прекрасно — спасти свое отечество! — При этих словах на лице малорослого поэта мелькнула злобная усмешка, глаза его заблестели и засверкали, углы рта задрожали и растянулись в улыбке.

В эту минуту к нам подошли два прилично одетых господина, и старший из них, наивежливейшим манером обратясь к молодому поляку, вручил ему вдвое сложенную бумагу: приказ в сорок восемь часов покинуть Париж и незамедлительно отправиться в Дижон! «Мы вручили вам предписание министра, послезавтра утром мы наведаемся к вам на квартиру, посмотреть, исполнили вы его или нет».

Оба полицейских чиновника вежливо попрощались и удалились, оставив поляку копию приказа.

На мгновение наступило молчание.

<Гейне:> — Мы не знаем, куда идем.

— Я-то знаю: здесь написано черным по белому, — спокойно отвечал поляк.

<Гейне:> — Так давайте сегодня хоть пообедаем вместе напоследок.

— Где?

— В «Vendanges de Bourgogne» ¹.

¹ «Бургундском празднике винограда» (фр.).

КРИСТИНА БЕЛЬДЖОЙОЗО

Июнь 1835

ИЗ ПИСЬМА КАРОЛИНЕ ЖОБЕР

(*21.9.1850)

Афины, нач. сент. 1850

Он <Беллини> был сицилиец и, как все мои соотечественники, верил, что среди людей существуют zettatori, то есть злые души, приносящие несчастье. Одним из таких ему казался Генрих Гейне, с которым он встретился у меня в имении за месяц до смерти. Немецкого поэта очень забавляло, что он производит такое впечатление, и он все время старался показать свою силу. Он быстро разгадал слабости Беллини и в шутках то и дело упоминал о смерти. Вот он вдруг примется вздыхать об участи, которая неизбежно ожидает молодого композитора—если он действительно гений, как это утверждают. «Ведь гении всегда умирают такими молодыми! — говорил он умильно-насмешливым тоном. — Послушайте, а сколько вам лет? Тридцать два, тридцать три? Гм! Моцарт прожил только тридцать пять».

Слушая это, Беллини всегда закладывал руки за фалды фрака и, по итальянскому обычаю, показывал рожки, чтобы уберечься от сглаза. А Гейне сладеньким тоном произносил: «А может быть, вам ничего не грозит. Кто знает, есть ли у вас на самом деле гений, который вам приписывают? Мне это неизвестно; я не слышал ни одного вашего сочинения и так и останусь в неведении. Я считаю вас милейшим человеком и очень хорошо к вам отношусь, я был бы глубоко удручен, если бы у вас обнаружился этот дар небес, столь роковой для своего обладателя».

Не слушая больше, Беллини обращался в бегство. Но не потому, что он, подобно своему соотечественнику Мазарини, не умел сразить насмешника остроумным словом. Обычно он, притворившись растерянным, словно бы не понимая, что говорит, находил смешные, язвительные ответы; но остроумие разом покидало его, как только им овладевал суеверный страх. Если бы нам дано было видеть будущее, эти шутки показались бы очень жестокими. А тогда я первая беззаботно смеялась, добродушно глядя на испуганное лицо нашего дорогого композитора.

Но вот прошло несколько дней—и он заболел. Помню, Вы ждали его к ужину, и в семь часов от него пришло письмо, где он просил его извинить. Внезапное нездоровье лишило его этой чести, писал Беллини. Вертя в руках надушенное письмецо, написанное на цветной бумаге, в очень изящном конверте и с такой же изящной печатью, Вы сказали гостям:

— Что ж, не стану беспокоиться: если человек посылает такой кокетливый бюллетень о здоровье, значит, он не очень болен. — Через две недели Беллини скончался! Письмо, которое вы получили, было, вероятно, последним, что написано его рукой.

ЖОРЖ САНД

Лето 1835

ИЗ ПИСЬМА ФРАНЦУ ЛИСТУ

Ноан, 18 окт. 1835

Говорят, наш кузен Гейне окаменел в созерцании у ног княгини Бельдгойозо.

РОЗА МАРИЯ АССИНГ

Незадолго до 10 июля 1835

ИЗ ПИСЬМА ДАВИДУ АССИНГУ

Париж, 10 июля 1835

Потом нам выпал сюрприз—еще раз увидеть Гейне, — радость, на какую мы уж и не рассчитывали, полагая, что он уехал в Булонь-сюр-Мер. Мы необыкновенно обрадовались, когда он без церемоний зашел к нам. Встреча наша была чрезвычайно сердечной, он казался очень взволнованным, по-моему, в глазах у него стояли слезы, а для меня видеть его было истинной душевной отрадой. Он пробыл у нас долго, мы беседовали о многом, говорил он весьма серьезно, глубокомысленно, рассудительно, остроумно, мудро; я бы хотела, чтобы его слышали и видели те, кто постоянно попрекает его фривольностью. Ему живется здесь слишком хорошо, и можно понять, что он не

стремится обратно в Германию. Он вращается в обществе самых остроумных, самых избранных людей, в высших кругах, у которых, как и у публики, его ум и талант встречают полное признание. Он обещал мне, обещал нам побывать у нас еще раз, и мне было бы очень жаль его упустить.

<Продолжение письма, 13 июля:>

От Гейне я узнала, где живет госпожа фон Чези. Я хотела нанести ей визит, но оказалось, что она уехала в Баден.

ИЗ ПИСЬМА АДАЛЬБЕРТУ ФОН ШАМИССО

Гамбург, 2 мая 1836

Там <в Париже> я снова увидела Гейне и была очень рада, Гейне был тоже рад услышать от меня о друзьях и о Германии. С живым участием он слушал о Вас, о моей озабоченности Вашим состоянием здоровья, опасность которого была преувеличена слухами. Он просил меня не рассказывать этого госпоже фон Чези, которая живет в Париже, потому что полагал, что это ее тоже глубоко опечалит. Но госпожа фон Чези уже уехала в Баден, когда я хотела побывать у нее. В Париже Гейне живется очень приятно, его уважают, и у меня были причины радоваться за него во всех отношениях.

КАРЛ РОЗЕНБЕРГ

Сент. 1835

ИЗ СТАТЬИ О БЁРНЕ И ГЕЙНЕ

(* 31.10.1835)

Париж, 17 окт. 1835

Я только что вернулся из Отейля, где я был у Бёрне <...>. Сознаю, что я с живым любопытством ожидал личного знакомства с человеком, чьи литературные и политические взгляды так часто были в Германии предметом большей частью злобной и всегда страстной критики. К этому добавилось, что я недавно познако-

мился в Булони с Гейне, который никогда не высказывался о Бёрне иначе как с величайшей ненавистью, говорил о нем с пренебрежением, которое, без сомнения, должно было бы ослабить или уничтожить мое страстное желание лично познакомиться с последним, если бы я позволил себе руководствоваться авторитетом противника, к тому же столь мало объективного, как я позднее понял. Ибо, к сожалению, Гейне слишком убедительно подтверждал справедливость старой пословицы: *praesentia minuit famam*¹; что бы и с каким бы правом ни говорилось о нем худого в газетах, я всегда мог надеяться найти в авторе «Путевых картин», в поэте, написавшем так много истинно поэтических песен, человека большого ума, который и в повседневном общении, в обычном разговоре подтвердит то благоприятное мнение о себе, которое он отчасти вызвал своими произведениями. Но если когда-нибудь писатель и человек были различными существами, уживавшимися в одной персоне, то именно это можно было сказать о Гейне: в словах его было столько же пошлости и безвкусицы, сколько полета ума и остроумия обнаруживали его стихи; такой недостаток неопровержимо свидетельствует о том, что поэтические излияния Гейне обязаны своим возникновением не переливающейся через край полноте души, доведенной до совершенства во всех ее природных наклонностях и способностях, а всего лишь мгновенному вдохновению, которое не может не напоминать переменчивый родник.

В этом мнении я укрепился благодаря одному обстоятельству, которое слишком характерно, чтобы я мог умолчать о нем. Гораций рассказывает о себе, что он брал с собой на отдых для чтения <...> Платона и Менандра <...>. Вместо этих классических авторов <...> я взял с собой, наряду с другими произведениями, столь же классического поэта-философа Фридриха Шиллера; и на моем столе как раз лежало полное собрание его сочинений в одном томе, когда вошел Гейне. Он раскрыл книгу:

— А, Шиллер! Хороши ли его стихи?— Он имел в виду его лирику. — Я никогда их не читал, теперь я хочу попробовать заняться этим, я привез с собой оба тома.

— Как? Вы никогда не читали стихов Шиллера? Как это вышло?

— Я был занят собой, поймите, что своя рубашка ближе к телу.

¹ Присутствие преуменьшает молву (*лат.*).

«Конечно, но тот, кто заботится только о своей рубашке, в конце концов окажется голым», — подумал я. То, что человек с такой репутацией, печатающий статьи о немецкой литературе, может сказать о себе, что он не знает самого драгоценного в этой литературе, кажется невероятным и находит свое объяснение лишь в безмерной спеси, в том ослеплении относительно собственных заслуг, которое обычно находится в обратном отношении к сделанному <...>.

АДАЛЬБЕРТ ФОН БОРНШТЕДТ

Окт. 1835

СЕКРЕТНОЕ ДОНЕСЕНИЕ АВСТРИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Париж, 27 окт. 1835

Гейне живет в расколе с немецкой демократической молодежью. Он ненавидит ее больше, чем можно было бы ожидать, и неописуемо тоскует по Германии. Его ненависть к демократической партии проистекает от того, что она ретиво на него напустилась, особенно Бёрне в одной статье в «Реформаторе». Раньше Гейне пользовался влиянием в Германии, теперь демократическая партия разбила этого идола, а обезьянничанье Гейне перед французами уронило его на родине даже как писателя и поставило под подозрение. Однако у него есть навязчивая идея непременно выступить на сцену снова, как только момент покажется ему благоприятным, поэтому он вовсе не хочет портить отношения со своими прежними друзьями. Раньше, когда немецкое общество в Париже было более или менее организовано и небезызвестным, ныне покойный Вольфрам <Вольфрум!> (из Пруссии), равно как и Гарнье и т. д., играли здесь какую-то роль, первый из них очень наседавал на Гейне, чтобы тот издал манифест против германских князей. Гейне, однако, с большой хитростью все время от этого увертывался, он всегда избегал заходить слишком далеко. Гарнье сам, перед своим отъездом в Лондон, предложил Гейне взять на себя руководство фракцией немецкого общества, сказав, что предоставит в его распоряжение некую группку. Гейне же отвечал, как всегда, иронически: «он не собирается спасать отечество» (одно из его любимых выражений). Впрочем, если Гейне и порвал с демократической партией в целом, то отнюдь не порвал с ее членами в

отдельности, этих людей он, напротив, пытается расположить к себе и очень хочет выставить себя перед ними так, чтобы впоследствии он мог обратиться к этой партии, ибо она кажется ему наисильнейшей; даже в этой ныне весьма присмирившей демократической партии он пытается сохранить себе нескольких друзей. Ради этого он делает некоторые шаги, полезные для ультрареволюционеров; поэтому в «Ревю де де Монд» он предсказывал *немецкую* революцию, поэтому сам отнес в радикальный журнал «Изгнанник» статью, написанную по-немецки. И хотя в других местах он это отрицал, тем не менее он нередко оказывал поддержку молодому, совершенно неопытному, незначительному и совершенно непрактичному Венедю. Когда этот ультралиберальный настроенный, постоянно носящий при себе кинжал и весьма много возмнивший о своих заслугах молодой человек принужден был из-за своих происков покинуть Париж и Францию, то именно Гейне, чтобы выслужиться перед демократами, пошел к министру Тьеру и заступился за Венедю, благодаря чему сей молодой писака смог остаться сначала в Гавре, потом в Страсбурге, а на прошлой неделе даже снова приехал в Париж. При своем отъезде из Парижа он даже получил от французского правительства пособие в 150 франков на дорожные расходы. Гейне, хотя он говорит о «*канальях революционеров*» только тогда, когда полагает, что они его не слышат, сделал это, по его словам, «чтобы Венедю был у меня в кармане и чувствовал себя обязанным, возможно, он пригодится; кроме того, это возвышает меня перед остальными и показывает, какое большое влияние я имею в Париже и как могу расправиться со всеми, если захочу».

Это безграничное тщеславие Гейне поссорило его и со Шпациром, но поскольку у Гейне нет ни чувства собственного достоинства, ни характера, то, после того как он жесточайшим образом обрушился на этого историка Польши, он сам снова с ним помирился и объединился. Как революционер Гейне во всех отношениях ничтожен, то есть в тех случаях, когда приходится действовать. Физически трусливый, лживый, он изменяет своему лучшему другу и не способен ни на какое проявление твердости, это человек переменчивый, словно кокетка, злобный, как змея, но так же, как она, блестящий, переливчатый и ядовитый; лишенный каких-либо благородных и поистине чистых побуждений, он не способен хранить теплое чувство. Из тщеславия он охотно играл бы какую-нибудь роль, но

свою роль он уже отыграл, его кредит навсегда подорван, но талант его — нет. Для Германии он может быть опасен только как публицист, и он с удовольствием отложил бы перо, то есть стал бы писать в более умеренном тоне, хотя бы внешне, если бы правительства, вместо того чтобы его раздражать, запрещать его книги, нашли бы возможность его использовать. Бёрне живет в смертельной вражде с Гейне, последний говорит о первом не иначе, как награждая его грязнейшими эпитетами, главная причина этой ненависти — взаимная зависть. Однако Бёрне, как писатель и как человек, бесспорно, гораздо значительней Гейне, так что он и в своей партии пользуется большим уважением. Для Германии он приблизительно то же, что Ламенне для Франции. Гейне и Бёрне никогда не разговаривают, не видятся, не здороваются друг с другом, так что нелепо утверждать, будто они работают вместе. У Гейне никаких убеждений нет, и он кокетничает с конституционными идеями точно так же, как завтра примется с тою же ловкостью и блеском защищать или оспаривать идеи абсолютистские, а послезавтра — радикальные. Гейне — моральный и политический хамелеон, хотя он уверяет, будто никогда не менялся, а всегда был настроен монархически. Гейне ничего так не желает, как быть в хороших отношениях с германскими правительствами — «если бы они только знали, каковы мои мысли, то, несомненно, относились бы ко мне благосклонно». В Париже Гейне живет не совсем уютно, у него мало денег, а надобно ему много; все знаменитые французские литераторы зарабатывают много, а он мало, потому что писать по-французски он не умеет и отдает свое грязное белье для правки и перевода некоему Шпехту, служащему королевской почты. Его дядя, гамбургский банкир, посылает ему ежегодно 100 луидоров, его сочинения уже не расхватывают в Германии так, как раньше, перевод на французский его «Салона» не принес ему почти ничего, продано было всего несколько экземпляров. Гейне жалуется всем своим знакомым, что он просто прозябает и что такой человек, как он (?), должен был бы получать ежегодно по меньшей мере 20 000 франков. Гейне даже по-немецки пишет очень медленно, и его писания в «Ревю де де Мوند» приносят ему едва 1000 франков в год.

КАРЛ НОЭ (ПСЕВДОНИМ: НОРДБЕРГ)

1835/1836

СЕКРЕТНЫЕ ДОНЕСЕНИЯ АВСТРИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Париж, 7 янв. 1836

Шпацир и Гейне, враждовавшие между собой, теперь помирились. Гейне по сему случаю сказал: «Мне не нравится, что Шпацир повсюду рассказывает, будто он мне враг. Это придает ему значительность и вес, ибо, не будучи моим врагом, он просто ничто». Шпацир же, напротив того, говорит: «Ко мне приходил Гейне, он слишком боится моего пера, и вот он приполз на брюхе». Вот до чего жалки обоюдная зависть и фальшь; все немцы в Париже, даже большинство эмигрантов и литераторов, по видимости сплоченных, злобствуют за спиной друг у друга и живут как кошка с собакой. Впрочем, запрет на издание произведений Гейне произвел в Париже скверное впечатление и усилил его влияние, чего следовало бы избежать. Его писания столько лет продавались в Пруссии, что подобная мера представляется едва ли полезной, ибо вместо того, чтобы склонить писателя к умеренности, она скорее раздражит его и будет все больше толкать к революционерам, во всяком случае, к оппозиции. Хуже всего при этом, что Гейне весьма накоротке с Тьером, и пусть он совсем малая частица, все же он может словом и пером действовать против ныне существующего режима.

Париж, 16 янв. 1836

В течение нескольких недель немецкие республиканцы регулярно ходят к Бёрне; там бывает и известный Гюботтер, постоянно находится у него Гарро Гарринг, равно как и нашедший здесь убежище житель Страсбурга Гундт-Радовски, старая развалина из бывших старогерманцев; он известен в Германии как радикальный писатель, но теперь из-за своего скотского пьянства полностью деморализован. У Гейне со всеми этими людьми нет ничего общего, он полностью на стороне французских литераторов, пишущих на современные темы, добывается их благосклонности и называет Бёрне и его товарищей «Фальстаф и его банда».

АНОНИМ

Янв. 1836

ЗАМЕТКА В ГАЗЕТЕ

(* 22.1.1836)

Я слышал, что Гейне, всем наперекор, принял решение объявить во «Всеобщей газете», будто он разделяет ответственность за действия «Молодой Германии». Когда ему объяснили, что поступает он неумно, он возразил: «Я это знаю, таким образом я потеряю два миллиона немцев, бывших моими верными сторонниками, но из чувства человечности с такой потерей я могу примириться».

ГУСТАВ КОМБСТ

Март 1836

ИЗ ПИСЬМА ГЕОРГУ ФЕЙНУ

(* 1.4.1836)

Париж, 3 апр. 1836

Гейне не пользуется здесь у своих земляков особым уважением как человек. В политическом отношении он слывет колеблющимся, желающим вернуться на путь послушания. Пусть его; но как писатель он все еще остается революционером, особенно во второй части его «Салона» <...>.

Что касается его прошения (как он сам его называет) на имя франкфуртского Союзного сейма, то он высказался о нем, как мне известно из вторых рук, следующим образом: «Другие стали бы, вероятно, действовать в подобных обстоятельствах иначе и обрушились на этих людей; но это кажется мне мелким, и именно потому, что я нахожу мелким стрелять в своих противников издали, находясь в надежном убежище, и потому, что почти все остальные будут действовать так, — потому-то я этого не хочу». Это высказывание звучит пошло от начала и до конца.

АВГУСТ ЛЕВАЛЬД

Около 20 марта 1836

ИЗ СТАТЕЙ О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

(* 22.6.1836)

Мы не видались четыре года, и я нашел моего друга внешне очень изменившимся. Он расстался со своей худобой и, наоборот, нажил дородность, которая ему довольно-таки к лицу. Сюртуки у него сшиты по последней моде, однако носит он свое платье небрежно, часто незастегнутым и не с той аккуратностью, что заправский денди. Притом он вполне разбирается в господствующих модах. Было, например, поистине забавно наблюдать, как он горячо отстаивал три серебряных крючочка на широком бархатном воротнике своего редингота перед Жорж Санд, которая резко нападала на них как на безвкусицу и пыталась уверить его, что такого никто не носит. Так или иначе, для нашего поэта было очень лестно, что эта красивая женщина одному ему оказала подобное внимание, ведь при сем присутствовали еще несколько человек, одетых в точно такие же сюртуки, бывшие как раз в то время в большом ходу.

Такое пристальное внимание к моде, равно как и свежезавитые волосы, в первый же мой визит навели меня на мысль, что Гейне, должно быть, состоит в связи с какой-нибудь красивой женщиной, и я не ошибся.

— Я вас представляю моей жене, — сказал он и повел меня в маленькую изящную гостиную, где на мягком диване сидела госпожа Гейне, с вышиванием в изящных ручках. Дабы заранее опровергнуть распространенную сплетню, хочу упомянуть здесь о том, что, как известно, в Париже достаточно посетить мэра, чтобы заключить законный брак, однако в обществе никто не беспокоится о том, была ли уже соблюдена эта формальность, или ее еще только предстоит соблюсти. Женщину, которая живет совместно с мужчиной, величают *не* иначе как мадам, и мосье Гейне ввел мадам Гейне под этим именем в самые порядочные круги.

Красивая брюнетка с огненными глазами, которые сверкают умом. Он познакомился с ней шесть лет тому назад, сразу же по приезде сюда, и после разнообразных приключений и колебаний вверх-вниз сложился

этот приятный союз, который в тот момент, казалось, делал Гейне вполне счастливым.

— Главное достоинство Матильды, за которое можно ее похвалить, — шутя сказал он, — то, что она не имеет ни малейшего представления о немецкой литературе и ни слова не читала ни обо мне, ни о моих друзьях и недругах.

— Люди говорят, — прибавила тут Матильда, — будто Генрих очень остроумен и будто бы он написал прекрасные книги, но я ничего этого не знаю и вынуждена верить людям на слово.

Эта связь немало льстит тщеславию Гейне.

Подобно тому как в иных случаях князья скрывали свое звание, чтобы выяснить, любят ли их прекрасные возлюбленные за их личные достоинства, так и Гейне умалчивает перед женой о своих правах на место в сфере духа и упоен сознанием, что его так любят, и любят *parce qu'il est bien!*¹ — как говорится на нежном языке искусства.

Жизнь Гейне поделена между приятными удобствами разнообразного сорта. Поскольку он принадлежит к изящной литературе и в единственном числе представляет в Париже романтическую школу Германии, с которой в известных кругах очень носятся; далее, поскольку в Германии его сочинения запрещены и его принимают за вождя невидимой ложи вовсе не существующей «Молодой Германии»; наконец, поскольку он действительно, как человек, исполненный поэзии, ума и остроумия, принадлежит к числу самых приятных и просвещенных светских людей, каковых в Париже умеют ценить по-настоящему, а у этих его свойств есть опять-таки отпечаток оригинальности и чего-то чужеродного, то неудивительно, что он снискал себе множество влиятельных друзей и получил доступ в лучшее общество. Приглашения так и сыплются на него; зимой это званые вечера и балы, летом привлекательная *villeggiatura*² в имении какого-нибудь приятеля или приятельницы. Только склонность к уединению, которая временами пробуждается в нем, и желание съездить на какой-нибудь курорт на Северном море — Северное море его любовь, как он иногда говорит сам, — нарушают привычное течение его жизни.

Настроение у него как будто бы всегда безоблачное: что бы ни встретилось ему в последнее время неожиданно.

¹ Потому что он хорош! (*фр.*)

² Дачная жизнь (*ит.*).

данного и неприятного, ничто не в силах его омрачить. Его остроумие — кипящий, неиссякающий ключ, ежесекундно выдающий автора «Путевых картин». Он с восхитительной легкостью набрасывает забавнейшие зарисовки, изображает в разговоре комичнейшие характеры, и перед нашими глазами пронесется живая галерея всяких Гумпелино, Гиацинтов, Шнабелевских.

Март 1836 г.

(* 4.5.1836)

Напрасно мы одолели три бесконечно длинных лестничных марша в доме № 18 на набережной Малаке. «Барыня спит, — объявили нам, — она устала — всю ночь работала».

— Она и вправду спит? — спросил мой спутник, а им был не кто иной, как сам насмешник Гейне.

— Извольте убедиться, — шутливо ответила горничная, чуть приоткрыв дверь, — любезному кузену, так и быть, я это позволю, только не поднимайте шума.

Гейне бросил беглый взгляд в затененную спальню и потянул меня за собой к выходу; хорошенькая девочка с длинными развевающимися волосами побежала за ним следом и подала ему руку, чтобы приветствовать кузена и попросить его прийти еще раз на другой день.

— Это ее дочь, — сказал он мне, — красивая девочка, как видите, но мать все-таки красивее. Она разъехалась с мужем и живет большей частью за городом, я рад, что именно сейчас она в Париже и я могу вам ее представить.

— Она держит дом? — спросил я.

— Она держит комнату, — ответил он смеясь, — для того чтобы держать дом, ее доходов не хватит. Хотя ей платят дороже, чем кому-либо из романистов, в год она получает едва ли больше 20 000 франков. А много ли это?

Он говорил о госпоже Дюдеван, или Жорж Санд, из чьей квартиры мы только что вышли, — об одном из занятнейших явлений на обширной ниве новейшей французской литературы. Мы оставили у нее свои визитные карточки и сказали, что придем на другое утро. Только что пробило четыре; до обеда оставалось полных два часа, можно было свободно отдать еще два обычных визита. Однако в тот день мы удовлетвори-

лись одним-единственным, настолько долго он длился и таким оказался интересным.

— К Архивам!—крикнул Гейне кучеру. Изрядное расстояние от набережной Малаке. Наконец мы остановились у какого-то портала, прошли через двор и поднялись по широкой лестнице большого особняка. Пока слуга, дежуривший в передней, ходил о нас докладывать, в отворенную боковую дверь я увидел богато накрытый стол.

— Мы пришли не вовремя, — заметил я своему спутнику, — кажется, вашего друга уже ждет обед.

— Он обедает не дома, — отвечал он мне, — а вместе со своей дамой сердца, красавицей герцогиней де Бельджойозо, в чьем имении прошлым летом я провел райские дни. Этот стол накрыт для прислуги.

Слуга вернулся и растворил двери, чтобы впустить нас к своим господам.

Мы вошли в большой, богато убранный рабочий кабинет, обивка мебели и занавеси из голубого атласа, камин, украшенный дорогими вазами и великолепными часами. На больших покрытых коврами столах— великолепные гербы и изящные шкатулки всех видов и размеров. Шкафы по стенам с множеством ящиков, обитых зеленым с золотом сафьяном и снабженных надписями, а также широкий, заваленный всевозможными материалами письменный стол посреди гостиной—все, казалось, указывало на то, что мы находимся в рабочем помещении очень занятого делового человека.

С любезным изяществом навстречу нам вышел мужчина, которому могло быть немногим больше тридцати лет, высокого роста, темные от природы вьющиеся волосы осеняли широкий лоб, светлые, пронизательные синие глаза устремлены на нас, нос крупный и необыкновенно красиво очерченный рот. Это был Минье, друг юности тогдашнего премьер-министра <Тьера>, более знаменитый из них двоих историк французской революции.

Март 1836 г.

(* 4.5.1836)

На другое утро нам повезло больше: госпожа не спала, и мы вошли без доклада в маленький, причудливо украшенный будуар <...> В почти темной нише с бело-голубыми драпировками в виде шатра сидела, откинувшись на мягкие высокие диванные подушки,

маленькая хорошенькая женщина с очень большими выпуклыми карими глазами, по обе стороны высокого лба спускались крутые черные локоны, переплетенные цветными лентами, волосы на затылке были подобраны вверх, на манер деревенских девушек в некоторых областях Италии, что придает последним почти мужской вид. Одежду ее составлял темно-синий халат, также нечто среднее между мужским и женским; она сидела в непринужденной позе, держа на коленях небольшую фарфоровую миску, откуда вынимала маленькие листочки и заворачивала их в аккуратно нарезанную бумагу; разговаривая, она обнажала большие белые зубы, а крупный, чуть изогнутый нос сообщал ее лицу выражение решительности, что, впрочем, не лишало его женственной прелести. <...>

Мы говорили о новейших явлениях в литературе.

— Ах, «Жоселен»! — вскричала она, — какая вещь, какая поэма! Как я завидую счастливым, умеющим писать стихами, это священнический сан для писателя! Наша бедная проза — рубище нищего, она ничего не стоит! Как велик Ламартин!

Мы пытались с ней спорить, говорили о прекрасной прозе, о ее сочинениях, не впадая, впрочем, в плоскую лесть; она не желала ничего слышать и оставалась при своем мнении: только в стихах можно быть поэтом.

Говорили о немецких писательницах. Я упомянул Рахель и Беттину — эти новые, столь блестящие явления; их имена сюда еще не проникли, любезная госпожа Дюдеван ничего о них не знала, присутствующие французы не имели представления — только Мармье знал о них понаслышке.

Этому кругу была известна лишь одна немецкая писательница — госпожа фон Чези, одна-единственная Чези, которую милейшая Дюдеван необыкновенно любила. Она подсмеивалась над туалетом и поведением последней, но была восхищена сокровищницей поэзии, которая, несомненно, в ней дремлет, и ценила ее добрый характер. Ее возмущало, как неуважительно судили иногда в Германии об этой женщине. Она часто видела Чези во время пребывания той в Париже и в самом деле радовалась знакомству с ней. <...>

Беседа продолжалась довольно долго, и госпожа Дюдеван успела окончить работу, о которой я давеча упоминал. Теперь она достала из шкафа две большие сигарные коробки и тщательно уложила в них маленькие бумажные свертки, ибо то, что она все это время делала, было не чем иным, как испанскими бумажными

сигаретами, которые она изготовляла для собственного употребления.

Эта самая Жорж Санд имеет привычку курить за работой. <...>

Вечером я увидел ее в Большой Опере в том же головном уборе; те же крутые локоны, переплетенные лентами, как у Фенеллы в «Немой из Портичи». У всех были кокетливые чепчики, качающиеся букетики цветов на широкополых шляпах, как того требовала последняя мода, — Жорж Санд явилась в самой простой, естественнейшей прическе. Известный республиканец Мишель, ее адвокат по бракоразводному процессу, в чьем внешнем облике, кроме непременных белых перчаток, не было ничего элегантного, повел ее вверх по лестнице, откуда она, изящно отвернув голову назад, приветливо перебросилась с нами несколькими словами.

Март — апрель 1836 г.

(* 11.5.1836)

Я посетил Салон <ежегодная художественная выставка в Лувре>. От голов на картинах я оборотился теперь к двум живым смеющимся лицам, не самым прекрасным в глазах художников, но достойным предметам их искусства. Это был Гейне, он рассматривал картины, вздев на нос очки, и он водил под руку маленького человечка, который много говорил, много смеялся и при этом все время так странно кривил лицо, что от смеха оно совершенно менялось.

«Я давно уже хотел познакомить вас с Сент-Бёвом, — крикнул мне Гейне, — но это устроить трудно. Правда, у него, как у всякого порядочного человека, есть своя квартира, но там его никогда не застанешь, а где он в это время находится, не знает ни одна живая душа, ни его издатель, ни кто-либо другой!»

Сент-Бёву на вид лет тридцать, в настоящий момент он, пожалуй, первый критик Франции и пользуется здесь большим авторитетом. У нас завязался оживленный разговор и настолько отвлек нас от картин, что, идя по длинным залам, мы не обращали на них никакого внимания.

ИЗ ПИСЬМА ГЕЛЬМИНЕ ФОН ЧЕЗИ

Париж, апрель 1836

Когда увижу Гейне, отругаю его за то, что он представил меня куче разных ничтожеств и показывал, как ученую собачку, некоему глазевшему в бинокль господину, который хотел бы на мне нажитья. Это измена! Если бы дорогой кузен знал намерения своего приятеля, уверена, он не стал бы выставлять меня на обозрение.

ФРАНЦ ГРИЛЬПАРЦЕР

ИЗ ДНЕВНИКА

Париж, 23 апреля 1836

Мне каждодневно напоминают, чтобы я вручил рекомендательное письмо госпоже Ротшильд, еще я должен посетить Гейне, но откладываю это со дня на день.

Париж, 25 апреля 1836

Сегодня мне уже не избежать вручения госпоже Ротшильд моего письма. <...> Эта дама приняла меня очень хорошо. Она любезна, образованна, в самом деле хорошо говорит. Они уезжают за город. Приглашает посетить их там. Дает мне адрес Гейне.

Отправился с визитом к Гейне. Госпожа Ротшильд дала мне неверный адрес (улица Маленьких Августинцев, 4). Он оттуда выехал.

Париж, 27 апреля 1836

Наконец выяснил, где расположена квартира Гейне, в двенадцать часов отправился к нему, в Ситэ-Бержер № 3. Когда я позвонил, мне открыл красивый, толстый молодой человек в шлафроке и протянул руку как старому знакомцу. Это и был Гейне, принявший меня за маркиза де Кюстина. Когда я назвался, он выказал большую радость и провел меня в свой невообразимый хаос. Хаос невообразимый. Ибо живет он в нескольких

крошечных комнатках с одной или двумя гризетками, — две как раз находились у него и прибирали постели, одну из них, не такую уж красивую, он назвал своей милашкой. Он и сам выглядит как воплощенное жизнелюбие, а если взглянуть на его широкий затылок, то и как воплощенная жизненная сила. Произвел на меня очень приятное впечатление, потому что легкомыслие претит мне лишь тогда, когда оно препятствует свершению того, что надлежит свершить.

Мы сразу же заговорили о литературе, нашли, что в своих симпатиях и антипатиях находимся приблизительно на одном пути, и я наслаждался редким удовольствием встретить у немецкого литератора здравый смысл. Он, видимо, очень раздражен решениями Сейма, и как раз перед тем он работал над меморандумом этому пошлому собранию. Об ультралиберализме он и знать не хочет и с презрением говорит о немецких эмигрантах. С Бёрне он нехорош. Жалуется, что тот выдавал его за своего друга, каковым он никогда не был. Через час я ушел, тепло распрощавшись.

27 апреля/6 мая 1836

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ (1853)

(* 1872, посмертно)

Из всех людей в Париже самыми интересными для меня были двое соотечественников-немцев — Бёрне и Гейне. С первым у меня сложились отношения почти дружеские <...>

Гейне я нашел в цветущем здоровье, но, по-видимому, он был очень стеснен в деньгах. Он занимал в Ситэ-Бержер две маленькие комнатки, и в первой из них какие-то две бабенки возились с постелями и подушками. Вторая, еще меньшая комната, кабинет Гейне, благодаря скудной мебелировке производила впечатление свободной или хотя бы опрятной. Вся его видимая библиотека состояла из единственной и, как он сказал сам, у кого-то заимствованной книги. Вначале он принял меня за писателя Кюстина, с которым у меня будто бы есть сходство. Когда я назвал свое имя, он очень обрадовался и наговорил мне много лестного, что, вероятно, часом позже забыл. Но в тот час мы замечательно побеседовали. Навряд ли мне когда-нибудь довелось слышать, чтобы немецкий литератор говорил так разумно. Однако с Бёрне и вообще с самыми толковыми немцами его объединяет то, что,

при всем неодобрении частных, он питает большое уважение к немецкой литературе в целом, даже ставит ее выше остальных. Я же не знаю такого целого, которое не состояло бы из частных. Этому целому недостает живого нерва и характера. Когда я читаю книгу, я хочу иметь дело с кем-то определенным. Самоотречение могло бы еще представлять ценность, будь это растворение в предмете. Но и предмет выламывают из его исконной определенности, возгоняют до таких суждений, что оказываешься в каком-то межеумочном мире, где тени — духи, а духи — тени. Я уважаю немецкую литературу, но когда мне хочется освежиться, я берусь за иностранную.

Насколько Гейне понравился мне в разговоре с глазу на глаз, настолько же не понравился, когда мы несколько дней спустя обедали у Ротшильда. Было очевидно, что хозяева дома боятся Гейне, и он злоупотреблял этой боязнью, чтобы при малейшей возможности скрытно насмеяться над ними.

Но нельзя обедать у людей, к которым ты не расположен, а если считаешь кого-то достойным презрения, то не надо у него есть. После этого случая наши отношения не получили продолжения.

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

В ПЕРЕСКАЗЕ НЕИЗВЕСТНОГО ЛИЦА

(* 1869)

«Господин доктор, — обратился он <Дж. де Ротшильд> однажды за столом к Гейне, — вы ведь ученый, так скажите мне, почему это вино называется *Lacrimae Christi*¹».

«А вы попробуйте это перевести! — отвечал Гейне. — Христос плачет, когда богатые евреи пьют такое вино, в то время как столько бедных людей страдает от голода и жажды».

Ротшильд жил в том новом дворце на улице Лаффитт, построенном совершенно в стиле Ренессанса, на убранство которого он затратил миллионы. Он полагал, что очень остроумно спрашивать у каждого посетителя: «*Comment trouvez-vous mon chenil?*»² — «А вы знаете, что *chenil* значит собачья конура?» — шепнул Гейне ему

¹ Христовы слезы (лат.).

² Как вы находите мою конуру? (фр.)

на ухо. «Ну, и что с того?» — спросил Ротшильд. «И, стало быть, вы — обитатель этой конуры? Если вы сами так плохо о себе думаете, то хоть бы помалкивали об этом».

Однажды вечером зашел разговор о том, что вода Сены в Париже очень грязная и мутная. Барон рассказал, что видел эту реку у ее истоков и что там ее вода чиста и прозрачна, как хрусталь. <...> «Ваш отец, наверное, тоже был очень порядочным человеком, господин барон», — сухо вставил Гейне. Присутствующие закусили губы, — барон злой шутки не понял.

ФРИДРИХ ВИЛЬГЕЛЬМ РОГГЕ («ПАУЛЬ ВЕЛЬФ»)

Конец апр. 1836

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1877)

Прежде всего Рогге отправился к Генриху Гейне, чтобы выполнить поручения, данные ему Юлиусом Кампе в Гамбурге. Автору «Книги песен» было тогда тридцать шесть лет, то есть он находился в расцвете своих физических и духовных сил. Он был скорее низкого, нежели высокого роста, но благодаря своей личной привлекательности произвел на Рогге приятное и выигрышное впечатление. Он был одет в черное, у него были темные гладкие волосы, довольно длинные, глаза средней величины, ярко блестящие; казалось, он с кем-то спорил <...>. В Люнебурге ему всегда описывали Гейне как маленького прозрачного человечка, бледного, истощенного и отжившего свое. Поэтому он был немало изумлен, когда увидел перед собой человека хотя и не полного, но тем не менее свежего и упитанного <...>.

Рогге сказал ему о своем удивлении, и Гейне, казалось, сам был очень рад происшедшим в нем изменениям. Он жил в очень тесной квартире, обстановку которой менее всего можно было назвать элегантной. Эти маленькие комнаты делила с ним дама, некая Матильда, которую позже называли его женой. Она уже давно перешагнула тот возраст, когда пушок на щеках делает их похожими на персик, и для француженки была довольно высокой и полной. У нее были длинные черные волосы и большие, широко открытые глаза, но в то утро, когда ее видел Рогге, она была

одета отнюдь не так, как положено даме, выглядела довольно бедно и робела. Кампе сообщил Гейне письмом некоторые сведения о его посетителе и достигнутых им ранее успехах. «Ну, — сказал Гейне, — как находят в Германии мои высказывания о Платене?» — «Как всегда, — ответил Рогге, — благодаря вашему остроумию симпатии публики на вашей стороне, читатели радуются бьющему через край юмору, которым вы столь разнообразно распоряжаетесь». — «Повредило ли это ему?» — спросил он далее. «Тут я бы усомнился, — ответил ему Рогге, — так как Платен — не слабый духом человек, а гранитная статуя и он пользуется, особенно в филологических кругах, невероятно высоким авторитетом, эти люди воздействуют на образованную молодежь, а молодежи принадлежит поэзия и к тому же весь мир»,

«Да, конечно, — сказал Гейне, — как сильно я вам завидую, что вы еще так молоды; каких успехов вы еще добьетесь в лирике, с которой я давно покончил. Лирические стихи пишешь только до тех пор, пока молод. — «В этом, — заметил Рогге, — мне кажется, вы все же преувеличиваете; во-первых, вы же сами еще молоды, и потом, ведь умственная молодость более важна, чем телесная, и все зависит от того, как долго мир чувств сохраняется в нас свежим и цветущим, а сердце способно увлекаться». — «Да, в этом-то все дело, как говорит Гамлет», — улыбнулся Гейне <...>

Гейне пожелал также знать, какого мнения Рогге о его стиле. «Ваш стиль, — сказал последний, — очень пикантный, очень свежий и живой и представляет собой счастливое смешение прекраснейших стилевых особенностей, взятых вами у Стерна, Гёрреса и Жан-Поля; вы создали из этого собственную, присущую вам манеру письма, которая столь же подкупает, как и очаровывает». — «В этом есть доля истины, — признался Гейне, — я испытываю удовольствие, слыша это от вас; но вы не поверите, сколько мук и труда стоит мне этот стиль. Ты можешь подтвердить это, — сказал он, обратившись к Матильде, — как часто я при этом запутывался в твоих локонах». <...>

Рогге не понравилось и в Гейне и в Бёрне, что оба они ругательски ругали друг друга, не останавливаясь перед клеветой, и так же, как Гейне говорил о подруге Бёрне, что она доступна каждому, Бёрне утверждал насчет Матильды, что каждый может за несколько франков познакомиться с ее тридцатью престестями.

Вскоре после этого Гейне надолго уехал из Парижа, и Рогге его больше не видел. <...>

АВГУСТ ТРАКСЕЛЬ («ВИКТОР ЛЕНЦ»)

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА

(* 30.12.1836)

12 дек. 1836

Я взглянул на гравюры какого-то англичанина с видами Андалузии, съел на скорую руку три берлинских блина у кондитера в Лувре и пролистал в читальне Орлеанской галереи, где я постоянно бываю, «Всеобщую газету» и «Журналь де Деба», «Утренний листок» и «Вечернюю газету», встретив там поэта Гейне, который, проходя мимо, начал следующий диалог:

— Вы злой человек, вы плохо пишете обо мне.

— Я делаю добро тем, кто меня ненавидит, и причиняю зло тем, кто меня любит.

— Я протестую против этих последних слов. Будьте искренним, как это свойственно вашей натуре; признайтесь, что вам на меня наговорили.

— Но разве можно быть таким чувствительным? Даю вам слово, что я совсем не рассержусь, если вы в книге или в журнале покажете мне мои недостатки.

— Смотрите, какой вы хитрый. Вы полагаете, я должен написать о вас, чтобы вас обессмертить.

Из таких шутовских выходок и состоит автор «Путевых картин». Любопытный, праздношатающийся, балагур, ходячая скандальная хроника, человек, который одновременно находится везде и нигде, который шпионит за своей славой, — но именно поэтому в высшей степени интересный характер.

Гейне слышит, как трава растет, и когда нужно принять участие в каком-то деле, его не оказывается дома. Он хочет быть в хороших отношениях со всеми публицистами, но, несмотря на это, постоянно говорит одному что-то о другом, благодаря чему его политика и притворство вызывают подозрение. Было бы, конечно, неразумно долго сердиться на этого насмешника, у которого всегда уши на макушке из-за его склонности к сплетням; салонные интриги для него — потребность.

Кроме Гейне, в два часа пополудни в читальне были новеллист Борнштедт, юрист Венедей и учитель языка Саваж <Савуа!>

ИЗ СЕКРЕТНОГО ДОКЛАДА АВСТРИЙСКОМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУ

Франкфурт, янв. 1837

Гейне — полная противоположность Бёрне. Он легкомыслен и болтлив в разговорах, не требующих ума, и его можно считать остроумным выскочкой, который унаследовал талант и гений, не зная, что с ними делать. Прежде всего, у Гейне нет характера и энергии, я бы даже рискнул утверждать, что он вряд ли создаст еще что-нибудь значительное, так как для него много значит общее внимание, вызывающее толки, но возможности для этого у него сейчас ограничены. Либерализм для него был лишь фоном для его таланта, он кокетничал с ним, как и с Наполеоном, принципов у него не было никогда. Конечно, Гейне разделял стремления современной французской литературы, но это должно было служить ему лишь для укрепления его репутации в Германии. Он с самого начала понял, что не добьется во Франции успехов, но он жертвовал деньгами и временем, чтобы отдать перевести свои произведения, писать статьи о себе самом для французских журналов и быть принятым в «Л'Эроп литерер», где в течение короткого времени израсходовали кругленькую сумму на обеды. Более того, его тщеславие зашло так далеко, что он побудил своего друга и литературного подручного Левальда сочинить полностью выдуманное описание его семейных обстоятельств, в котором фигурируют содержанка, салоны, вечера и сотня деталей, свидетельствующих о роскоши и благосостоянии, о которых Гейне понятия не имеет. В действительности он живет в бедности и тесноте с какой-то гризеткой; как он сам сказал мне, когда я побывал у него на улице Кадет, 18, и увидел все это собственными глазами, *en étudiant*¹. Как и Бёрне, Гейне очень хотел бы вернуться в Германию. Бёрне никогда не согласится откровенно высказать свое желание, а Гейне, может быть, купит себе возвращение на любых условиях. Бёрне мешал получить влиятельное место в Париже его характер, а Гейне — его бесхарактерность.

¹ Здесь: по-студенчески (*фр.*).

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(*апрель 1837 года)

Если у Галиньяни на улице Вивьен или в одном из залов для чтения в Пале-Рояле вы увидите немного приземистого немца с темными волосами, в длинном сюртуке, с весьма небрежно повязанным галстуком, с хитрыми, колючими, но довольно добродушными глазами, немца, который торопливо входит, спешит от одного стула к другому и из одной комнаты в другую, нахватав во время этих хождений как можно больше немецких газет, бегло просматривает в них частную корреспонденцию и, когда все просмотрено и прочитано, пристально смотрит на лица вновь входящих, не окажется ли среди них какой-нибудь знакомый немец, — итак, если вы увидите там такого человека, кружащего по комнатам, то можете ставить сто против одного, что это Генрих *Гейне*. <...>

Бёрне был врагом Гейне с точки зрения борьбы партий, но как поэта он высоко ценил автора «Путевых картин» до самой своей смерти; он лишь сожалел, что ему будет не так легко писать «*Флорентийские ночи*» в Париже. Но иначе судят те немцы, которые попали в Париж после нескольких разогнанных революций, и именно это объясняет затруднительное положение Гейне. Сначала они потребовали от него выражения симпатии к их несчастью, и испуганный поэт оказал им помощь деньгами; но позже они захотели признания, Гейне должен был сказать в своем «Салоне» о немецкой литературе в Париже, и, когда он не смог и не захотел делать вместе с ними общее дело, ему пригрозили, что его поместят в «Галерею выдающихся евреев». Гейне, который постоянно ссылается на то и даже напечатал, что он полудворянского происхождения, что его мать — урожденная фот Гельдерн и сам он — протестант, да к тому же из самых ревностных, и вдруг — в «Галерею евреев»! Это было уже чересчур! *Бёрне* раздувал огонь и довольно потирал себе руки, когда Гейне, несмотря на все возражения и демонстрации, попал в тот выпуск, в котором помещены портрет Спинозы и статья о нем. Так, из чистого злорадства, с поэтом сыграли злую шутку; ибо совсем не было никакой другой причины для включения его туда. Бёрне сам говорил мне: «Меня там нет, а он изображен с головы до пят, они не забыли упомянуть даже о том, что во Франкфурте он сидел в мелочной лавке». Но

если бы дело обошлось только его включением в «Галерею выдающихся евреев»! Нет, на этом не остановились, со всех сторон в немецкие газеты посыпались корреспонденции о самых разных вещах, которые заморочили голову Гейне, так как он не мог представить их в истинном свете. Здесь обыгрывалась жанровая картинка, изображавшая поэта рядом с его Матильдой, там сомневались в том, что он ездил в Прованс и попал в кораблекрушение в марсельской гавани; да в конце концов зашли так далеко, что заподозрили его в доверительных отношениях с министром Тьера <...> Каждый день мог принести новые злобные выпады из Германии, и он успокаивался, только просмотрев свежие газеты.

Так обстояли дела, когда я познакомился с Гейне. Я не бывал у него, потому что с некоторых пор он испытывал величайшую антипатию ко всем жанровым картинкам, относительно моего касательства к которым он, правда, не был уверен. В самом деле, Гейне запретил владельцам книгоиздательства «Гейделоф и Кампе» давать кому-нибудь из немцев его адрес. Но это был первый порыв оскорбленного гостеприимства. Гейне любит немцев. Однажды, когда я был у Галиньяни, ко мне подошел Венедей и спросил, не хочу ли я познакомиться с Гейне. Я ухватился за эту возможность обеими руками, и поэт стоял передо мной. Он жаловался на бедственное положение немцев, которые окружают его в Париже; я утешал его. <...>

<...> Гейне, гениальный, остроумный Гейне, который был на дружеской ноге с цветом французской литературы, должен был пить на брудершафт со всеми революционными сапожниками и портными! *Гейне* был воистину в величайшем смущении. Однажды дошли даже до того, что потребовали от него подписать протест против папы римского <...> протест, подписанный 48 ремесленниками и Бёрне. <...> Гейне вышел из этого положения, заявив, что не желает причинять беспокойство теперь еще и этому хорошему человеку. Какое ему дело до папы?

Все это я узнал вскоре после приезда в Париж от самого Гейне и от других, его враги были неутомимы в злословии и клевете, которые он тем не менее, хотя и страдал, стойко переносил, объясняя, что он ничего с этим не может поделать, ибо, если он выступит против этих рыцарей, сразу же скажут: Гейне дошел теперь до того, что затевает ссоры со всеми и каждым.

Его лирика также доставляла ему неприятные переживания. «Видите ли, я посеял скорпионов и пожал блох», — говорил он, имея в виду легион его подражателей в Германии. <...> Гейне утратил всякую охоту к лирике из-за этих паразитов. <...>

«Боже мой! Эти проклятые жанровые картинки!» — вздыхал Гейне. <...> Поэта использовали в качестве персонажа очередной «мизансцены», и не только его, но и Матильду, маленькую, хорошенькую француженку, с той деревенской прелестью, которую встречаешь, отъехав от Парижа приблизительно на семь миль. Чего только не приходится терпеть великому человеку! Кто-то приезжает из Германии <...> рассматривает стулья и столы у Гейне, любовницу поэта и пуговицы на его сюртуке. Затем он возвращается в Германию и выставляет все эти вещи на авансцену в каком-нибудь журнале, стирает пыль со стульев, кладет ковры там, где их нет, обставляет будуар на месте чердачной комнаты и поднимает занавес: «Господа! Вы видите здесь Генриха Гейне рядом с мадам Гейне». Пока эта жанровая картинка остается в пределах Германии, все идет хорошо, но вот, к несчастью, экземпляр журнала попадает в Париж, и немцы восклицают: «Что? Мадам Гейне?» И тогда из Парижа во все немецкие газеты идут запросы о том, кто такая мадам Гейне. «Проклятые жанровые картинки! — вздыхал Гейне. — Сплошные декорации!»

Он живет по-холостяцки, так весело и жизнерадостно, как это можно от него ожидать, и в Латинском квартале вряд ли можно найти жилище студента, которое бы выглядело неряшливее и лиричнее, чем квартира по улице Кадет, 18, где живет Матильда. Здесь я беседовал с поэтом, лежавшим в постели, о тенденциях и о будущем. Гейне занимается этими вещами только от скуки, даже его бессмертие его не беспокоит. Как-то ему написали из Германии, что в литературе должен быть заключен своего рода «Вестфальский мир» и Гейне, который теперь больше всего любит мир, так как он в общем и целом не может более вести войну, очень заинтересовался этим «Вестфальским миром». Он должен был установить величину и территорию владений. «Подумайте только, ко мне приходит Траксель и требует, чтобы я заявил, что его стиль не имеет ни малейшего сходства с моим». В таких обстоятельствах вряд ли захочется осуждать Гейне за то, что он ищет в Германии, на кого там можно опереться, и пытается определить литературную ситуацию. <...> Несомненно, что до сих пор Гейне подхо-

дил к молодым литераторам с совершенно неправильной меркой, в своем сочинении «О литературе» он упоминает о них лишь мимоходом и более эмоционально, чем критически. Гейне будет трудно освободиться от личных симпатий к друзьям и понять, что не все, кто верно следует ему, используя его слова и его форму, в то же время обладают и его умом. Мундт и Кюне <...> еще ни разу не были отмечены Гейне. Гуцков, этот Ахиллес современной литературы, который не щадит даже Гектора, для него слишком резок и неподвижен. Только от Лаубе он в восторге — и то на взаимной основе. Но так не дойдет ни до какого «Вестфальского мира». И для создания школы сейчас также не время, так как все бродит и разлагается. <...>

Гейне хотел бы вернуться в Германию любой ценой, не поступаясь при этом честью. Тот, кто однажды думал и сочинял по-немецки, никогда не может стать французским писателем. «Как это получается, — спросил Гейне одного немца, который уже десять лет подвизается в Париже как фельетонист, — что ваши статьи принимают все время без возражений и замечаний? Мои слишком часто возвращаются ко мне с пометкой: все очень хорошо, но это не французский язык». Человек, которого Гейне спрашивал, в Германии был всего лишь школьным учителем, не имевшим ни ума, ни собственных мыслей, и ему не надо было освобождаться от мешавших ему впечатлений, которые укоренились по эту сторону Рейна, когда он самым механическим образом на свете овладевал тонкостями французского языка.

Но Гейне не мог добиться таких успехов; желая писать понятно для французов, он должен был всегда прибегать к услугам переводчика, а это очень скучно для писателя.

Но когда мы читаем в немецких газетах, что Гейне хочет при издании полного собрания своих сочинений пойти на уступки правительствам германских государств, очистив свои произведения от оскорбительных для них мест, то подобные утверждения следовало бы рассматривать лишь под углом зрения слишком нетерпеливой дружбы. Германские правительства не нуждаются в уступках с его стороны, а Гейне не может пойти на эти уступки в ущерб собственному уму. Его могущество не заходит столь далеко, чтобы дезавуировать самого себя.

Гейне, более молодой, менее способный подавлять свои страсти и придающий большое значение внешнему успеху у публики, возможно, остался не вполне беспристрастен к впечатлению, произведенному «Парижскими письмами». Тут еще на живущих в Париже немцев напала ассоциативная горячка. Многочисленные немецкие ремесленники, приказчики, ученые, живущие в Париже, пытались с помощью адресов и публичных заявлений поддержать дело своих зарейнских соотечественников; назначались собрания, и тех, кто на них не являлся, награждали именами, какие во времена политических волнений мгновенно измышляет подозрительность. Гейне, имеющий понятие лишь о небольших литературных товариществах, испугался этих массовых братств и почувствовал себя весьма обремененным всеми теми демократическими упованиями, что были обращены к нему как к поэту свободы. Как человек, изучавший торговое дело, он по своему прежнему роду занятий привык ставить подпись так, чтобы ее потом почти невозможно было разобрать, а тут что ни день, то какого-нибудь государя с помощью адреса надо спихнуть с трона или же посредством подписных листов содействовать сотне тысяч мелких политических целей и все время держать в руке перо и подписывать свое имя—все это было ему и впрямь весьма неприятно. Захваченные руками мастеровых донельзя грязные подписные листы он охотнее всего скомкал бы своими руками в лайковых перчатках и где-нибудь бросил, но несколько террористов глядели в оба и достаточно недвусмысленно грозили гильотиной, которая, возможно, на другое утро могла бы оказаться вполне реальной. Особенно злило Гейне то, что Бёрне, такой болезненный, строил из себя фанатичного пожирателя королей и всю эту болтовню о революции, выглядывшую красиво только в печатном виде, — в предисловиях, датированных «*Париж в день Бастилии*», — воспринимал очень серьезно, подписывая всякую чушь, которую кто-либо пускал в ход. Бёрне и Гейне обедали вместе в одном заведении, где бывало много немецких мастеровых. Между супом и говядиной на стол регулярно клался очередной грязный подписной лист. Гейне был в отчаянии. Он поджидал случая, когда бы он мог взорваться, и наконец таковой

представился. Однажды в листах между прочим оказались выпады против папы и его политических методов в Романье. «Что вам за дело до папы?» — раздраженно спросил Гейне, и с того дня он перестал подписываться. Нельзя отрицать того, что поведение Гейне в этом случае свидетельствовало о большом благоразумии. Только тут уж ему пришлось совершенно отказаться от общества разгоряченных умов и не стремиться больше к громкой популярности у мастеровых. Потом вышли в свет третий и четвертый тома «Парижских писем», а в них — строгое, хотя отнюдь не враждебное суждение о «Французских делах» Гейне. Следствием был открытый разрыв, который сплетники, разумеется, еще усугубили и сделали непоправимым. Гейне якобы выкрикивал угрозы; Бёрне, как всегда до смешного храбрый, старался проявить бесстрашие и даже прямо выставить его напоказ. Гейне, старавшийся избегать Бёрне, оказался в большом затруднении, поскольку Бёрне, напротив, делал все возможное для того, чтобы они встретились. Бёрне, который никогда не мог понять, какое отношение к нему могла иметь являющаяся в конце гейневского «Салона» фигура маленького Самсона, обследовал все публичные места, где бы он мог встретить Гейне. Где обедал Гейне, там же хотел обедать и он. Окружавшие его люди с трудом удерживали его от форменной погони за Гейне. Позднее они еще часто встречались на званых вечерах, которые давала мать композитора Гиллера. Сколь бы беспристрастным ни старался казаться Бёрне, он все же обиделся, когда госпожа В<оль>, к которой обратился Гейне, не повернулась к тому спиной. «Как можете вы разговаривать с моим врагом, вот уж не понимаю», — раздраженно сказал он своей подруге, а та не знала, как ей угодить одновременно и Бёрне, и хорошему тону.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

1837 и позднее

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

Этой молодой женщине <Матильде>, такой жизнерадостной, любящей удовольствия, как истая парижанка, бездетной, с праздным умом, что было неизбежным следствием ее воспитания, тяжело давалась жизнь, которую она вела, и ее отношение к Генриху Гейне как

к мужу и как к больному, несомненно, заслуживает только похвал. Она редко пользовалась случаем потешить свое тщеславие, прогуливаясь с ним об руку или показываясь с ним на людях; до его затворничества она водила его на платные концерты в залах Эрца или Эрара. Для нее это был повод людей посмотреть и себя показать, нам не раз доводилось встречаться с супругами Гейне, когда они развлекались таким образом, и забавно было наблюдать замешательство Гейне: он желал вести себя как холостяк, но при этом не желал оставлять жену одну. Вдобавок его раздражали сами концерты и он, право же, был зол, как черт, угодивший в кропильницу, — ведь он утверждал, будто любит только серьезную музыку. Что он разумел под этими словами, сказать трудно, так как он не посещал ни Оперу, ни «Итальянцев», ни Консерваторию. Быть может, он наслаждался лишь теми симфониями, которые слышал во сне.

ТЕОДОР МУНДТ

Конец марта—апр. 1837

ИЗ ПИСЬМА ГУСТАВУ КЮНЕ

Париж, 5 апр. 1837

Ты <...> и предположить не можешь, что я здесь вступил в очень дружеские отношения с Гейне; хотя он и исповедует принцип никогда не быть дома и тем более никогда для немцев, живущих в Париже, тем не менее он очень много возился со мной, после того как я оставил для него мою визитную карточку. Он выглядит еще очень молодо, довольно свеж лицом и живет с хорошенькой женушкой. Он занят третьим томом своего «Салона», в котором будут помещены также «Сказки» и предисловие, где речь идет о Вольфганге Менцеле. Он хочет прочесть мне его сегодня в рукописи, так как боится, что цензура не пропустит его в таком виде. Он занят также отделкой и редактированием полного собрания своих сочинений. Несколько немецких журналов с некоторых пор спорят о том, где сейчас Гейне; одни утверждают, что он путешествует по Провансу, другие — что он путешествует еще где-то; я могу как очевидец заверить, что он здесь, живет по соседству со мной на Монмартре по адресу Ситэ-Бержер, 3, и совершенно здоров, впрочем, он появляется в здешнем обществе нечасто.

Апрель 1837

ИЗ ПИСЬМА ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Париж, 7 апр. 1837

О Гейне я Вам еще не говорил, а ведь именно с ним я здесь до сих пор чаще всего беседовал и соприкасался теснее, чем предполагал сам. Для немцев его *никогда* нет дома, и лишь после того, как я оставил ему свою визитную карточку, он назначил мне свидание, за которым последовали многие другие. Ваше письмо доставило ему радость необыкновенную, он действительно желает быть Вам рекомендованным, и для него очень важно, чтобы Вы знали о его глубоком и неизменном к Вам уважении. Я нашел, что выглядит он довольно хорошо и, по-видимому, даже считает себя кое на что способным, ибо вчера, в мерзкую погоду с дождем и снегом, которая стоит здесь уже не первый день, мы с ним отправились гулять в Пале-Рояль. По его словам, он теперь занят делом, но, по правде говоря, целыми днями болтается на улице. В обществе совсем почти не бывает. Он занят подготовкой полного собрания своих сочинений, которым хочет предпослать *свою жизнь*, что в настоящий момент кажется мне делом весьма трудным. В этом жизнеописании он меньше всего намерен щадить себя. Вскорости выйдет в свет третья часть его «Салона», каковую он издает только ради «Предисловия», где речь идет исключительно о Менцеле (!), эту часть он обещал дать мне в рукописи, потому что после цензуры едва ли можно будет прочитать ее полностью. Он живет здесь с одной *petite femme*¹ и как будто бы весел и в хорошем настроении. Касательно нашей литературной проскрипции воззрения и намерения у него самые примирительные, и он не советует вступать в какие бы то ни было оппозиционные отношения к правительству, что ему самому, в политическом смысле, никогда не приходило в голову. В его облике есть нечто изящное, элегантное, — что мне хотя и безразлично, но отнюдь не претит, — это свидетельствует о том, что он часто бывает в обществе женщин. То, что он постоянно видится со мной, он толкует лестно для меня, так как вообще решительно избегает немцев. Письма Рахели, к сожалению, сгорели у него вместе со многими другими бумагами. Касательно Лаубе он считает, что тот был прав, заняв подобную позицию, только сделал это не лучшим образом. От

¹ Бабенкой (фр.).

немецкой литературы и науки Гейне здесь изолирован совершенно и почти ничего не читает, кроме нескольких немецких газет, которые лежат на столе в зале для чтения в Пале-Рояле.

Г. ДЕ МАЗАРЕЛЬОС

28 апр. — 1 мая 1837

ПИСЬМО ВО «ВСЕОБЩУЮ ГАЗЕТУ»

(* 7.12.1880)

Мюнхен, 5 дек. 1880

29 апреля 1837 года, ранним утром, ко мне в большом волнении пришел мой университетский друг д-р Герман Детмольд <...> и рассказал, что за день до того он обедал с нашим другом Г. Гейне и его нынешней вдовой, тогда очаровательной красавицей Матильдой в «Беф а-ля мод» на улице Добрых Ребят, в то время — весьма излюбленном ресторане парижских буржуа. За одним из соседних столов обедали шестеро французских студентов. Последние воспользовались случаем и откровеннейшим манером кокетничали с красивой соседкой, отпуская оскорбительные замечания, до тех пор, пока Гейне, славившийся своей безграничной ревностью, внезапно не встал и не закатил ближайшему из этих молодых людей звонкую оплеуху. Детмольд позволил себе пошутить по этому поводу: хозяину ресторана надо будет отныне ставить в меню после omelette soufflée также и soufflet à la Heine¹. Молодые люди повскакали с мест и бросились на Гейне с ножами и стульями, скандал был, конечно, страшный, покамест хозяин, официанты и кое-кто из бывших в зале посетителей не вмешались и не взяли Гейне под защиту против шести нападающих. Произошел обмен визитными карточками, и Гейне был тут же вызван драться на пистолетах. Оскорбленный молодой человек был étudiant de l'école de droit², некто де Л. из старинной дворянской фамилии. Таков был рассказ Детмольда, и я тотчас пошел к Гейне. Я застал его очень возбужденным; он попросил меня распутать эту свару и быть его секундантом. В качестве второго

¹ Игра слов: omelette soufflée — воздушный омлет (*фр.*); soufflet à la Heine — пощечина по-гейневски (*фр.*).

² Студент училища правоведения (*фр.*).

секунданта — Детмольд был слишком чувствителен для того, чтобы как *gibbosus*¹ подвергать себя возможным насмешкам, — мы выбрали молодого графа Туровского, поляка, весьма любимого в *haute volée*², особенно в Жокей-клубе, закадычного друга известного русского путешественника маркиза де Кюстина <...>. Занимая такое положение, Туровский имел в своем распоряжении очень богатую конюшню, а также любые экипажи. Это также способствовало выбору его нами в качестве секунданта, потому что Гейне хотелось выступить с шиком, а ни мне, ни Детмольду здесь козырнуть было нечем. Секундантами нашего противника были некий барон Дюран и кавалерийский капитан Берар. С этими двумя мы с Туровским немедленно вступили в переговоры, и было решено, что дуэль состоится с пятнадцати шагов на обыкновенных кавалерийских кремневых пистолетах, 1-го мая в 6 часов утра в лесу Сен-Клу. Граф Туровский в надлежащее время заехал за Гейне и за мною в очень элегантном экипаже, запряженном четверкой чистокровных лошадей. Правил он сам, кучер в сверкающей ливрее сидел подле него. Мы оставили экипаж у «Ресторан дю Парк» и пошли в лес, куда наши противники только что приехали в фиакре. Хотя нас с самого начала воодушевляла надежда, что мы сумеем мирно уладить это неприятное дело, с обоими секундантами противной стороны нам пришлось очень туго. Я всячески обращал их внимание на личность Гейне — выдающегося лирического поэта, подчеркнул особо его нервозность и ревность. Раззадоренный насмешливыми речами студентов, Гейне был в высшей степени возбужден и совершенно невменяем. Теперь он глубоко раскаивается в своем поступке и готов принести оскорбленному свои извинения. После долгих переговоров молодой человек и его секунданты удовлетворились этим объяснением, что избавило Гейне от какого бы то ни было личного извинения, но о примирении в виде рукопожатия они не желали и слышать. Юный де Л. тотчас укатил с одним из своих секундантов, другой позавтракал вместе с нами. День спустя одна парижская газета, к моему величайшему изумлению, рассказала, что Гейне, которого пуля противника миновала, великодушно выстрелил в воздух.

Так в действительности происходила эта знаменитая дуэль.

¹ Горбун (*лат.*).

² Здесь: в высшем свете (*фр.*).

АВГУСТ ТРАКСЕЛЬ («ВИКТОР ЛЕНЦ»)

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА

(* 24.5.1837)

7 мая 1837

Гейне дрался за отечество, и уже во второй раз. К счастью, ни пощечина, которую получил оскорбивший Германию француз, ни пуля, пущенная затем в поэта, не оказались опасными. Стороны получили сатисфакцию, подали друг другу руки и заключили мир и дружбу на вечные времена и еще на две недели. Если Гейне будет так же драться на дуэлях и впредь, он заслужит у меня прозвище «Вольный стрелок».

ТЕОДОР МУНДТ

Апрель/май 1837

ИЗ СООБЩЕНИЯ О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ
(В ФОРМЕ ПИСЬМА)

(* 1838)

Париж, 15 мая 1837

Вы уже давно ждали от меня письма о Г. Гейне, моих встречах с ним, о том, каким я его нашел и о чем, собственно, он здесь, в Париже, думает и говорит. Трудно писать в рапсодическом духе о своих впечатлениях о Гейне, который даже в тех случаях, когда ему не симпатизируешь, всегда остается необыкновенным феноменом личности и беседы с которым я никогда не забуду. <...>

Сначала я находился с ним в очень забавных отношениях, поскольку наша встреча произвольно должна была дать повод для обсуждения так называемой «Молодой Германии», к которой нас пристегнули вместе с еще несколькими господами, — бремя, которое я с тех пор неизменно влачил. Гейне спросил меня со своей премилой наивностью, почему я упустил возможность поместить во «Всеобщей газете» тогда, когда это сделали многие другие, *заявление* о том, что я совсем не принадлежу к «Молодой Германии». Я сказал, что это было бы против моей природы, так как я вообще не любитель объяснений и полагаю, что ни из какого объяснения, исключая, может быть, объяснение в

любви, не выйдет ничего путного. Но в то время я был не расположен объясняться кому-либо в любви. Если весь мир считает меня спятившим с ума, то действительно было бы величайшим идиотизмом объяснять всему миру, что я в здравом уме, лучше сохранять хорошее расположение духа и самому считать себя некоторое время сумасшедшим или, в крайнем случае, взять и сойти с ума. «Молодая Германия» на самом деле была уж слишком смешным и жалким направлением, и я охотно взвалю себе на плечи ее опасные идеи, за исключением некоторых наглых безмозглых выдумок Гуцкова, но я буду только рад, если с меня снимут обвинение в *глупости*, без которой нельзя было бы учредить такими средствами и под таким именем столь сомнительное сообщество. <...> Как это ни комично, Гейне разделял мой гнев, но рекомендовал мне никогда не мстить Гуцкову за то, что он дал повод к этой неприятной истории, так как нельзя оставить его в этом несчастье в одиночестве, что, конечно, повелевает простая гуманность. <...>

Вообще Гейне высказывался самым превосходным образом обо всей этой истории и советовал пострадавшей стороне вести себя во всех отношениях миролюбиво. <...>

О своем собственном творчестве Гейне сделал мне несколько любопытных признаний, нашедших в моем сердце живой отклик. Во время наших встреч он часто говорил о том, что сейчас ему самое время снова выступить в литературе с чем-то положительным и как сильно его влечет к крупным поэтическим произведениям. Он, казалось, испытывал сильное желание еще раз обратиться к театру, в котором немецкая поэзия действительно могла бы достичь высочайших свершений, если бы она была в состоянии. Свою «Книгу песен», которая содержит вечные творения, он склонен ставить себе в заслугу больше всего; значительную часть своих остальных сочинений, по его словам, он писал лишь на потребу дня и работал над ними на скорую руку и от случая к случаю. Его статьи о немецкой философии и религии создавались в основном под воздействием лекций на эти темы, которые в то время по поручению правительства читал в Париже одаренный Арнс, в настоящее время являющийся профессором университета в Брюсселе. Сам Гейне весьма скромно оценивает эту работу, но, честно признаюсь, мне не нравится эта манера говорить о глубоко серьезных вещах в столь изящной и забавной форме, что даже молодые пансионеры и белошвейки могут прочесть эту книгу с

удовольствием и сказать затем: теперь мы понимаем всю философию! Конечно, Гейне описывал немецкую философию именно таким образом для французов, а эта публика требует во многих случаях принимать во внимание, что для нее нужно готовить из любой вещи лакомство совсем так, как подслащивают посещение школы детям и молодым девушкам конфетами и миндальными орешками.

АСТОЛЬФ ДЕ КЮСТИН

Июнь 1837

ИЗ ПИСЬМА К.-А. ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Париж, 15 июня 1837

Я часто вижу г-на Гейне, чье остроумие меня восхищает и чья привязанность к Вам и к памяти Рахели уже сама по себе заслуживает того, чтобы с ним подружиться.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

18 июля 1837

ИЗ ПИСЬМА ЭВЕЛИНЕ ГАНСКОЙ

Париж, 19 июля 1837

Вчера я говорил с Гейне о том, что хочу писать для театра, и он заметил: «Берегитесь, тот, кто привык к Бресту, не приживется в Тулоне; оставайтесь-ка на своей каторге». Это верно, — я и в самом деле работаю как каторжный.

АНОНИМ

1837

ИЗ СТАТЬИ ОБ АЛЬФРЕДЕ ДЕ ВИНЬИ

(* весна 1838)

Беседа в гостиной у Виньи приятнее, чем где бы то ни было, там каждому предоставляется полнейшая свобода высказать свое мнение, без помех развить свои мысли, показать свою оригинальность. Видишь одного только *Генриха Гейне*; нигде, даже у Тьера — его

«маленького друга», как он его называет, — не дается ему право рассуждать так остроумно и настолько без церемоний. Засунув обе руки в карманы, на немецкий манер, он излагает свои суждения о философии Спинозы, меж тем как Бюше, добрый правоверный католик, искрение старается ему растолковать, с какой точки зрения следует рассматривать историю Моисея и Христа, а также все социальные и политические перевороты. А в группе слушателей присутствуют камергеры самодержца всея Руси.

Однако разговор не всегда вертится вокруг таких серьезных предметов. Эмиль Дешан, остроумный, как покойный Меркуцио, такого бы не потерпел. Его брат, Антони, элегический поэт-сатирик, имеющий столь неоспоримое право рассуждать о добродетели и человеколюбии, беседует в уголке с несколькими молодыми людьми, среди них — Огюст Барбье. Леон де Вайи, который вот-вот закончит роман, приковывает к себе внимание нескольких молодых англичанок глубоким проникновением в затаеннейшие красоты их родного Шекспира.

ЛЮДВИГ ВИЛЬ

Окт. 1837 — весна 1838

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ В ПАРИЖЕ

(* июль 1838)

Это было в немецкой читальне Бера и Эттингхаузена. Мой друг, д-р Кюнцель, живущий теперь в Лондоне, прошептал мне на ухо: «Знаете ли вы, что ваш сосед — ни более ни менее как Генрих Гейне?» У меня было такое чувство, словно в моих ушах зазвучала прекрасная музыка. <...>

Я нашел, что Гейне гораздо более крепок и молод, чем я его себе представлял. Это не такой человек, которого может раздавить жизнь, это стальные мускулы, которые заставляют думать скорее о борце, чем о поэте. Лишь когда течет беседа и в его глазах появляется приветливое, печальное или саркастическое выражение или он от всей души смеется над каким-нибудь комичным случаем, чувствуешь, что за этой внешностью скрывается глубоко мыслящий человек. Мое удивление по поводу того, что он выглядит таким молодым и сильным, было ему приятно. «Не правда ли, я выгляжу еще довольно хорошо?» Он спросил меня, сколько мне лет, и сказал, что в мои годы жизнь еще вполне

сносная; еще есть некоторое время, пусть не долгое, радоваться посещающему тебя лирическому вдохновению. После этого последовало приглашение погулять по Бульварам. Там мы прошлись несколько раз вперед и назад, от кафе «Тортони» до кафе «Монмартр», разговаривая о новейших литературных конфликтах. Незадолго до того Гейне в своем «Доносчике» метнул несколько снарядов в Вольфганга Менцеля. Мне было жаль, что он поинтересовался моим суждением именно об этой небольшой вещи, так как я, по своей любви к правде, не мог сказать об этом сочинении ничего особенно благоприятного. Поэтому я не скрыл от него, что взятый им тон представляется мне совершенно неверным, остроты — недостаточно тонкими, короче, что это нападение было, на мой взгляд, произведено им не с помощью Минервы, как выражались древние. Моя откровенность не соответствовала его желаниям, хотя он и согласился со мной, что эта вещь была написана в неблагоприятных обстоятельствах. <...> Я говорил о лебединой песне Бёрне и об обоснованных возражениях величайшего из современных теологов. Тогда он еще не читал полемических сочинений д-ра Штрауса. Можно легко представить себе, с каким удовлетворением он их прочел. «Каково бы ни было ваше мнение о «Доносчике», все же думаете ли вы, — обратился он ко мне в конце нашей прогулки, — что доносчик примет мой вызов?» Меня удивило, что он действительно считался с этой возможностью. Я напомнил ему о том, что Менцеля прежде — после его недозволенных нападков на другое лицо — уже вызывали на дуэль, но без всякого успеха; что я, наконец, вряд ли мог бы согласиться с дуэлью как способом разрешения спора, ибо она полностью противоречит современным взглядам. Я напомнил ему о слишком ранней смерти Армана Карреля, указал ему, что его может постигнуть такая же судьба, и спросил, почему он раньше времени хочет, чтобы музы скорбели на его могиле. Насколько я помню, в своем ответе он говорил исключительно о бессмертном редакторе газеты «Насьональ». «Я уверен, что я не буду побежденным в этом поединке; у меня нет дурных предчувствий! Они бывают обычно, когда близится опасность, — Каррель говорил за много дней до дуэли, что он обречен на смерть». Я огляделся по сторонам, не подшутили ли надо мной шаловливые духи швабских Альп; у меня было такое чувство, словно рядом со мной находился не Генрих Гейне, а перенесенный сюда силой волшебства вейнспергский поэт. Что мне было возразить Гейне в ответ на его мечты об этой комичной

шапке-невидимке? Между тем подошло время обеда. Гейне простился со мной, высказав пожелание встретиться на следующий день в условленный час в читальне. Первое впечатление от него было, сверх всяких ожиданий, положительным; его манера держаться без претензий, естественность поведения были мне приятны, когда я думал о его славе и о значении его жизни. Да, я должен был признаться самому себе: этот человек, которого считают тщеславным, может служить образцом в общении для многих людей, пользующихся сомнительной известностью. <...>

В условленное время мы свиделись снова. Разговор продолжался с того места, на котором он был прерван днем раньше. Гейне был меньше осведомлен о литературных событиях, чем я ожидал. Его суждение об отдельных молодых писателях основывалось не столько на добросовестном изучении их сочинений, сколько на породившей их тенденции и на стилистической сноровке этих авторов, которую он подмечал по нескольким страницам. <...> Прежде не так-то легко было, находясь в Париже, следить за текущей литературой. Упомянутое выше заведение, где мы впервые приветствовали друг друга, немало облегчило это дело. Гейне тем охотнее слушал мои рассказы о новейшей литературе, что мне довелось сидеть у колыбели ее радостей и горестей во Франкфурте-на-Майне, и я не был ни равнодушен к ее преимуществам, ни слеп к ее недостаткам, часть этих литераторов знал лично, а с некоторыми остался в поистине дружеских отношениях. Этой материи нам хватило надолго, и она не иссякала благодаря ежедневным литературным газетам, лежавшим на столе в зале для чтения. Имена самых значительных писателей этого новейшего направления, столь трудно произносимые на языке французов, упоминались так часто, что госпоже Гейне они были знакомы так же хорошо, как имена Левальда и Детмольда, коих она знала лично. Я делаю ударение на этих словах: знала лично, ибо Гейне, наученный горьким опытом, вводил к себе в дом лишь немногих. Часто, слишком часто приходилось ему дорогой ценой платить за свое радушие. С тех пор, как определенный разряд писателей—я бы назвал их *auteurs voyageurs* —разъезжает, задавшись целью изобразить в картинах, набросках и т. п. мебель, платье, нос и прочие вещи, до которых есть дело только их обладателю, в

¹ Разъездные авторы (*фр.*).

первую же очередь описать супругу поэта, — следовало бы порекомендовать всякой знаменитости двери своего дома, елико возможно, держать на запоре. Гейне, например, испытывает великий страх перед путешествующими соотечественниками. По этой причине он только близким людям дает адрес своей квартиры, и обнаружение последнего в недружелюбной статье господина Бойрмана было ему гораздо неприятней, нежели та манера, с какою автор статьи отблагодарил хозяина за оказанный ему прием. Гейне уверяет, будто напал на довольно верный способ уяснить себе из доклада, с которым приходит к нему швейцар, кто его посетитель — насчитывает ли он в числе своих предков Германа и Туснельду, или же это француз. Способ весьма пикантный, но скромность воспрещает мне его выдать.

Как же я был изумлен, найдя в квартире Гейне такую простоту во всем! Передо мной витало известное Левальдово описание жилища поэта. Я рисовал себе богато убранную парижскую гостиную с мебелью в стиле Ренессанса. Я видел высокие и широкие зеркала, как в новом «Кафе де ля банк», диваны, обитые голубым шелком, возле увешанных коврами стен, а на самом большом и самом мягком из них сидела дама, одетая по последней моде. Ничего подобного! Я подумал было, что ошибся адресом, а Гейне, заметив мое удивление, с этого и начал разговор. Если разрыв между Левальдовым описанием и действительностью дал противникам Гейне удобный повод для насмешек и издевок в многочисленных газетных статьях, где они писали не кистью Карло Дольчи, а кистью Бамбоччио, то меня неприятнейшим образом задело, что Гейне, такой поэт, изгнанный из отечества, прославляемый, как мало кто другой, вынужден жить в столь неподобающих ему стесненных условиях. У ничтожнейшего фельетониста в Париже дом выглядит уютней и благополучней, не говоря уже о писателях первого и второго ранга. Поэтому не удивляйтесь, если вам расскажут, что Гейне придает значение славе, что у Галиньяни, Бера и Эттингхаузена, повсюду, где только можно найти газеты, он эти газеты перелистывает и, в зависимости от прочитанного о себе, покидает заведение веселый или расстроенный. Что же остается ему из всего прекрасного, что он создал, ежели не блеск славы, не сознание того, что он будет кое-что значить и для потомков! Слава должна если не дать, то хоть заменить ему все то, что присочинил Левальд из противно понятого долга дружбы. <...>

Вместо театральной принцессы, какую Левальд написал даму, избранную Гейне в спутницы жизни, я обнаружил простенькую, по-детски милую француженку, которой пришлось, вопреки тому описанию, претерпеть величайшие поношения. Она по праву не доверяет никому из немцев и со слезами на глазах мне в этом призналась. Не мое, конечно, дело расследовать, с каким прошлым взял Гейне в дом эту женщину, но сколь безудержна здесь, в Париже, фантазия, когда ей хочется представить белое черным! Как часто кичится мужское тщеславие, как часто из низменной жажды мести бахвалится, будто ему удалось покорить честнейших женщин! Недоверие к такому бахвальству не может быть преувеличенным. Я с большой неохотой касаюсь этого деликатного вопроса, который вообще не следовало бы делать достоянием гласности. Но лары, с коими наш поэт так часто без должного трепета обходился у других людей, отомстили ему, — они, а не его враги, те лишь слепые слуги их воли, — и терзают сердце, которое пребывает в оковах любви. Да, любовь поистине приковала Гейне к женщине, с которой он делит все свои радости и горести. Ей только по слухам известно, что она принадлежит *celèbre (!) poète allemand*¹. Не лучше ли было бы ему найти себе спутницу жизни, способную читать его «Книгу песен», — теперь это праздный вопрос, да и касается он, в сущности, лишь его одного. До начала этой связи я, как друг, его бы предостерег, ныне же, когда этих двоих соединяют годы совместной жизни, когда они чувствуют себя счастливыми друг подле друга, я полагаю, что его решение навсегда оставаться ей верным столь же похвально, как подобное решение Жан-Жака Руссо. Пусть же многие из тех, кто готов бросить камень, спросят себя, найдется ли у них, при стольких грехах, столько любви. При той заброшенности, в которой оказывается одинокий человек в таком городе, как Париж, подобные связи складываются чрезвычайно легко, и нам не следовало бы судить о них с немецкой точки зрения, со свойственной нам строгостью. Я глубоко убежден, что в таких случаях, когда для святости брачных уз недостает только священника, нравственность зачастую страдает куда меньше, нежели при полной разнузданности. Я пишу эти слова бестрепетной рукой, не моя то будет вина, ежели качающая головой добродетель неверно меня поймет.

¹ Знаменитому немецкому поэту (*фр.*).

С первой минуты я почувствовал себя у Гейне как дома и пользовался его полнейшим доверием. Все шло так, будто мы знаем друг друга долгие годы. Мы земляки, поэтому у нас было много разговоров о нашем крае, об основах просвещения. Религиозные распри, вспыхнувшие вскоре после нашего знакомства в Кельне между правительством и архиепископом, дали нам обильную пищу для споров, в той же мере и дело с семьёй геттингенскими профессорами и ганноверские события. Гейне был совсем не прочь выступить против Гёрреса и его «Атаназиуса» и отказался от этого намерения, лишь узнав, что другой боец, Гуцков, уже облачился в доспехи. У «средневекового» Гёрреса имеется сочинение, где христианство, как говорят, изображается отжившим, его-то Гейне с большим удовольствием и послал бы в добавление к этому «Атаназиусу», присовокупив несколько дружеских слов <...>. Момент был благоприятный для того, чтобы в этот период брожения основать в Париже немецкую газету, где бы наши дела и события могли быть представлены с должной мерой откровенности, вопреки грубым нападкам французов. Гейне были уже предложены и средства для этого, но возникли различные непредвиденные препятствия, и в тот момент дело это так и не продвинулось. Гейне полагался на мои рекомендации, и я имел право без церемоний и не спрашиваясь заранее приводить к нему немцев, желавших свести с ним знакомство. Упомяну докторов Кюнцеля и Риделя и, незадолго до моего отъезда, Никласа Мюллера. Приезд графа Ауэрсперга дал нам приятную возможность образовать наконец коллегия, — нам как раз недоставало третьего человека, — в которой каждый из нас на свой лад изображал профессора. У Ауэрсперга нашлось много чего рассказать нам о Штутгарте. Гейне слушал и не мог наслушаться — даже самые дикие и нелепые истории казались ему недостаточно смешными. Когда среди прочего выяснилось, что книгопродавец Франк влепил пощечину не в правую, как уверял Гейне, а в левую щеку Менцеля, то Гейне хохотал без удержу.

Как хотелось бы Гейне иметь уютное местечко на родине, с какой готовностью он променял бы на него прекрасный Париж! Не глубокая привязанность к родному краю, не смеющаяся греза детства, не мысль о липе, под сенью которой он сживал с родителями и сестрами, — чувство изолированности, одиночества, вот отчего ему часто хочется перенестись на берега Эльбы или Рейна. Не знаю, но, видимо, между поэтом и

радушным Гамбургом никогда не было настоящего взаимопонимания, и все же с какой охотой поплыл бы он туда вместе со мной из Гавра. Но что же его удерживает? Узы, которые нам всего милее. Близкая родня в Гамбурге не говорит уже о Гейне с законной гордостью, как прежде, вследствие множества недоразумений его лишили поддержки — поддержки, благодаря которой он мог бы не служить музам как поденщик в поте лица своего. Если бы кому-нибудь удалось снова сблизить эти сердца! Лишившись этой денежной помощи, поэт потерял внутреннюю свободу, он более не волен распорядиться временем, которое надобно ему для создания истинного произведения искусства, и вынужден опуститься до писания предисловий и критических статей <...>. С тяжелым сердцем касаюсь я этой раковины Генриха Гейне, но она слишком тесно связана с жемчужиной, так что болезненные ощущения у последней большей частью объясняются свойствами первой. Мы и впрямь можем представить себе Гейне только в самом нарядном костюме и в самом веселом окружении, мы уверяем себя, будто он порхает из одной гостиной в другую; из-за непрерывных развлечений у него-де руки не доходят до настоящего дела; это прелестное, но чудовищное заблуждение. Нет ничего более тягостного для него, чем развлечения, которые он скорее нашел бы у добрых друзей в Нордернее, нежели в парижских кружках. Кто в Париже его понимает? Знают его имя, это уже многого стоит в городе, где скорее имеют представление о русской литературе, чем о немецкой, в среднем здесь способны кое-как произнести лишь два имени — Гете и Шиллера, усвоенных благодаря частому их упоминанию и переводам некоторых произведений, — о редких исключениях здесь говорить нечего, — повторяю, его имя знают тоже, но кто ему сочувствовал и сострадал? Гейне-лирик для французов не существует; им по отдельным переведенным вещам известен лишь Гейне в колпаке с бубенчиками. Многие французы полагали, что, говоря о нем как об *homme d'esprit*¹, они сообщают мне нечто диковинное, другие не постеснялись напрямик назвать его шутом. <...> Поэтому, если положение Гейне не изменится, его внутреннему развитию конец, и сколь бы ни были прекрасны его замыслы, ему навряд ли удастся их осуществить. Что толку от того, что он хочет писать трагедии, хочет показать, что он поэт во всех отношениях в широком смысле этого слова <...>

¹ Остролов (*фр.*).

Признаюсь, мне приятнее было бы слышать, как Гейне распевает, будто пастушок <...> чем видеть, как теперь, сознавая, что большому Парижу он неизвестен, он вынужден порой сам доставлять к себе на кухню съестные припасы. Однажды—это лишь один пример—я помогал ему уплетать индейку, которую он в моем присутствии сам купил. Подобные занятия приносят дух, и мне было больно, когда Гейне гордился чем-нибудь таким <...> При всем том должен признать: индейка была превосходна.

Теперь несколько слов о Гейне-человеке. Гейне сделался мне мил и как человек тоже, у него сердце, полное участия. Его глаза не остаются сухими при виде чужих несчастий. Для бедных у него щедрая рука. По сей день приходится ему выплачивать долги по его поручительствам, суммы, данные им изгнанникам, более значительны, чем кто-либо может предположить. Это правда, и она заслуживает похвалы, однако эта правда относится только к Гейне—частному лицу, но не к Гейне—лицу общественному. Надобно резко отделить одного от другого, ибо, при всем желании, я никак не могу поставить последнего на ту же высоту, что и поэта. Глубокая мировая скорбь, которую он усвоил, кажется мне его поэтическим вымыслом, я не очень-то чувствовал такую у Гейне. Если Прометей жалуется, что коршун потрошит ему грудь, то Гейне сам приманил к себе коршуна, дабы иметь возможность вызывать интерес жалобами. <...> С этой точки зрения Гейне подвергся справедливым нападкам, и его никак нельзя сопоставлять с глубоко искренним Бёрне. <...> Гейне меньше всего создан для роли народного трибуна. Уметь подчиняться, когда это необходимо, ставить себя на одну доску со всяким, уважать мастера-перчаточника наравне с Орасом Бёрне для Гейне невозможно, да, в конце концов, это вообще противно любому поэтическому дарованию. Так, отчасти под воздействием духа времени, отчасти из-за непонимания собственной сути, отчасти из-за неумной жажды быть сразу всем, он оказался в ложном положении по отношению к публике и к самому себе. Гейне не довольствовался лавровым венком поэзии, он желал быть государственным деятелем, философом, основателем религии и бог его знает кем еще. Бёрне не завидовал его лаврам, однако если он с яростью Исаяи преследовал Гете за его решительно аристократическое направление или безучастие к страданиям народа, то во

«Французские дела» Гейне, в его философско-теологический «Салон» он метал громы и молнии за легкое отношение к вопросам, ради которых он, мученик, всю жизнь отдавал кровь своего сердца. Борьба между двумя планетами была естественной, она могла угаснуть только на кладбище Пер-Лашез. Это мнение я высказываю не за спиной у Гейне, я никогда перед ним об этом не умалчивал, сколь бы часто ни заходила у нас речь о Бёрне, и я пребываю в убеждении, что мы однажды еще получим замечательные признания о его отношении к Бёрне и злободневным вопросам — то ли в каком-нибудь его сочинении, то ли в его мемуарах. Пусть бы Гейне приступил к этому делу со всей искренностью и прямоотой, какие только возможны, и не таил бы *pensées de derrière la tête*¹. Не могу не укорить его еще в одной слабости. Во всех своих суждениях Гейне слишком уж отталкивается от самого себя. Совсем оторваться от себя мы не можем, человек субъективный соединен с объективным неразрывной пуповиной, труды наших друзей и приверженцев мы воспринимаем благосклонней, чем работы лиц для нас посторонних или даже наших противников; в такой мере подкуп дозволен, но и здесь есть границы, которых совесть никогда не должна была бы преступить. Меня радует, что Гейне не намерен посмертно отказать в справедливости Платену; мне было бы приятно, если бы они еще при жизни этого поэта пришли бы пусть и не к примирению, но хотя бы к взаимному пониманию. Если Гейне, как уже было говорено, испытывает некоторые укоры совести в отношении графа Платена, которому он вменяет в вину лишь то, что тот вызвал его, как равного себе, на поединок, зато он всегда радуется, рассказывая, как, благодаря известной своей статье, он изгнал из Парижа Августа Вильгельма Шлегеля. Будь у него полиция, сказал Гейне, он бы таким манером с почетом препроводил его в Германию, за отсутствием таковой ему пришлось уничтожить этого молодящегося старого холостяка с помощью пера. Шлегель в обществе слишком неодобрительно и свысока отзывался о Гейне, этого Гейне спокойно спустить ему не мог. Боюсь, с господином фон Раумером может однажды произойти то же самое. <...>

Великие люди глубже чувствуют свои блистательные ошибки и осуждают их более сурово, нежели могут вообразить их враги. Однако когда я еще раз

¹ Задних мыслей (*фр.*).

обдумываю все это, то прихожу к мысли, что Гейне будет соблюдать сдержанность. Однажды он мне заявил: «Я свои недостатки знаю, но я не такой дурак, чтобы привлекать к ним внимание. Публика слишком склонна все их считать действительными. Рюккертю, — сказал он для примера с оттенком иронии, — Рюккертю никогда бы не следовало говорить, что он *не вполне* поэт. Это скверный дистих, публика же верит ему на слово». Вот я и привел один из его остроумных экспромтов. Они не столь уж часты, как можно было бы ожидать, однако, возникая время от времени, редко бьют мимо цели. Остроумней всего он бывает, когда оттачивает жало своей сатиры, когда, подобно пчеле, вонзает его противнику в незащищенное место. Вместо колких замечаний приведу здесь одно безобидное, которое пришлось проглотить профессору Шоттки. Кто не знает профессора Шоттки из-за смешнейшего траурного извещения о его мнимой смерти! Это извещение слишком уж поспешно набросал Гуцков, поверив ложному слуху о смерти профессора, а тот был цел и невредим. Жалость, да и только, ведь с того дня он вынужден бродить среди живых как мертвец. Он и по сей день гуляет живехонький и расфранченный, костюм сидит на нем как влитой, ничуть не напоминая просторный саван, он читает журналы и делает выписки. Книга Бойрмана еще не вышла, когда Шоттки узнал адрес Гейне и передал ему письмо, в котором наивежливейше просил позволения нанести ему визит. Гейне ответил коротко: он недоумевает, что собирается делать у него покойник, ему нет отбоя от живых. Тому, конечно, это показалось обидным, но он уже примирился со своей смертью.

АНТОН АЛЕКСАНДР ФОН АУЭРСПЕРГ
(«АНАСТАЗИУС ГРЮН»)

ИЗ ПИСЬМА ЭДУАРДУ ФОН БАУЭРНФЕЛЬДУ

Париж, 4 дек. 1837

К самым интересным здешним моим знакомцам принадлежат д-р Корэф и Гейне. <...> Гейне — один из самых милых, но в то же время и самых бесхарактерных людей на свете, человек необычайной тонкости и проницательности ума и чувства, но именно поэтому

особенно возбудимый и впечатлительный; самое пустячное слово, сказанное без всякого умысла, когда оно хоть отдаленно допускает не совсем приятное для него толкование, он будет целыми днями таскать в себе и переваривать. Те, кто ставит ему в упрек аморальный образ жизни, показывают лишь свою ограниченность и незнакомство со здешними нравами и обстоятельствами или швабское ханжество. Его сожителство с женщиной, которую он взял отнюдь не из монастыря, уже почти санкционировано давностью лет, это не что иное, как свободный брак, которых здесь можно найти тысячи; во всяком случае, он более морален, чем жизнь большинства так называемых холостяков, включая нас самих (хоть бы ты и вздумал протестовать). Слабая сторона Гейне и одновременно его беда—это его окружение, жуткая мешанина из политических беженцев, рифмоплетов, незадачливых купеческих приказчиков, праздношатающихся и авантюристов всех мастей, в большинстве своем—евреев, так что я всегда прихожу в замешательство, если мне хочется спросить *Этого*, еврей ли *Тот*, поскольку *Этот* скорее всего тоже еврей.

1837/1838

ИЗ ПИСЬМА АДОЛЬФУ ШТРОДТМАНУ

Турн-ам-Харт, 16 авг. 1868

Я познакомился с Г<ейне> в 1838 году <1837!> в мое первое пребывание в Париже зимой 1838—1839 года <1837—1838!>. Он встретил меня и обходился со мной с той покоряющей любезностью, с тем почтительным участием, коим не изменял по отношению ко мне до конца жизни и на что я неизменно отвечал самым искренним восхищением его одаренностью и самым дружеским расположением к нему как к человеку. Происшедший позднее досадный инцидент, когда я без существенного повода был втянут в его ссору с композитором Дессауэром, я не могу рассматривать как нарушение этого столь отрадного для меня содружества. В то время (1838—1839) <1837—1838!> Гейне физически был еще вполне здоров, мы очень часто и совершенно дружески встречались, иногда на наших квартирах (он жил тогда на улице Кадет, я—на улице Прованс), и при таких частых личных встречах у нас было мало поводов для переписки. Так что из автографов Гейне того времени у меня имеется только

немногословная, но теплая дарственная надпись на экземпляре его «Книги песен» (2-е издание, 1837), которую он преподнес мне на прощание.

ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАК

Дек. 1837

ИЗ ПИСЬМА ЭВЕЛИНЕ ГАНСКОЙ

Шайо, 20 дек. 1837

Не могу сообщить Вам никаких интересных новостей; с тех пор как я написал Вам предыдущее письмо, я был прикован к моему кабинету и к корректурам, но ко мне заходил Гейне и рассказал всё о деле Линкольн. Это превосходит все, что я мог вообразить, и в отношении болезни, и в том, что касается семейных дел; лорды — негодяи. Кореф и Воловски — полубоги; по моему мнению, не хватит и миллиона, чтобы вознаградить их как подобает. Об этом интересно будет поболтать у камелька. <...>

ГЕНРИХ КЮНЦЕЛЬ

Конец 1837/нач. 1838

ИЗ ПИСЬМА АВГУСТУ НОДНАГЕЛЮ (РЕЗЮМЕ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ)

1842

В 1837 году я долгое время поддерживал с ним знакомство в Париже. Между нынешним и тогдашним временем лежит большой промежуток. Но и в воспоминаниях его личность кажется мне симпатичной, а в человеческих качествах, в том числе и в тех, которые ему, как любому немцу, парижская жизнь навязывала в течение многих лет, достойной уважения — как и в то время, когда, быть может, его неизменное благоволение по отношению ко мне могло бы повлиять на мое суждение в его пользу. При первой встрече его личность не импонирует; он без претензий сближается с любым человеком, и среди утонченных светских людей, по своему внешнему виду и по своему поведению, он остается добрым немцем, который повсюду сохраняет благопристойность. Во время разговора этот слегка коренастый, склонный к полноте человек, которого

считают моложе, чем он есть, оживляется; здесь и там вспыхивают остроты, напоминающие о постоянно отпускающем шутки прославленном авторе «Путевых картин»; этот обычно флегматичный человек, что проявляется в его походке и манере держаться, вдруг становится и внешне более подвижным, его небольшие глаза начинают сверкать, взгляд становится плутовским, уголки рта подрагивают в сардонической улыбке. Но остроты рождаются сами собой, он не притягивает их за волосы, они кажутся давно отшлифованными, хотя предмет разговора показывает, что они — явная импровизация; при этом они не напоминают ни о чем известном. Как любой француз, Гейне владеет искусством легко и непринужденно беседовать о самых известных вещах как о чем-то совершенно новом, не утомляя собеседника, если только последний сумеет уловить его настроение и позволит увлечь себя. Гейне открывается тому, в ком он, со свойственным ему тактом, увидел доброту, расположение к себе и, я бы сказал, детскую душу; в этом случае он ничего не утаивает, все, что он чувствует, на что он надеется, что делает или хочет сделать, — все это он сообщает откровенно. В этом проявляется его немецкая, идиллическая, истинно поэтическая рейнская натура, так как от Рейна и от его идиллической природы берут начало его поэтические мечты, мелодии его души, его любовные песни и сказки, своеобразие и музыка его языка. Его сердце все это уже чувствовало и каждый раз чувствует снова. Эта сторона его характера нередко использовалась другими ему во вред. <...> Я часто слушал, как он читал свои стихи. Как и многие другие поэты, он совсем не умеет читать свои стихи продуманно, согласно правилам декламации. Он полностью отдается при этом во власть своих двух натур, его голос становится то громче, то тише, повинувшись приливу и отливу его чувств. Вероятно, ни один поэт не работал так много над отделкой своих стихов, но без всякой боязни и педантизма; для него важно не только то, как стихи звучат, но и более глубокое значение слов, и мысль, выраженная всем стихотворением. В том экземпляре, по которому было напечатано третье издание его песен, не осталось почти ни одной строфы, не претерпевшей хотя бы незначительного изменения, сравнение ранних изданий с новым показало бы многие различия. Я уверен, что Гейне очень легко пишет, когда его осеняет вдохновение, но равномерное продвижение вперед для него, видимо, невозможно. Если он уж начал какое-нибудь произведение, какое-то стихотворение, то вско-

ре оно будет закончено. Его крупные вещи отделены друг от друга продолжительными паузами; конечно, при этом нужно учитывать частую смену им места жительства, шум житейского базара, где он охотно бывал. Я никогда не испытывал необходимости прибегать к его поддержке, но точно знаю, что он постоянно помогал, где мог, и благотворно вмешивался в жизненную судьбу многих земляков на чужбине. Часто располагая большими средствами, он никогда не был хорошим хозяином; в нем нельзя обнаружить ничего купеческого.

Гейне — целиком продукт своих обстоятельств и своего времени.

КРИСТИНА ДЕ БЕЛЬДЖОЙЗО

Янв. 1838

ИЗ ПИСЬМА ФРАНЦУ ЛИСТУ

Париж, 19 янв. 1838

Я почти совсем не видела г-на де Мюссе — по его словам, он работает <...>. Зато я теперь чаще вижу Гейне, который утверждает, будто вновь обрел свободу. Как вам известно, я всегда считала демонического Гейне добрым малым. Я продолжаю так думать и благодарна ему за то, что он в общем всегда относился ко мне одинаково хорошо, несмотря на разные уловки, посредством коих его пытались восстановить против меня. Все эти попытки потерпели фиаско, и я убеждена, что, за исключением колких шуток, Гейне не причинит мне никакого вреда.

ГЕКТОР БЕРЛИОЗ

Янв./февр. 1838

ИЗ ПИСЬМА ФРАНЦУ ЛИСТУ

Париж, 8 февр. 1838

Наш друг Гейне недавно отозвался о нас обоих в «Газетт мюзикаль» столь же остроумно, сколь и непочтительно, но без малейшей злобы; зато он сплел великолепный венок Шопену, который, в сущности, давно уже это заслужил.

ИЗ ПИСЬМА СЦИПИОНУ ДЮ РУРУ

Ноан, 28 марта 1838 (?)

Моя дочь изумительна. А сама я *клуна* и *топра*, как говорит Генрих Гейне.

КРИСТИНА ДЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО

1838 (?)

ИЗ ПИСЬМА КАРОЛИНЕ ЖОБЕР

(* 8.9.1850)

Мальта, авг. 1850

Раз уж я вспомнила это имя <Виктор Кузен>, то спрошу Вас, как живет теперь этому философу. После Вашей февральской революции он кажется мне лишь актером, ушедшим на покой. Право же, его душа представляется мне более закаленной в мудрствовани-ях, чем в деяниях.

Однажды я видела его в схватке с Кишем, моим большим бульдогом. От испуга все его *философские фрагменты* разлетелись так далеко, что, даже когда опасность миновала, он не мог найти себе в утешение ни одной фразы, ни одного поучения. Действие происходило в саду моего особняка на улице Анжу, где мы встроим — г.г. Минье, Виктор Кузен и я — прогуливались и беседовали. Г-н Кузен с жаром доказывал нам, что *разум есть нечто совершенно обособленное от личности и от чувства и совершенно инородное им*. Чтобы подкрепить свои аргументы, он размахивал тростью. Пробежавший мимо бульдог воспринимает этот жест как вызов, он кидается на философа-эклектика и вцепляется ему в руку пониже плеча. Г-н Кузен, обладающий столь многими познаниями, вероятно, слышал, что главное свойство собак этой породы — никогда не отпускать то, что они держат зубами. Просто удивительно, какой беспредельный ужас способно выражать одно-единственное человеческое лицо. Он издавал страшные вопли; все сбежались и в замешательстве глядели на это зрелище. Один лишь г-н Минье не потерял головы: он хладнокровно отдавал спасительные распоряжения. Нужно повиснуть у Киша на хвосте,

говорил он, и разжать ему челюсти палкой. Но надо было еще найти ручку от метлы и слугу, который засунул бы ее Кишу в пасть, найти преданного друга, чтобы он ухватился за хвост; а время шло, пес не ослаблял хватки, и *духовный костяк* г-на Кузена (по выражению Гейне) был в плачевном состоянии. Наконец появляется палка, проникает в пасть кровожадного зверя и разжимает ему челюсти, а восторженный ученик знаменитого профессора тянет бульдога за хвост, чтобы отвлечь его от жертвы. Кузен освобожден! Но он ни жив ни мертв (в буквальном смысле). В таком состоянии его уносят и укладывают на диван!

Как забавляла эта история нашего бедного больного Генриха Гейне. Когда речь заходила об этом, его воображение бывало неистощимо. Без всякого сомнения, он мог бы прибавить целый том к тем язвительнейшим страницам, которые он посвятил бывшему пэру в своем сочинении «Германия». Но если Гейне в разговорах о Кузене и был несдержан, то при этом все же доказал, что проявляет известную умеренность. Ему должны были подробно рассказать, как перевязывали укушенную руку. «Ах! — говорил немецкий поэт, — с каким умилением он, должно быть, глядел на эту пострадавшую руку, на руку, чьи пальцы держали волшебное перо, бойко переводящее с языков, неизвестных даже тому мозгу, который этой рукой управляет! Берегитесь, княгиня, — продолжал Гейне, — во-первых, философ теперь может стать бешеным; а во-вторых, он никогда не простит вам опасности, которой подвергалась наука в его лице». И действительно, милая моя подруга, мне кажется, что г-н Кузен с тех пор все еще обижен на меня за поведение моей собаки. Не хочу обвинять жертву, но должна Вас заверить: обычно Киш вел себя кротко и послушно.

СОЛОМОН ГЕЙНЕ

ПИСЬМО ТЕРЕЗЕ ГАЛЛЕ¹

Париж, 7 окт. 1838

Моя любимая Тереза, Гарри написал это в один присест, к сожалению что за талант. Но я начинаю думать, что он лучше чем я думал. Он обещал мне исправиться, разумнее обращаться с деньгами и я

¹ Сохранена орфография автора.

только боюсь что он не сдержит слова. К Карлу он действительно привязан, я рискнул оплатить пересылку этого письма потому что мое письмо отсюда уже ушло. Мейербер как раз уезжает, кланяюсь тебе <...>

Сл.

ФЕРДИНАНД ФОН ГАЛЛЬ

Нач. зимы 1838

ИЗ РАССКАЗА О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

(* 1844)

Среди множества интересных знакомств, как, например, с Жюлем Жаненом, Мейербером, Герцем и т. д., я свел знакомство также с моим соотечественником Гейне <в гостиной Мориса Шлезингера>. Мое личное соприкосновение с ним было такого рода, что я немного могу об этом сказать, однако и это немного способно представить некоторый интерес.

Гейне, когда нас познакомили, отнесся ко мне с величайшей, прямо-таки отталкивающей холодностью. Лишь после того, как я передал ему привет от близкого друга его юности и на его вопросы о том, как идут у того дела, намеренно отвечал несколько пространно, он обрел, по-видимому, свойственную ему приветливость. Однако наш первый разговор вскоре был прерван, и хотя мы еще часто встречались в этой гостиной, между нами он больше не возобновлялся, а я не стремился его возобновлять по следующей причине: от близких знакомых Гейне я узнал, что он полон величайшего недоверия ко всем мало известным ему соотечественникам. Дело в том, что в то время, когда Гейне покинул родные края и местом своего пребывания избрал Париж, то есть в то время, когда явления сами по себе незначительные из-за ложной их оценки слишком часто представлялись опасными, Гейне даже в Париже был окружен платными шпионами, которые под личиной дружбы выпытывали его мнения и обо всем доносили властям. Таким образом многие суждения, доверительно высказанные Гейне его соотечественникам, были использованы для того, чтобы выставить его перед французским правительством как человека во всех отношениях подозрительного. После таких испытаний я, конечно, не могу поставить ему в упрек, что он холоден и сдержан с незнакомыми людьми, и прежде всего с немцами.

ГЕКТОР БЕРЛИОЗ

ИЗ ПИСЬМА ФРАНЦУ ЛИСТУ

Париж, 22 янв. 1839

Почему же я весел? Большинство наших друзей сейчас скорее в печальном настроении: у Легуве жестокий гастрит, Шальк недавно потерял мать. Гейне несчастлив, Шопен хворает на Балеарских островах, Дюма тянет за собой ядро, вес которого все увеличивается, у г-жи Санд большая дочь. Один лишь Гюго по-прежнему спокоен и силен.

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

18/19 марта 1839

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1883)

В 1836—1837 годах я был переводчиком и сотрудником французской газеты «Журналь де Франкфор», издававшейся Дюраном, а позднее — главным редактором парижской «Капитоль»; в моем распоряжении были все парижские газеты и журналы, и я регулярно отправлял в Лейпцигский «Эlegantный мир» сообщения из Парижа, но, разумеется, без подписи, и публика оказала мне высокую честь, приписав эти сообщения Генриху Гейне. Приехав в 1837 <1839!> году в Париж с семейством Дюран, я явился к Гейне с рекомендательным письмом от его друга Гуцкова. Он жил тогда на улице Мартир, и жилище было совсем как у немецкого поэта. Ни ковров на полу, ни гобеленов на стенах, никаких зеркал — кроме хозяйских, в рамах с потускневшей позолотой, входящих в обязательную меблировку квартиры. Нигде не видно безделушек, стенных часов. Несколько статуэток, старый диван, письменный стол-секретер, какие-то брошюры и куча бумаг. В гостиной на полу лежал небольшой коврик, висел портрет Матильды, впоследствии г-жи Гейне, кисти неизвестного мне художника, поклонника таланта Гейне и красоты Матильды, и несколько гравюр, также подаренных авторами. Встретила меня г-жа Гейне; хотя ее возлюбленный был великим немецким поэтом, к немцам она относилась неважно — ей досталось от любопытных и нескромных журналистов, изобразивших ее в карикатурном виде на страницах немецкой печати. Она встретила меня очень

плохо и крикнула мужу: «Анри, вот еще один молодой человек приехал из Германии и желает тебя видеть. Примешь его?»

Как только Гейне появился на пороге своего кабинета, я произнес по-древнееврейски фразу из Ибн-Эзры, известную всем талмудистам <...>: «Пришел я в дом твой, нашел дверь открытой, но стоило мне войти — и жена твоя рассердилась». <...>

Это была еще и ловушка. Мне хотелось знать, помнит ли Гейне, до тринадцати лет воспитывавшийся как еврей, язык, которому его учили. Он расхохотался, не совсем поняв, однако, двусмысленность моих слов, а когда я назвался и передал письмо Гуцкова, он сказал: «Вам не нужны рекомендации. Вас приняли за меня, и я могу только предположить, что у вас бездна остроумия, ибо сам не читал ни одной вашей корреспонденции». Лед был сломан.

«Мы собирались идти обедать, — сказал он, — пообедайте с нами, поговорим». Гейне знал, что я еврей, и в этом качестве представил меня своей возлюбленной. Евреи, лишь недавно получившие от Луи Филиппа полное гражданское равноправие, остававшиеся париями почти по всей Европе, составляли тогда нечто вроде тайного союза угнетенных и очень легко завязывали дружбу, особенно ученые, художники и литераторы, желая добиться освобождения и избавления от восемнадцати веков клеветы, угнетения и бесчестия. Это не относилось к крещеным евреям, проявлявшим религиозное рвение и избегавшим всякой связи, всяких сношений с их прежними единоверцами, которых им приходилось рассматривать как несчастных отверженцев с повязкой на глазах, не желающих созерцать ослепительное сияние триединого Бога.

Но Гейне, смеявшийся над собственным крещением, не был в числе этих лицемеров. Впрочем, это не мешало ему, как и всем немцам, иметь предрассудки в отношении своих единоверцев и преследовать их насмешками. Когда он узнал, что я эльзасец, а не немец, француз, а не пруссак, он приветствовал меня следующим образом: «Можете приходить ко мне каждый день, можете обедать у меня когда захотите, *но никогда не просите у меня денег!* Во-первых, подобно крестьянам, у которых Генрих IV требовал на пушки, я отвечу, что у меня их нет, что долги у меня вопиющие, а родственники молчаливые, и потом, я не хочу потерять вас как друга. Раз вы корреспондент лейпцигского «Эlegantного мира» и гамбургского «Телеграфа», значит, вы мне понадобится, и я на вас рассчитываю».

Попытаюсь дать представление о красоте Матильды, которой было тогда двадцать три года. Сразу же, с первого взгляда я заметил, что она красивее, чем ее портрет, и по этому поводу сделал ей свой первый комплимент, за каковой она была мне признательна. Видел ли кто-либо из моих читателей статую Фрины в мадридской Академии изящных искусств? Можно было подумать, будто Матильда Гейне позировала для этой статуи. Если красота форм, лишенная изысканности, может считаться совершенной, то красота Матильды была само совершенство. Ее фигура была словно изваяна из мрамора. Зубы ее были прекраснее белоснежных жемчужин Офира, и, как все женщины с хорошими зубами, она поминутно улыбалась, ибо ей было известно еще и то, что с каждой улыбкой на щеках появляются ямочки, признаки доброты, ловушки, в которых угасает любая злоба. Эта улыбка легко и часто переходила в смех, сопровождаемый лукавым, задорным подмигиванием, серебристый смех, звенящий как радостный колокольчик. Губы у нее были красивые, словно вишня, могло показаться, что они крашены, но у Матильды никогда не было ничего поддельного, она не пользовалась ни пудрой, ни румянами, ни помадой, ни белилами; у нее не было даже будуара, где она могла бы прихорашиваться. Словом, безукоризненный по-детски свежий ротик. Поражал взгляд ее больших карих глаз — ласкающий, обольстительный, как луна, глядящая сквозь легкое облачко. Волосы у нее, не слишком длинные, были темно-каштановые, почти черные, и выгодно оттеняли белизну кожи. Ручки и ножки так же прелестны, как все остальное. Голос — звонкий, волнующий душу, мелодичный, именно в голосе и восхитительном ротике заключалось ее главное очарование. Талия у нее была изумительная. Многие годы она даже не носила корсета, в этом не было необходимости, и хотя она оставалась верна своему возлюбленному, но не сердилась, если взгляд постороннего замечал ее прелести — например, когда она убирала волосы в узел своими прекрасными беломраморными руками. Только один недостаток был у Матильды <...>. Ее лоб не был ни высоким, ни широким, он сужался кверху. Он был почти незаметен. Но женщины так хорошо знают достоинства и недостатки своей наружности. Она носила волосы на прямой пробор и опускала их двумя прядями на лоб, так что он казался низким и широким, как у Венеры <...>.

Лоб этот свидетельствовал о ребяческом уме, о слабой склонности к размышлению, слабом разуме, но выдавал и упрямую настойчивость, не подкрепленную настоящей энергией и потому скоро угасавшую в плаче и топанье ногами. При этом Матильда отнюдь не была злой, напротив, она была добра до слабости, но любила устраивать сцены. В приступе ярости она могла бить себя кулаками; через две минуты гнев сменялся слезами и рыданиями. Лишившись любимого попугайчика, она рыдала так же безудержно, как после смерти матери. И сцены эти случались весьма часто, особенно во время ее женских недомоганий. В такие минуты она была уже не женщиной, а ребенком, и, словно ребенок, каталась по полу, стучала ногами и била сама себя. Всерьез считая, что она очень несчастна, она старалась вызвать сочувствие окружающих криками и стонами. Глядя на это, можно было умереть со смеху. Вещь странная, но вполне естественная для такой натуры, как г-жа Гейне; в конце концов, видя, что ее не жалеют, что никто не сочувствует ее надуманному и преувеличенному горю, она вдруг раздражалась смехом, и так как это очень шло к ней — от смеха ее талия и прекрасные бедра грациозно выгибались, — то сердиться на нее было невозможно, и семейные сцены всегда заканчивались бурным примирением, сопровождаемым гомерическим смехом. Из-за этого характера Гейне называл Матильду: моя дикая кошка. И правда, в ее прыжках, в ее ласках было что-то кошачье. Эти метания из одной крайности в другую, как будто бы столь неприятные, вместо того чтобы порождать скуку, держат страсть в постоянном напряжении. И Гейне любил ее за это еще сильнее, хоть иногда и обходился с ней как с дурно воспитанной девчонкой или даже как с любимым домашним зверьком, которого шлепают в наказание.

Когда Гейне впервые спросил, какого я мнения о Матильде, я ответил:

— Внешне она похожа на Марию Стюарт — надеюсь, кроме склонности к пороку и преступлению.

— Мне кажется, — ответил он, — что она не похожа ни на одно известное лицо. Она совершенно оригинальна и *sui generis*¹. Вот за это я так ее и люблю. При своем бурном характере она не способна обидеть и муху. Обожает животных, особенно попугаев, и не

¹ В своем роде (лат.).

читает романов. Я потратил больше десяти тысяч франков на то, чтобы научить ее читать и писать: ведь когда я ее встретил, она ничего не знала. Мария Стюарт была ревнива, а Матильда — нет.

Я ему не ответил; но по мере того, как я изучал характер этой оригинальной женщины, мне стало казаться, что, несмотря на ее кокетство и желание пленять, она была холодна и не любила своего друга с такой же страстью, как он ее любил, что она, в сущности, не любила ни одного мужчину — во всяком случае, ни одного, о котором бы я знал.

Матильда ничего не смыслила в кулинарном искусстве, можно было подумать, будто она выросла в замке, — но любила поесть. Когда она обедала дома, то проглатывала дюжину устриц, съедала два бифштекса и преспокойно выпивала полбутылки вина, приходя после этого в некоторое возбуждение, хотя она никогда не пьянела, — это было одной из причин того, что к тридцати пяти годам она располнела, не утратив, однако, своей красоты. Я замечал, так же как и Карр, что женщины, которые любят поесть, мало расположены к нежным чувствам. Привычки к порядку у них тоже нет. Все отдано еде. Нельзя сказать, чтоб г-жа Гейне была гурманкой, ее домашние обеды отличались патриархальной простотой. Рыба, кусок телятины или баранья нога, салат и сыр. Но вся еда была обильной и сочной, и г-жа Гейне ела с гораздо большим удовольствием, чем ее муж: Гейне был тонкий ценитель, любил сотерн, предпочитал его шампанскому любого сорта. Поэтому он охотнее обедал и ужинал в ресторане, чем дома. Впрочем, г-жа Гейне, отчитываясь перед своим господином и повелителем, неизменно завывала свои расходы на провизию. Нередко призывала в свидетели меня — разумеется, сговорившись со мной заранее. Она утверждала, будто потратила сто пятьдесят франков на уголь и дрова, тогда как на самом деле потратила только пятьдесят; остальные сто франков она платила своей модистке. Гейне не всегда попадался на эти домашние хитрости. Улыбаясь, он глядел на меня своими маленькими пронизательными глазками, а жена его заливалась смехом, но когда появлялись деньги, он платил. Так или иначе, платить ему приходилось всегда. Наверное, для него было бы лучше, если бы он отдавал все деньги жене, но у нее не было никакого представления о порядке, об аккуратности, и когда у нее бывали

деньги, то у нее все могли вытянуть льстивой болтовней. Она верила всему, что бы ей ни сказали, и не раз становилась жертвой случайных знакомых, которые назывались ее подругами, а на самом деле просто хотели нажиться.

ЙОЗЕФ МЕНДЕЛЬСОН

Май (?) 1839

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА

(* 26.2.1841)

«Невоспитанный любимец муз» <...> подвергается опасности в течение нескольких лет потерять, заплывая жиром, даже малейшие черты поэтической внешности. У Его остроумия растет толстый живот, как кто-то однажды написал, и я очень сомневаюсь в том, что это — знак благословенного дородства. Его темно-русые волосы приходят при этом во все больший беспорядок, его серо-голубые глаза, глядящие на вас с некоторой робостью, становятся все более близорукими, а на его от природы очень умном лице с тонкими саркастическими чертами здесь и там появляются морщины, вместе с жиром придающие ему злое, филистерское выражение. Тем не менее он часто, к сожалению, очень часто хворает, и только лечение на морских курортах несколько восстанавливает его здоровье, пошатнувшееся во время зимы в Париже.

Никогда, кстати, не забуду вечера летом 1839 года, когда мой друг А. Бейль, парижский корреспондент, хорошо известный своим остроумием, под руку с которым я фланировал по Итальянскому бульвару, представил меня встретившемуся нам автору «Путевых картин». Он выдал меня за «поэта, воспевającego природу», и я признаюсь, что меня охватил легкий озноб от кончиков волос до кончиков пальцев на ногах, так как во всем толстенном словаре немецкого языка я не знаю более бессмысленного понятия, чем это: словно можно стать хоть тенью тени поэта независимо от природы и не благодаря ей. И это произнесено в присутствии человека, обладающего самым язвительным сарказмом и самым беспощадным остроумием! Между тем, после обмена несколькими положенными в таких случаях фразами, Г. Гейне положил руку себе на сердце и глубоко, очень глубоко вздохнул. Я, со своими злосчастными глупыми иллюзиями, подумал было, что красное, пылающее солнце, которое он, как

сказано в «Книге песен», носит вместо сердца в груди (ведь поэт, в сущности, всегда он сам, единственная модель всех его образов), прожгло ему кожу и сюртук. Я уже хотел крикнуть: «Пожар!», когда Бейль спросил:

— Что с вами, господин доктор?

— Слишком много съел, — ответил поэт и еще раз пресыщенно вздохнул, расстегивая сюртук. — Я ведь иду из Пале-Рояля.

Я потянул своего друга за рукав. Мы попрощались, во мне хихикал язвительный демон, коверкая стихи, которые когда-то меня так восхитили. Он декламировал:

Огромны небо и море,
Но желудок мой огромней.

ГЕНРИХ ЛАУБЕ

Май/июнь 1839

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 6.5.1883)

Когда я через Голландию и Бельгию приехал в Париж и наконец поймал Гейне, то испытал горькое разочарование <касательно сведений Гейне о сен-симонистах>. Он хохотал и хохотал и рассказывал только о забавных происшествиях и комичных вещах, каковые сделали этих людей смешными и нетерпимыми во Франции, разумеется, прежде всего в его собственных глазах. «Вообрази себе, — воскликнул он, — моя Матильда хотела экзаменоваться у Анфантена на звание Матери. <Матильда была возлюбленная Гейне, позднее — жена.> Вот был ужас. Я ей растолковал, что для этого экзамена потребуется знание философии. — А что это такое — философия? — спросила она. — Лучше тебе никогда этого не знать, — отвечал я, — ибо это страшно трудная наука. — Ах! — Да, и кроме того, Мать получает всего одно-единственное платье, она не имеет права когда-либо сменить одежду, то есть это единственное платье — к тому же оно совсем незавершенное и мало что прикрывает. — Это подействовало».

Об одежде сен-симонистов этот насмешник, во всяком случае, рассказывал подробно. Белые брюки, красный жилет, сине-лиловая туника. Белое — цвет любви, красное — труда, сине-лиловое — веры. На груди — табличка с именем сего достойного лица, у высших лиц — с обозначением титула, стало быть, у Анфантена — «Отец», у Дюверье — «Поэт Господень».

«Главное в том, — так заключил Гейне свои насмешку, — что эти люди лишены вкуса; искусства у них стояли на самом заднем плане, мы, поэты, в их государстве погибли бы».

Но разве эмансипация плоти и женщины не соответствовала эллинизму, который он всегда проповедовал? Нет, при всей схожести его идей с теми, он ни за что не хотел их действительного осуществления. «Что бы я стал после этого писать? — воскликнул он. — Над чем шутить, о чем слагать стихи, если бы осуществилось все то, чего я доселе желал и чего мне не доставало? С осуществлением или введением сенсимонизма мне пришлось бы просто уйти в отставку».

(* 1875)

Там <в Страсбурге> не раздавалось ни единого голоса в пользу Луи Наполеона. Раздавались одни лишь насмешки. Новое наполеоновское владычество во Франции представлялось людям нелепой фантазией. Генрих Гейне был тогда единственным человеком, склонным верить в возрождение наполеонидов. «Поэт! И не лишенный манерности! — восклицал кое-кто, когда упоминались его стихи о Наполеоне. — Ему нужна блестящая цель для поэтической речи. Какое это может иметь значение?»

Тогда я еще не был знаком с Гейне. Лишь три года спустя (в мае 1839) мне случилось впервые говорить с ним, и я был немало поражен, услышав, что этот вопрос он трактует куда более серьезно и трезво, нежели прочие политические вопросы. «Попробуй съездить в провинцию, поговорить с крестьянами, — воскликнул он, — и ты перестанешь смеяться над моими снами. Я сплю с открытыми глазами, и глаза мои видят. Не хватает только фанфар. Стоит лишь фанфарам загреметь, как они возвестят воскрешение, и тогда остатки Великой Армии со всеми ее чадами и домочадцами восстанут и закричат «Vive l'empereur!»¹. Их будут миллионы, а масса делает свое дело. Массе нужно зримое братство. А только наполеоновский штандарт осязаем. Нюансы хартии для крестьянина — заумная дребедень, он верит лишь своим чувствам, ему нужен зримый бог».

¹ Да здравствует император! (*фр.*)

ИЗ ДОПОЛНЕНИЙ К МЕМУАРАМ

(* 3.4.1883)

Наступил 1839-й год. Я был в Париже и ежедневно встречался с Гейне, который тогда, еще будучи полон жизненных сил, дышал, смеялся, издевался и творил. Даже сильные головные боли, которые мучили его всю жизнь, не беспокоили его. У него всегда была охота говорить о писателях, особенно о тех, которые были нам близки. Тогда он все время по всякому поводу вспоминал Гуцкова и в ядовитых словах выражал свою антипатию к нему. «Он нам чужой, — восклицал он, — он не понимает красоты мира; он такой же назарянин, как и Бёрне, который презирает Гете».

Конец мая 1839 — янв. 1840

НЕКРОЛОГ ГЕНРИХУ ГЕЙНЕ

Лейпциг, 6 авг. 1846

Когда в 1839 году я впервые увидел его, это был упитанный, почти тучный человек ниже среднего роста, с тончайшими чертами лица, весьма лукавыми глазами и изящно очерченным ртом. Голову он держал чуть наклоненной, а его маленькие глазки обычно бывали полуприкрыты, и это придавало его лицу некоторую замкнутость, необыкновенно привлекательную; прекрасным цветом лица, обрамленного каштановыми волосами, тучным телом и маленькими белыми руками он напоминал молодых аббатов прошлого века. Голос у него был мягкий и приятный. Частые страдания причиняли ему головные нервы, но в остальном он отличался крепким здоровьем и, после первых, ставших уже привычными жалоб на головную боль, стоило лишь возбудить его ум, больше никаких признаков дурного самочувствия не проявлял. «Ваша головная боль, — говаривали мы ему, — это страх перед скукой».

Но этот страх между тем понемногу выродился у него в неприятную манерность, делавшую его невыносимым для людей незнакомых и для тех, кто его не интересовал. Там, где он находил для себя что-то вдохновляющее, или хотя бы предполагал, что найдет, эта манерность совершенно исчезала, — тот же самый человек, который только что едва раскрывал глаза и рот, мгновенно загорался, блистал умом, как только его

настроение освобождалось от оков, благодаря уходу какого-то гостя или перемене разговора. Соответственно и говорил он поразительно неодинаково. Иногда до того запинаясь, как будто не мог построить фразу, выразить мысль, и вдруг, в мгновение ока, все менялось: речь его разливалась широким потоком, плавным, чарующим. Гейне был поэт, повинующийся малейшему расслаблению или спазму своих нервов, такова уж его исключительная судьба, что, одаренный чисто поэтическими свойствами, он выступал в насквозь политизированном обществе. А последнее по праву требовало политической последовательности в высказываниях и бранило его за поэтические скачки, он, однако, не желал и не мог ими поступиться, ибо в них-то и заключалась его истинная жизнь, а политика была для него всего лишь темой, как любая другая. Он был натурой артистической и роль трибуна играл между прочим, а политический мир возмущенно заявлял: ты должен не играть, а быть тем, кого представляешь, ты должен быть трибуном не между прочим, а быть только трибуном! Этого бы он вовсе не мог, даже если бы захотел. Подобное недоразумение и непонимание создали Гейне легионы врагов, и я имел возможность наблюдать вблизи всю внутреннюю запутанность его судьбы, особенно при возникновении самой злополучной из его книг, книги о Людвиге Бёрне. Написал он эту книгу во второй половине 1839 года, рукопись ее неделями находилась у меня, и я ежедневно, бывало, по многу часов кряду уговаривал его: в таком виде книгу издавать не должно, он причинит этим несправедливость и Бёрне, и самому себе; все, что есть там прекрасного, может предстать истинным и оказать свое действие, только если он отчленит, отъединит вопросы личные и политические от вопросов высшего порядка! Напрасные старания! Именно потому, что Гейне был поэтом, он умел только сочинять, а не отчленять и отъединять, умел преподносить вопросы только как растение со спутанными ветвями, чьих разъединенных корней не могла разглядеть пристрастная публика. На него нельзя было повлиять, как нельзя повлиять на всякого своенравного поэта. В своенравии и кроется сила поэта! Когда я читал ему вслух опаснейшие места этой книги и растолковывал, в чем их опасность, он улыбался, слушая явно вполуха, и наконец говорил только: «Но разве это не прекрасно выражено?» — «Возможно, но все же здесь это неуместно!» — «А разве это неверно?» — «Нет, при таком складе мыслей это неверно!» — «Ах, пардон, при моем складе это

глубоко верно; я не могу писать о том, как складываются мысли у вас в голове, я не могу писать ваши книги!»

Ясно, что здесь нельзя было добиться ни малейших изменений. Лишь в одном пункте он как будто бы уступил. Я утверждал — и впоследствии мое утверждение, увы, слишком оправдалось! — что книга, при всей ее тонкости и остроумии, сделает лишь впечатление личной вражды и оскорбительного неуважения к одному из почитаемых всей нацией усопших. «Который, однако, был моим врагом, — перебил он меня, — и врагом того, что есть во мне лучшего, врагом моего более высокого мировоззрения!» — «Возможно, — возразил я, — значит, книга должна найти свое высшее выражение в том, что вы, в противоположность чисто политическим мыслям Бёрне, убедительно и вдохновенно изложите свое более высокое мировоззрение. Если вы не можете подавить в себе личную вражду, то должны в этой книге воздвигнуть гору, рядом с которой личная вражда не только отступит в тень, но и сама покажется лишь тенью, следствием. Только такая гора придаст книге форму и выставит в лучшем свете то, что кажется сейчас резким и оскорбительным». — «Тут вы, возможно, правы, — сказал он после некоторой паузы и, взяв шляпу, добавил: — Я воздвигну эту гору!» И отныне он каждый день, когда в часы сумерек, перед ужином, приходил к нам или когда мы прогуливались с ним по Бульварам в позлащенном газовым светом вечернем тумане, который он так любил, — каждый день повторял: «Сооружаю гору!» И это же было его последним словом у дверцы почтовой кареты. Он хотел уступить с виду, но только с виду, ибо однажды совершенно верно заметил: «Если горе суждено вырасти в настоящую гору, то и книга должна сделаться более значительной, нежели та, которая получается теперь». — «Да уж конечно!» — «Однако я рад, что с одной книгой покончил, я хочу написать комедию». Короче, со злости он прислал мне с почтовой каретой целую кипу листов этой новой книги, и эта гора представляла собой не что иное, как «Письма из Гельголанда», которые он подсунул в рукопись. Они, однако, образовали скорее долину, чем гору, ибо весьма усердно заставляли читателя скатываться мыслями к Июльской революции, а ведь как раз над нею и над миром ее идей хотел он возвыситься по сравнению с Бёрне. Это он хорошо понимал сам, лучше меня. Он насмехался над моими советами, прекрасно зная, что я останусь ему верен, даже если весь мир будет кричать «караул». Именно это и случилось, и все-таки он

не написал мне ни строчки о том, что я это предсказывал и что одна эта книга превратила три четверти его читателей в яростных противников; наконец, он, правда, написал однажды в своей великолепной статье «Довольство»: «Те, что поумнее, и теперь уже знают, что в этой книге я прав насчет «богов будущего», которых мне пришлось спасать на моем корабле, а остальные убедятся в этом позже, если тоже поумнеют». Это «Довольство» тоже отвратило от него множество человеческих сердец, и большая часть их всегда будет чувствовать себя оскорбленными, когда кто-то просто говорит о себе: «Я великий поэт!» Разве сознавать — это порок? «Нет, это — свойство, — смеясь, возражает он. — Почему никто не осуждает Гете, когда он свысока говорит о Тике, будто тот мучился, пытаюсь сравняться с ним (с Гете) и все-таки этого не достиг! И когда Гете добавляет: о себе я могу это сказать, ведь я же не сам себя сотворил! Почему же его за это не осуждали?» — «Так осуждали же!» — «Но кто?» Гейне обладал олимпийской уверенностью касательно своих сочинений, и он точно знал, какие из них — лучшие, пусть даже именно эти яростнее всего оспаривались или высмеивались. Эту аристократическую черту — сознание своего превосходства — он не терял никогда, даже в часы глубочайшей подавленности. Стоило только напомнить ему какое-то слово, образ, рассуждение, как лицо его на миг оживлялось и он радовался, как будто бы только сейчас все это нашел. Было ли это заурядным тщеславием? Сохрани боже! Лицо его точно так же оживлялось, когда упоминалась какая-нибудь великая черта у другого автора, а именно у Гете. Просто он совершенно определенно, незыблемо твердо знал, что он знает и любит, и, наряду со смертельной ненавистью, на которую он был способен, в нем жила очаровательная ребячливость, и в ребячливости своей он мог безудержно радоваться игрушке, придуманной им самим. Ребячливость эту лучше всего можно было наблюдать в его обращении с женой. Эта француженка не имела ни малейшего отношения к писателю и поэту Гейне, о его произведениях и его борьбе не знала решительно ничего, а потому не находила для знаменитого поэта ни словечка участия или похвалы. И это было для него величайшей радостью. Они играли друг с другом, как дети, он называл ей имена финикийских царей, предостерегал против будоражащей европейской литературы, да и против всякого чтения вообще, и любил ее нежнейшей, отнюдь не литературной любовью.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* январь 1868)

В то время—в 1839 году— он возвысил свою любовную связь до положения законного брака. Имеется в виду, что это было сделано в парижском смысле, когда обходятся и без свидетелей, и без властей, и, несмотря на отсутствие такого подтверждения, соблюдение моногамии считается обязательным. Он представил мне молодую статную девушку как свою молодую жену. У нее полная фигура, веселое круглое лицо и приятный характер. Ее наивная веселая натура доставляла Гейне величайшую радость, и эта радость его никогда не покидала. Постоянно, до своего последнего вздоха, он почитал себя счастливым супругом, и когда он рассказывал о ней и описывал ее, в нем всегда появлялось что-то наивное и детское. Я никогда не видел, чтобы он в отношениях с кем-то другим проявлял столько маленьких милых черточек и употреблял столько прелестных оборотов, подобных тем, которые выглядывают детскими глазами из его лучших стихотворений.

Он был в высшей степени мил, добр, деликатен и любезен со своей «маленькой женой», как он ее называл. То, что она ничего не понимала в его произведениях, доставляло ему повод для триумфа. «Она любит меня только как человека, и критика тут ни при чем!»—воскричал он, довольный. Действительно, было очень забавно, когда она спрашивала, правда ли, что ее Анри—знаменитый поэт? Она находила это очень приятным и со временем хотела выучить и немецкий язык. Я не могу припомнить, чтобы это время когда-нибудь наступило. Но Гейне все же был намерен заняться ее образованием и дать ей систематические знания: он отдал ее в пансион и навещал ее только по воскресеньям. В одно из воскресений он захватил нас с собой. Он сказал, что молодые воспитанницы пансиона устраивают там маленький бал и что мы должны посмотреть, как танцует его «маленькая жена». Она была гораздо взрослее самой взрослой из них, но танцевала, к восхищению ее мужа, по-девичьи и грациозно, как девочка-подросток. Как счастлив был он тогда, как естествен в волшебном кругу любви! Каждая ступенька в ходе ее обучения в школе давала ему повод для веселых размышлений, особенно когда речь шла о

географии и истории. Он находил сверх всякой меры прелестным то, что она теперь лучше его могла наизусть назвать по порядку всех египетских фараонов и объяснила ему, какой странный случай произошел с Лукрецией, когда та пряла шерсть. <...>

С его немецкой речью дело обстояло, в сущности, не намного лучше. К нему постоянно возвращалась мучительная головная боль. Нередко он напоминал истеричную женщину, страдающую вечными приступами мигрени. Тогда он разговаривал отрывисто и бессвязно, не доканчивал фразы, часто с трудом подыскивая самые необходимые слова. Можно было подумать, что перед тобой какой-то раздражающий тупица. Из-за этого он произвел отвратительное впечатление на сотни своих немецких визитеров, ибо в таких случаях ему обычно с избытком хватало пренебрежения к людям и грубости во всех ее проявлениях, зато решительно не хватало того, что зовется гуманностью. И этот же человек часом позже оказывался совершенно другим. Лучше чувствуя себя физически, приятно оживленный предметом беседы или хотя бы только самими собеседниками, которым он желал польстить или которых хотел переспорить, он изливал поток речей, полных мысли, стремительности и живости.

У него был тенор, мягкий и приятный, когда он бывал в хорошем расположении духа. Он мог тогда тонко льстить или быть столь же любезным, как бывал с французами, с теми людьми, которые были ему безразличны. Глаза у него были небольшие, но очень красивые. Вдобавок, когда лицо его приходило в движение, они еще наполовину закрывались. Это был к тому же и весьма красноречивый жест, как бы подчеркивающий всякое лукавое и недоброе выражение. То же можно сказать про его рот, верно следовавший за менявшимся настроением. Рот в его лице играл важную роль, поскольку Гейне всегда был чисто и гладко выбрит. С бородой я его никогда не видел. У него было чуть удлиненное полное лицо с нежной кожей и свежим румянцем, мягкие светло-русые волосы, чуть изогнутый нос хорошей формы, выпуклые лоб и подбородок. Его чрезвычайно выразительное лицо на первый взгляд представлялось лицом чувственного священника или же хитрого дипломата, который склонен быстро и мимолетно улаживать важные дела. Голова его сидела на короткой шее, был он среднего роста, плотный, совер-

шенно без талии, холеное белое тело. Руки у него были белые и пухлые. Ничего в нем, за исключением разве что несколько плоской стопы, не напоминало еврейский тип. Он появлялся всегда в самом опрятном виде, даже когда не слишком следил за собой, и носил тонкое белье. Вообще в его движениях замечалась какая-то мягкость и гибкость, и это наводило на мысль, что он много времени провел в обществе женщин.

Ему хотелось, чтобы всегда подчеркивали, что его мать была дворянка и христианка. Когда позднее я как-то обратил его внимание на этот ход его мысли, он кивнул головой и сказал: «Да, без сомнения!» Нашлось немало знатоков генеалогии, которые называли эту фамильную гордость вымышленной и превращали частицу «фон» в безразличное «ван». Мол, голландская иудейская семья, переселившаяся в ближний Дюссельдорф, присоединила к своей фамилии это «ван», имеющее только географическое значение. Это тоже вполне вероятно, потому что Гейне никогда подробно на эту тему не изъяснялся. Ему казалось чертовски забавным, что он, возможно, произошел от смешения христианского дворянства с еврейской расой и по рождению представляет собой романтическое средневековье, пропитанное разьедающей остротой ума. Ведь такое смешанное происхождение великолепно объясняет его литературную сущность. Когда я поддразнивал его этой расовой теорией, он смеялся и переводил разговор на другую тему. Эта тщеславная черта была свойственна его поэтической юности. Позднее жизнь эту черту в нем стерла. Но благодаря посвящению «урожденной фон Гельдерн», эта полуложь была напечатана и пущена в обиход; он легкомысленно нес ее дальше, перебрасывал с правого плеча на левое, если в первое ему кто-нибудь назойливо тыкал. <...>

Пожилые французские писатели, с которыми Гейне тогда был дружен или по крайней мере знаком, относились к нему очень предупредительно и очень учтиво. Я мог внимательно следить за тем, как развивались эти отношения, так как Гейне взял на себя труд познакомить меня с многими из этих писателей. Он знакомил меня с ними не в обществе, где людей только представляют друг другу, а брал меня с собою к ним в гости. Во Франции это не легко. Французский писатель

очень дорожит своим временем, и как раз иностранцы интересуют его меньше всего. Но на просьбы Гейне все они отвечали согласием, даже Виктор Гюго, высокомерность и напыщенность которого более заслуживала насмешки, нежели почитания со стороны Гейне. Пока взаимное нерасположение не выразилось письменно и не приобрело резких форм, французские писатели весьма старательно скрывают внутреннюю антипатию и проявляют себя с максимальной любезностью, как светские люди, прикрываясь вежливостью словно защитным валом из цветов. Из этого общения Гейне извлек для себя гораздо больше уроков, чем я от него ожидал, и его учтивое обхождение с французскими поэтами, чьи стихи ему совсем не нравились, ничем не выдавало в нем немецкого писателя, беспощадного в своих суждениях. Лишь по отношению ко мне, своему земляку-немцу, он во время этих визитов иногда не отказывался от принятой на родине манеры держать себя. Например, в гостях у Альфреда де Виньи, женатого на довольно скучной толстой англичанке, он безжалостно поручил меня ее заботам, а сам, уединившись, беседовал с де Виньи. К счастью, сам хозяин дома, тонкий, немного меланхоличный господин, пришел наконец мне на помощь, а Гейне хохотал, как уличный мальчишка из «Путевых картин», когда мы вышли и я самым серьезным образом заверил его, что знакомство с этой несомненно очень достойной англичанкой интересовало меня отнюдь не столь сильно. «Вы поступили благородно! — сказал он, перестав смеяться. — Ведь де Виньи всегда очень благодарен, когда на какое-то время с него снимают обязанность поддерживать семейные разговоры».

Дек. 1839/январь. 1840

ИЗ МЕМУАРОВ

(*1875)

Мне он в ту зиму грубо льстил в том, что касалось моей истории литературы, — ее форма и тенденция были ему по душе. «В ближайшее время я тоже начну писать литературные характеристики», — заявил он и действительно сделал это. Он хотел, чтобы моя книга была непременно переведена на французский. Гейне в самом деле подрядил одного бедного француза, с грехом пополам понимавшего по-немецки, и привел его ко мне с первой переведенной им страницей, начинавшейся с

Лессинга. Я между тем считал эту затею неразумной. Эта объемистая книга в три тома была бы слишком большим испытанием для французов, поэтому я пытался отговорить Гейне. Потребовалось время, прежде чем мне удалось его разуверить: в своих замыслах он был чрезвычайно упорен. С тех пор как перевод его стихотворений встретил в Париже такой неожиданно благоприятный прием, он считал литературное посредничество между немцами и французами своим кровным делом.

Было и в самом деле поразительно, какой почет у французских писателей доставили ему эти стихотворения. Их необычайно пленяло остроумно-поэтическое обаяние его манеры, они чрезвычайно уважали его, даже боялись, как боятся они всякого, кто способен остроумно высмеять других.

Я имел возможность наблюдать это непосредственно, поскольку той зимой Гейне был поистине одержим страстью знакомить меня со всеми литературными знаменитостями. Перед ним открывались все обычно накрепко запертые двери, и Жорж Санд, Бальзак, де Виньи, Виктор Гюго, Жанен и как бы их там еще ни звали обходились с ним, словно с пэром.

Однажды вечером он явился ко мне в своем темно-красном бархатном жилете, которым так гордился, в белом галстуке и потащил меня к некоему маркизу де Кюстину, который давал званый вечер. Там, говорил он, смеясь, я увижу всю коллекцию знаменитостей. Дело в том, что сам маркиз, написавший книгу о России, всего только полулитератор и для того, чтобы казаться полным, должен позаботиться о полном наборе гостей.

Я и в самом деле увидел там Бальзака, Ламартина, господина и госпожу Жирарден и *tutti quanti*¹, со всеми этими людьми Гейне болтал и шутил, как заправский француз. Так болтал он, в частности, с Бальзаком, одетым во что-то уютно-домашнее, без претензий на элегантность, — далеко ему было до такого красивого темно-красного жилета. По-моему, у него даже был повязан синий галстук, вместо белого, и вид его ясно говорил о том, что вся эта разукрашенная светская ветошь его нисколько не интересует. У него была приземистая фигура, широкое лицо — *tête carrée*², — с которого на вас смотрели жесткие глаза, а рот мог добродушно улыбаться. Я с удивлением глядел на него,

¹ Всех прочих (*ит.*).

² Квадратное лицо (*фр.*).

с удивлением слушал, как он забавляется ничего не значащей болтовней с Гейне, он, этот неистощимый наблюдатель человека, так беспощадно срывающий с него все мишурные оболочки, умеющий писать так необъятно много и пишущий всегда с таким умственным превосходством. <...>

Когда мы возвращались домой с подобных собраний, Гейне был бесподобен, изображая виденных им лиц. Он видел людей насквозь, хоть его и занимала обычно лишь какая-нибудь одна их сторона. Правда, большей частью ради того, чтобы их бичевать. Бывало, однако, и ради того, чтобы восхвалять. В разговоре он был справедливее, чем в своих писаниях.

Мне он покровительствовал во всем, как брат. Он был сама любезность и доброта. Но ведь доброты за ним как будто бы никто не признает? И совершенно напрасно! У него была даже мягкая, благодетельная душа. Иногда он извинялся за нее перед самим собой и сам себя за нее ругал, обзывая «глупой старой бабой». Но ругал устами, а рукой — подавал.

Дек. 1839

ИЗ СТАТЬИ О ВИЗИТЕ К ЖОРЖ САНД

(*28/29.12.1840)

«Знакомы ли вы достаточно коротко с госпожой Дюдеван?» — спросил я Гейне, когда в одно прекрасное зимнее утро мы поехали с ним в ту часть города, которая плавно поднимается по направлению к Монмартру и куда теперь из-за ее здорового климата переселяется аристократия. «О да! Но я не видел ее целых два года: два года тому назад я часто бывал у нее». — «Но ведь вы оба были в течение этих двух лет большей частью здесь, в Париже?» — «Да, но Париж — большой город». — «Однако в нем только *одна* Жорж Санд». — «И в нем только *один* Лувр, только *одна* Итальянская опера, и иногда целых два года не бываешь ни в Лувре, ни в Итальянской опере, заботы сегодняшнего дня слишком сильны». — «Не рассердится ли госпожа Дюдеван на вас за это невнимание и не окажет ли вам теперь холодный прием?» — «Не думаю; она ведь тоже живет в Париже, и я читаю к тому же все ее книги. Автор-француз не так по-супружески чувствителен, как писатель-немец». — «Кто теперь ее спутник?» — «Шопен, пианист-виртуоз, симпатичный человек, худощавый, хрупкий, одухотворенный, как немецкий поэт, ищущий

утешения в одиночестве». — «Виртуозы, очевидно, ей особенно приятны; не был ли Лист долгое время ее любимцем?» — «Она ищет бога, а его нигде нельзя найти так быстро, как в музыке. Это настолько отвлеченно, не вызывает никаких возражений, никогда не бывает глупо, потому что никогда и не должно быть умным, это — все, чего как раз хочешь и что можешь, это избавляет нас от ума, который нас мучит, и все же не делает нас пошлыми».

Был полдень одного из тех прекрасных зимних дней, которыми солнце так охотно одаривает Париж. Гейне опасался, что солнце выманило их на улицу слишком рано. После поездки по узеньким горбатым улицам этого квартала наш экипаж остановился перед невзрачным домом. Этот дом служил только входом в сад, который поднимался по склону к приветливо глядевшему на нас другому дому. Снег растаял, и перед окнами зеленел большой газон, словно вот-вот начнется весна.

«Дома ли госпожа маркиза?» — «Она только что уехала в Булонский лес». Вот так так! Мы стояли у подъезда, и показавшийся нам сначала таким приветливым дом с окружавшим его газоном выглядел покинутым, неинтересным. «Тогда поедем к Кюстину, он живет поблизости, а если и его нет дома, то к Бальзаку, а если и его нет дома, то к Жанену. Этот всегда дома и всегда принимает, он работает, не запирая дверей». Гордый титул «госпожа маркиза» был для меня неожиданностью, и я спросил Гейне об этом. Он объяснил, что она принадлежит к старинному роду из Берри, там, в самом сердце Франции, на равнине, расположено и ее поместье, где она и проводит лето и осень, если не путешествует. <...>

На следующий день мы опять приехали около двух часов пополудни: хозяйка была дома, но еще в постели. Оказалось, что Гейне здесь знали, и о нем доложили. Нам сказали, что мы должны немного подождать, пока хозяйка встанет и примет нас. Она занимает дом одна; комната, куда нас проводили, была убрана просто и в то же время богато; на стене висел портрет удивительно красивого мальчика с длинными черными волосами, вопросительно смотревшего на нас своими большими глазами; портрет привлекал внимание тем, что был превосходен и написан в манере Ван Дейка.

На портрете был изображен ее сын, мальчик лет двенадцати или четырнадцати. Она очень любит его, и когда мы позднее рассказали ей о впечатлении, какое произвел на нас портрет этого интересного и красивого

мальчика, ее это, казалось, очень обрадовало. «Не правда ли, — сказала она с наивнейшим материнским апломбом, — какое милое человеческое лицо?» <...>

Нас провели в маленький салон, посреди которого она сидела в низком кресле, закутавшись в коричневый утренний халат необычного покроя. Полная, круглая голова непокрыта, черные, необыкновенно пышные волосы были расчесаны на пробор в греческом стиле и связаны в низко свисавший узел. <...>

Шопен приготовил ей кофе у камина, и она пила его, принимая нас с веселой сердечностью и оживленно к нам обращаясь. Гейне, казалось, был ей очень дорог; она провела рукой по его волосам и в высшей степени прелестно выговаривала ему за то, что он так долго не был у нее.

Сначала о писательстве совсем не было речи, обсуждали нескольких общественных деятелей, а затем перешли к разговору, затрагивающему общие интересы. Гейне, который был очень оживлен, говорил в основном один, и Санд, которая еще пила кофе, лишь изредка вмешивалась в ход беседы и вела ее в спокойном, благожелательном, очень определенном тоне. Позже, когда наше общество увеличилось и разговор стал очень оживленным, она участвовала в нем все в той же свойственной ей манере: долго слушала, несколькими словами выражала поддержку какому-нибудь из высказанных мнений или сама высказывала какое-то мнение, не совпадающее с другими. Если кто-то навязывал ей нечто свое, отличное от ее взглядов, или протестовал против того, что она считала правильным, то она серьезно и молча выслушивала собеседника, изредка прерывала его, вставляя отдельные слова, и чаще всего, когда ее противник уже заканчивал возражения, заявляла, что не может разделить его взгляд. В подтверждение своих слов она приводила довод, который считала главным, но при этом придавала мало значения поискам истины в споре или вообще в него не вмешивалась. Результаты казались ей надежнее и важнее, чем диалектика ведущих к ним рассуждений. Для выражения ее лица была преимущественно характерна мягкая серьезность, которая обычно, когда она обращалась к Гейне, переходила в мягкую веселость или даже в короткий сердечный смех, которым она сопровождала по большей части его остроумные и неожиданные реплики. После того как она выпила кофе, она свернула себе несколько маленьких бумажных сигареток из легкого табака и, держа их на ладони, оглядывала гостей, которых тем временем

стало больше, в поисках вероятных курильщиков, которые могли бы составить ей компанию. Первым с этой точки зрения ею был замечен Рошфуко, потомок знаменитого фронтера и друга Савиньи. Состен, который был известен под этим именем как очень разговорчивый человек, вездесущий приверженец законной власти, постоянно сопровождаемый маленькой отвратительной собачкой, был тотчас определен: заядлый любитель нюхать табак, придворный. «Вы не курите?» — «Нет, мадам». Знаменитый актер по фамилии Бокаж еще не поддался этой распространявшейся в Париже привычке; Гейне тоже не курил. «А, вы ведь из Германии, — сказала она, — выкурите со мной сигаретку».

Вскоре после этого в гостиную вошел бедно одетый человек невысокого роста, облаченный в старомодный темно-зеленый сюртук, обутый в низкие башмаки из толстой кожи, которые вместе с серыми чулками придавали ему вид скромнейшего провинциала. Жорж Санд по-дружески приветствовала его как хорошего знакомого. Несколько раз он робко, без обычной французской уверенности в себе поклонился в разные стороны, и для его близоруких глаз потребовалось некоторое время, прежде чем он сориентировался среди собравшихся. Потом он уселся рядом со мной, надел на нос большие очки в солидной оправе и некоторое время молча прислушивался к разговору, который Гейне в этот момент ловко перевел на свою любимую тему — сенсуализм. Заметив это, госпожа Санд, улыбаясь, посмотрела искоса на вновь прибывшего, а затем на Гейне и назвала его ветрогоном.

Пришельцем был Ламенне, тот самый бретонский священник, который уже доставил курии столько беспокойства. <...> Его бретонское происхождение, наоборот, и помогло ему вступить на стезю религиозных исканий, ибо бретонцы, это упорное, живущее на небольшой территории древнее племя, одарены религиозностью куда в большей степени, чем все остальные французы <...>. Внутренняя жизнь бретонцев не содержит ничего характерно французского, она ближе к внутренней жизни англичан и немцев, чем к особенностям галльского характера, который и сегодня распространен по всей Франции. <...>

Именно таким, совершенно бессильным, проявил себя Ламенне в этом обществе, где его мир столкнулся с могуществом светской жизни, с легкомысленными, но острыми приемами полемики, которыми владел Гейне. Этот последний обычно редко говорил последовательно

и еще реже систематически и связно защищал свои мысли, но в этом обществе он был совершенно другим, отличным от того Гейне, каким его привыкли видеть. Исполненный задора, он напал на весь этот бретонский спиритизм с таким беспощадным остроумием, что расшевелил все общество. Госпожа Санд, совершенно лишенная остроумия в силу своей душевности и связанного с этим стремления к примирению противоречий, попыталась прекратить спор, но и это она делала лишь вполсилы, потому что смех, вызываемый у нее речами Гейне, мешал ей проявить свою волю и говорить с полным убеждением. Все смотрели на Ламенне. Атаки Гейне были слишком остроумными и слишком тонкими, чтобы Ламенне мог их игнорировать как нарушение правил хорошего тона или проявление навязчивости; далее, при разных поворотах, которые уже пережил этот разговор при чисто французских тактических формах разрядки, которые всегда находились, несмотря на крайнюю разнородность общества — здесь присутствовали и легитимисты, и свободные монархисты, и республиканцы, — каждый ожидал, что Ламенне наконец прекратит спор каким-нибудь значительным высказыванием, особенно при том, что госпожа Санд часто вставляла разные замечания, желая помочь ему. Был ли это недостаток внутренней свободы, удерживавший Ламенне от того, чтобы, обретя необходимую непринужденность, понять и принять этот другой мир, который заявлял о себе с таким весельем и жизнерадостностью? Он улыбался, он смеялся, но смех его был кислым и неприятным, как у человека, который не способен смеяться от души. Напрасно мы надеялись, что он хотя бы один раз противопоставит колющему оружию Гейне, затеявшего этот спор, широкий острый клинок догматической твердости. С большим участием Ламенне расспрашивал меня о наших церковных неурядицах, о кельнском и позенском архиепископах, о состоянии дел в Мюнхене и заверил меня в том, что, по его мнению, немцы разрешат эти вопросы наилучшим образом, что он испытывает величайшее уважение к немецкой науке и немецкому образованию, что он охотно изучил бы немецкий язык и познакомился с Германией. Гейне шепнул мне украдкой: «Вы же не можете требовать большего!»

<В своих «Мемуарах» (1875 г.) Лаубе несколько расширил эпизод с Ламенне, продолжив его следующим образом: >. Будучи уже в зрелом возрасте, этот бретонец продолжал оставаться убежденным защитником папского всемогущества, и Лев XII предложил ему

кардинальскую шапку. Только во время Июльской революции он перешел на сторону народной партии и бросил в своем журнале «L'Avenir»¹ вызов одновременно государству и церкви, избрав девизом журнала слова «Бог и свобода». Папа римский особо проклял это учение Ламенне, и тот, по-видимому раскаявшись, в 1832 году ушел в себя; более того, он написал заявление, где говорилось, что в дальнейшем будет строго следовать ортодоксальному учению католической церкви: Однако это оказалось для него невозможным, и спустя два года он издал сочинение, которое привело в движение всю Европу. Оно было переведено на все языки — для нас его перевел сам Бёрне — и вышло в сотне изданий. Оно называлось «Paroles d'un croyant»². Его называли песней песней революции, потому что оно было написано изысканнейшим французским языком в стиле Боссюэ. И когда оно снова было проклято папой, Ламенне издал «Affaires de Rome»³, в которых цели папства были представлены как противоречащие любому естественному и христианскому праву.

На этой точке зрения богословского и политического радикализма он и находился в то время, к которому относится его визит к госпоже Санд, описываемый здесь. Итак, он вошел и, избегая резких движений, сел и принял участие в разговоре, высказываясь столь же деликатно. Его и Жорж Санд соединяла задушевная дружба, и никто не мог быть менее подходящим для атмосферы этой дружбы, чем Генрих Гейне, который как раз в тот день был чрезвычайно весел и бодр духом. Хозяйка дома тотчас увидела опасность и попыталась завести беседу с каждым из них по отдельности. Но Гейне все продолжал обращаться к кротко и благожелательно уклонявшемуся от ответов священнику и сводить разговор на общие принципы. Было невозможно ошибиться: он не скрывал своего дерзкого намерения поиздеваться над Ламенне. Французы называют это «gailler». Он испытывал постоянную антипатию к самому понятию поп. Желая доставить мне еще большее удовольствие, он шепнул мне на ухо: «Этот сентиментальный поп однажды чуть не стал папой; теперь слушай!» После этого он стал задавать ему все более острые вопросы, высказывать все более резкие утверждения и придавал разговору столь

¹ «Будущее» (фр.).

² «Речи верующего» (фр.).

³ «Римские дела» (фр.).

остроумные повороты, что все присутствовавшие хохотом выражали свое одобрение. <...> Госпожа Санд испытывала величайшее смущение, хотя и встречала его остроумно-комические слова кисло-сладкой улыбкой, и все время просила его выразительными взглядами, чтобы он наконец перестал. Сам Ламенне отделивался точно такими же улыбками и терпеливо сносил нападки этого несносного чада мира сего.

Никогда я не видел Гейне в таком ударе, как во время этого светского разговора. Часто он говорил по-французски медленно и запинаясь, хотя, между прочим, тщательно занимался языком, но на этот раз речь его текла с губ подобно водопаду, и он, особо не задумываясь, тут же находил самые точные выражения, как француз, прекрасно владеющий родным языком; он был подобен во время этого утреннего приема императору духа.

Дек. 1839/январь. 1840

ИЗ ВВЕДЕНИЯ К «МОНАЛЬДЕСКИ»

(* 1845)

Как всякий немец, я был предубежден против классической французской трагедии. Шлегелевское суждение вошло в нашу кровь. Даже Рахель не могла переубедить меня. Но чем дольше я жил во Франции, тем отчетливее я сознавал, что Шлегель не понял французскую душу трагедии. Правда, применительно к сегодняшнему дню она несколько заострилась в трагедии Французского театра, но она и сегодня теснейшим образом связана с лучшими качествами нации. Она тоща и чудосочна в сравнении с образцом драматического искусства, каким мы его видим у древних, у Шекспира и у наших классиков; но в ней больше правильных принципов и больше привлекательности, чем обнаружил в ней Шлегель. Частично я обратил внимание на это благодаря тому, что однажды Гейне в моем присутствии с восхищением говорил о сладкой прелести Расина, Гейне, который, конечно, знает толк в поэтическом очаровании и мыслит и говорит, не прибегая ко всем этим пустым фразам.

В этот первый период моей парижской жизни Лаубе познакомил меня с Вагнером, а затем сразу же и также с его помощью состоялось мое знакомство с Гейне, чего я давно и с нетерпением ожидал. Лаубе, который уже давно был близким другом Гейне, пригласил нас обоих на скромный обед в расположенный напротив Оперы ресторан Броччи, куда и Гейне хотел прийти со своей женой. Эта красавица-француженка прежде всего одержала блестящую победу над обеими немками. Шаловливая, наивно-прелестная и невежественная, как дитя, она затмила как бесконечно умную, но заметно отцветшую госпожу Лаубе, так и добрейшую, но несколько пошловатую госпожу Вагнер. Правда, она со своей пышной фигурой и чудесным матовым, бархатным цветом лица так и осталась чем-то вроде кушанья, выставленного напоказ, но тем не менее восхитительно-го, хотя она вряд ли когда-либо в своей жизни поднялась выше роли несносного ребенка, который тем не менее одним своим смехом мог обрадовать человека. Гейне, о котором она лишь в общих чертах знала, что он «*poète allemand*»¹, относился к ней вряд ли намного иначе, чем к канарейке, но тем не менее явно нежно любил ее. Раньше я никогда не представлял себе, что он так похож на щурящегося Юпитера. Но, правда, на Юпитера со слишком короткими ногами, которому его весьма заметный животик и источающие довольство манеры придавали вид бонвивана. Он был тогда в расцвете своих сил <...> но, несмотря на свою великолепную голову поэта с мощным лбом, орлиным носом и чувственным, но очень приятно подергивающимся ртом, не производил по-настоящему импонирующего впечатления, потому что он, будучи очень близоруким, все время неприятно прищуривал свои красивые сами по себе глаза, весьма редко раскрывая их, а также потому, что он тем отчетливее выдавал своей плохой осанкой свое еврейское происхождение, ни малейшего признака которого нельзя было отыскать в его вполне германской голове с белокурыми волосами и голубыми глазами, но все же у него, плечистого и хорошо

¹ Немецкий поэт (*фр.*).

сложенного, была шаркающая, небрежная походка, свойственная его расе. Он почти никогда не говорил связно, но все время лишь делал выпады по чьему-либо адресу или бесконечно забавные замечания, особенно если был раздражен тем, что ему возражали. Он явно имел всегда в запасе несколько готовых блестящих острот и направлял разговор таким образом, чтобы использовать их и произвести нужное впечатление. Так как Лаубе тоже был мастером острить и говорить колкости, а равного Вагнеру в искусстве живого рассказа было трудно найти, то беседа этих людей, которые и без того были возбуждены присутствием красивых женщин и хорошим вином, была, конечно же, одной из самых блестящих бесед, которые я когда-либо слышал. Видимо, так же считали и другие, ибо через некоторое время я заметил, что за ближайшим к нам столом сидят немцы, которые все время наблюдают за нами и прислушиваются к тому, что говорится. Вскоре я заметил, что и сидевшие за другим столом были заняты тем же, и, наконец, я услышал немецкую речь за всеми остальными столами; так, полагая, что нас никто не подслушивает, мы случайно попали туда, где собрались одни наши земляки, среди которых, возможно, были и шпионы, что в то время могло иметь для нас дурные последствия.

РИХАРД ВАГНЕР

ИЗ ПИСЬМА РОБЕРТУ ШУМАНУ

Париж, 29 дек. 1840

Я слышал, что Вы положили на музыку Гейневых «Гренадеров» и что в конце песни у Вас звучит «Марсельеза». Прошлой зимой я тоже положил их на музыку и в конце тоже ввел «Марсельезу». Это что-то значит! Своих «Гренадеров» я сразу же написал на французский текст, который я заказал здесь и которым Гейне остался доволен. Песню время от времени поют, и она принесла мне орден Почетного легиона и 20 000 франков ежегодной пенсии, которую я получаю непосредственно из личной кассы Луи Филиппа.

ИГНАЦ КУРАНДА

ИЗ ПИСЬМА АДОЛЬФУ НОЙШТАДТУ

Париж, 19 сент. 1840, 5 часов пополудни

В эти минуты Гейне сидит за моим бюро и пишет краткое сообщение об истории с евреями в Дамаске для «Всеобщей газеты»; а я взял эти листы со стола и продолжаю писать тебе письмо, в то время как у меня за спиной скрипит пером Гейне. В первые дни после моего приезда Гейне здесь не было; когда он вернулся из своего путешествия, маленький Вейль рассказал ему о том, что я здесь. Он пригласил меня к себе; однако я сообщил ему, что мне было бы неловко приехать к нему, так как однажды где-то были напечатаны его слова о том, как сильно он пугается каждый раз, когда ему наносит визит какой-нибудь немецкий литератор. В ответ на это Гейне был столь любезен, что побывал у меня первым. С тех пор мы почти ежедневно проводим вместе по нескольку часов. Он не такой, каким мы его себе представляли; я бы даже хотел, чтобы он был более гордым. Вообще в Германии о нем неправильное представление. Гейне — дородный красивый сорокалетний мужчина такого же телосложения, как Людвиг Лёве в Вене, у него слегка седеющие волосы, и он небрежно одет. В характере у него некоторое сходство с ..., он ведь тоже не умеет придать себе нужный вид, и у него здесь совсем нет друзей. Он живет жизнью журналиста, *не являющегося редактором!* Сердце разрывается, когда видишь, как такой великий поэт... Он женат на Матильде, которую часто упоминают в рассказах о нем; это приятная полная француженка. Немецкому поэту нужна жена-немка; но что такое немецкие женщины, начинаешь понимать только в Париже. Того понятия о семейной жизни, которое существует у нас в Германии, здесь нет. Только сейчас я начинаю понимать путаные рассуждения Жорж Санд о свободной женщине; такие мысли могут, видимо, зародиться в Париже, не будучи здесь неестественными, но в Германии, слава богу, они нелепы. Теперь представь себе немецкого поэта с его мечтами и устремлениями, рядом с которым живет женщина, не понимающая по-немецки ни слова, которой он ничего не может прочесть, которая не может обратить его внимание на те бредни, до которых иногда договаривается

каждый поэт, и ты поймешь, почему Гейне иногда может так грубо ошибаться, как это снова случилось в его последней книге, где ряд великолепных мест едва-едва могут скрыть имеющиеся там ляпсусы. К этому добавь еще удаленность от места, где книга печатается, и прежде всего удаленность от страны, для которой писатель пишет. Гейне все еще знает только Германию 1830 года; все изменения, которые произошли за эти десять лет в наших воззрениях, произошли, конечно, и с ним, но на французский лад, и это является злополучным источником диссонанса между поэтом и его народом. Сейчас Гейне лихорадочно взволнован из-за... Со всем пылом души он начал писать брошюру против... и я считаю своей заслугой то, что мне удалось отвлечь его от этой идеи. Я думаю, что этим я сделал доброе дело. Я сказал ему, что, вместо того чтобы писать полемическое сочинение, ему следовало бы лучше создать что-то новое и таким образом он скорее сможет заткнуть рот своим врагам. Он хочет это сделать; но у него слишком много забот, чтобы обрести нужное для этого спокойствие. Бедняга! В ближайшее время у Кампе выйдет новый том его «Салона», в котором наряду с перепечаткой нескольких уже опубликованных ранее стихотворений и статей будет помещена новелла из еврейской жизни, написанная так, как это может сделать только Гейне.

ФРАНЦ ЛИСТ

ИЗ ПИСЬМА КРИСТИНЕ БЕЛЬДЖОЙОЗО

Динан, 20 окт. 1840

Только я перешел парижские Бульвары, как меня остановил Гейне, жизнерадостный, как всегда, спрашивает, что нового у Вас, и заканчивает колоссальнейшим, восторженнейшим, справедливейшим панегириком (!) прекрасной княгине. Он все не может примириться с Вашим отсутствием и с каждым днем оплакивает Вас все горше. А впрочем, он гораздо лучше расскажет об этом сам, написав Вам с утра письмо, ибо спрашивал у меня Ваш адрес, которого я ему так и не дал.

ГЕНРИХ БРОКГАУЗ

ИЗ ДНЕВНИКА

Париж, 4 ноября 1840

Он <Гейне> все время по разным поводам с нами вздорил, часто нападал на затеянные нами дела и, в свою очередь, неоднократно подвергался резкой и суровой критике в наших «Листках <для литературного развлечения>», так что отношения между нами были отнюдь не самыми лучшими. Тем не менее принял он меня очень учтиво, да и я должен признать, что он произвел на меня более благоприятное впечатление, чем я ожидал. По натуре своей он преисполнен добродушия, но всецело одержим бесом тщеславия, которому в критических случаях приносит себя в жертву. Я долго беседовал с ним и вначале высказал ему свое мнение о тех жестоких и грубых выпадах, которые он всегда делал против Тика и Раумера. Прием, какой встретила в Германии его книга о Бёрне, очень его огорчил, и это занимает его больше, нежели он хотел бы показать. Он привел множество доводов, чтобы представить свое поведение в более выгодном свете: он не хотел сказать ничего дурного, публики неверно его поняла; эту книгу он написал много лет тому назад и едва помнит, что там написано; заглавие придумал Юлиус Кампе; этот человек, вследствие своей болтливости, ставшей для него второй натурой, весьма способствовал плохому приему книги и раздорам между людьми. В сущности, его суждение о Бёрне верно, однако, понося его после смерти, Гейне одновременно выступает против либерализма, что и произвело такое плохое впечатление в Германии, где Бёрне стал как бы символом последнего; вдобавок еще дерзкий и фривольный тон и множество выпадов во все стороны. Гейне очень просил меня подготовить совершенно беспристрастную критическую статью в «Листках для литературного развлечения»; однако я думаю, что ему и здесь этой книги не спустят; он поступил бы правильно, последовав моему совету: самому высказаться перед публикой об этой книге и якобы имеющих место недоразумениях. К стати, приведу слова одной парижанки о Гейне, который был с ней в связи, — они, во всяком случае, весьма мало согласуются с общераспространенным мнением о нем: «Heine

c'est un très bon garçon, très bon enfant; mais quant à l'esprit, il n'en a pas beaucoup!»¹ Гейне добродушный, но глупый!!

Париж, 13 сент. 1842

Сегодня я долго разговаривал с ним — он держится по-прежнему. Беседа с ним доставляет удовольствие, но в его присутствии я бы не мог долго чувствовать себя уютно; он насмехается надо всем, а мне претит это негативное направление, которое в конце концов оборачивается беспринципностью.

ЭЛИЭ ФУРТАДО

ИЗ ПИСЬМА ЦЕЦИЛИИ ГЕЙНЕ-ФУРТАДО

Париж, нач. янв. 1841

Разве твой свекор <Соломон Гейне> не сообщил тебе о том, что он отдал мне категорический приказ уменьшить пенсию поэта <Гейне> со 100 до 50 франков в неделю? Только что я был вынужден довести это до его сведения, потому что он, как всегда торопясь получить свои деньги, несмотря на праздник, явился требовать пенсию за январь и был немало удивлен моим сообщением. Он ушел страшно разгневанный на г-на Гейне и на меня, с твердым решением, как он мне сказал, отправить больную жену в больницу, поскольку у него нет средств лечить ее дома; это всего лишь пустая угроза, которой он не выполнит и о которой не стоит рассказывать твоему свекру.

ЖОРЖ САНД

ИЗ ДНЕВНИКА

Париж, 7 янв. 1841

Гейне отпускает чертовски забавные замечания. Сегодня вечером, говоря об Альфреде де Мюссе, он сказал: «Это молодой человек с большим прошлым!»

¹ Гейне — очень добрый парень, очень добрый малый, но что касается ума — этого у него маловато! (фр.)

Шутит Гейне весьма язвительно, и его остроты ранят больно. Его считают злым человеком, но это глубоко ошибочное мнение; насколько злой у него язык, настолько же доброе сердце. Он нежен, привязчив, предан, восторжен в любви и даже слаб — женщина может возыметь над ним безграничную власть. При всем том он циник, насмешник, скептик, рационалист и на словах материалист, способный напугать всякого, кто не знает его внутреннего мира и тайн его личной жизни. Так же как его стихи, он являет собой смесь самой благородной чувствительности и самого язвительного шутовства. Это юморист, вроде Стерна<...> Я не люблю насмешников, но эти двое мне всегда нравились. Я никогда их не боялась, и мне никогда не приходилось на них жаловаться. Все дело в том, что их язык и перо всегда готовы высмеять встречающиеся у людей неприятные странности, и вместе с тем они обладают поэтической и великодушной натурой, горячо отзывающейся на искренность и дружбу. Есть чрезвычайно глупые люди, и их языка я очень боюсь, но истинный ум, как мне кажется, может быть злым только со злыми.

РИХАРД ВАГНЕР

1841

ИЗ НАБРОСКОВ АВТОБИОГРАФИИ

(1842)

«Летучий голландец», близкое знакомство с которым я свел на море, продолжал пленять мою фантазию; потакая ей, я познакомился со своеобразным использованием этого сказания у Г. Гейне в одной из частей его «Салона». Найденная Гейне истинно драматическая версия избавления этого Агасфера океана дала мне в руки все необходимое, чтобы использовать это сказание для оперного сюжета. Я договорился по этому поводу с самим Гейне, набросал план и передал его господину Леону Пилле с предложением заказать по этому плану либретто на французском языке.

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА

(* 23.6.1841)

Париж, 19 июня. Господин Генрих Гейне 14 июня прилюдно, на улице, получил пощечину. Вашим читателям будет интересно узнать, каков был непосредственный повод к этому и как это произошло на самом деле, поскольку г-н Гейне с того дня вызвал много толков о себе. Несколько лет тому назад, когда Бёрне уже порвал с г-ном Гейне, кто-то шулки ради пустил слух, будто Бёрне собирается написать биографию Гейне для издаваемой Шпациром «Галереи выдающихся евреев». Г-н Гейне, которого ничто так не бесит, как причисление его к иудеям, пригрозил, что если Бёрне напишет его биографию, то он опозорит приятельницу Бёрне, госпожу Ш<траус>, и чувствительно ему отомстит. Когда супруг госпожи Ш<траус> попросил у него объяснений по этому поводу и потребовал сатисфакции оружием чести, то г-н Гейне повел себя так, что опубликованный им вызов Менцелю выглядит смешным: он отверг дуэль вообще. И вот после смерти Бёрне вышла пресловутая книга Гейне, к которой вся Германия единогласно выразила отвращение и которую здесь тоже все немцы порицали за ее фривольность. Злоба против благородной подруги Бёрне доведена там до предела. Женщина была скандальнейшим образом опозорена. И вот 14-го числа на улице Ришелье г-н Ш<траус> встретил г-на Гейне. Сказав последнему несколько резких слов, господин Ш<траус>, не располагавший никаким другим (!) оружием против оскорбителя своей жены, закатил господину Гейне увесистую пощечину. Вокруг них мгновенно собралась целая толпа. Господин Ш<траус> заявил господину Гейне, что он готов к любому поединку чести, и дал ему свой адрес. Господин Гейне в растерянности приподнял шляпу и тоже дал господину Ш<траусу> свою визитную карточку. Ожидалось, что ссора разрешится в том духе, какой всегда подобает образованным и порядочным людям, однако Гейне поспешно, на другой же день, отбыл в Пиренеи. По этому поводу всякий без труда вынесет надлежащее суждение, и господину Гейне вслед за бесчестьем литературным пришлось теперь испытать и личное бесчестье.

СОЛОМОН ШТРАУС

14 июня 1841

В РЕДАКЦИЮ «ТЕЛЕГРАФА» (К. ГУЦКОВУ)

(* нач. сент. 1841)

Отейль, авг. 1841

С большой неохотой решаюсь я вновь напомнить в этом письме о деле, налагающем на меня и без того печальную необходимость; однако я почитаю своим долгом дать порядочным людям в Германии, готовым заранее поручиться за достоверность моего сообщения, точный отчет о происшедшем. И Вы, милостивый государь, в № 12 Вашего «Телеграфа», по-видимому, с полным доверием требуете от меня подобного объяснения касательно дела с Гейне. Я же могу честью заверить Вас, что происшествие с Гейне было в точности таким, как оно изложено в газетах. 14 июня после полудня я встретил его на улице Ришелье. Только когда Гейне уже отошел от меня на несколько шагов, я, оборотившись, узнал его, а он, по-видимому, в ту же минуту узнал меня, ибо поспешно завернул на улицу Святого Марка. Я—за ним и, наградив его несколькими не очень вежливыми эпитетами, проучил его, как он того заслуживал, — дал пощечину. Он протянул мне свою визитную карточку, а я крикнул ему, где живу, поскольку карточки у меня при себе не было. Он отвечал: «Я уж вас найду». Оказывается, я воздал ему незаслуженную честь, полагая, что он потребует у меня удовлетворения: в ближайшие затем дни он укатил в Пиренеи. Оттуда посыпались новые мерзости, но что не могло не поразить даже тех, кто был самого низкого мнения о его характере, так это его наглое запирательство. Мне претило сразу же, так сказать, удостовериться в газетах, что я на самом деле дал ему пощечину; к тому же за это время, как Вам хорошо известно, нашлись люди, подтвердившие в немецких газетах истинность этого происшествия.

АЛЬФОНС РУАЙЕ И ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

ИЗ ПИСЬМА СОЛОМОНУ ШТРАУСУ

Париж, 8 авг. 1841

Исполняя свой долг, мы сообщили г-ну Гейне имена двух выбранных Вами секундантов, и г-н Гейне ответил

нам, что он отводит г-на Колофа как секунданта в этом деле так же, как отвел бы г.г. Шустера и Гамберга, подписавших письмо, где утверждаются факты, отрицаемые г-ном Гейне. Имеем честь, сударь, уведомить Вас о происшедшем и надеемся, что Вам угодно будет преодолеть это затруднение и присоединить к г-ну Распайлю другого секунданта. Было бы весьма кстати, сударь, если бы Вы могли сообщить о своем выборе нам и г-ну Распайлю не позднее завтрашнего вечера, поскольку Ваши секунданты назначили встречу на вторник, и мы уже ответили г-ну Распайлю, что предложенные им день и час нам удобны.

ЮЛИУС ЗИХЕЛЬ

ПИСЬМО СОЛОМОНУ ШТРАУСУ

Париж, 15 авг. 1841

Дорогой господин Штраус!

Только что я получил от господина д-ра Шустера разъяснение и передал его господину Гейне, — о том, что в Вашем деле отсутствует очевидец. Одновременно из письма секунданта господина Гейне я узнал, что Вы отказываетесь драться с ним на пистолетах. По единогласному суждению многих весьма достойных и опытных людей (в их числе один из наших соотечественников, во Франкфурте всем известный и всеми уважаемый) подобный отказ, после того что Вы повсеместно распространялись о том, как дали господину Гейне пощечину, может иметь для Вас и Вашей репутации лишь самые дурные последствия. Г-н Гейне публично ославит Вас как лжеца и трусливого хвастуна, и против этого Вы совершенно ничего не сможете поделать, поскольку у Вас нет свидетеля. Я просил господина Гейне не предпринимать более никаких шагов, прежде чем я не поговорю с Вами, и ежели Вы пожелаете прислушаться к моему совету, то завтра утром между семью и девятью часами или завтра вечером от семи до девяти я в Вашем распоряжении, будь то у меня на квартире или у Вас, однако само собой разумеется, что мы должны быть одни; мне было бы неприятно в настоящий момент встретиться с Вашей супругой.

АНОНИМ

Авг. 1841

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА

(* 4.9.1841)

Гейне послал г-ну Штраусу картель и вызвал его драться на пистолетах. Штраус ссылается на старые порядки, согласно которым право выбора оружия принадлежит ему, и намерен драться на саблях. Гейне против этого возражает, говоря, что он хочет держать ответ за оскорбление, ранее нанесенное им г-ну Штраусу, хотя оно давно утратило силу и г-н Штраус никогда не требовал за него сатисфакции; за последнее он готов позднее драться любым видом оружия, но теперь право выбора имеет он и на своем праве настаивает; дуэль должна быть серьезной. Отвращение г-на Соломона Штрауса к пистолетам изумляет его лучших друзей, и настало время ему решиться. Впрочем, Гейне будто бы получил картели от разных людей. Одному из таких непрошенных противников он ответил, смеясь: «Если вам надоела жизнь — повесьтесь».

АНОНИМ

6 сент. 1841

ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА

(* 8.9.1841)

В Сен-Жермене произошла дуэль между г-ном Генрихом Гейне и г-ном Штраусом, его соотечественником, по причине взаимных нападков в немецких журналах. Единственным результатом этого дела была сильная контузия бедра, причиненная г-ну Гейне рикошетом пули.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

Авг.—сент. 1841

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

<...> накануне дуэли он как честный человек счел своим долгом обеспечить будущее «своей малютки». Ввиду этого обмен выстрелами был отложен и должен был состояться сразу после церемонии бракосочетания. Обо всем этом он поведал мне не без смущения, что

резко отличалось от его обычной непринужденной манеры говорить. Но какой мужчина не испытывает известного замешательства, сообщая, что он уже не свободен? Я не стала ни о чем спрашивать, не выразила ни малейшего удивления и со смехом попросила у него разрешения сообщить эту новость Россини, который будет невыразимо счастлив ее услышать.

— Почему же? — с тревогой спросил Гейне.

— Потому, вероятно, что в нем силен корпоративный дух, — ответила я, — ему приятно оказаться в кругу знаменитых собратьев. Совсем недавно, несколько дней назад, я упомянула при нем г-жу Берье. «Как? — в изумлении спрашивает Россини. — Разве мой друг Берье женат?» — «Разумеется, — отвечаю, — уже несколько лет и на очень хорошенькой женщине». Тут великий маэстро воскликнул, вне себя от радости: «О, какое счастье! Подумать только, у него тоже имеется законная жена, законная супруга! В точности как у меня! Эта мысль наполняет меня таким же удовлетворением, как если б я увидел блюдо превосходных макарон!»

— Ну если так, — бодро сказал Гейне, — прибавим к этому счастью еще и другое, счастье знать, что я, как и он отныне подвергнусь всем превратностям супружеской жизни, и пусть он положит эту историю на музыку, в то время как я превращу ее в стихи. И еще пусть знает: мое счастье решилось, когда я был под дулом пистолета.

Тут он перешел к рассказу о дуэли, в которой его противником был один немец. Он прелестно описал место, где произошел поединок, и странное волнение, охватившее его.

«Небо было такое голубое, такое чистое! Все яблони в цвету! Вокруг меня разливалось благоухание полей, и от этого жизненная сила во мне выиграла стократ больше обычного: я вознес моления Флоре и Помоне. Перед лицом смерти душа моя вернулась к язычеству. Видно, бог не захотел, чтобы пуля сразила меня в ту минуту, когда я думал лишь о прекрасном в этом мире... о том, что трогает чувство».

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

Сент. 1841

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1883)

Когда должна была состояться дуэль с г-ном Штраусом, многие друзья Гейне, истинные и ложные,

убедили его, что необходимо навести порядок в его отношениях с Матильдой и вступить с нею в настоящий, законный брак перед тем, как стреляться. Я находился тогда в Германии, где поломал за него немало копий, ибо он подвергался нападкам со всех сторон.

К моему возвращению в Париж он был уже две недели как женат. Он сказал мне в присутствии жены: «Эта ужасная г-жа Воль жестоко отомстила мне. Из-за нее я теперь женат, но я и сам, в свою очередь, сумею отомстить. Вернувшись из церкви, я написал завещание. Я оставляю все имущество жене, но с единственным условием, а именно: чтобы после моей смерти она сразу же вступила в новый брак. Хочу быть уверен в том, что на свете останется хоть один человек, который каждый день будет сожалеть о моей кончине, восклицая: «Бедняга Гейне, зачем он умер? Будь он жив, мне не досталась бы его жена!» А Матильда рассмеялась и сказала: «Можешь острить сколько угодно, но ты ведь знаешь, что я тебя не покину ни живого, ни мертвого; если вдруг завтра тебя не станет, я никогда больше не выйду замуж!» И она сдержала слово. Гейне поставил своей будущей жене только одно условие: она должна была обещать никогда не исповедоваться священнику. «Если тебе вдруг непременно понадобится духовник, — добавил он, — возьми маленького Вейля, он будет хранить тайну не хуже тебя самой».

ГЕНРИХ БЁРНШТЕЙН

Нач. 1842

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1884)

<...> и после этого я пошел с Борнштедтом к Генриху Гейне.

Мы велели передать ему наши визитные карточки, и через некоторое время гениальный поэт вышел в кухню, извинился за то, что ему приходится принимать нас здесь, так как мадам Матильда еще в полнейшем неглиже и гостиная еще не убрана; потом он уселся на кухонный стол и попросил нас сесть, указав на два деревянных стула. Хотя было уже девять часов, сам Гейне также был еще в полнейшем неглиже; голова его была повязана большим фуляровым платком, костюм его составляли белая ночная кофта, такие же подштанники, незавязанные тесемки которых, подобно кры-

лышкам Меркурия, болтались у лодыжек, и слишком просторные домашние туфли. Как это далеко от того идеального образа моего любимого поэта, который я создал в своей фантазии! Однако приветливое и исполненное ума лицо, красивые глаза, его любезность вскоре примирили меня с его непоэтическим неглиже. «Да, господа, — сказал он, после того как мы объяснили ему положение дел, — я охотно помогу моим неблагодарным землякам, насколько это будет в моих силах, но денег у меня нет, я сам пролетарий от литературы, живущий корреспонденциями в журналах, «каналья фельетонист», как нас называют в Германии. Но у меня есть несколько друзей в Париже, и я буду ходатайствовать о помощи перед ними». Он дал нам список адресов немецких семей, пригласил меня вскоре снова побывать у него, что я и сделал, и я оставался с ним в самых дружеских отношениях до тех пор, пока он тяжело не заболел.

ЭДУАР ГРЕНЬЕ

1842(?)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(*авг. 1892)

Мы с ним познакомились не совсем обычным образом. У меня в ушах еще звучит молодой и свежий смех его давнего и очаровательного друга, г-жи Жобер, когда я рассказывал ей эту историю, — это очень забавляло ее, и она часто просила рассказать ее снова.

Когда я вернулся из Германии в конце 1838 года, одной из первых моих забот было найти читальню, где имелись бы немецкие журналы, где бы я смог пусть издали, но все же следить за политическим и литературным движением в стране, которую недавно с таким сожалением покинул. Мне удалось найти такое заведение на площади Дувуа. Я часто навещался туда. Однажды я уселся за зеленый стол, заваленный газетами, между двумя какими-то людьми, на которых сначала даже не взглянул. Но один из них вскоре привлек мое внимание непрерывным кашлем, почти столь же утомительным для других, сколь и для него самого. Мой второй сосед в конце концов вышел из терпения, и вот, во время очередного приступа кашля, более сильного, чем предыдущие, послышалось довольно громкое: «шш! шш!» После приступа вновь воцарилось спокойствие, но ненадолго: кашель не замедлил

возобновиться, и тут снова раздалось: «шш! шш!», причем уже более повелительное. Бедный больной в гневе обернулся к тому, кто шикал, и запальчиво спросил: «Сударь, это «шш» обращено ко мне?» Тогда другой мой сосед опустил газету, которую он держал у самых глаз, как делают близорукие, взглянул на задиру с презабавным удивлением, искренним или притворным, и ответил ему так изумленно, как только возможно: «О! Сударь, а я думал, это собачка». Я расхохотался и с любопытством стал разглядывать автора этой неожиданной реплики. Это был мужчина лет под сорок, среднего роста, довольно упитанный, без бороды, с длинными белокурыми волосами, высоким лбом, его помаргивающие глаза часто бывали полузакрты, особенно при чтении, а весь его облик не отличался утонченностью. Ничто в нем не выдавало поэта, художника или хотя бы светского человека: добропорядочный северный бюргер, говорящий с легким немецким акцентом. Это был Генрих Гейне. Услышав, как я расхохотался, он засмеялся тоже, потом заговорил со мною по-французски и стал давать объяснения по поводу своей ошибки, для того, вероятно, чтобы убедить нашего соседа в искренности предположения насчет собаки. Потом мы продолжали беседовать вполголоса, и, так как у меня в руках была «Аугсбургская газета», где он сотрудничал, он пожелал узнать мое мнение о корреспонденции из Парижа, помеченной условным шифром. Я простодушно расхвалил статью, не подозревая, что говорю с ее автором. Я собрался уйти и уже хотел с ним проститься, когда он тоже встал и вышел вместе со мною. На улице наша беседа легко возобновилась. По-видимому, его удивило и обрадовало, что молодой француз так хорошо осведомлен о немецких делах и недурно знает его родной язык; он захотел узнать мое имя, назвал свое и просил заходить к нему. В ответ на его любезность я вполне искренне сказал ему несколько приятных слов и выразил восхищение его «Песнями», а потом и зашел к нему. Он тоже стал бывать у меня, и притом гораздо чаще, чем я у него. Почти каждую неделю он взбирался по лестнице в мою студенческую мансарду. Вот так и началось мое постоянное и, можно сказать, весьма тесное общение с Генрихом Гейне.

Я уже сказал: ничто в его наружности не указывало на тот поэтический и чарующий ум, о котором теперь напоминает самый звук его имени. Разговор его был живым, остроумным и непринужденным, хоть он и говорил по-французски с акцентом, а порой и с ошибка-

ми. Наверно, я удивлю многих людей и в Германии и во Франции, если добавлю, что, говоря без запинки, владея многими трудностями нашего языка, Гейне не умел настолько свободно писать, чтобы без обработки представить свое произведение французскому читателю. Я получил от него много записок; и среди них не было ни одной, где какая-нибудь ошибка или небрежность не свидетельствовали бы о его иностранном происхождении. А что касается его статей, напечатанных в «Ревю де де Монд», то я знаю по опыту: хоть они и были подписаны его именем, их всегда переводил с немецкого кто-нибудь другой, а если он желал выполнить эту работу сам, такой перевод обязательно просматривался и правился каким-нибудь французским писателем. До меня Гейне пользовался услугами Лёве-Веймарса, Жерара де Нерваля; позже, уже после меня, это делал Сен-Рене Тайандье и, вероятно, еще и другие, которых я не знаю. Он прибегал к всевозможным уловкам и хитростям, чтобы скрыть этот свой недостаток, заставить публику по обоим сторонам Рейна поверить в то, что он пишет по-французски так же хорошо, как и по-немецки. Это ему удалось, и мне, наверное, будет весьма нелегко разрушить эту легенду, восстановив на этих страницах простую чистую правду. Но от этого она не перестает быть правдой, как говорил один, уж не помню какой, упрямый ученый.

1842 и позднее

Его знаменитая Матильда, фрау Матильда, на которой он только что женился и которую изображал немцам как тип элегантной, остроумной парижанки, была просто славная девчонка, пышная и цветущая, в которую он здорово влюбился и которую подобрал неизвестно где — на улице или в задней комнате какой-нибудь подозрительной лавчонки одного из парижских Пассажей.

Впоследствии он поселил ее у себя; он был сильно увлечен, очень ее ревновал, старался не показывать приятелям и в конце концов, конечно, женился. У нее не было ни ума, ни образования, она была красива и ленива, словно одалиска. В одном из моих писем 1839 <!> года я нашел следующие непочтительные строки: «Сейчас я гулял по Елисейским полям с Г. Гейне. Великий человек был убийственно скучен, а его жена глупа, как гусыня».

Жили они очень скромно, в квартире на улице Пуассоньер: у немцев нечасто встретишь потребность в

комфорте и вкус к изяществу. <...> Но я бывал там редко. Я сразу заметил, что Генрих Гейне предпочитает видаться со мной у меня дома. Я уже сказал здесь, что он был очень ревнив. <...>

Таким образом, ему приходилось взбираться по узкой лестнице в мою мансарду у Нового моста, и бывало это частенько. В первое время нашего знакомства я, как и следовало ожидать, был очень польщен вниманием человека старше меня годами и столь значительного. Я мог бы подумать, что он доставляет себе беспокойство ради удовольствия побеседовать со мной; такое объяснение было бы весьма приятно моему самолюбию. Но мне пришлось отказаться от подобных притязаний. Скоро я разгадал подлинную причину его визитов. То он просил перевести какое-нибудь свое стихотворение, а то — свои статьи в «Аугсбургской газете», с целью, как он утверждал, показать их его приятельнице княгине Бельдхойозо, которую я видел на скачках на Марсовом поле и которая вызвала у меня живейшее восхищение. Он знал об этом и обещал представить меня княгине. Привлеченный этой приманкой, я попался на крючок, то есть приняля услужливо переводить его статьи и стихотворения просто так, дружбы ради, что называется, за спасибо. Только потом, значительно позже, я узнал, для кого переводил статьи из «Аугсбургской газеты» и почему автору так важно было иметь их французский перевод: не для прекрасных глаз княгини, этих огромных жестоких глаз, как называл их Мюссе, а для глаз г-на Гизо. Генрих Гейне получал четыре тысячи в год из тайных фондов казначейства, и время от времени приходилось доказывать министру, что он заслужил это солидное жалованье. Очевидно, он заставлял меня переводить главным образом те статьи, в которых благоприятно отзывался о Франции. Бумаги, обнаруженные в Тюильри в 1848 году, дали мне ключ к разгадке этой тайны. Однако переводил я себе в убыток: Гейне так и не представил меня княгине.

ФРИДРИХ САРВАДИ

1842

ПО СВИДЕТЕЛЬСТВУ ДАВИДА ГРУБИ

(* 23.2.1856)

Еще четырнадцать лет тому назад Груби был приглашен на консультацию к Гейне, у которого в то

время болел глаз. Груби объявил, что причина болезни кроется в спинном мозге, за что был высмеян и самим пациентом, и его тогдашними врачами.

МАКС ЛЁВЕНТАЛЬ

Весна 1842

ИЗ ДНЕВНИКА

Вена, 27 сент. 1842

Гейне весьма дружески относился к Дессауэру и бывал у него почти ежедневно. Но однажды утром он обратился к нему с просьбой: так как он отправляется в путешествие и ему нужны деньги, то пусть Дессауэр даст ему займа 500 франков. Последний, казалось, колебался, тогда Гейне выпалил какую-то резкость. «А теперь я и вовсе не дам вам денег», — отвечал ему Дессауэр. Гейне ушел от него, заявив, что он, Дессауэр, поступает очень глупо, что во «Всеобщей газете» он мог бы ему сослужить службу, стоящую много больше, чем 500 франков, а теперь он может причинить и причинит ему вред, намного превышающий эту сумму. И он без промедления осуществил свою угрозу, опубликовав в одной музыкальной газете злобную статью против Дессауэра. Таков характер одного из украшений немецкого Парнаса!

КАРЛ ГУЦКОВ

Апрель 1842

ИЗ НАБРОСКА АВТОБИОГРАФИИ

(* 1869)

Приехав в Париж, я получил через одного, все еще живущего в Париже посланца, нашего общего друга, нижеследующее приглашение, отвечавшее интересам книги, которую, как стало известно, я собирался написать о Париже: «Немедленно посетите Генриха Гейне! Он обещает в этом случае дать в Вашу честь обед, на который он намерен пригласить весь цвет французской литературы!» На это приглашение, рассчитанное на то, что в моей книге будет глава, посвященная Гейне, мне пришлось ответить так: «Передайте Гейне, что я немало его ценю и тронут его добрыми намерениями! Однако я написал «Жизнь Бёрне», был вынужден

защищать Бёрне от осквернения его имени в книге Гейне. Не говоря уже о том, что ради обеда, пусть и в таком интересном обществе, человек не станет менять сущность своих убеждений и, кроме того, я должен считаться с близкими друзьями Бёрне в Париже, а это люди с характером, и они никогда не простили бы мне, если бы я сошелся с человеком, так непристойно забросавшим грязью их всех и даже некую благородную женщину, да еще вздумал бы пить у него шампанское!» Следствием этого заявления была месть. Гейне продиктовал одному из своих приятелей по имени Зойферт злобное словоизвержение для «Всеобщей газеты».

ГУСТАВ АДЛЬФ ФОГЕЛЬ

Весна 1842

ИЗ СТАТЬИ О ВИЗИТЕ К ГЕЙНЕ

(* 13/16.8.1843)

Однажды утром Дингельштедт <...> взял меня с собой к Генриху Гейне, который жил на улице Фобур де Пуассоньер в доме № 46 на четвертом этаже.

Я представлял себе автора «Путевых картин» бледным, стройным и высоким мужчиной, будучи введен в заблуждение его портретом, уже с давних пор украшающим мою комнату, а передо мной стоял приземистый полный человек небольшого роста с фигурой, которая скорее могла принадлежать состоятельному маклеру, нежели прославленному, может быть, величайшему немецкому поэту. Никогда чья-либо внешность не контрастировала так сильно с представлением, которое сложилось у меня об этом человеке, как внешность Гейне. Едва ли в какой-нибудь еще личности могут сильнее выразиться добродушие и чисто немецкий дух, как в личности Гейне, и только небольшой шрам на левой стороне высокого лба и несколько замутненные глаза, когда он, подобно Гуцкову, прикрывает их испытующе и как бы подстерегая, позволяют угадать в нем лукавого наблюдателя. Гейне — очень, очень приятный человек, и в беседе он *много остроумнее, чем в какой-либо из его книг!* Если он сам порой любит смеяться над собственными остротами, когда они удаются ему экспромтом, то мы простым ему это. Да будет мне позволено попотчевать читателя некоторыми подробностями той первой утренней беседы; конечно, поскольку я пишу это по памяти, та или иная острота покажется не столь острой, какой она показалась нам в

то утро, когда этому способствовали настроение и общий тон; все же я хочу передать здесь только содержание его экспромтов, а не их форму, от которой, конечно, многое зависит.

Когда Дингельштедт представил Дёблера и заметил при этом, что тому было бы приятно, если бы Гейне походатайствовал за него перед своими друзьями, Гейне сказал: «Мне жаль, что я не могу сказать вам ничего особенно утешительного. В Париже у артиста только тогда бывает успех, когда он не знает равных в своем искусстве. А у нас сейчас есть здесь такой фокусник, который жонглирует столь отменно, что вы с ним вряд ли сравняетесь!» Удивленный и почти обиженный Дёблер спросил, как зовут его соперника. «Как? — спросил Гейне. — Вы уже почти месяц здесь и говорите, что еще не знаете? Это же Луи Филипп!»

Позднее Дёблер удалился и попросил Гейне, чтобы тот все же как-нибудь оказал ему честь своим посещением. Гейне согласился. «Но ты должен и сдержать свое слово, — заметил Дингельштедт через несколько минут, — Дёблер несколько обидчив и, если ты не побываешь у него, может легко подумать, что ты не уважаешь в нем артиста». — «Ах, боже мой! — возразил Гейне на это. — Ведь весь мир знает, в какой дружбе я с Левальдом!»

Затем разговор принял иное направление. «Я вас уже спрашивал, — обратился он ко мне, — долго ли вы пробудете в Париже?» Я ответил отрицательно. «Тогда я должен просить вас извинить меня, — продолжал он, — ибо в таком случае я лишил вас комплимента, который я обычно охотно говорю всем, кого мне рекомендуют». — «Как это понимать?» — спросили мы. Смеясь, он ответил: «А так, что немцы, поживя длительное время в Париже, любят сходить с ума».

И он перечислил двенадцать таких случаев, однако фамилии этих людей, за исключением Тракселя, вылетели у меня из головы. «Гм, — сказали мы, — но что такое двенадцать человек по сравнению со многими тысячами, которые живут здесь?» — «Да, — возразил он, — насчет других уж позаботилась *природа*, чтобы они не *могли* сойти с ума. Таким образом, вы видите, что я, не спросив вас о том, надолго ли вы здесь останетесь, опять должен исправить какое-то упущение». Я поблагодарил за коварный комплимент ответным коварством, сказав, что сама природа в его случае должна исправить свое упущение, ибо, находясь столь долго в Париже, он являет собой блестящее исключение.

Гейне был так любезен, что улыбнулся, услышав эту неуклюжую попытку отплатить ему той же монетой, но затем продолжал в почти серьезном тоне: «Действительно, у меня каждый раз мороз по коже дерет от совсем особого сожаления, когда мне представляют кого-нибудь, о ком я знаю, что он, как говорят немцы, человек с головой. Ведь жаль этого молодого человека, думаю я при этом, знаменитым-то он здесь не станет».

После того как Дингельштедт и также присутствовавший там пианист Эверс из Штутгарта сделали несколько замечаний о сущности и различных, часто странных причинах безумия, Гейне сказал: «Конечно, очень печально, когда кто-то приносит себя в жертву идее, которая потом не реализуется. Мне вспоминается при этом Шарлотта Штиглиц. Эта великодушная женщина, по-видимому, покончила с собой только для того, чтобы сделать г-на Штиглица знаменитым, или, пожалуй, чтобы сделать ему печальный упрек, который мог бы его согреть. Мы все знаем, что она, к сожалению, не добилась своего; напротив, с тех пор Штиглиц как раз и стал по-настоящему незнаменитым».

Эверс передал Гейне привет от его друга Ленау, а также, если не ошибаюсь, и письма, которые дали повод для разговора о бездеятельности Ленау. «В этом, — заявил Эверс, — никто больше не виноват, кроме его «мнимой любви», которая избаловала его и в Вене и в Штутгарте и не оставила ему времени для работы». — «О господи, — засмеялся Гейне, — как, неужели можно мнимо любить? Что можно быть *мниможенатым*, я, конечно, знаю. Чего только не изобретут немцы, чтобы перещеголять французов!»

Когда случайно речь зашла об ухудшившемся состоянии здоровья Гейне и Дингельштедт стал настаивать, чтобы он последовал совету врачей и провел лето в деревне, Гейне ответил: «Дружочек, ты не знаешь, чего ты от меня требуешь; вся моя внутренняя жизнь связана с этим городом столькими нервами, что мне впору опасаться, что я умру в деревне. Разве ты не знаешь философии деревенских газет: «Зла смерть того, кто голодает, но кто замерз, тот тоже умирает!» Если уж однажды придется умереть, то я все же предпочитаю умереть как *homo urbanis Linn.*¹, к тому же хотя я и охотно пью молоко, но личное знакомство с сырами мне не нравится; а что, разве тебе доставляет

¹ Городской человек, по Линнею (*лат.*). Пародия на латинскую классификацию растений и животных Карла Линнея.

особое удовольствие слушать, как гуси говорят на своем праязыке? Думаю, что гораздо более приятное занятие — слушать переводы в салонах».

Лишь позже речь зашла о немецкой литературе и о более или менее значительных явлениях в ней. Суждения Гейне об этом были, как правило, остры и метки. О не отмененном тогда еще запрете на продажу в Пруссии книг, вышедших в издательстве Гофмана и Кампе, он сказал немало горьких слов, но при этом заявил, что именно поэтому никогда не сменит Кампе на другого издателя. О четвертом томе своего «Салона» он сам отзывался очень неблагоприятно и к тому же так остроумно глумясь над собой, что я до сих пор сожалею, почему не допустил нескромности и не сделал под каким-нибудь предлогом краткие записи для своей будущей статьи.

Кроме нескольких стихотворений, которые, по его мнению, немецкая цензура вряд ли пропустит, он ничего более существенного в то время не написал. Несколько его довольно незначительных стихов (например: «Ну, теперь конец брюнеткам! // Этот год мы отдадим // Снова глазкам ярко-синим, // Косам нежно-золотым» и т. д.) с тех пор были перепечатаны в журнале «Элегантный мир». Неподражаемый комизм, с которым он их читал, действительно останется в моей памяти навсегда. Одно из них, прочесть которое я его попросил, насколько мне известно, еще не перепечатано в Германии и будет приведено ниже. Это разговор Гейне с космополитически настроенным ночным сторожем: <далее следует стихотворение «На прибытие ночного сторожа в Париж».>

Зашел разговор и о его книге о Бёрне, и должен признаться, что с того утра я совсем иначе сужу об этом. Передать тот символ веры, который Гейне изложил в связи с ней, я не могу, но я никогда не забуду той грусти, с которой он высказывался о жестоких суждениях немецких литераторов. «Все, — сказал он, — упрекают меня в том, что в моей книге содержится слишком много нападок на личности; но разве каждый из этих господ не делал это в гораздо большей степени по отношению ко мне в рецензиях на мою книгу? Если уж они хотят упрекнуть кого-то в какой-то ошибке, то не должны, делая это, впадать в ту же ошибку». Действительно, многое свидетельствует в пользу этого аргумента, и если мы к тому же примем во внимание, что Гейне со своим индивидуальным способом восприятия оказался в большом городе в *одиночестве*, в полном одиночестве, не имея друга,

который мог бы помочь ему советом, то все эти экстравагантные места и нарушения приличий будут оцениваться нами менее безжалостно. Как раз нынешним летом Гейне, после долгой борьбы, уступая неоднократным настояниям врачей и жены, решился поправить свое пошатнувшееся здоровье в Пиренеях; но тут газеты подняли крик, и Гейне должен был вернуться, чтобы вызвать Штрауса, оскорбившего его честь, на дуэль, о которой так много говорилось. Этот упрямец, все существо которого находит такое опасное удовольствие в возбуждающем воздействии мирового города, не дает еще раз уговорить себя и сменить этот город на тихую сельскую жизнь. Но сколь разрушительно это воздействует на физическое состояние Гейне, живущего в постоянном раздражении, может оценить лишь тот, кто имел возможность наблюдать его со всеми его особенностями вблизи. Может быть, именно из-за этого возвращения с Пиренеев, к которому его вынудили своим криком газеты, нам придется многими годами раньше оплакивать смерть поэта, который — несмотря на все его ошибки — тем не менее всегда будет принадлежать к числу наших величайших поэтов.

ФРАНЦ ДИНГЕЛЬШТЕДТ

Нач. июня 1842

ИЗ ПИСЬМА ИОАННУ ГЕОРГУ ФОН КОТТА

Сен-Клу, 2 июня 1842

Мне вдруг вспомнилось, что я должен осмелиться спросить Ваше высокоблагородие кое о чем от имени нашего друга Гейне <...>. У него готовы несколько песен, очень милых, которые вместе составляют своего рода эпическую поэму в комико-романтическом жанре, результат его поездок в Пиренеях. Эту поэму он хотел бы послать в газету «Утренний листок», однако, как вполне понятно и простительно при его отношениях с Пфцицером, не через редакцию, а непосредственно через господина барона. Не просмотрите ли Вы как-нибудь его рукопись, хотя бы только для собственного развлечения? То, что я читал из этой поэмы, — просто прелестно, идиллическое повествование о медведях, правда, с очень пикантными отступлениями. Может быть, из нее получился бы отдельный хорошенький томик в двенадцатую долю листа по образцу маленько-

го карманного издания классиков, выпускаемого книгоиздательством И.-Г. Котта. Все это я сообщаю исключительно для Вашего сведения, не пытаюсь как-либо повлиять на Вас, *salvo meliore*¹.

АНОНИМ

Июнь 1842

ЗАМЕТКА В ПРЕССЕ

(* 8.7.1842)

Гейне основал в Париже кассу для проживающих там немцев, нуждающихся в экстренной помощи.

ЛЮДВИГ РЕЛЬШТАБ

3 мая 1843

ИЗ РАССКАЗА О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

(* 1844)

Сегодня я наносил прощальные визиты в восточной части Парижа до Королевской площади. Мне больше не удалось застать Виктора Гюго. Зато я застал дома Гейне, после того как мы несколько раз безуспешно пытались встретиться. Наши до сих пор шуточные разговоры приняли на этот раз почти исключительно серьезное направление. Не без оснований он жаловался на немецкую прессу последнего времени, на недостойный характер ее махинаций и высказываемых в ней взглядов, которая с систематической последовательностью ополчается непосредственно против него и оплетает его сетью искажений и клеветы, нити которой тайком и неожиданно тянутся ко всему, даже к самым безобидным вещам. Нельзя отрицать, что Гейне по собственной вине дал повод для серьезных нападков, даже вызвал их; однако эти нападки должны были бы открыто и напрямую направляться против него и быть оправданы достоинством характеров противников. Тогда у них было бы прочное основание, и, если бы они еще делались с чувством *меры* и *уважения*, они, может быть, оказали бы очень благотворное воздействие на столь экстраординарный талант Гейне. <...>

Для этого еще *есть* время, так как для такой поэтической силы, как у него, прошлое — это лишь юношеское упоение и сон. <...>

¹ Оставляя право на лучшее решение (*лат.*).

Я расстался с Гейне с горячим желанием и *возникшей надеждой* на то, что мы еще увидим в нем мужчину, который сам даст полнейшее удовлетворение за несправедливость, допущенную по отношению к юноше, тому, кому прекрасные цветы его весны постоянно и в течение долгого времени его не давали.

ХАНС КРИСТИАН АНДЕРСЕН

Март—май 1843

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1845)

С Гейне я тоже опять встретился; с тех пор как я был здесь в последний раз, он женился; я нашел его не совсем здоровым, но все же полным энергии, и он был со мной так сердечен, так естествен, что я без опаски открылся ему таким, какой я есть. Однажды он рассказал своей жене мою сказку о стойком оловянном солдатике и, сообщив, что я—автор этой сказки, представил меня ей—это была живая и милая молодая женщина. Группа детишек, принадлежавших, по словам Гейне, соседу, играла у нее в комнате, мы с нею втянулись в игру, тем временем Гейне в соседней комнате переписывал для меня одно из своих последних стихотворений. Я не замечал его оскорбительной горькой усмешки, я внимал лишь биению немецкого сердца, которое будет вечно слышаться в песнях, коим суждено жить.

ФРИДРИХ КЮККЕН

1843

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1882)

После того, как я устроился в Париже подомашнему, я нанес свой первый визит маэстро Мейерберу. <...>

К сожалению, я пришел к нему, когда он был занят — он занимался с какой-то певицей, — но я передал через его слугу, что прошу позволения повторить мой визит в семь часов вечера. Само собой разумеется, что я пришел точно в срок. Когда я вошел в салон, из камина вырвалось облако густого дыма — вполне обыкновенное явление в Париже во время сильных ветров, и

я, испытывая сильные мучения от коварства камина, очутился в обществе восьми или девяти мужчин, которые, вероятно, обедали у Мейербера. Последний самым любезным образом представил меня им как уже ставшего в Германии популярным молодым композитора, пишущего музыку для голоса. Затем я услышал, как он называет имена: Скриб, Жюль Жанен, Александр Дюма, Берлиоз, Пиксис — остальные были менее понятны. Из всех собравшихся я лично знал только одного: Пиксиса, с которым я много общался прошлым летом в Баден-Бадене. Он сразу же подошел ко мне, и, чтобы быть избавленным от возможной необходимости говорить по-французски, что меня тогда очень смущало, я намеренно попытался завязать с ним живой разговор. Поэтому я и почти не обратил внимания на то, что в нашу сторону направился какой-то не особенно бросающийся в глаза человек, но остановился в нескольких шагах от нас и затем опять присоединился к остальному обществу. Когда я уходил, Мейербер еще пригласил меня послушать вместе с ним несколько актов «Гугенотов» в его ложе. <...>

После этого моим самым страстным желанием было познакомиться с Генрихом Гейне. Его квартира была недалеко от моей, и уже на следующий день в обычное для визитов время я постучался к нему. Появилась служанка. Я назвал себя и попросил доложить обо мне. К сожалению, она тут же вернулась с известием, что господина Гейне нет дома. На другой день я с тем же намерением стоял у двери Гейне, и снова ответ гласил: «Господина Гейне нет дома», и так повторялось более десяти раз подряд.

Тогда я пропустил несколько недель, надеясь встретить Гейне, быть может, случайно в каком-то другом месте; но надежды были напрасны! Я снова начал появляться раз в неделю у двери квартиры Гейне, но столкнулся с тем, что вместо женщины появился мужчина, с которым я уже хотел было радостно поздороваться, предполагая в нем Гейне, но, едва завидев меня, он возмущенно воскликнул: «Господина Гейне нет дома!» У меня больше не было сомнений в том, что Гейне сам захлопнул дверь перед моим носом. Так прошло примерно шесть месяцев, когда случай наконец свел меня с тем, о ком я так мечтал. Известный, можно, пожалуй, сказать, знаменитый тогда музыкальный издатель Морис Шлезингер возымел намерение издать во французском переводе несколько из моих самых известных песен. Чтобы обсудить детали, он однажды пригласил меня к завтраку, и тут

появился без доклада какой-то мужчина, которого Шлезингер встретил словами: «Прекрасно, Гейне, что вы пришли именно сейчас, этот Кюккен совершенно несчастлив оттого, что до сих пор еще не познакомился лично со своим любимым поэтом». Гейне, хотя и видел, как сильно я обрадовался, был очень сдержан, но потом сказал: «Мы уже знакомы, дорогой Кюккен», — каково же было мое удивление, когда я услышал эти слова! «Вы ведь помните вечер у Мейербера, когда он представил вас и назвал вам имена всех присутствовавших? Правда, вами сразу же завладел старый Пиксис, но я подумал: «Нужно ведь поздороваться с земляком», — подошел к вам, и, хотя я вместе с вами долго слушал чушь, которую порол отец дебютантки, вы даже не потрудились обратиться на меня внимание. Конечно, я повернулся к вам обоим спиной и опять направился к французам. Это не ускользнуло от внимания Александра Дюма, а вы должны знать, что Александр Дюма—это язва! Он сказал: «Дорогой Гейне, ваша популярность, должно быть, и в Германии не особенно велика, если он даже не знает вас!» Видите ли, дорогой Кюккен, *такого в Париже перенести нельзя!*»

Вот этим и объяснялись слова: «Господина Гейне нет дома» — и то, что он лично захлопнул передо мной дверь.

Во время моего многолетнего пребывания в Париже после этой встречи между нами завязались настоящие дружеские отношения.

АРНОЛЬД РУГЕ

27 авг. 1843

ИЗ ПИСЬМА К МАТЕРИ

Париж, 4 сент. 1843

Гейне очень определенно дал нам почувствовать, что мы все же должны побывать у него первыми. Во всем остальном он очень старается завоевать мое расположение и испытывает ко мне некую робкую склонность. Он не доверяет мне, но он хочет иметь со мной дело и притворяется ужасно откровенным; он даже сказал, что его, конечно, посадят в крепость, появившись он в Германии, и был немало изумлен, когда я нашел это смешным. Он острил по всем остальным поводам, но только не по поводу этого деликатного

вопроса. Ему столько же неприятно то, что он не заслуживает крепости, сколько было бы неприятно, если бы он в ней оказался. Он знает здесь самых разных людей и сведет меня с ними. Он очень комичен, внешностью чем-то напоминает <Людвига> Пернуса, такой же маленький, с таким же крупным лицом, с маленькими глазами, лицо у него красное, бритое, кривые ноги в ужасных сапогах, которые не могли бы сделать хуже даже в Боббине. Я-то воображал, что увижу бог знает какого щеголя, но у него хороший нос, и высокий лоб, и большой подбородок. Дома мы его не застали, а потому и не видели его жену, о которой говорят, что она очень красива.

ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ

14 сент. 1843

ИЗ ПИСЕМ ЭЛИЗЕ ЛЕНСИНГ

Париж, 16 сент. 1843

На другое утро он <Гаген> повел меня к Гати, с которым был знаком. <...> У Гати мы узнали, что и Гейне опять в Париже. Тогда мы пошли к нему. Гаген был знаком с ним тоже. Мы встретили его в передней, он провожал гостя, о котором позднее сказал мне, что это был А. Вейль, после чего пригласил нас в гостиную. Живет он на одном из верхних этажей, но убранство элегантно. Когда он вернулся, я вручил ему письмо Кампе. Он развернул письмо, но, едва начав читать, сразу отложил и поспешил ко мне со словами: «Так вы Геббель? Весьма рад познакомиться с вами лично! Вы один из немногих, — добавил он, — кому я уже, бывало, завидовал. Вашей «Юдифи» я еще не читал, знаю только ваши стихи, но они оставили у меня самое положительное впечатление, я бы охотно украл у вас некоторые сюжеты, например «Скачку ведьм». Он продекламировал несколько стрóf из упомянутого стихотворения, я перебил его словами, что критики именно это фантастически-причудливое создание приговорили к смерти. Между нами сразу же завязался оживленный разговор. Мы обменялись тайными знаками, по которым братья одного ордена дают знать о себе друг другу, и углубились в таинства искусства. С Гейне можно говорить о предметах самых глубоких, и я вновь испытал радость от беседы, в которой достаточно лишь слегка тронуть партнера, когда хочешь, чтобы его ум

отозвался тебе твоею же собственной мыслью. Это встречается очень редко. Он рассказал мне удивительные вещи про Иммермана и Граббе, последнего он ставит очень высоко. Про Иммермана он говорит, что тот погубил себя, порвав долголетнюю связь с госпожой фон Лютцов и вступив в новую с молодой женщиной. Смерть, сказал он, вовсе не такая случайность, как полагают, это результат жизни, и надо хорошенько подумать, прежде чем в преклонные годы решиться на коренную перемену. Это я нахожу исключительно верным. Против Гуцкова он пускает в ход весь арсенал своего остроумия. Поэт, не пишущий стихов, — все равно что дерево без цветов, но Гуцков, заметил он, не останется внакладе: когда он умрет, Виль сядет за стол, дружбы ради сочинит необходимые для целостности его сочинений стихи и включит их в его наследие. Навел он разговор и на очень щекотливый вопрос — на свою книгу о Бёрне, а я не скрыл от него своего мнения. В общем, Гейне произвел на меня неожиданно благоприятное впечатление. Он, конечно, слегка полноват, но отнюдь не толст, а в его лице с маленькими острыми глазками есть что-то внушающее доверие. То, что он поэт, глубокий, истинный поэт, не такой, что ныряет в море просто так, наудачу, надеясь выловить несколько жемчужин, а такой, что живет на дне морском, среди фей и русалок, и повелевает их сокровищами, это видно и по всему его облику, и по его речам. Его замечания о Граббе, Клейсте, Иммермане и т. д. попадали всякий раз в самую живую точку. Я думаю, что он беспощадный враг всякой посредственности, в том числе посредственности поэтической, которая ничего не достигает, однако уважать силу он умеет. Впрочем, как я заметил, он сдерживался, следуя в этом совету Кампе. Последний ему писал: «Возьмите себя в руки, ибо в лице Геббеля вы увидите поэта, который вскоре...» Дальше мне прочитать не удалось, но за этими словами ничего плохого следовать не могло. Очень прошу тебя оставить, вероятно, зародившееся у тебя подозрение, будто я вскрыл письмо. Такого преступления я не совершил, хотя для писателя и не может быть вполне безразлично, что Кампе пишет о нем Гейне. Конверт был настолько прозрачен, что я невольно, едва мой взгляд упал на адрес, прочитал это место. <...>

То, что Гейне сказал про Иммермана, относится и ко мне. Без тебя я ничто.

Париж, 6 окт. 1843

Сегодня утром — нынче пятница — я пошел к Гейне. Я встретил его в дверях — он собирался выйти и хотел было вернуться, но я этого не допустил. Вдвоем с ним мы пошли гулять по Бульварам. Он жаловался на Кампе, и снова на Кампе, и еще раз на Кампе. Тот обращается с ним все так же, как пятнадцать лет тому назад; наверное, он будет вынужден от него уйти и т. д. Рассказав мне со всеми подробностями о своих отношениях с Кампе, он откровенно попросил меня выступить в роли посредника и написать Кампе о нем и о его положении. Я не нашел в его просьбе ничего предосудительного и пообещал ему это сделать, и действительно сделаю, быть может, еще сегодня, но, конечно, с величайшей осторожностью. Особенно не дает ему покоя то, что единственная газета, находящаяся в распоряжении Кампе, существует лишь затем, чтобы беспощадно критиковать его. Я вижу, что Кампе со своими авторами обращается на один манер; касательно Гейне он тоже сетует на плохой сбыт, а сам при этом печатает тиражи, которых может хватить до конца времен. Гейне, впрочем, и без моего визита пришел бы ко мне — вчера, как он мне сказал, он взял у Гагена мой адрес. При всем том сегодня он понравился мне меньше, чем в первый раз, правда, он жаловался на головную боль. Он тоже стареет, потому что мир ему кажется старым; он говорит, что время великих писателей в Германии, видимо, миновало. Я возразил ему: пусть он поостережется переходить во вражеский лагерь и усваивать тот высокомерный взгляд, против которого сам всю жизнь боролся. Просил меня прислать ему «Юдифь», я это сделаю, и если он не поймет и не воспримет это сочинение так, как оно того заслуживает, наши отношения прекратятся. Я знаю, чего оно стоит.

ИЗ ДНЕВНИКА

Париж, 14 окт. 1843

У меня был Гейне и говорил со мной о «Юдифи». Он читал ее во время какого-то заседания, и она произвела на него глубокое впечатление. Суждения об этой драме в целом он еще не составил, но что касается частных, то ему уже многое ясно. Его удивляет, как такое произведение могло появиться в наше время, я-де с моей необычайной образной силой принадлежу еще к

нашей великой литературной эпохе, нынешней эпохе тенденций я чужд. Он сразу же осознал совершенство пьесы, и особенно — ее значительность; многим он был восхищен и изумлен. Но есть в ней, по его словам, и нечто призрачное, во всяком случае, в ней больше *истины*, нежели *натуры*... натуры, какую мы находим у Шекспира. Призрачное господствует прежде всего в изображении первой брачной ночи, которое прекрасно. Олоферн в его самообожествлении тоже задуман очень глубоко, и мне бы скорее следовало, в противоположность бесцветному еврейскому спиритуализму, наделить его еще более дерзкой жадой жизни. Однако Олоферн является перед нами не совсем таким, как остальные, он сломлен, масса, по крайней мере, никогда его не поймет. Изображение эпохи и народа мне также необычайно удалось, хотя я не грешу, на манер романтиков, излишеством деталей, одна-единственная черта часто создает образ. Я иду-де тем же путем, каким шли Шекспир, Генрих Клейст и Габбе. За несколько дней перед тем д-р Бамберг уже говорил мне, что Гейне с величайшим одобрением отзывался перед ним о «Юдифи» и выразил мнение, что я самый значительный из всех писателей.

14 окт. 1843

ИЗ ПИСЬМА ЗИГМУНДУ ЭНГЛЕНДЕРУ

Вена, 25 мая 1854

Прилагаю свою статью о Гейне, чтобы Вы при случае передали ее ему; пусть он узнает из нее, что я не являюсь лишь молчаливым почитателем его большого дарования. И для меня было бы весьма ценным его суждение, например, о «М<икел> А<нджелло>», и мне, наверное, позволено об этом сказать; может быть, Вы сможете передать ему это в какой-нибудь форме, не исключая и устной. Когда он прочел «Юдифь», он лично объявил меня последним римлянином нашего великого литературного периода, не упоминая о Габбе и т. д., но, правда, сказал одновременно и был совершенно прав, что я осужден на еще более ужасное одиночество, чем даже Лессинг. Его достоинство не было бы унижено, если бы он как-нибудь повторил это суждение, которое я дословно и во всем его объеме записал в свой дневник; разве и его судьба — это не судьба Микеланджело?

14 окт. 1843

ИЗ ПИСЬМА АДЛЬФУ ШТРОДТМАНУ

Вена, 3 марта 1862

<Осенью 1843 года Гейне сказал мне, после того как прочел мои «Юдифь» и «Геновеву»:> «Теперь я отмщен; месть постигла всех моих врагов. Вы пишете драмы, и Вы тут словно кит в косяке селедок». Он назвал и тех людей, которых имел при этом в виду, но закончил долгий и остроумный разговор о сем предмете (замечательный по ряду причин) словами: «Мне, собственно, следовало бы рассердиться на Вас, я предсказывал конец периода искусства, а Вы начинаете новый период. *Но вы достаточно наказаны: Лессинг был одинок, Вы будете еще более одиноки*». Об этих словах, которым я тогда не придавал особого значения, я вспоминал позднее часто, очень часто, и теперь, написав «Нибелунгов», я нахожусь на повороте, когда должно решиться, сохранят ли эти слова свою силу навсегда или нет.

Окт. 1843

ИЗ ПИСЬМА ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 10 дек. 1843

Приезд Гейне будет для Вас таким же неожиданным, каким оказался для меня его отъезд, о котором я узнал из присланной мне карточки. Я собирался Вам о нем писать, ибо у меня составилось о нем весьма положительное мнение, и в общем мне все-таки приятно, что я последовал Вашему совету и свел с ним знакомство. Но когда я писал Вам относительно денег, у меня не было времени — почта вот-вот отправлялась, и я мог только предупредить Вас; потом он уехал в Гамбург и сам предстал перед Вами во плоти. Я не думаю, чтобы он уже покончил со своими делами, только ему бы меньше всего следовало — но это совершенно *entre nous!*¹ — связываться с людьми, которых он сам произвел на свет, ибо от братания *с собственной тенью* силы еще никто не обретал. Я думаю при сем о

¹ Между нами! (фр.)

некой лайковой перчатке, которая, во всяком случае, приятно пахнет. Я имел случай также особенно оценить его суждение: он высказал мне, когда был у меня, больше важных и глубоких мыслей о моей «Юдифи», нежели все мои рецензенты—за исключением только Виля и Нильсена, и на его счет у меня тоже имеется точка зрения.

ФРАНСУА ВИЛЛЕ

Окт./ноябрь 1843

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(1867)

Была зима 1843 года, когда он приехал в Гамбург и вскоре, как в 1831 году, стал регулярно появляться в павильоне на Альстере в кружке молодых людей, в большинстве своем принадлежавших—это была задорная молодежь, не домогавшаяся почестей, — к партии, затронутой запретом «Рейнской газеты» и «Немецкого ежегодника» Руге. Его книгопродавец—он тоже регулярно туда приходил—задолго до того известил нас о его предстоящем приезде из Парижа и о том, что сразу же приведет его к нам. Так и вышло, что однажды вечером Юлиус Кампе явился с отцом «Молодой Германии» в общество, которое Кампе по привычке все еще называл «Молодой Германией». С чувством самодовольства представил он нам писателя, принесшего своему издателю столько денег и такую известность: «Господин доктор Генрих Гейне из Парижа», и затем, взяв Гейне за руку и подведя его вплотную ко мне, сказал: «Гейне, это Вилле!» И Гейне, после того как он внимательно всмотрелся в меня, на манер людей очень близоруких, сощурился и при этом нервозно помаргивая, произнес мягким, немного высоковатым голосом: «Да, в Париже мне сказали: если в Гамбурге вы встретите человека, чье бледное лицо сплошь иссечено красными шрамами, то это Вилле». Я, улыбаясь, отвечал: «К сожалению, мое лицо—это все еще книга отзывов, только не друзей, а врагов. Позвольте мне, г-н доктор, представить вам г-на д-ра Фукса, личного врача господ бога». Гейне, как известно, припомнил обе эти шутки—в «Зимней сказке» он связал их с нашими именами. Как говорил Мольер, когда использовал какую-нибудь забытую испанскую комедию: «Я беру

свое там, где нахожу». Гейне без стеснения использовал удачные остроты и словечки, которые могли ему понадобиться, и самым способом присвоения доказывал право собственности. Кое-кто из маклеров гамбургской биржи и поныне приписывает себе ту или иную игру слов в первых томах «Путевых картин» и думает, что Гейне стал знаменит в том числе и благодаря ему. Зато многие из лучших острот Гейне остались ненапечатанными, из оглядки на лиц, которые были бы слишком оскорблены их разящей злобностью, или же из оглядки на неизменно весьма строгую к словам новейшую благопристойность.

Отныне Гейне почти каждый вечер появлялся в нашем кружке, всегда одинаково любезный, непритязательный и кроткий, держался он скромно, был малоразговорчив, зато умело поставленными вопросами выводил наши мнения о немецких политико-литературных делах, нередко доставая при этом записную книжку и помечая названия книг, брошюр или газет. Иногда он вдобавок уславливался со мной о небольших дневных прогулках по берегу Альстера и во время этих прогулок подолгу жаловался на свою теперешнюю непопулярность (вероятно, из-за книги «Гейне о Бёрне»); говорил, что больше не вправе на что-либо дерзнуть, и охотно давал себя опровергнуть моей вере в него, утешаясь словами: сколько бы он ни дерзал и сколько бы ни полагался на свой гений, все будет мало, вся молодежь за него, и все люди, живущие жизнью духа, — это его верная паства; в конце концов, против них окажутся бессильны вся чернь и все почтенное филистерство. Хотя он часто возвращался к этой теме и высказывал новые сомнения, снова и снова ссылаясь на «Всеобщую газету» и «Кельнскую газету», откуда он в течение десяти лет изгнания черпал новости о Германии, он, должно быть, все-таки больше уверовал в нашу восторженную симпатию, ибо в эти месяцы возникла «Германия. Зимняя сказка». <...>

О «Телеграфе» он как-то сказал мне в Гамбурге: «Я не желаю больше терпеть, чтобы Кампе поддерживал на деньги, что он на мне заработал, газету, которая выступает против меня».

ШАРЛОТТА ЭМБДЕН

Ноябрь 1843

ИЗ ВОСПОМИНАНИИ О ГЕЙНЕ

(ок. 1866)

В дни его пребывания в Гамбурге мои друзья попросили меня устроить soaгée¹ <!>, чтобы получить возможность насладиться беседой с моим братом. Вокруг нас собралось многочисленное общество, и среди гостей были кое-какие интересные имена. Я рекомендовала брату держаться на этом вечере полюбезнее, поскольку он был важной персоной. Но как же я была разочарована, когда он, едва войдя в гостиную, поймал одну из моих дочурок, уселся с ней в уголок, стал рассказывать девочке сказки, закармливал ее всевозможными лакомствами, лишь бы у малышки не портилось настроение, и не успела я оглянуться, как он исчез. На другой день, когда я стала осыпать его жестокими упреками, он отвечал мне: «Да, дорогая моя сестричка, ты упустила случай взять меня на цепь, водить по кругу и выкликать: вы видите перед собой поэта Гейне, который дни напролет тратит впустую и только сочиняет».

СОЛОМОН ГЕЙНЕ

Окт. — дек. 1843

ИЗ ПИСЬМА МАКСУ ГЕЙНЕ

Гамбург, 24 янв. 1844

Гарри из Парижа был здесь, очень мне понравился, стал много лучше к своей выгоде.

ГЕОРГ ШИРГЕС

Конец ноября/нач. дек. 1843

ИЗ ПИСЬМА ЛЮДМИЛЕ АССИНГ

Гамбург, 4 дек. 1843

Вы радовались тому, что увидите Гейне в Берлине. Мне очень жаль, но я вынужден Вам сообщить, что в Берлин он не поедет, а в самые ближайшие дни

¹ Званный вечер (*искаж. фр.*).

возвратится в Париж. Он боится, как бы его приезду сюда не придали какое-то общее значение, это была поездка семейного и делового порядка, больше ничего. Несколько дней тому назад Гейне пришел ко мне. У меня был довольно сильный грипп, и я не сразу его узнал. Гейне был любезен, мы говорили даже о Гуцкове, но старые раны не причиняли ему боли. Он хотел уехать еще позавчера, но была пятница; вчера он не уехал потому, что когда-то в субботу умер его отец; сегодня он остался, ибо в воскресенье не уезжают отсюда, где ты желанный гость. Своей сделкой с Кампе он, по-видимому, доволен. Мы получим новый том «Книги песен», позднее, возможно, и полное собрание сочинений. Он, наверное, изменился, я-то представлял себе Гейне щеголем. Никакой он не щеголь. У него — брюшко, штрипок внизу на панталонах он не носит, не носит ни стоячих воротничков, ни манжет, ни перчаток. Лицо у него румяное, гладко выбритое, левая сторона частью парализована, а именно — глаз. Только в уголках рта держится сатирически-дьявольски-добродушная улыбка. «Если бы я захотел, — сказал он, — то написал бы комментарий к «Письмам из Парижа» <Гуцкова>, только он (вы знаете кто) не терпит, чтобы над ним потешались». Впрочем, что хорошего находит Гейне в таких людях, как Вилле, Кампе и иже с ними, я не понимаю и не могу не вспомнить пословицу: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Они сидят вечерами в павильоне на Альстере, среди табачного дыма и гама подвыпивших лавочников, — что же, пусть себе веселится.

ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ

Окт./конец дек. 1843

ИЗ ПИСЬМА ЭЛИЗЕ ЛЕНСИНГ

Париж, 2 янв. 1844

Генрих Гейне возвратился. У меня с ним — совершенно *entre nous!* — вышел необычный случай. Я обещал ему написать Кампе по поводу некоторых разногласий между тем и другим. Это произошло в тот день, когда я вручил ему «Юдифь». Потом мне пришлось в голову, что я забыл его спросить, угодно ли ему, чтобы я сообщил Кампе, что делаю это по его настоятельной просьбе. Был его черед нанести мне

визит, так что я к нему пойти не мог, поэтому, когда я писал Кампе насчет денег, я мог только предварить его, что буду писать ему о Гейне, не вдаваясь покамест в подробности. Вскоре Гейне пришел ко мне и говорил со мной о «Юдифи», потом спросил, написал ли я письмо, я отвечал: «Да, но только предварительно, сначала я должен узнать...» и т. д. Нас прервали — пришел г-н Гаген, мы переменили разговор. Гейне попросил у меня «Геновеву» и ушел со словами: «Повидайтесь со мной в ближайшее время!» Я медлил неделю, занятый работой над пьесой, и вдруг однажды около полудня получаю от него записку: «Я еду в Германию и увижусь с вами только через шесть недель». Я оделся и отправился к нему, жил он совсем рядом. «*Chez lui*»¹ его не было, но когда я спускался по лестнице, мы встретились. Он остановился, сказал, что в шесть часов уезжает, говорил о том о сем, однако не пригласил меня подняться с ним наверх. Это меня раздосадовало (справедливо или несправедливо?), и я ушел. У меня были сомнения: должен ли я теперь писать Кампе или нет, ведь Гейне явится к нему сам; в воскресенье — та наша встреча произошла в пятницу — пришло траурное известие, я не написал и перестал об этом думать. И вот он опять здесь. Не чувствуй я себя оскорбленным его последним поступком, я пошел бы к нему, ибо он живет в Париже, я же здесь только временно, ответный визит он мне нанес, и у меня не может быть к нему претензий. Но сейчас? Недавно я встретил его в Пале-Рояле, он видел меня, я его, оба мы держались непринужденно, но он не поздоровался со мной, а я с ним, я полагал, что он, как возвратившийся из Германии, должен это сделать первый, д-р Бамберг другого мнения. <...> Никакой сердечности между нами уже никогда не будет, это ясно, но моя позиция в этом деле меня как-то смущает.

ГЕНРИХ БЁРНШТЕЙН

1843/1844

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1844)

<...> мысль основать *немецкую газету в Париже* занимала меня уже давно, я часто говорил об этом с Мейербером, и я призывал его, в интересах немецкой

¹ Дома (фр.).

музыки и немецкого искусства, принять в этом деле участие; но он все время пытался отговорить меня от моей затеи, полагая, что немцы, постоянно живущие в Париже, читают французские газеты, от немцев, пребывающих здесь только проездом, немецкие издания поддержки не получают, к тому же подобные попытки делались уже неоднократно и все прискорбно проваливались.

Однако я от этой мысли не отступался, был буквально одержим ею и пытался добыть средства, чтобы ее осуществить. Тут Мейербер опять покинул Париж, чтобы отправиться в Берлин, где он был назначен королевским генеральным музик-директором. Я нанес ему прощальный визит, и, расставаясь со мной, он сказал: «Дорогой друг, к Новому году меня здесь не будет, так что я не смогу принести вам свои поздравления, поэтому примите сейчас от меня эту поздравительную карточку и сохраните добрую память о вашем искреннем друге». Я взял небольшой конверт, врученный мне, и спрятал его. Сколь же велико было мое изумление, когда, придя домой, я открыл это письмецо и нашел там поручение к г-ну Гуэну, старому другу Мейербера, предписывающее выплатить мне три тысячи франков, а также несколько строк, где он писал, что, по его мнению, он не мог бы доставить мне большую радость, нежели предложив мне изначальные средства, дабы я мог осуществить излюбленную мною идею немецкой газеты, но ежели бы я все-таки захотел последовать его благожелательному совету, то уж лучше бы мне истратить эти деньги на себя, вместо того чтобы бессмысленно пожертвовать их на газетное предприятие.

Такой же сюрприз, как я узнал позднее, уготовил он и Генриху Гейне, который также оказывал ему всякие дружеские услуги. Таким образом все препятствия и трудности были одним махом устранены, и 1 января 1844 года вышел первый номер немецкой газеты «Вперед», просуществовавшей целый год и державшейся бы и дальше, если бы в конце концов она не была закрыта французским правительством по настоянию иностранных дворов.

«Вперед» была вначале оппозиционным листком конституционного толка, газетой *умеренного прогресса*, скорее развлекательной, нежели служащей политической тенденции, и в первые шесть месяцев всю ее, за исключением некоторых сообщений из Германии, писали я, Борнштедт и Маретцек; она стоила 24 франка в год и выходила два раза в неделю. Вначале в Париже у

нее набралось пятьсот подписчиков, однако с каждым месяцем этот круг увеличивался, еще пятьсот экземпляров рассылались по департаментам, в Швейцарию, Бельгию, Америку и окольными путями, через мосье Александра в Страсбурге, в немецкие рейнские провинции; в Германии и Австрии газета, несмотря на свой умеренный тон, немедленно была запрещена, не дозволено было даже упоминать ее в немецких газетах, тем паче цитировать. При всем том какое удивительное стечение обстоятельств, что эту газету, ставшую позднее ультралиберальной и прямой провозвестницей движения сорок восьмого года, особенно неудобную прусскому правительству, пришлось основать на деньги прусского королевского генерального музик-директора Мейербергера, бывшего *persona gratissima*¹ при дворе Фридриха Вильгельма. *Habent sua fata libelli*².

КАРЛ КАУТСКИЙ

Дек. 1843/январь. 1845

ПО СООБЩЕНИЮ ЭЛЕОНОРЫ МАРКС-ЭВЕЛИНГ

(* 1895)

Дружеские отношения между ними <Марксом и Гейне> были самыми сердечными, как сообщает нам Элеонора Маркс-Эвелинг по воспоминаниям о том, что рассказывали ее родители. Но в этих рассказах о Гейне политика роли не играла. Гораздо больше — поэтическое искусство и семейная жизнь.

Было время, когда Гейне изо дня в день заходил к супругам Маркс, чтобы почитать им свои стихи и узнать суждение обоих молодых людей. Стихотворенье в восемь строк Гейне и Маркс могли вместе перечитывать бесчисленное количество раз, неотступно обсуждая то или иное слово и столько времени отделивая и шлифуя его, пока все не оказывалось гладко и все следы работы из стихотворения не убирались.

При этом следовало быть очень терпеливым, потому что Гейне был болезненно чувствителен ко всякой критике. Иногда он приходил к Марксу буквально в слезах, из-за того что какой-то безвестный литератор в какой-то газетенке подверг его нападкам. Маркс в таких случаях не знал лучшего способа, как послать

¹ Желаннейшей особой (*лат.*).

² Книги имеют свою судьбу (*лат.*).

его к своей жене, которой, благодаря ее остроумию и любезности, вскоре удавалось образумить безутешного поэта.

Но не всегда Гейне приходил искать помощи, иногда он и сам приносил помощь. Один случай особенно хорошо запомнился в семье Маркса.

У маленькой Женни Маркс, младенца нескольких месяцев от роду, однажды сделались сильные судороги, грозившие ей гибелью. Маркс, его жена и ее верная подруга и помощница Елена Демут стояли возле девочки безутешные и растерянные. Тут вошел Гейне, посмотрел на ребенка и сказал: «Ей надо сделать ванну». Своими руками приготовил он ванну, положил в нее Женни и, по словам Маркса, спас ей жизнь. Гейне в роли умелой няни — такая картина многих поразит.

Маркс был большим почитателем Гейне. Он любил самого поэта так же сильно, как его произведения, и в высшей степени снисходительно относился к его политическим слабостям. Поэты, пояснял он, это большие чудачки, и не надо мешать им идти своей дорогой. Нельзя мерить их тою же меркой, что обыкновенных или даже необыкновенных людей.

ФРИДРИХ ГЕББЕЛЬ

14/20 января 1844

ИЗ ПИСЬМА ЭЛИЗЕ ЛЕНСИНГ

Париж, 20 янв. 1844

С Гейне уже все улажено. Мы встретились под вечер на улице Ришелье и приветствовали друг друга почти одновременно. Он сказал: «Я много думал о вас, куда вы сейчас идете, идемте со мной». Я: «Мне надо в другую сторону». Он: «Тогда я пойду с вами». В это мгновение он поперхнулся чем-то, что до того держал во рту, не мог далее говорить и был вынужден отправиться домой, не преминув, разумеется, пригласить меня к себе. Я последовал приглашению, он с большим интересом расспрашивал меня о моей работе и, когда я поведал ему о существовании моей новой трагедии, проявил величайшую заинтересованность, пожелав услышать оную, хотя и попросил повременить с чтением до того дня, когда он обретет должную ясность в голове. В противном случае слишком многое в произведении будет для него потеряно. Он, надобно

сказать, жалуется на головную боль, которая, судя по всему, крайне ему досаждаёт. Мы уговорились, что он меня известит; пока этого, правда, не произошло, но в своих разговорах с третьими лицами он отзывается обо мне с величайшим уважением; я будто бы один из первых поэтов не только нашего времени, но вообще из всех, которых когда-либо знала Германия. Как видишь, гений всегда справедлив по отношению к себе подобным, он растаптывает лишь половинные, трехчетвертные и полные таланты, ежели они ему попадаются на дороге. Бамбергу, который, придя к нему вчера в час пополудни, застал его еще в постели, он сказал, что лишь из-за головных болей до сих пор не побывал у меня, короче, он намеревается отдать мне все визиты, а это, принимая во внимание, что сам он ни к кому не ходит и лишь принимает гостей у себя, вершина возможного. Ты ведь знаешь, как я всегда думал и говорил о нем; следовательно, тебе нетрудно догадаться, что благополучное разрешение конфликта от души меня радует.

АРНОЛЬД РУГЕ

Раннее лето 1844

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

(* 1846)

Среди немцев, проживающих в Париже, Гейне, без сомнения, наиболее талантливый. Он проявил живейший интерес к одному из периодических парижских изданий на немецком языке <...>. Перед своей поездкой в Гамбург, когда перестал выходить «Немецко-французский ежегодник», он передал несколько стихотворных сатир для публикации в бессовестный и беспринципный листок «Вперед» и приложил все усилия, чтобы сделать что-нибудь пристойное из этого издания. Действительно, своими усилиями он предопределил дальнейшую судьбу этого мелкого разбойника. Для начала он убедил меня отдать им письмо, которое я намеревался отослать «Нью-Йоркской экстренной почте», затем начал всячески меня уговаривать взять на себя руководство этой газетенкой, более того, он даже изъявил готовность, если я поддамся на его уговоры, внести некоторую сумму для начала и продолжения дела. Однако прошлое этого листка, равно как и его предполагаемое будущее, которое едва ли сулит успех за пределами Парижа, побудило меня счесть эту идею

неприемлемой. Бернайс же, бывший некоторое время редактором «Мангеймской вечерней газеты», напротив, согласился взять на себя обязанности редактора, он взял их, причем странным образом его привлекли именно самые резкие и откровенные нападки прежней редакции. Подобные результаты, противоречащие всем правилам военного искусства, я ранее полагал невозможными, поэтому на какое-то время я твердо поверил, что этот маленький деятельный человечек одержит и дальнейшие победы. Но победы оказались самого удручающего характера. Правда, газета действительно стала чем-то. Она стала коммунистической; но забвение чувства меры и бессилие при нем и при последующем редакционным комитете начали определять характер издания, и под конец господа редакторы принялись уже описывать свои любовные похождения, а из откровенности, с какой были поименованы бедные обманутые жертвы, сделали своего рода «социальную» максиму. Непонятным образом немецкие дипломатические круги до того разгневались из-за нескольких шпилек по адресу высоких персон, что сумели добиться за 1844 год осуждения редактора, а в январе 1845-го — пресловутой высылки двенадцати немецких писателей из Парижа.

(ТЕОДОР КРЕЙЦЕНАХ)

Лето 1844

ПО СООБЩЕНИЮ НЕИЗВЕСТНОГО ЛИЦА

(* 19.4.1856)

Связь Гейне с Руге и со всем крайним левым крылом гегельянства была весьма поверхностной, как, впрочем, и его близость к коммунистическим учениям. Будучи от природы склонным к созерцанию, многосторонний в самой основе своего существа, с легкостью выносящий приговор любому направлению, он имел несчастье провести свою жизнь в таком партийном окружении, где воинствующая узость взглядов провозглашается добродетелью. Вероятно, он сознавал, что между ним и непримиримыми врагами мечтательства и «завихрений» любого рода зияет пропасть. «Вы согласны с направлением моих друзей?» — спросил у него один из сотрудников «Немецко-французского ежегодника». — «Я скорее согласился бы с отравлением их врагов», — гласил ответ.

ШАРЛОТТА ЭМБДЕН

Ок. 24 июня 1844

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(ок. 1866)

После долгой разлуки я вновь увидела брата в сорок третьем году в Гамбурге, после большого пожара. Он заранее написал: я приеду с семьей, — значит, с женой и Кокоттом, попугаем. Его жена не пожелала расстаться со своим любимцем и совершила переезд из Парижа через Гавр в Гамбург с Кокоттом. Мадам Гейне сразу мне сказала, что бедная птичка сильно страдает от морской болезни, — в такую минуту эта женщина ни о чем другом не думала, кроме как о своем пернатом любимце. Она несла птичку в деревянной шкатулке и никому эту шкатулку не доверяла, а красивую медную клетку несли следом. Муж мой, всегда очень учтивый и отменно галантный в обращении с дамами, встретил гостей в гавани и просил дозволения понести эту шкатулку, не зная, с чем она; но нет, шкатулку ему не доверили. Но когда мадам Гейне, весьма en bon point¹, вознамерилась сесть в карету, у нее со шкатулкой ничего не вышло, она была принуждена воспользоваться галантностью моего мужа и доверила ему шкатулку, пока не усядется должным образом; но, о небо! маленький пленник высунул головку и укусил моего мужа за палец, потому как муж мой не сводил глаз с красивой дамы и вовсе не подозревал, что в шкатулке сидит что-то живое. Он в страхе ее отшвырнул. Вопли мадам Гейне, хохот брата, крики попугая о помощи и оцепенение моего мужа составили весьма комическую сцену. Мадам Гейне рыдала, мой муж умолял о прощении, а брат никак не мог отсмеяться. По счастью, птичка осталась цела и невредима.

АНОНИМ

1844

НЕСКОЛЬКО СООБЩЕНИЙ ИЗ ГАМБУРГА

(* сент. 1844)

Гейне заметно исхудал со своего приезда прошлой осенью. Видно, его остроумие стыдилось бледных и жирных щек. Впрочем, вот еще анекдотец, который

¹ Дородная (фр.).

мне передавали за чистую правду. За столом у дядюшки недавно зашел разговор о стихотворных нападках Гейне на короля Баварии. «Изволь мне объяснить, — обратился наш старый бравый Соломон к своему племяннику, — я вот не понимаю, как ты смеешь говорить эдакое против короля. Ну что ты рядом с ним? Проходимец, больше ничего». — «Ты, без сомнения, прав, дядя, — с видимым спокойствием отвечал поэт, — но пойми и ты, стихотворство — мое ремесло. Король Баварии тоже маракает стишки, нанося тем ущерб моему делу, вот чего я терпеть не намерен».

Авг./сент. 1844

(* 9.10.1844)

Во время своего пребывания здесь <в Гамбурге> Гейне вел тихую уединенную жизнь, которая ему более всего по сердцу. По вечерам его изредка можно видеть в театре либо, невзирая на табачный дым, в павильоне на Альстере, в обществе его издателя и нескольких друзей. Разговор его оживлен, по нем особенно замечается, что Гейне в Париже принадлежал к хорошему обществу. Издержки такого разговора у Гейне никогда не переходят границ приличия, он охотно дает высказаться другим и приемлет ход чужих мыслей. У французов он постиг искусство общественной жизни, не утратив при этом немецкой душевности. Время от времени он ввертывает в разговор какое-нибудь словцо, по которому можно угадать, что у этого плута всегда на службе острый язык и острое ухо.

Авг. — окт. 1844

(* конец окт. 1844)

Несколько дней назад Гейне оставил нас, чтобы вернуться в Париж к своему семейству. За последние недели мне довелось немало поболтать с ним о том о сем, и я сделал наблюдение, что в Гамбурге он держится совсем иначе, нежели в Париже. Здесь — любезная открытость и доверительная общительность, там же он по большей части неприветлив, скуп на слова, исполнен недоверия. В Париже — и не без оснований — он испытывает перед большинством нем-

цев боязнь, близкую к подозрительности. Правда, здесь он вынужден жить среди немцев и даже мириться с некоторыми весьма неприятными знакомствами.

АДАМ ЭЛЕНШЛЕГЕР

Окт./ноябрь 1844

ИЗ ПИСЬМА

Париж, 14 ноября 1844

Вообрази, я познакомился также и с Гейне, и он открыл мне врата своего сердца. Завидев меня, он весьма удивился, и в зале, можно сказать, загремел гром от стульев, которые он раздвигал в стороны, чтобы как следует изучить черты моего лица на свету. Он воскликнул: «Нет! Неужели это Эленшлегер? О! Такой молодой и крепкий и уже готов потягаться с любым из нас». Он хорошо знал все, что я написал, и взгляд его останавливался на мне с искренним дружеским интересом. Он с похвалой отзывался о нашей литературе, сказав: «У вас больше естественности, чем у нас, вы «сочиняете» больше, чем мы, у вас во всем поэзия, великая или малая, но она есть, тогда как мы все больше блуждаем в тумане». Завел он также речь и об Андерсене и шуточно живописал гений нашего друга, наивность, увиденную им на свой лад. Он не переставал острить и был сама любезность. Я полагал встретить язвительного сатирика, а нашел резвого мальчишку, чей шуточный стих, к сожалению, страдает избытком желчи, как и его создатель.

КАРЛ ГРЮН

5 ноября 1844

ЗАПИСЬ ОТ 6 НОЯБРЯ 1844 ГОДА

Гейне сказал мне вчера, когда мы говорили о его книге о Бёрне: «От меня требовали политического партийного духа—не прошло и 24 часов после того, как я приехал в Париж, как я уже был среди сенсимонистов».

АРНОЛЬД РУГЕ

(1843/) конец 1844

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* октябрь 1867)

О его поэтической манере у нас с ним были различные интересные беседы, и он признавал, что ему следовало бы больше проявить себя в политической сатире, так как у него к ней большие способности, чем у остальных «так называемых» политических поэтов. И действительно, вскоре после этого он выпустил свою поэму «Германия. Зимняя сказка», которая имела заслуженный успех. Конечно, я был очень доволен этим.

— Хотите написать на нее критическую рецензию, хотя вы и довольны ею? Хорошо, тогда я подарю вам экземпляр, — сказал он.

Я поблагодарил его, но мне так нравилась эта поэма, что я не мог дожидаться подарка, а тут же купил книгу в магазине и сразу же написал в высшей степени благоприятную рецензию на нее—она напечатана в издании моих сочинений.

Когда я как раз закончил сопроводительное письмо к рецензии и хотел все отослать, вошел Гейне, положил на стол книгу и повторил свою просьбу.

— Ах, я не мог ждать так долго, а хорошие книги нужно покупать. Посмотрите! Вот книга, а вот рецензия! — ответил я.

— Не хотите ли доверить ее мне? Я как раз пишу Кампе.

Письмо было уже запечатано; он вертел его так и сяк. Когда я сказал: «Да вы можете сломать печать и всё прочесть», — он обрадовался и предложил пойти вместе с ним на Бульвары поесть мороженого.

В высшей степени довольные и основательно примиренные друг с другом, мы прогуливались по этой наиболее цивилизованной улице столицы континента, и Гейне воскликнул, в высшей степени удовлетворенный: «Ведь это чего-то да стоит—то, что мы здесь, так сказать, дома и можем прохаживаться по этой главной улице истории!»

Так он умел оценить благоприятный момент и определить его.

В нем я обрел в высшей степени приятного собеседника и постоянно находился с ним в самом лучшем согласии.

У нас побывали друзья Якоби из Кенигсберга. Они привезли с собой «Королевское слово Фридриха Вильгельма Третьего», которое Якоби, пренебрегая рецептом Макиавелли, все еще хотел воплотить в жизнь и которое я переправил обратно через границу к нему на родину более успешно, нежели «Немецко-французский ежегодник». Когда мы с большим пылом обсуждали судьбы нашего строптивного отечества, нам внезапно доложили о приходе Гейне. Я решил, что он явился весьма кстати, и велел просить. Гейне, однако же, проследовал в мой кабинет и передал, что ему необходимо поговорить со мной наедине.

Я не был подготовлен к подобной деловитости с его стороны и заинтересовался его намерениями.

Не успели мы поздороваться, как Гейне воскликнул:

— Вы должны быть моим секундантом, я хочу драться с Арманом Маррастом.

Я отвечал, что секундантство решительно не по моей части, а дуэль, на мой взгляд, предрассудок, из которого он, Гейне, уже вырос.

— Вам этого не понять! Я должен драться! Вы не знаете Париж. Полюбуйтесь-ка, что пишет обо мне «Насьональ»!

«Насьональ» поместил короткую заметку, где, в числе прочего, говорилось: «Гейне опубликовал сочинение «Германия. Зимняя сказка». Однако партии Свободы он не оказал услуги своей публикацией, назвав в ней Ламенне *grêtre abominable*»¹.

— И что с того? — крайне удивился я. — Только из-за этого вы хотите драться? Пусть даже Ламенне и не *abominable*, но уж *grêtre*-то он наверняка, и как может Марраст судить о полезности ваших сатир для нашей партии? Не иначе, его кто-то надоумил.

— Вот то-то и оно, проклятые евреи! — неожиданно выпалил Гейне.

— Значит, это просто семейная распря? — спросил я.

— Я не еврей и никогда им не был, — досадливо отвечал Гейне.

Не знаю, в каком колене его предки приняли святое крещение, притом на еврея он был решительно не похож, в чем может убедиться всякий желающий по его фотографиям. Но то, как он, опершись о камин, — я до сих пор вижу его перед собой в этой позе, — вполне

¹ Мерзким попом (*фр.*).

серьезно пытался мне доказать, что он не еврей, произвело на меня комическое впечатление. Штраус, друг Бёрне, подробнейшим образом просветил меня на этот счет. Сторонники Бёрне тоже приложили руку к появлению пресловутой заметки в «Насьональ». Именно это и раздосадовало Гейне больше всего. Он то и дело возвращался к разговору о дуэли и о том, чтобы я был его секундантом.

— Если вам так уж невтерпеж оконфузиться с помощью дуэли, сыщите себе в секунданты какого-нибудь польского генерала. Мне не пристало участвовать в подобной драке, кроме того, я на дружеской ноге с Маррастом и решительно не смогу выступить против него на стороне его противника. Однако если вы готовы прибегнуть к моему посредничеству и согласитесь на мое предложение объяснить Маррасту ситуацию, дело, как я полагаю, можно будет благополучно уладить.

— Ваша правда, Марраста ввели в заблуждение. Вы возьмете это на себя? Буду вам очень обязан.

В этом настроении он меня покинул, так и не пожелав увидеть кенигсбергцев, к которым я его пригласил вторично. Даже мои заверения, что среди гостей есть прелестные девушки, не возымели действия. Когда я пришел к Маррасту, я застал того в крайнем раздражении, он тотчас поведал мне, что по меньшей мере три десятка франкфуртских евреев буквально осаждали его и не успокоились до тех пор, пока не вынулиди поместить в «Насьональ» упомянутую заметку. Соответствует ли истине вся эта история с Ламенне и не является ли Гейне и в самом деле *mauvais sujet*?¹

— Что ничуть не умаляет пользу от его превосходных сатир на немецкое убожество. Я сам писал об их больших достоинствах, — ответил я.

— Хорошо, — согласился Марраст, — значит, можно сказать, что Гейне, несмотря на все свои былые прегрешения, написал теперь хорошие стихи к вящему удовольствию оппозиции.

Примерно так протекало наше объяснение, которым Гейне впоследствии совершенно удовлетворился. И действительно, бёрнеанцы слишком уж далеко зашли в своих попытках выдать «Зимнюю сказку» за неудачное сочинение. Среди французов Гейне завоевал себе много друзей. Его остроумное рассмотрение политических и религиозных предметов пришлось им весьма по вкусу. Как-то раз один француз сказал ему: «Je comprends le

¹ Сомнительной личностью (*фр.*).

rationalisme, mais je ne comprends pas l'athéisme» (Я готов понять рационализм, но атеизма я не понимаю).

«Il est facile à comprendre, — отвечал ему Гейне, — l'athéisme est le dernier mot du théisme» (Понять немудрено, атеизм — это последнее слово теизма), — причем «последнее слово» здесь звучало как «последняя воля».

Такими ясными и, однако, двусмысленными репликами часто блистает Гейне.

ГЕНРИХ БЁРНШТЕЙН

Начало 1845

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1884)

<...> кто не знал его, едва ли поверит, что этот беспощадный сатирик, этот блистательный насмешник над всем и вся, что этот Гейне, который никого не щадил, сам так болезненно воспринимал любые нападки, даже ничтожные булавочные уколы журналистов. Недоброжелательную оценку его произведений, хулу и осуждение его писательской деятельности он сносил с завидным равнодушием, но выпады, касающиеся его личности, его образа жизни, особенно его семейных обстоятельств, оскорбляли его глубоко и надолго; как часто он взывал ко мне с просьбой опровергнуть какое-нибудь утверждение в одной из парижских корреспонденций той или иной немецкой газеты, задевшее его лично, более того, он зачастую сам набрасывал эти опровержения, кое-какие из его набросков сохранились у меня по сей день. Однажды я застал его в чрезвычайном возбуждении, причем по поводу ничтожного пустяка. Оказывается, небольшое стихотворение за подписью Генриха Гейне было опубликовано, если мне не изменяет память, в маленькой немецкой газетенке, которая некоторое время выходила в Брюсселе, и Гейне пришел в совершенную ярость, оттого что ему приписывали авторство, он просил меня, он заклинал меня решительным образом дезавуировать его авторство в моих корреспонденциях. <...>

Стихотворение циркулировало среди живущих в Париже немцев, вызвало много смеха и через три дня было забыто. Но Гейне не мог столь же быстро отделаться от этого и еще много месяцев спустя пытался установить истинного автора — как я полагаю, безуспешно.

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

Начало 1845(?)

ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА

(* 26.3.1845)

Король Баварии несравненно больше печется о своих стихах, нежели о своей короне. Пусть он и не король среди поэтов, зато уж наверняка поэт среди королей. Как на грех, его королевское величество несколько туг на ухо, что дало Гейне повод сказать: «Будь король в состоянии услышать собственные стихи, он бы тотчас перестал их сочинять».

АРНОЛЬД РУГЕ

25 янв. 1845

ИЗ ПИСЬМА К МАТЕРИ

Париж, 26 янв. 1845

<...> не успел я снова приехать в Париж, как мне вручили декрет министра внутренних дел, который приказывал мне в течение 24-х часов незамедлительно покинуть Париж и Францию. Представь себе, Пруссия добилась того, что Гизо высылает 12 немцев, хотя еще неизвестно, кого именно, по списку, переданному посланником. <...>

Само собой разумеется, что там перечислены все сотрудники газеты «Вперед», Гейне, Маркс и т. д. Гейне этому еще не верит, но его фамилия в списке есть. Но он натурализовался и потому не подлежит высылке. Тем самым одновременно прекратится сочинительство некомпетентных сквернословов, и если бы господин фон Арним, прусский посланник, обратился ко мне за консультацией, то я в интересах свободы посоветовал ему сделать этот шаг, так как посрамление оппозиции есть поражение оппозиции, а газета «Вперед» ничем иным и не была.

ФРИДРИХ КЮККЕН

Февр. 1845 и далее

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1882)

Александр Вейль, изобретатель деревенских историй <...> был в то время переводчиком всех статей Гейне, предназначенных для французских газет. Однажды я спросил Гейне, почему это он, владея французским языком столь совершенно, сам не пишет свои статьи по-французски. Он ответил: «Говорят, что я обладаю хорошим немецким стилем, я не хочу его испортить. Бейль великолепно справляется с делом, и я плачу ему по заслугам». Хотя я не знаком с Вейлем близко — мы не бывали друг у друга, — мы оба все же испытывали, как я полагаю, взаимную радость, когда встречались. Его еврейские деревенские истории я читал с особым удовольствием; я знал также, что он пытается литературным трудом заработать для себя и своей сестры денег на скромную, но тем не менее приличную жизнь. Мне он был приятен. Однажды я случайно встретил его и спросил как бы мимоходом, не видел ли он вчера или сегодня Гейне. Я хотел знать, не получил ли тот от тайного советника Корефа приглашение прийти на следующий день. «О да! — гласил его ответ, — но я должен прямо сказать: Гейне все-таки подлец!» — «Ну и ну!» — «Вы ведь знаете, Ротшильд получил концессию на строительство железной дороги Париж — Страсбург и роздал акции всем своим служащим, вплоть до кучера, так как, когда они появятся на бирже, будет обеспечен, само собой разумеется, солидный выигрыш, тем более что акции не стоили владельцам ни единого су. И вот тогда Гейне тоже идет к Ротшильду и берет у него двадцать акций. Что вы на это скажете? Не должен ли Ротшильд идти к Гейне, а не Гейне к Ротшильду? Конечно, теперь по этому поводу опять будут написаны остроумные статьи и т. д.». Тогда я мало что понимал в делах, связанных с акциями, однако эта история показалась мне не очень красивой.

Уже на следующий день вечером я встретил Гейне у тайного советника Корефа в большом обществе, где знаменитый датский поэт Эленшлегер читал свою новую трагедию. Кроме Александра фон Гумбольдта, графа Люксбурга — тогдашнего баварского посланника, с которым Гейне был в очень натянутых отношениях,

из-за появившихся в «Звезде» <!> стихотворений о короле Людвиге Баварском, — там было еще много знаменитых немцев и говорящих по-немецки французов. (У этого знаменитого, позже несколько утратившего доверие больных, врача известные артисты и артистки всегда находили самый любезный прием.) Говоря о Гейне, я упомянул о возмущении Вейля по поводу железнодорожных акций. Гейне, нисколько не смутившись, ответил: «Так он вам об этом тоже рассказывал? Тогда вы должны узнать и о причине его возмущения! Когда он упрекал меня в том, что я принял эти акции, мне пришлось сказать ему: дорогой Вейль, я как раз иду от Ротшильда, который попросил известить вас о том, как он сожалеет, что он не может передать вам акции, *о которых вы просили его в письме*. Конечно, это было для Вейля горькой обидой, и теперь мне наверное придется подыскивать другого переводчика».

Не берусь утверждать, было ли вышеприведенное высказывание одним из экспромтов Гейне или чистой правдой.

К.-А. ВАРНХАГЕН ФОН ЭНЗЕ

17 марта 1845

ИЗ ДНЕВНИКА

Хомбург, 16 июля 1845

Забавную шутку про Гейне рассказал мне Кореф: Эленшлегер читал у Корефов одну из своих новых трагедий, читал скверно, со всеми характерными для датчан искажениями немецкого языка; Гумбольдт сумел счастливо уклониться от приглашения, а вот Гейне попался и потому отмстил по окончании читки, сказав, вместо ожидаемой похвалы, следующее: «Вот уж не думал, что я так хорошо понимаю по-датски».

ТЕОДОР КРЕЙЦЕНАХ

Весна 1845/весна 1846

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(19.4.1856)

Он <Гейне> любил вспоминать следующее небольшое происшествие. Когда однажды, воротясь из библиотеки, он поднялся к себе на пятый этаж своей квартиры

на улице Пуассоньер, то его на пороге встретила жена и тоном укоризны сказала, что к нему заходил весьма пожилой господин; она-де крайне сожалела, что господину пришлось безо всякого толку так высоко подниматься. Гейне взглянул на визитную карточку. «Утешься, дитя мое, — сказал он, — этому господину случалось подниматься и выше, чем сюда», — это была визитная карточка Александра фон Гумбольдта.

ЭДУАРД ФОН БАУЭРНФЕЛЬД

5 июня 1845

ИЗ ДНЕВНИКА

Париж, 8 июня 1845

Пятого в Jardin des Plantes¹, после чего Гольдшмидт повел меня к Гейне. У того какая-то болезнь глаз, и посему он намерен выехать в сельскую местность. Его толстая Матильда укладывает вещи. Он часто острит, не всегда удачно, но хочет, чтобы им восторгались. Я пришел к нему с самыми добрыми мыслями, — ибо Ауэрсперг, который ближе его знает, рассказывал мне о нем много хорошего. В общих чертах мы обсудили немецкую литературу, однако, как мне кажется, голова у него больше занята финансовыми спекуляциями. Дело идет об акциях *rive droite* и *rive gauche*²; судя по всему, Ротшильд готов его допустить к участию в деле, во всяком случае, он справлялся у Гольдшмидта, причем не единожды, о положении вещей. Политика, судя по всему, мало его занимает. В общем, поэт, которого я очень высоко ценю, не произвел на меня особого впечатления как личность. Подозреваю, что и я на него — тоже. Во всяком случае, он по-женски щеславен.

ФРИДРИХ КЮККЕН

Окт./дек. 1845

ИЗ ПИСЬМА ИОГАННУ ВЕСКЕ ФОН ШЮТЛИНГЕНУ

Париж, 17 дек. 1845

Гейне был и остается великим поэтом и отъявленным плутом. Вы, верно, знаете, Шлезингер купил у ботанического сада (фр.).

² Правого берега и левого берега (фр.).

него для меня шесть новых стихотворений, заплатив за каждое по 50 франков. Четыре из этих стихотворений он уже предоставил в мое распоряжение. Два недостающих собирался принести через несколько дней и, поскольку деньги ему очень нужны, упросил меня сразу же их выдать. И вот я третий месяц бегаю за ним, но так и не могу получить два обещанных стихотворения. Не исключено, что он уже опубликовал их в каком-нибудь журнале, второй раз получил за них деньги и теперь надеется, что я скоро уеду, а как я улажу отношения со Шлезингером, его нимало не тревожит, лишь бы только ему занять эти сто франков. Но он жестоко ошибается, я не собираюсь безропотно уезжать, не получив стихотворений. Вообще же меня крайне тяготит взятое мною на себя обязательство положить на музыку эти шесть песен. Я согласился лишь ради возможности познакомиться с Гейне поближе. Но кто хочет дожидаться от Гейне любезности, должен иметь больше денег, чем те суммы, которыми располагаю я. Я бы с радостью избавился от этих стихотворений, ибо не хочу больше писать песни. Впрочем, когда в заглавии сказано «по рукописи», это должно внушать почтение. Ежели бы Вы соблазнились этими стихотворениями и смогли уладить дело со Шлезингером (берлинцем), я бы с радостью их Вам уступил. Вы уже снискали себе такую любовь как композитор гейневской музы, поэтому, думаю, Вы скорее сумеете переложить на музыку эти действительно прекрасные стихи.

<Заметка на полях:> Леви говорил мне, что Ваши новые песни на стихи Гейне истинно прелестны. А Гейне Вы их уже показывали? Если нет, не откажите в любезности переслать их при этой okazji мне. Я по мере своих возможностей спою их Гейне.

ФЕРДИНАНД ЛАССАЛЬ

Конец 1845

СООБЩЕНИЕ О ЗАСЕДАНИИ В ФИЛОСОФСКОМ ОБЩЕСТВЕ

Берлин, 25 мая 1861

Гейне признался, что он ничего не понял в философии Гегеля; тем не менее, по его словам, он всегда убежден в том, что это учение представляет собой истинный духовный кульминационный пункт эпохи.

Пришел он к этому убеждению так. Однажды поздно вечером он зашел к Гегелю, как это бывало нередко, когда он учился в Берлинском университете. Гегель был еще занят работой; и он, Гейне, подошел к открытому окну и долго смотрел наружу, в теплую звездную ночь. Его охватило романтическое настроение, как это часто случалось с ним в молодости, и он начал сначала мысленно, а затем — произвольно — вслух фантазировать о звездном небе, и божественной любви, и всемогуществе, которое разлито в ней, и т. д. Внезапно он, совсем забывший, где находится, почувствовал руку на своем плече и одновременно услышал слова: «Дело не в звездах; дело *в том*, что вкладывает в них человек!» Он обернулся, перед ним стоял Гегель. С этого момента он знал, — так закончил Гейне, — что в этом человеке, каким бы непостижимым ни было для него его учение, бьется пульс столетия. Он никогда не утрачивал впечатления от этой сцены; и каждый раз, когда он думает о Гегеле, эта сцена всегда всплывает в его памяти.

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

Дек. 1845/февр. 1846

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

<...> Но над этими шестнадцатью тысячами франков тяготело проклятие! Через какое-то время в Париж прибыл некто Фридлендер, недавно женившийся в Бреслау на сестре знаменитого Лассаля, — тогда это был молодой человек двадцати одного года. Г-жа Фридлендер, премилое созданище с волосами цвета воронова крыла, белым, как сливки, личиком и гибкой талией, была героиней «Молодой Германии». Кроме мужа, крупного дельца, при ней состояли два верзилы-пруссача, горячие сторонники освобождения плоти, с которыми она ежедневно каталась верхом в Булонском лесу. Она поселилась в «Отель де Кастий» и жила на широкую ногу. Она восхищалась поэзией Гейне и во время обедов с шампанским на Фобур Пуассоньер читала наизусть его стихи. Гейне она нравилась. Она была чрезвычайно романтической особой и сама писала плохие стихи. На одном из этих обедов я, постоянно на них бывая, познакомился с молодым Лассалем, рослым

красивым малым с курчавыми волосами, который стограл от желания поскорее заставить всех говорить о себе. <...> Гейне предсказал ему в Германии большое будущее. «Что вы называете большим будущим?» — спросил молодой человек. «Быть расстрелянным одним из ваших учеников», — смеясь, ответил Гейне. Так или примерно так все и случилось впоследствии с Лассалем. «Я хочу стать немецким Мирабо!» — воскликнул однажды Лассаль, потрясая длинной тростью с золотым набалдашником, с которой никогда не расставался. «Но вы же не рябой, — возразил Гейне, — вы слишком красивы. Ах! Будь вы поэтом, как Гете, вас любили бы все прекрасные Фридерики и все уродливые г-жи фон Штейн; но в вас, вот таком, как вы есть, я вижу лишь будущего актера. Вас похитит какая-нибудь комедиантка!» И в этом тоже Гейне оказался впоследствии почти что прав. Так вот, Фридендер, основавший в то время Пражскую газоосветительную компанию, убедил Гейне закупить акций на все шестнадцать тысяч франков. Едва успев заключить эту сделку, Гейне сказал мне: «Кажется, я сделал глупость!» — «Как, — спросил я его, — вы отдали свои шестнадцать тысяч Фридендеру? Ну, вы попались!» — «Да нет, — сказал он, — у пражского газа большое будущее». — «У них там все лопнет, — ответил я. — Вы что, не слышали об истории с хлопком из елок?! Так знайте: Фридендер предлагал мне триста франков за то, чтобы я написал в «Корсэр-Сатан» несколько заметок о новом изобретении, на которое, по его словам, у него есть патент и суть которого в том, чтобы изготавливать некое подобие хлопка из еловых иголок». — «И вы отказались?» — «Я ему ответил, что он принимает меня за простака. Но поскольку по вечерам, в сумерках, я пою романсы его жене, я обещал познакомить его с издателем «Корсэр», и тот его порядком общипал». — «Как, и вы тоже? — воскликнул Гейне. — Она так хороша. И вдобавок еще эта очаровательная неискушенность, словно она незамужем!» — «Она не так наивна, как вы думаете, — заметил я. — У меня нет никакой надежды на взаимность, я лицо незначительное, и, наконец, я не даю обедов, но вы с вашими шестнадцатью тысячами — дело другое! Вознаграждают ли вас за это, по крайней мере?» И действительно, он потерял все. Над этими деньгами тяготело проклятие. <Пражская> компания потерпела крах!

ФЕРДИНАНД МЕЙЕР

Нач. 1846

ИЗ СТАТЬИ О ВСТРЕЧАХ С ГЕЙНЕ

(* 28.11.1849)

До начала 1846 года, когда я, приехав из Англии, провел несколько дней в Париже, я больше не видел Гейне, хотя много о нем слышал и еще больше читал; поэтому я не мог не побывать у него в Париже. К моему удивлению, я увидел, что стройный интересный молодой человек с тонкой саркастической улыбкой, с бледным тонким лицом и лукаво прищуренными глазами превратился в бесформенного, толстого, почти совершенно ослепшего старика, который полностью утратил свою живую мимику. Хотя мы и не виделись шестнадцать лет и Гейне, как уже было сказано, почти ничего не мог различать, он все же узнал меня по голосу, прежде чем я назвал себя. Он очень жаловался на состояние своего здоровья и надеялся только, что его исцелят немецкие курорты, особенно Гаштейн, для поездки на который, правда, требовалось отменить решение о его высылке из Германии, что было тогда невозможно. Когда он говорил об этом, в его словах звучала большая горечь, и он предрекал всей Германии печальное будущее в самом ближайшем будущем, что вызвало у меня тогда смех, но в последнее время, к сожалению, это пророчество грозит в немалой степени сбыться.

герман фон шюклер-мюскау

ПИСЬМО КАРЛУ ГЕЙНЕ

28 янв. 1846

Прошу не посетовать на меня, Ваша милость, если я, чье знакомство с Вами ограничивается лишь краткой встречей тому двадцать лет в доме Вашего почтенного батюшки, счел, однако, возможным для себя обратиться, и даже *настоятельно* обратиться, к Вам по делу, которое хоть и не касается меня лично, тем не менее живейшим образом меня занимает и возбуждает мое

участие. Итак, без долгих околичностей перейду к делу.

Друг Вашего знаменитого родственника Г. Г<ейне>, высоким, дивным, хотя порой идущим по ложному пути гением коего Вы можете по праву гордиться вместе со всей Германией и близкое родство с которым, следовательно, служит Вам к чести, с чем я уже поздравлял Вашего батюшку, и тот охотно принял мои поздравления, — словом, друг Г. Г<ейне> уведомил меня, а также многих единомышленников и одновременно влиятельных лиц, имена которых громко звучат не только в родной стране, но порой и далеко за ее пределами, что в настоящее время гениальный поэт, чья глубокая душевность не единожды исторгала сладкие слезы из наших глаз, чей неподражаемый юмор так часто вызывал неудержимую улыбку у нас на устах, даже когда мы не могли его одобрить, истерзан физическими страданиями, что ему грозит слепота и что в этом печальном положении на него надвигается худшее из всех зол — полное отсутствие средств, ибо, хоть нам и трудно в это поверить, Вы, Ваша милость, Вы, сын и единственный наследник своего батюшки, вдвойне миллионер, после смерти Вашего батюшки отказываете Г. Г<ейне> даже в скудной пенсии, какую Ваш батюшка при жизни выплачивал ему неукоснительно; отказываете, ссылаясь на то, что Ваш кузен не был однозначно помянут в завещании, хотя я, оказавшись я на Вашем месте, считал бы, что у людей чести подобные вещи подразумеваются сами собой, причем стороной я слышал от досточтимого друга Вашего покойного батюшки, что сей благородный и великодушный человек всегда рассматривал ежегодную пенсию, назначенную племяннику, как пожизненную.

Я не допускаю и мысли, что Вы, Ваша милость, совершили этот шаг из одного лишь денежного интереса, который было бы трудно понять. Без сомнения, Вас лично задела другие обстоятельство, либо Вы подпали под чье-то чужое влияние. Подумайте, однако, что благородный человек, когда он раздумывает о самом себе, прибегает к *подобным* средствам в последнюю очередь, а пуще того страшится подозрения, что из одного лишь страха перед чужим могучим влиянием может совершить поступок, наносящий ущерб его собственному имени и родной крови.

Примите во внимание и то обстоятельство, что Ваш кузен, несмотря на многочисленные заблуждения, кои я не намерен отрицать, не пребывает в некоей изоля-

ции, а благодаря своему гению принадлежит всей Германии или, по меньшей мере, всему в Германии, что наделено *умом*. Среди этих умов, без сомнения, найдутся и *сердца*, которые охотно простят Г. Г<ейне>, постигнутого несчастьем, что, находясь в упоении счастьем, он порой слишком многое себе позволял. Все вышеизложенное заставит громко прозвучать общественное мнение, которое очень тяжело на Вас обрушится, ибо — благодарение богу! — мы вступили в такие времена, когда ни короли, ни миллионеры не могут пренебрегать общественным мнением, не вызывая справедливых нареканий.

Нам, правда, говорили, что Вы, Ваша милость, предлагаете своему кузену *урезанную* пенсию, но лишь при условии, что отныне все им написанное он будет еще до опубликования предъявлять Вам на просмотр. Хочу думать, что это не более как шутка, ибо Вы, Ваша милость, джентльмен и крупный коммерсант, чье призвание не только почтеннее, но и великолепнее, даже поэтичнее, на мой взгляд, а торговаться с Гением, если говорить всерьез, постыдился бы даже самый жалкий лавочник.

Вы видите, Ваша милость, я обращаюсь к Вам с немецкой прямоотой, что свидетельствует о живейшем участии, которое я принимаю в Вашем кузене (кстати сказать, я знаком с ним лишь духовно, то есть по его сочинениям, а не лично), равно как и о моем к Вам уважении. Невзирая на то, я признаю за Вами право счесть меня, с таким пылом ратующего за чужое дело, своего рода Дон Кихотом, но мне в тысячу раз милей походить на этого храброго и благородного чудака, нежели присягнуть на верность знамени подлого эгоизма наших дней, провозгласившего своим главным принципом: никогда не делай ничего для других, коль скоро это не сулит тебе личной выгоды. Лыщу себя надеждой, что Вы, Ваша милость, явите нам разительные доказательства того, что не принадлежите к сей категории, великодушно поддержав своего кузена, ибо не будет ли позором для Вашего дома, ежели по всей Германии придется объявить сбор пожертвований, дабы *не умер с голоду* ее блистательный, ныне живущий писатель, отпрыск семьи, богатство которой вошло в поговорку, как богатство Ротшильдов.

Господина Г. Г<ейне> вскорости ожидают в Берлине, где не менее знаменитый — хотя и в другой сфере — Диффенбах намерен подвергнуть операции большие глаза Г<ейне>. С глубоким уважением я настоятельно прошу Вас, не упустите эту благоприятную возмож-

ность обеспечить своему кузену если и не блестящее, то по меньшей мере безбедное будущее, и Вы можете быть заранее уверены в живейшей благодарности многих весьма почтенных людей, а прежде всего — нижеподписавшегося <...>

КАРЛ ГЕЙНЕ

(1845/1846)

ПИСЬМО GERMANU FON ШOKЛЕР-МЮСКАУ

Гамбург, 2 февр. 1846

Вашей светлости

высокоочтимое письмо от 28 января я имел честь получить с сегодняшней почтой: за мое отношение к поэту Генриху Гейне сей последний должен поблагодарить только себя.

Будучи неизменным почитателем его большого таланта и защищая его с юных лет, Вы, Ваша светлость, легко можете понять, что мне крайне трудно осуждать поведение моего кузена, еще прискорбнее для меня, если с виду побудительным мотивом служат лишь денежные недоразумения, что дает повод свету осуждать меня.

К сожалению, я мог бы адресовать Г. Гейне немало горьких упреков, и я располагаю письмами, которые вынуждают меня упорствовать в моем образе действий. Мой долг — чтить память покойного горячо любимого отца — повелевает мне положить предел злу.

Я уже переступил через собственное «я», переступил не без внутреннего сопротивления, предложив ему на определенных условиях некоторое вспомоществование. Он пренебрег моим предложением, и теперь я упрекаю себя в слабости, помешавшей мне решительно отказать ему в помощи.

Ваша светлость извинит меня, если я не желаю больше обсуждать сей предмет, в заключение позволю себе заметить, что у меня на совести нет никакой вины, и если я отказываюсь дать Вам более подробные объяснения, то лишь затем, чтобы не уронить в Ваших глазах репутацию поэта.

Я отнюдь не жесток или неуступчив в денежных вопросах, но есть такие вещи, которые можно испустить лишь раскаянием и добрым поведением.

ДЖАКОМО МЕЙЕРБЕР

Дек. 1845/февр. 1846

ИЗ ДНЕВНИКА

Берлин, 19 февр. 1846

Меня посетил Лассаль, который в описательных выражениях, но под весьма прозрачной аллегорией дал мне понять, что Гейне намерен писать противу меня. Истинная причина этой враждебности коренится в том, что перед моим отъездом из Парижа я не согласился на просьбу Гейне ссудить его тысячей франков, после того как уже передавал ему за свою жизнь не одну тысячу, из которых он, разумеется, не вернул мне ни единого пфеннига.

(1836/) 1846

ПИСЬМО КАРЛУ ГЕЙНЕ

Берлин, 14 июня 1846

Прошу простить, если я, властно побуждаемый двумя противоречивыми чувствами, осмеливаюсь совершить по отношению к Вам шаг, который может показаться Вам неделикатным. Одно из этих чувств зиждется на высоком, на безграничном уважении, которое я питаю к Вашему исполненному чести, доброты и человеколюбия характеру, равно как и к памяти Вашего незабвенного батюшки. Второе из этих чувств имеет своим истоком мою многолетнюю дружбу с Г. Гейне и восхищение, испытываемое мною перед великим поэтическим гением, которым по праву гордится его немецкое отечество.

Сравнительно недавно от господина Фердинанда Лассаля, друга Гейне, состоящего с ним в регулярной переписке, я узнал, что состояние давно уже подорванного здоровья поэта за последние месяцы крайне ухудшилось. Этот неблагоприятный поворот в течении болезни в значительной мере усугублен нравственной ажитацией и тревогой, которую вызывает у него неуверенность в материальной основе своего дальнейшего существования, ибо, по его мнению, Вы не желаете ни выплачивать ему полную сумму прежней пенсии, ни твердо обещать пожизненность оной. Я не позволил бы примешивать свой голос, голос постороннего человека, к этому чисто семейному делу, не имея

я возможности сообщить Вам некоторые данные о намерениях Вашего покойного батюшки в момент назначения этой пенсии, ибо сам же побудил Вашего батюшку, человека неисчерпаемого великодушия, такую назначить.

Когда благородный старец прибыл в Париж на торжества по поводу Вашего бракосочетания, Г. Гейне хоть и получал время от времени некоторые суммы, но не получал твердо установленной пенсии, а посему я взял на себя смелость завести с Вашим батюшкой речь об этом предмете, и сей превосходный человек, который в память дружбы с моими добрыми родителями всегда выказывал мне сердечное расположение, не единожды обсудил со мной данный вопрос во всех деталях. Исходя из этого, я могу с полной уверенностью сообщить Вам, что Ваш почтенный родитель рассматривал назначенную Г. Гейне пенсию как пожизненную, о чем можно судить и по словам, какими он сообщил ему об этой милости: «Теперь тебе, по меньшей мере, нечего опасаться, что ты и на старости лет принужден будешь добывать свой хлеб сочинительством».

Поскольку я слышал от многих, с каким благоговением Вы, высокочтимый господин Гейне, стремитесь как можно шире исполнить каждое волеизъявление, каждое великодушное начинание благородного человека, покинувшего сей мир, я счел своим долгом при сложившихся обстоятельствах почтительнейше уведомить Вас обо всем вышеизложенном, уповая на то, что в моем поведении Вы усмотрите не только доказательство моих дружеских чувств к Г. Гейне, но и мое душевное уважение к Вам и к памяти Вашего, для меня незабвенного батюшки.

КАРЛ ГЕЙНЕ

(1845/) 1846

ПИСЬМО ДЖАКОМО МЕЙЕРБЕРУ

Гамбург, 20 июля 1846

Милостивый государь!

Я имел честь получить Ваше достойное послание от 14-го. Я никоим образом не хотел бы повредить другу Г. Гейне в Ваших глазах, и потому мне нелегко сообщить Вам некоторые подробности его поведения и неизбежно возникшие по этому поводу несогласия; до

сего дня я его щадил, ибо в прежние времена питал к нему большую приязнь, но у каждого дела есть своя цель; я предпочел бы, чтобы д-р Гейне имел меньше таланта, но больше благородства.

Хотя сей последний уже грозил мне судебным процессом, коль скоро я не буду давать ему деньги, я тем не менее проявил слабость (вынужден употребить это слово, ибо после таких поступков не испытываю к нему никаких дружеских чувств) и выдал ему изрядную сумму, так что уж и не знаю теперь, чего он еще от меня хочет. Личными оскорблениями, которые он мне нанес, я мог бы и пренебречь, но я никогда и ни за что не могу простить, если он в письмах демонстрирует образчики своего таланта, дабы очернить память моего покойного отца, который был его благодетелем, не только его, но и многих других, и которому он обязан всем. Это наглость, и я никогда не смогу ее простить, подобному человеку я был бы вправе не оказывать иных знаков внимания, кроме как палкой. Вы видите, милостивый государь, что, при сложившихся обстоятельствах, я никоим образом не могу по всей форме гарантировать д-ру Гейне твердую пенсию; ибо ежели он осмелится написать в своей манере что-нибудь против моего любимого покойного отца, ему придется иметь дело с сыном. Слава тебе господи, у нас нет ни малейших причин опасаться публикации биографии покойного, но каждый смертный, как бы велик он ни был, имеет порой маленькие слабости, которые, будучи истолкованы на гейневский лад, могут лишь потешить обывателей и вызвать смех; и хотя бы сие жизнеописание, в полном соответствии с истиной, сказало о покойном много добрых слов, маленькие слабости возобладают над добрыми словами и дольше пребудут в памяти толпы, чем добрые слова, пусть даже это вызовет отвращение у человека чести. Доказательства таковой способности д-р Гейне уже представлял мне, и я не желаю и не намерен впредь читать что-либо подобное, коль скоро он желает получать от меня поддержку.

Кстати, что до материального положения, в котором находится вышеупомянутый, у меня нет причин испытывать особое сострадание, если, конечно, он пребывает в рамках умеренности; уже в начале сего года он получил от меня четыре тысячи франков; пренебрегши этим, он натравливает на меня теперь князя Пюклера, семейство Ротшильдов и многих других и прилагает все усилия, чтобы своим очернительством повредить мне в общественном мнении. Пусть бог ему простит, для меня

же довольно быть в ладу со своей совестью, и могу смело сказать, что после всего, имевшего место, я еще слишком много делаю для д-ра Гейне.

Крайне сожалею, милостивый государь, что принужден дать столь прискорбный ответ на Ваше достойное письмо Вам, которого я столь высоко чту, но д-р Гейне так надругался над моими лучшими чувствами, что я могу лишь объяснить Вам свое душевное состояние. Позвольте мне, милостивый государь, засвидетельствовать Вам свое глубочайшее почтение. <...>

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

Весна 1846

ПО СООБЩЕНИЮ ФРИДЕРИКИ ФРИДЛЯНД

(* 1856)

Когда присутствие друзей, которых он любил, отвлекало Гейне на несколько мгновений от его страданий и болтовня красивых женщин возбуждала его, он был неистощим в своих забавных экспромтах, которые разлетались, словно ракеты, во все стороны. Госпожа Ф<ридлянд>, жизнерадостная и все еще красивая немка, которую он знал уже много лет и которая теперь, после долгого отсутствия, снова приехала в Париж, была сегодня со своим супругом среди гостей. Встреча с ней и воспоминания о лучших днях сделали больного моложе. Говорили о прошлом, и госпожа Ф<ридлянд> упрекнула Гейне в том, как легкомысленно он в то время имел обыкновение порхать от одной женщины к другой. «Que voulez vous?»¹ — возразил поэт. — Ведь идеал почти никогда не встречается. Истинная красота и добродетель очень редко соединяются в одном человеке, и не остается ничего другого, как собирать прелестную женственность по кусочкам. Наконец мы нашли прекрасное сердце, внешность также великолепная, но цвет волос не подходит к нашему пониманию красоты. А здесь лоб, который приводит нас в восхищение; здесь рост, там нос, здесь изящная ножка, там мечтательные, глубокие как море глаза. Эта прелестно улыбается, но танцует отвратительно, та восхитительно маневрирует лорнетом и веером, но за этим не кроется ничего, кроме пустого притворства.

¹ Чего же вы хотите? (фр.)

Здесь такая же история, как с кафе. В одном есть любимые газеты и журналы, но напитки плохие, в другом — хорошие напитки, но жесткие диваны. Там же, где вы наконец нашли превосходные диваны, нет ничего, что бы можно было выпить и почитать. Поэтому приходится бегать из одного кафе в другое и нигде не удается стать завсегдатаем. Так и у какой-нибудь красавицы, которая держит вас в плену целых полгода, черная, предательская душа, но очертания ее ушек отличаются таким совершенством, которого вы еще нигде не встречали».

Госпожа Ф<ридланд> улыбнулась и ударила поэта зонтиком по руке, так как он своим последним намеком имел в виду ее самое. Потом пошли обедать, обед был довольно долгим и порядком шумным.

— Кто вас возит, кто показывает вам Париж? — спросил Гейне, повернувшись к своей соседке.

— Добрейший П<анофка>, — ответила дама и назвала имя довольно известного музыканта.

— О, это хорошо! — воскликнул Гейне, — это всем нам кстати, по крайней мере на несколько дней это отвлечет его от сочинения музыки. Когда недавно в зале Валентино должна была исполняться симфония этого добряка, там собралась компания заговорщиков, которые хотели как следует освистать это музыкальное произведение. В соответствии с договоренностью эта буря мести должна была разразиться к финалу. Но заговорщики разработали план, не приняв в расчет своеобразный талант маэстро. Дело в том, что отдельные части затягивались все невыносимее, и заговорщики один за другим бесшумно и тайком выскальзывали из зала, рассчитывая на оставшихся. Но поскольку заговорщики были к тому же и знатоками, в зале никого не осталось, и получилось, что этому превосходному человеку члены его клики в конце еще и аплодировали.

Когда хохот стих, Гейне спросил:

— Куда же вы хотите пойти сначала?

— Я еще не решила, — ответила дама, — но госпожа К<ореф?> хотела заехать за мной около двенадцати часов в своем экипаже.

— Госпожа К<ореф?>? — воскликнул Гейне. — Ах, мой друг, позвольте вас предостеречь, не показывайтесь в экипаже этой дамы, поверьте мне, это все равно что ехать сквозь строй.

— Я как раз припоминаю, — ответила госпожа Ф<ридланд> несколько смущенно, — что госпожа К<ореф?> предложила поехать посмотреть Пантеон.

— Пантеон! — воскликнул Гейне. — Ах, что нужно госпоже К<ореф?> в Пантеоне? Ведь госпожа К<ореф?> — сама Пантеон, где покоились великие люди.

ЙОЗЕФ САМЮЭЛЬ ТАУБЕР

Конец февр./конец апр. 1846

СТАТЬЯ О ПОСЕЩЕНИИ ГЕЙНЕ

(* около 21.8.1846)

«Умер Гейне!» — кричали в последнее время наши газеты. Производило трогательное впечатление то, как они последовательно представляли его все более слабым, все более больным, изображая его сначала прогуливающимся по Бульварам, затем лежащим в больнице, потом лечашимся на курорте, потом в сумасшедшем доме, и, наконец, после того как по их воле он умер в Шарантоне в результате трагической справедливости, мы видим его лежащим на кладбище Пер-Лашез под прекрасно отшлифованной мраморной могильной плитой. <...> Каким бы подходящим для Шарантона ни был его талант, как он это с давних пор показывал, сколько бы ни выкидывал он невероятных штук, как бы безнадежно ни был сейчас болен — его живой ум тем не менее не покидает его никогда, и ничто не приводит его в столь жизнерадостное настроение, как заметки, сообщения и газетные пасквили, написанные о нем, которые в течение некоторого времени публикуются во всех немецких газетах. Конечно, левая рука у него парализована, но он еще любезно подает правую руку землякам, которые — одни в большей, другие в меньшей степени — привозят ему с родины приветы и свежесорванные лавры. <...>

Прошло едва три месяца, с тех пор как я был у Гейне. То время, которое я провел у него до полудня, я причисляю к незабываемым часам благородного наслаждения, выпавшего мне в этом счастливом мировом городе, в этой Мекке духа и материальных расчетов, в этом единственном в своем роде Париже. От левой стороны улицы Фобур Пуассоньер отходит узенький переулочек, дом № 41, стоящий на углу улицы и переулка, был указан мне как дом, где проживает Гейне. Я поднялся по трем маршам узкой деревянной полированной лестницы, какие так часто встречаются в

парижских частных домах, и вскоре, запыхавшись, стоял у маленькой желтой двери. Мой остроумный и симпатичный земляк, так быстро ставший известным, Мориц Г<артман> за несколько дней до того уже говорил обо мне с Гейне, так что я бесстрашно и полный надежд потянул за шелковый шнурок зеленого цвета и позвонил. Дверь открыла дама, которой волосы и глаза придавали наружность итальянки; я отметил также ее французский туалет и в то же время истинно немецкую приветливую улыбку на лукавом лице; она открыла дверь и сказала, бросив критический взгляд на мой сшитый на родине черный фрак: «Monsieur Eene n'est pas chez lui»¹, — это было неприятно! Я мечтал, что когда-нибудь встречу Гейне, с тех самых пор, как прочел его первые лирические стихотворения, и был особенно счастлив в последние несколько дней, после того как он через моего друга Г<артмана> пригласил меня к себе. «C'est déjà long temps qu'il est sorti?»² — спросил я недовольно. «Il n'est pas encore sorti»³, — раздался тут же слабый высокий голос из полуоткрытой двери кабинета, и вслед за тем я увидел маленького человека, не худого и не толстого, не молодого и не старого; его немного опущенная голова часто склонялась к левому плечу, на бледном лице отчетливо были видны следы болезни, от которой он еще не оправился полностью; короткие каштановые волосы в беспорядке падали на высокий выпуклый лоб, и отдельные седые волоски, которые навязчиво смешивались с более темными, тихо выкрикивали свои сарказмы по поводу тщеславия, с которым их обладатель еще несколько лет тому назад проводил рукой по своим романтическим локонам. Это был Генрих Гейне! Человек, которого многие немцы любили, которого все усердно читали, навстречу которому устремлялись сердца всех женщин и который теперь стоял передо мной, сломленный, пресыщенный жизнью и усталый. Его неподвижная левая рука была засунута в карман желтого шлафрока, правую он приветливо подал мне.

— Entrez toujours!⁴ иначе вы не увидите ни одного парижанина в его комнате, если будете верить привратникам, — воскликнул он со смехом и так громко, словно говорил с глухим, при этом он быстро пошел вперед, так что я едва мог поспевать за ним.

¹ Господина Эйне нет дома (фр.).

² Он давно ушел? (фр.).

³ Он еще не ушел (фр.).

⁴ Всегда входите! (фр.).

— Я поверил честному выражению лица черноволодой дамы, — сказал я, слегка запыхавшись от бега по трем комнатам.

— Не стесняйтесь, скажите просто: чернушки! — сказал он снова со смехом, предлагая мне сесть. — Госпожа Гейне, или Эйне, как она себя называет, не пускает ко мне по утрам ни одного немца, вообще ничего, кроме того, что имеет явное французское происхождение, не пропускает даже немецких писем, если они без марки.

После некоторой паузы, во время которой госпожа Гейне подседа к нему и он, как обычно, насмеялся над самим собой, он сказал:

— Удивительно, как безошибочно она узнает немцев, хотя по-немецки не понимает ни слова, за исключением тех случаев, когда я разговариваю по-немецки с дамами, или когда она... читает газету, n'est <-ce> pas ma biche? ¹ — воскликнул он и самым отеческим образом провел рукой по ее черным волосам, зачесанным на пробор.

— Да, мой господин, — сказала она с улыбкой на ломаном немецком языке.

— Я с первых же слов узнал в вас немца, — продолжал он, повернувшись ко мне, — и мне пришлось таким образом уличить мою милую женушку во лжи.

В эту минуту хриплым пропитой голосом возвестил за окном о победе польских инсургентов, о том, как двести жителей Кракова обратили в бегство двенадцать тысяч врагов; в одно мгновение госпожа Гейне оказалась на лестнице и через несколько минут вбежала в комнату с глазами, опьяненными радостью, держа в руках большую газету. «Поляки побеждают!» — воскликнула она и быстро прошла в свою комнату, чтобы еще раз перечитать это радостное известие.

— Кошка не может не ловить мышей! — воскликнул Гейне. — И французы счастливы, когда где-нибудь разражается революция, будь то даже в Пекине, а тем более — в России! Я думаю, что если бы воздушные шары были бы достаточно прочными, то тридцать тысяч парижан завтра же продали бы свои мундиры национальных гвардейцев и полетели бы в Краков.

Мы разговаривали долго, переходя от темы к теме. Он расспрашивал меня, поскольку я только что вернул-

¹ Не так ли, моя лань? (фр.)

ся из Италии, о тамошних порядках и политике, о сокровищах Рима, которых он, к сожалению, не видел, хотя слух, о котором написал один немец (этими сухими словами он назвал не кого иного, как Бёрне), что будто он, Гейне, не поехал в Рим из-за боязни быть заколотым наемными убийцами, совершенно неоснователен.

Я рассказал ему многое об итальянской жизни, о том, куда я еще собираюсь съездить, о том, что надеюсь вскоре снова увидеть Германию и как много немцев в Париже завидуют мне по этому поводу, не столько из-за удовольствия увидеть родину, сколько потому, что каждая такая поездка дает материал для написания путевых новелл и книги очерков.

— Будьте любезны и пересядьте поближе ко мне, — прервал он меня, — я не слышу этим ухом. Я тоже вам завидую, — сказал он затем таким трогательно-серьезным тоном, которого позднее я от него никогда больше не слышал, — я вспоминаю, как молод я был в то время, когда видел все это таким прекрасным, с какой любовью я все это описывал и какие жалкие рецензенты меня критиковали; тогда только я понимаю, как мне всегда везло в прошлом — и как никогда больше не будет везти.

— Не лишайте нас наших надежд! — воскликнул я, с глубоким чувством хватая его за руку. — Что вам до завистливых суждений! Благородный олень всегда выше преследующей его своры, и чем ветвистее его рога, тем яростнее его травят, тем громче лай собак. Германия ждет, если еще и не ваших «Мемуаров», то по крайней мере...

— О, с этим все кончено, — перебил он меня с мучительной улыбкой, — все кончено! Что я могу сделать половиной мозга, что я могу написать вполсердца? Я предоставляю это другим, — заключил он с высокомерной улыбкой, и в этой улыбке отразился весь эгоизм Гейне.

— Это так, — возразил я, несколько уязвленный самомнением этого человека, который часто проявлением своих мелочных черт заставлял забывать, что он — великий поэт, — но вы тем не менее всем им если и не испортили все дело, то во всяком случае осложнили задачу: никто из них не поднимается до прозы Гейне, будем говорить о нем в третьем лице.

— К сожалению, я знаю его в первом лице, — вставил он и долго после этого смеялся.

— Но в молодой Германии, — продолжал я громче и серьезным тоном, — сейчас проявляется совсем другой

дух! Лирика, которой раньше принадлежали все силы, все таланты и которая отвлекала их от важных вопросов жизни отечества и от важной работы, эта дева, которая целомудренно и без всякого интереса к мирским делам вела одинокое существование и питалась весенними стансами и любовными сонетами, находит теперь одинокую жизнь скучной, старые поклонники умерли и забыты, молодые находят ее монотонной, и вот она сняла свой лучезарный венец и весьма охотно слушает не только Аполлона, но и Марса. Теперь в Германии настала пора для слова «сейчас», немецкая серьезность не шепчет более идиллии Гесснера, громкими голосами она выкликает свои желания — более того, требования, и если иногда она еще накидывает на себя лирический плащ, то делается это для того, чтобы не напугать современников, для которых нагота пока еще непривычна, то есть, к сожалению, еще из страха перед тем, что некоторые чопорные писатели объявят неэстетичным показ обнаженной натуры, даже самой благородной формы, и разговоры о недугах, сколь бы ни был велик вред от их успокоительного прикрытия.

— И вы думаете, что это сохранится? — спросил он меня горько. — Я раскаиваюсь, что опубликовал те немногие политические стихотворения, которые я написал. Возьмем вашу развернутую метафору — ведь Аполлон и Марс долго не продержатся; сейчас вообще не время для стихов, ни здесь, ни в Германии, — особенно это касается Германии! Во Франции поэт может быть хоть бывшим галерником, но если он напишет что-то новое, то это прочтет весь мир и все будут хвалить его! А у нас дома никто не будет читать книгу, прежде чем не осведомится, солидного ли поведения ее автор, и не выведает его тенденции. И поскольку Германия принимает даже упрямство за последовательность и скорее откажется от человеческого достоинства и права, чем от освященных традицией кодексов, то она так же судит и о других государствах, как о каждом отдельном человеке; они там не верят, что человек в чужой стране очень скоро утрачивает высокомерие и отбрасывает его в сторону, горько раскаиваясь в легкомыслии; они не знают, что значит в течение долгих одиннадцати лет испытывать превратности судьбы эмигранта; они никогда не рады своим поэтам; каждый счастлив, если притащит орудия пытки для человека, любимого народом; кого народ высоко ценит, того они распинают на кресте, так у нас было, так и останется — от Виланда и до Гейне. — Он замолчал,

обессилев. Он давно не говорил так долго, и его полупарализованный язык уже не вполне повиновался ему, так что он буквально пролепетал последние слова, которые едва можно было понять.

— Издалека вы видите все в более мрачном свете и за плотной завесой тумана, дома это выглядело бы иначе, — сказал я после паузы, — приезжайте в Германию.

— Куда мне ехать? — воскликнул он страстно. — В Гамбург я не хочу, в Берлин не могу! Можете мне поверить, что, как мне известно из некоторых источников, австрийское правительство чинило бы мне меньше препятствий и создавало бы меньше трудностей при поездке в Австрию, чем прусское правительство, захоти я поехать в Пруссию! Я не отказываюсь от этого плана — если Пирмонт оправдает свою репутацию и его целебные воды смогут мне помочь, я попытаюсь съездить в Германию, и если посчастливится, я еще раз побываю в Вене. У меня там есть несколько знакомых. Передайте мой самый сердечный привет и господину Грильпарцеру, если вам случится его видеть. От пожеланий я его, пожалуй, избавлю, ведь у него теперь высокий титул, и они думают, что тем самым они с лихвой вознаградили его за все заслуги! Он был так добр и посетил меня здесь, и мне было приятно беседовать с ним; он такой хороший, добродушный, и время прошло так быстро, что у меня даже не было возможности обсудить с ним важные вопросы, как я того хотел. Он должен знать меня не из газетных заметок, а из других источников; если бы он был здесь, я поручился бы, что он займет первое место среди обессмертивших себя немцев, а так мне придется сохранить это место *для себя*. Что же касается вашей рукописи, которую дал мне г-н Г<артман>, то я с истинным удовольствием принимаю посвящение, но должен сказать вам, что у вас много ненужных побрякушек; я у вас в ближайшее время побываю, и мы поговорим об этом подробнее.

И он сдержал слово. Как бы ни истолковывать его в высшей степени любезную предупредительность, ясно, по крайней мере, что он искренне и душевно относится ко всем, для кого немецкий язык — родной, помогает многим советом — и делом, хотя последнее наследство после смерти дяди было не таким уж огромным и Кампе платит ему ежегодно за пользование его произведениями лишь около трех-четырёх тысяч франков.

ЛЕВИН ШЮККИНГ

Апрель — май 1846

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1869/1883)

Гуцков рассорился с Гейне, он не простил ему его книги о Бёрне, не простил того, что Ю. Кампе держал его серьезную работу целый год под замком в своей конторке, чтобы прежде напечатать работу Гейне; он не бывал у Гейне также потому, что был в дружеских отношениях с людьми, наиболее близкими Бёрне.

— Но сходите к нему, — сказал мне Гуцков. — Правда, он мало общается с нами, немцами. Он поддерживает отношения лишь с некоторыми из нас. Однако, я думаю, он охотно вас примет. Он живет на улице Фобур Пуассоньер, это недалеко от нас.

На той же улице был расположен отель «Виолет», служивший мне пристанищем, и уже на следующий день после обеда я отправился к нему. Дома никого не было.

На следующее утро, в час, для Парижа очень ранний, я услышал в темном коридоре перед моей комнатой неуверенные шаги, похожие на движения слепого, затем кто-то споткнулся, словно о какой-то предмет, стоявший на дороге. Я вскочил, чтобы открыть дверь, и на пороге появился довольно толстый мужчина среднего роста в темно-сером костюме; он поднес левую руку к глазу, подобно тому как другие подносят лорнет, и приподнял указательным пальцем веко, чтобы, закинув голову назад, лучше видеть.

Мужчина ни в малейшей степени не напоминал Генриха Гейне, как его изображали на портретах того времени. Он выглядел менее изящным, менее одухотворенным и куда менее стройным, чем я ожидал, — в его чертах я не нашел никаких следов восточного происхождения, не было заметно в них и страдания. Поэтому я его не узнал, и только когда он назвал себя, я в великой радости воскликнул:

— Ах, вы — Гейне... Как вы обрадовали меня тем, что пришли ко мне, я вчера решил пойти к вам с большой робостью...

— Почему же с робостью? Или вы полагаете, что, если по моей лестнице поднималось множество таких же, как вы, я останусь равнодушным к любезному доказательству того, что меня еще не совсем забыли в Германии?

— Будто бы вам нужны такие доказательства! И вы же всегда будете делить их на две категории: на приятные и докучные, и, конечно же, будет еще немало таких доказательств из-за Рейна, которые заставят вас пожелать, чтобы этот поток стал Летой.

— Ах нет, — сказал он. — Зачем Летой? Для меня Рейн, с берегов которого вы приехали, — это река воспоминаний. Я привязан к нему всем сердцем, я житель рейнского края не только по рождению, но и по натуре,

— И тем не менее вы ни разу не сочинили ни одной рейнской застольной песни.

— Не сочинил? Может быть, и так. Я никогда не воспевал вино; вот теперь вы увидите, как на меня клеветит и какой я добронравный поэт. Но вы пейте ваше вино, — продолжал он, — я вижу, я прервал ваш завтрак.

— Хотите разделить его со мной? — спросил я Гейне, в то время как он, отвернувшись от света, поудобнее устраивался в кресле, которое я ему пододвинул. — Это вино — безобидный сок с берегов Жиронды или из Сентонжа...

— Нет, я не дал обета не пить вина, все дело в моем враче, в моем враче, или, точнее, в моем бедном изможденном теле, которое сделало меня аскетом. Я несу наказание за ваши грехи.

— За наши грехи? Почему?

— Разве вы в Германии не провозгласили меня изобретателем или апостолом эмансипации плоти? — ответил Гейне. — А теперь изображаете меня как бедного, пьющего воду пуританина, человека, бросившего вызов всему мирскому, аскета, законченного трапписта... ах, я очень болен; мне приходится, если я хочу видеть, как вы выглядите, поднимать это веко пальцем, так оно сковано... вообще, вся моя левая сторона парализована уже несколько лет, и головная боль лишь редко оставляет меня, давая часок поработать...

Я ответил, что тем не менее он выглядит вполне хорошо и бодро, а он продолжал:

— Я могу писать только в моменты просветления, — затем добавил со смехом: — Что, конечно, лучше, чем, как делают многие дурни, писать только во время припадков...

Гейне продолжал рассказывать о своих болезнях, а я упомянул что-то о предложении, которое он сделал одному из своих знакомых, Гайльброннеру.

— Гайльброннеру? Какое еще предложение? — воскликнул он.

— Разве вы не попросили его однажды уступить вам на короткое время его тело? Вы только не ручались, в каком состоянии вы вернете его владельцу, если через месяц он потребует его назад.

Гейне звонко расхохотался.

— Так вы знакомы с Гайльброннером?

— Я жил в Аугсбурге...

— Ах да, я знаю. А что он сейчас делает и что поделывает мой неумолимый цензор Кольб?

— Гайльброннеру отомстило его непостоянное, ветреное сердце, он плохо себя чувствует после серьезной сердечной болезни, а что касается Кольба, то вы не на шутку рассердите его, если будете помещать самые прекрасные мысли и самые восхитительные остроты именно в те места ваших корреспонденций для «Всеобщей газеты», которые он, к своему отчаянию, должен вычеркивать.

— Почему это должен... он — вандал.

— Ах, он всего лишь добрый верный шваб и радуется, как дитя, вашим корреспонденциям, но его ярмо не стало легче, с тех пор как цензором у него — господин Люфт. Вы же знаете наши невероятные порядки...

— Все же он заходит порой слишком далеко — каково-то ему придется в день Страшного суда, когда на него обрушатся все задушенные им мысли и вычеркнутые им остроты, обвиняя его и требуя возмещения за их несостоявшуюся жизнь. Данте изобрел бы особую адскую муку для редакторов, если бы он был флорентийским корреспондентом «Всеобщей газеты».

— Словно они и без того не живут в аду — между такими авторами, как вы или автор «Фрагментов», и тем нажимом, который оказывают на газету король Людвиг, Абель, Меттерних, Пилат и *tutti quanti*¹. Автор «Восточных фрагментов» — да, да, у него тонкий, острый ум, это человек, который умеет писать, хотя никогда не был здесь, чтобы научиться этому; вообще кто хочет научиться писать по-немецки, тот должен приехать в Париж. Но расскажите же мне о Фальмерайере.

Я рассказал ему об авторе «Восточных фрагментов», которые стали большим событием в мюнхенской литературной жизни последнего времени, о предисловии, которым Фальмерайер напутствовал свои «Фрагменты» и в котором он — живя в Баварии, где господствует кабинет министра Абеля, в самом Дервишабаде

¹ Все прочие (*ит.*).

(Мюнхене) — так смело представил клерикальный дух в образе тихони Фабиуса Игнациуса Тартюфиуса; об озабоченности его друзей в связи с этой смелой демонстрацией и об участии в этом деле кронпринца (Макса II), об обмене нарочными между автором и издателем по поводу отдельных уже весьма резких выражений и о прочих частностях, характеризующих обстановку тех дней, я уж не помню каких, но они вызвали большой интерес у Гейне, часто прерывавшего мой рассказ замечаниями, исполненными язвительного остроумия. Затем Гейне говорил о немцах в Париже, причем резко и зло. О Гуцкове он говорил мало, так как считал, что мы с ним друзья. Долше он говорил о Гервеге. Последний завоевал известный авторитет среди республиканцев в Париже; его носили на руках в том кружке, который собрала вокруг себя баронесса фон Мейендорф, остроумная дама, связанная родственными узами с русскими дипломатическими кругами; ее имя позднее много упоминалось в Кельне на проходившем там *cause célèbre*¹. Арман Марраст тогда только что опубликовал в своей газете «Насьональ», насколько я могу припомнить, свою блестяще написанную статью о поэзии Гервега, и Гейне явно испытывал чувство ревности; он опасался, что тот затмит его в глазах парижан. Он жаловался на недостаток признания со стороны этих глупых французов, а также со стороны «немецкого Михеля», который занимается только политикой, словно ребенок, скачущий на деревянной лошадке и не видящий того, что лошадка неживая, у нее нет силы в ногах и она неподвижно стоит на месте.

— За меня только женщины, — сказал он мне со смехом, — ведь женщины меня любят, они знают, что я ими командую и веду их на бой против деревянных мужчин-филистеров!

Затем он заговорил о Венедее.

— Считаете ли вы Венедее писателем? — спросил он меня, язвительно улыбаясь.

— Я считаю его честным и благородным человеком, верным и порядочным, а сделали ли его писателем бог или всего лишь порядки в Германии, заставившие его бежать в Париж, об этом вы можете судить лучше меня, — ответил я.

Он засмеялся и начал распространяться в остроумных выражениях по поводу бедного Кобеса, утверждая, что единственная претензия того на духовное лидерство в стане либерализма основывается на том,

¹ Знаменитом процессе (фр.).

что отец его уже «во времена оны» плясал вокруг дерева свободы на Новом рынке в Кельне, — вариации на эту тему вызвали у Гейне целый поток блестящих острот. Насколько я знаю, Венедей никогда не сделал ему ничего плохого; но порядочная, истинно тевтонская здоровая натура Венедей, бывшего ярко выраженным антиподом всей сущности Гейне, служила мишенью для его насмешек до тех пор, пока все эти бандерильи и шутихи не были брошены в «Атта Тролля», в косматой медвежьей шкуре которого они и запутались.

В болтовне и смехе прошел час или полтора; Гейне поднялся, чтобы уйти.

— Вы не должны утруждать себя ответным визитом, — сказал он мне, — Поскольку я недостаточно здоров, чтобы работать, я часто ухожу из дому; флианрую, делаю визиты. Если вас это устраивает, я завтра приду опять в это же время, и мы поболтаем еще — вы должны мне побольше рассказать о Германии. Моя жена уехала, я сейчас — соломенный вдовец, а соломенные вдовцы опасные люди для своих знакомых... В этом вы убедитесь, потому что, когда я иду от моего дома вниз по улице, ваш отель — первая остановка, где я могу отдохнуть от моего вынужденного безделья.

Обрадованный, я сказал, что ловлю его на слове, и действительно, на следующее утро около десяти часов он пришел снова, это же повторилось на следующий день и через два дня; так продолжалось примерно в течение восьми или десяти дней, пока я не прекратил проводить первую половину дня дома и не стал принимать участие в длительных прогулках, в основном с госпожой фон Бахерахт, чтобы осмотреть Сен-Клу, Версаль и т. д. Меня никто не рекомендовал Гейне, с моей наивной натурой послушника я был, наверное, еще большим его антиподом, чем его друг Кобес, я был еще слишком романтиком, политиком, руководствующимся только чувствами, гибеллином; в современной партийной возне и в социалистических идеях, которые определяли тогда «направление мыслей», я ничего не понимал; наверное, он отнесся столь благожелательно именно к моей *anima candida*¹. Обо всех обстоятельствах своей жизни он высказывался в разговорах со мной совершенно откровенно, жаловался на свои самые тайные телесные недуги; он не рассердился на меня, когда я поддразнил его одной историей, которую рассказывал о нем Гайльброннер: Гейне-де просил Гайльброннера драться с ним на пистолетах в Венсен-

¹ Чистой душе (лат.).

ском лесу с соблюдением всего ритуала, но зарядив их холостыми патронами. Гейне приобрел бы в глазах французов громадный вес и уважение, если бы они услышали, что он вышел на поединок с этим баварским кавалеристом огромного роста. Естественно, что Гейне все отрицал: Гайльброннер был в Париже типичным «туристом», следовательно, я не могу поручиться за истинность рассказа. Да, однажды утром Гейне принес мне написанное четким почерком стихотворение под заглавием «Шельм фон Берген», которое, как он меня заверил, было написано им для редактировавшегося мной приложения к «Кельнской газете»; темой послужило известное сказание о палаче, который был посвящен в Дюссельдорфе в рыцари, это был один из тех сюжетов, которые, по-видимому, должны были особенно притягивать Гейне, если иметь в виду то, что его брат Максимилиан рассказывал нам о его первой любви, к Зефхен, племяннице мрачного одинокого человека, который жил в доме, принадлежавшем дюссельдорфскому магистрату.

Но, конечно, Гейне не скрывал от меня и того, что он придает чрезвычайное значение статье о нем, которую должно было опубликовать наше приложение и с которой он связывал специальную цель.

При этом великий поэт проявлял непонятную мне слабость; для меня было загадкой значение, которое он придавал тому, что о нем говорят, упоминают ли в газетах его имя и помещают ли о нем заметки. <...>

В то время он полагал, что у него есть причины жаловаться на своего двоюродного брата Карла, наследника его дяди Соломона Гейне. Я не могу припомнить детали, но, видимо, он опасался, что Карл Гейне захочет выплачивать ему ту пенсию, которую назначил ему дядя Соломон, неполностью и только при определенных предпосылках или на невыполнимых условиях. Он много рассказывал мне об этом, упоминая о своем двоюродном брате без особых нежностей. По его словам, на того может воздействовать только публичное, выдержанное в дипломатичном тоне обсуждение обстоятельств Гейне и его денежных средств. Поэтому он потребовал от меня обещания, что, когда я вернусь домой, я непременно напишу что-нибудь о своем пребывании в Париже, при этом расскажу и о нем, Гейне, в том духе, какой ему желателен. Напрасно я твердил, что всегда испытываю неохоту, вернувшись из путешествия, тотчас же надоедать миру своими, несомненно безразличными ему, впечатлениями и переживаниями — и так вполне довольно людей, которые являются

рабами этой неприятной привычки. Но он продолжал просить, и в конце концов я дал ему такое обещание и, вернувшись домой, сочинил для «Кельнской газеты» «Листок из моих путевых заметок». Там говорилось о нем примерно то, что ему в целом хотелось бы увидеть и что я, в согласии со своим собственным суждением, мог об этом сказать. Суть дела была сжато изложена в следующих словах:

«Действительно, Гейне еще смеется, хотя много выстрадал, тело его парализовано, он слепнет. По совету французских врачей он подвергает себя самым мучительным видам лечения. Но его поэтическое легкомыслие все еще поддерживает его, у него цветущее лицо, при ходьбе он держится прямо, его естество осталось гибким и в час, когда заспанные парижане сидят против меня в тихом отеле «Виолет», недалеко от его дома на улице Фобур Пуассоньер. Он много говорил о Германии, о своих университетских профессорах и о романтизме своей юности. Более того, он даже признал, что ему, собственно, присущ некий католический элемент; он не смог бы сочинить «На богомолье в Кевлар», не понимая всем своим существом поэзии этого средневекового культа, и он с глубоким удовлетворением рассказал мне, что его матери, когда он был ребенком, предложили отдать его в духовное учебное заведение и, в случае ее согласия, обязались помочь ему достичь высокого положения в церковной иерархии. К сожалению, мать заколебалась и отказалась, а то бы он, Генрих Гейне, был бы теперь, наверное, кардиналом святой римской церкви. Он всегда жалеет об этом! Он уверял меня также, что, собственно говоря, он очень любит Фрейлиграта; милые бранятся — только тешатся!

Гейне намеревается завершить свою поэму «Атта Тролль» и работает, как он уверяет, над «Мемуарами». Все иные публикуемые сообщения о том, над чем он работает, — это неправда, такая же неправда, как и многие другие очередные «утки», которые появились последнее время на страницах газет. У него никогда не было другого имени, кроме имени Генрих, он никогда всерьез не занимался торговлей, и даже броское словцо о нем его дяди — *stolz ben trovato*¹ — не соответствует действительности. В появлении плохого стихотворения «На бульваре де Кальвер», которое напечатал альманах Эд. Боаса «Немецкий флаг», он абсолютно не пови-

¹ Удачно придуманное (*ит.*).

нен — оно написано не им и лишь приписано ему от первой строки до последней. Чтобы утешиться после такого оскорбления, он мысленно спасся бегством в те старые регионы, где некогда витала его юношеская фантазия —

Там, в пальмовой, священной людям сени
Блестит волна и лотоса цветок
Стремится в Индры голубой чертог¹.

Там, в отдаленных странах Востока, он тоже нашел признание! Японцы перевели его произведения, и «Калькутта Ривью» поместила подробную статью об этом. Про это рассказал ему доктор Бюргер из Лейдена, который долго жил в Японии и вместе с Зибольдом издал ученое сочинение об этой стране, — доказательство того, сколь далеко слышны голоса немецких поэтов. <...>

К этим строкам, в конце которых я позволил себе намекнуть, что нахожу его боязливую заботу о поддержке сиюминутной славы, его внимание к похвалам и хулам в свой адрес во всевозможных газетах не слишком умными, мне сегодня приходится лишь добавить, что упомянутые в них «Мемуары» казались мне тогда мифом. Мне представлялось, что Гейне подчеркнуто много говорит об этих своих «Мемуарах» и при этом старается выглядеть как святой Николай, который приносит послушным детям сладости, а непослушным — розгу; или как тучегонитель Зевс, который, спокойно восседая на троне над литературной суетой, однажды ниспошлет благодетельный дождь или губительные молнии — смотря по обстоятельствам и по заслугам каждого перед алтарями Юпитера. Может быть, я в этом был и неправ, не знаю, существуют ли «Мемуары» Гейне или нет, я лишь говорю о том впечатлении, которое вызвали у меня его разговоры о них, и оно решительно заставляет меня склониться в этом вопросе к тому мнению, которое отстаивает княгиня делла Рокка.

ЭДУАР ГРЕНЬЕ

(1844—) 1846

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(*авг. 1892)

Кроме статей в «Аугсбургской газете», которые я так усердно переводил, — якобы для княгини Бельдждой-

¹ Перевод О. Чюминой.

озо, — и которые, наряду с прочими, составили французское издание «Лютеции» и «Парижских писем», я еще перевел для Генриха Гейне подборку его ранних лирических стихотворений, начало романа из еврейской жизни «Бахерахский раввин» и две поэмы, опубликованные на немецком языке в 1844 году: одна называется «Германия. Зимняя сказка», а другая — «Атта Тролль». Только эта последняя была принята к публикации и в марте 1847 года появилась в «Ревию де де Монд», а в качестве переводчика, естественно, фигурировал сам автор.

Поэма имела большой успех, имеет его и по сей день — вполне заслуженно. Это подлинное чудо лукавства и поэтической фантазии резко выделялось среди обычных статей чопорного журнала. Из-за перевода «Атта Тролль», как и из-за прочих, мне пришлось выдержать настоящие бои с автором. Он настаивал на том, чтобы сохранить во французском переводе известные вольности и причудливые сочетания слов, которые допустимы только в немецком языке — ибо этот податливый, гибкий, богатый язык под рукой большого мастера принимает любую форму, — но которые французская поэтическая речь, эта гордячка в лохмотьях, как назвал ее кто-то, не стерпит ни в коем случае. Я никак не мог втолковать это Генриху Гейне. <...> Он упорствовал, он отчаянно цеплялся за свои слова. Кто-то, кажется Бёрне, назвал его «Wortkämpfer»¹, и он действительно был таким, то есть был своего рода ювелиром от литературы. Слова неодолимо притягивали, зачаровывали его. Читая газеты, он, по-моему, преследовал лишь две цели: узнать, говорят ли о нем, и еще — отыскивать там слова, а по возможности, игру слов. Разумеется, ему хватало ума, чтобы изобретать их самому, и все же он был не прочь подобрать чужие слова, а потом огранить и оправить их по-своему, получше. Я объяснял ему, что порой у него выходит уж слишком затейливо, слишком прихотливо, что французское ухо, в отличие от немецкого, не стерпит некоторых вольностей, что наш язык не выносит насилия. Случалось, он уступал, но редко. Поскольку это, в сущности, было его дело и перевод он подписывал своим именем, то я, успокоив мою литературную совесть несколькими замечаниями, уступал и не мешал ему уснащать мой перевод разными германизмами и несообразностями. Кто знает, быть может, он был по-своему прав. Это давало ему возможность прямо или

¹ Мелочной торговец словами (нем.).

намеком сказать о своем иностранном происхождении, возможность лишней раз порисоваться и вдобавок как нельзя лучше подтверждало легенду о том, что он сам себя переводит.

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

27 мая 1846

ГАЗЕТНАЯ ЗАМЕТКА

(* 29.5.1846)

Г-н Генрих Гейне только что уехал в Пиренеи. Знаменитый поэт вот уже год как нездоров и покинул Париж в состоянии, внушающем сильную тревогу. Перед отъездом Гейне княгиня Бельджойозо, узнав, что врачи советуют ему отправиться в Италию, любезно предоставила в его распоряжение свою виллу близ Флоренции.

ГЕНРИХ БЁРНШТЕЙН

Осень 1846

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ ИЗ ПАРИЖА

(* 13.10.1846)

Париж, 8 окт. 1846

Генрих Гейне вернулся с целебных вод слабым и хилым. Однако дух его остался в неизменности, остроумие и юмор, зоркий взгляд и высокие суждения о жизни сохранились в полной мере; но при этом земная оболочка распадается на части, понуждая бедного поэта влачить печальную жизнь, которую сам он называет «затяжной агонией». И поскольку лев стар и разбит параличом, на хвосте у него пляшут мыши, покусывают его и пребывают в уверенности, будто одолели льва. Но берегитесь — он еще жив — ему стоит лишь шевельнуть кончиком хвоста, как вы, жалкие существа, разбежитесь по своим норам. Если б вы могли увидеть бедного больного, с его лицом, полным тихого смирения, на которое смерть уже наложила свою страшную печать, с неподвижным телом, ставшим для него теперь тягостной обузой, — право, вы бы поняли, что плохо выбрали время для грубых нападков и гнусных подозрений. <...>

Порой он вслух скорбит о том, что бог так рано его призывает. «Мне еще столько надо было написать», — говорит он, и я никогда не забуду, как, болезненно улыбаясь половиной лица (ибо другая половина вот уже год как застыла в неподвижности), он с саркастическим спокойствием заявил: «Неужели Икс не мог бы взять себе мою болезнь?» Он подразумевал некоего неизвестного поэта, над рифмованными нелепицами которого мы часто вместе посмеивались. Так он шутит до сих пор, по-прежнему остроумен и язвителен, даже о предстоящем ему конце говорит с юмором. Он не может ни читать, ни писать, даже диктовать ему было не под силу. Вот почему он, к сожалению, вынужден сосредоточиваться на себе и своем прискорбном физическом состоянии, и дух более слабый давно уже скатился бы в ипохондрию.

А. МАРТИН

5 янв. 1847

ИЗ ПИСЬМА НЕВЕСТЕ

Париж, 7 янв. 1847

Как я рассказывал тебе в моем последнем письме, 5-го января сего года я вместе с Галлером посетил господина Генриха Гейне — познакомиться с этим человеком всегда было одним из моих сокровеннейших желаний, и несколько лет тому назад исполнение оно сделало бы меня счастливейшим из смертных. Мы отправились к нему в семь часов вечера и застали его еще за обедом, — он поглощал десерт, к тому же в одиночестве, поскольку его жена, которую Галлер обрисовал мне как весьма обаятельную парижанку, из-за небольшого недомогания уже легла в постель. Хотя Галлер заранее дал мне понять, чтобы я не обольщался насчет внешности Гейне, — ведь мы привыкли искать у великих людей красоты, пребывая в ложном убеждении, будто прекрасный дух может царить лишь в прекрасном теле, — и хотя Галлер успел подробно рассказать мне, сколь ужасно извела и изуродовала Гейне болезнь, все же действительность намного превзошла мои ожидания. Г. Гейне *тяжко болен, физически совсем немогущ*, и вид его вызывает у благожелательного и любопытного посетителя странные и в высшей степени горестные чувства, когда приходится убедиться, что от такого великого и по

праву столь прославленного человека осталась ныне лишь уродливо искаженная, обезображенная тень.

Страдая с давнего времени, о чем уже не раз писалось, размягчением мозга и побывав для излечения этого недуга прошлым летом на курорте Барез в Пиренеях, — о том и о другом ты еще узнаешь подробнее, — он вернулся в Париж, отнюдь не излечившись, не только без улучшения, а, напротив, с таким ухудшением, что его близкие друзья с трудом его узнали. И в самом деле, вид у него *ужасающий*: вся левая половина туловища парализована, поэтому его сама по себе невысокая, но очень худая фигура клонится налево, голова и шея повернуты к левому плечу, левые рука и нога едва способны исполнять самую необходимую работу и большей частью вяло свисают вниз, как этим, так и нарушением естественного равновесия препятствуя всякому свободному движению тела. К тому же левое ухо у него не слышит, левый глаз совершенно закрыт, левая щека и левая часть рта омертвело перекошены и опущены, отчего разговор его делается бессвязным, слова произносятся с трудом и нечетко, а длинные фразы совершенно ему не по силам. Да и правый глаз, также затронутый болезнью, открыт лишь наполовину; из-за чрезмерного напряжения он слегка воспален, покраснел и слезится, и, желая разглядеть кого-нибудь этим глазом, Гейне вынужден с явным усилием не только распрямлять согбенное тело, но и как можно дальше откидывать голову назад, чтобы предоставить правому, также полузакрытому из-за парализованного века глазу, управлять коим он тоже, видимо, уже не вполне способен, пространство для обзора. Чтобы как-то скрыть от чужих глаз эти тягостные физические изъяны, он отпустил *усы и бороду*, однако при том, что бородка у него козлиная, а в строении лица проглядывают восточные черты, эта растительность не только не ослабляет крайне неприятного впечатления от его внешнего облика, но еще и усиливает.

Тем не менее в его присутствии быстро забываешь обо всех его недугах, и молниеносно вспыхивающий свет его творческого гения, пусть уже и не такой сильный и яркий, как прежде, щедро возмещает тревожное и горестное впечатление от его телесного облика. После того как Галлер меня представил и Гейне радушно приветствовал меня добрыми словами и дружеским немецким рукопожатием, он пригласил нас сразу последовать за ним в его спальню, чтобы там у жаркого камина поболтать с ним запросто по душам.

Его первый вопрос ко мне, вновь прибывшему, был, разумеется: *«Как обстоят дела в Германии?»* Эта тема сразу же дала нам обильный материал для интересной беседы. Я коротко рассказал ему о последних событиях в Пруссии, в Ганновере, в Австрии, видимо, ему действительно не все они были известны в подробностях, так как сам он много читать не может, а чтеца не переносит, да и о моем родном крае я мог ему сообщить кое-что такое, за что меня не похвалили бы в Мюнхене, — например, по волнующему нас ныне вопросу об испанской фаворитке, — это весьма позабавило Гейне, тем более что он уже достаточно хорошо представлял себе Лолу Монтез во всей ее низости. О нашем короле он сказал мне в тот раз, как многократно говорил и впоследствии, что благодаря своей оригинальности тот ему не противен, что в его поэтических сочинениях он многое находит вовсе не таким уж слабым и что во время своего многолетнего пребывания в Мюнхене в 1828 году и далее он там вполне пришелся ко двору и был с королем в очень хороших отношениях. Меж тем как теперь, шутливо прибавил он, обстоятельства переменялись и место, обещанное ему в Валгалле, он едва ли получит, поскольку его «Хвалебные песнопения королю Людвигу», несомненно, сделали короля его злейшим врагом, к тому же он намерен в своем последнем, имеющем вскорости выйти сочинении, пародии на его собственного «Атта Тролля», не слишком благоприятно отозваться о стиле и о Валгалле короля Людвиг. Германию с ее недостатками и преимуществами мы обсудили вдоль и поперек в отношении как политическом, так и литературном, и, признаюсь, я был поистине поражен теми неизменно гениальными и убийственно саркастическими замечаниями Гейне о наших делах, которые он неожиданно, подобно зажигательным молниям, метал во время нашей беседы, внушив мне неколебимую уверенность в том, что дух его остался независим от телесных недугов, что Прометеева искра в нем еще не погасла, а, напротив того, присуща ему в полной мере. Он не вел и не направлял нашу беседу сам, чего мы, как правило, ждем от выдающихся людей, — говорят, он не делал этого и в свои лучшие времена, — а предоставлял вести ее нам; устроившись в самом темном углу у камина, чтобы по возможности надежнее защитить глаза от света, он лишь время от времени вставлял в разговор отдельные направляющие фразы или вопросы, и хотя ему, при его телесной немощи, стоило труда их произнести, по ним нельзя было не признать блиста-

тельного ума великого Гейне. В беседе и в общении с умами великими есть нечто притягательное, нечто поистине божественное, что я могу уподобить лишь пребыванию наедине со священными творениями и силами природы! К сожалению, я вынужден отметить, что характеру и величию Гейне так же, как прежде, пожалуй, даже болезненно усилившись, вредит тщеславие, сообщая ему достойную порицания слабость. Галлер предварительно рассказал мне немало о том, что Гейне не без удовольствия слушает восхваления, польщенно воспринимает их, как облака фимиама, и т. п., и он предупредил меня, чтобы я ничего не рассказывал поэту о Гуцкове, дабы не нанести ему жесточайшей обиды, потому что Гуцков, так же как и благородный Бёрне, навлек на себя ненависть Гейне тем, что ранил его тщеславие. Сочинение «Гейне о Бёрне» <...> будет вечно тяготеть позорным пятном на личности Гейне, и никто на свете не сможет отмыть его добела.

С Германии разговор наш странным образом перескочил на Японию, и мы вполне разделили с Гейне опасение, что англичане в ближайшем будущем, возможно, втянут эту интересную страну в сферу своего влияния, коварным образом выманив ее из пасти голландцев, — для чего они уже сделали начальные шаги. Сообщив нам множество сведений о религии, истории, нравах, флоре и т. д. этой страны, с которой мы впервые познакомились ближе благодаря Зибольду, Гейне позволил нам воспользоваться для ее прославления нижеследующим рассказом. Один немецкий врач по фамилии Кёлер, прибывший в Японию из Лейдена то ли вместе с Зибольдом, то ли еще до него, заехал на обратном пути в Париж и весьма настоятельно добивался знакомства с Гейне. Гейне, любопытствуя, что могло понадобиться от него человеку, который навряд ли мог его знать и так долго прожил в варварской стране вдали от своей родины, спросил, в чем, собственно, причина, что тот так настойчиво искал знакомства с ним. Тогда д-р Кёлер рассказал ему, что он перевел отрывки из его сочинений на японский язык для японцев, что в Японии это первая получившая там известность немецкая книга, и в «Калькутта Ревью» о ней был дан самый блестящий отзыв. Японцы, народ необычайно умный и неизменно соблюдающий свою выгоду, стараются, хотя сами они отгородились от заграницы непреодолимым барьером, узнать о ней все важное и для этой цели используют почти одних только голландцев, которые должны знакомить их со всем, что происходит на свете; можно лишь удивляться, что

нередко встречаешь у них такое знание о вещах и событиях, какого никак нельзя было у них предполагать. И вот в один прекрасный день они пожелали также узнать кое-что о немцах, и д-р Кёлер, которому выпало на долю просветить их на сей счет, — а взял он с собой в это путешествие только своего любимого поэта, — с превеликой охотой перевел им его на японский язык. Я на самом деле воспользовался и этим рассказом, и моим посещением Гейне для небольшой статьи в «Нюрнбергском корреспонденте», которая, правда, не могла содержать столь красочные подробности, — хотя бы из тактичности по отношению к больному, — как это письмо, которое ты только что прочла.

Мы еще много говорили с ним о театре, о литературе, Гейне между прочим *sub rosa*¹ сообщил нам, что в настоящее время он пишет оперный текст для «Лондонской сцены», и часов около десяти мы с ним распрощались, я — обогащенный значительным впечатлением!

Радушные приглашения заходить, которые он неоднократно мне повторял, побудят меня еще не раз посетить его за время моего пребывания здесь.

ГЕНРИХ БЁРНШТЕЙН

Начало 1847

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1884)

Бедный Гейне! В биржевом кризисе 1847 года он потерял большую часть своего состояния. Барон Ротшильд, очень расположенный к поэту, при выпуске акций Северной железной дороги подарил ему десять таковых с условием не продавать их прежде, чем их курс поднимется до такой-то и такой-то стоимости, — по этой причине Ротшильд держал у себя в сейфе также и акции Гейне, и когда они достигли желанного курса, продал их для него, и Гейне получил, кроме дивидендов, еще 20 000 франков чистой прибыли. Это раззадорило сангвинического поэта, он продолжал и дальше играть на бирже, находя в этом особое удовольствие, поскольку каждая азартная игра легко может перейти в манию. Тут разразился биржевой кризис 1847 года, Гейне, вопреки совету Ротшильда, сильно зарвался и потерял поэтому много денег, не потеряв, однако, по

¹ Здесь: доверительно (*лат.*).

этой причине ни хорошего настроения, ни своего милого юмора. Я еще вижу его перед собой, когда вечером рокового дня он повстречался мне в Оперном пассаже и на мой вопрос, потерял ли и он что-нибудь, отвечал: «Что-нибудь? Не что-нибудь, а очень много. Впрочем, поделом мне, и пражский раввин Бен Шлойме был совершенно прав». — «Как же прав?» — удивился я. «Видите ли, — начал Гейне, — это очень старая история, которую мне рассказывали, когда я был совсем еще мальчишкой, и сегодня она снова пришла мне на ум. Как-то рабби идет в Праге по мосту через Молдаву. Тут навстречу ему бросается старая еврейка с криком: «Боже всемогущий, ой, боже всемогущий! Ой, ребе, помогите! Горе, ой горе!» — «Какое горе?» — спрашивает рабби. «Мой сын, мой Ициг сломал себе ногу!» — «Как это он сломал себе ногу?» — спрашивает рабби. «Он полез себе на лестницу и хотел...» — «Что? — перебил ее рабби. — Ициг полез себе на лестницу? Так поделом ему, незачем еврею лазить по лестницам». Видите ли, — завершил Гейне свой рассказ, — со мной случилось то же самое. Незачем поэту играть на бирже».

КАРЛ МАРИЯ КЕРТБЕНИ (К.-М. БЕНКЕРТ)

Февр./март 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 21.2.1856)

Однажды Венедей сказал мне: «Вам бы следовало побывать у Гейне, он живет почти рядом на главной улице предместья». — «Да как же я у него побываю, — ответил я, — когда я не был ему представлен. Вдобавок я слышал, что он тяжело болен, очень страдает и абсолютно никого не желает видеть». — «Не верьте слухам, — перебил Венедей, — ступайте и скажите, что я вас послал». Но я все-таки не пошел к Гейне. Несколько дней спустя Венедей, выглянув в окно, позвал меня к себе и сказал: «Я упомянул ваше имя в присутствии Гейне, и он тотчас выразил желание поговорить с вами; не исключено, что вы сможете оказать ему небольшую любезность в одном деле». Час был ранний, но я все равно собирался выйти на прогулку. Словом, я попросил рассказать подробнее, где живет немецкий поэт, разыскал его дом и вскарабкался по черной лестнице на четвертый этаж. Когда я позвонил, дверь открыла

чем-то недовольная служанка и в ответ на мой вопрос, заданный на плохом французском языке, касательно Гейне, указала мне последнюю дверь по узкому коридору, после чего молча исчезла на кухне. Я ощупью добрался до этой двери и отворил ее. Передо мной была изящная квадратная комната, у окна — письменный стол, направо камин, а перед ним кресла, возле двери — постель, слева — дверь, ведущая в остальные комнаты. С постели только что встали. Белье валялось на стульях и кругом на полу, а посреди комнаты стоял в одной рубахе человек, не очень высокий, исхудалый, жалкого и больного вида, который, помимо всего, казалось, еще и слеп, потому что он водил руками по воздуху, словно ища опоры. Однако он все-таки увидел или по меньшей мере услышал, что дверь распахнулась и что на пороге возникла чья-то фигура, ибо, внезапно оборотясь ко мне, начал бурно махать руками, безудержно чертыхаться и кричать вперемешку по-французски и по-немецки, в зависимости от того, какое слово подворачивалось на язык: «Кто здесь? Черт подери! Чего вам надо? Там разве нет служанки? Я разве не говорил, чтобы ко мне никого не пускали? Анриетта, Анриетта! Вы француз? Немец? Прошу вас, оставьте меня! Я не принимаю визитов». Продолжая в таком духе, он тем временем пытался разыскать то ли штаны, то ли обувь. Я не знал, что ему ответить, но флегматично продолжал стоять и, протянув руку к лежавшей на стуле одежде, начал по очереди передавать все Гейне; я помог ему одеться, причем он принимал мою помощь вполне благосклонно, а я тем временем спокойно объяснил, кто я таков и кто меня к нему направил. «Ну, это совсем другое дело, — сказал он, — вы извините мою горячность, но мне так докучают пренеприятными визитами, а когда жены нет дома — сегодня она рано ушла, — эта особа, эта Анриетта запускает всех подряд ко мне в комнату. Итак, давайте побеседуем, но немножко, сегодня я опять прескверно себя чувствую, и разговоры могут меня совсем dokonать».

Я имел затем счастливую возможность оказать Гейне одну хоть и незначительную, но очень приятную его сердцу услугу: когда мы об этом уговорились, я хотел встать, но Гейне удержал меня. «Давайте еще поболтаем, но недолго, скоро мне придется в самом деле вас прогнать, но тем скорей вы придете снова. Значит, вы венгр? У меня был среди ваших земляков очень близкий друг, граф Аурел Десефи, он навещал меня в Париже. Говорят, он стал у себя на родине

большим человеком, а по дошедшим до меня слухам, он недавно умер. Еще я знаю Франца Листа, гениальнейшего из всех людей, которых я когда-либо встречал, впрочем, его несколько взбаламутил и испортил парижский свет, а также всевозможные знакомства, не слишком мне приятные, вот почему я уже давно его не видел. Но Лист—человек совсем другого склада, чем Мейербер», — и тут Гейне, словно благодаря длительной близости я уже завоевал право выслушивать его тайны, наговорил мне много всякой всячины, которую я не могу повторить здесь, так как все это носило характер интимных жалоб. Потом вдруг он заявил: «А теперь вам и в самом деле пора уходить», — к чему я был готов, без промедлений, однако он так и не отпустил меня, а, напротив, провел в комнату своей жены, с явным удовольствием продемонстрировал множество китайских безделушек, которые сам ей накопил, и начал с большой теплотой говорить о своей жене. «Вам доводилось видеть настоящую парижскую гризетку? Кругленькую, пышную, всегда веселую, приветливую, верную, честную? Вы не должны примешивать к этому образу никаких немецких понятий, не то вы оскверните его. Она не темпераментна, но и не сентиментальна, она—сама доброта, она не возлюбленная в лирическом смысле, но подруга, какой может быть только француженка. Я никогда не стеснял ее свободу, она может приходить и уходить, когда ей заблагорассудится, порой ее целыми днями не бывает дома, особенно летом, а потом она снова много дней подряд заботится обо мне, как ангел».

Во время этого панегирика в дверях появился предмет его восхваления; муж и жена поздоровались весело и спокойно, а когда меня представили сей миловидной брюнетке, ее блестящие глаза и белые зубы одарили меня улыбкой, после чего она обрушила на меня каскад расхожих французских фраз, которые выпадают парижанками с такой нечеловеческой скоростью, что наш брат просто не успевает ничего ответить и только хлопает глазами. Тут Гейне вдруг надумал что-то поискать в соседней комнате, и едва я остался наедине с его женой, как она с той разговорной пылкостью, которая не предполагает ответа, спросила, доводилось ли мне уже читать стихотворения Анри. Говорят, он пишет их и на немецком. Жаль, что она не понимает по-немецки, но ее заверили, что ее муж великий немецкий поэт; не правда ли, месье? А я понимаю по-немецки? И когда я отвечал ей утвердительно, она показала мне альбом, в который Гейне

записал несколько французских, а также немецких стихотворений, посвященных ей; она позволила мне прочитать лишь несколько листков, продемонстрировать остальные лукаво отказалась. Когда, кашляя, задыхаясь и волоча ноги, в комнату вернулся Гейне, я окончательно решил откланяться, но он сказал, что уж теперь-то мне и вовсе незачем уходить, ему стало легче от разговоров. С моей помощью он вернулся в первую комнату, и мы оба уселись перед камином. Здесь дневной свет полностью осветил Гейне, и я некоторое время пристально его разглядывал. Череп у него был овальной формы, волосы пепельные или, вернее сказать, светло-русые, но часто перемежаемые седыми прядями, как это бывает у всех людей, переносящих сильные физические страдания. Один глаз, казалось, был закрыт полностью, другой — застлан пеленой непролитых слез и, судя по всему, тоже очень мало видел, губы, изящные и тонкие, часто вздрагивали, как от скрытой боли. Одной рукой он почти не мог двигать и поглаживал ее другой, как, впрочем, поглаживал и остальные части тела, особенно в промежутках между фразами. Всего тяжелей и мучительней было для него вставать и садиться, он кряхтел, лицо его искажалось, и он охотно прибегал к чужой помощи, чтобы совершить эти движения как можно острее. Из всех известных портретов Гейне больше всего сходства обнаруживает тот, что был помещен в виде гравюры на титульном листе ежегодника, издаваемого Винбаргом <Гуцковом! 1839> в издательстве Кампе; а вот недавно появившаяся литография показывает лицо, совершенно не совпадающее с моим воспоминанием, и главное, он кажется мне здесь слишком моложавым. Итак, сидя перед камином, мы занялись беседой о разных разностях, подробности которой выскользнули у меня из памяти. Помню только, что я рассказывал ему, как познакомился в Бергамо с братьями Фриццони и от них узнал много подробностей о Платене, а под конец я в лоб спросил его: «Скажите мне откровенно, вы совсем не считаете Платена поэтом? А известно ли вам, что этот человек умер от ваших насмешек?» — «Ну, конечно, — сказал Гейне, — я считаю его поэтом, и даже значительным поэтом, хотя и холодным внутренне; он был поэтом в греческом понимании этого слова, то есть таким, чья поэзия коренится не в душе, а во внутреннем чувстве музыки, в математическом чувстве музыки». — «Почему же вы, столь верно его оценивая, так несправедливо обошлись с ним?» — «Видите ли, — сказал Гейне и лукаво улыбнулся, — тогда я только

начинал, а духовный мой склад таков, что он неизбежно вызывает бурную реакцию противников; я это предвидел, я знал, что все мелкие шавки наверняка вцепятся мне в икры, и решил предотвратить это одним ударом, выбрав крупнейшего среди псов, содрал с него шкуру, как Аполлон с Марсия, после чего выволоч этого великана на сцену, дабы у тех, кто помельче, пропала охота. Это один из тактических приемов литературных сражений. А затем, этот человек и впрямь был не слишком умен, по-человечески во всяком случае; я видел своими глазами, как он гулял по Мюнхену с лавровым венком на голове. Кроме того, — тут Гейне слегка запнулся, — он был неслыханно заносчив, я несколько раз передавал ему, чтоб он не называл меня евреем, я не еврей, а уж в том смысле, который он вкладывает в это слово, и по-прежнему, он, однако, упорствовал, как Дон Кихот, тогда я назвал его педерастом, и он в конце концов сам себя ужалил как скорпион». Когда я случайно упомянул о своем пребывании у Генриха Цшокке в Арау и о том, что мельком видел там Гервега, Гейне тотчас подхватил тему: «Он и у меня побывал, этот Гервег, и вел себя как великий поэт, который милостиво достаивает нескольких слов коллегу второго ранга; ну его-то я в два счета осадил, как и всех великих, что следуют за мной; я ведь покуда все еще бог по сравнению с этими людьми, я — Гейне, которого перевели даже на японский и малайский, — так мне, по крайней мере, недавно говорил месье Кёлер из библиотеки, — а у Гервега только и было что небольшое дарованьице, которое он израсходовал в очень изящном оформлении, и теперь он пуст и беден, как промотавшийся транжир. Помяните мое слово, Гервег смолк до конца своих дней и отныне будет жить лишь былой славой. К тому же Гервег никогда не смеется, а поэт с таким желчным лицом не может быть умен, это указывает на уозость и убожество его взглядов» <...>

В один прекрасный день в Париже все мои надежды рухнули, и я горестно жаловался на это Гейне. Он вдруг сказал: «Ни советом, ни делом я вам помочь не могу, потому что я медленно умираю и едва ли способен быть полезным даже самому себе. Но если вам нужны деньги, то некоторую сумму, к сожалению, правда, небольшую, я могу вам дать». Я энергично запротестовал. «Ну, не надо быть слишком щепетильным, я не придаю никакого значения деньгам, даю их каждому, кто приходит ко мне просить или хотя бы

выглядит нуждающимся в деньгах, ведь я сам, когда брал займы, вел себя точно так же и без зазрения совести наделал столько долгов, что и не упомяну. Вот почему, когда у меня есть что-то сверх необходимого и кто-либо у меня занимает, я расцениваю это чуть ли не как искупление, мне это даже приятно». К сожалению, тогда мне требовалась сила более могущественная, нежели деньги, поэтому я не остался ему должен.

С этих пор я начал чаще бывать у Гейне, он очень ко мне привык, я часами читал ему вслух, он поручал мне также читать некоторые из полученных им писем, вдобавок мы о многом разговаривали, но частью я уже не могу вызвать в памяти эти разговоры, частью они чрезмерно увеличили бы строго ограниченный объем этих заметок, и, наконец, многое из них вообще не подлежит публичной огласке. Ибо у Гейне было своеобразное, быть может, естественное для таких больных, свойство тщеславиться своей физической выносливостью, в твердом убеждении, что слушатель примет на веру все преувеличения этих интимных, порой весьма фривольных исповедей. Причем он никогда не оставался, как принято говорить, в пределах темы, предмет беседы менялся у него, как узор в калейдоскопе. К примеру, он с большой теплотой отзывался об Орлеанской династии <...> мир-де просто не понимает, какой это превосходный король. Он отнюдь не скрывал, что правительство Июльской монархии оказывает ему поддержку, напротив, он всячески подчеркивал это обстоятельство, видя в нем знак того, что во Франции умеют ценить даже иноязычных писателей, тогда как Германия предоставляет своему соотечественнику умирать с голоду. Неоднократно Гейне возвращался к мысли еще раз побывать в Вене, если, конечно, Гентц к тому времени еще будет жив. Потом он со смехом рассказывал, как всполошились пруссаки, когда он некоторое время тому назад выразил желание еще раз приехать в Германию. Ну и многое в том же духе, что после марта едва ли представляет интерес.

Однажды в ужасную метель я хотел укрыться в читальном зале галереи Монпансье в Пале-Рояле, но увидел через окно, как кто-то ощупью ищет дверную ручку, и, к моему немалому ужасу, узнал Гейне. Я начал бурно упрекать его за то, что он вышел в такую погоду, и он кротко согласился со мной и безропотно, как дитя, позволял бранить себя, сославшись, в свое

оправдание, на то, что несколько дней просидел дома совершенно один и не вынес более одиночества. По просьбе Гейне я прочитал ему кое-что из журналов, а затем сыскал фиакр, чтобы доставить его домой. Пока я искал экипаж, он дожидался меня в пассаже Французского театра, а когда я, запыхавшись, вернулся, то застал его весело смеющимся в обществе нескольких гризеток. Он очень удачно острил, и дамы называли его «месье Эне».

Бывая у Гейне по вечерам, когда он уже лежал в постели, я говорил с ним, среди прочего, о венгерской литературе, и когда в ходе бесед я постепенно приоткрыл образ нашей страны, ее истории и ее народа, он, судя по всему, чрезвычайно заинтересовался моими рассказами и заявил, что не имел прежде такого отчетливого представления о Венгрии. В особенности я старался привлечь его внимание к Петефи и прочитал ему, поскольку сам тогда еще не пробовал сил в переводе, некоторые переводы А. Дюкса. Петефи чрезвычайно ему понравился, отдельные стихотворения он заставлял меня читать по нескольку раз, а когда из томика, который я всегда носил с собой, я прочел ему еще несколько стихотворений, переводя их с листа, он начал убеждать меня избрать переводы этого поэта делом своей жизни. «Но прежде, — сказал он, — вы должны достичь ловкости эквилибриста во владении языком и метрикой, чтобы с первого удара попадать в шляпку гвоздя, переводы лишь тогда имеют цену и плодотворны для чужих литератур, когда они и по форме воздействуют с убедительностью оригинала».

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

Февраль 1847 и позднее

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

Когда я только познакомился с Гейне — это было в феврале 1847 года, — он не был еще таким больным, каким мы привыкли его видеть несколькими годами позже. Правда, правый глаз у него был закрыт, но других следов перенесенного им апоплексического удара на лице не замечалось. Лицо это было необычайной красоты: высокий и широкий лоб, тонкий, благородно вылепленный нос; нежно очерченный рот осеняла борода, покрывавшая весь подбородок. В бороде уже

виднелись белые нити, между тем как русые волосы на голове, ниспадавшие на шею, благодаря своей густоте не обнаруживали еще никаких признаков старости. Большею частью лицо его выражало мечтательную грусть, но когда он говорил или двигался, у него появлялась неведомо откуда взявшаяся энергия и неожиданная почти демоническая улыбка. Он еще довольно хорошо держался на ногах и был способен, даже ради одной газетной статьи, проделать дальний путь от Фобур Пуассоньер до зала для чтения в Пале-Рояле.

Гейне шел тогда сорок восьмой год, он сам называл себя одним из первых людей века, поскольку явился на свет первого января 1800 года. Его болезнь, приведшая впоследствии к таким страшным разрушениям, началась по причине с виду незначительной. Борец, которому не повредили сотни яростных атак, был сражен ударом, нанесенным небольшой семейной ссорой. Но его организм, видимо, уже тогда дал ему почувствовать, что это болезненное состояние рано или поздно должно кончиться смертью. За год до того он возвратился без улучшения с курорта Баньер в Пиренеях и со столь же ничтожным успехом пробовал в Париже лечиться у разных врачей.

Невзирая на это, он был по-прежнему общителен, любил видеть вокруг себя людей, весело и необузданно шутить, смеяться и злословить. Его ум остался совершенно независим от страданий тела и в разрушающейся мастерской работал с прежней неиссякаемой силой, как будто не тревожась о том, когда над ним обрушится крыша. <...>

Не знаю, какому случаю или каким свойствам должен я приписать то, что за очень короткое время оказался с Гейне на самой дружеской ноге и вскоре принадлежал к небольшому кружку тех, кого он любил видеть возле себя. За время моего четырехкратного пребывания в Париже — одно из них длилось почти год — редко проходило более двух-трех дней, когда бы я не побывал у него в доме. Так понемногу я привыкал к непрерывно ухудшавшемуся состоянию его здоровья, ведь его внешний вид часто неприятнейшим образом действовал на нервы посещавших его людей и в последующие годы столь многих удерживал от дальнейших визитов. Место возле его кровати и беседа с ним постепенно стали для меня приятней, чем прогулка по смеющимся Бульварам и встречи с большинством здоровых людей. За разговором со старым больным волшебником я забывал, что нахожусь, в сущности, в больничной палате. Я был еще во власти чар, какими

пленяли меня его книги, мне казалось, будто я читаю главы, о которых остальной мир ничего не узнает. Но я полюбил его и как человека, доброта его сердца, для всех сомнительная, для меня была вне всяких сомнений. Когда я посещал великую столицу, составной частью которой стал для меня Гейне, то рассматривал это путешествие столько же как развлекательную поездку, сколько как паломничество в дом Гейне. <...>

Квартира одного из величайших поэтов, которых когда-либо знала Германия, намного уступала квартирам французских писателей, второразрядных или даже третьеразрядных. Три комнатки на четвертом этаже были обставлены с предельной скромностью, из окна открывался вид — если только это можно назвать видом — на узкий полутемный двор. Камин был, по обыкновению, отделан белым мрамором, над ним висело большое зеркало; часы в фарфоровом корпусе, будучи поставленными между двух неперменных во Франции ваз с искусственными цветами, отчетливо издавали свои «тик-так»; часы, собственно, и служили основным украшением. Словом, об этой квартире нельзя было бы сказать ничего особенного, не будь там рябой мавританки с пестрым шелковым платком на голове, которая открывала нам дверь на правах служанки, да пронзительного крика попугая, что доносился время от времени из комнаты мадам Гейне.

Как раз в это время в Берлине должен был собраться объединенный ландтаг. Гейне почти ежедневно появлялся в «Сёркль Валуа» и с большим интересом следил за политическими событиями, но для характеристики их имел наготове лишь сарказмы.

«Грядет эпоха конституционных правительств, — говорил он. — Что ни говори, а начало уже положено. Нации теперь не успокоятся, пока не получат конституции. Они больше не верят в библию, они отложили ее в сторонку, вместо этой старой книги им нужна новая, в которой найдет прибежище все, что еще сохранилось от суеверий и идолопоклонства. Для них Хартия будет тем, чем для нас библия, которая тоже стоила не меньшей борьбы и крови. Не забывайте, народы воспримут конституцию очень серьезно. Я, со своей стороны, не могу представить себе более прекрасную государственную форму, нежели монархия в окружении Винке, Кампхаузена, Ганземана и Беккерата».

Речь зашла о развитии немецкого католицизма.

Он сказал: «Вот вам, пожалуйста, сторонники кон-

ституции в религиозной сфере. Чего они хотят? В чем их тенденция? Лишь умеренное, приглушенное суевение. И чем Ориген и святой Августин хуже апостола Ронге в черном фраке? У тех создателей церкви по меньшей мере была духовная сила, которая мне импонирует. А современные сектанты мне так же противны, как и отцы церкви, если не больше.

Он презрительно отбросил газету, побудившую его к этой тираде, и спешно покинул читальный зал. <...>

В доме Гейне почти ежедневно можно было видеть мадам Арно, подругу госпожи Матильды по пансиону, прозванную Гейне «пламенноокой Элизой». Это была настоящая парижанка, живая и довольно кокетливая, с черными глазами и черными волосами; у ее мужа, насколько я помню, был тогда всего один мануфактурный магазин на Шоссе Д'Антэн, но он мечтал о более широком поле деятельности. На крестинах маленькой Алисы, дочери мадам Арно, Гейне был восприемником. Он любил эту девочку сверх всякой меры. Ради нее и в угождение Элизе ее супруг Арно был принят в доме, как ни мало подходил он к этому кругу. Бесцеремонность его манер часто оскорбляла чувствительную натуру Гейне, а приступы в духе Отелло иногда портили мирное настроение общества. Тоненькая, очаровательная мадемуазель Женни, по сей день еще продавщица у А., присматривала за маленькой Алисой, привозила ее в коляске, а вечером, когда компания, как обычно, засиживалась допоздна, уводила девочку домой пораньше, и ради ее красивых глаз и находчивых, забавных реплик она также благосклонно принималась большим поэтом.

К этому чисто французскому обществу прибавился еще и один немец еврейского происхождения <Фридлянд>, который, однако, благодаря долголетнему пребыванию в Париже, знал этот город до тонкостей, полудипломат, полуфинансист, человек широких замыслов и спекуляций, тонкий, многоопытный и элегантный; он услужливо помогал Гейне в тех небольших биржевых операциях, какие ему время от времени угодно было предпринять. Гейне окрестил этого приятеля Кальмониусом в память известного еврея при дворе Фридриха Великого, с которым у его друга, как он говорил, было много общих превосходных деловых качеств: проницательность, ловкость, неистощимость средств и весьма пессимистическое мировоззрение. Про исторического Кальмониуса Гейне утверждал, что тот

был в таких же добрых отношениях со старым Дессауэром, и в подтверждение с удовольствием рассказывал такую историю. <...>

Однажды утром, когда Кальмониус еще лежал на постели, он вдруг услышал, что внизу, на улице, кто-то кличет его по имени. К этим кликам примешиваются некие воинственные звуки, и он, в сорочке, подбегает к окну и выглядывает наружу. Что он видит? Посреди рыночной площади, в толпе зевак, сидит на лошади старый Дессауэр в окружении всего своего генерального штаба и приветливо машет ему шляпой. «Прощай! Прощай, Кальмониус! — кричит он. — Я отправляюсь на Семилетнюю войну!»

Гейне тоже любил своего Кальмониуса, много лет был тесно с ним связан, однако бедняга Кальмониус имел в его лице крайне тяжелого клиента. Капризный, как ребенок, Гейне радовался прибыли, когда таковая была, но всегда был готов свалить на Кальмониуса ответственность за убытки, когда операции оканчивались неудачей. Прибыль он принимал как причитающуюся ему дань богов, однако потери ожесточали его и делали сверх всякой меры несправедливым к человеку, исполненному стремления быть ему полезным и помогаемому с полной добросовестностью <...>.

Иногда у Гейне появлялся также врач-гомеопат д-р Рот. С этим человеком Гейне познакомился необычным образом. Много лет назад, возвращаясь из поездки на юг, Гейне и его жена встретились в Лионе со скрипачом Эрнстом, которого оба они хорошо знали по Парижу. Так как Гейне на следующий день должен ехать в Париж, виртуоз просит поэта захватить с собой подарок для его тамошнего врача, одну из тех колоссальных лионских колбас, которые продавались в изящной обертке из станиоля и слыли тонким деликатесом. Гейне принимает поручение. В те времена еще нельзя было за несколько часов домчаться поездом из Лиона в Париж, путешествие в почтовой карете длилось долго, и госпожа Матильда проголодалась. Что могло быть естественней, чем отрезать кусочек колбасы, которая с таким трудом уместилась в багаже, а теперь ею пропахла вся карета? Мадам Гейне пробует ломтик и находит его восхитительным. Гейне делает то же самое, и он в восторге. Путешествие длится еще день, колбаса становится все короче, и когда супруги прибывают в Париж, оказывается, что от этой громадины остался всего лишь маленький хвостик. Только теперь Гейне осознает, как скверно он справился со взятым поручением. Что же он делает? Отрезает бритвой

совершенно прозрачный ломтик и, вложив его в конверт, посылает доктору. «Сударь! — пишет он в приложенной записке. — Вашими исследованиями ныне окончательно установлено, что миллионные доли оказывают наисильнейшее действие. Примите же одну миллионную долю лионской салями, которую передал мне для Вас господин Эрнст. Если только в гомеопатии есть истина, то эта доля подействует на Вас совершенно так же, как целое».

Из знаменитых французов, которых можно было часто видеть у Гейне, следует назвать еще Гектора Берлиоза, Теофиля Готье и несчастного Жерара де Нерваля. Последний, мягкая, нежная душа, питал большое пристрастие к немецкой литературе и жил ею чуть ли не больше, чем французской. <...>

<Дополнение к воспоминаниям>

Мне частенько доводилось слышать, как он, — разумеется, на свой лад, — сожалел о своих нападках на Платена. «Платен, — говорил он в таких случаях, — без сомнения, стал бы большим поэтом, будь в нем чуть больше поэзии и мыслей. У него было все, из чего складывается поэт, — высокомерие, уязвимость, бедность, долги, знания, не было только поэзии. В понимании метрических законов стихосложения ему не было равных, не было лишь мыслей и чувств, которые следовало облечь в стихи с помощью этих законов. Он основательно изучил основы поэтической кулинарии — не хватало лишь жаркого и огня. Но из этого отнюдь не следует, что он заслуживал такие нападки, которым я его подверг. Я предпочел бы никогда в жизни не публиковать ту пресловутую главу из «Луккских вод». <...>

ФРАНСУА БЮЛОЗ

Нач. марта 1847

ИЗ ПИСЬМА СЕН-РЕНЕ ТАЙАНДЬЕ

Париж, 2 апреля 1847

Кстати о Гейне: «Атта Троль» доставил мне большое наслаждение. Если Вам среди немецких литературных новостей известно хоть что-нибудь такого же значения, немедля уведомьте нас об этом, даже переведите.

Бедному Гейне сейчас очень плохо: он стоит одной ногой в могиле, но продолжает смеяться. Видит он только одним, да и то полузакрытым глазом. Я долгое время его не видел, но тут он принес мне «Атта Тролль»; вид его причинил мне боль.

ГЕНРИХ ЛАУБЕ

Середина марта 1847

ИЗ РАССКАЗА О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

(* 21/22.4.1847)

Когда я приехал в Париж и поспешил к Бульварам, к этой наиболее очаровательной из всех холмистых улиц мира, город парил в белых туманах под лучами теплого мартовского солнца. Собственно, я только и хотел в Париже, что навестить одного больного. Генрих Гейне, уже единожды объявленный мертвым, теперь и сам не чает спасения. «Приходи непременно сегодня, — написал он мне, — ибо есть большой риск, что до завтра я умолкну навек. Правда, паралич лишь постепенно захватывает мои члены, может пройти еще некоторое время, прежде чем болезнь заденет сердце либо мозг и тем положит конец забавам, но не могу же я заранее знать, когда мне предстоит совершить мое сальто-мортале, и потому хотел бы с твоей помощью сделать завещание». В отеле я застал молодого поэта Альфреда Мейснера, «Жижка» которого был тепло принят публикой и который, находясь в счастливом возрасте, плавает здесь по волнам исторических воспоминаний. Ему бы так хотелось повидать Жорж Санд, но увы! — ее нельзя повидать; она живет одиноко в монастырском уединении своего особняка на улице Прованс, а Гейне, перед которым она никогда не закрывала своих дверей, лежит в параличе! Ведя меня к Гейне, Мейснер толковал по дороге об Альфреде де Мюссе, чьим портретом может служить Стенио в «Лейле» и чьи стихи на родине, в Богемии, представлялись ему наиболее гениальными из всех стихов молодых французских поэтов. <...>

Оказалось, что Гейне нет дома. Значит, он еще выходит?! Да, с палочкой, очень медленно, потому что лишь с большим трудом может увидеть самое необходимое; один глаз у него совершенно закрыт, другой открыт еле-еле. Мы снова поднялись к Бульварам, куда

весеннее солнце выманило из холодных каменных домов всех праздных гуляк. <...>

Давно миновал полдень, меня так и подмывало увидеть, наконец, главное лицо. «Он дома», — сказал консьерж, ужимая светлое открытое имя Гейне до такой степени, что оно прозвучало как «ненависть» по-французски. Я вздрогнул, словно от злого предзнаменования, и торопливо взбежал по лестнице. Он сидел рядом с цветущей, веселой француженкой, чьи формы радовали глаз здоровой пышностью, со своей женой, которая вот уже десять лет преданно заботится о нем. Сидел за столом, накрытым для обеда, который ему не придется есть, — о, какая разительная перемена! Семь лет назад я весело попрощался с плотно сбитым бонвиваном, сыплющим искры из небольших плутоватых глаз, теперь, чуть не плача, я обнял истощенного человечка, на чьем лице нельзя было отыскать взгляда. Тогда блестящий и изысканный, как светский аббат, он носил гладко зачесанные длинные волосы, на свету у них был приятный каштановый отблеск; тогда полное лицо его было гладким, как у камергера; теперь оно было обрамлено седой бородой, ибо болезненно возбужденные нервы не переносили прикосновения бритвы; теперь волосы были сухими, хотя и по-прежнему длинными, они были неухожены и, заметно тронутые сединой, свисали на высокий лоб и широкие виски. Красиво очерченный нос заострился и стал длинней, приятный прежде рот болезненно кривился. Раньше он любил слегка наклонять голову вперед, как бы пытаясь отыскать взглядом шаткий фундамент неустойчивых детей рода человеческого, теперь голова была мучительным усилием закинута назад, дабы зрачок правого глаза мог выглянуть в маленькую, еще не закрытую щелочку между веками и хоть что-то через нее увидеть. Бедный Гейне! И, однако же, на жалобы ушло не более нескольких минут. Дух не затронут, характер не поврежден, поверх пролитой сентиментальной слезы вскоре опять полетели веселые стрелы, которые он уже так долго выпускал против Яна или Массмана или прочих излюбленных им объектов издевки. «С моей стороны, было бы черной неблагодарностью, — сказал этот злодей, когда я упрекнул его в неизменности его объектов, — было бы черной неблагодарностью забросить этих бедняг в старости, после того как они столько лет служили мне верой и правдой. Да кто бы тогда вообще о них помнил!» Короче, немощное тело вскоре утратило главную роль в нашей беседе, и Шекспир не мог сделать смерть своего Меркуцио прекраснее, чем Гейне

делает свою собственную. Всякую надежду на выздоровление он со смехом отвергает, он убежден, что дни его сочтены и что счет этот весьма короток. «Не будь у меня жены и попугая, — с улыбкой сказал он, — я бы, словно римлянин, сам положил конец этим одышливым ночам и всем этим страданиям, прости мне, о боже, мой грех. Но отцу семейства так не подобает. Давай же напишем завещание, пока ты здесь». Так мы и поступили.

Какое непостижимое расточительство ума, насмешки, гнева, охранительных и оградительных уловок, планов, соображений и химер таится в переписке эмигранта, если он, подобно Гейне, вот уже шестнадцать лет являет собой духовное и поэтическое средоточие для всех немцев, покинувших родину. Как много интереснейших предметов пожирает за какой-нибудь час огонь камина! Этот легкомысленный Гейне наделен пунктуальностью и добросовестностью дипломата во всех вопросах, касающихся позитивных сторон жизни. Люди всякий раз точно подсчитывали его многочисленные бьющие в глаза ошибки, а о его величайших достоинствах предпочитали хранить молчание. Лишь теперь, когда мы уже стоим на краю его могилы, становятся слышны жалобные голоса, которые открывают нам, какой тороватой была его рука для неимущих скитальцев. Ни своему перу, ни своим устам он не дал знать о щедрости своей руки, и вот теперь самые неожиданные свидетели приносят нам весть, что он был не только гением, что он вдобавок был наделен добрым сердцем, просто-напросто добрым сердцем, не больше и не меньше. <...>

Помимо мыслей о моем больном друге, меня больше всего занимал вопрос, откуда взялась эта столь необычная и неумолимая болезнь, которая, очевидно, гнездится в таинственных переплетениях между нервами и мозгом, коварный, безостановочно ползущий паралич, и когда он доползет до жизненного центра мозга, наступит смерть. Неужели нет ни одного немецкого врача, который знал бы, как помочь? Досада и негодование вызвали болезнь, спровоцированную своего рода кровоизлиянием. Сотни сражений в литературе и в политике не причинили этому грозному воителю ни малейшего ущерба; единственный удар, нанесенный родственниками, его сломил. Это навсегда останется глубоким укором его семье. Когда два года назад его поразил этот удар, ему было сорок пять лет; перед ним лежали десятилетия творческой деятельности, но эти посредственности загубили его из-за каких-то житей-

ских мелочей. Об этом ходили самые сумбурные, самые невероятные толки, а между тем истина куда как проста. Якобы в бумагах его покойного дяди Соломона Гейне нашлись письма, оскорбительные для единственного наследника Карла Гейне. Глупые сплетни! Именно эти два человека—единственные члены семьи, к которым Генрих Гейне и прежде и теперь относился и относится с неизменной любовью и уважением; о своем почтенном дядюшке он, как и всегда, говорит с глубокой почтительностью, любой недоуменный вопрос касательно нынешнего поведения своего кузена Карла он решительно отменяет, причем отменяет, не скупясь на выражения искренней любви и уважения. С другой стороны, так же мало соответствует истине утверждение, будто поэт в более чем высокой степени пользуется щедротами миллионера. Деньги ему больше не нужны. Жизненные наслаждения, равно как и сама жизнь, подходят к концу. От Карла он получает только ту пенсию, которую назначил ему дядя, и, как я слышал из его собственных уст, он лишь для одной цели прибег к богатству своего брата: Карл Гейне обязался после смерти поэта пожизненно выплачивать половину этой пенсии вдове, причем в ответ на первую же просьбу он взял на себя это обязательство с такой готовностью, что поэт был растроган до слез. Нет, здесь нет ничего нечистого, ничего дурного; однако яд был подмешан и поднесен к устам поэта еще до смерти Соломона Гейне. Пусть добрые граждане и плохие музыканты несут ответ перед своей нацией за то, что из низкой, бездушной зависти парализовали и довели до смерти гениальный поэтический дар. Когда давно уже никто не будет помнить про золотые мешки и прочие семейные ценности, имя Гейне по-прежнему будут знать и славить, благодаря поэту, который сейчас умирает на наших глазах, а литературно-исторический миф не преминет добавить: подобно Байрону, его до срока свели в могилу булавочные уколы мелочных родственников.

Он хочет быть похоронен на Монмартре. «Это мое пристанище», — ответил он на мой вопрос. «А дальше что будет? Как ты полагаешь?»—«А что будет с дровами в камине? Их пожрет пламя. Так давайте же греться, покуда пепел сгоревших поленьев не развеян по ветру».

Вейль сказал: «Все человечество—это единственный человек, и, значит, никто не исчезает со своей смертью; какой-то малостью, возможно даже, каким-то единственным нервом каждый продолжает

жить в человечестве от Адама и до детей наших детей. Ничто некогда жившее не умирает».

«Хорошо сказано, молодой крот, — с улыбкой заметил Гейне, — выходит, мировая история — своего рода пожизненная страховка для тех, кто тем не менее не может прожить без пенсии».

Серед. марта 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(*январь. 1868)

Только весной 1847 года я опять приехал в Париж. В каком виде нашел я человека, которого оставил похожим на тучного слугителя культа жизни! Никогда не забыть мне того впечатления, какое он произвел на меня, впервые снова представ перед моими глазами. Меня по ошибке не приняли у него дома — свою дверь он держал запертой, и он мне написал: «Я приду в одиннадцать часов!» Я получил пристанище в маленьком отеле на улице Доживилье возле Лувра. И отель и улица исчезли при устройстве освещения, которое Осман предписал старому Парижу, чтобы открыть дорогу воздуху, свету и картечи. Моя комната выходила на пустырь между Новым Лувром и церковью Сен-Жермен-л'Оксеруа, на то самое место, которое во время Июльской революции видело самое кровавое сражение и храбрую защиту швейцарцев. Ничто не заслоняло взора вплоть до Сены. Там остановился омнибус. Небольшого роста человек медленно вылез из кареты и, нащупывая дорогу толстой палкой, осторожно двинулся через площадь. Ярко сияло весеннее солнце. Для этого человека — недостаточно ярко. Он часто останавливался, откидывая голову назад, и трогал рукою глаз. Пальцами приподнимал веко, потому что открыться самостоятельно оно уже не могло, — этот человек, укутанный в два пальто, искал вывеску моего отеля. Этот бледный человек был Генрих Гейне!

Свою болезнь он переносил с большой стойкостью, более того, хладнокровно предсказывал ее несомненный прогресс, ужасающее усиление и мучительный конец, и это будущее он изображал с тем же беспощадным остроумием, с каким прежде разил своих самых неприятных противников. «Справедливость превыше всего! — говорил он с судорожной улыбкой. — Вот теперь вы видите, что всегда были несправедливы ко мне, когда так часто приписывали мои головные боли и дурное настро-

ение моральному несовершенству. Моральным я вообще никогда не был. Вполне физический скорпион всегда терзал меня, а теперь он меня раздирает».

ДЖАКОМО МЕЙЕРБЕР

ИЗ ПИСЬМА АЛЕКСАНДРУ ГУЭНУ

Вена, 30 марта 1847 года

Гейне написал обо мне в аугсбургской «Всеобщей газете» недостойную и исключительно резкую статью. Хоть он и не подписал, как обычно, эту статью своим условным шифром, все узнали его стиль. Г-н Фридлянд, друг Гейне, недавно побывавший в Вене, говорил со мной об этом и сообщил мне следующее: Гейне сказал ему, будто написал эту статью потому, что я причинил ему невообразимо много зла.

Что он имеет в виду? Напрасно я ломаю себе голову—я не могу вспомнить ничего другого, кроме проявлений дружбы по отношению к нему. Вы мне уже писали однажды, что г-н Брандус рассказал, что он говорил ему, будто я отказался написать его кузену Карлу Гейне и выступить свидетелем насчет пенсии, которую назначил Гейне его дядя. Попросите г-на Брандуса передать Гейне, что я не только написал по этому поводу его кузену Карлу Гейне, но и засвидетельствовал его права так настоятельно и так горячо, как если бы речь шла о моем брате. Г-н Лассаль (доверенное лицо Гейне в Берлине, а в данное время—в Париже) видел это мое письмо, а также ответ г-на Карла Гейне. Но показать ответное письмо самому Гейне я не мог: оно написано в таком резком тоне, что это причинило бы Гейне сильнейшую боль. Но теперь, для своего оправдания, я хочу послать это письмо Вам: пусть хотя бы г-н Брандус прочтет его, а потом спросит у Гейне, мог ли я сделать больше.

Не нападки Гейне сами по себе заставляют меня так страдать. Вы знаете, что газеты непрерывно нападают на меня, но в данном случае это исходит от приятеля, с которым я дружу двадцать лет, от человека, чей гений так меня восхищает и к кому я был искренне привязан. Вот что меня удручает.

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

Конец марта 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ (* 1883)

В 1847 году, после публикации в «Фаланге» моей «Крестьянской войны», Эжен Сю узнал, что я не могу найти для нее издателя, и прислал мне письмо, в котором сообщал, что предоставляет в мое распоряжение тысячефранковый билет на расходы по изданию этой книги. Накануне, благодаря рекомендации г-на Филарета Шаля, я уступил книгу папаше Амьо за сто двадцать франков. Генрих Гейне прочитал письмо Сю; отдав дань восхищения не только щедрости собрата-писателя, но и наличию у него тысячефранкового билета, он попросил меня пригласить Сю позавтракать с ним.

Эти два знаменитых человека не были знакомы лично. Стоит мне пообещать Сю, что он будет завтракать с вами, сказал я Гейне, и он явится, будь он хоть за двести лье от Парижа.

— Попрошу вас также, — добавил Гейне, — сказать коему другу Бальзаку, что мы с ним давно не виделись. Пригласите его от моего имени. Эти два человека — два мощных полюса планеты нашего разума. Один представляет собой Север, другой — Юг. Их соседство создаст нам умеренный климат.

Я навестил Бальзака. Не могу сказать в точности, когда это было: перед его отъездом в Россию или сразу после его возвращения. Он относился ко мне доброжелательно еще с 1838 года. Услышав о приглашении, Бальзак поморщился.

Он был не в восторге от Сю, увлекавшегося социализмом. Но повидаться с Гейне ему хотелось, он обещал прийти и сдержал слово. Сю тоже дал согласие прийти, и завтрак состоялся у меня, на улице Кабран, которая теперь называется улицей Спасителя, в доме, который тогда был под номером 14, а теперь имеет номер 50.

Удивительное дело! Сойдясь вместе, три первоклассных писателя ни одной минуты не говорили о литературе, или о поэзии, или о журнализме, или тем более об Академии. Я в тот же день записал все основные темы, все значительные мысли, затронутые и высказанные в этой беседе, которая, словно челнок, три часа сновала по канве Республики, Монархии, Социализма, Фурьеризма и Коммунизма.

Ходом беседы сразу же и полностью овладел Бальзак. Не принося никаких извинений, он требовал внимания и тишины.

— Мои убеждения, — сказал он, — давно известны. Они не новы. Но тому, что истинно, нет нужды быть новым. Я знаю также все изъяны в броне моих принципов. Впрочем, мой друг Гейне отыскал бы их и сам. Но я намерен доказать — с этой целью я пришел сюда, — что так называемое новое ложно и совершенно несбыточно.

— Поскольку речь идет о монархии и республике, — перебил его Сю, — то я прошу заметить, что старой как раз является республика, а новой — монархия. Уже было сказано г-жой де Сталь: «Деспотизм есть нечто новое. А свобода — ровесница этого мира и чело- века».

— Я охотно принял бы республику, — отвечал Бальзак, — но я не могу принять ее последствия в жизни общества, последствия неизбежные и вынужденные. В свою очередь, скажу вам: социализм, воображающий себя новым, — это старый отцеубийца. Он всегда убивал свою мать, республику, и свою сестру, свободу! Так было и так будет. Это вечная распря между благодатью и свободой воли, между Платоном и Аристотелем, между святым Августином и святым Фомой, между Абельяром и святым Бернаром, между Лютером и Мюнцером.

— Вы вторгаетесь в мою область, — воскликнул Гейне. — Не нужно говорить «между Лютером и Мюнцером», вы могли бы сказать: «между Лютером и Лютером», «между Мюнцером и Мюнцером». Никогда еще ни один немец не пребывал в согласии с самим собой более шести месяцев. Каждый немец, даже Ганеман, заключает в себе все противоборствующие системы. Никогда еще не бывало на свете цельного немца, и не будет. Если в Германии однажды установится национальное единство, оно сможет удержаться только силой и жестокостью, ибо в полдень немцы, как правило, отвергают философию, придуманную ими в одиннадцать часов.

— Ладно, — сказал Бальзак, — будем французами, будем выражаться ясно. В чем основная разница между выборной властью и властью наследственной? Выборная власть принадлежит всей нации, монархическая — одной семье. На первый взгляд, республика представляется воплощением справедливости, а монархия — злонамеренной узурпацией. Но если присмотреться, дело поворачивается другой стороной. Что такое, в

сущности, выборная власть? Десять миллионов граждан передают свою власть на определенное время, оставляя за собой право забрать ее назад, если не выполняются предустановленные и требуемые условия. Стало быть, всякий француз может передать свою десятиллионную долю власти. По какому праву? По праву рождения на французской земле.

Так вот: по этому самому праву ему принадлежит и сама эта земля. Ему причитается одна десятиллионная доля собственности, и он может ее передать кому вздумается, точно так же, как передает свою долю власти, отдавая ее в долг за определенные услуги. Так появились аграрные законы в Афинах и в Риме. Однако древние республики для обработки земли использовали рабов. Это чистая правда, и поэтому-то Моисей, величайший демократ в истории, установив республику и разделив землю между племенами, назначил день, в который земли раз в пятьдесят лет возвращались бы тем же семьям. Солон, установив республику, отменил все долги; Ликург изобрел всеобщее равенство в бедности. Как только Мюнцер в Саксонии, в Мюльхаузене, провозгласил республику, ему пришлось установить общее владение жизненными благами. Анабаптисты в Мюнстере ввели даже общность жен. Бабеф — неизбежный преемник Дантона и Робеспьера...

— Позвольте в этой связи сделать одно замечание, — перебил его Гейне. — Обращаю ваше внимание на то, что Ликург и Солон, установив у себя на родине республику, удрали за границу. Моисей поступил умнее, он дал республику стране, куда ни разу не ступала его нога.

— Мне известно, — продолжал Бальзак, — что наш друг Сю, дабы не быть коммунистом, уцепился за фурьеризм. Но народ устрашающе логичен, он ничего не смыслит в этих тонких различиях и формулировках. Как только власть становится выборной, он желает, чтобы такой же стала и собственность.

— А Америка? — воскликнул Сю.

— В Америке, — продолжал Бальзак, — имеется четыре миллиона рабов, которые трудятся и лишены избирательных прав. Если однажды кто-то даст им право голоса, чтобы обеспечить себе большинство, они выберут человека, который разрешит им поделить землю или, по крайней мере, доходы, извлекаемые посредниками из их труда.

— Ну так что же? — воскликнул Сю. — Никто не должен иметь излишки, когда столь многим не хватает самого необходимого.

— Это все равно что сказать: никто не должен обладать умом, когда столь многим не хватает и здравого смысла! — возразил Бальзак.

Тут вмешался Гейне:

— Мой друг Бальзак сближает такие понятия, как «ум» и «излишки». Это что-то новое. Обычно ум нужен, чтобы только найти основания отвергнуть излишки и необходимое. Со дня сотворения мира философия была вечным прославлением минимума, даже и в духовной области. Вот почему евреи вечны. Они пребудут всегда, их никому не превзойти: они взяли минимум божества, только самое необходимое.

— Красота — тоже излишек, — с улыбкой произнес Бальзак. — Молодая, здоровая женщина может быть и некрасивой: она обладает самым необходимым и потому пригодна для любви. Дурнушки могли бы сказать: «Никому не дозволено обладать красотой, пока мы не получим свой минимум!»

— Их минимум, — снова вмешался Гейне, — это и муж и любовник. Между нами говоря, всякая женщина должна иметь право на мужчину. Считаю неправильным требовать от женщины верности более, чем от мужчины. От неверности женщины мы ничего не теряем. По воле бога, так сказал Вольтер, она ежечасно находится в нашем распоряжении, в то время как ей каждая измена мужа действительно наносит ущерб. Удивляюсь, что французские социалисты до сих пор никак не затронули этот вопрос. А вот моравские братья в Саксонии были более последовательны. Браки у них заключаются по лотерее и требуют строгого соблюдения верности. Молодых людей, предназначенных для брака, вначале подвергают осмотру и дают каждому номер. Девушки достают себе мужа из мешка. Никто не остается в проигрыше. Обмен не разрешен. Причиной развода может быть только неверность, но в этом случае виновного изгоняют из общины.

— И что же, — спросил Сю, — эти браки оказываются счастливыми?

— Коварный вопрос! — отвечал Гейне, — ведь удачный брак — скорее награда, чем обещание счастья. Я уже имел честь сообщить вам, что кандидаты в мужья, перед тем как получить номер, показываются врачу. Для них установлен минимальный и максимальный возраст. Браки эти часто становятся образцом плодовитости, силы и здоровья.

— И не было случая, чтобы девушка или молодой человек не согласился бы с номером, который им достался?

— Да, так бывает, но тогда они должны покинуть общину.

— Вот видите, — воскликнул Бальзак, — это коммунистическое общество возможно лишь на обочине нашей цивилизации. Стань оно единым и всеобщим — оно не продержалось бы и полугодя. Если бы все мужчины и все женщины были подчинены такому закону, это означало бы непрерывную гражданскую войну. Как в львиной стае, десять самцов теряли бы жизнь за одну девственность.

— Единственная вещь, которую охотно теряют! — воскликнул Гейне.

— И единственная, которую, потеряв, нельзя обрести вновь, — прибавил Сю.

— Давайте не отвлекаться, — сказал Бальзак, небрежно повязывая салфетку. — Вы удивитесь, господа, но я превосходно изучил сенсимонизм, фурьеризм и коммунизм. Последний — логическое и неизбежное следствие всех остальных «измов». Народ не разменивается на мелочи. Он сразу идет к сути. Итак, что же такое коммунизм? Это возврат к первобытной дикости, когда все мужчины и все женщины едят за общим столом, не имея в кармане ни гроша, ибо как только появится меню, один станет экономить, другой растрачивать, и вот уже неравенство, вот уже война. Это не максимальная, а минимальная заработная плата за все виды труда, всем категориям трудящихся, и вдобавок — плантаторский бич, чтобы заставить работать лентяев и упрямцев.

Это не только постоянное рабство и тирания, это еще и вечная анархия. А как вы поступите с женщинами? Провозгласите общность жен, полигамию, моноандрию? Все это мерзости! Станете поддерживать многоженство насильственно — вот вам и рабство! Порочный, гнусный круг! Невозможно допустить, чтобы тонко чувствующий человек мог быть искренним приверженцем такого коммунизма. Если Франция когда-нибудь снова станет республикой, то предсказываю вам: в этот раз на всевозможных Бабефов придется не один Робеспьер, а целых десять тысяч, потому что настоящий республиканец должен быть в тысячу раз нетерпимее к коммунизму, чем монархист. Коммунизм — наипервейший ожесточеннейший враг демократии. Он — прямой пособник абсолютной монархии. Если вы мне позволите выразиться образно, то я, чтобы доставить удовольствие Сю, скажу так: республика представляет собой природное здоровье, а коммунизм по отношению к ней представляет собой раковую болезнь. Комму-

низм — это просто находка для шарлатана, именуемого деспотизмом, под видом лечения он убивает одно другим, чтобы самому стать единственным наследником.

— Ладно, — сказал Сю. — Чтоб доставить удовольствие моему *уважаемому* другу Бальзаку¹, заявляю: я не коммунист. Я лишь социалист. Разницу объясню позже. А пока пусть Бальзак ответит на такое замечание. Ни республика, ни монархия не порождают социальных заблуждений. Коммунизм существовал всегда. Можете считать его болезнью общественной мысли, но он есть! А что предпринимает монархия, что она когда-либо предпринимала, что она может предпринять против этих болезней? Разве не сама она является праматерью, первопричиной этих бед? Разве не сама она — язва, плодящая всю нечисть? Республика, где все граждане обладают правом публичных выступлений, по крайней мере может предложить лекарства. Она может их искать. Она может бороться. У нее есть здоровье и сила. Но что может предпринять против этих болезней монархия? Разве не она вот уже более тысячелетия есть первопричина нищеты, невежества, животного отупения масс? Разве не она присваивает труд восьми девярых населения, чтобы отдать продукт этого труда одной девятой — своим преторианцам, своим риторам, своей знати, своим священникам, своим придворным и своим куртизанам? Что такое, в сущности, католическая монархия, идеал нашего друга Бальзака? Откройте историю последних семнадцати столетий! Нагромождение беззаконий, страданий, подлостей и бедствий! Чем был народ до восемьдесят девятого года? Стадом вьючных животных! Христианин, находившийся в крепостной зависимости, был гораздо несчастнее античного раба: привязанный к земле, он считался чем-то вроде недвижимости, без души, без своей воли. Ни один христианин не смог бы, подобно древнему римлянину, освободить своих крепостных, не разорившись при этом. Крепостной не мог даже пойти в монахи. Мне говорят: монархия всегда подавляла коммунизм. А стали народ от этого счастливее? По какому праву, черт возьми, вы настаиваете, чтобы сто тысяч дворян и священников утопали в довольстве, в то время как десять миллионов французов, во всем им равных, а часто и стоящих гораздо больше, чем они, прозябали в нищете? «Когда на меня набрасывается тигр, я не

¹ В подлиннике игра слов: имя Бальзака (Honoré) означает «уважаемый».

задумываюсь, чем бы его заменить!» — воскликнул однажды Вольтер. Давайте сначала отменим привилегии, беззакония, состояния, приобретенные без труда, а потом посмотрим, что надо сделать! Молодому пастуху всегда кажется, что небо вдалеке смыкается с землей. По мере того как он движется вперед, горизонт становится все шире. Так же будет и с человечеством. Будем свободны и пойдем вперед. В движении нам откроются все более и более широкие горизонты!

Во время этой тирады Сю, против обыкновения, разгорячился. Он был почти красноречив. Чтобы успокоить его, Гейне предложил ему бокал шампанского, которое прислал мне с утра.

— Вы дали нам отведать лучший нектар своего вдохновения, — сказал он, — теперь попробуйте мой.

— Сю дал нам отведать одной лишь пены, — возразил Бальзак. — Все это искрится, вздувается, сверкает, но испаряется и улетучивается при соприкосновении с критикой.

Прежде всего, человечеству необходимо выполнять какой-то минимум — раз у него есть минимум, какой-то минимум мирных работ. Чтобы обеспечить жизнь, нужно пахать, сеять, убирать урожай, прясть, ткать, плотничать, строить, ковать железо, мастерить телеги, а в особенности — зачинать и рожать детей. Вот основной товар, производимый людьми, все прочее есть роскошь: роскошь разума, гения, духа. Мир не протянул бы и года без выполнения тех простых работ, для которых бог создал девять десятых человечества. При монархии — если не считать ужасающих бедствий войны — возможна простейшая жизнедеятельность. В государстве демократическом она невозможна. Когда чуть не каждую неделю гражданин должен поднимать оружие против негодяев, которые не только мешают ему работать, но ежеминутно угрожают отнять у него право пользоваться плодами его трудов, все становится невозможным, и никто уже не будет работать.

Это ничто, пустыня. Коммунист возьмет себе не десятину, не одну десятую, как некогда дворянин и священник, он возьмет себе все, что останется. Это шершень, который не просто присваивает мед, но еще и разрушает улей, потому что ячеистые соты, созданные для труда, не похожи на его грубо слепленное гнездо. Вполне понятно! Шершню соты не нужны. Он ничего не производит, не трудится, не делает мед. С него достаточно и общего дупла, как для шайки разбойников достаточно пещеры.

Кроме этих соображений, есть еще главный, пово-

ротный вопрос, по выражению фурьеристов, и ставит его сама природа. Я уже говорил вам, что все политические вопросы суть лишь дополнительные, вторичные вопросы в древнем и вечном споре между благодатью и свободой воли. Согласитесь вы или же станете отрицать, что одни люди от рождения сильнее, красивее, остроумнее, рассудительнее, сдержаннее, добродетельнее, чем другие? Вот где собака зарыта! Вот в чем главный вопрос! Разве основная масса людей не рождена для ручного труда, удовлетворяющего самые необходимые потребности человеческого общества? Проще говоря, разве одни не представляют собой нули, а другие — цифры? Разве одни, для своего же блага, не вынуждены повиноваться, в то время как другие рождены властвовать?

Разве цифры не будут уничтожены, если перед ними поставить нули? Разве монархия не в большей степени, чем республика, отвечает природе человека? Я отнюдь не желаю навязать будущее, скроенное из прошлого. Я верю в прогресс. Замечу, однако, что в истории всех народов на полвека республиканского правления приходится тысячи лет монархии. Допустим, республики прошлого были лишь проблесками, образцами, идеалами для грядущих поколений. Нам все время приходится что-то для себя открывать. Человечество, как и отдельная личность, постоянно учится. Вот знать бы только, не остаются ли основные истины всегда одними и теми же и может ли тут существовать абсолютная новизна. Уж не помню, какой философ сравнил открытие истин в истории с чистой луковицей: под каждым снятым слоем обнаруживается новый, свежий и блестящий, но это все тот же лук!

— И он исторгает у нас все те же слезы, — подхватил Гейне. — Теперь я понимаю, каковы были луковицы Египта, о которых так жалели в пустыне консерваторы. Но республиканец Моисей, совершенно как Робеспьер, разбив скрижали, приказал своим леви-там: «Ну-ка, перебейте всю эту сволочь!»

— Подлинная истина, — продолжал Бальзак, несколько смущенный шутками Гейне, — состоит в том, что огромное большинство людей не могут и не умеют быть счастливыми без понукания, без принуждения со стороны людей сильных, могучих умом и волею. Абсолютная свобода всегда была и всегда будет лишь абсолютной анархией.

Было уже довольно поздно. Собираясь встать из-за стола, Сю спросил:

— Каково же мнение нашего друга Гейне?

— Как у всякого немца, у меня их несколько, — отвечал тот. — Но я могу высказать их вкратце. Предупреждаю: начинать буду от всемирного потопа. Начинать ли?

— Начинайте, — сказал Бальзак, — вам это будет нетрудно, надо только вскочить на Пегаса.

— Я заметил, что двадцатичетырехчасовые сутки состоят из дня и ночи. То есть из противоположностей. День, как бы он ни был прекрасен, один, без ночи, причинял бы большие неудобства. То же самое было бы и с ночью без дня. И еще я заметил—видите, я дошел до потопа, — что для появления на свет ребенка необходимы мужчина и женщина, особенно женщина. Опять-таки две противоположности, которые могут иногда гармонично сочетаться.

И вот еще что я замечал: чтобы хорошему делу сладиться, нужен один дурак и один умный. Мне говорили—кажется, это был Берлиоз, потому что Мейербер на меня дуется, — что два диссонанса всегда создают гармонию. Безупречный аккорд состоит из терции, квинты и октавы—таинственная закономерность, которую кабалисты применяли и к любви. Уверяют даже, будто существует гамма цветов. Одним словом, все, что долговечно, все, что доставляет радость, соткано из противоположностей.

Я полагаю, друзья мои, что с республикой и монархией дело обстоит точно так же. Тут требуется не одно *или* другое, но одно *и* другое одновременно, сплав того и другого. Раз то и другое представляют собой диссонансы, значит, слившись воедино, они дадут безупречный аккорд. Следовательно, нужна *или республика, где правят монархисты, или монархия, где правят республиканцы.*

Я мог бы привести более двухсот пятидесяти неопровержимых доводов в защиту своей теории, у которой только один изъян: она эклектична. Умолкаю, ибо у меня имеется жена, или, вернее, у моей жены имеюсь я. Она никогда не поверит, что я засиделся за завтраком с гениями, поэтому мне пора домой, и я надеюсь однажды иметь удовольствие видеть вас у себя. Мы провозгласим республику, президентом будет Бальзак, исполнительным секретарем—Сю. Я воспую ваши подвиги немецкими стихами, так как французы ни за что не позволят поэту быть гением в политике. Мейербер положит эти стихи на музыку, а крошка Бейль, у которого героический тенор, их споет.

Этим троим больше уже не суждено было свидеться. <...>

Как я уже говорил, во время первой же нашей встречи Гейне предупредил меня, чтобы я никогда не просил у него денег. Несмотря на это заявление, я знал друзей Гейне, — правда, исключительно немцев, — которым он давал деньги, когда они у него имелись. Гейне хотел казаться хуже, чем был на самом деле. А был он очень добрым: давал не в долг, а насовсем. Вскоре я уже зарабатывал неплохо по тем временам и даже сумел обзавестись обстановкой для нас с сестрой; но стоило мне пожаловаться на жизнь, как назавтра Гейне говорил мне: «Вейль, у вас в делах порядок, имеются сбережения, будьте добры, одолжите мне десять франков до послезавтра, у меня сейчас в кармане ни гроша». Я ему их одолжал, и послезавтра он возвращал их. В конце концов я разгадал эту хитрость: он просил у меня займы, боясь, как бы я, в свою очередь, не попросил у него. И вот однажды, после состоявшегося у меня и описанного мной выше завтрака с Бальзаком и Сю, зная, что я потратился, хоть и не слишком, он испугался, как бы я не попросил у него в долг известную сумму. После ухода Бальзака и Сю он сказал мне: «Бейль, я жду почту из Гамбурга. Можете вы одолжить мне сто франков?» Это было в 1847 году. Я только что перевел на немецкий язык для дармштадтского издателя Леске мою «Крестьянскую войну», написанную мной по-французски для журнала «Фаланга» и затем вышедшую отдельным изданием у Амьо. За оригинал я получил от Амьо сто двадцать франков, а за перевод Леске прислал мне двести, и эти двести франков лежали у меня в секретере в монетах по сто су. Я подвел Гейне к секретеру, открыл ящик с деньгами и сказал:

— Как видите, я совершенно не нуждаюсь в деньгах.

— Силы небесные! — воскликнул Гейне, поворачиваясь, чтобы уйти. — Я считал себя мошенником, а тут, оказывается, есть мошенник почище меня!

ШАРЛЬ-ОГЮСТЕН СЕНТ-БЁВ

1835—1847 (?)

ИЗ ПИСЬМА ШАРЛЮ БЕРТУ

Париж, 6 янв. 1867

В свое время я был знаком с Генрихом Гейне; встречаясь со мной, он бывал чрезвычайно любезен, а как-то раз, очень давно, я написал в «Ревю де де Монд»

статью о его «Путевых картинах». Он говорил, что как поэт я немного напоминаю ему немецкого поэта Гёльти. Наши дружеские отношения возникли случайно и скоро прекратились. Он заболел и никогда уже больше не покидал своей комнаты. Подозреваю, что я стал мишенью кое-каких его эпиграмм из тех, которые он напечатал в «Аугсбургской газете», не щадя своих парижских знакомых. Об этой неприятной черте его характера можно рассказывать долго. Но это был обворожительный ум, иногда божественный, а зачастую дьявольский. Сейчас он у нас в большой моде. Он и Мюссе вознесены очень высоко. Мы будем Вам обязаны, если Вы поможете нам побольше узнать о нем.

ЭДМОН И ЖЮЛЬ ДЕ ГОНКУРЫ

1846/1856 (?)

ИЗ ДНЕВНИКА

Париж, 28 февр. 1863

В разговоре кто-то обронил имя Генриха Гейне, мы подхватили его и решительно заявили о том, что мы его восторженные поклонники. Хорошо знавший его Сент-Бёв сказал, что это был негодяй и мошенник, затем, услышав, как все кругом восхищаются Гейне, умолк, сдался, прикрыл руками лицо и сидел так все время, пока хвалили Гейне.

Бодри передал нам остроумные слова Гейне, сказанные им на смертном одре. Жена молилась возле постели, чтобы бог простил его. «Не бойся, дорогая, бог меня простит, прощать — его ремесло». <...>

Париж, 20 июня 1864

Говорили о Генрихе Гейне. По лицу Сент-Бёва это было заметно. Готье восхищался внешностью Гейне, говорил, что в молодости он был необычайно красив, со слегка изогнутым еврейским носом.

— Это был Аполлон с примесью Мефистофеля.

— Честное слово, — рассердился Сент-Бёв, — мне странно слышать, как вы говорите об этом человеке! Это был негодяй, который выкладывал в газетах все, что он о вас знал, который злословил обо всех своих друзьях!

Сент-Бёв сказал это совершенно серьезно.

— Простите, — отвечал ему Готье, — я был его близким другом и всегда мог только радоваться этому. Он говорил дурно лишь о тех людях, чей талант оценивал невысоко.

ГЕНРИХ ЛАУБЕ

Март 1847

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1882)

При всей тяжести физических страданий Гейне не было дня, когда он отказал бы в сердечном участии другу, и в особенности— другу литературному. Даже совсем парализованный, он продолжал денно и ночью сражаться во имя литературы. Он считал своим долгом хозяина перед гостем возить меня к знаменитостям, «к полководцам!»— говорил он. «Ты должен опять повидать Ламартина! С тех пор, как вышли его «Жирондисты», он стал генералом. И Эжена Сю, фельдцейгмейстера «Парижских тайн», и Минье, который поведет тебя к Тьеру».

Нач. апр. 1847

ИЗ РАССКАЗА О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

(* 1848)

Эжен Сю необычайно вежлив <...> На просьбу Вейля о встрече он мгновенно ответил: он в Париже и поспежит посетить нас в два часа на квартире журналиста. Уже в полдень от него принесли новое письмо: он может прийти только в половине третьего. <...>

Кто-то медленно, тяжелой поступью поднимался по лестнице с палкой. Неужели Сю так физически обессилен от своих безумных романов? Нет, то был несчастный Гейне, которого уведомили об этой встрече. Со стоном остановился он в дверях и поднял вверх голову и веко, чтобы увидеть, кого он здесь застал. «Хотел бы я, чтобы совесть у меня была похуже, а голова получше, — сказал он с порога и, пытаясь найти каминную полку, на которую привык опираться, спросил меня: — Где ты был вчера вечером?» — «У миссис Сары». — «У Сары Остин, космополитической англичанки, к тому же хорошенькой. Ее салон очень хвалят, говорят, там можно иногда встретить Гизо». — «Там был лорд Норменби, человек исполинского роста, с

добродушным лицом и характером, особенно огромный в маленьких комнатах, заполненных целым судовым грузом тощих британцев, фрахтом англо-остиндской почты». — «Альфред де Виньи, женатый на англичанке, бывает там тоже». — «Там был и Ари Шеффер, живописец Фауста и Гретхен. Я полагал, что он должен выглядеть как немец, однако у него вид элегантного француза лет пятидесяти, с аккуратно подстриженными баками и белым галстуком, который все более входит в моду». — «Даже Фауст утрачивает здесь свою родину; чтобы это понять, достаточно было взглянуть на картины, а вовсе не на художника».

Пока мы шутили, открылась дверь, и появился высокий человек в невероятно широкополой шляпе — Эжен Сю. Как только он узнал Гейне в нашем внешне печально изменившемся поэте, на нас его вежливости уже не хватило. Он занимался только им, самой интересной для французских знаменитостей фигурой немецкой литературы, а я мог совершенно беспрепятственно наблюдать знаменитого романиста. <...>

Когда мы прощались с Эженом Сю, речь зашла о том, не следует ли ему когда-нибудь описать французскую революцию. <...> Сю с такой учтивостью отклонил это предположение, перечислив при этом имена Минье, Тьера, Ламартина, Мишле и Блана, что у меня сложилось убеждение: он давно уже замыслил нечто подобное.

«Почему ты еще раньше не избрал эту тему для книги очерков?» — сказал я по пути домой Генриху Гейне, когда мы с ним вместе направились к Лувру. «Почему не избрал?! Жизнь так коротка, когда хочешь жить в свое удовольствие! А как часто я об этом думал, как много мыслей об этом предмете растерял! А теперь я даже не в состоянии довести до конца то, что начал и что нам еще ближе — мемуарные очерки о нашей собственной жизни, о художественной революции немецкого романтизма и о революции практической, которую мы совершаем вот уже в течение тридцати лет. Вам с Детмольдом придется изрядно попотеть, редактируя уже имеющиеся страницы. Если бы я еще мог хотя бы читать! Из Германии мне рекомендуют водолечение! Они продолжают оскорблять меня и на краю могилы. Как будто бы я могу колебаться в выборе между таким вот немецким лечением и смертью без всяких церемоний! Я не могу читать даже Ламартина, которого здоровыми глазами, вероятно, и не стал бы читать!» — «Ты нашел бы у него много истинно поэтического! Мы ведь уже давно знаем, кто сочинил

«Марсельезу» и написал к ней музыку—это некий Руже де Лиль. Эти сведения Ламартин изложил столь подробно, что они воспринимаются теперь как немецкий роман». <...>

«<...> что сказано в записке?»—спросил Гейне. Это была записка от Минье, которую мы нашли у него дома и в которой нам сообщалось, что на извещение о моем визите к нему после обеда господин Тьер ответил приглашением на обед. Нельзя было проявить большую любезность. Но что такого интересного могу я, обыкновенный немецкий писатель, сказать этому человеку, дабы на деле доказать свою благодарность? «Ты будешь слушать, это ему еще интересней!» <...>

Чтобы хорошо слушать, надо уметь и соответственно говорить. Так что я спросил Гейне, какие увлечения свойственны Тьеру. «Он любит изобразительные искусства, особенно живопись. Спроси его о пребывании в Италии, и он будет самозабвенно рассказывать о произведениях великих мастеров, раз уж ты столь скромно, что хочешь выманить у государственного мужа только тайны г-на фон Румора. Вообще он, как муж силы, алчет почестей и власти. Этого и придержи-вайся. Одна такая страсть всегда исключает остальные. Так что нет ничего наивнее, чем говорить о его жадности к деньгам или о чем-либо подобном, как болтают в обычных пересудах. Кто хочет властвовать, не возится с хламом». — «Ты говоришь, как пишешь!» — «Так бывает всегда, когда писать мы уже не способны».

Март/апрель 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* янв. 1868)

Всего ближе он сейчас с Жюлем Жаненом, Александром Дюма-отцом и с Готье. В беседах с ними он демонстрировал им то, чего они никак не могли почувствовать в его малопонятных им немецких писаниях, а именно свой острый ум. Он хоть и не слишком хорошо говорил по-французски, ибо для того, чтобы речь на чужом языке текла плавно, ему надо было иметь свежую голову и находиться в хорошем настроении, но он говорил характерно. Как в немецком он точно отыскивал самые неожиданные и меткие выражения, так готовился он и к французской беседе. Гейне всю жизнь учился подыскивать бьющие без промаха

словечки. По целым дням он проверял, спрашивал: как лучше всего выразить по-французски то или иное слово, то или иное понятие? «Нашел! — воскликнул он однажды, переступая мой порог, — нашел. Твои «Ученики Карловой школы» должны называться «Les élèves de Charles!»» Это простое открытие занимало его целый день. Но именно потому он и производил впечатление на французов. Его проходные реплики уже не имели значения, поскольку наилучшим образом были выражены ключевые моменты. Гейне предстал перед собеседниками как лицо, на котором видишь и ценишь одни великолепные глаза. <...>

Лет за десять до смерти он начал заботиться о том, чтобы обеспечить свою жену, с которой давно уже, именно из этих соображений, сочетался законным браком, а также привести в порядок и собрать свои труды и сберечь свое наследие. Все долгие годы страданий жена была ему бесценным утешением. Эта беспечная француженка воспитала в себе счастливый дар никогда не верить до конца в распад, грозящий ее Анри. По жизнерадостности своего характера она считала все грозные симптомы временными, и именно эта живая уверенность была благословением для Гейне. Она помогала ему использовать каждый спокойный час, она успокаивала его касательно своей дальнейшей участи, даровала ему счастье в беде. «Ангелы — они все такие, — говаривал Гейне, — им не нужно прибегать к займам, у них всегда на руках свободный капитал».

Однако тогда еще для него не приспела пора говорить о смерти и религиозных вопросах, с нею связанных. «Вот придет время, — говорил он, — и мы, подобно Гетевой Клерхен, будем вести себя как сумеем». Пророчество его оказалось справедливым, дело затянулось еще лет на десять, но лишь в самые последние годы он начал посылать мне длинные письма о вере, о своем отношении к богу, церкви, смерти и бессмертию, письма, которые, к сожалению, мной утеряны. <...>

В сороковые годы, когда Орлеанская династия подвергалась яростным нападкам и ее пугали республикой, он как-то сказал: «Вспомни мои слова, когда все это окажется несостоятельным. Дети старых солдат живут во всех уголках Франции. Их божество, которое дарует им равенство, силу и мощь, зовется Наполеон. Будущее Франции определяется этим именем». Ни один

человек, кроме Гейне, не думал тогда о будущем, связанном с именем Наполеона. <...>

В разговорах с ним я часто не без удивления отмечал, как волнует его драматическая форма, как он буквально изнывает от желания написать пьесу, которую можно было бы сыграть на театре. Он постоянно изводил меня вопросами, неужели «Альманзор» или «Ратклиф» действительно не годятся для постановки. На мой взгляд, эта страсть к драматической форме послужила необычным доказательством того, что в основании его таланта лежала драма. <...>

Он удивительно рассуждал, когда речь заходила о постановке малосценичных пьес Шекспира. Попытку возродить старый английский театр с его наивным механизмом он считал смехотворной — для этого он слишком долго прожил в Париже, — но создание для этой цели нового театра считал весьма желательным.

— Тогда уж заодно и новой публики! — ввернул я.

— Вот здесь ты прав, — смеясь, отозвался он. — Театр девятнадцатого века ни сверху, ни снизу не годится для поэтов-мечтателей. Надо держаться за балет.

Март/апрель 1847

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1882)

Ни в одной из сфер общественной и частной жизни в Париже весной 1847 года нельзя было заметить и намёка на какие-либо политические перемены, а тем более на катастрофу. <...>

Один лишь Гейне не присоединял свой голос к безмятежному мирному хору. Он полагал, что французы не могут так долго пребывать в спокойствии. Пятнадцать лет они терпели единовластное правление Наполеона, пятнадцать лет — Бурбонов после Реставрации, и вот уже семнадцать лет — осторожного представителя Орлеанской династии. Это уже становится неестественным. Вот-вот с неба падет огонь, если на парижской земле не сыщется своего собственного.

Но его слова отдавали поэтическим воображением; всякий недоверчиво покачивал головой, слушая предсказания и без того уже поверженной Кассандры.

Однако и Кассандра, в свою очередь, качала головой, слушая затверженные речи других пророков. «Не верь им, — говаривал он, — они не умеют даже придумать подходящий заголовок. «Les élèves de Charles» —

так должны звучать по-французски твои «Ученики Карловой школы», только так, и не иначе». К подобным деталям он по-прежнему относился с большим вниманием. По-прежнему! Неделями он неутомимо искал подходящего слова для нового стихотворения, и он хотел завершить перевод «Карловой школы» раньше, чем «огонь упадет с неба» и положит конец всем поэтическим забавам. «Ибо этот «небесный огонь», за что следует заранее возблагодарить бога, пожрет всех нас, поэтических бездельников, всех до единого, а меня первого».

Так говорил Гейне, но никто ему не верил.

Даже когда в начале 1848 года парижские банкеты с невиданной ранее остротой показали оппозицию против правления Гизо, никто не ожидал ничего более серьезного, чем очередной смены кабинета, которая положит конец пуританской косности Гизо и соответственно — начало фазе умеренного прогресса в избирательных законах, — и тут, как удар грома, грянула февральская революция. Огонь упал с неба.

Март/апрель 1847

ИЗ ОТВЕТА ГУСТАВУ КАРПЕЛЕСУ

(* 1888)

Как я уже говорил, особых отзывов Гейне о Грильпарцере я не помню. Однако говорить о нем с Гейне мне, конечно, доводилось. Я уже тогда был почитателем Грильпарцера и помню, что у Гейне не было ни малейших возражений против этого моего чувства. Он питал полнейшее уважение к Грильпарцере, и оно не раз давало ему повод проклинать австрийскую цензуру, от которой приходилось страдать таким талантам.

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

7 апреля 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

Седьмого апреля, в день смерти Фурье, в зале «Валентино» его приверженцы устроили ежегодный банкет.

Бальный зал, в котором накануне вечером безумные парижане справляли дикие сатурналии канкана, сего-

дня — удивительная перемена — был превращен в церковь, где за братской вечерей, будто во времена раннего христианства, собралась небольшая кучка людей, верующих в будущее, чтобы воодушевиться и побрататься.

В то время я ни за что не пропустил бы такое празднество. Робкий и глубоко взволнованный, вступил я в зал, и сотни мерцающих свечей, накрытые белыми скатертями и уставленные цветами столы, за которыми в сдержанных позах сидело несколько сот человек, мужчин и женщин, произвели на меня неприятное и странно жуткое впечатление.

Социалистическая школа десять лет подряд устраивала торжественный ужин в память своего учителя, однако манифестация социализма никогда еще не была столь внушительной: всех этих людей созвало сюда предчувствие 1848 года. Когда мой глаз постепенно привык к странному освещению, я насчитал, наверно, около тысячи гостей, в том числе около ста женщин, большинство присутствующих, по-видимому, принадлежало к лучшим слоям общества. Были там и дети в белых праздничных одеждах, сидевшие за длинным столом, — согласно желанию Учителя, все они были увенчаны цветами, ибо для них наступило уже царство мира и благоденствия, за которое их отцы борются и страдают. <...>

Сверху зазвучала веселая, бодрящая музыка, за столами стало заметно оживленнее. <...> Вскоре началась тосты.

В эту минуту я услышал, что меня окликают по имени. Я оглянулся и за одним из соседних столов заметил Гейне. Я подошел к нему, и мы пожали друг другу руки, обойдясь почти без слов, ибо все с нетерпением ждали речей.

— За гений Фурье, открывателя человеческих судеб, обосновавшего мирное единство всех людей и народов! — воскликнул приятный и мощный голос. На трибуну поднимались всё новые ораторы. Один провозгласил мирный привет всем народам цивилизованной Европы, особенно «братскому народу по ту сторону Рейна, более свободному в своем религиозном убеждении, более прогрессивному в гуманном развитии, чем все остальные нации. Германия не отвергнет больше союза с Францией, едва она узнает, что последняя отказывается от каких бы то ни было завоевательных притязаний».

Вскоре посыпались тосты. Провозглашается «ура» погибающей Польше. «Она пробудится вновь, ибо ее

миссия бессмертна!» Восторженно пьют за «конец войнам на Земле!», «за постепенную эмансипацию женщины». Поминают также умерших, боровшихся за прогресс человечества, — «они образуют невидимую церковь, они незримо присутствуют на этом пиршестве, посвященном одному из их братьев, одному из величайших мыслителей — Фурье».

Люди обнимаются, у многих на глазах слезы, даже постороннего захватывает властное воодушевление.

Я покинул зал вместе с Гейне, и мы вышли на освещенную газом улицу Сент-Оноре, где стояли группами люди всякого звания.

— Видит бог! — сказал я. — Французской нации, как никакой другой, свойственно стремление к идеалу. Народ, насчитывающий сотни людей, способных на такой чистый общечеловеческий порыв, это народ великий и привилегированный.

В толкотне перед нами оказался какой-то приземистый мужчина с полным веселым лицом, широким выпуклым лбом, глаза его были защищены синими очками. Гейне, как будто изумленный его появлением, остановился, остановил и меня и прошептал мне на ухо: «Взгляните на этого человека!»

— Вы тоже там были? — спросил кто-то человека в синих очках.

— Нет! — резко ответил тот. — Я просто проходил мимо и остановился поглядеть на это скопище. Ах! У всех сектантов одна и та же песня! «Хвала Иисусу Христу, спасшему нас от греха, хвала Сен-Симону, благодаря которому мы поняли жизнь, хвала Фурье, открывшему нам социальные законы!» Комедия! Когда наконец кто-нибудь воскликнет: честь и хвала человеческому здравому смыслу, который не поклоняется никому? <...>

Человек в синих очках пожал плечами и медленно удалился.

— Кто этот человек? — спросил я Гейне, на чьем лице в эту минуту горел отблеск живого интереса.

— Кто он? — был его ответ. — Среди людей он называет себя месье Прудоном. А на самом деле это демон. Я ожил душой, снова узрев перед собой такого человека. Жизнь становится постылой, когда я вижу вокруг себя одних только деловых людей и обывателей. Его краткая речь благотворна для меня после стольких пышных, но вялых тирад. Он прав! Он совершенно прав!

— Кто же этот человек? — опять спросил я с еще более горячим интересом.

— Вы все время повторяете: «человек»! — возразил Гейне. — Вы же слышали, что это не человек, несмотря на синие очки. Это разрушительный принцип в облике философа, рассуждающего о государстве, к тому же он в избытке наделен изобразительными средствами поэта. Сдается, что Виктор Гюго уступил ему мощь своей антитезы, а Александр Дюма ссудил свою веселую фантазию. Ужасающая серьезность дела у него элегантно и разумно задрапирована и взирает на нищенскую немецкую сухость с гордостью аристократа. Его произведения, или, говоря полицейским языком, подстрекательские сочинения, читаются как романы! Здесь, во Франции, они ходят по рукам, люди развлекаются, читая их, и никто не замечает, что, когда переворачиваешь страницы, выпадают зубы дракона, которые в один прекрасный день дадут пышные всходы и благословенный урожай.

Эти последние слова Гейне произнес со своей характерной улыбкой. Однако это была не та улыбка, что освещала его красивое мальчишеское лицо, когда он был среди добрых друзей или делился какой-нибудь остроумной находкой. Это была его разрушительная улыбка, та самая, что облекалась в слова «Зимней сказки», что господствовала в «Атта Тролле» и в его политических стихотворениях. <...>

Неподалеку от Гейне, моим соседом по отелю «Виолет», проживал немецкий эмигрант Венедей. Он изредка навещал Гейне, уже много лет его знал, но отношения между ними оставались весьма прохладными. Венедей с превеликим сомнением относился к поэзии Гейне и к его характеру, а Гейне, подсмеиваясь над его замашками старого бурша, не умел разглядеть благородное сердце, достойный характер и честную натуру, — так смешны казались ему слабости Венедее, упорно напоминавшие о его прежних однокашниках по студенческой скамье.

Всего смешней казалась Гейне его слабость, робость, раздвоенность души, исполненной преданности и почитания, — и это у человека, который от Германии и от ее князей не видел ничего, кроме зла.

Венедей, старинный друг Бёрне, более того — друг Буонарроти и Шарля Теста, деятелей «Молодой Европы», содрогнулся бы при виде любой капли крови, пролитой во славу его убеждений; он часто повторял,

что «поднявший меч от меча и погибнет». Человек из народа может лишь протестовать, высказывать свое мнение и страдать во имя его. <...>

То было время, когда Лола Монтез занимала своими похождениями все страницы мюнхенских газет, Венедей был вне себя от негодования. В милостях, которыми осыпал красивую испанку король Людвиг, Венедей усматривал поношение немецкого духа и опасался, как бы новая мадам Помпадур не возымела чрезмерного влияния на немецких мужей и немецкие обстоятельства. Гейне, напротив, от души этим забавлялся, более того, мне кажется, его даже радовала та власть, которую забрала красивая плясунья над родиной Гёрреса и Дёллингера, в граде *Monacho Monachorum*. Он провидел предстоящую схватку между балетными пачками и клубуком и даже вынашивал мысль изложить всю эту историю в комической поэме, наподобие «Атты Тролля».

В эти дни Венедей отправил в адрес аугсбургской «Всеобщей газеты» множество негодующих писем, и поскольку газета не уделила им места на своих страницах, он составил из них брошюрку и издал ее за собственный счет.

— Вы читали новую брошюру Венедей? — спросил я Гейне как-то поутру.

— Какую брошюру?

— Против Лолы Монтез: испанская танцовщица и немецкая свобода.

— Нет, милый друг, — отвечал поэт, — я способен читать лишь крупные произведения нашего приятеля. В трех, четырех, а то и пяти томах — это как раз то, что мне надо.

— Вы шутите, и, уж верно, за вашей шуткой что-нибудь кроется.

— Видите ли, — отвечал Гейне, — вода в большом объеме, к примеру, озеро, море, океан, — это превосходно, но воду в кофейной ложечке я не переношу.

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

1839—1847 (?)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1883)

Все немецкие литераторы, все политические поэты Германии, приехав в Париж, первым делом принимались обхаживать Гейне и даже Матильду.

Я видел, как в этом доме один за другим перебивали Гуцков, Лаубе, Дингельштедт, вся шумная компания бунтарей из рейнских провинций, вся демократическая свита Бёрне, в том числе корреспонденты немецких газет Венедей, Зойферт, Дюсберг, Виль, Калиш, а позднее поэты Гервег, Мейснер, Фрейлиграт, философ Арнольд Руге, затем Карл Маркс, Морис Гесс, редакторы «Рейнской газеты» в Кельне. Карл Маркс, уже немного коммунист, и не помышлял в то время о создании Интернационала. С этими компрометирующими знакомыми Гейне обедал и ужинал, но к своим парижским друзьям их не водил — за исключением нескольких действительно талантливых литераторов. Гейне использовал этих своих приспешников как своего рода вестников его славы в Германии. Но когда немцы уезжали, он отправлялся к Готье, Руайе, Жерару <де Нервалю>, Тессье, Бюлозу, Беранже, братьям Эскюдье, с которыми был очень дружен, к Верону, Берлиозу, Дюма, к некоторым знаменитым женщинам того времени. Он никогда не бывал ни у Гюго, ни у Ламартина, а его дружеские отношения с княгиней Бельджейозо начались еще до 1837 года.

ЖЕРАР ДЕ НЕРВАЛЬ

1846/1847 (?)

ПО СООБЩЕНИЮ ЭДУАРДА ШМИДТА-ВЕЙСЕНФЕЛЬЗА

(* 1857)

Он взял себе за правило помогать друзьям, попавшим в бедственное положение, и следовал ему с такой сердечностью, что даже и не думал о возврате одолженных сумм. Некий молодой живописец, Бенуа, с которым он просто-напросто познакомился в кафе, признался однажды, что не имеет средств, дабы завершить уже начатый портрет. На другой же день Гейне переслал ему триста франков с просьбой не проявлять чрезмерной поспешности в работе над портретом. Или: молодой, но уже являющий признаки изрядного таланта поэт был в отчаянии из-за предстоящей ему солдатчины, ибо, не располагая должной суммой, чтобы поставить за себя наемщика, не мог избежать сей горестной судьбы. В разговоре с Гейне Жерар поведал ему о горе молодого человека, им обоим знакомого, Гейне тотчас вызвал беднягу к себе, уселся с ним в

фиакр и представил его одному парижскому банкиру, каковой, по изложению всех обстоятельств дела, охотно ссудил молодого человека тысячей франков, чтобы тот мог подыскать себе заместителя.

ЛЮДМИЛА АССИНГ

Март — апрель 1847

ИЗ ПИСЬМА К.-А. ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

Делиц, 19 июля 1847

О Гейне он <Лаубе> сообщил, что врачи ему сказали: при самых благоприятных обстоятельствах Гейне сможет прожить еще только два года, несмотря на это, он по-прежнему доволен жизнью и восхваляет свою жену, которая ухаживает за ним с величайшей заботливостью. «Десять лет счастливого брака! — воскликнул он однажды. — Какой немецкий поэт, кроме меня, может этим похвастать!» В этом убеждении, сказал Лаубе, поколебать его невозможно, — про любого другого, кого Лаубе ему называл, Гейне говорил, что тот вовсе и не поэт.

МОРИЦ КАРЬЕР

Первая пол. апреля 1847

ИЗ ПИСЬМА К.-А. ВАРНХАГЕНУ ФОН ЭНЗЕ

20 апр. 1847

В первые погожие дни я прибыл в Париж. <...> Грюн вскоре ознакомил меня с положением дел. <...>

Только Жорж Санд от меня ускользнула; бестактности Гуцкова и Лаубе привели ее в оторопь, так что ни Гейне, ни Бакунину больше не разрешается приводить к ней друзей. <...>

Гейне очень болен, его конституция, говорит он, еще хуже, чем прусская; Лаубе, которого я, против ожидания, нашел живым, нанес ему прощальный визит. <...> Автографы Ваш друг Корейф два раза посылал Вам непосредственно, я прилагаю несколько гейневских и своих.

ЭДУАРД ШМИДТ-ВЕЙСЕНФЕЛЬЗ

1847/1848?

ПО СООБЩЕНИЯМ ЖЕРАРА ДЕ НЕРВАЛЯ

(* 1857)

У Генриха Гейне, еще в те времена, когда он был здоров, возник замысел стяжать себе, помимо славы лирического поэта, также и лавры драматурга. Эта честолюбивая мысль, как сказал Жерар де Нерваль, мучила его до тех пор, пока он наконец не передал своему другу рукопись комедии, чтобы тот перевел отдельные ее сцены, написанные Гейне по-немецки. Через несколько дней Жерар отдал ему исполненную работу.

Когда он месяца два спустя встретил поэта, то спросил у него, принята ли его комедия. Гейне недовольно покачал головой и сказал, что он слишком боится вводить кулисы в искушение. Известно, что никто не относился к своей славе более ревниво, чем Гейне; мысль о том, что какое-то его поэтическое произведение может не иметь успеха и что он услышит суждение о своей работе непосредственно от публики, приводила его в трепет.

Жерар предложил ему анонимно послать комедию Арсену Уссэ. Тогда Гейне вновь дал Жерару свою пьесу и поручил передать ее дирекции «Одеона» или Французского театра.

Прошло несколько недель, прежде чем Гейне нанес визит другу. Первым его вопросом было: получил ли тот уже ответ относительно его комедии?

Жерар молча вернул автору рукопись и сообщил о решении Арсена Уссэ, который отказался принять предложенную пьесу.

Гейне был этим так раздосадован, что, не медля ни секунды, швырнул тетрадь в камин.

— Боже мой, что вы делаете? — воскликнул пораженный Жерар.

— Пусть ее горит, — отвечал Гейне, — я бы только злился, если бы мне пришлось опять глядеть на это сочинение. Честно говоря, так оно и лучше, я не хотел бы еще играть комедию с самим собой.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1883)

Генрих Гейне не знал французской грамматики. Он не умел правильно употреблять сослагательное и изъявительное наклонения, а глаголы в прошедшем времени сочетать с существительным в роде и числе. <...> Насколько мне известно, он отдавал свои сочинения на перевод некоему г-ну Вольфу, бедному малому, полуэльзасцу-полуовернцу; когда же писал что-нибудь по-французски, то давал это переписывать сперва Жерару де Нервалю, одному из самых блестящих авторов того времени, потом некоему литератору, работавшему у Бюлоза. Но если Гейне и не был силен в грамматике, язык он умел чувствовать гораздо лучше, чем его переводчики. Он перечитывал каждую фразу и всякий раз, когда какое-нибудь слово было не к месту, указывал на это, говоря:

— Это слово тут не подходит, а мысль выражена нечетко, — и ему требовалось совсем немного времени, чтобы найти нужное слово и нужный ритм.

Меня он часто спрашивал:

— Вы знаете французский язык?

— Нет, разумеется, — отвечал я. — И потом, кроме Гюго, его вообще никто не знает. <...>

— Вы смогли бы перевести мои *Lieder*¹? Мне сказали, что их вообще невозможно переводить.

— Так говорят бездарные педанты. <...> Ваши *Lieder* можно перевести прекрасно. Но для этого нужно не только совершенное знание обоих языков, как если бы каждый из них был родным, — это меня не смутило бы, — для этого нужно еще быть таким же поэтом, как вы, и тут я должен отступить. Все же, если б голова моя не была вечно забита каким-нибудь собственным несуразным сочинением, я бы решился вас переводить, но с условием, что вы непременно просмотрите мои переводы; да хотя бы затем, чтобы ознакомить с вашей поэзией вашу жену, которая не раз спрашивала меня: «Правда ли, что это так замечательно?»

— Вот как? Она вас об этом спрашивала? Дело в том, что она знает по-немецки только слова: «*Ich bin eine wilde Katze*»² <...>.

¹ Песни (нем.).

² «Я дикая кошка» (нем.).

И поскольку Гейне написал прекрасное предисловие к немецкому изданию моих сельских романов, в котором объявил меня первооткрывателем этого жанра, задолго до Ауэрбаха и Жорж Санд, пожурив, правда, за социалистические тенденции, то однажды, весело пообедав у них, я пообещал Матильде перевести на пробу какое-нибудь коротенькое стихотворение Гейне. Назавтра я прочел им следующее: <следует перевод стихотворения: «Не страшись, души отрада...»>

Матильда была в восторге.

— Почему ты не поручишь крошке Вейлю перевести твои стихи? — спросила она мужа.

— Во-первых, — отвечал Гейне, — потому что он не захочет за это браться. Его лучшая поэма — это его женитьба. Вдобавок, — иронически заметил он, — у него нет особой тяги к чему-то одному, он занимается всем понемногу.

— Скажите лучше, — перебил я его, — что я не считаю себя достаточно даровитым поэтом. Шиллер мог перевести шекспировского «Макбета», а Гете — расиновскую «Федру», но ведь каждому из них было бы по силам, в крайнем случае, написать и оригинал.

— То были их юношеские опыты, — ответил Гейне. — У меня они тоже есть. Ладно, если крошка Вейль желает за это взяться, я от всей души помогу ему. Я помогал и Жерару; но он слишком сильно тяготееет к классицизму и нетверд в немецком языке.

Как знать? В моих бумагах должны были сохраниться и другие опыты переводов из Гейне. Наверное, я продолжил бы это занятие, если бы Матильда не пооссорила меня со своим мужем. <...>

Много лет подряд он проводил зиму в Париже, а лето в Монморанси с Теофилом Готье и Альфонсом Руайе, которые, как и он, жили в любви и согласии каждый с избранной им красоткой. Никогда на свете не бывало еще трех таких прелестных созданий, как эти три возлюбленные литераторов, тративших от шести до десяти тысяч франков в год и вечно сидевших без гроша в кармане. <...> Как чудно, как весело обедали они в «Кафе Монмартр»! Тогда была в большой моде котлета по-провансальски — ведь в кулинарии, как и во всем, тоже существует своя мода. <...> Брели две дюжины устриц, запивали сотерном, это было недорого, бутылка сотерна стоила три франка, а дюжина устриц — шестьдесят сантимов; котлету по-провансальски, сильно приправленную чесноком, моро-

женое с меренгами, сыр бри — и это было всё! Но зато сколько веселья, задора! Один или два раза в этих обедах принял участие Бальзак, отвеживавший ту же неприменную котлету по-провансальски, рецепт которой утерян теперешними ресторанами, как и рецепт камбалы под винным соусом, любимого блюда Гейне и Готье. Когда бывало очень жарко, пили прохладительный напиток из пива со льдом, лимонного сока, большого количества сахара и апельсинов. Это замечательно вкусно! <...>

Март 1848 (февр. 1849)

Ненависть, которую семейство Гейне питало к этой, разделяли и самые дальние родственники: в 1848 году я имел случай в этом убедиться. В то время Гейне, глубоко огорченный тем, что выплата ему жалованья из секретных фондов стала достоянием гласности, удалился, как я уже говорил, в частную лечебницу на улице Лурсин. Никто, кроме меня, не знал об этом его убежище на окраине Парижа, и никто, разумеется, не вздумал бы его там искать. Гейне крайне нуждался в деньгах и был уже очень болен, хотя ноги еще служили ему. Он попросил меня зайти к братьям Фульдам, состоявшим в родстве с семейством Гейне-Фуртадо, но не говорить им, что я пришел по его поручению. Незадолго перед этим я имел шумный успех после публикации в «Пресс» моего письма под названием «Вопрос жизни и смерти» — это был протест против системы террора, объявленной Ледрю-Ролленом в «Циркулярном письме», которое составила Жорж Санд. И вот я пришел в контору г-на Бенуа Фульда, где находился также и его брат, будущий министр Второй империи, тот самый, кто в 1848 году посоветовал объявить национальное банкротство. Едва только я объяснил цель моего прихода и рассказал о болезни и бедственном положении великого поэта, как Бенуа тут же проводил меня к выходу со словами: «Если вам самому, г-н Вейль, что-нибудь понадобится, буду счастлив оказать вам услугу; что же касается этого проходимца, этого негодяя Гейне, то прошу вас никогда не произносить его имени в моем доме! Если когда-нибудь он явится сюда, его вышвырнут вон, как последнюю собаку!» Я не решился передать этот ответ Гейне. Однако я сказал ему, что дело не удалось и Фульды — его смертельные враги. <...>

От Фульдов я пошел к Мейерберу, чтобы погово-

рять с ним о бедах и затруднениях нашего общего друга.

— Как! — воскликнул Мейербер. — Гейне, величайший лирический поэт Германии, в таком ужасном положении! Вы знаете, или нет, вы не знаете, ведь я с ним поссорился, он дурно обошелся со мной; но вот вам тысячефранковый билет, отнесите ему, а завтра зайдите за мной, я сам навещу его в этой лечебнице.

Я отнес билет по назначению, а на следующий день отвел великого музыканта к великому поэту на улицу Лурсин и сам остался в фиакре, чтобы не присутствовать при их свидании. Каково же было мое изумление и возмущение, когда полгода спустя я узнал, что Гейне только что опубликовал некие стихи <...> против Мейербера! Первым мне сообщил это сам Мейербер, скорее ошеломленный, чем расстроенный. «На случай, если б я пожелал отомстить, — сказал он мне, — у меня имеются его письма, показывающие его в очень невыгодном свете, но моя мать так его любила. Все же передайте ему, что слишком натянутая струна в конце концов может лопнуть!» Сначала, вспомнив слова Гейне о Гизо после получения от него трех тысяч франков, я подумал: он сделал это, чтобы не подумали, будто его можно купить за тысячефранковый билет. Но как же так? Разве постыдно воздать хвалу величайшему из композиторов, и разве не подло — нападать на него по пустякам без всякого повода и смысла, чтобы доставить удовольствие кучке брюзгливых завистников?

— Ах! — воскликнул я, входя к нему. — Теперь я понимаю, почему Фульды выставили меня за дверь!

— Вот еще! — сказал он, приподымаясь на своем ложе страданий. — Я попросил у него два билета в Оперу для Матильды и ее подруги, обычно я никогда их у него не прошу. А он имел наглость или низость прислать мне два скверных билета в третий ярус!

— Вы же знаете, — возразил я, — у него нет билетов. Дирекция ему их почти не дает!

— Пускай тогда купит их сам на свои миллионы!

Тут явилась Матильда, как всегда, улыбаясь своим белозубым ртом, явно довольная мезью мужа, и стала рассказывать о каких-то обидах десятилетней давности, одна пустячнее другой. На самом деле она имела зуб против Мейербера за то, что он никогда не приглашал ее к себе и ни разу не побывал у нее в доме.

— Но, черт возьми, он же совсем недавно дал вам тысячу франков! — не выдержал я.

— Я ему их верну! — воскликнул Гейне.

— Вы? Никогда! Вы оба негодяи!

— Послушайте, — сказал наконец Гейне. — Все это не стоит выеденного яйца.

Он прочел мне эти стихи, они показались мне очень оригинальными и совсем не такими злыми, как я думал, и я не мог удержаться от смеха. Я остался у них обедать, а перед уходом сказал: «Мы все негодяи!»

ДЖАКОМО МЕЙЕРБЕР

Лето 1847

ПИСЬМО АЛЕКСАНДРУ ГУЭНУ

Франценсбад, 13 авг. 1847

Вы писали мне, дорогой друг, что Гейне в Монморанси и Вы постараетесь с ним там повидаться. Этим Вы бы оказали мне огромную, неоценимую услугу, так как он стал для меня ожесточенным, опаснейшим врагом. Чем быстрее Вы сможете это сделать, тем больше Вы меня обяжете. В крайнем случае капитулируйте. Вы знаете, что единственная обида, на которую он, по его словам, может жаловаться, заключается в том, что я не написал его кузену Карлу Гейне и не выразил своего мнения по вопросу о пенсии, из-за которого они тогда были на ножах (теперь они помирились). Но я не просто *написал г-ну Карлу Гейне в июне 1846 года*, я написал о Генрихе Гейне так, как если бы это был мой родной брат, был даже возмущен ответом г-на Карла Гейне от июня 1846 года, где он говорит о Генрихе Гейне как о последнем из людей. Посылаю Вам это письмо, из которого явствует, что я написал свое. Но только, ради бога, ни в коем случае не показывайте его Гейне, а то он окончательно рассорится со своим кузеном, и все будут упрекать меня в том, что я внес раздор в семью, тем более что Гейне сейчас болен. Если понадобится, прочтите его г-ну Брандусу, скромному и честному человеку, чтобы он смог потом в общих чертах засвидетельствовать перед Гейне, что письмо, как следует из ответа, было послано и написано с самыми лучшими намерениями. Если же Вы сможете помирить нас и не давая Брандусу письма, то это будет еще в сто раз лучше. Как бы то ни было, не выпускайте из рук письмо г-на Карла Гейне, бережно храните его; оно может когда-нибудь понадобиться для моего оправдания.

До свидания, дорогой друг.

Сожгите это письмо.

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1884)

Когда в ту пору ему задавали вопрос, что он сейчас пишет, ответ гласил: свои «Мемуары». Но он не имел привычки зачитывать отрывки из прозаических сочинений, над которыми работает, или каким-нибудь другим образом знакомить с ними людей. Едва к нему входил посетитель, он тотчас захлопывал свой бювар. Мне и в дальнейшем ни разу не довелось узнать, какой частью своего сочинения он сейчас занят.

Лето 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(*1856)

Когда наступил май, Гейне покинул свою квартиру на улице Пуассоньер и переехал в загородный дом в Монморанси. Узкие улочки, грохот экипажей, людская сутолока стали невыносимы для его предельно обнаженных нервов, ему нужны были свежий воздух, покой и тишина. Госпожа Матильда нашла в Шатеньерэ красивый дом с тенистым садом, и они быстро туда переехали. <...>

Почти каждое воскресенье омнибус, следовавший из Энгийена в Монморанси, должен был останавливаться возле дома в Шатеньерэ и высаживать там множество гостей. Александр Вейль, Генрих Зойферт из «Аугсбургской всеобщей газеты», Альфонс Руайе и его жена были частыми посетителями этого дома. Мы находили Гейне лежащим среди зелени, с папкой и карандашом в руке, занятым сочинением стихов или набросками. Попугай госпожи Матильды не был позабыт в городе, его клетка стояла на подоконнике, и, как только у садовой калитки раздавался звонок, он приветствовал входящих громким «Bonjour!»¹. Большая комната в первом этаже использовалась как столовая, нарядно накрытый стол был всегда украшен огромным букетом цветов, возле каждого прибора стоял небольшой арсенал бокалов — для мадеры, медака и сотерна, и узкий фужер для шампанского возвышался над

¹ Здравствуйте! (фр.)

собратьями. Какой это был праздник—садиться за стол в прохладном, укрытом зеленью загородном доме, среди благоуханья цветущих акаций, против французенок с красивыми глазами и в обществе Гейне! <...>

1847

ИЗ ДОПОЛНЕНИЙ К ВОСПОМИНАНИЯМ

(* 1881/1884)

Немало говорилось о том, что Гейне жил весьма открыто, много вращался в высокопоставленных парижских кругах, поддерживал многообразные связи с избранными представителями французской прессы. Так было, вероятно, в минувшие добрые времена; теперь ничего подобного сказать нельзя, он живет очень уединенно. С немецкими семьями он вообще не поддерживает отношений, надо полагать потому, что не может водить туда свою жену, с французскими—и того меньше. Он, правда, имел знакомства среди французских писателей, но отношения эти не носили живого характера, он ни с кем из писателей не встречался регулярно. А некоторые во все времена были ему крайне далеки: Виктор Гюго на своих ходулях, Ламартин на своем облачном троне, пропахшем ладаном. В свое время он был дружен с Жорж Санд, теперь же писательница вместе с Шопеном проживала под сенью акаций в Кур д'Орлеан, и он не видел ее много лет. Наряду с этой гениальной женщиной более других его занимал Бальзак; он часто вспоминал об их совместных прогулках в Тюильри, где Бальзак пользовался любым сколько-нибудь примечательным явлением, чтобы блеснуть редкостными познаниями в естественной истории сословий. Былые отношения с Леоном Гозланом и Жюлем Жаненом тоже сошли на нет. Изрядные расстояния, серьезность литературных занятий и, наконец, жизнь такого города, как Париж с его тысячей всевозможных отвлечений, имела неизбежным следствием, что даже люди, которые весьма друг к другу тяготели, подолгу не встречались и, наконец, вообще теряли друг друга из виду. А главное, и сам больной—человек лишь наполовину. Все, казалось, о нем позабыли. Лишь бедный Жерар де Нерваль, живо интересовавшийся духовной жизнью Германии, часто к нему навевывался.

Таким образом, круг общения Гейне составляли теперь простые смертные, те, кто не претендует на лавровые венки и посмертную славу. Под конец он

ограничился немецкими литераторами, которые приезжали в Париж как корреспонденты. Среди них первое место занимал доктор Генрих Зойферт, он единственный достиг с Гейне духовной близости. Гейне искал его общества и высказывал неудовольствие, когда тот долго не давал о себе знать. Зойферт вместе с неким господином Тесье де Моло <дю Мотей!> был у Гейне секундантом, когда тот дрался с господином Штраусом.

Все немецкие корреспонденты, находившиеся тогда в Париже, собирались между тремя и пятью часами в одном из самых больших залов для чтения. Зал этот, называемый «Сёркль Валуа», помещался в Пале-Рояле, то есть был расположен в удобном месте, в самом центре. На большом столе посреди зала было разложено около пятидесяти газет, французских и зарубежных; стол не забыли снабдить чернильницами и перьями; господа читали, писали свои сообщения и затем собственноручно относили их на расположенную неподалеку почту Биржи.

В этом заведении Гейне появлялся чаще всего в те дни, когда приходили еженедельники, то есть весьма регулярно, а поскольку он был отнюдь не равнодушен к хвале и хуле, то рылся в этих газетах в поисках своего имени. То, что он читал о себе и своих писаниях, редко бывало отрадным. Сравнительно с прежним пробилось сильное противоборствующее направление; в то время утверждали, будто Гейне исписался, его талант оскудел и клонится к упадку. Его эти высказывания в прессе очень расстраивали.

<Дополнение 1884 года>

Особенно вцепились в него несколько мелких немецких репортеров в Париже. Некто из них, когда Гейне лечился на водах в Баньере <Бареж!>, сообщил в немецкой «Всеобщей газете», что Гейне помещен в один из парижских сумасшедших домов. Затем тот же корреспондент объявил, что Гейне умер.

— Меня злит одно, — сказал Гейне, — что для главного редактора господина профессора Бюлоза моя жизнь стоит так мало, что о моей смерти не стоит даже упоминать на первой странице, в перечне содержания. «Прусская всеобщая газета» — и та поступила лучше, хоть она меня и не жалуется. Она пожертвовала мне, бедному грешнику, крест. Гейне — крест!

— Однако вы живы, и это главное.

— Да, я жив и чувствую, как меня жалят, — с горечью заметил Гейне. — Плохо то, что от этих вредных насекомых нельзя обороняться и наказать их тоже нельзя. Чем эта пакость мельче, тем труднее к ней подступиться. Вот ведь что: блоху не заклеямишь! Французы, — продолжал он, утешая себя, — обращаются со мной иначе. Бальзак посвятил мне свою последнюю новеллу. В посвящении он называет меня достойнейшим представителем французского духа в Германии и немецкой поэзии во Франции. Теофиль Готье отпускает мне в предисловии к своей «Виллис» самые лестные комплименты. Зато в дорогой отчизне... Но молчу!»

В «Сёркль Валуа» я понемногу познакомился со всеми корреспондентами «Аугсбургской всеобщей газеты», лишь одного из них, барона Фердинанда фон Экштейна, я никогда не видел в глаза. Это был крещеный еврей, возведенный в дворянство, который, как говорили, изучал санскрит и другие индийские языки и время от времени посылал в газету весьма отдаленно связанные с событиями размышления, что-то вроде «парабасы», написанные в крайне причудливом апокалипсическом стиле. В каждой из этих статей шла речь об индийском Тримурти, о тайне святой Троицы и о великом Фоме Аквинском; в каждой он с ожесточением ополчался против тех, кого называл «гегелингами».

— Хотите видеть Экштейна? Увидеть его вы не можете, — воскликнул Гейне, когда я однажды спросил, почему этого барона никогда не видно. — Экштейн мертв, он умер уже много лет тому назад...

— Но я же недавно снова видел во «Всеобщей газете» его статью из Парижа, — возразил я. — Ее мог написать только он, и никто другой. Там говорилось о Будде, Шиве и многих других индийских божествах, так чтобы в конце можно было перейти к профессору Мишле и Гегелю.

— Но ведь Экштейн мертв, — повторил Гейне тем тоном искренней печали, по которому мы всегда догадывались, что за ним скрыта насмешка. — Бедняга Экштейн совершенно мертв. Однако в наследство нам он оставил рецепт, хранящийся в редакционной аптеке. По этому рецепту время от времени готовят микстуру — что-то вроде терьяка, весьма сложную. Она полностью вошла в аугсбургскую фармакопею и оправдала себя, как сильнейшее потогонное...

Эта острота, как и большинство его острот, доставила самому Гейне немалое удовольствие. Чтобы услышать, как он смеется, мы часто потом спрашивали его, правда ли, что барон Экштейн умер, и всегда получали тот же ответ, иногда с прибавлением некоторых красочных подробностей. Естественно, что подобные шутки передавались дальше и в конце концов достигали слуха тех, кого они затрагивали. Следствием были злоба, вражда, устные и печатные глупейшие утверждения. У Гейне накопилось уже достаточно опыта такого рода, однако это не могло отучить его от его привычек. Когда его охватывал позыв к остроте, он не мог его в себе подавить.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

(1845—) 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

Первые признаки надвигающейся болезни появились у Гейне за два или три года до того, как его полностью разбил паралич; он говорил шутя о своем недуге, как же нам было принять его всерьез?

— Я теряю зрение, — говорил он, — и, словно соловей, стану от этого петь только лучше.

В другой раз, среди разговора, пересыпанного бесконечными остротами, он сообщил, что его лицевые мускулы с правой стороны стали работать вяло.

— Увы! — говорил он. — Теперь я могу жевать только одной стороной, плакать только одним глазом! Теперь я только половина мужчины. Я могу выражать любовь, могу нравиться одной только левой стороной. О женщины! Неужели отныне я буду иметь право лишь на половину сердца?

Все это преподносилось трагикомическим тоном, и нам, светским людям, позволяло думать, что это просто тема для прихотливой игры поэтической фантазии. Но время шло, и вскоре пришлось убедиться, что веко на правом глазу опускается все ниже и ниже, а вся половина лица стала неподвижной, представляя собой странный контраст с оживленным выражением левой стороны. Казалось, в его лице отражается его раздвоенный ум, находящийся под противоположными влияниями поэзии и прозы. Так оно и было, и беседы с Гейне все время это подтверждали. Помню, как однажды, вдохновленный, вероятно, присутствием Малитур-

на, литератора и мыслителя, он принялся рассуждать на свои обычные темы, расцвечивая их множеством поэтических образов; мы слушали с живейшим интересом, и вдруг, без всякого перехода, он стал принижать себя гротескными сравнениями.

— Ну можно ли так? Создавать феерии, чтобы тут же их разрушить, опошлить? — возмутилась я.

— Дорогой друг, мой образ — это кислая капуста, политая амброзией!

Этот выпад против самого себя сопровождался громким смехом, к которому охотно присоединился и Малитурн.

— Что же! — сказала я. — Если с поэтом у меня натянутые отношения, то с человеком дело обстоит совсем иначе, и я прошу его сговориться с г-ном Малитурном, чтобы нам всем вместе собраться за столом и отведать замечательной кислой капусты.

— Ох, ох, мое здоровье! — простонал Гейне. — Делать визиты, одеваться — сейчас это мне не по силам.

— Приезжайте в халате!

— Нет, сударыня, вы никогда не увидите меня вырядившимся наподобие армянина, подобно Жан-Жаку Руссо, чтобы привлечь к себе внимание!

При этих словах Малитурн багровеет, рывком, словно подброшенный пружиной, вскакивает со стула и пронзительным голосом произносит:

— Сударь, только люди, страдающие тем же недугом, что Жан-Жак, имеют право судить о его поведении. Скажу больше: только люди, страдающие этим недугом, достойны читать «Исповедь»!

После чего, необычайно взволнованный, он садится на место.

Во время этой странной выходки Гейне соорудил презабавную физиономию: углы рта опущены, нос задран кверху, взгляд полускрыт синеватыми стеклами очков!

Затем он, в свою очередь, встал.

— Я воспользуюсь этой точкой зрения, — сказал он, прощаясь с нами. — Когда я приеду в Монморанси, то оставлю в «Эрмитаже» свою визитную карточку.

Спустя несколько лет смерть Малитурна стала объяснением этой странной истории. Он действительно был болен той же болезнью, что и Руссо, и жестокие страдания довели его до такой степени умственного расстройства и до таких нелепых причуд, что он должен был окончить жизнь в доме умалишенных.

Гейне я увидел снова полтора года спустя, приблизительно 20 сентября 1847 года. Я приехал в Париж вместе с женой, чтобы ехать дальше, в Италию, и вскоре после прибытия мы нанесли визит Гейне. Мне очень хотелось его навестить, тем более когда я узнал, что за это время состояние его сильно ухудшилось. Мы застали его в прежнем доме все на той же улице Фобур Пуассоньер, во втором или в третьем этаже, в очень светлой, приветливой и просторной квартире— знаменитая «матрачная могила» представляла собой бесконечную, большую и красивую комнату, где на одной стене висел портрет видной дамы во весь рост, в золоченой раме, но все свидетельствовало о еще не законченном устройстве, так как Гейне только что вернулся с дачи, кажется из Монморанси, и жаловался на воды Барежа, которые он прописал себе сам и которые оказали на него слишком сильное действие. Сам я нашел его очень изменившимся. Он лежал парализованный в своей кровати, откуда, с трудом приподнявшись, протянул нам руку. Прежний здоровый румянец сошел с его лица, уступив место прозрачной восковой бледности, все черты утончились, они были просветленными, одухотворенными; лицо, обращенное к нам, было бесконечно прекрасно, поистине лик Христа. Потрясенный этой удивительной переменой и столь же испуганный, я подумал, что в том состоянии, в каком он предстал перед нами, ему не прожить и шести недель. А он все-таки прожил еще восемь лет! И духовно он остался почти тем же, что и прежде, таким же живым, таким же разговорчивым, таким же экспансивным. Молодого немецкого врача, которого мы у него застали, он послал к своей жене, чтобы позвать ее к нам, между тем Гейне указал на портрет и с некоторой гордостью сказал, что на нем изображена его жена. Потом он говорил с нами о своей болезни, о своем домашнем устройстве, о своих квартирных мытарствах в Париже...

Появилась госпожа Матильда, и разговор пришлось продолжать по-французски, так как госпожа Гейне не понимала ни слова по-немецки. Нельзя сказать, чтобы она производила невыгодное впечатление, в ее существовании была какая-то необыкновенная непосредствен-

ность, казалось, в ней скрыто что-то грубоватое, но честное, что-то от добропорядочной простолюдинки, — женщина, с которой, впрочем, в присутствии знаменитого поэта, чьей спутницей жизни она была, вовсе не происходило того, что французы называют *s'effacer*¹, — для портрета той *femme*², которую рисует Мишле, она вряд ли могла служить моделью. Гейне обходился с нею очень почтительно, однако моей жене он полусерьезно, полупутя пожаловался, что его завзятая парижанка не желает пойти навстречу его немецкому желанию съесть свой обед в полдень; она же горячо доказывала, что в Париже невозможно жить иначе, чем живут все остальные, и в то время, как моя жена, в чьем многоязычном лексиконе слово «невозможно» большой роли не играло, спорила с ней по этому поводу, убеждая исполнить это желание ее большого мужа, Гейне снова заговорил со мной по-немецки о немецких делах. К сожалению, я не могу изложить его высказывания ни в тот день, ни во время моих последующих визитов, — я не делал тогда дневниковых записей, как в первый раз. Помню только, что наконец попрощался с ним, очень взволнованный и убежденный в том, что больше его не увижу, и что он попросил меня передать привет прекрасной Лукке — странным образом вся прелесть и все очарование Италии для него венчала Лукка.

ВОЛЬФГАНГ МЮЛЛЕР ФОН КЁНИГСВИНТЕР

Ноябрь 1847

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* авг. 1859)

В ноябре 1847 года я опять съездил в Париж. Само собой разумеется, что я предполагал посетить автора «Книги песен», о состоянии здоровья которого в Германию приходили такие печальные вести. И вот мы с Якобом Венедеем отправились на улицу Амстердам <!>. Мой друг уже по дороге рассказал мне о страшных переменах, которые я найду у Гейне. Когда было доложено о нашем приходе, нас сразу же впустили. В каком безутешном положении оказался поэт за те пять лет, что я его не видел! Бедняга лежал на диване.

¹ Стушевываться (*фр.*).

² Жены (*фр.*).

Здоровая полнота уступила место ужасающей худобе, щеки были впалые, руки и ноги высохли, более того, они даже отказывались ему служить. У него образовался паралич, который день ото дня усиливался и особенно сковывал ему нижние конечности. Но что было еще печальнее—он потерял власть над своими веками, нервы одного глаза были совсем парализованы, а у другого сохранились еле-еле. Так что лицо его, не утратившее, впрочем, способности зрения, покоилось под печальным покровом. Если он хотел видеть лучшим глазом, он принужден был откидывать голову назад, чтобы зрачок оказался против еще не сомкнувшейся щелки; если же хотел разглядеть кого-то худшим глазом, то принужден был приподнимать веко рукой. Мне представилось безутешное зрелище человеческой брэнности. Но, несмотря на все это, его черты и выражение лица стали значительно благороднее. Казалось, будто только теперь в его облике проступила душа. Как тонко и резко были выточены все черты!

Красивая холеная бородка «а-ля Генрих IV» еще усиливала это впечатление. Его смертельно больное лицо чем-то походило на те головы, что мы видим на красивых резных камнях. В целом он выглядел как очень грустная элегия.

Но и дух его звучал ныне преимущественно элегически, лишь изредка, со смешком, в элегию вторгался какой-нибудь шуточный оборот. Это происходило оттого, что за последние дни в комнату больного проникали одни лишь печальные известия, безжалостно выставив перед его душой картину смерти. 4-го ноября в Лейпциге умер Феликс Мендельсон-Бартольди, одаривший так много прелестных песен Гейне чудесными мелодиями. Насколько я помню, в тот же день пришло сообщение о смерти знаменитого врача Диффенбаха.

Гейне был дружен с обоими. Особенно оплакивал он нашего знаменитого хирурга, что же касается Мендельсона, то в его музыкальном направлении, восходившем к прошлому, он многого не одобрял. Мы коснулись в разговоре и некоторых других усопших, так что разговор стал поистине поминальным. Об Иммермане он отозвался на этот раз с куда большим уважением, чем пять лет тому назад, быть может по той причине, что тот уже вошел в историю. С тоскою вспомнил он те времена, когда вместе с автором «Мюнхгаузена» совершал первые набег на литературу, сильный, молодой, полный надежд, устремляясь ко всем победам, какие он преимущественно одерживал в те дни. Всплыла неожиданно и фигура Платена. Удивительный поворот! Гейне

вдруг полностью воздал должное этому благородному уму и от души пожалел о своих нападках на человека, бывшего покровителем благороднейших направлений в поэзии, чьи силы, являвшие непрерывный рост, он недостаточно высоко оценил.

Правда, позднее выяснилось, что подобное опровержение было не совсем искренним, так как в «Лазаре» вновь встречаются ядовитые пилюли против приверженцев Платена. Просто в тот момент Гейне был во власти более мягкого настроения, какое, впрочем, очень скоро вновь сменилось иронией и насмешкой, когда он перешел в разговоре к «Мемуарам», которые намерен теперь написать. Об этих «Мемуарах» ходило много разговоров, потому что поэт, как я могу засвидетельствовать, много говорил о них сам. Казалось, будто этими разговорами он хочет припугнуть своих врагов. Он сказал, что по утрам часто над ними работает, ради этой цели в последнее время просмотрел свою корреспонденцию и нашел документы, которые, если он их опубликует, не одного ныне процветающего чиновника выставят государственным изменником.

Несчастный больной человек! Он вообще видел излишне много враждебных призраков, коих вовсе не существовало, — возможно, по той причине, что слишком любил канкан и потому водился со всякими людьми, от которых ему лучше было бы держаться подальше. Ведь тем же аршином, каким он привык мерить этих людей, он стал мерить и весь остальной мир. Наконец мы попрощались. Он поднялся с одра болезни и беспомощно старался топнуть ногой, как будто хотел стряхнуть с себя свою хворь. Ах, он все еще продолжал тосковать по вольной веселой жизни! Однако ноги у него тряслись, он едва мог на них устоять, хворь почти одолела его. Когда я протянул ему руку и горячо пожелал выздоровления, он заверил меня, что давно уже перестал обманываться и чувствует, что с каждым днем все больше угасает.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

ИЗ ДНЕВНИКА

(* 1879)

26 ноября 1847

Генрих Гейне вышел повидать меня... Повидать? Увы! Его бедные парализованные веки почти полностью закрывают глаза. Очевидно, болезнь развивается.

В его бедном теле уцелело лишь дыхание, но ум сохраняет всю свою мощь.

Он рассказывал мне о своей матери, живущей в Гамбурге. Он пишет ей каждый день, чтобы успокоить ее, сколь ни мучительно это при теперешнем состоянии его зрения. Немецкие газеты сообщили о поразившем его тяжком недуге. Тогда Гейне задумал внушить своей старой матери, будто объявить его умирающим — хитроумная уловка издателя.

— При всей твердости моего характера, — добавил он, — вчера я был безмерно растроган, получив письмо от матери. Она пишет, что каждый день от всего сердца воссылает богу хвалы за то, что он сохранил здоровье ее дорогому сыну. И бог без зазрения совести принимает эти хвалы! Ах! значит, он варварский бог, вроде тех, что были у египтян. Божество Греции не стало бы так обращаться с поэтом, оно поразило бы его молнией! Но убивать так скверно, по частям...

Сколько мыслей пробудили эти слова! После них наступила долгая пауза; затем, продолжая размышлять вслух, Гейне сказал:

— Но египетский народ не знал искусств и не знал заботы о них... Если говорить искренне, я признаюсь, что при всех этих физических страданиях и одиночестве я заслуживаю меньшего сочувствия, чем многие другие. Я ощущаю не то чтобы свою значительность, а просто свою сущность и выхожу за пределы самого себя.

— Скажите, — спросила я его. — Теперь, когда разлад между материей и духом с каждым днем делается для вас все чувствительнее, во что вы склонны верить: в бессмертие или в небытие?

Гейне долго медлил с ответом, видно было, что он в сильном замешательстве. Потом, вздохнув, он сказал:

— И все же в человеке есть толика божества!

Нач. января 1848

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

В начале января 1848 года Генрих Гейне посетил меня в последний раз. От кареты до моей квартиры в третьем этаже его нес на спине слуга. После этого напряжения, едва его успели уложить на диван в гостиной, с ним сделался один из тех ужасных присту-

пов, которые преследовали его до последнего дня: судороги, начинавшиеся в мозгу и доходившие до ступней ног. От этих невыносимых мук спасал только морфий. Его использовали в виде прижиганий, которые делали больному вдоль всего позвоночника; позже я с ужасом узнала от него, что ему приходится употреблять этого успокоительного яду не менее чем на пятьсот франков в год.

Оказавшись невольным свидетелем этого приступа, содрогаясь при виде его мучений, я снова и снова говорила себе: «Ну, что за дикая мысль, что за безумие — передвигаться в таком состоянии!» Как только приступ прошел, я стала умолять, чтобы он перестал выезжать из дому, пока заботы умелого врача не улучшат его состояния.

— Моя болезнь неизлечима, — ответил он. — Скоро мне придется лечь, и больше уже я не встану. Я прибыл сюда, дорогой мой друг, чтоб вырвать у вас клятвенное обещание, что вы будете навещать меня, что вы никогда меня не покинете. Если вы не поклянетесь, я прикажу опять принести меня сюда и опять напугаю вас до смерти, как напугал только что.

Тут Генрих Гейне, снова став самим собой, принялся набрасывать жалостную и комичную картину моего затруднительного положения в случае, если бы он умер на моем диване; публика сразу же приплела бы к этому событию любовные шашни.

— Я стал бы героем очаровательного посмертного романа, — говорил он. — Бюлоз скомандовал бы одному из своих лейтенантов: «Напишите мне об этом новеллу».

Тут он остановился.

— Нет, он выбрал бы для этой цели самого капитана, чтобы оказать мне честь.

Его легкие шутки сменяли одна другую, однако он то и дело поминал обещание, которого хотел от меня добиться. Желая, чтобы он как можно скорее попал домой, я поддалась на эти шутки. Стоило мне дать пресловутое обещание — и новые острооты посыпались одна за другой. Он хвастал своим умением извлечь выгоду из мрачного события, а также тем, что установил таким образом «право умирающего» (его излюбленное выражение). И действительно, после того дня он уже не встал, а я честно исполняла обещание.

ИЗ ПИСЬМА ФРИДРИХУ ГЕББЕЛИУ

Париж, 31 янв. 1848

Не рассчитывайте на Гейне, я предпринимал бесплодные попытки и, бывши в течение двух лет его ближайшим другом, теперь, сколько могу, избегаю этой поэтической загадки. Мое суждение о нем утвердилось давно, но во мне слишком сильно эстетическое чувство для того, чтобы я отказался защищать его против тех подлецов, что на него нападают.

Гейне сам, из-за собственной слабости, нанес себе смертельный удар тем, что после смерти дяди так и не смог примириться с мыслью, что он человек небогатый. Это обстоятельство и досада на то, что пенсию от давно враждебного к нему Карла Гейне он может получать лишь при условии, что не станет публиковать ничего, касающегося семейных дел, физически парализовали его. По моему мнению, ему следовало, раз уж так получилось и он сам испортил себе отношения с дядей, сначала примириться с мыслью, что богатым человеком он не станет, затем спокойно принять завещанные ему пятнадцать тысяч франков, а пенсию от двоюродного брата на таких унижительных условиях отвергнуть. Вместо того он стал грозить судебным процессом, публикацией документов и вынудил Варнгагена и Мейербера писать Карлу письма, на которые тот очень обиделся. Поскольку в то время я был советчиком Гейне, то полагаю, что немало способствовал предотвращению этого процесса, тем паче что я предвидел, как за несколько месяцев злоба его сгложет. Поскольку же Мейербер был тем человеком, который в свое время выхлопотал ему пенсию у Соломона Гейне, то раздражение Гейне обратилось против него, когда выяснилось, что эта пенсия не обязательно должна выплачиваться пожизненно. Однако главная причина его нападок на Мейербера заключается в том, что Мейербер обещал Гейне музыку для его народных песен, которыми, как он думает, можно было бы заработать много денег, но музыка до сих пор не написана. Я видел тут письмо Карла Гейне к Мейерберу, где буквально говорится, что если Генрих когда-нибудь посмеет написать что-либо против Соломона, то он как сын такого человека публично его «высечет».

Несколько недель тому назад в аугсбургской «Все-

общей газете» была помещена статья Гейне, также под псевдонимом, начинавшаяся такими словами: «Санд, которая, как известно, в течение десяти лет жила с Шопеном, теперь с ним рассталась!» — и т. д. А ведь Гейне и Санд были прежде такими близкими друзьями

На днях Гейне, совсем больного, перевезли за город.

ФАННИ ЛЕВАЛЬД

22 марта 1848

ИЗ РАССКАЗА О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

(* 12.2.1849 — * окт. 1886)

Хорошая погода заставила себя ждать до двадцать второго марта. Между тем двадцать первого числа в парижских газетах появились первые весьма искаженные и путаные сообщения о революции в Берлине, и Гейне был глубоко ими потрясен.

Сегодня утром Гейне приходил к нам, его слуга-немец довел его до нашей комнаты. Он глубоко взволнован событиями. <Вместо этой последней фразы в редакции 1886 г.:> Пока слуга снимал с него пальто, пришлось дать ему руку, и едва он уселся, как сразу же заговорил о политических событиях. «Мне бы хотелось, — сказал он, — чтобы они произошли раньше или позже, потому что, переживая их в моем нынешнем состоянии, впору застрелиться. <Дополнение 1886 г.:> И как бы на родине меня ни ставили — высоко или низко, все же я достаточно часто звонил в колокол, чтобы пробудить их от спячки, достаточно часто напоминал им о том, что в Германии все так же прогнило, как в королевстве Датском, — а Гамлет у них на троне уже восемь лет!»

Мы говорили об «Атта Тролле», и я ему рассказала, как позабавило нас такое место:

Даже нехристям евреям
Мы дадим права гражданства...
Только танцы на базарах
Запретим еврейской расе,
Но уж этого хочу я
Ради моего искусства¹.

Он уверял, что эти слова он взял из жизни. В молодости он знал в Геттингене одного очень разум-

¹ Перевод В. Левика.

ного, вполне либерального аптекаря, который постоянно со всей серьезностью повторял, что евреи должны получить полное равноправие и возможность стать кем угодно, только не *аптекарями*.

Потом он говорил о своей жизни и назвал ее счастливой. Как это прекрасно, как редко приходится слышать такое от человека, которому причинили столько несправедливостей! «Мне так повезло, что, в сущности, я никогда не был честолюбив, это наивысшее счастье! У меня необыкновенная жена, которую я несказанно любил и в течение тринадцати лет называл моей, не зная ни минуты колебаний, ни секунды охлаждения, без ревности, при неизменном взаимопонимании и полнейшей свободе. Нас привязало друг к другу не обещание и не давление внешних обстоятельств. Теперь, бессонными ночами, я еще нередко пугаюсь этого блаженства, содрогаюсь от восторга перед такой полнотой счастья. Я часто шутил и острил по поводу таких вещей, но еще чаще серьезно раздумывал над мыслью, что никакому договору о найме любовь не удержать; для того чтобы выстоять и расцвести, ей необходима свобода».

Потом он заговорил о своей огромной, неистребимой жизнерадостности. «При моих недугах она кажется мне истине призрачной. Моя жизнерадостность похожа на призрак хорошенькой монахини в старых монастырских стенах, она еще иногда бродит в развалинах моего «я!» — «Зачем вы придумали такой жуткий образ? В вас было столько здорового язычества, что такому поэту, как вы, боги должны были бы до последнего вздоха даровать радость жизни!» — «Ах, боги! Языческие боги не причинили бы зла поэту, так поступает только наш старый Иегова! Даже губы, которые так любили петь и целовать, теперь у меня наполовину парализованы». <Дополнение 1886 г.:> «Être puni par où l'on a péché»¹, — пошутила Тереза. «И тем не менее я вас поцелую!» — отвечал он и, с трудом поднявшись, поцеловал меня, стоявшую возле его стула. — Теперь, когда мне приходится ежечасно думать о смерти, я часто по ночам веду очень серьезные беседы с Иеговой, и он мне сказал: «Можете быть кем угодно, дорогой доктор, республиканцем или социалистом, но только не атеистом».

Потом речь зашла о личных отношениях между Жорж Санд и Рашель.

<Вместо этой последней фразы в редакции 1886 г.:>

¹ Чем ты грешил, тем и наказан (*фр.*).

Тереза спросила его о Санд. «Я ее очень любил, — отвечал он, — но теперь уже бог знает сколько времени ничего о ней не слышу. С тех пор как она бросила Шопена, я больше не верю, что у нее есть сердце. Можно изменить здоровому мужчине, он в силах утешиться, но бросить умирающего недостойно! То же самое я, ей-богу, сказал и подумал бы, когда был еще в силах утешиться!» — добавил он, смеясь.

Мы сказали ему о том, какое большое впечатление на нас произвела Рашель.

«Значит, на вас тоже? Я ее не выношу! В другой раз я вам расскажу почему».

Вдруг он стал смеяться. «Все-таки я должен рассказать вам одну из самых веселых моих историй. Когда несколько лет тому назад мне надо было лично познакомиться с Рашель, друзья потащили меня в деревню, за много миль от Парижа, где у ее семьи был летний дом. Наконец я прибываю на место, меня сажает за стол, появляются папа Рашель, мама Рашель, *sœur*¹ Рашель, *frère*² Рашель. «А где Рашель?» — спрашиваю я. «*Elle est sortie, —* отвечали мне, — *mais voilà toute sa famille!*»³ Тут я захохотал так, что все подумали, будто я лишился рассудка. А дело в том, что мне вспомнился анекдот про человека, который отправился посмотреть на чудовище, расписанное в газетах и родившееся якобы от карпа и кролика. Когда он прибывает на место и спрашивает «Где чудовище?», ему отвечают: «Мы его отправили в музей, но вот карп и кролик, можете убедиться сами». Никогда не забуду свой безумный хохот и изумление цивилизованных французов». Эту забавную историю он прежде рассказывал Альфреду Мейснеру как приключившуюся с одним его другом.

Так мы болтали долее часа, перескакивая с одного на другое. Был разговор и о кузене моего отца, Августе Левальде, который долгие годы водил знакомство с Гейне. Гейне сказал: «Это опытный журналист, он наделен также талантом изображать то, что видит, но он не может ничего выдумать, не может вообразить себе то, чего он не видел!»

Это было слишком уничижительно и слишком сурово, а ведь в свое время я читала в Баден-Бадене письма Гейне к Августу Левальду, которые звучали совсем по-иному и были полны похвал.

¹ Сестра (*фр.*).

² Брат (*фр.*).

³ Она ушла, но вот вся ее семья! (*фр.*)

Так мы болтали довольно долго. Гейне был очень оживлен, очень весел, но все время возвращался к серьезным вопросам современности, и я бы искренне радовалась весь этот час, если бы он не был так болен и все время не приходилось бы думать, что этого любезного, игривого ума, способного быть глубоким, возможно, скоро не станет. Его характер и его сочинения совершенно тождественны, и оригинальность его устных высказываний вполне соответствует его манере писать. Уходя, он пообещал нам прийти вновь, как только он будет достаточно хорошо себя чувствовать, а мы дали слово передавать ему каждое известие из Германии, которое получим.

<Дополнительное заключение 1886 г.:> Когда он поднялся, для чего я подала ему руку, а Тереза помогла затем надеть пальто, он долго смотрел на нее и воскликнул: «Боже! Какой красивый у вас профиль! Вы слишком красивы для писательницы!»

Это была изрядная лесть и совершенно в его духе. Мы посмеялись над этим, и он вместе с нами. Потом мы передали его на попечение слуги, взяв с него обещание прийти снова, мы же обещали ему передавать все письменные известия, какие получим из Германии.

Однако эти известия заставили меня возвратиться в Германию <...>

Итак, двадцать седьмого числа мы обе выехали из Парижа, поскольку Тереза решила вернуться вместе со мной, и потому тогда я так больше и не увиделась с Гейне.

КАРЛ КАУТСКИЙ

Март 1848 и июнь — авг. 1849

ПО СООБЩЕНИЮ ЭЛЕОНОРЫ МАРКС-ЭВЕЛИНГ

(* 1895)

Маркс снова проживал некоторое время <...> в Париже, в 1848-м, с февральской революцией и до апреля, и в 1849-м, после закрытия «Новой рейнской газеты» (19 мая), но уже в следующем месяце французское правительство поставило его перед выбором: либо подвергнуться интернированию, либо покинуть пределы Франции. Он, разумеется, избрал второе.

Но за этот краткий период, заполненный живейшей деятельностью, Маркс успел возобновить прежние отношения с уже тяжело больным поэтом <...>.

ДРАМА МЕДЛЕННОЙ СМЕРТИ

АЛЕКСАНДР ВЕЙЛЬ

Конец 1848

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1883)

После моей женитьбы в 1847 году я стал реже видеться с ними обоими, но все же три-четыре раза в неделю мы встречались. Гейне жил тогда на улице Амстердам. Матильда ухаживала за мужем, насколько это было возможно, но ее возможности как сиделки были очень ограничены. Она, конечно, не родилась сестрой милосердия. Однажды доктор Вертгейм, знаменитый гидропат, и поныне еще живущий в Париже, пришел с визитом к Гейне и сказал, что за ним плохо ухаживают. Услыхав это, Матильда не придумала ничего иного, как дожидаться доктора у дверей, размахнуться своей крепкой рукой и поставить ему синяк под глазом! Хорошо еще, что он не дал ей сдачи, а то бы она его задушила.

ФРИДРИХ САРВАДИ

Конец 1848 (1856)

ПО РАССКАЗУ ДАВИДА ГРУБИ

(* 23.2.1856)

Д-р Груби пользовал Гейне в течение семи лет. Когда этот замечательный человек начинал лечить Гейне, тот лежал, как куль, на полу, совершенно без всякого движения, с текущей изо рта слюной, неспособный принимать какую-либо пищу. Искусству Груби оказалось под силу восстановить здоровье Гейне настолько, что он мог опять сидеть. Груби возвратил ему

лицо, подвижность рук, и даже возможность снова писать. Зачаток болезни спинного мозга, уложившей немецкого поэта на одр болезни, сидел в нем уже давно. Еще четырнадцать лет тому назад Груби был приглашен для консультации к Гейне, у которого тогда болел глаз. Груби объяснил, что причина болезни коренится в спинном мозге, и был осмеян как своим пациентом, так и его тогдашними врачами. Впоследствии Гейне часто говорил Груби с печальной улыбкой: «Ах, если бы я тогда лучше *видел*, то не лежал бы сегодня здесь».

ЭДМОН ДЕ ГОНКУР

(1842/) 1848

ИЗ ДНЕВНИКА

Париж, 6 дек. 1892

Груби был приглашен среди других врачей на консилиум к окулисту Зихелю, чтобы дать свое заключение о болезни глаз, которой страдал Генрих Гейне, тогда еще далеко не такой знаменитый, как впоследствии. Груби усмотрел причину этого недомогания в начинающейся болезни спинного мозга и назначил лечение. Однако он оказался в меньшинстве, и к его мнению не прислушались.

Прошло десять или двенадцать лет; и вот приходит какой-то врач, напоминает ему об этой его консультации и приводит его к Генриху Гейне.

Он вошел вместе с Груби и сказал Гейне:

— Я привел к вам последнего из ваших врачей.

И, повернувшись к нему, Гейне воскликнул:

— Ах, доктор, зачем я вас не послушал!

Груби не без труда удалось скрыть свое изумление, когда, вместо здорового, полного сил мужчины, которого он видел прежде, перед ним оказался полуслепой паралитик, лежащий прямо на ковре.

Несмотря на страдания, Гейне все еще не утратил живого, острого ума: он сохранял его до последнего дня. Так, после долгого и тщательного осмотра, проделанного Груби, он спросил:

— Доктор, долго ли я еще протяну?

— Очень долго, — ответил доктор.

— Ну, тогда не говорите этого моей жене!

Перед уходом Груби, желая установить, насколько поражены параличом мышцы рта у поэта, спросил его, может ли он свистеть.

Гейне приподнял пальцами бессильно падающие веки и заявил:

— Я не могу освистать даже худшую пьесу Скриба!

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

ИЗ ПИСЬМА ФЕРДИНАНДУ ГИЛЛЕРУ

Париж, 26 февр. 1849

<...> истинный Париж пренебрегает этими приметами <революции>, он продолжает петь и плясать, и малочисленная, однако веселая и бесшабашная шайка твердо решила пасть на истинно вавилонский лад, сжимая в руке знамя легкомыслия.

Тут невольно приходит на ум вавилонянин Генрих Гейне, о котором Вы меня спрашивали. Вот он умирает не столь бесшабашно. Как ни парадоксально это звучит, слухи справедливы: Гейне молится! Но молится на свой, гейневский лад; едва поутихнут боли, он над ними смеется и вышучивает самого себя. Между тем он сам написал молитвенник или псалтырь. Мне он его, правда, не показывал, но жена его, которая, судя по всему, тоже ударилась с возрастом в благочестие, заверила меня, будто там есть прекрасные и благочестивые строки. Частенько, когда я прихожу навестить его, он принимается стенать и раскаиваться, что вот-де был таким великим грешником, а теперь господь его карает. К чертям, перебиваю его я, стыдитесь! Умрите так, как жили. Чтобы мир не мог сказать о вас: он сошел в гроб ренегатом! Тогда он садится на постели и в тоне молитвы серьезно возражает: «Друг мой, чего вы от меня хотите? Где иссякает здоровье, где иссякает человеческий разум, где иссякают деньги, где иссякает любовь, там начинается христианство». Против этого трудно возражать...

Тут он вдруг добавляет: «Коль скоро немцы приняли короля Пруссии, почему бы и мне не принять милосердного бога?»

Порой он начинает причитать: «Ах, если бы я мог пройти хоть несколько шагов, пусть даже на костылях!» — «Ну и куда б вы тогда пошли?» — «Боже милостивый! Разумеется, в церковь. Правда, сумей я передвигаться без костылей, я б тогда пошел не в церковь, а, надо полагать, к Мабилю или к Валентино».

ИЗ РАССКАЗА О ПРЕБЫВАНИИ В ПАРИЖЕ

Париж, 21 янв. 1849

Время от времени у Гейне выдается хороший день. Тогда он встает с постели, если хватает сил, приглашает чтеца и продолжает диктовать свои мемуары. Счастлив тот знакомый, который застанет его в такой день! Он найдет его разговорчивым и вновь услышит одну из тех импровизаций, которые были ему свойственны прежде, один из монологов, в которых странно смешиваются шутка и мудрость. Дух его несется от мысли к мысли в обличье необыкновеннейшей речи, кажется, будто в волшебном лесу, под яркими лучами солнца ведут игру причудливые коронованные змеи.

Именно так обстояло дело однажды вечером, когда мы углубились в долгий разговор о немецких волшебных книгах, народных сказаниях и народных песнях. Гейне вдруг как будто бы совершенно забыл о своем физическом состоянии, дрожащим голосом запел он песню об Ойгене, благородном рыцаре <...>.

Гейне тщательно следит за ходом событий в Германии. Часто озабоченно спрашивает, не совсем ли его позабыли в хаосе обстоятельств и не пришли ли к более справедливой оценке его позиции и его деятельности? С большой горечью он часто говорит о том, как его пытаются вытравить из сердца немецкой публики систематической непрерывной клеветой из Парижа.

Весна 1849

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

Я знаю, что впоследствии Гейне дорого заплатил бы за то, чтоб его книги о Бёрне вообще не существовало. Эта книга была продуктом ожесточения, раздуваемого и культивируемого приверженцами того и другого, бабьими сплетнями и болтовней злопыхательствующих друзей. <...> Гейне же не мог сносить, чтобы кто-нибудь, будь это даже сам Бёрне, отказывался его признавать, осуждал его образ жизни, подвергал сомнению его порядочность.

«Бёрне, — так сказал он мне однажды, — был человеком чести, порядочным и искренним, но одновременно желчным и раздражительным, тем, что французы называют un chien hargneux¹. Его «Письма» я просто не

¹ Рычащий пес (фр.).

мог читать, желчь не самый лакомый напиток. Все, что я написал о нем, чистая правда, и, однако же, не скрою, я предпочел бы никогда не писать этой книги либо взять ее обратно. Сомнительное это дело — высказывать всем недобрую правду о писателе, имеющем огромный круг читателей и армию поклонников. Здесь ты выступаешь не против той или иной строки его книги, подвергаешь сомнению не тот или иной изъян его характера, нет, ты одновременно задеваешь когорты поклонников, и пусть даже сам автор про себя считает, что ему досталось поделом, что он уязвлен и обезоружен, сотни тысяч людей, имеющих его книги, выходят на бой. Вот Гете был умный человек. Уж верно, ему не все нравилось у Шиллера, но он поостерегся высказывать вслух хоть одно из своих сомнений, чтобы не обратить против себя поклонников кумира целой эпохи. <...>

Несколько недель спустя однажды вечером мы заговорили о политике, что случалось отнюдь не часто. Гейне бросил политику. На первом месте для него стояли его литературные труды, и постепенно в его душу закрадывались мысли о религии.

— Долго так не продлится, — сказал он мне с горькой усмешкой. — Государственный переворот — это секрет, известный всем без исключения. О нем так много болтают, что в него уже больше никто не верит, однако это непременно произойдет. Президент работает по образцу своего дяди и устремляется к своему 18-му брюмера. Смелей же! Смелей!

Все это он произнес без злобы, и меня это удивило. Чего стоит, вправе мы спросить, политический сарказм, не шадящий одежды священника и посягающий даже на скипетры королей, если потом он с улыбкой взирает на предательство? К чему титаническое презрение к существующему порядку, избыток политической ненависти, жаждающая крови сатира, гильотинирующая ирония? Кем же был теперь Гейне, если не был республиканцем?

Когда-то, это я знал, он был приверженцем Июльской монархии, потому что, как он сам говорил, не мог представить себе лучшего статуса для тогдашней Франции. Он получал вспомоществование как эмигрант, что не мешало ему писать о французской политике все, что он о ней думал; в то же время французская полиция с величайшей готовностью выслала германским полицейским властям все сведения о нем с самыми оскорбитель-

ными эпитетами. Он хвалил герцога Немурского, но лишь потому, что в Баньере тот обходился с ним вежливо и предупредительно. Тем не менее искренним монархистом Гейне мне никогда не казался — так кем же он был на самом деле?

Он заметил мое изумление и взял меня за руку.

— Поймите меня правильно, — сказал он. — Когда приблизительно год назад была провозглашена республика, у всех было такое чувство, будто нечто, бывшее только мечтой и могущее быть только мечтой, сделалось реальностью. Но, на свое несчастье, я, прожив столько лет во Франции, знаю ее слишком хорошо и нисколько не обманываюсь касательно того, чего нам следует ожидать. Республика эта есть не что иное, как смена названия, революционная вывеска. Как могло бы это изнеженное, развращенное общество так быстро преобразиться? Делать деньги, хватать должности, ездить четверней, иметь ложу в театре, мчаться от одного развлечения к другому — вот что было доселе их идеалом. Где эти люди до сих пор так тщательно прятали свой запас буржуазных добродетелей? Париж, поверьте мне, насквозь наполеоновский — здесь господствует наполеондор. Пусть другие считают своим долгом поддерживать пустое название, пусть сам Прудон объявляет существующий строй на этой его плачевнейшей стадии раз навсегда данным, неприкосновенным и неизменным, выше всех исконных прав и всеобщего избирательного права, — подобная политика мне чужда. Название для меня ничто. Только нечто существенное может воодушевить меня, абстрактная идея меня не привлекает. Что стало бы с любовью, не будь женщин, с дружбой, не будь друзей? Плюньте на республику, потому что республиканцев нет!

Позднее он зло и беспощадно улыбался, следя за агонией республики, и конца ее ожидал даже с некоторым злорадством. Улыбался так, как будто он и есть бог распада и разрушения. Казалось, ему не терпится, чтобы что-то рухнуло, — что бы то ни было, — лишь бы только он мог услышать шум великого переворота и увидеть гигантские обломки. Даже ужаснейшая болезнь не смогла сделать из него консерватора и любителя покоя. Борьба была его натурой, недовольство — *status quo*¹ и отрицание — его характером. В основе этой его черты лежали не дикость, не варварство, не вандализм, — у нее было общее с потребностью художника видеть предмет всякий раз с новой стороны —

¹ Существующим положением (*лат.*).

изменившимся, перестроенным, переделанным. Это были порывы природы, жаждущей мощных волнений, и одновременно — характерная особенность его скептицизма. Типично одно его высказывание, что никакая из форм выражения человеческих мыслей ничего для него не значит, потому что у истока его мыслей стоит он сам. Отсюда вытекает, что он вообще ни в какой государственный строй не верил.

КАРЛ ГИЛЛЕБРАНДТ

Поздняя осень 1849 — весна 1850

ИЗ ПИСЬМА ГЕРМАНУ ГЮФФЕРУ

Флоренция, 7 янв. 1876

<...> Вы спрашиваете, не могу ли я предоставить вам что-либо интересное из воспоминаний о Гейне, у постели которого более четверти века назад я просидел столько дней. К сожалению, тогда я не вел дневников и, несмотря на тогдашнее мое восхищение Гейне-поэтом, на мою приязнь к Гейне-человеку, я по молодости лет был слишком легкомыслен и, вместо того чтобы бережно сохранить высокопробное золото, которое струилось из уст поэта, пропускал его между пальцев. Ибо Гейне был расточителен: шутки и образы непрерывно стекали с его губ; не будь я таким ничемным решето, я бы с легкостью удержал этот поток. И все же я попытаюсь вызвать в памяти отдельные факты, причем я заранее отмечаю все личные подробности о поэте, все отношения с женой и друзьями, поскольку именно доверие, с каким говорили и действовали в моем присутствии, понуждает меня к молчанию.

Итак, я прибыл в Париж поздней осенью 1849 года, и ввел меня в дом Гейне старый газетный корреспондент господин Лёвенталь. Гейне знал сочинения моего отца и нимало не был раздосадован, возможно, чуть более резкой, чем надо, критикой в третьем томе «Национальной литературы». Вскоре мы стали полными единомышленниками, и хотя касса моя находилась тогда в самом плачевном состоянии, мы стали бы таковыми — даже не предложи мне поэт свои круглые пятифранковики, которые он со вздохом вынимал из красного кошелька, что лежал у него под подушкой. В это время он был уже прикован к постели <на улице

Амстердам>, если только можно назвать постелью это матрацное ложе. Слух у него заметно ослабел, глаза были все время закрыты, и лишь с превеликим трудом изможденный палец мог приподнять усталые веки, когда поэту хотелось что-нибудь увидеть. Ноги были парализованы, все тело усохло — в таком виде женские руки каждое утро перекладывали его в кресло, чтобы перестелить постель, потому что слуг-мужчин он не выносил. Он не мог также выносить ни малейшего шороха. Страдания его были столь мучительны, что он, дабы обеспечить себе хоть небольшое отдохновение, обычно не более чем четыре часа сна, был вынужден прибегать к морфию в трех различных формах. А в бессонные ночи он создавал прекраснейшие свои стихотворения. Он целиком продиктовал мне «Романсеро». К утру стихотворение бывало полностью завершено. Но затем начиналась шлифовка, которая могла длиться часами, причем я выполнял для него роль *vice cotis*¹, или, вернее сказать, он использовал мою молодость, как Мольер использовал неведение своей Луизон, расспрашивая меня касательно ясности, звучания, интонаций и тому подобного. Затем точнейшим образом взвешивалось каждое настоящее и прошедшее время глагола, проверялась уместность каждого устаревшего либо непривычного слова, исправлялся каждый проглоченный звук, отбрасывался необязательный эпитет, а кое-где устранялась допущенная небрежность. Я живо помню любое стихотворение этого цикла и довольно точно — комментарии, главным образом об отдельных личностях, которыми он уснащал нашу беседу.

Он часто диктовал мне также и личные письма, большей частью касающиеся денежных проблем. Остальное время моего визита, длившегося обычно от трех до четырех часов, мы отводили на чтение. Из авторов, чьи произведения я читал ему вслух, имена ученых мною начисто забыты, поскольку сам я ими не интересовался и читал чисто механически: то были преимущественно труды по теологии или, на худой конец, по истории церкви; мне пришлось поневоле прочитать с ним всего Шпитлера и еще более обстоятельного Толюка, не говоря уже о «Религии» Шпальдинга; само собой, мы читали с ним и Библию, которую он знал почти наизусть, порой я зачитывал ему целые главы, преимущественно из Ветхого завета.

Про газеты он и слышать не желал, разве что иногда читал «Журналь де Деба», но когда я однажды

¹ Пробный оселок (*лат.*).

принес ему «Историю первого немецкого парламента» Г. Лаубе, которую прислал мне отец, он заставил меня читать ему все три тома и, хотя не одобрял несколько консервативное, отчасти «готское» направление автора, без устали восхищался чистотой стиля, живостью изображения, изяществом суждений. Зато писателей мы перечитали великое множество; за те восемь-девять месяцев, что я бывал у него, мы прочли с ним «Вильгельма Мейстера», «Поэзию и правду», «Тассо», «Фауста» (обе части), «Духовидцев» и почти все драмы Шиллера, вызывавшие его глубокое восхищение. Превыше всего он ценил «Валленштейна», причем, не жалея трудов, посвящал двадцатилетнего мальчишку в тайны ремесла, растолковывал ему все «как» и «почему» различных стилистических особенностей, даже художественных приемов писателя, которые он незамедлительно распознавал, привлекал внимание к тончайшим нюансам, чтобы снова и снова восхвалять присущее классике чувство меры.

Как уже говорилось выше, мне не хотелось бы затрагивать сугубо личные темы, однако должен и считаю себя вправе сказать, что поэт неизменно относился ко мне с добротой и нежной заботливостью, которая навсегда запечатлелась в моем сердце. Впоследствии, летом 1850 года, после того как мне пришлось покинуть Париж, он не забыл обо мне и, когда я оказался в нужде, помогал мне из своих более чем скудных средств; лишь с превеликим трудом мне удалось вернуть ему долг, поскольку он непременно желал навязать мне эту небольшую сумму в уплату за ранее оказанные ему услуги. Краткие письма, по большей части написанные карандашом и адресованные «молодому другу», я, к сожалению, не сохранил, как и все прочие сувениры от тех великих людей, с которыми мне доводилось встречаться на своем веку.

ЛЮДВИГ КАЛИШ

11 ноября 1849

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* ноябрь 1874)

Когда в 1849 году я приехал в Париж, то решил быть исключением среди путешествующих писателей и не беспокоить больного поэта, коему я не мог предложить никакого лекарства. Я бы, конечно, не изменил своему решению, не доведись мне вскоре стать его

соседом на улице Амстердам. Он захотел, чтобы я навестил его, и вот в один туманный ноябрьский вечер я отправился на квартиру к Гейне в сопровождении одного писателя, дружившего с нами обоими. Гейне лежал в маленькой комнатушке и, едва мы вошли, сразу стал жаловаться, что прошлую ночь его опять мучили жесточайшие боли и только благодаря сильным дозам опиума ему удалось несколько облегчить свои страдания.

Постепенно он сделался очень разговорчивым и бодрым, дал волю своей сатире и показал, что в его почти развалившемся теле сохранился еще здоровый живой дух. Его жизненная сила, так сказать, спасалась бегством в мозг. Работающая голова сидела на мертвом туловище. Главной темой нашего разговора была, разумеется, Германия, и, обсуждая состояние дел в нашем отечестве, мы дошли до высылки Венедая, о которой тогда много писалось в газетах.

— Славный Венедей! — воскликнул Гейне. — Он вроде Массмана, только еще слабее в латыни, чем тот.

Когда я спросил, почему он так часто изливает свою сатирическую желчь на Массмана, Гейне ответил:

— Боже милостивый! Я старый человек, мне уже поздно выискивать себе новых шутов. Я должен довольствоваться старыми. Массман для меня шут рентабельный. Он — моя рента. Разве я виноват?

Вскоре разговор перешел на современную немецкую поэзию и ее представителей. В связи с именем Ленау был упомянут ряд немецких поэтов, окончивших свои дни в безумии или погибших в нищете. Когда мы кстати вспомнили о несчастном Граббе, Гейне заметил, что о нем он мог бы сообщить примечательные сведения.

— Я познакомился с ним в Берлине, где мы оба учились в университете, — сказал он. — В нем была странная смесь покорности и неукротимого поэтического самомнения. Меня он считал очень богатым, потому что в то время, не помню уж, по какой случайности, у меня было красивое пальто, и он уверял, что я, приятно согретый этим пальто, могу с легкостью сочинять пылкие южные песни, тогда как он в своем потертом ветхом сюртуке, не защищенный от бесстыжего берлинского ветра, вынужден брать свои драматические сюжеты с дальнего севера. Он как раз закончил «Герцога Готландского» и принес его мне, чтобы услышать мое мнение. Пока я читал это странное творение, у меня было такое чувство, будто в моей голове стучит дюжина мельничных колес. Я не таил

про себя, какое впечатление произвела на меня сия драматическая работа, а дал почитать ее одному приятелю, который вскоре мне ее вернул, убоявшись сойти с ума. Я пошел с этим сочинением к Варнхагену, тот, как легко себе представить, нашел его еще менее обнадеживающим и просил меня ради Христа эту штуку поскорее у него забрать, а то в доме у него все пойдет кувырком. Да, этот Граббе был чудной человек, я бы мог, как уже говорил, дать о нем очень интересные сведения, но, как и многое другое, они будут похоронены вместе со мной.

— Поэзия, — сказал он мне немного спустя, — создала больше мучеников, чем религия. История литературы любого народа и любой эпохи — настоящий мартиролог. Публика, это тысячеголовое чудовище, читает наши стихи только для того, чтобы убить время, чтобы облегчить себе пищеварение, не думая о том, что мы сочиняли их за счет своего здоровья, своей жизни. Аполлон — прекрасный бог, но он принуждает своих жрецов закласть самих себя на его алтаре. С незапамятных времен и до наших дней сколько было горя, сколько нужды и скорби в среде поэтов! Когда филистер читает их жизнеописания, он похлопывает себя по сытому животу и находит вполне естественным, что столь многие из них умерли с голоду; я же убежден, что поэт совершенно сходен с соловьем, поющим тем прелестней, чем лучше его кормят, — бедность душист гений.

— Вы разделяете это убеждение с тем философом, — заметил я, — который сидел однажды за уставленным яствами столом и предавался гастрономическим наслаждениям, когда к нему пришел некий дворянин. «Как? — удивленно воскликнул тот. — Вы любите радости застолья? Вы, великий философ?» — «Неужели вы, сударь, полагаете, — отвечал философ, — что господь бог создал вкусные вещи исключительно для ослов?»

Разговор коснулся затем деревенских рассказов как вида литературы.

— Я мало какие из них знаю, — сказал Гейне. — Знаю лишь эльзасские деревенские истории Александра Вейля. Мне сказали, что он первый выступил перед немецкой публикой с подобными произведениями. Я даже сопроводил их небольшим рекомендательным предисловием, где высказал мнение, что с деревенской новеллистикой слишком уж носятся. Я бы это предисловие писать не стал, если бы меня в известном смысле к этому не принудили. В один прекрасный день Вейль явился ко мне и не только объявил, что намерен

жениться, но и что для сего замечательного шага ему необходимы пятьсот франков. Я молчал, тогда он прибавил, что легко бы мог получить означенную сумму от одного книготорговца, если бы я пожелал снабдить его книжку «Картины нравов из эльзасской жизни» несколькими вступительными строчками. Так что я оказался перед выбором: либо дать ему пятьсот франков, либо написать несколько страниц, и вы легко можете себе представить, что колебался я недолго.

Вскоре были упомянуты его новые стихи. Гейне сказал, что поэзия для него — лучшее успокоительное средство в бессонные ночи.

— Поэзия осталась моей верной подругой, — воскликнул он. — Она не дает себя запугать моей хворостью, она последовала за мной на край могилы и воодушевляет меня на борьбу со смертью.

Раз уж мы заговорили о его поэтических произведениях, я спросил, когда в нем впервые проявилась тяга к поэзии.

— Очень рано, очень рано, — отвечал он. — Вы знаете мое стихотворение «Валтасар»? Я его написал, когда мне еще не было шестнадцати. А знаете ли вы, что вдохновило меня его написать? Несколько слов из еврейского песнопения «*Bachazoz halajla*» («В полночь»), которое, как вам известно, поют в течение двух пасхальных вечеров. Дело в том, что в этом песнопении упоминается множество событий, относящихся к судьбам евреев, — все они случались в полночь — и в немногих словах там повествуется о смерти вавилонского тирана, который был зарезан ночью, после осквернения священных сосудов.

По-древнееврейски Гейне знал лишь несколько фраз, зато он знал множество еврейских сказаний, и этими своими знаниями он был обязан прежде всего талантливому ученому Цунцу. В годы своего пребывания в Берлине он посещал этого замечательного человека, к которому, как я заметил, сохранил очень теплые дружеские чувства. У Гейне было мало друзей, или, если угодно, он был другом лишь немногим, но этим немногим он был очень предан.

Когда я с ним прощался, он протянул мне высохшую, увядшую руку и просил, если мне случится быть в Париже, почаще его навещать. Я стоял уже у дверей, когда он осведомился, не желаю ли я повидать его супругу, и так как я, разумеется, ответил утвердительно, сказал, что она подвернула ногу и выйти из своей комнаты не может. Он велел сиделке проводить меня к ней. Я застал Матильду Гейне в глубоком кресле,

вытянутые ноги она положила на стоявший перед нею стул. Тогда она была еще молода, но уже так округлилась, что кресло было ей тесновато. После долгого разговора с Гейне короткая беседа с его женой не оставила у меня никакого впечатления.

КАРЛ ГЕЙНЕ

Март/апрель 1850

ИЗ ПИСЬМА МАКСИМИЛИАНУ ГЕЙНЕ

Париж, 16 апр. 1850

Я получил твое письмо от третьего апреля, твоего брата я навестил и нашел его состояние — увы — не лучше, чем прежде; он очень исхудал, парализован, ослеп; его печальная участь вызывает сочувствие. Боюсь, как бы у него не было сухотки спинного мозга.

Пока еще было время и болезнь не зашла так далеко, я употребил все усилия, чтобы убедить его перебраться в Гамбург, но тщетно. Полагаю, что уход за ним далеко не так хорош, как надо бы, а потому крайне сожалею, что он не внял моим доводам; ты, по-моему, носишься с идеей устроить сбор в пользу твоего брата и тем избавить его от гнетущих денежных забот, ты уже говорил об этом в одном из твоих писем, если только память мне не изменяет, — благороднейшие жены Германии наперебой бросятся и тому подобное... Лично я считаю эту затею ненужной; у твоего брата достаточно средств, чтобы жить прилично, я и сам время от времени тому способствую.

Как я понял, ты намерен побывать в Париже, чтобы собственными глазами увидеть, в каком состоянии находится твой бедный страдающий брат: по-моему, так и следует, на твоём месте я бы уже давным-давно это сделал и поспособствовал бы его переезду.

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

Май — сент. 1850 (/авг. 1854)

ИЗ МЕМУАРОВ

(* 1884)

На сей раз я застал Гейне в состоянии лучшем, нежели ожидал. Если сравнить с прошлым годом, боли стали меньше. Настроение поднялось. Я мог видаться с ним каждый день.

Хотя со стороны немецких кругов, задававших тогда тон, пожалуй, ни один другой писатель не подвергался таким нападкам, как он, в общем и целом, особенно среди еще сохранившихся руин либеральной партии, наблюдался живой интерес к больному поэту, и всякий немец, побывавший в Париже и повидавший там Гейне, мог быть уверен, что на него набросятся с расспросами: есть ли надежда на выздоровление? Точно ли поэт стал набожен? Пишет ли он, можно ли ожидать от него еще сколько-нибудь значительных произведений?

Предвидя неизбежность подобных вопросов, я предпочел ответить на них в письменном виде и однажды поведал Гейне, что все утро просидел над статьей о нем для выходящей в Праге «Немецкой газеты», куда я намерен завтра же эту статью отправить.

— Сперва покажите ее мне, — воскликнул он, — сперва мне. Я хочу ее прочесть. Принесите ее завтра. Тем более вы и так приглашены к обеду на шесть часов. Воротясь домой, вы найдете там письменное приглашение.

— Вы даете обед, на котором сами не сможете присутствовать?

— Я буду ассистировать с кровати.

На другой день, придя к Гейне незадолго до назначенного часа, я тотчас извлек свой опус из кармана. Когда я дошел до следующих строк:

— Сейчас Гейне более всего занят сочинением своих стихотворений, и пусть даже его парализованная рука с трудом удерживает перо, у нас есть все основания ждать от него новой большой поэмы «Остров Бимини», — Гейне с живостью перебил меня:

— Не говорите ничего о стихах! Стихи сейчас не главное. Гейне занят сочинением своих мемуаров.

Я высказал живейшую радость по поводу того, что он не прервал работу, которую начал еще в Монморанси, и он продолжал:

— Я уже много лет над ними работаю. Книга будет состоять из трех томов, по меньшей мере — из трех. Отдельные части уже завершены и тщательным образом отшлифованы. Одну такую часть я намерен в недалеком будущем опубликовать, предположительное заглавие — «Признания». Но сперва — во французском переводе. Жерар де Нерваль мне в этом помогает. Сейчас я занят восполнением пробелов. Они исчезают один за другим. О, я гораздо прилежнее, чем вы думаете...

Говоря так, он схватил карандаш, перечеркнул на листке моей рукописи слово «стихотворения» и «Остров Бимини» и переделал фразу следующим образом: «сочинением своей изрядно разросшейся книги «Мемуары»».

Между маем и сентябрем 1850

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

Вообразите себе мое удивление, когда однажды вечером, войдя к Гейне, я услышал, как он диктует своему секретарю письмо, и на мой вопрос, кому он пишет, он ответил: моей матушке!

— Значит, она еще жива, эта старушка, в домике на Даммтор? — спросил я.

— О да, — отозвался он, — она хоть и стара, и слаба здоровьем, но сохранила все то же теплое материнское сердце.

— И часто вы ей пишете?

— Регулярно, каждый месяц.

— Как она, должно быть, страдает из-за вашей болезни!

— Из-за моей болезни? — переспросил Гейне. — Ах, да, на этот счет между нами своеобразные отношения. Моя матушка полагает, будто я так же здоров и крепок, как был при нашем последнем свидании. Она стара, газет не читает, те немногочисленные старые друзья, что у ней бывают, находятся в таком же неведении. Я пишу ей часто, как только могу, пишу, когда я в хорошем расположении духа, рассказываю ей про свою жену и про то, как мне хорошо живется. Поскольку от нее не может укрыться то обстоятельство, что мне принадлежит лишь подпись, а все остальное написано рукой секретаря, приходится всякий раз уверять ее, будто я страдаю болезнью глаз и, хотя это скоро пройдет, написать письмо собственноручно покамест я не в состоянии. Она этим вполне довольствуется. Да и какая мать способна поверить, что ее сын может так тяжело заболеть?

Гейне умолк, а я растроганно наблюдал, как он запечатывает свое полное утешительных известий и напускной веселости письмо, чтобы его отнесли на почту.

Этот сын, который, будучи давно уже прикован к одру страданий, утешает свою мать святой ложью, и

эта мать, которая в уединении своего весьма преклонного возраста может сойти в могилу, так и не узнав страшной правды об истинном положении сына — правды, известной всему миру, — разве их отношения не являются сами по себе поэмой?

КАРОЛИНА ЖОБЕР

1850 (— 1855)

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

После того как в течение двадцати лет писатели потихоньку обкрадывали произведения Генриха Гейне, им пришлось наконец на него ссылаться. Его «Путевые картины», переведенные и напечатанные на французском языке, его статьи в «Ревю де де Монд» постепенно дали французскому читателю возможность познакомиться с этим автором, столь высоко ценимым в Германии. Он бывал очень рад узнать, что кто-то упомянул его имя или ссылался на его произведения. И я не упустила случая сообщить ему об этом, как только это становилось мне известно; часто приходилось читать ему выдержки из Теофиля Готье, который, можно сказать, был весь переполнен поэзией и идеями знаменитого поэта.

— Да, Тео — добряк, — сказал Гейне, — думаю, он питает ко мне дружеские чувства.

И, немного помолчав, добавил:

— Ему я доверяю. По крайней мере, он не испортит то, за что взялся. Если бы он мог меня переводить!

— Но у вас есть Жерар де Нерваль!

— Есть, есть... когда он есть, это хорошо. Но теперь он неизвестно где, и потом, поймите, дорогой друг (тут голова его чуть приподнялась над подушкой), поймите, он запихнул меня куда-то в угол своего кармана.

— Милый мой Гейне, не станете же вы требовать, чтобы у человека, не имеющего своего дома, имелся собственный бумажник?

— О, маленькая фея, отчего вы не знаете немецкого языка! С вашей помощью мои стихи, едва родившись, были бы уже в полной безопасности; теперь же я держу их в голове всю ночь до утра, а потом должен диктовать, и кому?—вы понимаете, насколько это опасно!

Это было сказано с таким стоном, какого не могла у него вызвать даже физическая боль. Крайне недоверчивый вообще, он был вдвойне недоверчив по отношению к своему секретарю. Этот человек мог переписать стихи и послать их в Германию, мог продать их... Несколько раз он решался нанять человека ограниченно, надеясь, что такой не сумеет оценить продиктованные ему стихи, однако многочисленные промахи и ошибки заставили его отказаться от этой системы. Он категорически отказывался брать в секретари немецких евреев—такие претенденты на эту должность казались ему особенно подозрительными. Однажды во время междуцарствия секретарей я пришла к нему и застала его в полном расстройстве оттого, что некому было даже прочесть ему газету.

— Почему же вы не попросите об этой маленькой услуге госпожу Гейне?—задала я естественный вопрос.

— Нет, она любит читать только избранные письма госпожи де Севинье, а это не по моей части.

Вот так, увлекшись остроумной фразой, он мог порою вышутить то, что было ему дороже всего на свете.

ГЕКТОР БЕРЛИОЗ

1850/1851

ИЗ ПИСЬМА ВЕСКЕ ФОН ШЮТЛИНГЕНУ

Париж, 31 марта 1851

В ближайшие дни схожу повидать беднягу Гейне. Уверен, он будет рад узнать, что Вы напечатали такое значительное количество его стихотворений, не забыв при этом, в отличие от многих других, указать его имя. Он все такой же полуугасший, а голова у него все такая же светлая. Он словно высовывается из окна sklepa, чтобы еще разок взглянуть на этот свет, к которому сам уже не принадлежит, и поиздеваться над ним.

В один из моих недавних визитов к нему, услышав, как докладывают о моем приходе, он приветствовал меня с постели печальной шуткой: «Как, Берлиоз, неужели вы меня не забыли? Всегда-то вы оригинальны!»

АДОЛЬФ ШТРОДТМАН

1851

СО СЛОВ М. ЭТЬЕННА

(* 1869)

По утрам Гейне обычно принимал ванну, если его состояние это позволяло. Служанка, дюжая мулатка, извлекала его из «матрачной могилы» — больной лежал не на обычной кровати, под него было подстелено с полдюжины матрацев, ибо страдающее тело не могло вытерпеть ни малейшего ощущения твердости, — и на руках, как малое дитя, относила в ванну. «Как видите, в Париже меня носят на руках», — с горькой усмешкой обратился он к одному из приятелей, когда тот перенес его таким же манером из кресла на матрачное ложе. После ванны Гейне обычно подкреплялся завтраком, состоявшим из нежного полупрожаренного мяса, фруктов и бордо, разведенного водой и сдобренного сахаром. Все, чего бы он ни пожелал, ему немедля подавали, и поскольку временный паралич вкусовых нервов в дальнейшем течении болезни миновал, он с аппетитом вполне здорового человека поглощал самые лакомые яства и, в соответственные времена года, изысканнейшие фрукты. По этой причине для него вслед за врачом наиболее важной персоной в доме была кухарка, и Матильде, его супруге, порой нелегко приходилось в общении с этой капризной кухонной тиранкой, которую ее господин вконец избаловал комплиментами и другими изъявлениями благодарности. В промежутки между завтраком и обедом, другими словами, по парижскому обычаю от 12-ти до шести часов пополудни, пациент принимал друзей, диктовал своему секретарю или просил его читать вслух.

ГЕОРГ ВЕЕРТ

ИЗ ПИСЬМА К МАТЕРИ

Февр. 1851

Единственное, что сохранится у меня в памяти от трехдневного пребывания в Париже, будет встреча с Гейне, известным немецким поэтом, которого я люблю и чту превыше всех других современных авторов. Я застал несчастного в постели, к которой он прикован вот уже три года; одна сторона его тела полностью

парализована, на один глаз он полностью ослеп, это не человек, а тень человека, физически он уже как бы мертв. Но достойно восхищения, что дух, рассудок, игра ума у этого замечательного поэта нисколько не пострадали. Два дня кряду я просидел по многу часов у его постели. Терзаемый болью, он порой умолкал. Но всего лишь на несколько минут, после чего снова начинал говорить, и говорить так, как в свое время писал, уснащая свою речь такими блистательными и неслыханно глубокими арабесками, что мне то и дело хотелось расхохотаться во все горло и одновременно зарыдать от умиления.

ГЕНРИХ РОЛЬФС

Весна 1851

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* июль/авг. 1862)

Поэт проявлял большой интерес к Шлезвиг-Голштинии. Да и как могло быть иначе, если он столько лет прожил в Гамбурге, в городе, который был множеством уз связан с этой территорией и мог по праву считаться естественной столицей обеих земель, разъединенных теперь стараниями немецкой дипломатии. По этому поводу Гейне высказался следующим образом: «О вражде между Данией и Германией можно только сожалеть от всего сердца, ибо возникла она между двумя родственными племенами, которые столь схожи по своему характеру. Если говорить о национальном характере, то между датчанином и голштинцем меньше различий, нежели между голштинцем и швабом. В остальном же не следует чрезмерно сокрушаться о потере Шлезвиг-Голштинии, коль скоро они не попали под славянское правление. Кроме того, есть надежда, что датчане рано или поздно образуются, ибо в ходе своей истории этот народ проявлял достаточно здравого смысла. Жалеть всерьез следует лишь о том, что в землях герцогств, отошедших к Дании, сейчас попирают моральное чувство жителей. Что до языка, не так уж и важно, если несколько меньше шлезвигцев будут отныне изучать немецкий. Это явление сугубо временное, ибо Дания, при всей своей превосходной литературе и истории, — а к таковой я причисляю также исландскую и норвежскую, — не может надолго приостановить распространение немецкого языка. Не только древнейшая литература Дании богата

и прекрасна, в наше время она тоже дарила миру великих писателей, каковые, поскольку они часто творили на немецком языке, уже послужили связующим звеном между Данией и Германией. Баггезен очень приятен и глубок, Гейберг блестящ и остроумен, Эленшлегер хоть и не обладает, подобно Баггезену, глубиной чувства, однако же очень привлекателен. Станным образом эти писатели не завоевали в Германии такой популярности, как Андерсен, хотя все они его значительно превосходят. Несколько лет назад Андерсен побывал у меня. Чем-то он мне напомнил портного, у него и впрямь такой вид. Это весьма худой человек с впалыми щеками, а его манера держаться при всем внешнем приличии исполнена той робости и смирения, которые так по сердцу князьям. Недаром же Андерсен так обласкан при всех княжеских дворах. Он в совершенстве воплощает в себе тип поэта, каким князья хотя и его видят. Для визита ко мне он украсил свою грудь большой булавкой; когда я полюбопытствовал, что это такое торчит у него из груди, он с невероятно елейной улыбкой отвечал, что это подарок, который ему презентовала гессенская курфюрстина. В остальном же у него весьма почтенный характер».

Живописные пейзажи Шлезвиг-Голштинии были ему знакомы лишь отчасти. Он нередко выражал сожаление по поводу того, что не побывал на балтийском побережье и на датских островах, чьи прекрасные буковые леса всегда манили его к себе. Дитмарцы и фризы тоже вызывали его интерес, и мне пришлось много рассказывать ему про географические особенности, своеобразие нравов и обычаев их земель. Он был досконально знаком с их историей и проявлял редкостное знание отдельных деталей. Когда я как-то сказал ему, что Дитмаршен и Эйдерштадт во многом схожи с Еверландом и Восточной Фрисландией, он вдруг заговорил о днях своей молодости. Языком, прекраснее которого не найдешь и в его «Путевых картинах», он поведал мне о своих одиноких, романтических странствиях на островах Лангерог, Спикерог и Вангерог. «Однажды, — так завершил он свою повесть, — я чуть не поплатился за свою бесшабашность. Дело было так: в период отлива я покинул один из островов, чтобы перейти на материк, не справившись предварительно, когда наступает прилив. Внезапно, когда до суши оставалось еще изрядное расстояние, нахлынул прилив, и вода прибывала так стремительно, что я лишь в последнюю минуту успел выбраться на берег». <...>

О том, как страстно мечтал Гейне вернуться на родину, свидетельствует хотя бы тот факт, что он всерьез обдумывал возможность переезда в Гамбург. Однажды он спросил у меня, что я об этом думаю и какой способ путешествия был бы для него менее обременителен: морской или сухопутный. Будь его финансы в лучшем состоянии, он, пожалуй, и осуществил бы свой замысел. Морской воздух, заверил он меня, во все времена оказывал на его организм самое благотворное действие, да и более суровый и туманный климат северо-немецкой низменности всегда был ему полезен. Пребывание в Париже стало ему в тягость еще и по той причине, что большую часть продукции немецкого книжного рынка он мог добывать здесь с превеликим трудом <...>. Нетрудно понять, что тамошние книготорговцы заказывали лишь такие книги, сбыт которых не вызывал у них ни малейших опасений, и Гейне поведал мне, что ему даже не довелось прочитать столь известного в Германии Эмануэля Гейбеля. <...>

По адресу Винбарга Гейне позволил себе замечания, которые я затрудняюсь привести. Бывшего рейхсминистра Гекшера он сурово—хотя и справедливо—осуждал. Я принес ему штаровские «Два месяца в Париже», и когда впоследствии осведомился, как ему показалась книга, он отвечал: «В общем книга написана очень и очень недурно, я только затрудняюсь понять, каким образом человек, подобный Адольфу Штару, в касающихся меня пассажах частенько заставляет меня говорить нечто прямо противоположное тому, что я говорил на самом деле. Впрочем, большой беды в том нет, ибо намерения у него были самые лучшие». Когда я рассказал ему, какое участие вызвала во всей Германии его болезнь, он воскликнул: «Престранный народ эти немцы: когда человеку хорошо, они готовы затравить его до смерти, когда же человек стоит на краю могилы, они начинают проявлять к нему участие и сострадание».

ЭДУАР ГРЕНЬЕ

1851

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* авг. 1892)

И вот я снова увиделся с Гейне в Париже. Он был уже очень болен, охвачен жестоким недугом, который терзал его более шести лет, прежде чем унести в

могилу. Паралич лицевых мышц привел к тому, что оба глаза у него почти закрылись; но характер его не изменился и он нисколько не утратил веселости. Я нашел его все таким же насмешливым и язвительным, все таким же бодрым душою. Страдания не сломили его и ни в коей мере не заставили смягчиться по отношению к самому себе и к другим. До самого конца он терпел муки, выпавшие ему на долю, с изумительной стойкостью, без позерства, без громких фраз, без каких-либо проявлений малодушия. Этот человек, которому в жизни так часто недоставало мужества, сумел проявить его перед лицом смерти. В этом испытании он сохранил остроту и ясность ума, сохранил даже свою обычную веселость, хотя в веселости этой было что-то демоническое. Она не чтит ни людей, ни богов, язвительные выпады достигали любого Олимпа, любого Синая. Он не останавливался ни перед чем. Когда стрела вылетала, его не смущало, что она может вернуться и ранить его самого: стрелок попал в цель, он был доволен и, смеясь, радовался своей ловкости, даже когда попадал прямо в сердце другу.

До этих пор меня щадили, то есть мне приходилось выслушивать колкости, которые другу можно простить, особенно если он болен; наконец, пришел и мой черед, у него не было причин щадить меня больше, чем многих прочих, и, как многие прочие, я был вынужден, несмотря на его тяжелое положение, оставить его в одиночестве с его страстью к незаслуженным, жестоким оскорблениям.

Уже давно Генрих Гейне донимал меня просьбами, чтобы я пообещал ему перевести его «Книгу песен» и «Новые стихотворения». Я отказывался, так как считал очень трудным, даже невозможным передать по-французски эти прелестные любовные словечки, вроде «Lieb», «Liebchen» и т. п.; и потом, разве восхитительная простота немецкой поэзии не становилась порою неуклюжей и плоской, превращаясь в нашу сухую, голую прозу, без музыки ритма и рифмы? Напрасно я твердил ему, что язык наш сопротивляется поэтическому переводу, особенно переводу лирической поэзии, что мы не можем верно передать творения иностранных поэтов ни в прозе, ни в стихах — из-за чугунного ядра рифмы, навеки прикованного к последней стопе нашего французского стиха; что Франция в этом отношении обделена и стоит ниже всех своих соседей, которые в крайнем случае могут обойтись без рифмы; что по этой причине у нас не существует настоящих поэтических

переводов — да простят меня наши многочисленные переводчики Горация, — и мы вынуждены довольствоваться подражаниями; что прозаический перевод на любой язык всегда был и будет лишь невыразительной копией, блеклой гравюрой с лирического стихотворения, лишенной красок, движения, формы, наконец самой жизни. Я напоминал ему, что итальянцы недаром говорят: *traduttore traditore*¹. Но все было напрасно. Я не смог его переубедить, даже сославшись на его собственное остроумное выражение о прозаических переводах стихов: он назвал их «чучелом лунного света». Ничто не помогало; на все у него находились возражения. Устав от этих пререканий, я сдался и пообещал перевести его стихи, когда у меня будет время и возможность. Итак, я впрягся в этот воз, но, по мнению автора, тащил его слишком медленно; и вот однажды, впад в раздражение, он написал мне письмо, где напоминал о моем обещании, но в таких грубых и оскорбительных словах, что для меня сделалось невозможным не только выполнить это обещание, но и поддерживать мои отношения с ним без ущерба для собственного достоинства.

В ответ я написал только, что он злоупотребляет своим положением больного и я его прощаю, но раз ему острое словцо дороже друга — и друга небезполезного, — то вряд ли его удивит, если я буду вынужден расстаться с ним, во избежание новых насмешек и оскорблений; а в доказательство моей добросовестности и несправедливости его претензий я послал ему уже готовые переводы его стихотворений.

Я надеялся, что он раскается в своем необдуманном поступке. Но напрасно я ждал от него письма; и между нами все было кончено. Больше я его уже никогда не видел.

РИХАРД РЕЙНГАРДТ

ИЗ ПИСЬМА КАРЛУ МАРКСУ

Париж, 23 июля, 1851

Гейне, которому я передал Ваш привет, не нашел ответить ничего другого, кроме как сказать, что «по чистой случайности он еще не умер». И действительно,

¹ Переводчик — предатель (*ит.*).

он медленно угасает, хотя среди всех страданий выпадают порой мгновения, когда он способен создавать такие же шедевры, как и прежде.

ГЕОРГ ШПИЛЛЕР ФОН ГАУЭНШИЛЬД

20 — ок. 28 июля 1851

ПО СООБЩЕНИЮ ЮЛИУСА КАМПЕ

(* 3.9.1851)

Некий весьма импозантный и дородный господин с круглой головой, чрезвычайно выразительными глазами, тщательно повязанным галстуком белого цвета и в наглухо застегнутом сюртуке твердым шагом проследовал на днях от отеля Валуа до жилища Гейне. Господин этот был уже немолод, волосы у него были заметно тронуты сединой, но лицо оставалось гладким и свежим, а движения быстрыми, так что он безо всякого труда одолел лестницу.

Затем он позвонил у дверей. Появилась служанка.

— Je voudrais bien parler à Monsieur Heine.

— Ah, Monsieur Heine est si malade, il ne peut pas parler à personne. Impossible, Monsieur, de vous annoncer.

— Mademoiselle, il n'y aura jamais de règle sans exception... Ayez la complaisance de lui présenter ma carte!

— Entrez, Monsieur!¹

Дверь распахнулась. Эту входную дверь от той, что вела в комнаты, отделял коридор, который можно было миновать, сделав всего лишь один шаг. Это маленькое пространство, преодолеваемое в одно мгновение, как бы символизировало вереницу лет, скачок от высшего благополучия и радостного наслаждения жизнью, от непринужденного, всегда готового и никогда не бывшего мимо цели остроумия, отличавшего Гейне, к нынешним страданиям, к тому упадку духа, к той перемене взглядов, которая вот уже три года занимает умы фельетонистов.

Этот один шаг был сделан.

Больной полупривстал на своем ложе и протянул входящему правую руку, пальцами левой он в то же

¹ Я хотел бы поговорить с господином Гейне. — Ah, месье Гейне так болен, он не в силах ни с кем разговаривать. Я не могу доложить о вас. — О, мадемуазель, ведь не бывает же правил без исключений... Окажите любезность, передайте ему мою карточку! — Входите, месье! (фр.)

время приподнимал веко над левым глазом. Рука его была теплой на ощупь и вполне нормальной, она даже не стала более костлявой. Словом, Гейне казался далеко не так болен, как о том говорили.

— Очень хорошо, — начал поэт, — хорошо, дорогой мой Кампе, что вы наконец-то пожаловали ко мне.

С этими словами он сердечно пожал руку своему издателю, которого так превосходно воспел в «Зимней сказке».

Кампе для начала должен был освободиться от множества приветов, после чего ответить на такое же количество вопросов со стороны «смертельно больного», который с каждой секундой становился все оживленнее и благодуще.

— А моя матушка, как поживает моя матушка? — неоднократно спрашивал он.

Я знаю людей, которым подобная привязанность «бессердечного насмешника» может послужить тяжким укором; знаю, правда, и таких, которые, возможно, просто не в состоянии будут понять, что у автора «Салона» вообще есть мать.

Текли часы живейшего общения, обмена мыслями, и каждый новый поворот доказывал, что Гейне не только вполне сохранил свои умственные способности, но и что его телесная немощ (мы не скажем: его физическое страдание) сильно преувеличена туристами. Изменился он лишь в одном отношении, но эта перемена была к лучшему. Все, кто ранее с ним общался, жаловались на его переменчивость, он был неудержим, поспешно перескакивал с одного предмета на другой, теперь же он с превеликой охотой погружался в любую тему, представлявшую интерес. Словом, скорее можно утверждать, что он достиг более высокой степени мужественной зрелости, нежели что он растерял свою мужественность, идя на уступки религии. Да и свою старую манеру нанизывать шутку на шутку, остроту на остроту он тоже сохранил, он изъясняется почти сплошными остротами. Кампе, который благодаря многолетнему общению досконально его изучил, верно, поостерегся давать пищу нервической возбудимости поэта. Он обращался с ним как с вполне здоровым человеком, да и впрямь имел дело с таковым, в той мере, в какой паралич спинного мозга это допускает.

Можно получить представление о длившейся в течение целой недели беседе, если послушать, каким образом издатель добывал у поэта новую рукопись.

— Вы много работаете, — сказал Кампе, — а там, где работа идет непрерывно, что-то рано или поздно долж-

но прийти к завершению. В Германии мы сейчас увлекаемся повальными обысками, вот и я хотел бы поглядеть, не стоит ли устроить подобный обыск в Париже, у Генриха Гейне.

— *Scelerate Casca, quid moliris?*¹ Известно ли вам, что я вот уже который год только и тружусь что над развалинами «Книги песен»?

— Нет, тут *ваши* труды не могут потягаться с моими, кто, как не я, велел набрать этот текст и совсем недавно издал в богатом оформлении? Меж тем меня порадовал бы успех нового замысла, который, возможно, возместил бы мои потери. Короче, выкладывайте!

— Ну так и быть, вы могли бы получить новый том стихотворений, но при условии, что вы щедро его оплатите, ибо...

— Если вам непременно хочется слишком туго натягивать струны, оставьте лучше свою бумагу при себе, порой и золото может оказаться слишком дорогим.

Эта сцена кончилась тем, что Гейне со смехом вскричал:

— Даже великий классик Гете за свою жизнь за все свои стихи не получил столько! А я, бедный больной человек, никакая не светлость и вдобавок прикованный к постели, так лихо обвел вокруг пальца старого плута.

ЭДУАРД ФОН ФИХТЕ

31 авг. 1851

ИЗ СТАТЬИ О ПОСЕЩЕНИИ ГЕЙНЕ

(* дек. 1858)

Когда в 1851 году я оказался в Париже, среди моих планов, связанных с этой поездкой, желание познакомиться с Гейне не занимало никакого, даже самого ничтожного места.

Вдобавок осуществление этого желания уже загодя представлялось мне крайне затруднительным, а на месте выглядело и вовсе безнадежным. <...> Умышленное бегство от людей, которое я угадал в этом парижском уединении поэта, и угадал верно, как признался мне впоследствии он сам, отнюдь не побуждало меня осуществить свой замысел, тем более что

¹ Каска преступен, но что поделаешь? (*лат.*)

для этого у меня не было никаких серьезных оснований, если не считать устных приветов от одного старого знакомого да от нескольких юных поклонниц поэта, которые с радостью ухватились за возможность анонимно передать умирающему Аристофану знаки своей благосклонности и снабдили меня на сей счет всяческими полномочиями, не преминув, однако, выразить надежду, что столь взысканный их милостями адресат вознаградит их за добрые намерения драгоценными автографами своей знаменитой руки.

Как видите, перспективы у нас были отнюдь не блестящие, но внезапно, благодаря приезду одного преклонных лет ученого, которому мы за время его краткого пребывания в Париже сумели оказать кое-какие услуги, дело приняло иной оборот. Профессор сей, некогда поддерживавший с Гейне весьма близкие отношения, намеревался его посетить, и было бы непростительным грехом не присоединиться к нему при этой okazji. В ответ на письмо, предвавшее наш визит, последовало самое сердечное приглашение, и вот ясным осенним днем около полудня мы отправились в наше паломничество на улицу Амстердам, номер 50-й, где неподалеку от Версальского вокзала квартировал Гейне. <...>

Достигнув своей цели, мы вступили во двор, окруженный стенами прочих домов, и, дабы попасть к нему, поднялись по весьма узкой лестнице в задней части дома на третий этаж. Квартира у Гейне более чем скромная, но уютная и удобная, благодаря своей тишине она вполне подходит для больного. Маленькая, невзрачного вида горничная отнесла в комнату наши карточки, оставив дверь приоткрытой. За дверью болезненный надломленный голос отдавал какие-то распоряжения, там на скорую руку что-то прибирали, затем нас пригласили войти. В маленькой, с двумя окнами, комнате, за высокой зеленой ширмой лежал Генрих Гейне. Простая мебель, стены украшены гравюрами с картин Робера, посвященных жизни рыбаков и сбору урожая.

Мы подошли поближе к постели, и глубокое сострадание охватило нас при виде несчастного. <...> Он лежал на низкой кровати, укрытый тонким одеялом, под которым отчетливо угадывалось положение всего тела. Оно было несколько повернуто вправо, ноги же, сильно согнутые, под собственной тяжестью опустились влево, неподвижные и безжизненные; он лежал в позе, которую долгое время может выносить лишь человек, разбитый параличом. Верхняя часть туловища,

руки и лицо сохраняли подвижность, вот только глаза были закрыты безжизненно обвисшими веками; когда ему хотелось взглянуть на нас, он закидывал левую руку над головой и приподнимал правое веко, из-под которого выглядывал тусклый, желтый глаз, после чего веко само собой снова опускалось. В этом движении было нечто в высшей степени болезненное и даже жуткое.

Физиономия Гейне имела черты привлекательные, облагороженные страданием, лицо было удлинённой формы, в нем заметно угадывался восточный тип и что-то по-юношески незавершенное, но в резком контрасте с этой незавершенностью было выражение глубокой истомы и болезненности <...>. Руки и рот поэта поражали высокой красотой. Эти изящные белые руки, аристократически узкие, мягких форм, скупыми и выразительными жестами сопровождали речь поэта и довершали впечатление тонко чувствующей, одухотворенной натуры. Труднее было бы описать нежно очерченные и в то же время сочные губы, которые, смыкаясь красивыми дугами, вырисовывали великолепный рот <...>.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

1851

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

Передо мной, словно бутоны, постепенно раскрывались восхитительные страницы «Романсеро». Как бы рассказывая свой сон, автор увлеченно описывал эльфов, русалок и гномов, которые прятали перепончатые лапки под длинными красными мантиями.

— Чтобы не огорчать их, я притворился, будто я их не заметил.

Говоря так, Гейне строил самые диковинные гримасы, взмахивал своими бледными, нежными, исхудалыми руками, единственной частью его существа, которая еще не была скована болезнью. Я так и не могла понять, что он имел в виду, говоря о снах, — был ли то результат нервного возбуждения, частого спутника бессонницы, или же часть этих чудес, поведенных мне и ставших потом прелестнейшими страницами его книг, действительно являлась ему во сне. Порою видения его бывали комичны. Однажды утром, когда я пришла к

нему, он сгорал от нетерпения, желая рассказать мне только что увиденный сон: необыкновенные скачки с препятствиями.

— Представьте, — сказал он, — только что я видел, своими глазами видел скачки, на которых присутствовал весь Париж; и в них принимали участие не кто иные, как господа Тьер, Гизо и Кузен, каждый верхом на страусе. Но не в костюмах жокеев, как предписывает хороший вкус, — добавил Гейне со всей серьезностью. — Господин Тьер был в генеральской форме, господин Гизо — в своем фраке, застегнутом на все пуговицы, с тиарой на голове, вместо хлыста он размахивал епископским посохом, а господин Кузен был одет немецким философом. И все же я узнал его, в ту же минуту, как он мне приснился!

Тут он умолк, сооротив преуморительную гримасу. Потом продолжал с громким смехом:

— Знаете, маленькая фея, если бы такие скачки должны были состояться наяву, я вылез бы из кровати, чтобы увидеть этих троих наездников, несущихся на страусах!

— Дорогой Гейне, — отвечала я, — ваши антипатии остаются неизменными даже во сне: вы, по-видимому, все еще испытываете живейшую неприязнь к господину Кузену.

— Но согласитесь сами, маленькая фея, что полу-философ верхом на страусе... — Тут на него снова напал смех. — Да, — продолжал он, — память у меня хорошая. Как сейчас вижу физиономию знаменитого профессора на одном вечере у княгини Бельджойозо: когда объявили, что ужин подан, он ринулся вперед, натываясь на кресла и расталкивая гостей, чтобы галантно предложить руку хозяйке и проводить ее к столу. О, до чего же забавная физиономия сделалась у этого дамского угодника, когда княгиня с чарующей улыбкой и прелестными ямочками на щеках наотрез отказала ему, сказав мелодическим голосом: «Извините, господин Кузен, ведь вы же не захотите поссорить меня с Россией», — и, повернувшись к русскому послу Поццоди Борго, оперлась на его руку. О, это был жестокий урок хорошего тона! Я был при этом, и это одно из лучших воспоминаний моей молодости.

Дав ему вволю позлословить, я постаралась перевести разговор на дальние страны, куда он уносился в своих ночных грезах, в то время как его бесчувственное тело оставалось неподвижным; и какие же чудесные рассказы доводилось мне тогда слышать. <...>

Терпение и мужество больного были неиссякаемы, но болезнь его все усиливалась. Гейне сознавал всю тяжесть своего положения и не терял присутствия духа; он попросил моего мужа быть его душеприказчиком и порекомендовать ему нотариуса, которому он мог бы доверить составление завещания под диктовку.

В то время мы часто говорили о печальном, и однажды больной вновь изъявил настойчивое желание быть похороненным в полном молчании и в соответствии с тем, как он жил, — *без всякой церковной церемонии.*

— Обо мне расскажут мои произведения, и этого будет достаточно! И потом, вы же знаете, дорогой друг, что я не дорожу литературной славой. Нет, я храбрый боец, поставивший свою силу и талант на службу великой семье человечества. Если захотите, можете положить на мою могилу крест-накрест пращу и лук.

— С меткими стрелами? — тихо произнесла я.

Он улыбнулся.

— Вас я попрошу, пожалуй, принести туда только веточку резеды. Вы ведь помните, дорогой друг, что именно этот цветок подарила мне маленькая Вероника?..

— Да, а еще я помню, что слышала только начало рассказа об этой детской любви.

— Надо наконец признаться: этот пролог, собственно, и заключает в себе всю историю. Подымаясь на гору, девочка вертела в руке цветок, веточку резеды. И вдруг поднесла ее к губам, а затем дала мне. В следующем году я примчался туда на каникулы. Но маленькая Вероника умерла! С тех пор воспоминание о ней жило во мне всегда, при всех сердечных бурях. Почему? Каким образом? Разве это не странно, не загадочно? Иногда, размышляя об этой истории, я ощущаю такую боль, словно вспомнил о большом несчастье.

Оба мы умолкли. И воспоминания, и сегодняшний день — все говорило о смерти. Мне захотелось перевести разговор на другую тему, но я не слишком преуспела в этом. Машинально разглядывая комнату, я впервые заметила странное приспособление из веревок, наподобие стремени, прибитое к стене над изголовьем постели. Я спросила, что это за новшество.

— О, это такое гимнастическое изобретение, якобы для того, чтобы я мог упражнять правую руку. Однако, между нами говоря, думаю, что это скорее приглашение к самоубийству: особая любезность моего доктора.

Подумать только, — продолжал Гейне, — находятся болваны, которые восхищаются моим мужеством, моим упорным желанием жить. А приходилось ли им думать о том, каким способом я должен уйти из жизни? Я не могу ни повеситься, ни отравиться, ни тем более пустить себе пулю в лоб или выброситься из окна; так что же, уморить себя голодом? Фу! Такая смерть противоречит всем моим принципам. Нет, кроме шуток, вы должны признать, что человек волен сам выбрать способ убить себя или вообще не связываться в это дело.

МАКСИМИЛИАН ГЕЙНЕ

Вторая половина июля 1852

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1868)

Среди множества визитеров, навещавших моего брата на одре болезни, не было недостатка в заядлых демагогах и особенно в поляках, которые *приписывали* ему суждения и высказывания о России, решительно для него невозможные. <...> Шантажевич, Попрошайский и преславный пан Ослинский вовсе не были лишь порождением его творческой фантазии.

Я не упускал ни единой возможности, чтобы просветить моего брата касательно России *настоящей*, а не такой, какой пытались представить ему и всему свету ее блудные сыны.

Он с большим интересом выслушивал мои рассказы об этой гостеприимной стране, которую я с такой любовью заключил в свое сердце. По-братски радостно он слушал мои рассказы о моей личной жизни, о том, почему я так безгранично полюбил чуждый филистерству общительный Петербург с его социальным устройством и как я провел там не одно десятилетие в веселом и здоровом состоянии духа.

Более всего расспрашивал он меня о подробностях зимней жизни, и тут можно было много чего порассказать о всевозможных балах, вечерних приемах, пикниках, маскарадах, театральных представлениях и тому подобном, так что он часто, развеселясь, перебивал меня восклицанием: «Выходит, ты все время хватался то за один коровий хвост, то за другой!»

Тут, для лучшего понимания этого несколько грубоватого выражения, я должен пояснить, что на студенче-

ском жаргоне «*коровьим хвостом*» называлась танцелька самого непринужденного свойства.

Когда геттингенского студента приглашают на вечер с танцами или тому подобное увеселение, его никогда не называют иначе, как «шикозный коровий хвост».

Мне и по сей день радостно вспоминать, что бесхитростные истории из моей жизни в России часто забавляли моего дорогого брата и, несмотря на физическую боль, вызывали у него веселый смех. Сердечным пожатием руки он нередко благодарил меня за эти часы простодушного веселья, которые доставляли ему столько удовольствия, не доставляя больших волнений. Со вздохом признавался он мне, до какой степени его изнуряют многочисленные визиты чужих любопытствующих людей.

В последнее утро, когда я зашел к нему попрощаться, он внезапно вырвал из какой-то книги белый лист и торопливым почерком набросал на нем стихотворение, которое затем прочел вслух и вслед за поцелуем и прощальными объятиями с горестной улыбкой вручил мне:

МОЕМУ БРАТУ МАКСУ

Макс! Так ты опять, проказник,
Едешь к русским! То-то праздник!
Ведь тебе любой трактир —
Наслаждений целый мир.

С первой встречною девчонкой
Ты под гром валторны звонкий,
Подлитавры — тра-ра-ра! —
Пьешь и пляшешь до утра.

И, бутылок пять осия, —
Ты и тут не простофиля, —
Полон Вакхом, как начнешь,
Феба песнями забудешь!

Мудрый Лютер так и рубит:
Пейте! Лишь дурак не любит
Женщин, песен и вина, —
Это знал ты, старина.

Пусть судьба тебя ласкает,
Пусть бокал твой наполняет, —
И сквозь жизнь, справляя пир,
Ты пройдешь, как сквозь трактир ¹.

Генрих Гейне
Париж, 20 июля 1852

¹ Перевод В. Левика.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

1867

«Monsieur Heine est bien mal aujourd'hui, mais cependant dites votre nom, monsieur»¹. Она ушла с моим именем внутрь квартиры. «Господин Вилле! — донеслось до меня, когда она снова отворила дверь. — А ну давайте его сюда!» Понадобилось несколько секунд, чтобы мой глаз освоился с темнотой комнаты, где ставни были закрыты, и различил сперва ширму, из-за которой доносился до меня глухой, но довольно громкий голос, а потом и предметы позади ширмы. Скорбное зрелище! Более чем скорбное, ужасающее, ибо прежде всего я увидел голову без туловища, весьма похожую на ту «говорящую голову», коей обычно завершают свое представление владельцы балаганов, странствующие с одной ярмарки на другую. Именно голова — напоминающая ту, парижскую, что Китц высек на камне, наиболее известный образ Гейне, — с почти закрытыми глазами и отросшими волосами; она производила впечатление головы, отделенной от тела, ибо само тело настолько уменьшилось и усохло, что почти не приподнимало ровную гладь легких белых одеял, укрывавших его просторное, довольно высокое и приподнятое в головах ложе. Потому казалось, будто голова сама по себе лежит на столе. Но если бы даже остов и члены действительно исчезли, как у того возлюбленного утренней зари, которому богиня, исхлопотав бессмертие, позабыла испросить вдобавок вечную молодость, голова продолжала жить, полная неиссякаемой молодости, поэзии и юмора; и пусть сочлененное с ней умирающее тело вот уже много лет посылало ей лишь содрогания все новых смертельных мук, именно из нее, свидетельствуя о несокрушимой мощи таланта, вышли, в радости или в боли, в преодолении боли или в насмешливом задоре жизни, искрометные образы «Романсеро», и именно из нее как раз в те дни возникли новые образы в дивных облициях, из которых лукаво выглядывали глаза древних языческих богов, да, как раз в те дни в том самом году увидели свет «Les dieux en éxil», «Боги в изгнании».

¹ Господин Гейне сегодня не совсем хорошо себя чувствует, однако назовите ваше имя, месье (*фр.*).

Когда я подошел к ложу, дрожащая рука силилась приподнять веко, тогда как другая, судорожно перебирая пальцами, силилась отделиться от покрывала для рукопожатия.

АЛЬФОНС ТРИТТО

ИЗ ПИСЬМА ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 1 февр. 1854

Я только что побывал у господина Генриха Гейне и нашел, что физически он очень страдает, но духовно вполне бодр. Голос его по-прежнему звучен и звонок, но он крайне исхудал и выглядит совершенно изможденным. Он пожаловался на слабость зрения. Он лежал в постели за ширмой, в жарко натопленной комнате. Сперва он вел себя очень сдержанно, ибо еще не успел прочесть Ваше последнее письмо, потом стал приветливее, завел со мной разговор о религии, политике, а под конец—о своих еще не рожденных книгах и о своих договорных отношениях с Вами. Поскольку я не могу передать Вам его слова в точности, а лишь впечатление, которое они на меня произвели, я рискую ошибиться в трактовке его тона и потому прошу Вас хранить в строжайшем секрете мое сообщение, а также ничего не писать г-ну Гейне до моего возвращения в Гамбург.

Должен также добавить, что я ни единым словом не обмолвился о том, что уполномочен Вами вести с ним переговоры по издательским вопросам, но я выслушал исповедь господина Гейне, поскольку он сделал это вполне добровольно. Сперва он посетовал, что между вами обоими возникли известные недоразумения, что его брат в Вене решил напустить на себя важность, что брату из Петербурга он поручил вести с Вами переговоры касательно издания его ранних произведений, но теперь взял свое поручение назад, что, именно радея о Ваших интересах, он крайне сожалел, когда Вы отвергли его предложение, и что, вероятно, все было бы куда как легко уладить, получи он возможность хоть несколько минут поговорить с Вами. В своей речи он вскользь упомянул о том, как его обхаживал Котта, стремясь заключить с ним договор, и о том, какой это был бы урон для Вас, лишись Вы возможности издать *полное собрание его сочинений*, ибо в таком случае Вам недоставало бы произведений, вышедших у Котта, о том, что, при его благородном образе мыслей он

решительно не способен обвести Вас таким образом вокруг пальца к вящей радости всех книготорговцев. Затем он обиняком дал понять, что в случае его внезапной смерти все бумаги тотчас станут собственностью его семейства, а поскольку семейство к Вам не расположено, оно никогда не доверит Вам издание. Далее он попробовал бить на жалость, заявив, что в последние годы потерпел много убытка, что он не получил наследства, на которое рассчитывал, а теперь рискует понести еще большие потери, хотя уже смирился с тем, что Вы не приняли его последнее предложение (6000 марок наличными за ранние прозаические произведения). Наконец, он дал понять, что располагает изрядным количеством еще не приведенных в порядок рукописей, которые остались лишь окончательно отшлифовать. Он говорил о своих «Мемуарах», работу над которыми только что завершил, которые, по известным Вам причинам, то есть из религиозных, а также семейных соображений были частью сожжены, частью переданы третьему лицу, и получить их от этого третьего лица назад решительно невозможно. Его «Мемуары» призваны отобразить историю его становления, развитие и прогресс его идей, его отношение к литературе и к философии Германии и тому подобное, тем самым они представляют большой интерес: они раскроют всю глубину его духа, они приподнимут завесу над тем, что творилось за кулисами, в то время как стихи и проза, подобно актерам, открыто лицедействовали на сцене. Он уже начал основательно перерабатывать эти «Мемуары» и так много успел, что не далее как через год сможет издать отдельный томик.

Далее, у него наберется на томик стихотворений, написанных карандашом, которые надо сперва привести в порядок. Но он не желает, чтобы эти стихи были опубликованы при его жизни, ибо не хочет неприятностей от властей предрержащих. Относительно гонорара он уговорится с Вами, когда рукопись будет окончательно готова, а по получении денег отправит ее Вам в запечатанном виде. Если он доживет до будущего года, он успеет доделать эту работу.

А на сей день он хотел бы сделать Вам следующее предложение:

Он намерен, как это мог бы сделать русский царь, уступить в главном и спасти лишь форму, иными словами, он желает получить с Вас наличными ранее затребованную сумму в 6000 марок и ни одним су меньше, он же, со своей стороны, доставит Вам вдвое больше, чем посулил. Когда наша беседа приняла чисто

деловой характер, я, полагая, что еще смогу быть Вам полезным за время своего пребывания в Париже, напрямик попросил его конкретно перечислить, что именно он Вам намерен предоставить. Он отвечал, что за упомянутую сумму готов раз и навсегда уступить Вам все права на следующие прозаические произведения:

1. Примерно десять листов «Признаний», что можно рассматривать как преддверие его «Мемуаров».

2. «Богов в изгнании» в первоначальном варианте с вычеркнутыми прежней цензурой местами.

3. Пантомиму в духе «Фауста» под названием «Диана».

4. Статьи, не принятые ранее в аугсбургскую «Всеобщую газету», к примеру о различных теориях уголовного права (Гейне как философ права — ну не смешно ли!).

5. Лучшие статьи из опубликованных ранее во «Всеобщей», например, об искусстве и прочие статьи, имеющие непреходящее значение, среди них на политические темы, к примеру, о расцвете парламентского периода, нашедшего свое выражение в кабинетах Тьера и Гизо (Гейне как политический писатель равен нулю, давно отстал и не понимает основной политической тенденции нашего времени. Я убежден в этом, хотя и не читал упомянутой статьи, которая явно не имеет непреходящего значения, а послужила лишь эфемерным кормом для укрепления проавстрийской ориентации названной газеты).

6. Половину книги «Женщины и девушки Шекспира» в новой переработке, поскольку он выкупил издательские права.

На мой вопрос, не угодно ли ему будет, если Вы возьметесь за это издание, присовокупить к составу несколько отделанных стихотворений, он отвечал отрицательно, скорей всего опасаясь, что лишит остроты либо аромата томик написанных карандашом стихотворений, которые он разрешил публиковать лишь после своей смерти.

Первоначально Гейне предполагал выдать для печатания два или три тома, каждый — на двадцать листов. Но под конец он изменил свое намерение и сказал, что лучше составит два очень объемистых тома, ибо материал очень обширен.

Я пообещал Гейне, что еще сегодня доведу до Вашего сведения деловую часть нашей беседы и, если успею получить от Вас ответ, еще раз зайду к нему перед отъездом. Касательно договорных отношений

между Вами и ним, добавил я, если только мне не изменяет память, Вы как-то при случае рассказали мне, что, согласно договору, Гейне вообще обязан передавать все свои произведения для печатания в издательство «Гофман и Кампе». На это Гейне отвечал, что по договору Вам принадлежит лишь *преимущественное* право на приобретение, он же волен распоряжаться своими произведениями как пожелает, если Вы откажетесь выплатить требуемый им гонорар.

Если Вы предпочтете, чтобы я не мешался в это дело (так, может быть, всего разумнее), напишите мне, тогда я скажу Гейне, будто не получил от Вас никакого ответа на его предложение. А может, наоборот, я должен что-то сделать? Но тогда мне нужны подробные инструкции. Я пробуду в Париже от силы еще неделю.

Если же мне надо будет наставлять Гейне в правовых вопросах и зачесть ему параграф о святости договорных отношений, снабдите меня поскорей *копией* Вашего с ним договора.

ФИЛИБЕР ОДЕБРАН

Нач. апр. 1854

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 1892)

В этом письме <Александру Дюма, от 28 марта 1854 года> <...> Генрих Гейне говорил главным образом о двух вещах: о зеленом попугае, который нес дежурство у его постели, и о том, что его прекрасная Матильда желает получить автограф автора «Антони». Поскольку первопричиной этой переписки был я, Александр Дюма поручил мне и одному из своих секретарей, Эдмону Вьейо, посетить немецкого поэта и передать нужную ему рукопись.

В то время Гейне жил на улице Амстердам в четвертом этаже большого дома—кажется, одного из тех, что ближе к улице Лондр. В Германии корреспондента «Аугсбургской газеты» часто и несправедливо обвиняли в том, что он живет как сибарит, в разорительной роскоши. Но ничего такого мы не заметили. Когда мы пришли, служанка ввела нас в квартиру достаточно удобную, но несколько не похожую на дворец сатрапа. Вскоре к нам вышла госпожа Гейне, очень обрадованная тем, что ей принесли автограф, и провела нас в соседнюю комнату—маленькую комна-

тушку, где остроумный больной беседовал со своим попугаем.

В тот момент говорили оба — и поэт, и болтливая птица. Кажется, они поспорили.

— Если бы тебя знал Диоген, — воскликнул не на шутку рассерженный Гейне, — то для того, чтобы высмеять платоника, он привел бы в пример не ощипанного петуха, а тебя.

И бросил птице шарик из промокательной бумаги, чтобы она схватила его клювом и не смогла ответить.

Десять лет не видел я того, кого назвали *последним* из немцев. Был ли это еще тот самый человек? Страдания совершенно изуродовали его. Он лежал, вытянувшись на железной кровати, и мог приподняться только с помощью приспособления, вроде тех, что мы видим в гимнастических залах у ортопедов. Десять толстых шнуров, закрепленных на потолке, висели возле его рук, чтобы он мог ухватиться за них, если захочет пододвинуться или переменить положение. Тяжелее всего было смотреть на это некогда прекрасное лицо: худоба и свинцовая бледность исказили его безупречно правильные черты. Каждого, кто видел эти багрово-красные, полузакрытые глаза, охватывал глубокий ужас.

Сообщили о нашем приходе. Услыжав это, он заговорил с нами, стал благодарить; голос его не утратил благозвучности. Особенно любезен он был со мной, выражая признательность за то, что я, как он сказал, не дал забыть о нем. Я очень желал бы продлить это свидание, но бедняге, очевидно, не хотелось, чтобы его подолгу видели в плачевном состоянии, вызванном болезнью; пожав протянутую мне руку, я попрощался, и мы с Вьейо направились к двери.

— Ваша «Миртовая ветвь» навела меня на одну мысль, — сказал мне Гейне, — я собираюсь написать нечто в этом духе. Когда вещь будет готова, я пошлю ее Александру Дюма.

Конечно же, он ничего не послал, ничего не написал.

ЭРНСТ КОССАК

Июнь 1854

РАССКАЗ О ПОСЕЩЕНИИ ГЕЙНЕ

(* 17.7.1854)

Тому назад несколько недель Генриха Гейне навещил очередной соотечественник. Поэт по-прежнему лежит в закрытом для дневного света помещении,

удушливая атмосфера которого — поскольку проветривают там крайне редко — бьет в нос каждому, кто приходит со свежего воздуха. Каждое утро в специально открытую рану у него на затылке засыпают дозу морфия, чтобы держать боли в границах терпимого. Усиленный рацион поддерживает силы больного. По утрам ему подают теплый напиток, приготовленный из смеси молока, шоколада и риса, к обеду — жареную дичь, отбивные из телятины, легко усваиваемые овощи и тому подобное. Бутылка хорошего бордо в течение дня поддерживает в нем бодрость духа. Рядом с его постелью лежит стопочка нескрепленных листков в одну восьмую формата и десятка два заточенных фаберовских карандашей. Когда Гейне чувствует в себе достаточно сил и бодрости для работы, он исписывает эти листочки жирными, в полдьюма величиной буквами, и если очередной карандаш затупится, он его меняет. Гейне поведал нашему соотечественнику, что совсем недавно он оказался в силах проработать *пять часов подряд*. Когда последний полюбопытствовал, не принимает ли он все это как милость божью, Гейне, верный своему характеру, отвечал так: *«Милосердный бог проделывает надо мной всевозможные эксперименты, однако я предпочел бы, чтобы он избрал для этой цели кого-нибудь другого»*. На прощанье Гейне попросил друга еще раз навестить его перед отъездом из Парижа, ибо мало вероятно, что им еще когда-нибудь доведется увидеться. Но друг был так потрясен восковой бледностью этого мертвого лица с седой щетиной на подбородке и всем этим могильным антуражем, что предпочел попрощаться с несчастным лишь письменно.

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

Нач. авг. 1854

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

Сидя у окна в креслах, как показывает его портрет <Китца>, Гейне проводил обычно первую половину дня. Бювар лежал у него на коленях, и он писал карандашом на разрозненных листках свои стихи и свою покамест неизвестную миру многотомную книгу мемуаров. После его смерти, надо полагать, были обнаружены целые стопки этих бумаг, ибо писал он размашисто, большими буквами и лишь на одной

стороне листа. Причем все написано его рукой, ничего под диктовку, кроме писем, — секретарь брал на себя лишь переписывание набело. Когда больной уставал от работы или был не в должном настроении, фрау Матильда читала ему вслух. Она прочла ему все без исключения романы Александра Дюма, ибо Гейне любил и высоко ценил этот живой, плодотворный и изобретательный ум, находя в его легко написанных книгах приятнейшие для себя отвлечения. Однако большую часть отведенных чтению часов занимали произведения более серьезного жанра. Это были отнюдь не труды, близкие ему по теме как художнику и поэту, — здесь не следует строить догадки насчет философии искусства либо истории литературы, — нет, это были произведения, имеющие удручающую связь с его страданиями. За последние годы он доскональнейшим образом изучил всю физиологию, анатомию и патологию своей болезни; труды Гессе, Альберса, Андраля и прежде всего Ромберга стали для него настольными книгами. Но, верный своей привычке, он и здесь подсмеивался над собственными познаниями. «Мои занятия, — говаривал он, — навряд ли много мне помогут. В лучшем случае я смогу читать на небе лекции, дабы втолковать слушателям, как плохо земные врачи умеют справляться с размягчением спинного мозга».

А одному гостю он как-то шутя сказал: «Мои нервы настолько расшатаны, что, без сомнения, на выставке они получили бы большую золотую медаль за боль и муки».

РИХАРД РЕЙНГАРТ

ИЗ ПИСЕМ ЮЛИУСУ КАМПЕ

Париж, 7 окт. 1854

Придя сегодня к господину Гейне, я нашел его столь возбужденным из-за воспаления миндалин, а также из-за всевозможных неурядиц, связанных с его беспокойными соседями, что он оказался даже не в состоянии продиктовать для Вас письмо, да и все равно это письмо не успело бы вовремя попасть на почту, а посему он просил меня сей же вечер написать Вам от его имени. Речь все еще идет о недостойном поведении аугсбургской «Всеобщей газеты», о чем он уже недавно

писал Вам и что должно быть представлено в истинном свете в глазах публики. До сих пор я скрывал от господина Гейне, к сколь гнусным выражениям прибегла, говоря о нем, эта газета как в примечаниях, так и в послесловии к извращенному и опошленному переводу статьи из «Ревю»; но он прослышал, что «Всеобщая», не удовлетворясь первым пасквилем, на днях опубликовала крайне резкую статью против него, а потому он просит немедленно переслать ему номер газеты, ибо раздобыть ее здесь чрезвычайно трудно. Между нами говоря, Вы спокойно можете отправить ему просимый экземпляр, ибо решительно все люди из его окружения пекутся о том, чтобы ему не зачитывалось ничего, могущего причинить ненужную обиду либо помешать в работе, а следовательно, у Вас нет причин опасаться действия пресловутой статьи, какими бы грубыми ни были употребляемые там выражения.

По поводу упомянутой отповеди против гнусности этой «Всеобщей» я сказал, что лучше, если протест будет исходить от Вас как от его издателя, ибо, если вдуматься, поведение газеты в большей степени затрагивает Ваши интересы, нежели его собственные. Он совершенно со мной согласился и через мое посредство просит Вас *немедля* поместить во всех более или менее значительных газетах Германии, сколько бы это ни стоило, статью о том, что Вы, то есть книготорговый дом «Гофман и Кампе», являясь издателем Генриха Гейне, привлечете «Всеобщую газету» к ответственности за нелояльное поведение, которое она проявила, перепечатав из «Ревю де де Монд» французскую версию статьи Генриха Гейне, иными словами, статью немецкого автора в искажающем ее суть обратном переводе, хотя само «Ревю» одновременно с публикацией сообщило, что оригинальный немецкий текст находится в печати у «Гофмана и Кампе» в Гамбурге и одновременно появится в Германии. Так отчасти и произошло, только официальное появление книги по случайности задержалось на несколько дней. Тем самым «Аугсбургская» с одной стороны ущемила интересы автора, переведя и исказив его мысли, хотя, разыгрывая добропорядочность, объявила, что якобы печатает статью в совершенно не измененном виде; с другой стороны, она ущемила интересы издателя, выдернув и переиначив куски из произведения, каковое является собственностью издательства, и тем уменьшив число потенциальных читателей, поскольку многие вообразят, что уже читали эту статью в «Аугсбургской газете». Тем самым Вы, «Гофман и Кампе», сочли себя

вынужденными с помощью всех доступных вам законных средств покарать подобное правонарушение со стороны «Всеобщей газеты».

После того как будет дан ход этому заявлению, не мешало бы вслед за ним опубликовать в тех же многочисленных газетах еще одно извещение, также от третьего лица, и в нем сообщить, что аугсбургская «Всеобщая газета», не удовлетворившись своим первым противозаконным поступком, направленным против «Гофмана и Кампе» как издателей и против Генриха Гейне как автора и заключавшимся в публикации недобросовестного и искаженного перевода его «Aveux»¹ из «Ревю де де Монд», намерена снова самым недостойным образом атаковать и чернить упомянутого поэта. По мнению одних, причина этой враждебности к Гейне заключается в судебной жалобе, поданной «Гофманом и Кампе» на недостойное поведение аугсбургской «Всеобщей», по мнению же других, кампания против Гейне, затеянная газетой, объясняется тем, что газета, быть может, негласно прознала, в какой откровенной, хотя и шутливой манере Гейне сам высказывается по ее адресу в печатаемой «Гофманом и Кампе» одновременно с «Признаниями» и уже отчасти вышедшей в свет «Лютеции»; вот почему редакция «Всеобщей газеты» решила подвергнуть Гейне за его непринужденные высказывания опережающим репрессиям и приложить все усилия, чтобы сразу по ее выходе дискредитировать книгу в глазах читающей публики.

Коль скоро Вы не сочтете нужным дать первое объяснение от своего имени, Вы можете, равно как и второе, опубликовать его в различных газетах как обычную газетную информацию. Необходимо только, чтобы обе эти публикации появились *безотлагательно*, дабы «Всеобщая газета», буде она продолжит свои выпады против Гейне, сразу же оконфузилась. Каждый день промедления станет днем урона как для него, так и — особенно — для Вас; распушенность «Аугсбургской» столь велика, что, будучи представлена в должном свете, наверняка возмутит читающую публику и тем внесет неоценимый вклад в успех книги.

Признаюсь, что лично я был бы очень доволен, если бы удалось полностью исключить Гейне из участия в этом малоприятном деле; в настоящее время он по горло занят серьезной работой, и не хотелось бы, чтобы он разменивался на мелочи подобной полемики.

¹ «Признания» (фр.).

Еще я вспомнил, что Гейне просил меня передать Вам, чтобы Вы познакомили с содержанием моего письма господина Детмольда из Ганновера, ибо тот вполне может присоветовать что-нибудь разумное.

Париж, 8 февр. 1855

Получив Ваше досточтимое письмо от 28 декабря, я до сих пор мешкаю с ответом, ибо не теряю надежды рано или поздно сообщить Вам что-нибудь приятное о Гейне. Но увы!—состояние его скорее ухудшилось, нежели улучшилось, поскольку к уже известным болям в гортани добавились спазмы в горле и в груди, более чем когда-либо затрудняющие его речь и влекущие за собой чрезвычайно болезненные, хотя и кратковременные приступы удушья. Я, правда, до сих пор не теряю надежды, что он выкарабкается из этой ужасной стадии своего заболевания, и мою надежду подкрепляет то обстоятельство, что, несмотря на все страдания, он твердо и нерушимо сохраняет редкостное присутствие духа и жизнерадостность; однако положение его наводит на раздумья. При этом он почти непрерывно работает над подготовкой французского издания своих сочинений, из которых два первых тома— заново переработанная и дополненная «*Allemagne*»— с включением расширенных благодаря очень удачным вставкам «*Признаний*» должны на днях выйти в свет. Теперь он всецело занят переработкой и переводом «*Лютеции*», которая выйдет следом, и, к сожалению, вынужден заниматься этим все время из-за опасности, что его опередят с другой стороны, сделав неудачный отбор и столь же неудачный перевод, чего вполне можно опасаться, если судить по угрожающим заметкам некоторых журналов. Помимо того, за последнее, очень мучительное для него время Гейне еще сочинил и начерно записал несколько стихотворений; однако разобравшись в его карандашных каракулях на отдельных листочках очень и очень непросто, я сумел переписать лишь два из них, которые он с дружеским расположением предназначил для Вашего маленького сына и беловик которых я прилагаю к своему письму. От газетной суеты в Германии Гейне теперь совершенно отошел, он предоставляет газетам верещать и голосить, нимало в то не вникая и даже не желая слышать, что там творится. Единственное, к чему кто-то сподобился привлечь его насмешливое любопытство, была реклама Венедя в приложении «*Кельнской газеты*» в ответ на стихотворение «*Кобес I*», и когда я раздобыл экземпляра

газеты и какое-то время назад вслух зачитал ему публикацию, мы вместе от души посмеялись над этими ухищрениями бессильной злобы и плохо скрытого тщеславия, а Гейне сопровождал чтение убийственными и очень смешными комментариями.

ЮЛИУС КАМПЕ

20 апреля 1855

ИЗ ПИСЬМА ЛУИЗЕ КАМПЕ

Париж, 21 апреля 1855

К Гейне я попал в два часа <20.IV>. К сожалению, как он сказал мне, у него выдался плохой день. Едва мы поздоровались и проговорили минут десять, как он настолько обессилел, что отправил меня домой и пригласил на завтра к одиннадцати часам. Я повиновался, но мне не хотелось уходить, не засвидетельствовав почтение мадам Гейне. «Она занята своим туалетом и не может принять». А между тем эта толстая, расплывшаяся особа, которая по полдню бегает взад и вперед чуть ли не в одной рубашке, накинув поверх нечто смахивающее на мешок, преспокойно сновала мимо. Мадемуазель Полина— вот что мне предложили взамен. Я развернул портрет Гейне, который привез в трех экземплярах, к нам присоединились еще три особы женского пола из числа прислуги, и началась долгая трескотня, пошли сравнения, как он выглядел три года назад и как *теперь*. Короче, Гейне в соседней комнате успел за это время оправиться и позвал меня опять к себе. Мы проговорили часа полтора-два. Его *ясность духа и жизненный тонус* остались неизменными, но сам *человек* разительно уменьшился. Сейчас он таков, что долго это не протянется. Зима ужасно его доконала. Он надеется на хорошую весну. Я тоже. Но если эликсир жизни так явно израсходован, на что уж тут надеяться? Если смотреть на вещи трезво, то можно ждать лишь самого худшего.

Когда меня отпустили вторично, я с полным правом предположил, что туалет должен уже быть завершен и мне позволят узреть лик Юноны, раз уж Юпитер дал мне долгую аудиенцию. Ничего подобного! Опять нельзя, «у ней голова так забита, она никого не может принять». То ли она переела за завтраком, то ли ей слава ударила в голову, то ли у нее был в это время гость более приятный. Раз я не совсем ей незнаком и не

совсем чужой, мне кажется здесь вполне дозволенным жирный вопросительный знак.

Гейне сказал мне, что две басни для Юлиуса уже переписаны набело. Он шлет самые нежные приветы своему юному другу. Меня же он осыпал комплиментами по поводу того, как энергично я выступил против перепечатчиков. Тот немецко-американский проходимец здесь покамест не появлялся. Гейне спрашивает, как по-моему, нужно ему принимать и выслушивать этого негодяя или не нужно? Может ли он сейчас написать предисловие или вступительное слово к американскому изданию? Я в этом очень и очень сомневаюсь.

АНРИ ЖЮЛИА

(1853?) 1855

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(ок. 1883)

Когда я увидел его впервые, он сидел в кресле посреди комнаты, спиной к свету. Он был в рубашке, а нижняя часть тела была укутана в синий халат на красной подкладке. Он писал. В правой руке он держал карандаш, в левой нечто вроде бювара или папки, на которой были разложены длинные широкие листы бумаги, и его необыкновенно нежная, но уверенная в движениях рука постепенно покрывала эти листы ровными строчками.

В своих «Мемуарах» он говорит о руке отца, тонкой, белой, аристократической руке. Его рука показалась мне выточенной не из мрамора, а из слоновой кости — рука истощенного Христа.

Он сердечно протянул мне эту нежную руку, как только меня ввели к нему, как только я сам сообщил о своем приходе. Он попросил меня взять стул. Но мне уже пододвинули кресло, я сел, а поэт внимательно посмотрел на меня, откинув голову назад и приподняв рукой правое веко. Видимо, он остался доволен осмотром, потому что на его губах сразу же заиграла доброжелательная, почти дружеская улыбка.

А я был огорчен. Я не думал, что здоровье его подорвано до такой степени, что страдания его так ужасны. Половина тела была уже полностью парализована, паралич распространялся и на другую половину. Левый глаз совсем ослеп, правый закрывало неподвижное веко, которое приходилось приподымать пальцами.

Левая нога отнялась; она была скрючена, согнута, и легче было сломать ее, чем выпрямить. Когда он лежал

в постели, это искривление ноги было особенно заметно. <...>

Он снова извинился за то, что позволил себе пригласить меня. Мы стали беседовать, как вдруг он страшно закричал от боли, и в ту же минуту вбежали госпожа Гейне с сиделкой; они подошли к камину, приготовили небольшой пластырь с морфием и поставили на шею больному, что, по-видимому, на какое-то время облегчило его страдания.

— Видите, какое у меня неблагодарное тело, — сказал он мне, — оно терзает меня, а я всегда только и думал, как бы доставить ему удовольствие.

Я собрался уйти, но он упросил меня остаться.

— Если бы я принимал гостей только тогда, когда у меня нет болей, здесь никто не бывал бы, — объяснил он мне, — это мое обычное состояние.

Все же я настаивал на том, чтобы прервать нашу встречу, и Генрих Гейне добился от меня обещания прийти на следующий день.

Во время своего первого визита я обращал внимание только на самого Гейне. Лицо его исхудало, но все еще оставалось молодым, во всяком случае для его возраста. Лоб его был великолепен, несмотря на слегка ввалившиеся виски; глаза казались зрячими даже тогда, когда веки полностью закрывали их. Они словно бы светились под этим покровом, точно огни маяка сквозь густой туман. В изогнутой линии его носа было нечто иудейское, а губы и подбородок, несколько обезображенные болезнью, скрывала небольшая редкая борода. <...>

(1847?) 1855

Однажды поэт вернулся домой совершенно подавленный: он едва мог передвигаться! Он рассказал мне, что ему по этому случаю посоветовали на время покинуть Париж и поселиться в Ницце. Я спросил, отчего же он не послушался этого совета.

— Я отвечу вам так же, как отвечал тем, кто дал этот совет. Нет такого теплого благоуханного воздуха, нет такого чудного края, на которые я мог бы променять этот зловонный туман, вызывающий у меня кашель. Поверьте: что бы там ни говорили беотийцы и Жозефы Прюдомы, истинно умный человек может жить и умереть только в Париже. Не спорю, воздух тут скверный, жизнь протекает слишком бурно; но тут вас окружает атмосфера, насыщенная мыслью, она проникает даже в самые недоступные, самые уединенные

жилища. Париж — это Жизнь и Вселенная в концентрированном виде. И пусть поэтому меня не уговаривают переехать в Ниццу или какой-нибудь другой уголок на юге. Пусть мне дадут умереть здесь. Изгнание убьет меня скорее, чем болезнь. Лишить Генриха Гейне воздуха Парижа — это все равно что вынуть золотую рыбку из аквариума.

(1841?) 1855

С госпожой Гейне бывало нелегко: она отличалась ревнивым характером. Генрих Гейне рассказал мне, как его жена однажды застала его врасплох, когда он собрался приятно провести время с Фризеттой. «Кто такая Фризетта?» — вероятно, спросите вы. Фризетта была молодая корсетница, которая появлялась у себя в мастерской, только когда не могла себе найти лучшего занятия. Обычно она прогуливалась в Латинском квартале, а вечером пленяла взоры пируэтами в «Саду Мабиль». Это была хореографическая знаменитость. Она соперничала с мадемуазель «Могадор» и «королевой Помарэ».

В тот день Гейне с женой обедали у Рашели. Великая артистка всегда обедала в три часа. Она позвала к обеду свою родню, ибо визит поэта был большим событием. Гейне удалился первым, как только пришло шесть: у него было важное свидание! Госпожа Гейне удалилась через непродолжительное время и, поскольку ее не тянуло домой, пошла вместе с Полиной скоротать вечер в «Театре веселого отдыха». Однако отдых получился отнюдь не веселый: стоило госпоже Гейне войти в зал, и что же она видит? Своего мужа в обществе знаменитой Фризетты! Сначала она решила затаиться и понаблюдать, но надолго ее не хватило, и вот она направляется к мужу.

Она не стала устраивать скандал, а только положила руку на плечо провинившегося и сказала:

— Знаешь, Анри, не думала я, что увижу тебя здесь!

Смущенный и взволнованный Анри не знает, что ответить; он словно окаменел. Жена уходит от него, он уходит от Фризетты; и вот оба бегут по коридорам, госпожа Гейне быстро направляется к выходу, муж пытается ее догнать. Он выбежал на улицу в ту самую минуту, когда она вскочила в фиакр. Этот забавный случай мне был рассказан каждым из супругов в отдельности.

— Меня обокрали, — смеясь, говорил Генрих Гейне. — Я истратил двадцать франков и не успел насладиться ничем — ни спектаклем, ни Фризеттой!

Однако в ту минуту он, если верить его жене, был сильно сконфужен. Размолвка продолжалась более двух месяцев. Она продолжалась бы дольше, если бы друзья не приложили все усилия, чтобы помирить супругов.

ЭЛИЗА КРИНИЦ («КАМИЛЛА ЗЕЛЬДЕН»)

Июнь 1855

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 1.4.1867)

Я познакомилась с Гейне в конце его жизни, и я давно уже знала его как литератора и поэта, когда впервые увидела его в лицо. Перед отъездом из Германии мне поручили передать ему несколько листов нот, посланных одним из его поклонников. Для верности я сама отнесла посылку на квартиру Гейне и, вручив ее, собралась уходить, когда в соседней комнате вдруг раздался резкий звонок. Служанка зашла туда, и я была поражена повелительным тоном, каким чей-то голос запрещал отпускать меня. Отворилась дверь, и я очутилась в очень темной комнате, где сразу же натолкнулась на ширму, обтянутую обоями под лак. За ширмой на довольно низкой кровати, вытянувшись, лежал тяжелобольной, полуслепой человек. Он выглядел еще молодым, хотя на самом деле это было далеко не так, и в прошлом, вероятно, был очень хорош собой. Вообразите улыбку Мефистофеля, которая порою мелькает на лице Христа — Христа, допивающего свою чашу. Он приподнялся на подушках и протянул мне руку, сказав, что очень рад встрече с человеком, пришедшим *оттуда*. Это трогательное *оттуда* сопровождалось вздохом и замерло на его устах, словно эхо далекой знакомой мелодии. Легко сдружиться, когда взаимные симпатии возникают у ложа больного, в соседстве смерти. Он рассказал мне о своем одиночестве, о своих страданиях, а я говорила с ним о нашей стране. Желая вызвать у него улыбку, я попыталась затеять шутливую ссору из-за его колких высказываний о братьях моего прадеда, двух критиках, современниках Гете и друзьях госпожи де Сталь. Надо же было

чем-то блеснуть в присутствии такого человека, и наша беседа его позабавила. Полчаса пролетели в шутках и вздохах.

Я собралась уходить, он дал мне книгу и попросил прийти снова. Я подумала, что это простая любезность, и осталась дома, не желая докучать больному. Он написал мне записку, отругал меня. Его упреки были столь же лестны, сколь и трогательны, и с тех пор мои посещения продолжались вплоть до сумрачного февральского утра, когда мы проводили его к последнему пристанищу. Они продолжались чуть больше года.

Июнь 1855

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1884)

Что это было: простая беспечность, нежелание заботиться об изяществе обстановки? Или попросту печальное следствие нужды, которая преследовала семью и требовала строгой экономии? В эпоху всевозможных изящных вещей и безделушек, когда каждый художник устраивает себе если не живописное, то во всяком случае уютное гнездышко, жилище поэта походило на меблированные комнаты третьего разряда. Ни малейшего изящества, никакой заботы об уюте: меблировка случайная, напоминающая о бесславном времени, когда почитали красное дерево, а светлую мебель изгоняли на чердак.

Впервые я увидела Генриха Гейне, когда он жил на шестом этаже дома на Авеню Матиньон, недалеко от круглой площадки у Елисейских полей. Окна его комнаты, смотревшей на улицу, выходили на узкий балкон; в сильную жару над балконом натягивали полосатый навес, какие бывают над витринами маленьких кафе. Квартира состояла из трех или четырех комнат. Одна из них служила столовой, в других помещались хозяин и хозяйка дома. Низенькая кровать за ширмой, обтянутой обоями, несколько стульев, напротив двери секретер из орехового дерева— вот и вся обстановка в комнате больного. Я забыла еще упомянуть две гравюры, в рамках времен первых лет царствования Луи Филиппа: «Жнецы» и «Рыбаки» с картин Леопольда Робера.

Во всем этом совершенно не чувствовалось женской руки. Зато присутствие женщины вполне ощущалось в

другой комнате, где висели занавеси из поддельного гипюра на желтой подкладке, стояли угловые диванчики, обитые коричневым бархатом, а на самом видном месте висел портрет госпожи Гейне, изображавший ее во весь рост, одетой и причесанной по моде времен ее молодости, в черном декольтированном платье и с длинными локонами, какие носили в 1840 году. <...>

Июнь—сент. 1855

Быть может, он хотел посмотреть, как я выйду из трудного положения, хотел увериться, что моя мысль бьется в унисон с его собственной? Было ли то любопытство или желание приобщить меня к своим трудам, но он много говорил мне о задуманных переводах. Речь шла о том, чтобы подобрать достаточно благозвучные, но и достаточно точные французские выражения для ознакомления читателей «Ревю де де Монд» с шедевром под названием «Новая весна», который так верно описывает состояние сердца, переходящего от льдов охладевшего чувства к весенним радостям новой любви.

Он говорил, что хочет сравнить мой перевод с работами своих постоянных переводчиков и исправить их переводы в соответствии с моим. Невероятная беспечность! В то время я придавала так мало значения своим замыслам, что даже и не подумала раздобыть номер «Ревю де де Монд», где напечатаны фрагменты моего первого литературного труда.

СЕН-РЕНЕ ТАЙАНДЬЕ

(1851—) 1855

ИЗ ПОСЛЕСЛОВИЯ К НАПИСАННОЙ РАНЕЕ СТАТЬЕ О ГЕЙНЕ

(Март 1861)

В эти страшные для него годы я имел нерадостную честь довольно часто видеться с ним. Одним из его утешений было завершение работы над подготовкой французского издания его сочинений, и он попросил меня об услуге: перевести недавно написанные стихи, а также несколько циклов «Книги песен», еще неизвестных во Франции. Вопреки широко распространенному во Франции и Германии мнению, Генрих Гейне не мог писать на нашем языке; он в совершенстве знал его,

умел оценить все его ухищрения, все его тонкости, но не был способен построить изящную фразу, свободную от германизмов.

Напрасно пытался он широко разворачивать плотную, мягкую ткань парижской прозы; нити рвались в его руках, и на перепутанной основе рисунок был виден лишь наполовину. Все произведения, вышедшие под его именем на французском языке, были переведены французскими литераторами. Лёве-Веймарс перевел первое издание «Путевых картин», а Жерар де Нерваль — большую часть «Книги песен». Последние подписанные им публикации в «Ревю де де Монд» — «Романсеро» (15 октября 1851), «Мефистофелла и легенда о Фаусте» (15 февраля 1852), «Лазарь» (1 ноября 1854), «Возвращение на родину» (15 июля 1854), «Новая весна» (15 сентября 1855) — были переведены мной по его настоятельной просьбе. У меня хранятся прелюбопытные письма, печальные и в то же время веселые, в которых он выражает мне свою признательность. Разбитый болезнью, он счастлив был видеть, как его поэтические фантазии воплощаются в нашем языке, и хотя в переводе стихи неизбежно теряли часть своей утонченной прелести, его радость не имела границ. Чем более он сознавал трудность этой работы, тем более удавшейся она ему казалась. Он говорил об этом с каким-то простодушным восторгом. <...>

Недавно все мы прочли его письмо, касающееся перевода «Новой весны», и смогли обратить внимание на то место, где он говорит о своих *вариантах*. Дело в том, что его сильно тревожило одно обстоятельство. Слишком точный, хотя и достаточно поэтический, по его мнению, перевод мог не дать французскому читателю верного представления о том, что он хотел сказать. «Есть вещи, которые необходимо переложить, а не перевести», — говорил он мне. И объяснял: «Возьмите вот эти строфы: их отличает несколько романтический, рыцарственный колорит, я написал их в духе Клеменса Брентано и некоторых стихов из «Волшебного рога мальчика». Чего я хотел этим добиться? Мне показалось интересным облечь то чувство, которое я хотел выразить, в форму изящную, но старомодную; захотелось придать ему очаровательные, но чуть поблекшие краски. Правильно я поступил или нет — это дело другое, но я стремился именно к этому. Так вот, это романтическое (в немецком смысле) колдовство, это полное свежести романтическое изящество у вас еще не вышло из моды, в отличие от соотечественников Брентано и Фуке; у вас оно имеет скорее какую-то

прелесть новизны, чего мне в данном случае не требуется. Вместо романтического колорита тут нужен стиль Помпадур, вместо отзвуков средневековья — отзвук эпохи Людовика Пятнадцатого...» Удовлетворенная улыбка, появлявшаяся на лице поэта, когда он рассказывал о своих хитроумно рассчитанных приемах, выдавала в нем совершенного виртуоза, а не ремесленника. Все эти мелкие подробности, все эти тонкости, придирчивые исправления, тщательность в выборе слов и разнообразных оттенков их значения, глубоко обоснованные причины, по которым такое-то выражение должно находиться в таком-то месте, поскольку именно здесь оно будет в нужной степени *романтическим*, — в общем, эта высокая требовательность к себе, кажущаяся пустым ребячеством не только филистерам, как говорят в Германии, но и самому опытному литератору, если только он не художник, — эта требовательность к себе была у Гейне острее и тоньше, чем у кого бы то ни было. Если он и не мог уверенно и с изяществом писать на нашем языке, то переводы, заказанные собратьям по перу, оценивал мастерски. Приятно было послушать, как он возражает против какого-нибудь слова, предлагает повернуть фразу по-своему, придумывает новые словосочетания, и все это с необыкновенно тонким чувством стиля и различных трудностей языка. Особенно интересно было понаблюдать за тем, как он исправляет, смягчает или даже меняет местами отдельные фрагменты своего произведения. Иногда это приводило к существенной переработке текста. Поэтому переводы его стихов местами представляют собой чуть ли не самые произведения. Те, кто может сверить их с подлинником, найдут любопытные свидетельства того, какое мнение — справедливо или несправедливо — составил себе поэт об ученом немце и о французском читателе.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

Лето 1855

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

Чтобы понять душевную организацию поэта, надо вспомнить, как трогала его поэтичность любой религии, кто бы ни был ее пророком — Конфуций или Магомет

Моисей или Лютер, и как в то же время отталкивала любая набожность. Вера, религиозные обряды, духовенство были для него неиссякаемым источником шуток и язвительных замечаний, и даже смерть, уже касавшаяся его своим ледяным дыханием, не могла остановить этот поток веселья. Однажды в его последнее лето я пришла повидаться с ним, несмотря на страшную жару.

— О, дорогой друг, — воскликнул он, едва завидев меня, — до чего я сейчас перепугался! Вообразите: тут открыли окно, и на этом палящем солнце, вместо грез о цветущих липах, как это было бы у любого разумного человека, в моей памяти один за другим встают все соборы, какие я видел в Италии во время моих путешествий! «Помогите! — воскликнул я, — паралич дошел до мозга!» — «Не пугайтесь, сударь, это все из-за жары, — отозвался мой флегматичный секретарь. — Термометр показывает в тени тридцать шесть градусов по Реомюру». Тут меня озарило. Я вспомнил то место в «Путевых картинах», где я заметил, что католическая религия чрезвычайно удобна летом, ведь в церкви так прохладно. Вы понимаете, мой друг, взаимную связь мыслей, вызванных этим ощущением?

Этот крик ужаса, сопровождаемый комическим объяснением, на самом деле выражал его постоянный, навязчивый страх. Желая узнать подробности для сравнения, он наводил справки о людях, страдавших той же болезнью. Особенно его интересовал Огюстен Тьери. Если мне случалось побывать у этого последнего, Гейне засыпал меня вопросами: спит ли он, ест ли он, как он работает? Он с волнением расспрашивал о состоянии мозга Тьери: «Правда ли, что знаменитый историк сохранил всю свою дееспособность, всю силу ума?» Когда я подтвердила это, он с облегчением вздохнул.

— Вы знаете, мой друг, что наша с ним болезнь одинакового происхождения?

И затем, насмешливым тоном:

— Добрые люди говорят: это от невоздержанности в работе. Слово *невоздержанность* тут подходит. Но правильно ли его поймут?

МОРИЦ ГОТЛОБ САФИР

Вторая половина июля 1855

ИЗ СТАТЬИ О ПОСЕЩЕНИИ МОГИЛЫ БЁРНЕ И О ВИЗИТЕ К ГЕЙНЕ

(* 4/5.8.1855)

Париж, 28 июля 1855

От могилы Бёрне к одру Гейне!

Неужто в книге судеб написано, что немецкие юмористы должны покоиться во французской земле? Надо бы мне поскорее уезжать отсюда, не то как бы судьба не сочла и меня юмористом.

Гейне долго был не в состоянии принимать визитеров, он очень страдал. Но вот уже несколько дней ему намного лучше.

Господин Штейниц, вместе с которым я собирался навестить Гейне, принес мне на днях записочку, которую Гейне адресовал ему и в которой он говорит следующее: «Мне доставит большое удовольствие, если господин Сафир почтит меня своим визитом. Я с великой признательностью проведу несколько веселых минут—лучшее из того, чем можно меня порадовать в моем скорбном положении. Господин Сафир—один из наиболее острых умов Германии, и у нас с ним очень много общих врагов, при всем том он, как утверждают, человек очень добродушный, что само по себе тоже не плохое качество...»

Господин Гейне оказывает мне слишком много чести, полагая, будто у меня так же много врагов, как и у него. Мой ум не так остер и слава моя не так велика, чтобы мне иметь столько же врагов, сколько у него. Какое-то время, когда Гейне после смерти Бёрне так немилосердно о нем отзывался, я тоже был в числе врагов Гейне. И весьма ожесточенно нападал на него, о чем и просил ему сказать, перед тем как с ним встретиться, поскольку всякое умолчание и двусмысленность чужды моему характеру и вообще для меня исключаются. Я был крайне зол на Гейне и высказался по этому поводу в письменном виде. Я был просто обязан это сделать перед тенью моего благородного друга Бёрне.

С тех пор минуло пятнадцать лет. Я всегда видел в Гейне величайшего поэта, одного из наиболее блестящих и остроумных наших писателей, или—что значит

отнюдь не меньше — одно из наиболее острых перьев нашего века. Различие взглядов и убеждений среди людей мыслящих никак не служит причиной отрицать наличие дарования и таланта.

Короче, откровенно изложив все это Гейне, я счел возможным навестить его.

Гейне занимал теперь квартиру на Елисейских полях, Авеню Матиньон, номер третий на шестом этаже.

Прислуга женского пола доложила обо мне. Я переступил порог сильно затемненного кабинета. Ширмой кабинет был разделен на две части. Будучи человеком полуслепым, я ощупью пробирался вперед, но тут из-за ширмы послышался голос: «Никак, это Сафир собственной персоной?» Я не узнал голоса Гейне, да и мудрено было узнать, коль скоро я с 1827 года с ним не разговаривал.

Я заглянул за ширму, мрак комнаты мало-помалу стал не таким густым, я подошел поближе к постели Гейне, одру страданий, к которому вот уже четыре года прикован этот Прометей, вкусивший, должно быть, *слишком много огня*, земного и небесного. Однако никакой коршун не клюет его печень, ибо он с легкостью говорит и пишет обо всем, что сидит у него в печенках; и сердце его тоже не клюет коршун, ибо это сердце закалено противу когтей эфемерной любви, и совесть его никто не клюет, ибо Гейне умеет так хорошо ее упрятать, что никакой коршун не знает, как к ней подступиться.

Вот уж много лет тело Гейне противоборствует смерти! Но в этой борьбе оно нашло союзника могущественнее, чем целый альянс, союзника, который гарантирует существование телу, имя ему — *дух Гейне!* Все тела, особливо созданные из плоти, надлежит хранить *в спирте*, дабы законсервировать их извне; тело Гейне законсервировано *изнутри*, «спиритус», заключенный в Гейне, помогает сохранять земную оболочку этого духа¹. <...>

Гейне протянул мне руку, руку ли? Нет, ручонку мумии! И эта не рука, нет, этот скелет руки пишет «Лютетию», «Салон», «Романсеро», и все эти чудесно благоуханные, чудесно остроумные, чудесно поэтические и чудесно отталкивающие сочинения вперемежку!

Как известно, Гейне вынужден приподнимать одной рукой веко, когда хочет взглянуть на кого-нибудь. Но в то мгновение, когда он таким образом отдергивает

¹ Непереводимая игра слов: «spiritus» (лат., нем.) — это и «дух» и «спирт».

завесу со своего глаза, взору открывается театр с греческими огнями, ибо его взгляд есть свет, свет есть луч, а луч преломляется через призму многоцветных образов и впечатлений.

Гейне остался совершенно прежним Гейне, лишь на тридцать лет старше, на пятьдесят фунтов легче, на много дюймов короче, на один глаз беднее, отдавший обе ступни в когти подагры, презренный Амуром, наказанный Эросом, но духом и мыслями, словом, манерой выражения, чувством и восприятием это все тот же Гейне.

Земная ваза разрушена, ручка у нее отломилась, подставка раскололась, краски поблекли, но попури из поэтических цветов, листьев и бутонов сохранилось, сохранились розы — но и *шипы* тоже <...>!

Я говорил с ним об этом, о множестве укулов, которые он причиняет даже *друзьям*. «Ах, — отвечал он, — над кем же тогда и подшучивать, как не над своими *друзьями*? Враги-то сразу рассердятся, а друзья как раз и должны доказывать свою дружбу, не сердясь на наши остроты». Должен признаться, что в этом есть своя логика.

Среди прочего я упрекнул его за бичевание, которому он подверг нашего доброго Д<ессауэ>ра. «О, — возразил Гейне, — тогда уж я вам расскажу, каким образом Д<ессауэ>р заработал такое наказание». И он рассказал мне историю, которую я не хотел бы передавать дальше. Уж и не знаю, возможно, Гейне прав, но кто дал ему право публично вершить суд?

Гейне справился у меня о своем брате Густаве Гейне в Вене и о том, хорошие ли у нас с ним отношения. Я заверил его, что если бы он, то есть Генрих Гейне, так долго был одновременно со мной редактором в Вене, мы уже давно раздружились бы, ибо я принадлежу к числу тех добрых друзей, которые сердятся на злые остроты своих друзей.

— Касательно финансов, — сказал Гейне, — я пребываю в постоянном расстройстве, у меня всегда меньше денег, чем мне нужно.

— Да, — отвечал ему я, — это мне известно, мы всегда говорим: «У меня есть меньше, чем мне нужно», хотя по сути следовало бы говорить: «Мне нужно больше, чем у меня есть».

— Я, — продолжал Гейне, — получаю ежегодно три тысячи франков от моей семьи и три тысячи от Кампе из Гамбурга, в год набегают шесть тысяч, а нужно мне *как минимум* двенадцать! А сколько нужно вам?

— Дорогой Гейне, — сказал ему я, — подсчитать не-

трудно. У вас есть всего-навсего шесть тысяч пансиона, а нужно вам тем не менее двенадцать тысяч. Вообразите, сколько же тогда нужно мне, если я вообще *ничего не получаю*.

В эту минуту служанка внесла письмо, он велел раздвинуть шторы, и тогда я наконец отчетливо увидел его лицо. Поистине лицо страждущего Лазаря, бледные, впалые щеки, редкие волосы, бородка седая и неухоженная, глаза глубоко запавшие и закрытые. Гейне страдает бессонницей и на протяжении всей ночи то и дело требует к себе сиделку из-за любой ерунды. Между тем света в комнате зажигать нельзя и ничьего соседства он ночью не потерпит, он должен быть один. Бодрствовать один, со своей болью, со своими страданиями, но и со своими мыслями и снами наяву.

Гейне женат, но жены его я не видел, да, признать-ся, и не изъявлял желаний. <...>

Я спросил Гейне, говорит ли его жена *по-немецки*. «Всего два слова, да и то еврейских, — гласил ответ, — «неббех» и «иофе» (первое — возглас страдания, а второе означает «красиво»). «Вот как? — переспросил я. — Это не более как *два имени собственных*, причем первое — ваше, а второе — вашей жены».

Гейне теперь вновь достиг такого состояния, что может кое-что писать и *сам*. В основном же он диктует, но меняет писца каждую неделю: на него трудно угодить.

Хотя в те дни, когда мы последний раз виделись во Франкфурте, рядом со мной всегда был Бёрне, сегодня оба мы, и Гейне и я, избегали упоминать имя Бёрне.

От постели Гейне я ушел с более тяжелым сердцем, чем от могилы Бёрне. Три современных юмориста Германии, два великих, третий поменьше. Причем один уже умер и погребен во Франции, один заживо погребен в Германии, а третий не может ни жить в Германии, ни умереть во Франции!

ЭЛИЗА КРИНИЦ («КАМИЛЛА ЗЕЛЬДЕН»)

Авг. 1855 — февр. 1856

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1884)

Кроме Катрин, сиделки, всегда повязанной головным платком, делавшим ее похожей на «Госпожу Заботу», была еще хромая Полина, подруга, выполняв-

шая обязанности компаньонки и горничной, — словом, прислуга за все. Остальными людьми, постоянно находившимися в доме (не хочу сказать «остальной челядью»), были в то время секретарь, саксонец из хорошей семьи, замешанный в событиях 1849 года, и старый полупарализованный еврей, который звался доктор Лёве и жил на средства поэта; его обязанностью было управлять маленькой тайной полицией, которую Гейне считал необходимым держать при себе. Посетители, не состоявшие на жалованье, почти все были похожи на этих двоих: обломки крушения, жертвы политических и любовных бурь, представители довольно-таки сомнительного слоя общества, которое Гейне остроумно назвал «княжеским полусветом». Княгиня Бельджойозо <...> иногда навещала Гейне и жаловалась ему на свой больной желудок, принимавший пищу только в полночь и только со льдом. Другая развалина, княгиня В. из Веймара, пропахшая табаком, являлась с кипой брошюр, славящих бога, который спокойно переносил ее славословия. Еще я встречала у Гейне двух женщин, принадлежавших к одной эпохе и к одному кругу. Одна из них была англичанка, послужившая, по словам Гейне, прототипом леди Матильды в «Путевых картинах». Другая — знаменитая *крестная* «сына века», наперсница влюбленных в своем кружке, крошечная госпожа Жобер, женщина в миниатюре, чистенькая, в свежих перчатках, с маленьким зонтиком, который в ее ручонках казался чуть ли не знаменем и делал ее похожей на персонаж буржуазной комедии в эпоху царствования Луи Филиппа.

ГУСТАВ ГЕЙНЕ

5—13 ноября 1855

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 5—16.4.1856)

Когда я последний раз вернулся из Парижа, от меня со всех сторон начали требовать, чтобы я рассказал что-нибудь о Генрихе Гейне. Но я долго не мог решиться на это, прежде всего, я собирался еще раз побывать у брата весной того же года, но была и другая причина, которая мешала мне удовлетворить всеобщее любопытство.

Дело в том, что Генрих как-то сказал мне: «Когда ко мне приходят посторонние, я запираю кладовую

своих мыслей, прячусь, как улитка в свой домик, и лишь порой робко из него выглядываю. Но перед братом я даю свободный ход своим мыслям; вот почему я желаю, чтобы, рассказывая обо мне, ты соблюдал великую осторожность».

Однако смерть, внезапно его настигшая, изменила мои первоначальные намерения. Вот почему я и решил без особых ухищрений представить читателям несколько картин и сценок из моего пребывания у брата. Пусть эти наброски одновременно подведут нас к тому моменту, когда настанет пора перейти к «последним минутам Генриха Гейне». Мой путь в Париж пролегал через Гамбург, так как брат пожелал еще раз увидеть нашу проживающую там сестру Шарлотту Эмбден.

Шарлотта не виделась с Генрихом целых двенадцать лет. Поэтому я счел необходимым по мере сил подготовить сестру к страшному зрелищу, которое ее ожидает. И вот на всем протяжении пути я старался нарисовать ей ужасную, хотя и правдивую картину того, как теперь выглядит ее любимый брат. В Париж мы прибыли около полуночи. Пришлось отложить визит до утра. Встреча и впрямь оказалась ужасной. Большой лежал все так же парализованный, как и четыре года назад, когда я был у него. Несмотря на все мои усилия, Шарлотта была настолько потрясена, что несколько дней не могла прийти в себя.

Тогда Генрих больше не жил на улице Амстердам, он перебрался на Елисейские поля, на Авеню Матиньон. Теперешняя квартира выглядела много приятнее. Вдоль всего ряда окон, как это принято в Париже, тянулся балкон. В одном из углов балкона Генрих велел соорудить шатер, украшенный цветочными горшками, в которых пышно произрастали роскошные дети весны. Этот благоуханный мир принесли женские руки, недаром же очаровательнейшие и просвещеннейшие дамы взапуски старались порадовать автора «Книги песен» зеленью и цветами. К сожалению, лишь один раз за семь лет страдалец смог насладиться божественным видом, сидя в этом шатре. Жил он здесь, кстати сказать, так же высоко, как на улице Амстердам. Его новая квартира была расположена в пятом этаже. Дело в том, что из-за частых головных болей несчастный не мог переносить шаги у себя над головой и тем более — игру на пианино; по той же причине комнаты справа и слева, прилегавшие к его опочивальне, должны были оставаться пустыми. Каждый шорох усугублял его страдания. По отношению к яркому дневному свету Генрих тоже отличался чрезмерной чувствитель-

ностью. Вот почему, невзирая на малые размеры его спальни, ширма непременно отгораживала постель со множеством положенных один на другой матрацев от попадания солнечных лучей. Большие комнаты всегда были не в его вкусе.

По слабости зрения он не может читать и потому держит двух чтиц, одну—с немецкого, другую—с французского. Есть у него и секретарь, которому он диктует все, что следует написать. Его недуг оказывал влияние даже на время обеда, ускоряя или, соответственно, отодвигая его. Когда Генрих чувствовал себя сносно, ему подавали обед в постель к шести часам вечера; порой же сильное недомогание заставляло его отодвигать трапезу до полуночи, даже до двух часов ночи, почему кухарка все время должна была держать обед наготове, дабы служанка могла подать его по первому требованию.

Во время первого своего посещения я от скорби не мог говорить. Шарлотта расплакалась, но Генрих, будучи в хорошем настроении, не преминул напомнить нам несколько забавных сценок из времени нашего детства. Нельзя было без слез умиления видеть и слышать, как нежно он привязан к сестре Шарлотте и к нашей дорогой матушке, как он вникал в ничтожнейшие мелочи, как он, подобно ласковому дитяти, не уставал говорить об обеих женщинах либо расспрашивал о том, как поживают обе его племянницы Анна и Елена, а также его брат Макс в Петербурге.

Впрочем, вернемся к моему первому посещению. Как уже сказано, Генрих пребывал в веселом расположении духа, но едва Шарлотта вышла из комнаты, он с явной поспешностью обратился ко мне: «Давай поскорей обсудим деловые вопросы, ибо человек в моем состоянии не должен терять время». Оказывается, он пригласил меня в Париж, чтобы всесторонне обсудить вопрос о его наследии, кроме того, я был должен вместе с ним упорядочить его дела, а после его смерти наблюдать за ними.

Признаюсь честно: когда я вспоминал его последние произведения и слышал, как он рассуждает, пренебрегая требованиями житейского благоразумия, меня порой охватывали сомнения, а точно ли мой брат Генрих лежит передо мной на одре болезни и беседует со мной. Семь лет непрерывных телесных страданий положили грань между ним и внешним миром, казалось, он не имеет теперь ни малейшего представления о мирских обычаях и порядках. Даже на одре страданий он создал для себя совершенно иной мир.

Так, например, во время утреннего моего посещения он предъявил мне контракт, который, хоть и затрагивал издание его уже опубликованных произведений, равно как и его литературного наследия, был по сути не чем иным, как новым вариантом давно уже заключенного договора. Генрих протянул мне его со словами: «Прочти и скажи, что ты об этом думаешь». Я прочел и спокойно сказал, что в основу этого контракта положены, собственно говоря, два документа и потому его следует разделить на две основных части. Одну — касательно издания уже публиковавшихся произведений, другую — касательно судьбы литературного наследия.

Никогда не забыть мне, как после моих слов он, по обыкновению приподняв веко пальцами, устремил на меня пристальный взгляд и промолвил: «Как юрист ты дашь мне сто очков вперед. *А все оттого, что я изучал право в Геттингене!*»

Мне и моей сестре, когда мы сидели у его постели и задушевно беседовали, показалась почти невероятной его цепкая память относительно всего, что касалось нашего детства. Он припоминал свои детские годы начиная с пяти, с шести лет. Так, однажды он спросил у меня: «А ты еще помнишь, как наш добрый отец явился как-то домой в своем красивом мундире, а после того, как он разоблачился, мы, можно сказать, поделили его вещи между собой. Я схватил шапку с плюмажем и закричал: «Я буду Наполеон!», ты схватил саблю и возликовал: «А я — Мюрат!», а наш брат Макс влез в мундир и штаны, причем штанины, разумеется, волочились за ним по полу, и, тоже ликуя, кричал: «А я императорский лейб-медик!» Наша милая добрая мать, которая хранила все это как зеницу ока, только руками всплеснула, после чего положила конец нашему разгулу. Не странно ли, что у меня *не идет из головы эта пророческая сцена?* Ты стал офицером кавалерии, Макс — известным врачом, я же на своей Святой Елене умираю от нестерпимой боли».

Однажды я застал его в ужасном состоянии, вид у него был более страдальческий, нежели обычно. Его терзал ужасный судорожный кашель. Невзирая на все это, он говорил о серьезных предметах и вдруг воскликнул: «Напиши-ка мою биографию, а я тебе помогу». Я отвечал ему: «Речь идет не о ком-нибудь, а о Генрихе Гейне, я могу предоставить тебе твое жизнеописание, только если ты мне его продиктуешь от начала до конца»... Мой комплимент явно польстил ему. Он пожал мне руку и сказал: «Ты прав. Но сам я не стану

описывать собственную жизнь. Автобиографии подобны старым бабам, которые украшают себя вставными зубами, накладными волосами и нарумяненными щеками. Я же восклицаю, как обычно говоришь ты, уподобляясь твоему Нестрою: «Все вранье!» Впрочем, и моих будущих биографов упрекнул в том же, ибо вот уже сколько раз газеты *совершали надо мной обряд крещения*, и, несмотря на такое множество обрядов, люди не устают твердить, что я *плохой христианин*.

Касательно своего литературного наследия Генрих Гейне выразил пожелания, которые я за множеством дел в Вене навряд ли смог бы добросовестно выполнить после его смерти, почему и порекомендовал ему оставить покамест в силе более раннее завещание, согласно которому заботы о литературном наследии возложены на моего племянника Людвига Эмбдена и моего кузена, доктора Христиани, — до того времени, покада мы с братом не встретимся, как уговорено, весной будущего года, чтобы по обоюдном зрелом размышлении решить дальнейшие судьбы этого наследия. Надежды на скорую встречу были тем сильнее, что врач давал ему еще довольно большой срок.

17 ноября я покинул Париж. На прощанье он сказал мне: «Передай привет своей жене и привези ее весной сюда. Расцелуй также моего крестника, маленького Генриха! Избрав для сына такое имя, ты доставил мне большую радость, только смотри, чтоб он у тебя не стал поэтом!»

ШАРЛОТТА ЭМБДЕН

Ок. 5 ноября—нач. дек. 1855

СООБЩЕНИЕ ЛЮДВИГУ ЭМБДЕНУ

(* 1892)

Матильда стояла в передней, она обняла меня и сказала, что еще до того, как я переступила порог дома, брат позвал ее и сказал: «Я чувствую, что Лоттхен скоро придет, веди ее сразу без всяких проволочек ко мне. Я хочу не теряя ни минуты ее увидеть». Когда я подошла к постели, он воскликнул: «Лоттхен, дорогая!» — и долго сжимал меня в объятиях, не говоря ни слова, потом он положил голову мне на плечо и протянул руку брату. Трудно описать его радость при виде меня, мне даже не разрешили до вечера отлучаться от его постели, кроме как на время

трапезы. По доходившим до сих пор до меня сведениям о болезни брата я опасалась, что при встрече вид его страданий глубоко потрясет меня, но поскольку я увидела только голову, полную неземной, просветленной красоты, и приветливую улыбку, я могла целиком отдаться радости свидания. Зато после обеда, когда я увидела, как сиделка переносит моего брата в кресло, чтобы перестелить постель, увидела это усохшее тело с безжизненно висящими ногами, мне пришлось собраться с силами, чтобы вытерпеть это ужасное зрелище. Меня поместили по соседству с комнатой больного, и уже в первую ночь я была чрезвычайно напугана его длительными приступами головных и грудных спазм. Эти приступы возвращались почти каждую ночь, и когда я подбегала к его кровати и клала руку на лоб страдальца, казалось, будто моя рука приносит ему облегчение... Брат частенько говаривал, что я наделена редкой магнетической силой, которую он тотчас же ощущает, как бы беззвучно я ни переступила порог его комнаты.

В минуты, не омраченные болью, многолетней давности воспоминания из родительского дома либо из родственного круга снова могли вызвать его смех, а если при том присутствовала Матильда, она громко смеялась за компанию и лишь потом спрашивала, над чем это мы так весело смеемся, поскольку немецкого она не знала.

С Матильдой я жила душа в душу, чего нельзя сказать о Густаве, который не владел французским и поэтому не мог с ней объясняться, что вело к некоторой натянутости отношений. Кроме того, Густав считал женитьбу своего брата по сердечной склонности великим несчастьем, источником всех его бед и теперешних страданий. Матильда же, привыкшая быть всеобщей любимицей, воспринимала сдержанность Густава как невежливость, и мне порой как толмачу стоило немало трудов с помощью маленьких импровизаций поддерживать хотя бы видимость дружеских отношений. Однажды после прогулки в шарабане Густав, надо полагать, слишком скупно расплатился с кучером; пряча деньги в карман, кучер пробормотал: «Ladge» (жмот). Матильда расхохоталась, а на вопрос Густава, с чего такой неудержимый смех, я пояснила: «Ни с чего! Просто он поблагодарил за чаевые!»

Подобные сцены повторялись много раз, и я была очень довольна, что, пока Густав покинул меня в Париже и воротился в Вену, между ними не успело произойти сколько-нибудь серьезной размолвки. Пыл-

кий темперамент Матильды приводил порой к мимолетным вспышкам гнева из-за ничтожных причин, к примеру, моему брату приходилось немало терпеть от ее ревности, но он сносил все с поистине стоическим спокойствием и умел несколькими шутивными словами быстро урезонить жену.

Вся левая сторона у брата была парализована, левый глаз ослеп, рука от плеча до кисти обессилела, и лишь нервы правой стороны тела сохранили жизнеспособность, так что он еще мог писать правой рукой. Часто он вкладывал свою руку в мою и заверял меня, что мое присутствие для него великая отрада. Мне трудно было понять, почему он испытывает такое огромное удовольствие от возможности непринужденно болтать на немецком языке, а когда тема веселых воспоминаний детства бывала исчерпана, он заставлял меня рассказывать о матери и о моих детях. Когда несколько месяцев назад его покинул многолетний секретарь Рихард Рейнгольд <Рейнгардт>, он полностью ощутил уединение своей комнаты, ежедневные визитеры больше утомляли его, чем радовали, а писцы, которых он брал на пробу по объявлениям в газетах, не могли служить достойной заменой. Недавно у него появилась на удивление одаренная и приятная особа, немка по происхождению, жизнерадостная дочь Швабии, соединяющая французский *esprit*¹ с немецкой душевностью. Звучным голосом она читает ему вслух и так понаторела во французском, что он может доверить ей корректуру своих работ. Она недавно прихворнула, скоро опять придет, и ему любопытно, какое впечатление она произведет на меня.

Мушка, как называл ее мой брат по перстню с печаткой, на которой была выгравирована муха, и в самом деле оказалась прелестной молоденькой девушкой, которая даже за короткое время моего пребывания у брата вполне меня покорила. Росту среднего, скорее милая, чем красивая, каштановые волосы обрамляют нежное лицо с плутовскими глазами, а под ними вздернутый носик и маленький ротик, который при разговоре или улыбке обнажает жемчужные зубки. Ножки и ручки маленькие и изящные, все ее движения необычайно грациозны.

Несмотря на внешнюю жизнерадостность, ей тоже довелось познакомиться с грустными сторонами жизни. Рано выйдя замуж за француза, она провела первые годы замужества в Париже, но скоро маленькая немоч-

¹ Ум, остроумие (фр.).

ка наскучила этому вертопраху, который самым недостойным образом проматывал свое состояние. И тогда, чтобы избавиться от супруги, он измыслил следующий план: он взял ее с собой в деловую поездку в Англию, а когда они прибыли в Лондон, предложил ей посетить вместе с ним одно дружественное семейство. Карета остановилась перед изысканной виллой, где некий преклонных лет господин любезнейшим образом ее встретил, но едва их провели в элегантный салон, супруг-француз исчез.

Вскоре несчастная поняла, что находится в лечебнице для душевнобольных, а когда она начала плакать и кричать, чтоб ее выпустили, ей пригрозили употребить насилие, если она не уймется. Страх так поразил бедную женщину, что на некоторое время она даже потеряла дар речи. Лишь несколько недель спустя к ней полностью вернулись физические силы, и тогда она сумела убедить врача, что находится в здравом уме, после чего ей дозволено было вернуться в Париж. Дальнейшая совместная жизнь с супругом стала для нее невозможной, и, чтобы как-то просуществовать, она начала давать уроки немецкого языка.

Мушка ежедневно приходила к моему брату на несколько часов, и почтение, с каким тот относился к неунывающей малютке, к сожалению, возбудило в Матильде болезненную ревность, которая под конец перешла в откровенную вражду. Желание мужа время от времени приглашать Мушку к их обеду наткнулось на решительный отказ Матильды, на ее дружеские поклонны Матильда едва отвечала, а когда Мушка входила к больному, Матильда немедля покидала комнату.

Как-то раз даже меня приняли за Мушку. Это было, когда старик Беранже навестил брата и, углядев меня в полутьме возле постели, подошел ближе и осведомился: «Дорогой Гейне, уж не вашу ли знаменитую новую птицу Мушку я вижу перед собой?» На что мой брат отвечивал с улыбкой: «*Cher ami*¹, боюсь, у вас в глазах *moûche volante*², это моя сестра».

Последний раз я получила известие от нашей милой Мушки, госпожи Камиллы Зельден, когда в 1887 году она сообщила мне, что опубликовала любопытные заметки о моем брате, ныне же работает в Руане учительницей немецкого языка в женском пансионе. <...>

В начале декабря я получила известие о внезапной

¹ Дорогой друг (фр.).

² Мерцание (букв. «летающая муха») (фр.).

болезни одного из моих детей и приняла решение тотчас вернуться в Гамбург. Перед отъездом я спросила доктора Груби, как он находит состояние моего брата, и получила успокоительный ответ, что, если не произойдет ничего неожиданного, брат вполне может прожить еще два-три года.

Я сообщила брату, что скоро уеду, твердо пообещав приехать будущей весной. Он грустно выслушал мое обещание и попросил, если это возможно, взять с собой моего сына Людвига, которому он в завещании доверил распорядиться своим литературным наследием, почему и хотел обсудить лично с ним кое-какие детали. Далее брат дал мне подробные наставления касательно его наследия и просил особенно тщательно проконтролировать Кампе, тот может исключать из полного собрания все, что сочтет нужным, но добавлять туда что-либо по своей воле не имеет права.

Чтобы облегчить мне отъезд, брат сочинил накануне забавное стихотворение, которое причудливым манером изображало мою встречу с семьей. Когда в день отъезда я хотела взять листок с письменного стола, куда положила его накануне вечером, его там не оказалось, и, к глубокому своему огорчению, я услышала, что служанка взяла его, чтобы разжечь огонь в печке. Когда я пожаловалась брату, он сказал: «Утешься, дорогая сестра, к твоему возвращению я сочиню стихи, в которых будет еще больше огня».

Но мы уже не свиделись, меньше чем спустя два месяца, он неожиданно обрел вечный покой, и мой прощальный поцелуй был последним, который мне довелось запечатлеть на его бледной щеке.

ТЕОФИЛЬ ГОТЬЕ

Янв. 1856

ИЗ СТАТЬИ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

Последний раз я виделся с Генрихом Гейне за несколько недель до его смерти: я должен был написать небольшую вводную заметку к переизданию его сочинений. Он был прикован к постели легким, по мнению врачей, недомоганием, которое уже восемь лет не давало ему встать. Как замечал он сам, его всегда с уверенностью можно было застать дома; однако круг его друзей постепенно редел. <...>

Когда глаза мои привыкли к полутьме — слишком

яркий свет повредил бы его почти угасшему зрению, — я разглядел возле ложа страданий кресло и сел. Поэт с усилием протянул мне свою маленькую хрупкую руку, матово-белую, как облатки для причастия, руку больного, лишенную свежего воздуха, годами не прикасавшуюся даже к перу. Никогда еще кости обреченного не облекала такая нежная, мягкая, шелковистая, гладкая кожа. Взамен живого тепла эту руку согревал жар лихорадки, и все же от ее прикосновения меня проняла легкая дрожь, словно я дотронулся до руки существа, уже не принадлежавшего этому миру.

Чтоб увидеть меня, он поднял другой рукой парализованное веко того глаза, который еще мог смутно различать предметы и позволял больному распознать солнечный луч, скрытый от него словно пологом из черного газа. Обменявшись со мной несколькими словами, он узнал о цели моего прихода и сказал: «Не надо слишком сильно меня жалеть; виньетки из «Ревю де де Монд», где я изображен истощенным и с поникшей головой, как Христос на картине Моралеса, и так уже слишком взволновали и растрогали чувствительных людей. Мне не нравится, когда портрет похож, я хочу, чтобы меня изобразили в приукрашенном виде, как хорошенькую женщину. Когда вы познакомились со мной, я был молодым и цветущим. Пусть мой прежний облик подменит эту жалостную картину».

ЭЛИЗА КРИНИЦ («КАМИЛЛА ЗЕЛЬДЕН»)

Февр. 1856

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1884)

Февраль начинался плохо. Погода стояла холодная, мрачная, дождливая. Я простудилась, не могла выходить из дому и поэтому на какое-то время перестала бывать у Гейне.

Он с огромным удовольствием читал премилые сказки, новогодний подарок господина Лабулэ читателям «Журналь де Деба», и попросил меня достать ему номер газеты с продолжением этих сказок. За неимением точных сведений мне пришлось самой отправиться на поиски нужного номера, и прошла почти неделя, пока я смогла снова явиться к моему другу. Увы! Я не подозревала, что последний раз вижу его среди живых! Войдя к нему, я была поражена его мертвенной

бледностью. В сумерках этого печального зимнего дня он лежал мрачный, угрюмый, удрученный.

— Пришла наконец! — сказал он мне.

Он часто встречал меня этими словами, но в тот день они прозвучали не так ласково, как всегда, а почти строго. Значит, и он не оценил моей преданности! Несправедливость этого упрека поразила меня в самое сердце, и я расплакалась. Пускаться в объяснения с таким больным человеком, рассказывать, чего мне стоило встать с постели и прийти к нему, было невозможно, и потому я мучительно страдала. Вдруг он, словно увидев горе на моем лице, скрытом от него полутьмой, подозвал меня и усадил на край своего ложа. Слезы, струившиеся по моим бледным щекам, казалось, глубоко взволновали его.

— Сними шляпу, чтобы я лучше тебя видел, — сказал он мне.

И мягким движением тронул ленту, на которой держалась шляпа. Я отбросила ее прочь и опустилась на колени у постели. Было ли то горькое воспоминание о минувших страданиях или еще более горькое предчувствие новой беды? Тщетно старалась я подавить душившие меня рыдания, чувства переполняли меня, лишали сил. Оба мы молчали; но рука, которую он тихо положил мне на голову, казалось, благословляла меня.

Так прошло наше последнее свидание. <...>

Выходя из квартиры, уже почти на лестнице, я услышала, как он кричит своим чистым, звенящим, взволнованным голосом:

— До завтра, слышишь, приходи непременно!

И я не пришла на последний зов.

АЛЬФРЕД МЕЙСНЕР

Февр. 1856

ПО РАССКАЗАМ МАТИЛЬДЫ

(* 1862)

Когда его настиг последний, тяжелый приступ болезни, завершившийся смертью, финансы его находились в особенно плачевном состоянии; Матильда горько сетовала, а он, с неизменной заботливостью и всегда готовый ее успокоить, коснеющим языком и голосом уже надломленным, твердил слова утешения: «Не тревожься, дорогая, на днях к нам прибудет человек с полным мешком звонких талеров, маленький Захария, и все опять будет хорошо, в дом придут деньги, да, да, le

petit Zacharie viendra avec un sac plein d'écus!»¹ Матильда решила, что он заговаривается, она не знала, откуда возьмется полный мешок денег и кто такой маленький Захария. И когда поэт на другой день испустил дух, в доме и впрямь сыскалось так мало денег, что без содействия одного друга нечем было бы заплатить за похороны. Но представьте себе ее изумление, когда день спустя явился маленький, похожий на гнома незнакомец, явно семитского вида, с тяжелым серым мешком из холстины и представился как месье Захария. Незадолго до своей кончины поэт договорился с книготорговцем Мишелем Леви относительно нового французского издания своих трудов; корректура последнего тома «Путевых картин» была завершена двумя неделями ранее, и le petit Zacharie, посыльный, доставил теперь гонорар, именуемый по-немецки «почетное вознаграждение», такое определение как бы намекало, что труд хотя и заслуживает почестей, но не заслуживает оплаты и вообще не имеет никакого касательства к реальным доходам автора.

ФРИДРИХ САРВАДИ

12 февр. 1856

СО СЛОВ ДАВИДА ГРУБИ

(* 23.2.1856)

Когда Д. Груби последний раз видел его перед приступом рвоты, несколько дней назад, поэт работал над предисловием и корректурой своего нового произведения либо нового издания своих более ранних произведений. Он работал до последней минуты и был полон всяких планов.

КАРОЛИНА ЖОБЕР

13 фев. 1856

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

Последний раз, за четыре дня до его смерти, я видела Генриха Гейне, он разговаривал с обычной непринужденностью, только тон у него был серьезный. «Смерть — очень серьезное дело, — говорит Ла Брюйер, — здесь уместнее не шутки, а стойкость».

¹ Маленький Захария придет с мешком, полным денег! (*фр.*)

Действительно, стойкость ни на одно мгновение не покинула мужественного страдальца. Когда я уходила и, по обычаю, вложила свою руку в его, чтобы попрощаться, он на какое-то мгновение задержал мою руку, потом тихо промолвил: «Не мешкайте, мой друг. Это будет всего разумнее».

До последней минуты он сохранил достойную восхищения силу духа.

ФРИДРИХ САРВАДИ

15/16 февр. 1856

СО СЛОВ ДАВИДА ГРУБИ

(* 23.2.1856)

Конец <Гейне> наступил очень быстро и был отнюдь не следствием недуга, вот уже много лет приковывавшего его к постели. Гейне настигло какое-то случайное заболевание, а врача, который вот уже много лет искуснейшим образом поддерживал в нем жизнь, пригласили к больному на сутки позже, чем следовало. В четверг вечером началась сильнейшая рвота, причины которой не выяснены до сих пор. Впопыхах вызвали другого доктора, тогда как Д. Груби увидел Гейне лишь вечером в пятницу. Гейне спросил его: «Ну, доктор, как мои дела? Я умираю?» Доктор, тотчас постигший всю безнадежность его состояния, не скрыл от больного правду. За долгие годы страданий Гейне свыкся с мыслью о смерти, и откровенность врача нисколько его не потрясла. Обильная рвота крайне его ослабила, и едва было нарушено искусственно поддерживаемое врачом равновесие, тотчас обнаружилась общая нежизнеспособность всего организма.

КАТРИН БУРЛУА

13—17 февр. 1856

ИЗ ПИСЬМА ГУСТАВУ ГЕЙНЕ

Париж, февр./март 1856

Господин Гейне вынужден был проводить целые ночи сидя в постели, я не смела отлучиться от него ни на минуту, тем более что лишь по каплям могла давать ему предписанное целебное питье. В среду 13 февраля мой бедный хозяин проработал шесть часов подряд,

чего по слабости не делал всю неделю. Я умоляла его немного пощадить себя. Он не внял моим словам, ответив: «Мне надо проработать еще четыре дня, и тогда я завершу свой труд», — ни разу еще он не разговаривал со мной на литературные темы. В четверг его донимали сильнейшие головные боли. Мы решили, что это его обычная мигрень. Господин Гейне страдал, горько упрекая себя, что не написал матери. «Я больше не смогу написать своей дорогой матушке», — сокрушался он. В пятницу 15 февраля меня охватило тягостное предчувствие, и в девять утра я послала за врачом. Господина доктора Груби дома не оказалось, поэтому после обеда пригласили старого врача, жившего по соседству. Этот врач велел каждые полчаса давать больному полчашки чая из апельсинового цвета, смешанного с водой Виши, добавляя туда по капле опийного экстракта. Он просил меня также, чтобы не обидеть доктора Груби, сказать тому, что я-де приготовила чай по собственному усмотрению. Ближе к вечеру пришел господин Груби, отставил чай, прописал другие лекарства, а также компрессы со льдом на живот. Тут я поняла, что надежды не осталось. Облегчение хоть и наступило, но только на короткое время. Несколько раз господин Гейне произносил вслух: «Какое счастье, что я успел еще раз повидать свою дорогую сестру, ведь я, Катрин, можно сказать, уже умер!» К субботе его положение еще больше ухудшилось, между двумя и тремя часами пополудни он трижды прошептал слово «писать». Я хоть и не поняла его, однако же ответила: «Да, да!» Тут он промолвил: «Бумагу... карандаш...» Это были его последние слова. Слабость нарастала, карандаш выпал у него из рук... Я приподняла больного. Судороги возобновились. Мучительная боль отразилась в его чертах, борьба со смертью подошла к концу. До последнего мгновения господин Гейне оставался в полном сознании.

ЭЛИЗА КРИНИЦ («КАМИЛЛА ЗЕЛЬДЕН»)

(Июнь 1855—) 17 февр. 1856

ИЗ ПИСЕМ АЛЬФРЕДУ МЕЙСНЕРУ

Париж, 2 марта 1856

Ты, верно, будешь очень удивлен, дорогой Мейснер, получив письмо от меня, давно, по всей вероятности, тобою забытой. Да и я, в свою очередь, не стала бы

снова обращаться к тебе, поскольку ты не ответил на мое письмо в прошлом году, не испытывая я в эту минуту, когда меня постигла *невосполнимая* утрата, внутренней потребности обменяться несколькими словами с тобой, кто тоже любил его, с тобой, одним из немногих, кто действительно знал его и понимал, каким сыном божьим во всем значении этого слова он был.

О, Мейснер! И трех недель не прошло с тех пор, как мы с ним о тебе говорили! Я все надеялась, судьба еще сведет нас у его постели. В среду тому восемь дней, как мы проводили его на Монмартр, к месту хладного успокоения, и теперь я могу протянуть тебе руку лишь поверх его могилы. Боже, я любила усопшего больше жизни, я была ему близка, как смерти близка боль! Смерть его оставила меня безутешной!

Минуло две недели с того дня, как я пошла к нему, в глубине души надеясь застать его в лучшем состоянии, чем накануне: просто диву даешься, как охотно мы сами себя обманываем при продолжительных болезнях такого рода. Последние три дня его донимала сильная рвота, но поскольку у него уже случались подобные приступы, хотя и не столь длительные, я все время, несмотря на приступы страха, временами меня охватывавшего, все-таки надеялась, что и это такой же приступ, вызванный чрезмерными дозами морфия, который он принимал в последнее время.

Исполненная надежды снова его увидеть, дорогого моего друга, я поспешила к нему и еле-еле нажала кнопку звонка, чтобы не разбудить его в случае, если он спит. Ах, с мыслью о его смерти мое сердце *никогда* не желало смириться.

Было ужасно, когда я услышала слово «смерть», сперва я даже не поняла, мне почудилось, будто все люди разом потеряли рассудок.

Но потом я поняла все! Все! Я поняла, что он после восьми лет страданий наконец избавлен от них. Однажды он спросил, хватит ли у меня духу взглянуть на него после смерти, — и вот я вошла, опустила на колени перед его телом, бесконечно, беспредельно дорогим мне, и запечатлела поцелуй на уже остывшей, холодной, как мрамор, щеке. Утром этого дня в пять часов наш Гейне умер, нет, не умер, а просто вернулся на солнечный Олимп, в истинное свое отечество.

Ах! Никогда жизнь не представляла такой прекрасной, как это мертвое тело. Он спал так мирно, с таким гордым и благородным выражением лица. Казалось, все стало ему безразлично. И мне сделалось так хорошо при виде этого сна, — хорошо до смерти!

Теперь все миновало, но горе не отпускает меня, последнее время мы с ним виделись почти каждый день! Он так любил меня—он играл со мной, как играют с куклой, — увы, я не слышу больше ласковых слов... Возлюбленный дух, он покинул эту землю, покинул свою бедную жену и... и меня... — меня, у которой не было выше счастья, чем сидеть у его ног и мнить себя его рабыней.

Ах, дорогой Мейснер, поистине есть на свете люди, которые рождены быть рабами. Возможно, это те, кто способен угадать любое величие—и я из таких людей!

В жизни моей за это время так много произошло, что сегодня я не в состоянии тебе обо всем поведать. К тому же я пока ни о чем не могу думать, кроме как об этой смерти. И наконец, я отнюдь не убеждена, что тебе так уж интересно услышать о той, которую ты некогда называл «моя Марго». Ах, Мейснер, Мейснер, что прошло, то прошло, былого уже не вернешь, но с чего бы ты стал отказывать мне теперь в своей дружбе? Священной для меня памятью нашего друга я клянусь, что достойна ее. Напиши мне, а если выберешься в Париж, побывай у меня. Мне много, так много хотелось бы тебе рассказать о нем, о том, кто тоже тебя очень любил и ценил. Я теперь живу с матерью, здесь, в Париже. Жизнь моя протекает тихо и уединенно, и будь я способна смеяться, я посмеялась бы над яростными бурями прошлого, которые навсегда отбушевали и улеглись в моем сердце. Однако мира и покоя покамест я не достигла—это всего лишь пародия мира.

По просьбе нашего друга незадолго до его смерти мы читали твой роман *«Пастор Рейнгольд»*, но последнего тома у него не было, вот почему я хотела бы тебя попросить, чтобы ты либо выслал его мне, либо сказал, где его можно достать. Твой роман произвел на меня очень большое впечатление, я бы тебе подробнее о нем написала, не будь мой немецкий так плох. Тебе, я думаю, интересно, что за несколько дней до смерти Гейне отправил последнюю корректуру французского издания *«Путевых картин»*. Замечательная книга!

12—20 февр. 1856

Париж, 7 августа 1856

Во вторник — это было 12 февраля — я последний раз слышала звук его голоса. Хоть мне и нездоровилось в тот день, я вышла на поиски газеты со статьей,

которую хотел видеть наш друг. Речь шла об уже известной критике Жюль Жанена на пьесу Жорж Санд «Фавилла», которая встретила весьма противоречивый прием. Сперва он сердился, не увидев меня в привычный час у своей постели, однако, узнав причину моего опоздания, он оказал мне поистине трогательный прием. Я тотчас прочитала ему вслух ту самую статью, затем под диктовку написала издателю Леви письмо, вместе с которым был отправлен последний лист корректуры «Путевых картин», и, наконец, подошла к постели нашего дорогого друга. В тот день он был очень возбужден, увлеченно разговаривал, вспоминал свою молодость и всевозможные проказы из времен своей студенческой жизни. Меня потрясло при этом, что его рассказы были на сей раз совершенно лишены обычной саркастической окраски, хотя более подходящей повод для сарказма трудно было сыскать. Вот почему я с великим удивлением слушала его рассказы, которые, не имея привычного насмешливого тона, были серьезными и размеренными. Вместо поэта я видела перед собой строгого, но справедливого человека, который, с одной стороны, полной мерой оплатил исторгаемую им хулу глубиной ран, нанесенных ему его палачами, с другой же — награждал дружеским словом тех, кто признал в нем «сына божьего».

Лишь с трудом могла я оторваться от него, и когда я наконец встала, он еще раз вернул меня, взяв с меня слово прийти на другой день. День спустя, ослабев от волнения и усталости, я была вынуждена написать ему, что не могу прийти. В четверг я впервые получила от него записку, написанную не его рукой. У него случился один из тех припадков, которые сам он именовал мигренью и которые, судя по всему, проистекали от чрезмерных доз опия, а потому он просил меня отложить мой визит на другой день. Но на другой день в восемь утра пришла Полина и сообщила, что припадок до сих пор не кончился. Я была крайне изумлена, увидев ее в столь ранний час, умоляла не скрывать, если существует опасность для жизни Гейне, она заверила меня, что врач не видит особых причин для беспокойства, да я и сама знала, что Гейне время от времени страдает такими припадками. Хотя я несколько успокоилась, однако провела крайне тоскливый день, а ближе к вечеру не могла более сносить бездействие и решила ему написать. Было ли это предчувствие? Обороты, к которым я прибегнула в этом письме, свидетельствовали, на мой взгляд, когда я его перечла, о моем преклонении перед кумиром. Такие слова можно

думать про себя, но их нельзя произносить, короче, я порвала свое письмо, написала другое, в не столь пылких выражениях, и отправила его.

Передали ли ему мое послание, написанное по-немецки?

Утром следующего дня я отправилась на Авеню Матиньон, мне навстречу из комнаты Гейне вышла крайне взволнованная сиделка и сказала, как уже ранее говорила Полина, что хотя непосредственной опасности нет, но больной настолько изнурен, настолько ослаблен припадком, что в настоящее время видеть его никак нельзя. Первый раз, с тех пор как я знаю Гейне, его дверь осталась для меня закрытой.

Я ушла совершенно не в себе, хотя все еще питала ложные надежды, — мне и в голову не могло прийти, что эта женщина меня обманывает. День спустя около полудня я снова отправилась на Авеню Матиньон — на сей раз мне открыла Полина. Остальное, помнится, дорогой друг, я уже тебе рассказывала.

Когда я спросила сиделку, как же она могла так меня обмануть, та опустила голову и промолчала... Потом я упала на колени и поцеловала холодную щеку поэта. У меня не укладывалось в голове, что передо мной лежит покойник, он был так прекрасен, что я даже не заплакала — я спросила только, можно ли мне прийти вечером либо на другой день, чтобы провести час возле усопшего, но тут я услышала колокольчик из комнаты госпожи Гейне.

Полина вышла, затем вернулась и сказала, что врач приказал, чтобы с этих пор никто не входил в комнату усопшего, — я поняла, что это предлог, и вынужденно склонилась перед ревностью, преградившей мне доступ к тому месту, которое я так часто занимала...

Три дня спустя, туманным утром, я в последний раз отправилась на Авеню Матиньон. Перед домом под деревьями прогуливались группки, удивительное собрание престранных людей, которые хотели следовать за гробом, — многие поднимались наверх, тут вышла Полина вся в слезах — она и моя мать в два голоса начали заклинать меня не ходить наверх, и я согласилась, не желая, чтобы моя скорбь была использована окружающими как материал для сплетни.

У решетки кладбища мы вышли из кареты, чтобы далее следовать пешком. По обычаю, когда сопровождают тело, принято ненадолго останавливаться перед маленькой часовней святой Девы у входа. Итак, наша процессия, в соответствии с этим обычаем, остановилась. В эту минуту молодой человек еврейской наруж-

ности обратил благожелательное и умное, хотя чуть скептическое лицо к нескольким господам из нашей процессии и едва заметно пожал плечами—уж и не знаю, что думал этот молодой человек, но получилось и впрямь удивительно. Как это Гейне, последним визитом которого при жизни было посещение Венеры Милосской, после смерти воздал почести печальной и чистой красоте Марии.

Мы долго шли длинными аллеями, прежде чем достигли могилы—временного прибежища, куда надлежало опустить тело, — наконец все остановились. Я спряталась за спинами, нимало не стремясь следить за всеми подробностями, однако я могла слышать, как подводят под гроб канаты, и мне чудилось, будто канаты обматывают мое собственное сердце. Все хранили молчание, ничьи уста не раскрылись, чтобы произнести речь, я тоже сдерживала рыдания. Толпа рассеялась, и первый раз за всю неделю я оказалась наедине с ним—нет, я ошиблась, два человека в синих халатах заколачивали последние гвозди в гроб, который был покамест виден, потом и это кончилось, сторож поворотом ключа запер двери склепа, и тут я ушла. У кладбищенской ограды, той самой, где поблизости «стоят фиакры», я встретила Катрин, сиделку. Держа в руках книгу, та возвращалась к могиле поэта.

Вот и все, что мне известно. Как протекали его последние мгновения? Вспомнил ли он за эти последние дни хоть раз обо мне? Не могу сказать. Все те мелочи, рассказ о которых обычно приносит облегчение, они ревниво от меня скрыли—задумав, верно, не тем, так иным способом поквитаться со мной за ту душевную склонность, которую он ко мне питал, за то рассеяние, которое я могла привнести в его одиночество, и, наконец, за ту преданность, которую я всегда была готова ему доказать. Говоря по чести, такой образ действий слишком хитроумен и изысканно жесток со стороны особы, чье сердце исполнено якобы детской наивности, — но, может, все это творилось по неведению! И вот эти сверхнаивные люди, которые придают такое значение чувствам, утверждают, что они его любили!

Ах, может, и я несправедлива, позволив увлечь себя такими мыслями—несправедлива по отношению к его драгоценной памяти—да и вообще, что пользы теперь в подобных обвинениях?

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1879)

Его погубила страсть, внушенная этой девочкой, которая впоследствии стала его женой, — круглолицей, с большими черными глазами, пышными волосами, белозубой улыбкой, роскошными формами, типичной парижской гризеткой, но с аристократически красивыми руками. В звуке ее голоса для Гейне всегда заключалось какое-то неизъяснимое очарование, он очень часто говорил об этом. Во время своей бесконечной агонии он не раз повторял мне, что этот голос удержал его душу в тот миг, когда она *уже улетала в неведомое*.

Прислушавшись, я обратила внимание на то, что этот *голосок малиновки* упорно избегал среднего регистра и все время держался на высоких нотах: очевидно, так он был более уверен в производимом им впечатлении. Порой звуки этого голоса долетали до нас из передней, и надо было видеть, как больной замирал на полуслове <...>. И пока голос не умолкал, на лице его играла довольная улыбка.

Хотя Гейне жил затворником и жил наедине с собой, поддерживать беседу с ним было удивительно легко. Все написанное им в стихах и в прозе сохранялось в его памяти, словно собрание оживших картин. Если в разговоре мы касались какого-либо из его произведений, он вновь принимался разворачивать сюжет, как если бы навевшее его событие свершилось здесь, перед глазами, и добавлял разные детали и подробности, которыми в свое время пришлось пожертвовать ради строгих законов искусства. Представьте себе память, запечатлевшую все, что доверил ей разум за долгое время его существования.

Чтобы вырваться душой из темницы, куда его заточила болезнь, Гейне постоянно читал книги о далеких путешествиях. Он искал там не сведения о научных открытиях, а скорее описания своеобразных обычаев, диковинных людей и животных, странных верований. Кроме того, развлечения ради он заставил прочесть себе все романы Александра Дюма.

— Этот мулат забавляет меня, — восклицал он с увлечением, — его воображение успокаивает мое собственное.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О ГЕЙНЕ

(* 1856)

Прав Гейне, когда говорит: «Все верно, я многих исцарапал и многих искусал, я не был агнцем. Но и хваленые агнцы кротости вели бы себя не столь благочестиво, обладай они, подобно мне, тигриными зубами и когтями». Ему было даровано от природы это страшное оружие, порой он прибегал к нему, но, к чести его, необходимо сказать и всячески подчеркнуть, он прибегал к нему лишь для защиты, лишь будучи на то спровоцирован. Его личные выпады были порождены не мелкой раздражительностью склочной душонки, не тягой к скандальным эскападам, даже не дерзостью человека, знающего свою силу. Нет, их породила ситуация, и ситуация звала его к исполнению долга.

Он знал это и этому радовался.

Когда в летние дни 1854 года я видел его в последний раз, он мне сказал:

— Как меня поносят журналы, какая я низкая личность, если верить их статьям, сколько изъянов находят они в моих произведениях! Если так и дальше пойдет, мне скоро не останется места среди поэтов! Вот как обращаются со мной в Германии, которую я так любил, тогда как Франция находит для меня столько добрых слов, а Северная Америка меня издает, и литераторы Нью-Йорка и Олбэни читают обо мне лекции.

Он умолк, схватил меня за руку, стиснул ее и продолжал:

— Я как раз вспомнил, что некогда лишь несколькими строчками поблагодарил вас за большую дружескую услугу. Вы меня тронули, я понимаю, сколько требовалось мужества, чтобы в Германии 1854 года с таким сочувствием выступить на моей стороне именно в ту минуту, когда все лесное зверье набросилось на умирающего льва. Ах, я даже видел осла Икс, когда он слонялся вокруг моей пещеры, но, видно, он счел меня недостаточно хилым, чтобы лягнуть меня, и потому затрусил дальше, боязливо поводя выпученными глазами... и лишь нелепо устрещающий крик вырвался из его мохнатой груди. Он ушел—он шмыгнул прочь, верно, ему доводилось слышать, что даже тень мертвого льва способна устрасить не одно робкое сердце.

Поэт указал мне на ларец, который стоял на шкафу как раз против его кровати, и вдруг с новым жаром продолжал:

— Вот взгляните! Там лежат мои «Мемуары», там вот уже много лет я собираю уродливые портреты, пугающие силуэты. Многие знают об этом ларце и трепещут, боясь, что я его открою, а потому до поры до времени от страха ведут себя смиренно либо передоверяют вести войну против меня литературным поденщикам и ничтожным личностям. В этом ларце одно из моих больших и отнюдь не последних творений. Нервы мои время от времени дают мне передышку, и тогда я нахожу в себе достаточно силы, чтобы догнать Марсия, схватить его за голову и содрать кожу у него с головы. Истошные вопли, которые издаст негодяй во время этой процедуры, разносятся по всему лесу, вызывая у его дружков целительное ко мне почтение. Ах! Не кричи этот тип так пронзительно, его, может, и не стоило бы свежевать... но до сих пор все они ужасно голосили...

Он продолжительное время тешился воспоминаниями об успехе своих атак, а завершил следующими словами:

— Да, да! Не одну раздувшуюся лягушку, не одну злобную змею, не одного мерзкого червя, не одного уroda я отловил и поместил в спирт для сохранности. На кого упал жребий, тому нелегко ускользнуть из моей колбы. Мне жаль Германию! Как обнаглеет вся эта нечисть, как бесстыдно забегает по столу, когда не станет меня, великого ловца...

Так он умел ненавидеть, глубоко, страстно, с энергией, какой мне не доводилось наблюдать ни у какого другого человека, но умел ненавидеть потому лишь, что умел и любить. Сердцем он принимал высокое, чистое, идеальное, но от того, что он видел осиянным, в ярком свете, тем резче отделялось множество людей и целые общественные установления, окрашенные в темный цвет. <...>

Да будет здесь сказано: у него было доброе сердце. Но это сердце принадлежало лишь его друзьям, ненависть же адресовалась врагам. Добрая стихия, владевшая им, изливалась даже на глубоко ему безразличных, даже на чужих людей. Для того чтобы привлечь его сочувствие, от них требовалось только одно: быть в стесненных обстоятельствах, в бедности, в несчастье. Многочисленным беженцам была знакома его щедрая рука, причем он ни разу не задавал вопроса, к какой они принадлежат партии, даже если они приходили к нему из лагеря, чьи знамена он презирал, в чьих рядах затаились враждебные ему силы: к сбору в пользу благородного, безвинно

претерпевшего страдальца он присоединялся незамедлительно, с готовностью, едва ли не превосходящей его возможности, причем с улыбкой, как бы извиняясь, пояснял: «Люблю время от времени оставлять визитную карточку у господ бога».

Что до меня, то я с душевным трепетом вспоминаю множество проявлений его дружеского участия, выпавших на мою долю. Когда в 1847 году, находясь в Париже, я какое-то время был прикован к постели, он навещал меня каждый день, взбираясь для этой цели на четвертый этаж, как ни утомителен уже тогда был для его ног этот путь. Даже за четыре дня до смерти он ухитрился оказать мне дружескую услугу, без просьбы с моей стороны, тихо, без самохвальства. Узнал я об этом спустя четыре недели после его смерти, случайно встретившись в Праге с Тайандье.

К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС О ГЕЙНЕ¹

Ф. ЭНГЕЛЬС

ИЗ РАБОТЫ «ЛЮДВИГ ФЕЙЕРБАХ И КОНЕЦ
НЕМЕЦКОЙ КЛАССИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ»

(* 1886)

Подобно тому как во Франции в XVIII веке, в Германии в XIX веке философская революция предшествовала поэтическому перевороту. Но как не похожи одна на другую эти философские революции! Французы ведут открытую войну со всей официальной наукой, с церковью, часто также с государством; их сочинения печатаются по ту сторону границы, в Голландии или в Англии, а сами они нередко близки к тому, чтобы попасть в Бастилию. Напротив, немцы — профессора, государством назначенные наставники юношества; их сочинения — общепризнанные руководства, а система Гегеля — венец всего философского развития — до известной степени даже возводится в чин королевско-прусской государственной философии! И за этими профессорами, за их педантически-темными словами, в их неуклюжих, скучных периодах скрывалась революция? Да разве те люди, которые считались тогда представителями революции, — либералы — не были самыми рьяными противниками этой философии, вселявшей путаницу в человеческие головы? однако то, чего не замечали ни правительства, ни либералы, видел уже в 1833 г., по крайней мере, один человек; его звали, правда, Генрих Гейне.

(Сочинения, т. 21, стр. 273—274)

¹ Тексты печатаются по кн.: К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. 2. М., 1976, с. 257—264.

Ф. ЭНГЕЛЬС

ИЗ РАБОТЫ «РОЛЬ НАСИЛИЯ В ИСТОРИИ»

(Декабрь 1887—март 1888)

<...> Неужели мы забыли, что весь левый берег Рейна, хотя он и принимал только пассивное участие в революции, был настроен в пользу французов, когда в 1814 г. туда снова вторглись немцы, и оставался таким до 1848 г., когда революция реабилитировала немцев в глазах населения рейнских областей? Неужели мы забыли, что восторженность Гейне по отношению к французам и даже его бонапартизм были только отголоском общего настроения народных масс на левом берегу Рейна?

(Сочинения, т. 21, стр. 461)

Ф. ЭНГЕЛЬС

ИЗ РАБОТЫ «БЫСТРЫЕ УСПЕХИ КОММУНИЗМА В ГЕРМАНИИ»

(Ок. 9 ноября 1844)

<...> Кроме того, Генрих Гейне, наиболее выдающийся из всех современных немецких поэтов, примкнул к нашим рядам и издал том политических стихов, куда вошли и некоторые стихотворения, проповедующие социализм. Он является автором знаменитой «Песни силезских ткачей», которую я вам привожу в прозаическом переводе, но которая, боюсь, будет сочтена кощунственной в Англии. <...>

На этой песне, которая в немецком оригинале является одним из самых сильных поэтических произведений, известных мне, я и расстаюсь с вами на этот раз; надеюсь, что скоро смогу сообщить о наших дальнейших успехах и о социальной литературе.

(Сочинения, т. 2, стр. 521—522)

К. МАРКС

ПИСЬМА Г. ГЕЙНЕ

12 января 1845 г.

Дорогой друг!

Я надеюсь, что завтра у меня еще будет время увидеться с Вами. Я уезжаю в понедельник.

Только что у меня был издатель Леске. Он издает в Дармштадте выходящий без цензуры трехмесячный журнал. Я, Энгельс, Гесс, Гервег, Юнг и другие сотрудничаем. Он просил меня переговорить с Вами о Вашем сотрудничестве в области поэзии или прозы. Я уверен, что Вы от этого не откажетесь, нам ведь нужно использовать каждый случай, чтобы обосноваться в самой Германии.

Из всех людей, с которыми мне здесь приходится расставаться, разлука с Гейне для меня тяжелее всего. Мне очень хотелось бы взять Вас с собой. Передайте привет Вашей супруге от меня и моей жены.

Ваш *К. Маркс.*

(Сочинения, т. 27, стр. 386—387)

24 марта 1845 г.

Дорогой Гейне!

Если я пишу Вам сегодня только несколько строк, то оправданием этому — бесконечные таможенные мытарства.

Пютман из Кёльна поручил мне попросить Вас прислать все же несколько стихотворений (может быть, также и Ваш «Германский флот») для ежегодника, выходящего в Дармштадте *без цензуры*. Вы можете прислать их на мой адрес. Крайний срок — три недели, но у Вас, конечно, уже сейчас есть что-нибудь наготове.

Моя жена посылает сердечный привет Вам и Вашей супруге. Третьего дня я ходил в здешнее полицейское управление, где должен был дать письменное обязательство не печатать в Бельгии ничего, относящегося к текущей политике.

Ренуар и Бёрнштейн напечатали в Париже Вашу «Зимнюю сказку», указав Нью-Йорк как место издания, и направили ее для продажи сюда, в Брюссель. Это переиздание к тому же, говорят, полно опечаток.

В следующий раз напишу больше.

Ваш *Маркс.*

(Сочинения, т. 27, стр. 387)

Около 5 апреля 1846 г.

Дорогой Гейне!

Я пользуюсь проездом подателя этих строк, г-на Анненкова, очень любезного и образованного русского, чтобы послать Вам сердечный привет.

Несколько дней тому назад мне случайно попался небольшой пасквиль против Вас — посмертное издание писем Бёрне. Я бы никогда не поверил, что Бёрне так безвкусен, мелочен и пошл, если бы не эти черным по белому написанные строки. А послесловие Гуцкова и т. д. — что за жалкая мазня! В одном из немецких журналов я дам подробный разбор Вашей книги о Бёрне. Вряд ли в какой-либо период истории литературы какая-нибудь книга встречала более тупоумный прием, чем тот, какой оказали Вашей книге христианско-германские ослы, а между тем ни в какой исторический период в Германии не ощущалось недостатка в тупоумии.

Может быть, Вы хотели бы сообщить мне еще что-нибудь «специальное» относительно Вашей книги, — в таком случае сделайте это поскорее.

Ваш *К. Маркс*.

(Сочинения, т. 27, стр. 393)

Ф. ЭНГЕЛЬС

БРЮССЕЛЬСКОМУ КОММУНИСТИЧЕСКОМУ КОМИТЕТУ СНОШЕНИЙ (№ 2)

16 сентября 1846 г.

Так как я уже разошелся, то в заключение еще сообщу вам, что <Генрих> Гейне опять здесь и что третьего дня я был у него вместе с Эв<ербеком>. Бедный парень ужасно осунулся. Он худ, как скелет. Размягчение мозга распространяется дальше, паралич лица также. Эвербек говорит, что Гейне может внезапно умереть от паралича легких или удара, но может также протянуть еще года три или четыре. Он, конечно, в немного угнетенном состоянии и, что всего замечательнее, очень благожелателен (не в ироническом смысле) в своих суждениях. — Только по поводу Мойрера он непрерывно острит. В общем, он сохранил всю свою духовную энергию, но физиономия его — седая бородка, которую он отпустил, потому что не может бриться,

придает ему еще более странный вид — способна привести в уныние всякого, кто его видит. Страшно мучительно наблюдать, как такой славный малый по частям отмирает.

(Сочинения, т. XXI, стр. 36)

Ф. ЭНГЕЛЬС — К. МАРКСУ

14 января 1848 г.

Гейне при смерти. Две недели тому назад я был у него, он лежал в постели, с ним случился нервный припадок. Вчера он встал, но находится в крайне жалком состоянии. Он с трудом может сделать три шага, опираясь о стены, пробирается от кресла к постели и *vice versa*¹. К тому же шум в доме сводит его с ума — стук столбчатых ударов молота и т. д. Умственно он также несколько ослабел. Гейнцен хотел зайти к нему, но не был допущен.

(Сочинения, т. 28, стр. 107)

К. МАРКС — Ф. ЭНГЕЛЬСУ

17 января 1855 г.

У меня дома сейчас три тома Гейне. Между прочим, он подробно рассказывает вымышленную историю о том, как я и другие приходили утешать его, когда аугсбургская «Allgemeine Zeitung»² «напала» на него за получение денег от Луи Филиппа. Добрый Гейне намеренно забывает то обстоятельство, что мое вмешательство в его пользу относится к концу 1843 г. и, следовательно, никак не может быть поставлено в связь с фактами, которые стали известны *после* февральской революции 1848 года. Но не будем об этом говорить. Мучимый нечистой совестью, — ведь у старой собаки чудовищная память на подобные гадости, — он старается подольститься.

(Сочинения, т. 28, стр. 354)

¹ Обрато (лат.).

² «Всеобщая газета» (нем.).

К. МАРКС — Ф. ЭНГЕЛЬСУ

26 сентября 1856 г.

Патнем требует после Базанкура, по возможности, снова заняться вопросом «корабли против крепостей», особенно интересующим Америку в связи с последней войной. Затем также о плавучих батареях и канонерках, легких или тяжелых орудиях и т. д. Все это, по-видимому, рассчитано на возможность, в более или менее близком будущем, войны Америки с Англией. Кроме этих военных вещей я должен еще написать о Гейне.

(Сочинения, т. 29, стр. 57)

КОММЕНТАРИИ

Все материалы расположены в соответствии с примерной хронологической последовательностью описываемых событий и обстоятельств жизни Г. Гейне. В особый подраздел в конце книги выделены высказывания К. Маркса и Ф. Энгельса о поэте.

Переводчики данной книги пользовались следующими сборниками материалов о Гейне: *Gespräche mit Heine. Zum ersten mal gesammelt und hrsg. von H. H. Houben. Frankfurt am Main, 1926. 2. Auflage, Potsdam, 1948; Heine Heinrich. Gespräche, Briefe, Tagebücher, Berichte seiner Zeitgenossen. Gesammelt und hrsg. von Hugo Bieber. Berlin, 1926; Begegnungen mit Heine. Berichte der Zeitgenossen. Hrsg. von Michael Werner. 2 Bände. Hamburg, 1973.* Расположение, датировка и редакция материалов сверены с последним вышеназванным изданием. В угловых скобках помещены обозначения пропусков в тексте оригинала, а также восстановленный текст и необходимые редакторские пояснения.

НА РОДИНЕ ПЕРВЫЕ ПОИСКИ И СВЕРШЕНИЯ

Стр. 25. «Воспоминания» сестры поэта *Шарлотты Эмбден-Гейне* возникли, очевидно, вскоре после публикации в 1866 г. в «Беседке» мемуарных записок о Гейне его брата Максимилиана Гейне. В одном из своих писем к брату Густаву Гейне она писала: «Будь, пожалуйста, внимателен при редактуре моих мемуаров. В одном месте я в них написала, что четырехлетний Гарри (Генрих) уже учится писать... а потом в Гамбурге он опять у меня оказался ребенком. Проследи, чтобы не получилось такой же несуразицы, как в писанине Максимилиана. Посмотри как следует,

можно ли все это опубликовать, чтобы я не опозорилась...» Рукопись эта тогда осталась неопубликованной. Хотя воспоминания Шарлотты Эмбден нуждались бы в дополнительной редакции, в них содержится много интересного фактического материала, в частности о детстве Гейне и о его происхождении.

...называете такого хорошего мальчика Гарри, словно он осел... — В «Мемуарах» Гейне довольно подробно рассказывает о дюссельдорфском мусорщике по прозвищу Михель-золотарь, который каждое утро объезжал городские улицы с тележкой, запряженной ослом. Осла своего он окликал: «Гаарю». «...Благодаря сходству между этим словом и моим именем Гарри мне пришлось перенести очень много обид от школьных товарищей и соседских детей».

Стр. 27. *Когда я была у брата в Париже...* — В ноябре 1855 г.

Стр. 28. *...его отдали в школу для молодых людей, желавших посвятить себя торговому делу.* — После годичного подготовительного курса в частной еврейской школе Ринтельзона в конце лета 1804 г. Гейне был принят в нормальную школу в бывшем францисканском монастыре; затем, осенью 1807 г., поступил в двухгодичный подготовительный класс лицея, открытого французами во время их оккупации Дюссельдорфа. Перед лицеем в течение полугода он еще занимался по некой специальной программе, чтобы восполнить пропущенный учебный материал. Вероятно, Шарлотта Эмбден имеет в виду это специальное обучение.

Ректор лицея Шальмайер — католический священник Эгидий Якоб Шальмайер, ректор дюссельдорфского лицея, был просвещенным и терпимым человеком и оказал влияние на идейное развитие Гейне.

Стр. 29. Воспоминания *Максимилиана Гейне* о своем знаменитом старшем брате представляют собой пересказ эпизодов из жизни последнего главным образом полуанекдотического характера. Они лишь частично основываются на непосредственном личном переживании; в основном этот материал собран из вторых рук, или автор использует переписку Гейне. Воспоминания изобилуют неточностями и имеют склонность многое сглаживать. Тем не менее в них содержится немало ценной информации о семье Гейне. В настоящем издании отобраны лишь наиболее достоверные из сообщений Максимилиана.

Когда Генрих Гейне учился в дюссельдорфской гимназии... — Речь, видимо, идет об упомянутом выше лицее.

Стр. 31. *...<в торговой школе Фаренкампа в Дюссельдорфе>...* — Гейне учился там с осени 1814 г. до лета 1815 г., после того как покинул лицей без сдачи выпускных экзаменов.

...было поручено сопровождать Гарри Гейне при его отъезде из Гамбурга... — В 1816 г. Гейне приехал в Гамбург к своему дяде — банкиру Соломону Гейне и начал работать в его конторе. Однако его интересы были чужды этой сфере и уже тогда устремлены к литературе. Летом 1819 г. он возвращается в Дюссельдорф, где вместе с Йозефом Нойнцигом готовится к поступлению в Боннский университет.

Стр. 32. ...я еще не знал, что Гейне там. — В действительности Штейнман, соученик Гейне по дюссельдорфской гимназии, поступил в университет в летний семестр 1819 г., на полгода раньше Гейне.

Стр. 33. «Страж». — В 1817 г. в журнале «Гамбургский страж» 27 февр. и 17 марта были опубликованы первые стихотворения Гейне под замысловатым псевдонимом «Сифройдольд Ризенхарф» (Sy Freudhold Riesenharf), являвшимся анаграммой слов «Гарри Гейне Дюссельдорф» (Harry Heine Düsseldorf).

Карлсбадский съезд немецких государей был созван в августе 1819 г. Карлсбадские постановления (от 29 сент. 1819 г.) были направлены против растущей студенческой и прочей оппозиции.

Стр. 38. Переводы из Байрона. — Впервые были опубликованы полностью в сборнике «Стихотворения» (1822). Один из этих переводов «На здравие» еще раньше появился в «Рейнско-Вестфальском вестнике» от 15.9.1819 и возник в 1819 г. в одно время с другим переводом, «Инес». Переводы первой сцены из «Манфреда» и «Доброй ночи» создавались именно так, как описывает Штейнман.

При отъезде Гейне в Геттинген (сент. 1820 г.) Штейнман рекомендует его Бенедикту Вальдеку. В письме к Штейнману от 24 февр. 1821 г. Гейне говорит о Вальдеке, что он «очень хороший поэт» и в «будущем ему дано много свершить».

...«учение о едином человечестве...»... — В действительности в те годы идеи космополитизма были Гейне еще совершенно чужды.

Стр. 42. ...после начала в духе Зигварта... — Имеется в виду роман писателя, примыкавшего к движению «Штурм унд дранг» («Буря и натиск»), И.-М. Миллера «Зигварт. Монастырская история» (1776), написанный в подражание «Вертеру» Гете.

Стр. 43. Лекции Гегеля по эстетике. — Этот курс был прочитан Гегелем в Берлинском университете зимой 1821/1822 г. Гейне посещал эти лекции не регулярно, а от случая к случаю.

Стр. 44. ...Фридерика Роберт, муза, которой поклонялся Гейне... — Элиза фон Гогенхаузен считала, что Фридерика Роберт была первой большой любовью Гейне.

Стр. 46. Герман Шифф. Из воспоминаний о Гейне. — Написать эти воспоминания Шиффа побудил Адольф Штротдман, использовавший часть из них в своей монографии о Гейне. Остальное было опубликовано отдельным изданием. Шифф познакомился с Гейне в Гамбурге и в 1822 г. учился вместе с ним в Берлинском университете; они были дальними родственниками.

Стр. 47. ...напомнил ему о «Гезейрес Хенгельпетхе» и историю с «Хеп-хеп». — Речь идет о еврейских погромах в Гамбурге, последний из которых происходил 25 авг. — 1 сент. 1819 г. Гейне не был свидетелем этих погромов и знал о них только по рассказам.

Стр. 51. ...в Берлине образовалось общество... — Упомянутое Образовательное общество для евреев было основано 7 ноября 1819 г. и имело своей задачей поднять культурный уровень немецких евреев, ограниченный рамками национальной изоляции. Для этой цели был образован «научный институт» и «общеобразовательный класс». Общество насчитывало около 50 членов и просуществовало до 11 мая 1823 г. В общеобразовательном классе, где первоначально обучалось 14 учеников от 15 до 21 года, Гейне давал уроки истории с нач. октября 1822 г. три раза в неделю. С 15 декабря, видимо по болезни, он эти уроки прекратил. В течение зимы 1822/1823 г. общеобразовательный класс заметно сокращается и в мае закрывается совсем.

...который в то время жил на... Нойе-Фридрихштрассе в доме № 47... — В действительности Гейне жил тогда на Мауэрштрассе, 51.

Стр. 52. ...вел с нами занятия по французскому, немецкому языку и истории Германии. — На самом деле Гейне преподавал только историю.

Вагнер — персонаж из «Фауста» Гете.

Стр. 53. «...где словечко «фон» превратилось в «ван». — Мать Гейне происходила из семьи ван Гельдерн.

...что и Шпигельбергу с собакой. — Шпигельберг — персонаж из «Разбойников» Шиллера. Он рассказывает (1, 2), как мальчиком, спасаясь от злой собаки, перемахнул через такую широкую канаву, какую прежде никогда не мог одолеть.

...<в книге Карла Циглера «Жизнь и характер Граббе»>... — Рукопись этой книги Кампе переслал Гейне в янв. 1854 г., поскольку тот ранее в разговоре проявил к ней живой интерес. 10 марта 1854 г. Гейне писал Кампе, что «эта рукопись в высшей степени важна для истории литературы», но выражал сомнения в возможности ее публикации при жизни вдовы Граббе. Книга вышла в Гамбурге в 1855 г.

Стр. 54. ...в 11 номере «Пограничного вестника»... — В действительности цитируемые строки напечатаны в 12-м

номере, в рецензии Юхтрица на книгу Циглера. Отношения Гейне с кружком Граббе скоро расстроились.

Стр. 55. *«Мне снился сон, что я господь...»* — Начальная строка стихотворения Гейне № 66 из цикла «Возвращение на родину» («Книга песен»).

Педель — надзиратель за студентами в немецких университетах.

Стр. 56. *...рукопись «Готланда»...* — В «Мемуарах» Гейне рассказывает, что Граббе сам принес ему рукопись своей драмы «Герцог Готландский» (после того как его послал к нему Губиц). Свидетельство Кёхи скорее всего более соответствует действительности, исходя из того, что Граббе довольно неприязненно относился к Гейне. 30 дек. 1822 г. Гейне отослал рукопись к Варнхагену. А затем вполне могло произойти то, о чем далее пишет Гейне в «Мемуарах»: Рахель Варнхаген попросила Гейне прийти и забрать рукопись, она-де не может находиться в собственном доме, пока в нем находится этот «ужасный манускрипт».

Стр. 57. *...о Граббе он нигде не говорит.* — Суждение явно ошибочное. Гейне писал о Граббе в «Романтической школе» (1836) и дважды упоминал о нем в письмах «О французской сцене».

«...зарезу, как курицу!» — реминисценция из драмы «Готланд».

...его сестра Лоттхен обручена... с господином Эмбденом. — Свадьба Шарлотты Гейне с Морцем Эмбденом состоялась 22 июня 1823 г.

Стр. 58. *...связала нас тесными дружескими узами.* — В письме к Леману (от 26.2.1823) Гейне писал: «Вы знаете, я Вам кругом обязан, и вычеркнуть Вас из памяти было бы черной неблагодарностью. Вы чуть ли не первый в Берлине сблизился и подружился со мной и, зная мою беспомощность во многих отношениях, самым бескорыстным образом оказывали мне дружескую и любезную поддержку».

...на Мауэрштрассе... — Гейне жил в доме на Мауэрштрассе, 51, с июля 1822 г. до своего отъезда из Берлина в 1823 г.

...главным образом из-за этого, покинул Берлин... — Вряд ли в мае 1823 г. можно было говорить об успехе или неуспехе «Трагедий с лирическим интермеццо», поскольку сборник этот появился всего лишь в апреле. Покинул же Берлин Гейне в расчете на осуществление своих планов на литературную и дипломатическую карьеру. Материальную поддержку от своего дяди Соломона Гейне он получал только при том условии, что будет продолжать учиться и завершит свое образование. Поэтому в 1824 г. он возобновил занятия, но уже в университете Геттингена.

Стр. 59. *«Ах, этот свет, он слеп и глуп!..»* — стихотворение № 15 из цикла «Лирическое интермеццо» («Книга песен»).

Стр. 61. *«...достаточно неприятностей и от одного поэта».* — 4.9.1824 г. Гейне писал своему другу Р. Христиани: «Очень плохо, что вы побудили моего брата к стихотворству; он не лишен способностей, но у него нет никаких данных, чтобы создать что-нибудь значительное...»

Мне очень нравились тогда античные размеры... — В письме к Мозеру (от 30.9.1823) Гейне писал: «Мой младший брат прилежно изучает древних...»

Стр. 65. *...охотно хотел бы познакомиться с вами.* — Гейне пришел с визитом к братьям Гримм в авг. или окт. 1824 г.

...работает теперь над новеллой... — Имеется в виду незаконченное прозаическое произведение «Бахерахский раввин».

Стр. 66. *«Ульрих»* — студенческая пивная в Геттингене. *...из университета его исключили.* — Гейне был исключен из Геттингенского университета на полгода за то, что вызвал на дуэль на пистолетах студента Вибеля.

Стр. 68. *Сюжет «Альманзора» он нашел в одном испанском романсе... —* Вероятно, Гейне имеет в виду балладу Фуке о доне Гайферосе и донье Кларе из многотомного романа последнего «Волшебное кольцо» (1813).

...выписки из старинных хроник в библиотеке... — В регистрационных карточках библиотек Геттингена сохранились многочисленные заказы Гейне на издания старинных хроник. Сохранились и выписки поэта.

Пандекты — сочинения древнеримских юристов по вопросам частного права, включавшие выдержки из законов и других нормативных актов.

...за участие в студенческих выходках в новогоднюю ночь... — Это обстоятельство в качестве официального мотива для исключения не фигурировало.

Стр. 71. *«Блаженны те, кто честь хранят...»* — Это стихотворение впоследствии было опубликовано в сборнике «Новые стихотворения» (цикл «Романсы», № 19) под заглавием «Жалоба старонемецкого юноши».

Стр. 76. *«Агриппина»* — журнал, издававшийся в Кельне другом Гейне Жаном Батистом Руссо. Гейне писал Рудольфу Христиани (24.5.1824): «С «Книгой шпрухов» Руссо и его журналом Вы, наверное, познакомились благодаря моему брату. Руссо пишет мне бесконечно много ласковых слов и просит вербовать сотрудников для его журнала».

Стр. 77. *...речь зашла... о «Кримхильде» Эйхгорна.* — Имеется в виду драма «Месть Кримхильды» (1824) Христиана Фридриха Эйхгорна, тогдашнего геттингенского студента.

Я задал ему вопрос и о его переводах. — Переводы Гейне из Байрона были опубликованы в его сборнике «Стихотворения» (1822).

Стр. 78. *Гейне любил говорить о Байроне и ощущал себя ему равным...* — Это сообщение Ведекинда почти дословно совпадает с высказыванием Гейне в его письме к Мозесу Мозеру (от 25.6.1824): «...с Байроном я всегда чувствовал себя как с равным, как с соратником. С Шекспиром же я совсем не могу обращаться запросто — слишком ощущаю, что он мне неровня. Он — всесильный министр, я — всего лишь надворный советник, и мне кажется, что он каждую минуту может сместить меня».

Стр. 80. *...с одним из своих братьев...* — Речь идет о Максимилиане Гейне.

Стр. 82. *...студент Адольф <Петерс>...* — Гейне и сам неоднократно свидетельствовал о своих злых проделках над Адольфом Петерсом. Так, в письме к Рудольфу Христиани (от 26.5.1825) он писал о Петерсе, что это «один из забавнейших скотов, порожденных нашим временем. Он всегда при мне, я держу его на потеху себе и своим друзьям. Он точь-в-точь осел, бряцающий на лютне. Но с каким чувством собственного достоинства и с какими претензиями!» Слова: «Петерс! Это твоё самое лучшее стихотворение!» — Гейне цитирует в письме (от 6.12.1825) к тому же Христиани. Другой анекдот о своем «университетском друге Адольфе» Гейне рассказывает в письме к Кампе (от 7.3.1854). В журнале «Собеседник» (№ 11 за 1825 г.) Петерс опубликовал рецензию на «Трагедии» Гейне.

Стр. 85. *Еврей по имени Генрих Гейне... обратился ко мне с просьбой...* — По всей вероятности, Гейне ввел пастора Гримма в заблуждение. В действительности он никогда не выдавал себя за христианина. Что же касается дяди Соломона, то он никогда не возражал против принятия племянником христианства. Более того, он полагал, что этот акт облегчит ему профессиональную карьеру (см., например, письмо Гейне к М. Мозеру от 27.9.1823). Эрфуртские власти в своем ответе на доклад пастора Гримма рекомендовали ему подойти к этому делу со всей возможной осторожностью и поставили условием безупречные характеристики нравственных качеств Гейне и исчерпывающие знания им принципов христианской религии. В соответствии с этим указанием пастор Гримм запросил гегтингенского суперинтенданта Руперти, который и передал ему необходимое свидетельство (см. с. 86). Гримм потребовал также от Гейне представления им характеристик.

Стр. 87. *Суперинтендант* — священнослужитель, возглавляющий церковный округ.

Стр. 89. *Он иногда нас навещает...* — В письме к Варнгаге-

ну (от 14.5.1826) Гейне писал: «С Вашими родными я здесь дружу, и мы хорошо понимаем друг друга. Все они здоровы. С моим незлобивым характером я, как мне кажется, произвел отнюдь не дурное впечатление и на Вашу сестру...»

Стр. 90. *...ему послал это профессор Гуго из Геттингена...* — В дневнике Геббеля есть такая запись от 11 июля 1841 г.: «Гейне — пряники от Гуго — Кампе; если эти орехи от Вас, я могу их съесть». Намек на этот эпизод содержится и в письме Гейне к Кампе (от 18.9.1850): «Лучший эпитет, которым я могу определить Ваше молчание, — это мальчишество. Да, мальчишество, которое напоминает мне те блаженные времена, когда Вы со своим Патроклем Меркелем бросали мне через окно в комнату макароны...»

Стр. 92. *...для представительства кредитное письмо...* — Об этом злоупотреблении кредитным письмом свидетельствует и Соломон Гейне (см. его письмо к Гейне от 26.12.1843). Банкир представляет дело так, что Гейне попросил у него финансовый документ для того, чтобы показать своей родне, и прежде всего Морицу Эмбдену (мужу сестры Шарлотты), что он находится с дядей в добрых отношениях. Согласно версии Соломона Гейне, речь шла о сумме в 200, а не в 400 фунтов. Часть этих денег Гейне будто бы под строжайшим секретом переслал Варнхагену с тем, чтобы тот принял их на сохранность.

Стр. 93. *...лучшее, что есть в тебе, — это то...* — Сказал ли Гейне эти слова в ответ на упреки за историю с кредитным письмом, установить невозможно. Они могли содержаться в одном из писем. Соломон Гейне, в свою очередь, неоднократно упрекал племянника за эти слова.

Стр. 94. *...чтобы он мог посмотреть знаменитые картины Рафаэля.* — Очевидно, речь идет о лондонской Национальной галерее. Обещание свое Гейне, не сдержал. В корреспонденции в аугсбургской «Всеобщей газете» 29 апр. 1841 г. он упомянул, что Мошелес постыдным образом провалился на концерте у Шлезингера. Однако в книжном издании «Лютении» Гейне это место вычеркнул.

«Немецкий вестник». — Полное название этой газеты «Всеобщий немецкий вестник».

Стр. 95. *«Биографические памятники»* Варнхагена фон Энзе — в пяти томах, выходили в 1824—1830 гг. В письме к Варнхагену (от 24.10.1826) Гейне писал: «На Нордернее я нашел Ваши «Биографические памятники», которые раньше только бегло прочел, а теперь прилежно изучил. Боже! Как можно так спокойно писать? Изображение короля Теодора нравится мне более всего. Я узнаю в нем Ваш живописный стиль; другие биографии, пожалуй, лучше потому, что они проще и меньше бьют на эффект. Я читал это описание на просторе в прекрасные дни...»

Стр. 96. *...что с ним сблизился Котта...* — Барон Котта Иоганн Фридрих — глава крупной издательской фирмы, первый издатель многих произведений Гете и Шиллера, издатель популярного «Утреннего листка для образованных сословий» и многих других газет и журналов. По рекомендации Варнхагена Котта предложил Гейне сотрудничество в своих журналах, и в 1827—1828 гг. в «Новых всеобщих политических анналах» был напечатан ряд статей Гейне об Англии, вошедших позже в «Английские фрагменты». С янв. 1828 г. Гейне совместно с Ф.-Л. Линднером редактирует в Мюнхене этот журнал Котта, а позднее сотрудничает также в его «Утреннем листке». Своих книг Гейне у Котта никогда не издавал.

Стр. 97. *...доверительные отношения господ Гейне и Кирхгергена с этим Витом производят неприятное впечатление.* — Гейне полностью отдавал себе отчет в характере личности Вита фон Дерринга, провокатора и доносчика, замешанного во многих политических скандалах, но сознательно шел на эти контакты. Он говорит об этом в письме к Варнхагену (от 12.2.1828): «Вит фон Дерринг, эта пресловутая личность, здесь; бог весть, каким скандалом он кончит. Личные отношения у нас с ним наилучшие, и он компрометирует меня повсюду, называя своим другом. Но таким образом я достигаю, во-первых, того, что революционеры из недоверия держатся от меня в стороне (а это мне очень приятно), во-вторых, правительства полагают, что я не так уж плох и не состою ни в каком опасном сообществе... Правда, будь у меня власть, я велел бы его повесить». В таком же духе Гейне высказался о Дерринге в письме к тому же Варнхагену (от 1.4.1828).

...Гейне передал мне... статью в честь господина Вита... — Эта статья была впервые опубликована только в 1878 г. Адольфом Штротманом (см.: Генрих Гейне. Собр. соч. в 10-ти томах, т. 5. Л., 1958, с. 151—153).

Стр. 98. *...против моей статьи, напечатанной за границей.* — Имеется в виду журнал «За границей» (№ 5 за 1828 г.).

К ней я написал примечание... — Это примечание 11 февраля 1828 г. Гейне переслал Линднеру обратно, сообщив, что он не имеет никаких возражений против его публикации. По невыясненным обстоятельствам это примечание, однако, опубликовано не было.

Стр. 99. *...но я его остерегаюсь.* — Напряженность в отношениях между Гейне и Линднером, возникшая из-за этого эпизода, не могла не отразиться неблагоприятным образом на работе Гейне у Котта. Лишь к 1831 г. эти последствия сгладились. Для Линднера — человека с тяжелым и своенравным характером — эта щекотливая история стала

весьма благоприятным поводом требовать от Котта полной реорганизации мюнхенского филиала его издательства, с тем чтобы Линднер смог играть в нем более заметную роль. Однако его усилия в этом направлении не встретили понимания.

...интереснейшую статью. — Очевидно, имеются в виду две статьи Гейне в т. 26 «Новых политических анналов»: «Эмансипация католиков» и «Новое английское министерство».

Стр. 100. *Глиптотека* — знаменитое собрание скульптур в Мюнхене.

Стр. 101. *Древняя Аугуста* — Аугсбург.

Стр. 104. «*Трагедия в Тироле*». — Гейне высоко оценил эту драму Карла Иммермана в своем «Путешествии от Мюнхена до Генуи» (1828—1829).

Стр. 105. ...если Ваше величество высочайше удостоит его Вашей защиты... — Несмотря на эту рекомендацию Шенка профессору в Мюнхенском университете Гейне так и не получил.

Стр. 106. *Об Эдипе*... — Имеется в виду сатирическая комедия в стихах автора письма Августа фон Платена «Романтический Эдип» (1829). Граф Август Платен фон Галлермюнде (1796—1835)—поэт скромного, но заметного дарования. Во всяком случае, в истории немецкой поэзии он занял прочное место. Принадлежа к обедневшему аристократическому роду, в некоторых вопросах Платен демонстрировал передовые общественно-политические взгляды. Отточённость формы его стиха нередко переходит в формалистические изыски. Тогдашняя публика холодно принимала поэтическую продукцию Платена. Обостренное самолюбие наряду с определенным комплексом творческой неполноценности толкали его к постоянной полемике с литературными современниками. Так, почувствовав себя задетым эпиграммами Гейне и Иммермана, опубликованными в «Северном море» Гейне, он выступил против них в комедии «Романтический Эдип», на что Гейне, в свою очередь, ответил ему сокрушительной критикой в «Луккских водах» и в «Путешествии от Мюнхена до Генуи».

...после смерти отца... — Отец поэта, Самсон Гейне, умер 2 дек. 1828 г. Известие о его кончине Гейне получил в Вюрцбурге, на обратном пути из Италии.

Стр. 110. ...Гейне обвиняют в предоставлении ему материалов для его книги... — Имеется в виду книга «Выдержки из мемуаров сатаны. Изданы Витом по прозванию фон Дерринг. Штутгарт, 1829. Часть третья». Книга имеет характерный подзаголовок «Дьявол в Мюнхене и падший ангел»; в ней сатирически изображается жизнь в Мюнхене и в Баварии, а также высмеивается издатель Котта.

Стр. 112. *Певница Ш.* — по всей видимости, Бетти Шредер.

Стр. 113. ...показал всему миру в «Луккских водах». — Под именем Гумпелино.

Стр. 114. *Ян Стен* (1626—1679). — Об этом художнике Гейне писал в «Шнабелевопском» («Из мемуаров господина Шнабелевопского», 1834), а о голландской школе в целом — в «Путешествии от Мюнхена до Генуи» (1830).

«Провидящая из Префорста» (1829) — книга поэта и прозаика «швабской школы» Юстинуса Кернера (1786—1862); посвящена проблемам мистического спиритуализма.

После этой первой встречи... — Август Левальд познакомился с Гейне в сент. 1829 г. в Гамбурге.

Стр. 115. *Он... просил меня собрать и издать различные новеллы...* — Новеллы А. Левальда были опубликованы в 1831—1833 гг. у Гофмана и Кампе.

Стр. 116. *Салон Петера Арендса* — салон для танцев на Новой улице в Гамбурге; был известен своими девицами и редким в ту пору газовым освещением.

Когда в Гамбург приехал Паганини... — Гейне слушал Паганини в июне 1830 г. в Гамбурге, а до этого, возможно, весной 1829 г. в Берлине. Образ Паганини был великолепно воссоздан Гейне во «Флорентийских ночах» (1836).

Стр. 117. *Известный писатель из Ганновера* — Георг Гаррис.

...никогда не упоминал о гамбургском театре. — О гамбургском театре Гейне иронически отозвался позже в «Шнабелевопском».

Стр. 121. *Клаудиус* Маттиас (1740—1815) — известный немецкий лирический поэт.

Стр. 122. «*Эрато*» Гауди. — Эта книга (Глогау, 1829) была посвящена Гейне. Гауди послал ее ему в конце 1829 г., а в конце апр. 1830 г. Гейне поблагодарил его за это в письме из Вандсбека. Он высоко ценил этот сборник и переслал его Варнхагену с просьбой опубликовать на него рецензию (см. письмо Гейне к Варнхагену от 21.6.1830).

Стр. 123. «*Лгут уста, но ложь понятна...*» — Это стихотворение печатается обычно в разделе «Дополнения» (1812—1831).

Стр. 126. *События в Гамбурге.* — Речь идет о еврейском погроме 8 сент. 1830 г.

Стр. 127. *То, что он стал значительной силой в литературном мире Германии...* — Еще 24 мая 1827 г. Шамиссо писал Розе Марии Ассинг: «Генрих Гейне, несомненно, принадлежит к выдающимся представителям молодого поколения; то внимание и уважение, которое он мне оказывает с таким дружелюбием, весьма радует меня. Я просил бы Вас передать ему мои добрые пожелания и надеюсь, что,

преодолев свою лень, я ему напишу, если он только уже не в Англии».

Стр. 128. *...в следующем язвительном стихотворении...* — Автором его является некий литератор Вильгельм Нойман; опубликовано в «Собеседнике» за 1828 г. (№ 136). Винбарг цитирует первую из трех строф.

Стр. 130. *Книга о дворянстве.* — Речь идет о книге Р. Вессельхейфта «Кальдорф о дворянстве» (Нюрнберг, 1831). Гейне написал к ней предисловие.

Стр. 131. *...по классическому труду Минье.* — Минье Ф. История французской революции. Париж, 1824.

Стр. 133. *Иммерман был первым...* — Речь идет о рецензии Иммермана на поэтический сборник Гейне «Стихотворения» (1822). Опубликована в «Рейнско-Вестфальском вестнике» (за 1822, № 44).

Стр. 134. *...то он публично высказывался об этом не только в более позднее время...* — Об этом Гейне писал в «Признаниях» (1854) — см. с. 9.

Стр. 136. *«Штернер и Пситтихер»* — роман К.-А. Варнхагена фон Энзе, вышедший в 1831 г.

К.-А. Варнхаген фон Энзе. Из анекдотов о Гейне. — Анекдот апокрифичен. Согласно Хубену, эту же остроту написал в альбом Ротшильду известный остро слов писатель М.-Г. Сафир.

Шпандау. — Имеется в виду тюрьма в берлинском пригороде Шпандау.

Стр. 139. *«Урания»* Х.-А. Тидге — поэма, вышедшая в 1801 г. в Галле.

...тогдашняя Гота. — Готой (по месту издания) именовался знаменитый генеалогический справочник дворянских родов, а также сами эти дворянские роды.

Стр. 140. *Барнав* (см. указатель) — деятель Великой французской революции, здесь символ якобинцев.

Я рисовал его... — Портрет Гейне, выполненный М. Оппенгеймом, наиболее известен.

В ПАРИЖЕ ИЮЛЬСКОЙ МОНАРХИИ

Стр. 142. Герман Франк. Из письма Саре Остин. — Письмо написано на английском и французском языках, слова Гейне переданы по-немецки.

В *Булонь-сюр-Мер* Гейне познакомился с английской писательницей Сарой Остин летом 1833 г.

Стр. 144. *«Китти...»* — Эта дюжина небольших стихотворений позднее частично вошла в цикл «Разные».

Стр. 146. *Но талантливые или значительные музыканты живо интересовали его.* — В своем гротескном эссе «Потусто-

ронние визиты» (Гиллер Ф. Мемуарные листы. Кельн, 1844) Гиллер спрашивает Гейне: «Вас действительно музыка когда-либо интересовала?»—на что Гейне ему якобы ответил: «Только в лице своих представителей».

«Он — как Роберт...» — Имеется в виду заглавный персонаж оперы Мейербергера «Роберт-Дьявол», популярной в Париже 30-х годов.

Стр. 147. ...написал большой очерк о последней выставке картин. — Речь идет о сочинении Гейне «Французские художники. Выставка картин в Париже в 1831 году», опубликованном впервые в «Утреннем листке» 1831 г. (№ 257—274, 27 октября—16 ноября). В своей книге «Людвиг Бёрне» Гейне в этой связи писал: «Его <Бёрне>, например, рассердило то, что я сразу по приезде в Париж не нашел ничего лучшего, как написать для немецких газет длинный отчет о тогдашней выставке картин. Я оставляю нерешенным вопрос о том, были ли художественные интересы, побудившие меня к этой работе, абсолютно несовместимы с революционными интересами тех дней; но Бёрне видел в этом доказательство моего равнодушия к священному делу человечества...» Судя по письмам Ж. Воль к Бёрне от 3 и 9 окт. 1831 г., Бёрне многого ожидал от Гейне и своего сотрудничества с ним.

Стр. 149. На концерте Гиллера... — Об этом концерте, состоявшемся 4 декабря 1831 г., Гейне опубликовал в «Утреннем листке» от 24/26 декабря очерк «Концерт Ф. Гиллера».

...статья из «Биржевого зала»... — Речь идет о статье в немецкой газете «Критические листки из биржевого зала», где содержался резкий отзыв о «Парижских письмах» Бёрне и не менее резкие замечания о Гейне. «Франкфуртская почтовая газета» — это «Ведомости франкфуртского почтового управления», редактором которой в то время был многолетний друг Гейне Жан Батист Руссо.

...что его можно склонить на свою сторону, подкупить... — Гейне любил изображать себя перед Бёрне распущенным беспринципным циником. Ж. Воль, отвечая на это письмо (от 15.12.1831), в частности, писала: «То, что Вы мне пишете о продажности Гейне, и впрямь возмутительно и ужасно — я бы никак не могла о нем такое подумать».

Стр. 150. Статью в «Утреннем листке»... — Статья в «Литературном листке», приложении к «Утреннему листку» (от 28.11. и 2.12.1831 г.), написана была все-таки А. Менцелем.

...после того, как он прочел сегодня письма. — Имеются в виду «Парижские письма» Л. Бёрне (Гамбург, 1830—1833).

Стр. 151. ...Гейне боится народа... — Об отношении Гейне к народу см. «Людвиг Бёрне» (кн. 3-я).

...что я «представил Сафира...» — В письме Ж. Воль от 2 марта 1831 г. Бёрне писал ей об «интересных идеях».

содержащихся в лекциях, которые Сафир читал в Париже зимой 1831 г.

Стр. 152. *Обещанная рукопись Гейне* — упомянутая выше серия очерков Гейне «Французские художники».

...его письмо для «Утреннего листка». — Речь идет об очерке Гейне «Концерт Ф. Гиллера». См. коммент. к с. 149.

Стр. 153. *Бер сочинил трагедию...* — Трагедия М. Бера «Меч и рука» была поставлена 30 апр. 1832 г. в Берлине; в рукописном виде имела хождение в Париже.

Стр. 154. *Они помещены во 2-м томе «Путевых картин».* — Имеется в виду 2-е издание 2-го тома «Путевых картин» (1831), где был напечатан цикл стихотворений «Новая весна».

Честь имею препроводить... корреспонденцию Гейне для «Всеобщей газеты». — Первая из цикла корреспонденций Гейне в аугсбургской «Всеобщей газете», под названием «Французские дела», была опубликована 11/12 янв. 1832 г.

Мне отрадно было прочитать во «Всеобщей газете» от 28-го... — Газета французских республиканцев «Трибюн» («Трибуна») 19 янв. 1832 г. опубликовала перевод первой части первой статьи Гейне из цикла «Французские дела», направленной против Луи Филиппа. А еще 18 янв. проправительственная газета «Тан» («Время») подвергла нападкам «Всеобщую газету» за то, что она позволяет задевать на своих страницах «короля-гражданина», в то время как немецкая цензура вычеркивает любую критику в адрес «Священного союза». Редактор «Трибюн» за эту публикацию был привлечен к судебной ответственности. Сам Гейне считал виновником этой истории издателя Франка, поместившего в «Трибюн» нарочито искаженный и утрированный перевод его статьи. Дело осложнялось еще тем, что недоброжелатели Гейне из экстремистских кругов немецкой республиканской эмиграции в Париже безосновательно распространяли слухи, что Гейне является агентом Меттерниха, желая тем самым навлечь на него гнев французских властей. К тому же не без основания считалось, что «Всеобщая газета» выходит под некоторым покровительством австрийских властей (сам Меттерних, как известно, втайне ценил перо Гейне и не без удовольствия читал его парижские корреспонденции). Поэтому так важен факт, что во «Всеобщей газете» от 28 янв. 1832 г. (в «Приложении») Гейне был взят под защиту.

Стр. 155. *...чтобы между ними... положили побольше хлопчатой бумаги.* — Когда эту остроту Гейне, очевидно, передал Кольб. Это письмо Котта Варнхаген использовал в заметке, опубликованной во «Всеобщей газете» от 28 апр. 1832 г.

Незадолго до того, как я уехал из Парижа... — А. Левальд покинул Париж 12 апр. 1832 г. из-за эпидемии холеры.

Стр. 157. *...газету конфисковали.* — См. коммент. к с. 154.
В моем «салате с селедкой»... — См. Бёрне «Парижские письма», № 74. Обыгрывается имя немецкого писателя Херинг (нем. селедка), печатавшегося под псевдонимом Вилибальд Алексис.

Стр. 158. *...я получил «Ксени»...* — Видимо, речь идет о «Литературных шутках» А.-В. Шлегеля, которые были опубликованы в «Альманахе муз за 1832 год» (издан А. Вендтом в Лейпциге).

...статьи Ю. Дюсберга. — Название статьи Дюсберга «Воспоминания о Генрихе Гейне», для пробного номера «Gazette allemande de Paris» («Немецкой газеты в Париже», 1856). Номер газеты не сохранился.

Стр. 159. *...они существуют только как номер...* — В упомянутых «Листках...» корреспонденции обычно подписывались шифрами (номерами).

Стр. 161. *Мусагет* — предводитель муз (греч.), одно из имен Аполлона.

Стр. 162. *...это некий род «Атенеума»...* — «Атенеум» — знаменитый журнал романтиков йенской школы, выходивший с 1798 по 1800 год.

Стр. 164. *Герман Вольфрум.* — О нем Гейне пишет в книге «Людвиг Бёрне» (кн. 3-я). 3 февраля 1832 г. лидер немецких либералов И.-Г. Вирт в газете «Рейнско-Баварская трибуна», редактором которой являлся Вольфрум, опубликовал призыв к созданию Немецкого народного союза в поддержку свободной прессы. В феврале этого же года в Париже была основана секция этого союза под руководством Г. Вольфрума, Каргла и Лейпхеймера. Бёрне и Гейне высказались тогда в поддержку этой секции. Вольфрум был одним из активистов леворадикальной немецкой эмиграции в Париже и поддерживал тесные отношения с Бёрне.

Стр. 165. *...статья против... прусского кабинета...* — Тот факт, что Гейне выступил в газете «Тан» против Пруссии, до сих пор не установлен. Однако известно, что Гейне выступал на страницах этой газеты с заметками и репортажами. 1 дек. 1832 г. и 9 янв. 1833 г. эта газета опубликовала выдержки из его «Путешествия от Мюнхена до Генуи».

...получил письмо от некоего господина Нольте... — См. коммент. ниже.

Стр. 167. *...за подписью несуществующего господина Нольте.* — Эта анонимная корреспонденция была опубликована в «Лейпцигской газете» от 12 ноября 1833 г. Гейне отреагировал на этот выпад публикацией «Заявления», в котором он утверждал, что письмо Нольте является подлинным, поскольку автор ему известен; попытка представить дело так, что его мистифицируют фиктивной подписью, является всего лишь «грубой уловкой». Вместе с тем все «угрозы» в свой адрес он

считает «большей частью пустым бахвальством» и заявляет, что на всякий случай он подготовил «единомышленников», которые помогут ему дать отпор подобным вылазкам. При этом он решительно опровергает слух, что он якобы хлопотал перед прусским правительством о принятии его на службу и что он просил о защите префекта Жиске и даже прусского посланника Вертера. Столь активная реакция Гейне на этот выпад объясняется тем, что пресловутое письмо он включил как дополнение в предисловие к «Салону» (т. 1) и полагал, что оно уже опубликовано. Однако сообразительный Кампе, как только узнал о корреспонденции в «Лейпцигской газете», изъял соответствующий лист из корректуры. Когда Гейне писал свое «Заявление», он об этом еще не знал.

Стр. 169. *...мне представили Генриха Гейне.* — С Каролиной Жобер Гейне познакомился на обеде у княгини Бельджойзо.

«Я первый мужчина своего века»... — Гейне нравилось сдвигать год своего рождения и утверждать, что он появился на свет не в 1797 г., а вместе с приходом нового века. Ср. «Над моей колыбелью играли последние лунные лучи XVIII и первая утренняя заря XIX столетия» («Мысли, заметки, афоризмы»).

Стр. 170. *...Виктор Кузен, к которому Гейне... относился очень враждебно.* — Гейне тогда высмеял Кузена в «Романтической школе» (в особенности в «Приложении»). Французское издание своей книги «О Германии», куда это было включено, Гейне послал Каролине Жобер 22 апр. 1835 г.

Стр. 171. *...после страшной сцены ревности.* — В мае — июне 1835 г. между Гейне и Матильдой произошла первая серьезная ссора.

Стр. 175. *Через две недели Беллини скончался!* — Беллини умер 24 сент. 1835 г. близ Парижа. Гейне писал о нем во «Флорентийских ночах» (1836) (Ночь первая).

Стр. 177. *Я никогда их не читал...* — Вскоре же после этой публикации в одной из своих статей в газете «Высокий страж» от 7 дек. 1833 г. некий Розенберг засвидетельствовал, что это высказывание Гейне было всего лишь шуткой.

Стр. 178. *Вольфрам <Вольфрум!>.* — См. коммент, к с. 164.

Стр. 179. *«Ревю де де Мوند».* — Название этой французской газеты Гейне переводил как «Обозрение старого и нового света».

...он предсказывал немецкую революцию... — Это предсказание содержится во французском варианте книги «К истории религии и философии в Германии» (Париж, дек. 1834). В немецком издании это место было вычеркнуто цензурой. Без цензурного искажения этот текст был опубликован в том же 1834 г. в журнале Я. Венедее «Изгнанник».

...оказывал поддержку... Венедю. — Это впоследствии подтвердил сам Венедей в статье «Встреча с Гейне в 1842 году», опубликованной в 1876 г. в одном из немецких периодических изданий.

Стр. 180. ...отдает... для правки и перевода некоему Шпехту... — А. Шпехт перевел «Французские дела» и «К истории религии и философии в Германии», редактировал перевод «Путевых картин».

...ежегодно 100 лудоров... — Ежегодное содержание от своего дяди Соломона Гейне поэт стал получать лишь с 1839 г.

Стр. 181. ...запрет на издание произведений Гейне... — Эта санкция во многом была инспирирована журналистом А. Менцелем, опубликовавшим в 1835 г. в штутгартском «Литературном листке», который он редактировал, серию пасквильных статей против «Молодой Германии» (см. статью Гейне «О доносчике»).

Стр. 182. Заметка в газете. — Эта заметка является откликом на «Заявление» Гейне для «Всеобщей газеты» в конце 1835 г., где он публично говорил о своей готовности сотрудничать в запрещенной Союзным сеймом газете «Немецкое обозрение». «Всеобщая газета» это «Заявление» не опубликовала. Вполне возможно, что Траксель — парижский корреспондент «Вечерней газеты», в которой была опубликована эта заметка, — узнал в Париже об этом заявлении.

Стр. 183. Август Левальд. Из статей о пребывании в Париже. — 13 ноября 1836 г. А. Левальд переслал Гейне через Демлера оба тома своих «Акварелей из жизни», откуда взят этот отрывок, а также корреспонденции 1829—1831 и 1832 гг. и «Парижские таблички», поскольку во всех этих материалах фигурировал Гейне. В прилагаемом письме Левальд писал: «Я рассчитываю на Ваш снисходительный суд и понимание того, что во всем о Вас написанном я руководствовался самыми лучшими намерениями. Из тех страниц, которые я выделил, поскольку именно они наиболее важны для восприятия в Германии, Вы поймете, насколько высоко я Вас ценю».

Он познакомился с ней шесть лет тому назад... — В действительности осенью 1834 г.

Стр. 184—185. ...что бы ни встретилось ему в последнее время неожиданного и неприятного... — Имеется в виду известное постановление Союзного сейма от 10 дек. 1835 г., согласно которому в Германии были запрещены сочинения писателей «Молодой Германии» и Гейне. См. коммент. к с. 181.

Стр. 186. На другое утро нам повезло... — Ниже следующий рассказ А. Левальда был помещен 4 мая 1836 г. в немецком журнале «Европа», который редактировал он сам.

Этот журнал, наряду с журналом К. Гуцкова «Телеграф для Германии», принадлежал к наиболее влиятельным периодическим изданиям 30-х годов в Германии. Среди газет таковыми были аугсбургская «Всеобщая газета» барона Котта и его уже упоминавшийся «Утренний листок для образованных сословий».

Стр. 187. *«Жоселен»* (1836) — поэма французского поэта-романтика Альфонса де Ламартина.

Госпожа фон Чези. — 24 мая 1836 г. А. Левальд писал Гейне: «На мои «Парижские таблички» в «Европе» откликнулась престарелая г-жа фон Чези. Если Вы этот материал еще не читали, то я могу его Вам прислать».

Стр. 188. *«Немая из Портичи»* («Фенелла») — опера французского композитора Обера (1828).

...приветливо перебросилась с нами несколькими словами. — О действительной реакции Ж. Санд на этот визит Гейне и Левальда см. ее письмо на с. 189.

Я посетил Салон... — Этот материал был также опубликован в журнале «Л'Эроп литерер» 11 мая 1836 г.

Стр. 190. *...над меморандумом этому пошлому собранию.* — Речь, очевидно, идет о повторной попытке Гейне обратиться к Союзному сейму в связи с запретом на его произведения (см. коммент. к с. 184). Первоначально Гейне направил «Заявление в Союзный сейм» 28 янв. 1836 г. Затем в своем «Разъяснении» от 26 апр. 1836 г., посланном им редактору «Всеобщей газеты» Г. Кольбу, он более подробно останавливается на распоряжении Сейма и его неправомерности. «Всеобщая газета» не опубликовала этого «Разъяснения».

Стр. 191. *Дж. де Ротшильд.* — Об отношениях между Гейне и Ротшильдом возникло немало легенд и анекдотов. Здесь приводятся лишь некоторые из них. Достоверность их может быть поставлена под сомнение.

...на убранство которого он затратил миллионы. — Бал, который Ротшильд дал 28 февр. 1836 г. по поводу вселения в свой новый дворец, Гейне описывает в статье, опубликованной 8 марта во «Всеобщей газете». Роскошный дом Ротшильда он называет здесь «Версалем абсолютизма денежного мешка».

Стр. 192. *...чтобы выполнить поручения, данные ему Юлиусом Кампе...* — Очевидно, чтобы передать Гейне от Кампе по два экземпляра «Книги песен» и «Путевых картин», которые поэт затребовал у Кампе еще в окт. 1835 г.

Он жил в очень тесной квартире... — В янв. 1836 г. Гейне поселился в квартире на Ситэ-Бержер, 3, о которой он писал Кампе в письме от 12.1.1836 г., что «она великолепна и очень удобна, так что теперь я устроился уютно и приятно». В то же время Грильпарцер, посетивший Гейне в этой квартире в апреле, отозвался о ней совсем иначе (см. с. 189—190).

Стр. 194. *...я должен написать о вас...* — Гейне предполагал совместно с Детмольдом написать статью о Тракселе, но этого не сделал.

Стр. 196. *«Галерея выдающихся евреев»*. — Имеется в виду издание «Галерея выдающихся евреев всех времен» (составитель Ойген фон Бреза. Штутгарт, 1835). В этой книге содержалась и статья «Гейне», автором которой был Р.-О. Шпацир. Гейне был этим очень раздражен. В протесте, направленном им 26 сент. 1835 г. Арману Бертену — редактору парижской газеты «Журналь де Деба», где был поначалу опубликован этот протест, Гейне, в частности, писал: «В этой статье меня изображают как иудея и беглого главаря либеральной партии Германии... Я не исповедую иудейской религии, ноги моей никогда не было в синагоге». Газета без промедления (28 сент. 1835 г.) опубликовала этот протест; 11 окт. того же года он появился в аугсбургской «Всеобщей газете». Несколько ранее, в письме к Мейерберу от 6.4.1835 г., Гейне в резком, раздраженном тоне писал о Шпацире: «Г-н Шпацир, как я предвидел, является центром всей немецкой сволочи».

Стр. 198. *...чем квартира по улице Кадет, 18, где живет Матильда*. — Гейне был крайне раздражен этим описанием и всей публикацией Бойрмана. В письме к Детмольду от 16.1.1838 г. он писал: «Прочитайте все те гадости, которые написал против меня Бойрман. Я доверил ему свой адрес, после того как он честным словом обязался его не разглашать. Какие же подлещи мои немцы!» По адресу улицы Кадет, 18, Гейне жил частным образом у Матильды, в то время как официально он занимал для себя квартиру на Ситэ-Бержер, 3.

Стр. 199. *...в своем сочинении «О литературе»...* — Речь идет о сочинении Гейне «Романтическая школа» (1836). Впервые было опубликовано в 1833 г. в издательстве «Гейделоф и Кампе» (Париж и Лейпциг, ч. I и II) под названием «К истории новейшей художественной литературы в Германии».

Стр. 200. Карл Гуцков. Из биографии Бёрне. — Гуцков пользовался в своем описании сообщением Э. Бойрмана, Жанетты Воль-Штраус и др.

Как человек, изучавший торговое дело... — Скрытая издевка над Гейне, который очень недолго обучался торговому делу (см. коммент, к с. 31).

Стр. 201. *...госпожа В<оль>...* — Приятельница Бёрне Ж. Воль-Штраус приехала со своим мужем в ноябре 1833 г. в Париж, где они с Бёрне вели общее хозяйство.

Стр. 202. *...в котором будут помещены также «Сказки»...* — Вероятно, сочинение Гейне «Духи стихий».

...цензура не пропустит его в таком виде. — Статья Гейне

против В. Менцеля «О доносчике» действительно не была пропущена гессенским цензором Адрианом, но была допущена к публикации в Гамбурге.

Стр. 203. *О Гейне я Вам еще не говорил...* — Именно Варнхаген дал Мундту рекомендательное письмо к Гейне (от 1.3.1837).

...занят подготовкой полного собрания своих сочинений... — Переговоры Гейне с Кампе об этом издании завершились в апр. 1837 г., когда Гейне подписал соответствующий договор.

...которым хочет предпослать свою жизнь... — Автобиографией Гейне предполагал не начать собрание своих сочинений, а завершить их.

Третья часть «Салона» вышла в июле 1837 г., а «Предисловие» к этой части, направленное против В. Менцеля (см. коммент. к с. 181), не было пропущено цензурой, но вышло в том же году отдельной брошюрой под названием «О доносчике».

...сгорели у него вместе со многими другими бумагами. — Во время большого пожара в Гамбурге 3 ноября 1833 г. письма Рахели Варнхаген и многие другие бумаги Гейне сгорели на квартире его матери. Варнхаген просил Гейне в письме от 17.4.1833 г. выслать ему письма Рахели.

...сделал это не лучшим образом. — После постановления Союзного сейма 1835 г. (см. коммент. к с. 184) Мундт в нескольких публичных заявлениях отрекся от «Молодой Германии».

Стр. 204. *...Гейне был тут же вызван драться на пистолетах.* — В газете «Франкфуртский курьер» от 4 мая 1837 г. промелькнуло сообщение об этой дуэли, правда, без упоминания имени Гейне. В номере от 11 мая 1837 г. эту информацию поместила и «Всеобщая газета».

Стр. 206. *Гейне дрался за отечество, и уже во второй раз.* — Произошла, возможно, не одна дуэль. В письме к Кампе от 3 мая 1837 г. Гейне писал: «Последние две недели я не мог много работать: истории с женщинами и истории с мужчинами, то есть любовные сплетни и дуэли».

Стр. 207. *...без которой нельзя было бы учредить... столь сомнительное сообщество.* — В действительности именно Мундт приложил немало усилий к тому, чтобы зимой 1834 г. сплотить более или менее определенную группу немецких писателей, которая вскоре стала известна под именем «Молодая Германия» и подверглась репрессиям со стороны Союзного сейма.

...он дал повод к этой неприятной истории... — Роман Карла Гуцкова «Валли сомневающаяся» (1835) и последовавшее пасквильное выступление против этого романа и всей

«Молодой Германии» В. Менцеля стали основой для репрессий Союзного сейма против младогерманцев.

Стр. 208. *...кто привык к Бресту, не приживется в Тулоне...* — В Бресте и Тулоне находились лагеря галерников.

Стр. 209. *Меркуцио* — персонаж из трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта».

Людвиг Виль. Из статьи о Гейне в Париже. — Высказывалось мнение, что статья Виля была инспирирована самим Гейне в расчете на то, что ее прочитает его дядя Соломон. Сам Гейне утверждал, что он ничего не знал о намерениях Виля относительно этой статьи (письмо к Кампе от 7.7.1838).

...более крепок и молод, чем я его себе представлял. — Это и последующие высказывания явно направлены на опровержение выпадов Бёрне и его сторонников, распространявших слухи о том, что из-за своего распущенного образа жизни Гейне деградирует и физически.

Стр. 210. *...о лебединой песне Бёрне...* — Имеется в виду памфлет Бёрне «Менцель-французоед» (Париж, 1837).

...полемических сочинений д-ра Штрауса. — Имеется в виду брошюра «Господа Эшенмайер и Менцель» (Тюбинген, 1837).

...что доносчик примет мой вызов? — Статья Гейне «О доносчике» заканчивалась вызовом Менцеля на дуэль.

...о слишком ранней смерти Армана Карреля... — Арман Каррель, редактор французской газеты «Насьональ», умер 24 июня 1836 г. от раны, полученной на дуэли.

Вейнспергский поэт. — Имеется в виду Юстинус Кернер, который с 1819 г. до своей кончины (1862) жил в Вейнсперге.

Стр. 211. *Его суждение об отдельных молодых писателях...* — Колкий намек на книгу «Романтическая школа», в частности на высокую оценку в ней писателей «Молодой Германии».

Упомянутое выше заведение — частный читальный зал Бера и Эттингхаузена в Париже.

Стр. 212. *...в недружелюбной статье господина Бойрманна...* — Эта статья была опубликована в апр. 1837 г. в газете «Франкфуртский телеграф».

...в столь неподобающих ему стесненных условиях. — Слова, явно предназначенные для дяди поэта, банкира Соломона Гейне. Статья была опубликована в газете «Телеграф для Германии».

Стр. 213. *...какою Левальд расписал даму...* — Левальд писал о Матильде таким образом в своих «Акварелях из жизни». См. с. 183—184.

Не лучше ли было бы ему найти себе спутницу жизни... — Такого рода высказывания вызвали немалый гнев Гейне и отрицательное отношение к публикации Виля.

Стр. 214. ...и пользовался его полнейшим доверием.— Гейне анонимно опроверг это утверждение во «Всеобщей газете» от 28 авг. 1838 г.

Религиозные распри. — Речь идет о так наз. «Кельнском споре епископов», где спорили о воспитании детей родителями разных вероисповеданий.

Дело с семью геттингенскими профессорами. — Так называемые «Семь геттингенцев», среди которых были братья Гримм, — университетские профессора, выступившие с протестом против отмены конституции в Ганновере и уволенные за это из университета.

«Атаназийус» — брошюра Гёрреса (1837), которой он открыл «Кельнский спор епископов».

...дело это так и не продвинулось. — Намерение Гейне осталось неосуществленным из-за протеста прусского правительства.

Приезд графа Ауэрсперга. — Ауэрсперг приехал в Париж в ноябре 1837 г.

...влезил пощечину... — Гейне сам пустил в ход эту выдумку в своей анонимной статье против Менцеля.

Стр. 215. *Гейне-лирик для французов не существует...* — В столь категорической форме это утверждение не соответствует действительности. В частности, «Книгу песен» отлично перевел Жерар де Нерваль, цикл «Северное море» из «Книги песен» — Эдуар де Лагранж.

Стр. 216. *Для бедных у него щедрая рука.* — Виль сам должен был Гейне 200 франков.

Стр. 217. ...мы... еще получим замечательные признания о его отношении к Бёрне и злободневным вопросам... — Первый известный намек на будущую книгу Гейне о Бёрне.

...он изгнал из Парижа Августа Вильгельма Шлегеля. — Имеется в виду начало третьей статьи цикла корреспонденций «Французские дела», написанной 10 февр. 1832 г., где Гейне, не называя А. Шлегеля по имени, в резко саркастическом тоне говорит о награждении его Луи Филиппом орденом Почетного легиона.

Стр. 218. ...которое пришлось проглотить профессору Шоттки. — В достоверности этого анекдота можно усомниться, так как известны письма Шоттки и Гейне. Кроме того, именно Гейне рекомендовал Шоттки журналисту Низарду 5 июня 1838 г.

Книга Бойрмана — «Брюссель и Париж» (Лейпциг, 1837).

Стр. 220. ...всё о деле Линкольн. — Графиня Линкольн, находившаяся в Париже, заболела неизвестной, не поддающейся лечению болезнью. Согласившиеся ее лечить известные врачи Кореф и Волровский испробовали метод гипнотической терапии, давший положительные результаты. Закончив лечение, Кореф опубликовал «Дневник болезни». Из-за

этого дневника и гонорара за лечение, который потребовали врачи — 400000 франков, — аристократическая семья Линкольн-Гамильтон возбудила судебный процесс. Вся эта история приобрела определенную социально-политическую окраску — противниками в конфликте оказались, с одной стороны, два аристократических семейства, а с другой — два «выскочки» (к тому же еврейского происхождения).

...поддерживал с ним знакомство в Париже. — Кюнцель находился в Париже с конца 1837 г. до янв. 1838 г. Из его письма к Гейне от 2 мая 1838 г. (не опубликовано, хранится в Институте Генриха Гейне в Дюссельдорфе) явствует, что, находясь в Париже, Кюнцель вел дневник.

Стр. 222. *...в «Газетт мюзикаль»...* — В упомянутой газете 4 февр. 1838 г. был опубликован перевод девятого письма из сочинения Гейне «О французской сцене», где речь идет о Листе и Шопене. Лист и его подруга Мари д'Агу откликнулись на эту публикацию открытым письмом Гейне, опубликованным там же (15 апр. 1838 г.).

Стр. 224. *...к тем язвительнейшим страницам...* — В «Романтической школе» Гейне говорит о В. Кузене в иронически-преенебрежительном тоне (в издании 1855 г. он этот пассаж опустил). Но уже в 1843 г. в «Добавлении к «Лютееции», в большой статье «Коммунизм, философия и духовенство», поэт довольно много и положительно говорит о Кузене. Экземпляр этой статьи он передал Кузене через Минье.

...Гарри написал это в один присест... — Как установил Ф. Гирт, речь здесь идет о пародии «Садовника кормит лопата...» (см. с. 128), которая написана не Гейне, а Нойманом.

...разумнее обращаться с деньгами... — Во время этого посещения банкиром Соломоном Гейне Парижа (в связи с женитьбой его сына Карла на Цецилии Фуртадо) он обещал племяннику (благодаря посредничеству Мейербера) выплачивать постоянную годовую пенсию в 4000 франков. В 1840 г. эта сумма была повышена до 4800 франков.

Стр. 226. Александр Вейль. Из воспоминаний о Гейне. — Воспоминания А. Вейля возбудили при их появлении большой интерес, так как Вейль был долгое время близок с поэтом. Объясняя причины столь поздней их публикации (1883 г.), Вейль ссылаясь на то, что дал обещание Гейне ничего не публиковать о нем при жизни Матильды. Однако это условие он соблюдал не всегда. Несмотря на некоторые преувеличения, материалы Вейля фактически достоверны. Гейне ценил Вейля, опытного журналиста, успешно выступавшего в парижской прессе.

...я явился... с рекомендательным письмом от его друга Гуцкова. — В действительности это было письмо не Гуцкова, а Г. Кюне (от 10.3.1839).

Стр. 232. «Огромны небо и море...» — искаженные строки из стихотворения Гейне «Ночью в каюте» (там сказано: «Огромны небо и море, но сердце мое огромней». Перевод В. Разумовского).

«Вообрази себе...» — В действительности Гейне и Лаубе перешли на «ты» лишь в 1847 г. Это характерный для воспоминаний Лаубе пример фактической недостоверности. Различные части его воспоминаний порой содержат противоречия, и установить степень аутентичности его сообщений довольно трудно, так как они подверглись существенной литературной обработке.

Стр. 233. *Массе нужно зримое братство.* — Суждения поэта о скрытой силе бонапартизма характерны скорее для позиций Гейне в период написания «Французских дел» (1831—1832).

Стр. 234. Некролог Генриху Гейне. — Этот некролог Лаубе написал, введенный в заблуждение ложным известием о смерти Гейне.

Стр. 235. *Написал он эту книгу во второй половине 1839 года...* — На самом деле Лаубе видел рукопись книги о Бёрне в черновом варианте, без «Писем с Гельгоlanda», уже в мае—июне 1839 г. Видимо, как недостаток этой рукописи Лаубе отметил ее заостренность на сиюминутной полемике с Бёрне, в то время как общая социально-политическая концепция Гейне, к тому времени уже вполне сложившаяся, не нашла четкого выражения. Работу над рукописью Гейне возобновил во второй половине 1839 г., учтя принципиальные критические соображения Лаубе. Одновременно он обдумывал план другой книги об Июльской революции, которая должна была быть совершенно самостоятельной по отношению к книге о Бёрне, ибо в начале февр. 1840 г., незадолго до отъезда Лаубе из Парижа, он послал рукопись последней (без включения в нее «Писем с Гельгоlanda») в Гамбург. Лаубе обещал содействовать ему в переговорах с Кампе об издании книги, а в случае неудачи подыскать ему другого издателя. Кампе отклонил издание книги на гонорарных условиях, предложенных Гейне, и рукопись вернулась к ее автору. Только после этого Гейне вставил в нее «Письма с Гельгоlanda», отказавшись от замысла написать особую книгу об Июльской революции. Уже в этом окончательном составе 18 апр. 1840 г. он опять послал рукопись к Кампе. Об этом существенном изменении в книге о Бёрне Лаубе не был осведомлен. Он, скорее всего, полагал, что книга будет опубликована такою, как он видел ее перед первой отсылкой к издателю. Потому Гейне не мог дать ему никаких «обещаний» у *дверцы почтовой кареты.*

Стр. 236. *...прислал... целую кипу листов этой новой книги...* — Лаубе сам просил Гейне (в письме от 22.8.1840) о

высылке экземпляров книги. 6 окт. Гейне послал Лаубе к Кампе с письмом о выдаче ему 12-ти экземпляров, половину которых Лаубе должен был передать друзьям, которые, возможно, захотят написать рецензию.

Стр. 237. *«Те, что поумнее, и теперь уже знают...»* — Эта предполагаемая цитата из Гейне не обнаружена.

Стр. 240. *Ему хотелось, чтобы всегда подчеркивали...* — Прямо Гейне никогда не утверждал, что его мать происходила из дворянской семьи, но делал на это время от времени прозрачные намеки. Так, например, частицу «ван» в девичьей фамилии своей матери (ван Гельдерн) он нередко в Париже переименовывал в аристократическое «де», равно как и к фамилиям сестры Шарлотты и брата Густава присовокуплял это «де». На самом деле частица «ван» и вправду имела только географическое значение.

...но благодаря посвящению «урожденной фон Гельдерн»... — Лаубе имеет в виду два сонета, озаглавленные «Моей матери Б. Гейне, урожденной фон Гельдерн» и включенные в «Книгу песен». Примечательно, что частицу «van» Гейне сократил здесь до «v.», что могло восприниматься как «фон» (von).

Стр. 241. *...моей истории литературы...* — Речь идет о написанной Лаубе «Истории немецкой литературы» (т. 1—4. Штутгарт, 1839—1840). О первых двух томах этой «Истории...» Гейне был явно невысокого мнения: «Два последних тома—третий и четвертый—превосходны, в тысячу раз лучше, чем первые» (письмо к Лаубе от 6.10.1840). В письме от 31 марта 1838 г. Гейне предлагал Лаубе свое посредничество в издании этой «Истории...» в Париже во французском переводе и для этой цели просил его прислать рукопись книги; об этом же он пишет 7 янв. 1839 г. Однако, когда Гейне прочитал рукопись, его интерес заметно ослабел, а Лаубе, в свою очередь, настойчиво напоминал ему о его намерении. Гейне обращался по этому делу к различным парижским издателям, но безуспешно.

Стр. 246. *Пришельцем был Ламенне...* — Ф.-Р. Ламенне — аббат, основатель и проповедник «христианского социализма», автор книги «Слова верующего» (1834), переведенной на немецкий язык Бёрне и Вейтлингом. Влияние идей Ламенне испытали Бёрне, Жорж Санд, Виктор Гюго. Гейне относился к идеям «христианского социализма» резко отрицательно.

Стр. 249. *«Мональдески»* — драма Г. Лаубе.

Стр. 250. *В этот первый период моей парижской жизни...* — Пехт жил в Париже с 1839 по 1841 г.

Стр. 251. *Песню время от времени поют...* — Фраза иронична, поскольку Вагнер отпечатал эту песню у музыкального издателя Шлезингера за свой счет и успеха она не имела.

Стр. 252. *...пишет... об истории с евреями в Дамаске для*

«Всеобщей газеты»... — В 1840 г. в Дамаске неизвестными лицами был убит капуцин фра Томасо. Католические монахи постигли слух, что это сделали евреи в ритуальных целях, и это вызвало взрыв антисемитизма и репрессии против дамаских евреев. В своих корреспонденциях из Парижа, позднее собранных в книге *«Лютеция»*, Гейне вскрывает политическую подоплеку отношения к этому инциденту французского правительства Тьера.

...как сильно он пугается... когда ему наносит визит... немецкий литератор. — Нойштадт писал в этой связи: «Именно это обстоятельство не дает мне возможности опубликовать некоторую информацию моего друга о Гейне... хотя она не только представляла бы несомненный интерес для читателя, но и внушила бы последнему большую симпатию к Гейне и большее понимание, если не оправдание его слабостей». Отсюда пропуски в настоящем сообщении.

Стр. 253. *...как это... случилось в его последней книге...* — Речь идет о книге Гейне *«Людвиг Бёрне»*, законченной в 1839 и опубликованной в 1840 г. См. также коммент. к с. 235, 254.

Сейчас Гейне лихорадочно взволнован из-за... — По-видимому, речь должна идти о реакции на книгу о Бёрне.

...он начал писать брошюру против... — Вероятно, речь идет о брошюре против Гуцкова.

...новый том... «Салона»... — Имеется в виду четвертый том *«Салона»*, вышедший у *«Гофмана и Кампе»* в 1840 г.

Новелла из еврейской жизни — впервые опубликованный фрагмент из незаконченного произведения 1824 г. *«Бахерахский раввин»*.

...не может примириться с Вашим отсутствием... — Княгиня Бельджойозо находилась в ту пору в Милане.

Стр. 254. *...заглавие придумал Юлиус Кампе...* — Сам Гейне предполагал назвать книгу *«Людвиг Бёрне. Сочинение Гейне в его память»*, но книга появилась под названием, данным ей издателем: *«Генрих Гейне о Людвиге Бёрне»* (причем употребленный в заглавии предлог *«über»* переводится двояко — как «о» и как «над», то есть заглавие получилось весьма двусмысленным).

Стр. 255. *...уменьшить пенсию поэта...* — О пенсии, назначенной поэту его дядей Соломоном Гейне, см. коммент. к с. 224. При выплате этих денег дело не обходилось без постоянных осложнений. Гамбургский банкир время от времени давал своему знаменитому племяннику почувствовать, что тот от него зависим. Упомянутое здесь сокращение пенсии было одним из многих унижений, которым банкир подвергал поэта, на что последний реагировал с чрезвычайной чувствительностью. Спустя некоторое время пенсия была восстановлена в прежнем размере.

Стр. 256. *...в одной из частей его «Салона».* — Вагнер

имеет в виду «Из мемуаров господина фон Шнабелевского», опубликованное в первом томе сборника Гейне «Салон» (конец 1833 г.). В более поздних высказываниях Вагнер отрицал связь сюжета своей оперы «Летучий голландец» с версией Гейне.

Стр. 257. *...для издаваемой Шпациром «Галереи выдающихся евреев».* — См. коммент. к с. 196. Анонимный корреспондент плохо информирован: упомянутое издание выпускал в Штутгарте Э. фон Бреза, а автором статьи о Гейне был Шпацир, а не Бёрне. Данная анонимная корреспонденция из Парижа положила начало скандалу, разразившемуся между Гейне и супружеской четой Воль-Штраус (см. коммент. к с. 201). В ответ на корреспонденцию Гейне направил протестующее письмо для аугсбургской «Всеобщей газеты» Г. Кольбу (от 3.7.1841), а также послал «Предварительное разъяснение» еще в несколько немецких газет, в которых публикация анонима объявлялась сплошной клеветой. По версии Гейне, Штраус при встрече с ним на улице Ришелье подошел «на дрожащих ногах» и «что-то невнятно пролепетал», а поэт вручил ему свой адрес, предупредив, что собирается на несколько недель уехать. Гейне категорически отрицал, что Штраус дал ему пощечину.

Стр. 258. *Оттуда посыпались новые мерзости...* — Штраус имеет в виду письмо Гейне во «Всеобщую газету» и его «Предварительное разъяснение» (см. коммент. выше).

...нашлись люди, подтвердившие... истинность этого происшествия. — Некие Колоф, Шустер и Гамберг подтвердили во «Всеобщей газете» от 31 июля 1841 г. версию Штрауса, но все они были вынуждены признать, что не являются очевидцами происшествия. См. об этом следующую публикацию.

Стр. 259. *...в Вашем деле отсутствует очевидец.* — См. коммент. выше.

Стр. 260. *...Гейне будто бы получил картели от разных людей.* — Например, один из вызовов на дуэль был передан Гейне через посредство Венедя.

Стр. 261. *Все яблони в цвету!* — Явная ошибка, так как описываемая дуэль происходила в сентябре.

Флора — в римской мифологии богиня цветения, *Помона* — богиня плодов.

Стр. 262. *...чтобы после моей смерти она сразу же вступила в новый брак.* — Об этой шутке Гейне Вейль уже писал, приурочив ее к совсем другим обстоятельствам, что свидетельствует о своеобразной технике монтажа в его воспоминаниях.

...никогда не исповедоваться священнику. — Матильда была ревностной католичкой и регулярно ходила на исповедь.

Стр. 263. *...после того как мы объяснили ему положение*

дел... — Гейне просили оказать помощь некой немецкой оперной труппе, попавшей в Париже в затруднительное положение.

Эдуар Гренье. Из воспоминаний о Гейне. — Воспоминания Гренье содержат немало неточностей в фактах и датах. Очевидно, он нередко использует материал, где-то им читанный, пересказывает своего рода общие места о жизни Гейне в Париже: неблагоустроенность его жилья, его ревность, невежество Матильды и т. д. Это связано также и с поздним временем написания воспоминаний, и со сложными отношениями Гренье с поэтом: весьма часто тон его воспоминаний о Гейне весьма недоброжелателен.

Стр. 264. *«Аугсбургская газета»* — аугсбургская «Всеобщая газета».

Стр. 266. *...не для прекрасных глаз княгини... а для глаз г-на Гизо.* — Этому пассажи вряд ли можно доверять, налицо явная подтасовка фактов, так как статьи, вошедшие позже в «Лютецию», переводил вовсе не Гренье, а сам Гейне вместе со своим секретарем Рейнгардтом.

Стр. 267. *...опубликовав в одной музыкальной газете злобную статью...* — Это утверждение не соответствует действительности, так как против Дессауэра Гейне выступил значительно позже, в 1854 г. (в двух главах «Лютеции», написанных специально для книжного издания).

...все еще живущего в Париже... общего друга... — Речь идет об А. Вейле. Сомнительно, чтобы Гейне мог искать сближения с Гуцковым. Скорее всего речь может идти об инициативе Вейля.

Стр. 268. *...злобное словоизвержение для «Всеобщей газеты».* — Эта публикация появилась позже, в номере от 8—9 ноября 1842 г.

Стр. 270. *Мне вспоминается при этом Шарлотта Штиглиц.* — См. с. 111.

...кроме его «мнимой любви»... — Речь идет об отношениях поэта Ленау и Софи Лёвенталь.

Стр. 271. *«Ну, теперь конец брюнеткам!..»* — Опубликовано в 1844 г. в сборнике «Новые стихотворения» (цикл «Романсы»). Цитируется в переводе В. Левика.

Стр. 272. *...чтобы вызвать Штрауса, оскорбившего его честь, на дуэль...* — См. с. 257 сл. и коммент. Гейне, отправившийся вместе с Матильдой в июне 1841 г. на курорт Котэре в Пиренеях, прочитал порочащие его слухи в майнской газете, прервал лечение и, спешно вернувшись в Париж, вызвал Штрауса на дуэль. В этом поединке Гейне был легко ранен в бедро.

...этическую поэму в комическо-романтическом жанре... — Речь идет о поэме «Атта Тролл» (1842).

...при его отношениях с Пфицером... — Пфицер, редактор

«Утреннего листка», автор статьи «Сочинения Гейне и тенденция» (Немецкое кварталное обозрение, 1838, № 1), занимал по отношению к Гейне открыто враждебную позицию. В свою очередь, Гейне вывел его в карикатурном виде в поэме «Атта Тролль» в образе мопса (гл. 21), впрочем, не назвав его по имени.

Стр. 273. *...выпускаемого книгоиздательством И.-Г. Котта*. — 10 июня 1842 г. Гейне получил сообщение о согласии Котта издать поэму «Атта Тролль». Повторно запросив Котта об этом 17 окт., Гейне был уведомлен, что согласие остается в силе, но Пфицер от участия в этом деле отстранен не будет. Тогда Гейне передал поэму для публикации в «Газету для любителей изящного» («*Zeitung für elegante Welt*») Г. Лаубе, который стал там редактором.

Стр. 274. *...переписывал для меня одно из своих последних стихотворений*. — «Зазвенело в песне звонкой...» Это стихотворение из альбома Андерсена было опубликовано в «Юмористических листках» (1843, № 22) с припиской Гейне: «Эти стихи, которые я записал здесь в альбом моему дорожному другу Андерсену, я написал 4 мая 1843 года в Париже».

Стр. 276. *...между нами завязались настоящие дружеские отношения*. — Этот факт подтверждает сам Гейне в письме к Мейерберу (от 3.4.1854).

Стр. 277. *...письмо Кампе*. — Рекомендательное письмо Кампе (от 9.9.1843).

«Юдифь» (1841) — драма Ф. Геббеля на библейскую тему. *...знаю только ваши стихи...* — В письме от 4.10.1841 г. Гейне просил Кампе прислать ему стихотворения Геббеля. Кампе ответил 16.10.1841 г., что эти стихи еще не напечатаны.

Стр. 278. «*Возьмите себя в руки...*» — В действительности Кампе писал: «...думаю, что если Вы встретите его (Геббеля) доброжелательно, то Вы быстро найдете с ним общий язык».

Стр. 280. *Прилагаю свою статью о Гейне...* — Упомянутая статья была опубликована 3 апр. 1854 г. Геббель попытался вновь наладить контакты с Гейне, но последний не ответил на его письмо от 18 дек. 1855 г.

Стр. 282. *...за исключением только Виля и Нильсена...* — Сказано явно иронически.

...к партии, затронутой запретом «Рейнской газеты» и «Немецкого ежегодника» Руге... — «Рейнская газета» (1842—1843) была основана представителями либеральной буржуазии, оппозиционной прусскому правительству. В газете был напечатан ряд работ Маркса и Энгельса. Правительственные репрессии привели к уходу Маркса из редакции газеты и ее закрытию. «Немецко-французский ежегодник» — журнал, издававшийся в Париже под редакцией К. Маркса и А. Руге,

через посредство которого Гейне познакомился с Марксом. В 1844 г. вышел единственный номер этого журнала, в котором напечатан ряд работ К. Маркса и Ф. Энгельса; Гейне дал для него свои стихи «Хвалебные песнопения королю Людвигу». Вскоре после этого Маркс разошелся с Руге.

...в «Зимней сказке» он связал их с нашими именами. — См. поэму Гейне «Германия. Зимняя сказка», гл. XXIII.

Стр. 283. ...в эти месяцы возникла «Германия. Зимняя сказка». — Вилле смешал два приезда Гейне в Гамбург: в 1843 и в 1844 г.

Стр. 284. *Вы радовались... что увидите Гейне в Берлине.* — Гейне писал Варнхагену (9.11.1843) о своем намерении навестить его в Берлине. Людмила Ассинг, племянница Варнхагена, конечно, об этом знала.

Стр. 285. ...Гейне возвратился. — 16 дек. 1843 г.

Стр. 286. ...траурное известие... — Сообщение о смерти Макса Ленсинга, сына Геббеля и Элизы Ленсинг.

...но он не поздоровался со мной... — Гейне, как известно, был близорук.

Стр. 287. ...уготовил он и Генриху Гейне... — Никакими другими свидетельствами этот факт не подтвержден.

«Вперед» («Vorwärts») — немецкая радикальная газета в Париже (1844), в которой сотрудничали Маркс и Гейне. Редактировал газету Л. Бернайс. 13 дек. 1844 г. Бернайс был привлечен к суду по обвинению в нарушении французского закона о прессе, газета была запрещена, а ее сотрудники подлежали высылке из Парижа.

Стр. 289. ...о существовании моей новой трагедии... — Речь идет о трагедии Геббеля «Мария Магдалина».

Стр. 290. ...он передал несколько стихотворных сатир... в бессовестный и беспринципный листок «Вперед»... — Гейне передал для газеты несколько сатир из цикла «Современные стихотворения», они были опубликованы между 11 и 24 июля 1844 г. Руге, так же как и кружок, близкий Марксу, был критически настроен к руководившим газетой Бёрнштейну и Борнштедту. Когда же, с августа 1844 г., ведущую роль в редакции стали играть Маркс и Бернайс, Руге с ними разошелся.

...внести некоторую сумму... — Как явствует из письма Гейне к Бёрнштейну от 1.8.1844 г., Гейне предложил Руге создать общий денежный фонд, причем свои собственные финансовые возможности оценивал весьма скептически, рассчитывая главным образом на средства Руге.

Стр. 293. ...как ты смеешь говорить эдакое против короля. — Речь идет о стихах «Хвалебные песнопения королю Людвигу» (см. коммент. к с. 282). Король Людвиг Баварский (1786—1868), осмеянный в этой сатире Гейне, начал свое правление в 1825 г. с либеральных реформ, но, уstraшенный

Июльской революцией, постепенно сделался одним из самых реакционных фигур среди германских монархов.

Стр. 294. ...как я уже был среди сенсимонистов. — Газета сенсимонистов «Глоб» была одной из первых французских газет, поместивших сообщение о приезде Гейне в Париж (22.5.1831).

Стр. 296. ...что пишет обо мне «Насьональ»! — Парижская газета «Насьональ» опубликовала 16 дек. 1844 г. весьма положительный отклик на поэму Гейне «Германия». Однако 23 дек. в газете появилась заметка, опровергавшая своим содержанием предыдущую, причем Гейне ставились в упрек его нападки на французских республиканцев во «Всеобщей газете». В этой связи 25 дек. Гейне направил в «Насьональ» протест, в котором отклонял обвинения в нападках на французских революционеров, приводя в доказательство своих республиканских убеждений свое описание республиканского восстания в Париже в июне 1832 г. во «Французских делах». Относительно статей во «Всеобщей газете» он вообще отказался от какой бы то ни было дискуссии, поскольку под ними не было его подписи. «Насьональ» опубликовала этот протест в номере от 27 дек. с пожеланием к конфликтующим сторонам прийти к примирению.

Ламенне — см. коммент. к с. 246.

...проклятые евреи! — По обнаруженным финансовым документам можно судить, что некоторые направленные против Гейне публикации в парижских газетах зимой 1844/1845 г. оплачивались Соломоном Штраусом.

Стр. 298. ...небольшое стихотворение за подписью Генриха Гейне... — Речь идет, очевидно, о пародии В. Ноймана, известной уже с 1828 г.

Стр. 299. Но он натурализовался... — Это утверждение не соответствует действительности. В 1842 г. Гейне ходатайствовал о предоставлении ему постоянного права жительства во Франции. Ему было в этом отказано, поскольку он не мог предъявить свидетельства о рождении. Но высылке он не подлежал в силу того, что родился в Дюссельдорфе во время оккупации этого города французскими войсками и поэтому автоматически считался уроженцем Франции.

Стр. 300. ...был... переводчиком всех статей Гейне, предназначенных для французских газет. — Это не соответствует действительности. См. с. 265.

Его еврейские деревенские истории... — «Картины нравов из эльзасской народной жизни» (1843).

...и берет у него двадцать акций. — В 57 гл. книжного издания «Лютеции» Гейне пишет о концессиях на строительство этой железной дороги и упоминает о многих письмах к Ротшильду с просьбами об акциях. Гейне пользовался покровительством Дж. Ротшильда и позднее деньги, полученные по

наследству, вложил в его банк. Засвидетельствованы операции, которые Гейне осуществлял через посредство Ансельма Ротшильда с 1841 по 1856 г. 16 дек. 1855 г. Гейне писал Ансельму Ротшильду, что барон Джеймс «при каждой своей большой операции не забывает и о нем». См. с. 302 и 335.

...*Эленшлегер читал свою новую трагедию.* — 12 апр. 1845 г. «Гамбургская литературно-критическая газета» сообщила, что 17 марта 1845 г. Эленшлегер читал свою новую трагедию «Открытая и исчезнувшая страна». Среди присутствующих были названы Гумбольдт, граф Арним, граф Люксбург и Гейне. Автором заметки был, очевидно, К. Грюн.

Стр. 301. ...*в «Звезде»...* — Эти стихи появились в «Немецко-французском ежегоднике», а не в «Звезде» («Stern»), газете немецких эмигрантов в Париже.

Теодор Крейценах. Из воспоминаний о Гейне. — Этот анекдот сохранился также в рукописном наследии Варнхагена. Воспроизведен также в книге А. Когута «Выдающиеся вершины» (1887).

Стр. 302. ...*дело идет об акциях rive droite u rive gauche...* — Имеются в виду две железнодорожные линии между Парижем и Версалем, одна из которых проходила по правому, а другая — по левому берегу Сены.

Стр. 303. ...*второй раз получил за них деньги...* — По всей вероятности, речь здесь идет о тех стихотворениях, которые Гейне в 1843—1844 гг. передал Мейерберу, чтобы тот положил их на музыку, но композитор ими не воспользовался. В письме к Мейерберу от 24 дек. 1845 г. Гейне утверждал, что за публикацию песен на эти стихи он уже получил от музыкальных издателей братьев Эскюдье 1000 франков аванса, который должен возвратить, поскольку песни остались неизданными. Так или иначе, Мейербер выплатил ему 500 франков неустойки.

Стр. 304. «*Дело не в звездах...*» — В «Признаниях» Гейне приводит иное высказывание Гегеля о звездах: «Звезды, гм! гм! Звезды всего лишь блестящая сыпь на небе». Оба высказывания едва ли можно считать достоверными.

Но над этими шестнадцатью тысячами франков тяготеет проклятие. — Речь идет о сумме, оставленной поэту по завещанию дядей поэта, Соломоном Гейне, умершим 23 дек. 1844 г. Гейне возлагал большие надежды на завещание дяди, поддерживавшего его материально при жизни. Еще 29 дек. 1844 г. Гейне писал сестре Шарлотте, что за свое положение после смерти дяди он «спокоен». «Он <Соломон> достаточно ясно мне об этом говорил или прозрачно намекал». Однако по завещанию Гейне получил всего 8 000 марок, то есть около 16 000 франков. При этом возмущение Гейне касалось не столько оставленной суммы, сколько того факта, что в завещании дяди не была упомянута выплачиваемая ему

с 1838 г. ежегодная пенсия (см. коммент. к с. 224, 255). Наследник дяди Карл Гейне объявил поэту, что выплата пенсии отныне его добрая воля, для начала он ее урежет наполовину и вообще в любой момент может прекратить выплату, в зависимости от поведения поэта. С этого начался шумный спор о наследстве, в который оказались втянуты многие люди (см. с. 306 сл.).

...была героиней «Молодой Германии». — Замечание нелепое, так как младогерманцы выступили в литературе по крайней мере на пятнадцать лет раньше; кроме того, у них не было определенного образа героини.

Стр. 305. *...воскликнул однажды Лассаль...* — Ф. Лассаль находился в Париже с ноября 1845 г. по середину янв. 1846 г. Фридерика Фридлянд же (Фридлиндер) приехала в Париж только 18 февр. 1846 г. Таким образом, Вейль никак не мог видеть вместе Лассалья и его сестру. К тому же Фердинанд Фридлянд в дек. 1845 г. был в Париже уже без жены.

Пражская газоосветительная кампания. — Официальное название — акционерное общество «Ирида». Речь идет об акционерном обществе, созданном с целью финансирования газового освещения в Праге.

И действительно, он потерял всё. — В общей сложности Гейне вложил в это предприятие 12 500 франков. Из письма Лассалья к Гейне от нач. мая 1850 г. следует, что Гейне сам неоднократно настойчиво просил Лассалья, чтобы тот побудил Фридлянда обеспечить его этими прибыльными акциями. Предприятие оказалось всего лишь дутой спекуляцией, вследствие чего дружеские отношения Гейне и Фридлянда расстроились. С 1852 г. Фридлянд начал постепенно возмещать Гейне понесенные им убытки.

Стр. 306. Герман фон Пюклер-Мюскау. Письмо Карлу Гейне. — Об этом письме князя Пюклер-Мюскау Гейне восторженно писал 10 февр. 1846 г. Лассалю. Он усмотрел в нем не только мастерский образец литературной прозы, «но и примечательный памятник наших социальных отношений и переворотов... Здесь один из последних рыцарей старой родовой аристократии поучает чести выскочек нового денежного дворянства».

Стр. 307. *Друг Вашего знаменитого родственника...* — Имеется в виду Фердинанд Лассаль, который развернул в Париже активную деятельность в пользу Гейне в злополучном споре о наследстве.

Стр. 308. *...предлагаете своему кузену урезанную пенсию...* — См. коммент. к с. 304. В действительности Карл Гейне продолжал выплачивать поэту полную сумму годовой пенсии, не желая, однако, брать на себя при этом никаких твердых обязательств.

...знаменитый... Диффенбах намерен подвергнуть опера-

ции... — Оперироваться у Диффенбаха Гейне не удалось, поскольку прусская полиция запретила ему въезд на территорию Пруссии.

Стр. 310. *...не вернул мне ни единого пфеннига.* — Гейне попросил Лассаля, чтобы тот во что бы то ни стало подключил Мейербера к участию в споре о наследстве на его, Гейне, стороне. Однако уже осенью 1845 г. Мейербер не только письменно отказался от всякого вмешательства в это дело, но и посоветовал Гейне пойти на уступки своему кузену Карлу. При этом он вызвался сам возместить Гейне его финансовые потери. Однако Гейне, побуждаемый Лассалем, продолжал упорствовать в своей борьбе с гамбургским родственником. Кроме того, в дек. 1845 г. он попросил у Мейербера одолжить ему 1000 франков, в чем Мейербер ему отказал ввиду их осложнившихся отношений. Тогда Гейне написал ему письмо (от 24 дек. 1845 г. — в день первой годовщины смерти его дяди Соломона, что Гейне и пометил в дате письма) с объявлением полного разрыва их отношений, которого, впрочем, все-таки не последовало.

...осмеливаюсь совершить... шаг, который может показаться Вам не деликатным. — См. коммент. выше. То, что Мейербер все-таки обратился с этим письмом к Карлу Гейне, объясняется новыми и все более резкими угрозами и настояниями Лассаля. 27 февр. 1846 г. Гейне писал последнему: «Постарайтесь любыми средствами заставить Медведя Мейербера плясать». Вместе с тем не исключено, что и старые дружеские чувства к Гейне побудили Мейербера взяться за перо.

Стр. 312. *...дабы очернить память моего покойного отца...* — Гамбургская родня Гейне постоянно опасалась подобных публикаций, а сам поэт время от времени подобные опасения инспирировал, чтобы получить от кузена Карла нужные ему суммы. Это обстоятельство и было подлинной причиной враждебности Карла Гейне к поэту. И потому ежегодная пенсия Гейне, вопреки всем его ожиданиям, не была юридически зафиксирована в завещании его дяди Соломона. В противном случае, полагали гамбургские родственники, они были бы лишены действенного рычага давления на Гейне.

Стр. 315. *«Умер Гейне!»* — кричали в последнее время наши газеты. — Сообщение о том, что Гейне умер в Швейцарии, опубликовала 7 авг. 1846 г. «Немецкая всеобщая газета». Там же несколько раньше (14.7.1846) было помещено сообщение о пребывании Гейне в сумасшедшем доме. См. также коммент. к с. 234.

Шарантон — парижское предместье, где помещалась лечебница для душевнобольных.

Стр. 317. *...о победе польских инсургентов...* — В янв.

1846 г. в Кракове была провозглашена польская республика. Австрийские войска, выступившие против восставших 20 февр., потерпели поражение. Однако уже в марте восстание было подавлено.

Стр. 320. *...привет и господину Грильпарцеру... у него теперь высокий титул...* — С 1832 г., после успеха своей трагедии «Праматерь» (1817), Грильпарцер получил в Вене отнюдь не высокую должность директора Архива придворной палаты, так что замечание Гейне иронично.

Что же касается вашей рукописи... — Таубер, через М. Гартмана, послал Гейне некоторые свои стихотворения.

Стр. 322. *Траппист* — монах ордена траппистов, члены которого давали обет питаться только растительной пищей.

Стр. 323. *Я жил в Аугсбурге...* — В 1843 г. Шюккинг был сотрудником аугсбургской «Всеобщей газеты».

...мой неумолимый цензор Кольб? — Г. Кольб, редактор аугсбургской «Всеобщей газеты», осуществлял первоначальную цензуру корреспонденций, присылаемых Гейне, и эта цензура была иногда более придирчивой, чем официальная, на что Гейне неоднократно жаловался в письмах.

Данте избрал бы особую муку для редакторов... — Ср. «Германия. Зимняя сказка»: «Ты знаешь грозный Дантов ад, // Звенящие гневом терцины? // Того, кто поэтом на казнь обречен, // И бог не спасет от пучины» (гл. XXVII, перевод В. Левика).

Автор «Фрагментов» — Якоб Филипп Фальмерайер, опубликовавший в 1845 г. «Фрагменты с Востока».

Стр. 324. *Кобес* — имя, под которым Гейне высмеял в стихотворении «Кобес I» Якоба Венедее (вошло в цикл «Стихотворения 1853 и 1854 годов», № 22).

Стр. 326. *...для редактировавшегося мной приложения к «Кельнской газете»...* — Упомянутое стихотворение было опубликовано в «Кельнской газете» 31 мая 1864 г. вместе со статьей Шюккинга «Листок из моих путевых заметок» (см. ниже, с. 327). Гейне проявил интерес к этой публикации Шюккинга, 25 июня 1846 г. он писал Варнхагену: «Мне очень хотелось бы прочитать, что написал обо мне Шюккинг, и Вы меня очень обяжете, если пришлете мне этот номер газеты».

...о его первой любви, к Зефхен... — Об этом Гейне рассказывает в опубликованной части своих «Мемуаров».

...жаловаться на своего двоюродного брата Карла... — Спор о наследстве был улажен только к осени 1846 г.

Стр. 327. *«На богомолье в Кевлар»* — последнее стихотворение цикла «Возвращение на родину» в «Книге песен» Гейне.

У него никогда не было другого имени, кроме имени Генрих... — «Кельнская газета» 24 янв. 1846 г. сообщила, что прежнее имя Гейне было Герц и что он был несколько лет учеником в фирме еврейского банкира.

...броское слово о нем его дяди... — Очевидно, имеется в виду высказывание Соломона Гейне: «Если бы он чему-нибудь научился, ему не нужно было бы писать книги».

Стр. 328. «Там, в пальмовой, священной людям сени...» — строки из стихотворения Гейне «Фридерика» (1), «Новые стихотворения», цикл «Разные».

Княгиня делла Рокка — племянница Гейне Мария-Эмбден Гейне княгиня делла Рокка, дочь его сестры Шарлотты. В своих «Воспоминаниях о Гейне» отстаивала мысль, что его «Мемуаров» не существует.

...якобы для княгини Бельджойозо... — См. с. 266.

Стр. 329. ...я еще перевел для Генриха Гейне... — Диапазон переводческой работы Гренье для Гейне нуждается в уточнении, но он явно им преувеличен. Известно, что он не принимал участия в переводе «Лютеции» и «Французских дел» (названных здесь «Парижскими письмами»). Из письма Гейне к Гренье перед его отъездом на Пиренеи (не опубликовано), высланного поэтом вместе с экземпляром «Книги песен», следует, что Гренье работал для Гейне именно в эту пору, то есть в 1846 г. Достоверно не подтверждено, сделаны ли Гренье переводы поэм Гейне. Хотя в архиве поэта обнаружен третий, неопубликованный перевод поэмы «Атта Тролля», который мог принадлежать Гренье, но перевод этот явно не предназначался для публикации.

Стр. 333. ...вопросу об испанской фаворитке... — В 1846 г. в Мюнхен приехала на гастроли выдававшая себя за испанку балерина Лола Монтез, ставшая фавориткой баварского короля Людвига I, который довел свои отношения с ней до уровня общественного скандала. По этому поводу Гейне написал эпиграмму «Король Людвиг — королю Прусскому».

«Хвалебные песнопения королю Людвигу» — сатира Гейне из цикла дополнений к «Современным стихотворениям», написана в конце 1843-го, опубликована в 1844 г. См. также коммент, к с. 282 и 293. Сам Гейне писал об этих стихах: «Эти три сатирические песни о Людвиге Баварском — самое кровавое из всего написанного мною...» (из письма Ю. Кампе от 29.12.1843).

...пароди на его собственного «Атта Тролля»... — Здесь Мартин явно напутал, речь могла идти лишь о книжном издании поэмы «Атта Тролля», которое вышло лишь в апр. 1847 г. В 24-й главе этого издания действительно содержится насмешливая пародия на «лапидарный» стиль Людвига — этого места не было в предыдущем варианте.

Валгалла короля Людвига. — Речь идет о пышной претенциозной затее короля Людвига I Баварского, распорядившегося построить в Регенсбурге так называемую Валгаллу (в сканд. миф. дворец бога Одина, в котором пируют павшие герои) — огромный зал, наподобие дорического храма, пред-

назначенный для размещения в нем бюстов прославленных немцев.

Стр. 334. *...д-р Кёлер рассказал ему...* — Эти сведения об известности Гейне в Японии несколько разнятся от того, что рассказывает д-р Левин Шюккинг (см. с. 328).

Стр. 335. *...оперный текст для «Лондонской сцены»...* — В февр. 1847 г. Гейне написал для лондонского королевского «Театра» Бенджамена Лемлея «танцевальную поэму» «Доктор Фауст».

...потерял большую часть своего состояния. — В связи с рассказами о биржевых спекуляциях Гейне в 1845—1847 гг. привлекает внимание его собственное высказывание об этом в письме к Кампе (31.10.1845): «Я много двигаюсь, но на биржу все же не хожу, вопреки клевете, которую распространяет г-н Бёрнштейн в различных немецких газетах. Вот уж четырнадцать лет, как нога моя не ступала в этот великий игорный дом, но железнодорожные дела <...> меня тоже заинтересовали и увлекли как в финансовом, так и в духовном отношении». Что касается газетных публикаций Бёрнштейна, о которых пишет Гейне, то они действительно были: например, в газете «Рейнский телеграф» от 32 авг. 1845 г. В связи с упоминаемыми ниже *акциями Северной железной дороги* см. также 57-ю статью «Лютеции» (дополнение, написанное для книжного издания). При посредстве знаменитого парижского банкира Ротшильда Гейне в 1841 и в 1855—1856 гг. занимался некоторыми финансовыми спекуляциями.

Стр. 336. Карл Мария Кертбени. Из воспоминаний о Гейне. — Эти воспоминания были впервые опубликованы 21 февр. 1856 г. как отклик на кончину Гейне. Они носят явно стилизованный характер, основываясь на уже устоявшихся расхожих представлениях о парижской жизни поэта.

Стр. 338. *...она показала мне альбом...* — Этот альбом существует и хранится в Институте Гейне в Дюссельдорфе.

Стр. 339. *Из всех известных портретов... больше всего сходства... обнаруживает тот...* — Речь идет об известном портрете Гейне работы Морица Оппенгейма.

...недавно появившаяся литография... — Видимо, литография Китца.

Стр. 341. *...еще раз приехать в Германию.* — См. коммент. к с. 308.

Стр. 342. *...переводы А. Дюкса.* — Из неопубликованного письма Кертбени (от 10.2.1847, Институт Гейне в Дюссельдорфе) известно, что свои переводы из Петефи он читал Гейне 9 февр. 1847 г. Когда переводы были напечатаны, он посвятил их Гейне.

Альфред Мейснер. Из воспоминаний о Гейне. — Материалы, содержащиеся в книге А. Мейснера о Гей-

не, также подверглись большой стилизации и литературной обработке. Частично они взяты из вторых рук, например из рассказов Фердинанда и Фридрики Фридрианд, с которыми он встречался в Праге.

...не был еще таким больным... — Здесь Мейснер, очевидно, намеренно не говорит о плохом уже тогда физическом состоянии Гейне, чтобы далее тем более ярко изобразить его болезнь.

Стр. 343. *...явился на свет первого января 1800 года.* — Эта дата — известная мистификация самого Гейне. См. коммент. к с. 169.

...нанесенным небольшой семейной ссорой... — В действительности это было довольно длительный и получивший шумную общественную огласку спор о наследстве (см. коммент. к с. 304).

Стр. 345. *...окрестил... Кальмониусом...* — О личности Кальмониуса, придворного финансиста Фридриха II, не существует никаких документальных свидетельств; источник, на который опирался Гейне, неизвестен. Об отношениях Гейне с Фридриандом см. с. 305 и коммент.

Стр. 347. *...«Атта Троль» доставил мне большое наслаждение...* — Эта поэма была в Париже впервые опубликована в «Ревю де де Монд» 15 марта 1847 г., видимо, в переводе Э. Гренье.

Стр. 348. Генрих Лаубе. Из рассказа о пребывании в Париже. — Этот очерк Г. Лаубе написал явно под влиянием Гейне. 11 июня 1847 г. Лаубе писал Гейне: «Париж 1847 года» ты найдешь в первых статьях... Материал о тебе имеет колоссальный успех...» Сочинение Лаубе «Париж 1847 года» было обнаружено в посмертном архиве поэта.

...что до завтра я умолкну навек. — 19 окт. 1846 г. Гейне писал Лаубе: «Я в восторге от Вашего намерения приехать сюда. Только исполните это поскорее. Вам следует поторопиться — хотя болезнь моя прогрессирует медленно, я все же не могу ручаться, что не совершу сальто-мортале, и Вы можете опоздать, так и не обсудив со мной вопроса о бессмертии, о союзе литераторов, о родине, о Кампе и прочих великих вопросов, волнующих человечество. Может случиться, что до завтра я умолкну навек».

Стр. 350. *«Не будь у меня жены и попугая...»* — Дословная цитата из письма Гейне к Лаубе от 3 апр. 1847 г.

Давай же напишем завещание... — В первом завещании, написанном 27 сент. 1846 г. — следовательно, за полгода до визита Лаубе, — Гейне назначил Лаубе и Детмольда распорядителями его литературного наследия и издателями полного собрания его сочинений.

...удар, нанесенный родственниками, его сломил. — Лаубе имеет в виду спор о наследстве с Карлом Гейне. В этой связи

представляет интерес письмо Гейне к Кампе от 20 июня 1847 г.: «...мне очень скверно, хотя в настоящую минуту весь свет, кроме моей злосчастной родни, балует меня и нежит. Что касается последней, то письмо Лаубе во «Всеобщей газете», где он откровенно обвиняет моих родственников в трусливом предательстве, завоевало и здесь и повсюду всеобщее признание негодующей публики. Относительно Карла Гейне Лаубе сказал неполную правду: у меня нет решительно никаких причин быть им недовольным. Зная, что я на краю могилы, он обязался назначить моей вдове половину моей пенсии, хотя это, право, не столь уж грандиозное великодушие. Однако, признаюсь, я и не требовал большего, ибо, как я Вам писал в свое время, дядя мой тоже не обещал большего, да я и не предъявлял претензий, полагая, что проживу еще долгие годы до глубокой старости и, может быть, даже переживу жену».

Стр. 353. *Гейне написал обо мне в аугсбургский «Всеобщей газете»...* — Мейербер имеет в виду корреспонденцию от 7 февр. 1847 г., опубликованную, как обычно, под шифром.

Г-н Фридлянд... сообщил мне... — Из записи Мейербера в дневнике явствует, что Фридлянд посетил его 24 марта и сообщил ему, что Гейне намеревается опубликовать против него новую, еще более злую статью. Неясно, получил ли Фридлянд эти сведения от самого Гейне.

...я не только написал... его кузену Карлу Гейне... — См. с. 310—311.

Стр. 354. *...после публикации в «Фаланге» моей «Крестьянской войны»...* — В книжном издании это сочинение Вейля появилось в Париже в том же 1847 г.

Стр. 355. *...между Абельяром и святым Бернаром...* — Бернар Клервоский (1090—1153)—деятель католической церкви, теолог-мистик, обличитель пороков духовенства; выступал против теологического рационализма Абельяра.

Стр. 357. *Моравские братья*—чешская религиозная секта, возникшая в сер. XV в. и провозгласившая свою независимость от папского Рима; выходцы из крестьян и ремесленников, сектанты проповедовали бедность, равенство, отказ от мирской деятельности, непротивление злу.

Стр. 358. *Итак, что же такое коммунизм?*—Суждения Бальзака о коммунизме станут понятны в их истинном смысле, только если они будут восприняты в конкретно-историческом контексте. Они были обусловлены по меньшей мере двумя причинами: субъективными легитимистскими убеждениями самого Бальзака (к тому, что сказал об этих убеждениях и их противоречивости Ф. Энгельс в своем известном письме к М. Гаркнесс от апр. 1888 г., вряд ли можно добавить и в наше время что-нибудь принципиально новое) и имевшими широкое хождение в ту пору (1847 год!)

вульгарно-уравнительными теориями коммунизма, которые мало что общего имели с научным коммунизмом, марксистская теория которого находилась еще только в процессе становления. Этим же незрелым этапом развития коммунизма во многом объяснялись и страхи перед коммунизмом Гейне. У современного читателя может вызвать лишь улыбку его наивно-эклектический лозунг, которым заканчивается беседа: нужна или республика, где правят монархисты, или монархия, где правят республиканцы.

Моноандрия — брак с одним мужчиной (греч.).

Стр. 363. ...в *«Ревю де де Мوند»*... — В номере от 1 июня 1834 г. было опубликовано подробное оповещение об издании «Путевых картин» и выдержки из Предисловия к ним Сент-Бёва. Кроме того, Сент-Бёв поместил в газете «Насьональ» от 8 авг. 1833 г. рецензию на книгу Гейне «О Франции».

Стр. 364. ...я немного напоминаю ему немецкого поэта Гёльти. — Это сопоставление Гейне приводит во французском издании книги «О Германии».

...стал мишенью кое-каких его эпиграмм... которые он напечатал в *«Аугсбургской газете»*... — Гейне позволил себе некоторые выпады против Сент-Бёва не в аугсбургской «Всеобщей газете», а в своем сочинении «О французской сцене».

Мы будем Вам обязаны, если Вы поможете нам побольше узнать о нем. — Берту был издателем и переводчиком «Переписки» Гейне (Париж, 1866—1867). Первые два тома этого издания он прислал Сент-Бёву.

В разговоре кто-то обронил имя... — Этот разговор состоялся у А. Мани. Среди прочих на этой встрече присутствовали И. С. Тургенев и Шарль Эдмон.

Стр. 365. *«Жирондисты»*. — Имеется в виду книга «История жирондистов» Альфонса де Ламартина (1847). *«Парижские тайны»* — роман Эжена Сю (1842—1843). Минье Франсуа (1796—1884) — французский историк, автор «Истории французской революции» (1824). Тьер Адольф (1797—1877) — французский буржуазный политический деятель.

Стр. 367. ...только тайны г-на фон Румора. — К.-Ф. Румор — известный немецкий искусствовед.

Стр. 368. *«Ученики Карловой школы»* — название драмы Генриха Лаубе (1847).

...длинные письма о вере... — В одном из сохранившихся писем к Лаубе (от 25.1.1850) Гейне действительно говорит о своем новом отношении к религии. См. об этом предисловие, с. 11.

Стр. 369. ...неужели *«Альманзор»* или *«Ратклиф»* действительно не годятся для постановки... — «Альманзор» (1821) и «Ратклиф» (1822) — ранние трагедии Гейне. Когда Лаубе (в

1849 г.) стал художественным директором венского «Бургтеатра», Гейне спросил его (в письме от 7.2.1850), нельзя ли поставить на сцене его «Ратклифа». 11 ноября 1850 г. Лаубе ответил, что такая постановка не окупилась бы затраченные на нее средства. Об «Альманзоре» в переписке Лаубе и Гейне вопрос не ставился. Желание увидеть свою драму на сцене не покидало Гейне до самой кончины.

Надо держаться за балет. — Столь же безуспешны были попытки Лаубе поставить на сцене сочиненную Гейне «танцевальную поэму» «Фауст».

Стр. 373. *«Молодая Европа»* — группа, организованная в Швейцарии итальянским публицистом и революционером Джузеппе Мадзини.

Стр. 374. *Лола Монтез.* — См. коммент. к с. 333. Особенно возбудило страсти в 1847 г. намерение короля Людвига дать Монтез дворянское звание, в ответ на это баварские министры подали в отставку.

Град Monache Monachorum (монаху из монахов — лат.). — Так Гейне в одной из редакций поэмы «Атта Тролль» (гл. 22) называет Мюнхен.

Стр. 376. *...бестактности Гуцкова и Лаубе...* — Речь идет о «Письмах из Парижа» Гуцкова и о публикациях Лаубе (см. с. 243).

Стр. 377. *...передал... рукопись комедии...* — Вероятно, имеется в виду балет (или «танцевальная поэма») «Фауст», который Гейне пытался поставить на сцене во Франции, после того как его не приняли в Англии (см. коммент. к с. 369).

Стр. 379. *...Гейне написал прекрасное предисловие к немецкому изданию...* — Речь идет о 2-м издании книги А. Вейля «Картины нравов из эльзасской народной жизни», которое вышло в 1847 г. с предисловием Гейне.

«Не страшись, души отрада...» — См.: Гейне Г. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 1. М., 1981, с. 394. Перевод М. Фромана.

Стр. 380. *...в 1848 году я имел случай в этом убедиться.* — Между началом и концом событий, описываемых здесь Вейлем, прошло более года.

...в частную лечебницу на улице Лурсин. — В лечебницу своего друга Фотрие Гейне вовсе не скрылся, опасаясь пересудов, как пишет Вейль, а должен был лечь туда по состоянию здоровья.

Братья Фульды — банкиры, дяди Цецилии, жены Карла Гейне, кузена поэта. Гейне дважды позволил себе выпады против них в своих корреспонденциях для «Всеобщей газеты». В книге «Лютеция» он эти места частью снял, частью скорректировал.

...письма под названием «Вопрос жизни и смерти»... — Опубликовано в газете «Пресс» 13 марта 1848 г. В этой

публикации Вейль протестует против гонений временного правительства на свободу слова.

...в «Циркулярном письме», которое составила Жорж Санд. — Речь идет о знаменитых «Бюллетенях» с циркулярами временного правительства Ледрю-Роллена своим «комиссарам республика». Указом от 15 марта 1848 г. Ж. Санд была привлечена к участию в написании этих циркуляров.

Стр. 381. *...некие стихи... против Мейербера...* — Речь идет о стихотворении «Торжественная кантата» (Гейне Г. Собр. соч. в 6-ти томах, т. 2. М., 1981, с. 237. Перевод В. Левика), написанном поэтом по случаю долгожданной премьеры оперы Мейербера «Пророк». Гейне отвращала связанная с этим коммерческая шумиха. Гейне послал его Кольбу 17 апр. 1849 г. с просьбой опубликовать его где-нибудь без подписи. Кольб отказался. 8 июля 1849 г. оно было опубликовано в № 46 газеты «Вольный стрелок» с указанием на то, что сам Гейне для публикации его не предназначал.

Стр. 382. *В крайнем случае капитулируйте.* — То есть «дайте ему денег».

...написал г-ну Карлу Гейне в июне 1846 года... — См. с. 310—311.

Стр. 386. *Бальзак посвятил мне свою последнюю новеллу.* — Речь идет о втором издании новеллы «Принц богемы» (1846). В своем посвящении он писал: «Мой дорогой Гейне! Вам предназначается этот этюд, вам, который в Париже представляет дух и поэзию Германии, так же как вы в Германки представляете живую и полную мысли французскую критику. Вам, который как никто лучше знает, что такое критика вообще, что в ней есть от самой критики, от шутки, от любви и правды».

...в предисловии к своей «Виллис». — Сюжет для своего балета «Гизелла, или Виллис» (премьера состоялась в Париже 26 июня 1846 г.) Готье почерпнул из сочинения Гейне «Духи стихий».

Парабаса — хоровая партия в древней аттической комедии, в которой хор обычно нарушает сценическую иллюзию и начинает комментировать события, происходящие на сцене.

Стр. 387. *...лицевые мускулы с правой стороны...* — На самом деле симптомы паралича лица у Гейне сначала проявились слева.

Стр. 389. *Матрацной могилой*, со слов самого Гейне, обычно принято называть его более позднюю квартиру на улице Амстердам, а затем на Авеню Матиньон.

Стр. 391. *Диффенбах умер 11 ноября 1847 г.*

Стр. 392. *...в «Лазаре» вновь встречаются ядовитые*

пильюли против приверженцев Платена. — См. «Романсеро», кн. 2-я, стихотворение «Платениды».

Стр. 393. *Он пишет ей каждый день...* — См. коммент, к с. 414.

Стр. 395. *...вынудил Варнхагена...* — Здесь Бамберг спутал Варнхагена с Пюклер-Мюскау (см. с. 306—309).

Стр. 396. *...была помещена статья Гейне...* — Авторство Гейне в этом случае не установлено.

Стр. 399. *Маркс снова прожил некоторое время <...> в Париже...* — Маркс находился в Париже с 5 марта до 2 апр. 1848 г. и с 6 июня до 24 авг. 1849 г.

ДРАМА МЕДИЕННОЙ СМЕРТИ

Стр. 400. *...поставить ему синяк под глазом!* — Этот инцидент подтверждается письмом Гейне к Вертгейму от 5.4.1849 г., где поэт приносит ему извинение за «безрассудство любимой женщины». После этой сцены с Матильдой Вертгейм передал медицинское наблюдение за Гейне доктору Груби, а сам появлялся у него лишь изредка, по настоятельной просьбе.

Стр. 401. Эдмон де Гонкур. Из дневника. — Записки Гонкура основываются на сообщениях госпожи Зихель, которая, в свою очередь, пользовалась информацией доктора Груби.

Стр. 402. *...к Мабиллю или к Валентино...* — Речь идет об увеселительных заведениях в Париже.

Стр. 404. *Президент.* — Имеется в виду Луи-Бонапарт.

Стр. 405. *Наполеондор* — французская золотая монета, выпускалась с 1803 г.

Стр. 406. *...в третьем томе «Национальной литературы»...* — Речь идет о сочинении Йозефа Гиллебрандта «Немецкая национальная литература с начала XVIII столетия» (1845/1846).

Стр. 407. *Он целиком продиктовал мне «Романсеро».* — В действительности только отдельные стихотворения этого сборника. Подготовкой сборника к печати занимался Ф. Гати. В письме к Гейне от 7.6.1852 г. (хранится в архиве Института Генриха Гейне в Дюссельдорфе) среди продиктованных ему Гейне стихотворений Гиллебрандт по названию упоминает только «Поле битвы при Гастингсе».

...как Мольер использовал неведение своей Луизон... — Луизон — персонаж из комедии Мольера «Мнимый больной».

Шитлер Л.-Т. — автор сочинения «Очерк истории христианской церкви» (1814). В посмертном архиве Гейне назван экземпляр этой книги.

Стр. 408. *...принес ему «Историю первого немецкого пар-*

ламент» Г. Лаубе... — Гейне писал Лаубе 7.2.1850 г.: «В этот вечер я попросил прочитать мне из твоей книги «О немецком парламенте».

Стр. 409. *Он вроде Массмана, только еще слабее в латыни...* — Массман Г.-Ф. — немецкий филолог, проповедовавший гимнастику и под видом создания гимнастических обществ насаждавший шовинизм. Многолетний объект сатирических нападок Гейне. Поэт обычно подчеркивает его невежество, в частности незнание латыни.

...сообщить примечательные сведения. — Гейне не раз говорил о своем намерении написать о Граббе (см. его письма А. Левальду от 10.4.1832, Кампе — от 17.4.1844 и от 31.3.1852). См. также коммент. к с. 57. В конце концов, Гейне написал о Граббе в своих «Мемуарах».

Стр. 410. *Мартиролог* — в средние века сборник повествований о христианских мучениках.

...сопроводил их небольшим рекомендательным предисловием... — См. коммент. к с. 379.

Стр. 411. *...когда мне еще не было шестнадцати.* — На самом деле это стихотворение по мотивам из Ветхого завета (Кн. Даниила, 5) было написано позже. Оно вошло в «Книгу песен» (цикл «Романсы», № 10).

Стр. 412. *...я и сам время от времени тому способствую.* — Гейне и его брат Макс условились, каким путем им получить от Карла Гейне 2000 франков, которые Макс одолжил своему брату. 23 марта 1850 г. Гейне сообщает Максу, что в этом году Карл, очевидно, ограничится обычной пенсией в 4800 франков, а те 3000 франков, которые он перевел ему сверх того в прошлом году, видимо, не выплатит. После этого Макс и написал письмо Карлу (от 3.4.1850), на которое данная публикация является ответом. 19 апр. Карл сообщил Гейне, что и в этом году он распорядился перечислить ему дополнительно 3000 франков «на непредвиденные расходы».

Стр. 413. *...просидел над статьей о нем...* — Эта статья, под названием «О ложе больного Генриха Гейне», была опубликована 20 сент. 1850 г. в «Немецкой газете в Богемии».

Но сперва — во французском переводе. — «Признания» были опубликованы в «Ревю де де Монд» 15 сент. 1854 г. под названием «Признания поэта» («Le aveux d'un poète»). Переводчиком был не Нерваль, а Рейнгардт совместно с самим Гейне. Мейснер здесь, видимо, смешал то, что происходило в 1850 и в 1854 гг.

Стр. 414. *Даммтор* — улица в Гамбурге.

...своеобразные отношения... — Тот факт, что мать поэта была в полном неведении относительно его плачевного состояния, соответствует действительности лишь отчасти. В своих письмах к матери в 1847—1848 гг. поэт рассказывает ей

только о болезни глаз и об онемении мышц лица. В письме от 12 июня 1848 г. он без утайки информирует сестру о своем тяжелом положении и просит ее не сообщать об этом матери. Однако, когда Кампе навестил ее летом 1851 г. и раскрыл ей истинное положение дела, она уже все знала. Переписка матери и сына свидетельствует о том, что оба они из благих побуждений вводили друг друга в заблуждение. Гейне постоянно писал матери, что в его заболевании не происходит никаких изменений, а она, в свою очередь, в каждом письме стремилась внушить ему надежду на выздоровление. Таким образом, Мейснер несколько упростил ситуацию. К тому же очевидно, что Бетти Гейне не могла не читать газет и журналов, в которых сообщалось о состоянии ее сына.

Стр. 416. *...избранные письма госпожи де Севинье...* — Маркиза Севинье Мари де Рабютен-Шанталь (1626—1696) — французская писательница, автор писем, которые много лет писала дочери и друзьям. Эти письма являются образцом ясной прозы французского классицизма.

...Вы напечатали такое значительное количество его стихотворений... — В начале 1851 г. Веске опубликовал подборку из 88-ми стихотворений цикла «Возвращение на родину». В марте того же года он переслал экземпляр этого издания Гейне.

Стр. 417. Адольф Штротдман. Со слов М. Этьена. — Штротдман опирается здесь на статью М. Этьена в венском журнале «Ирида».

Стр. 418. *...проявлял большой интерес к Шлезвигу-Голштинии.* — Имеются в виду революционные события и национально-освободительная борьба 1848—1849 гг. в тогдашней датской провинции Шлезвиг-Голштиния.

Стр. 420. *...возможность переезда в Гамбург.* — См. с. 412. По свидетельству Густава Гейне, брата поэта, братья обсуждали возможность переселения в Гамбург в авг. 1851 г.

Стр. 421. *...чтобы я пообещал ему перевести «Книгу песен» и «Новые стихотворения».* — См. коммент. к с. 329.

Стр. 425. *...не получил столько!* — Гейне получил в этот раз от Кампе 6000 марок.

Стр. 426. *...одного преклонных лет ученого...* — Имеется в виду отец Э. Фихте — Иммануил Герман Фихте, профессор философии и сын философа Иоганна Готлиба Фихте.

...последовало самое сердечное приглашение... — В ответ на письмо отца и сына Фихте с просьбой принять их Гейне ответил 25 авг. 1851 г. любезным согласием.

...гравюрами с картин Робера... — Робер Луи-Леопольд — французский художник школы Давида, уехавший в 1818 г. в Италию и писавший там картины из народной жизни. Гейне

высоко оценивал его творчество в своей работе «Французские художники» (1834).

Стр. 427. Каролина Жобер. Из воспоминаний о Гейне. — Эти сообщения К. Жобер представляют собой, по всей видимости, некий конгломерат впечатлений от ее встреч с Гейне в разное время. Так, например, мысли Гейне о гномах, эльфах и русалках относятся явно к 30-м годам. См., например, письмо Гейне к К. Жобер от 22.4.1833 г., где он прямо говорит о сказочных мотивах в его книге «О Германии». О княгине *Бельджойозо* и *Кузене* см. с. 169, 170.

Стр. 429. ...*порекомендовать ему нотариуса...* — Нотариуса М. Дюкло, с помощью которого Гейне 13 ноября 1851 г. окончательно оформил завещание, привел к нему Максим Жобер, которого поэт назначил своим душеприказчиком.

...*я храбрый боец...* — Здесь явная реминисценция из гейневского «Путешествия от Мюнхена до Генуи» (последний абзац XXI главы).

Маленькая Вероника — образ из «Книги Le Grand» и «Флорентийских ночей».

Стр. 430. *Шантажевич, Попрошайский...* — Скрытая цитата из стихотворения Гейне «Два рыцаря» («Романсеро», кн. 1-я. Перевод О. Румера).

...*чтобы просветить моего брата касательно России настоящей...* — Максимилиан, служивший в Санкт-Петербурге, был, по сути, для поэта единственным непосредственным источником сведений о России. Однако его сообщение носит явный оттенок саморекламы. То, что братья действительно беседовали на разнообразные злободневные темы, подтверждает сам поэт. 3 авг. 1852 г. он послал Кольбу анонимную заметку, написанную от третьего лица (опубликована 9 авг.), в ней высказываются небезынтересные в этой связи соображения, часть из которых мы приводим здесь: «Когда мы имели удовольствие видеть уважаемого путешественника у ложа его больного брата, он старался развлечь последнего перечислением названий всех своих титулов, орденов и должностей, занимаемых им, список которых составил целую длинную страницу. Поэт от души смеялся, когда доктор Гейне сообщил, что милостиво его величество русского императора ему пожаловано наследственное дворянство. «Дорогой Макс, — воскликнул он, — ведь это тебе совсем ни к чему, у тебя ведь нет детей; было бы куда лучше, если бы вместо этого тебе пожаловали бы хорошей икры, которой мы вместе могли бы полакомиться». Однако всякие выгоды, связанные с этими высокими должностями, высокое денежное содержание и внушительная пенсия, назначаемая после определенного срока службы в России, настроили поэта на

более серьезный лад, и он должен был признать, что талант при абсолютной монархии пользуется немалыми преимуществами, которых он лишен в условиях республики, где подвергается завистливым нападкам серой посредственности, клевете, а то и вовсе остракизму. Генрих Гейне сказал: «Вот уже тридцать лет я служу богине свободы, а все, что я на этой службе получил, это — сухотка спинного мозга».

Конечно, представления Гейне о России — самые поверхностные и были полны глубоких заблуждений относительно монархии Николая I, что было в значительной степени связано с характером информации, исходившей от его брата Макса. Благожелательный тон суждений последнего о России прежде всего объяснялся его удачной карьерой в Петербурге и связанными с нею немалыми материальными выгодами. В характере своего брата Макса поэт разбирался, однако, достаточно прозорливо, так что, в письме от 8.9.1852 г. своему другому брату, Густаву, он писал, что Макса нашел «очень любезным, но вялым и эгоистом чрезвычайным». Макс вызвался посредничать в переговорах между Гейне и Кампе по поводу издания «Лютеции», весьма затянувшихся и сложных. Когда эта его миссия провалилась, Гейне высказался о нем еще жестче: «В сущности, всего лишь вялая душа, которая, хотя и воспринимает различные благородные чувства, остается насквозь пропитанной эгоизмом» (письмо к Густаву от 14.10.1852).

Стр. 432. *...как у того возлюбленного утренней зари...* — Речь идет о Титоне, смертном супруге утренней зари Эос, которая, испросив для него у Зевса бессмертие, забыла испросить вечную молодость (греч. миф.).

«Боги в изгнании». — Впервые это произведение Гейне на немецком языке появилось под названием «Боги в бедствии» 30 апр. 1853 г. в журнале «Листки для литературного развлечения».

Стр. 433. *Я только что побывал у господина Генриха Гейне...* — Тритто приехал в Париж в качестве поверенного Кампе и некоторых других фирм. Он, в частности, имел поручение забрать в Гамбург все готовые для печати рукописи Гейне. Кампе рекомендовал его Гейне в письме от 28 янв. 1854 г.

...что его брат в Вене... — Густав Гейне, который летом 1852 г., вместе с Максимилианом, пытался оказать давление на Кампе с целью заставить его принять гонорарные условия Гейне.

...как его обхаживал Котта... — Об этом Гейне писал Кампе 5 окт. 1852 г.

Стр. 434. *...частью переданы третьему лицу...* — В авг. 1852 г. Максимилиан Гейне заявил Кампе, что якобы уничтоженные «Мемуары», а также рукопись книги о Соломоне

Гейне находятся у него. Об этом Кампе писал Гейне 26 авг. 1852 г.

...уже начал основательно перерабатывать эти «Мемуары»... — Часть этой редакции «Мемуаров» вошла в «Признания», а другая часть была опубликована посмертно лишь в 1884 г.

...наберется на томик стихотворений... — Эти стихи вошли в состав «Избранных сочинений» под заглавием «Стихотворения 1853 и 1854 годов».

Стр. 435. *...под названием «Диана».* — Полное название — «Богиня Диана».

...о различных теориях уголовного права... — Статья «Тюремная реформа и уголовное законодательство»; опубликована в составе «Приложения к «Лютеции».

...проавстрийской ориентации названной газеты. — Речь идет об аугсбургской «Всеобщей газете» Котта.

Стр. 436. *В этом письме <Александру Дюма...>...* — Имеются в виду два письма Гейне к А. Дюма, который выпускал периодические издания «Мушкетер» и «Монте-Кристо», где, в частности, публиковал свои многочисленные романы. В письме от 28 марта 1854 г. Гейне решительно опровергает заметку секретаря Дюма Э. Вьейо в «Мушкетере» от 27 марта о том, что якобы он, Гейне, издает сейчас новую поэму под названием «Сын Маргариты» («Все это новая утка. Я никогда не писал поэмы, которая может иметь какое-либо отношение к этому названию»). В письме от 2 авг. 1855 г., написанном совсем по другому поводу, Гейне благодарит Дюма от имени «дамы» (Матильды) за присланную ей собственноручную рукопись прославленного романиста.

Поскольку первопричиной этой переписки был я... — Одебран еще ранее утверждал в одной из своих заметок, что Гейне якобы сочинил поэму «Миртовая ветвь».

Стр. 439. *...большую золотую медаль за боль и муки.* — Это высказывание Гейне относится на самом деле к 1855 г.

...о недостойном поведении аугсбургской «Всеобщей газеты»... — В номерах 246—249 (21—26 сент. 1854 г.) «Всеобщая газета» опубликовала в обратном переводе на немецкий (из «Ревю де де Монд») «Признания поэта», опередив таким образом на две недели появление «Признаний» в книжном издании. Затем, 27 сент., в газете была опубликована резко критическая статья в адрес Гейне. В письмах от 3 и 5 окт. 1854 г. Гейне писал об этом Кампе. Последний не стал предпринимать в этой связи против газеты никаких шагов, не желая испортить отношения с влиятельным периодическим изданием (см. письма Кампе к Гейне от 7 и 12 окт. 1854 г.).

Стр. 442. *...познакомили с содержанием моего письма господина Детмольда из Ганновера...* — По просьбе Гейне,

Кампе переслал Детмольду это письмо Рейнгардта, но тот также отказался предпринять шаги против «Всеобщей газеты».

...заново переработанная и дополненная «*Allemagne*»... («Германия» — фр.) — Книга Гейне «О Германии», изданная в 1855 г. в Париже на французском языке.

Стр. 443. *К Гейне я попал в два часа.* — Кампе приехал в Париж неожиданно. О причинах своего приезда он писал в письме к Гейне от 25.4.1855 г.: «Цель моего визита повидать Вас, по поручению поставить Вас в известность об американской перепечатке и получить от Вас для этого предприятия, как этого требует американский книготорговец и что, разумеется, было бы очень полезно в практическом отношении: а) Предисловие или Введение и б) подтверждение нашего контракта, чтобы поставить в более жесткие границы стремления г-на Густава». Ранее Густав Гейне потребовал от Кампе, чтобы в договоре были оставлены незаполненные места. Кампе оставался в Париже до 28 апр., не успев, однако, получить новую редакцию договора.

Стр. 444. *...как энергично я выступил против перепечатчиков.* — Речь идет о том, что некий Дж.-В. Томас из Филадельфии предпринял незаконное издание сочинений Гейне.

В своих «Мемуарах»... — После смерти Гейне Жюлия, бывший юридическим советником Матильды, сумел за незначительную сумму получить в свое полное распоряжение весь архив Гейне; в нач. 1884 г. он продал оставшийся фрагмент «Мемуаров» одновременно двум издательствам — Крёнера и Кампе.

Стр. 445. *Беотийцы* — здесь в смысле «дурни», «деревенщина». *Жозеф Прюдом* — персонаж из произведений Анри Монье, синоним недалекого буржуа-мещанина.

Стр. 446. *«Сад Мабиль»* — известное увеселительное заведение в Париже.

«Королева Помарэ». — См. стихотворение о ней в «Романсеро» Гейне («Помарэ»).

Стр. 447. *...мне поручили передать ему несколько листов нот...* — Из первого письма Элизы Криниц к Гейне явствует, что в действительности она попросила у Гейне разрешения нанести ему визит без всякого предложения.

...и друзьях госпожи де Сталь. — Очевидно, имеется в виду Август Вильгельм Шлегель.

Стр. 449. *...для ознакомления читателей «Ревю де де Монд» с шедевром... «Новая весна...»* — Из письма Э. Криниц к Гейне (от 22.6.1855) следует, что Гейне не поручал ей переводить заново, но лишь просмотрел с ней ранее сделанные переводы из «Новой весны», выполненные Тайандье. Эти переводы были опубликованы в «Ревю де де Монд»

15 сент. 1855 г. Вероятно, «Мушка» сделала в них некоторую правку, которая упоминается Гейне в письме к Тайандье (от 8.9.1855).

Стр. 452. *Я вспомнил то место в «Путевых картинах»...* — «Путешествие от Мюнхена до Генуи» (гл. 15).

...его интересовал Огюстен Тьери. — У рано ослепшего Тьери были такие же симптомы паралича, как у Гейне.

Стр. 454. *...я с 1827 года с ним не разговаривал.* — Сафир говорит здесь о встрече, которая якобы была у него одновременно с Бёрне и Гейне во Франкфурте-на-Майне в 1827 г. В действительности такой совместной встречи не было, поскольку в 1827 г. Сафир был в Берлине, а не во Франкфурте. Во Франкфурте он сделал остановку и встретился с Гейне в 1831 г., возвращаясь из Парижа, где, в свою очередь, видел Бёрне.

Стр. 455: *...бичевание, которому он подверг нашего доброго Д<ессауэ>ра...* — Эти выпады содержатся в двух главах «Лютении» (V и LVI). Оба пассажа были предназначены только для книжного издания. В сущности, лишь первый выпад получил довольно широкий резонанс: здесь Гейне гневно опровергает утверждение самого Дессауэра о том, что он якобы был любовником Жорж Санд. Во втором, критическом, пассаже речь идет о Дессауэре-композиторе.

...получаю ежегодно три тысячи франков... — На это заявление Гейне его брат Густав отреагировал письмом от 13.8.1855 г., в котором писал поэту, что ему следует незамедлительно скорректировать эти неточные данные, чтобы не повредить себе в глазах Карла Гейне. Гейне ответил Густаву открытым письмом, в котором писал, что его твердый доход из Германии составляет 12 000 франков ежегодно. В сопроводительном частном письме он заверил Густава, что он вовсе не говорил Сафиру о том, что он получает от Карла только «три тысячи франков». В свою очередь, Сафир в книжном издании своих воспоминаний (1856 г.) изменил названные суммы (вместо «трех тысяч», «шести тысяч» и «двенадцати тысяч франков» там было соответственно указано: «шесть тысяч», «двенадцать тысяч» и «двадцать тысяч франков»).

Стр. 456. *«Госпожа Завота»* — персонаж из одноименного стихотворения Гейне («Романсеро», цикл «Лазарь», № 14).

Стр. 457. *Саксонец из хорошей семьи* — Рихард фон Циклински.

...англичанка, послужившая... прототипом леди Матильды в «Путевых картинах». — Осенью 1855 г. Гейне посетила Люси Даф-Гордон, но она ни в коем случае не могла быть прообразом леди Матильды из «Луккских вод» и «Города Лукки».

«Сын века» — Альфред де Мюссе, автор романа «Исповедь сына века».

Стр. 459. *...обсудить вопрос о его наследии...* — Как явствует из нижесказанного, Густав Гейне стремился утвердить за собой заметную роль в определении судьбы посмертного наследия поэта. Однако эти его притязания не имели никакой правовой основы.

Стр. 460. *...новым вариантом давно уже заключенного договора.* — В янв. 1855 г. Кампе прислал свои предложения по дополнению договора от 5 дек. 1843 г.; в связи с этим в апр. 1855 г. он приехал в Париж. В переговорах его с Гейне речь шла главным образом об уточнении соотношения между посмертным наследием и полным собранием сочинений. Гейне стремился добиться твердых гонорарных условий для своего наследия, однако достичь такой договоренности ему не удалось.

...наш добрый отец явился как-то домой в своем красивом мундире... — Отец поэта Самсон Гейне состоял в дюссельдорфской гражданской гвардии.

«Напиши-ка мою биографию...» — Гейне едва ли мог обратиться к Густаву с подобной просьбой.

Стр. 461. *...более раннее завещание...* — Согласно этому предыдущему завещанию, все бумаги Гейне после его смерти должны были быть переданы Людвигу Эмбдену, сыну его сестры Шарлотты.

Стр. 465. *...взять с собой моего сына Людвига...* — Последующие абзацы этого сообщения, по всей видимости, принадлежат самому Людвигу Эмбдену; во всяком случае, написаны они в его собственных интересах. Дело в том, что, по завещанию Гейне, он был назначен распорядителем его посмертного литературного архива. В то же время Матильда и Жюлиа отказывались выдать ему этот архив на том основании, что оговоренные в завещании указания и распоряжения Гейне никогда не высказывал своему племяннику лично.

...я должен был написать небольшую вводную заметку... — Эта небольшая заметка была расширена до статьи и в таком виде была предпослана новому изданию «Путевых картин» (1856); настоящее сообщение является выдержкой из этой статьи.

Стр. 466. *...виньетки из «Ревю де де Монд»...* — Имеется в виду портрет Гейне работы художника Ш. Глейре, появившийся в «Ревю» 1 апр. 1852 г.

...премилые сказки ... господина Лабулэ... — Имеются в виду «Воспоминания путешественника. Замок Никогда» Эд. Лабулэ в «Журналь де Деба» от 1 и 3 янв. 1856 г.

Стр. 467. Альфред Мейснер. По рассказам Матильды. — Сообщение Мейснера вряд ли достоверно. Издательский договор Гейне с М. *Леви*, в ряде своих пунктов нуждавшийся в уточнении, не сохранился.

Стр. 468. *...поэт работал над предисловием и корректурой...* — Речь идет о французском издании «Путевых картин», над корректурой которого поэт работал с весны 1855 г. до самой смерти.

Стр. 472. *...которую ты некогда называл «моя Марго».* — Элиза Криниц представилась Мейснеру под этим именем. О своих отношениях с Э. Криниц Мейснер написал в своей книге «Танец теней» (Цюрих, 1881).

...если выберешься в Париж, побывай у меня. — Мейснер приехал в Париж в апр. 1856 г.

«Пастор Рейнгольд». — Имеется в виду роман А. Мейснера «Пастор из Графенрида» (Гамбург, 1855).

Стр. 474. *...чтобы... никто не входил в комнату усопшего...* — Труп Гейне был подвергнут вскрытию.

Стр. 475. *...«стоят фиакры»...* — Цитата из стихотворения Гейне «Поминки».

Стр. 477. Альфред Мейснер. Из воспоминаний о Гейне. — В этом сообщении А. Мейснера его впечатления и сведения, полученные им лично, перемежаются с информацией из вторых рук.

...читают обо мне лекции. — То же самое писал 26 июля 1855 г. в письме к Гейне Э. Вибе. Вероятно, эту фразу Мейснеру передала Элиза Криниц.

...поблагодарил Вас за большую дружескую услугу... — Имеется в виду рецензия А. Мейснера на «Избранные сочинения» Гейне, посланная им в одну из венских газет. Рецензия до сей поры не обнаружена.

Стр. 478. *Там лежат мои «Мемуары»...* — Скорее всего речь здесь идет о заметках, которые Штротдман опубликовал в 1869 г. под общим названием «Мысли и афоризмы».

К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС О ГЕЙНЕ

Гейне познакомился с Марксом в декабре 1843 года, возвратившись из Гамбурга в Париж, через посредство А. Руге. Маркс привлек Гейне к участию в «Немецко-французском ежегоднике» (см. коммент. к с. 282). К 1844 году относится и совместное участие Гейне и Маркса в газете «Вперед» (см. коммент. к с. 287). Дружеские отношения Маркса и Гейне (см. предисловие, с. 20) не случайно совпадают с расцветом политической лирики Гейне. Под прямым влиянием идей Маркса написано стихотворение Гейне «Ткачи», посвященное силезскому восстанию рабочих. После отъезда Маркса в Брюссель отношения не прервались: так, в феврале 1845 года Маркс приглашает Гейне принять участие в бесцензурном журнале «Рейнский ежегодник» (см. с. 482),

собирается выступить в защиту книга Гейне о Бёрне (см. с. 483). В 1849 году, приехав в Париж после закрытия «Новой Рейнской газеты», Маркс навещил тяжело больного поэта. После переезда в Лондон он получает сведения о Гейне и поддерживает с ним связь через его секретаря Рейнгардта вплоть до 1855 года. С Рейнгардтом Гейне расстался в конце мая 1855 г., поскольку отказался удовлетворить его требование назначить его переводчиком и издателем своего литературного наследия.

Стр. 480. *...его звали, правда, Генрих Гейне.* — Мысль о революционном содержании немецкой классической философии Гейне развивает в своем сочинении «К истории религии и философии в Германии». Этот взгляд Гейне, противоположный либерально-буржуазной точке зрения на эту философию, высоко ценили основоположники марксизма.

Стр. 481. *...которую я вам привожу в прозаическом переводе...* — Энгельс, вероятно, переводил стихотворение на английский язык с рукописного варианта (по сравнению с печатным текстом в нем имеется одна дополнительная строчка). «Силезские ткачи» Гейне были напечатаны в газете «Вперед» (№ 55 от 10 июля 1844 г.).

Стр. 422. *Я уезжаю в понедельник.* — Маркс был выслан правительством Гизо — см. с. 299.

...может быть, также и Ваш «Германский флот»... — Речь идет о стихотворении «Наш флот» («Современные стихотворения»), в котором Гейне высмеивает расплывчатое утопическое свободолюбие многих поэтов буржуазно-демократического лагеря 40-х годов.

Стр. 483. *...мне случайно попался небольшой пасквиль против Вас...* — Нападки на Гейне в связи с его книгой о Людвиге Бёрне (см. с. 18) достигли апогея, после того как литературные наследники Бёрне выпустили памфлет «Суждения Бёрне о Г. Гейне» (1844), составленный из обрывков «Парижских писем» Бёрне. Критики Гейне сделали все возможное, чтобы затушевать принципиальный смысл гейневской полемики с Бёрне и свести все к личной вражде.

Стр. 484. *Между прочим, он ... рассказывает вымышленную историю о том...* — В «Ретроспективном объяснении» ко 2-й части «Лютетии» (1854) Гейне писал: «Я помню, что в то время многие из моих соотечественников, в том числе решительнейший и умнейший между ними, доктор Маркс, пришли ко мне, чтобы высказать свое негодование по поводу клеветнической статьи во «Всеобщей газете», и советовали не отвечать на нее ни одним словом, ибо они сами заявили уже в немецких газетах, что я, конечно, принял эту пенсию с той целью, чтобы иметь возможность деятельнее помогать тем из моих соотечественников, которые беднее меня. То же самое

говорили мне как бывший редактор «Новой Рейнской газеты», так и друзья, составлявшие его генеральный штаб». Этот пассаж не соответствует действительности: упоминаемая статья во «Всеобщей газете» появилась 28 апр. 1848 г., а Маркс и Энгельс покинули Париж 7 апр. Маркс, однако, не счел нужным выступить в печати с разоблачением большого поэта.

Стр. 485. *Патнем требует после Базанкура...* — Имеется в виду американский журнал «Putnem's Monthly», для которого Энгельс написал критический разбор книги Ц. Базанкура о севастопольской компании.

А. Дмитриев

ИМЕННОЙ УКАЗАТЕЛЬ *

Абеляр Пьер (1079—1142), средневековый французский философ-схоластик, богослов и поэт — 355, 524.

Абель Карл фон (1788—1859), баварский министр — 323.

Август Октавиан (63 до н. э. — 14 н. э.), римский император — 52.

Азу Мари-Катарина-Софи, графиня д' (урожд. де Флавины, 1805—1876), писательница, подруга Ф. Листа, хозяйка известного в Париже салона, который посещал Гейне; в газетах подписывалась псевдонимом «Даниэль Штерн»; предворяя публикацию поэмы Гейне «Германия. Зимняя сказка» в газете «Ревю де де Монд» в переводе Э. Гренье (фрагменты), опубликовала статью о поэме — 159, 508.

Альберс Иоганн Фридрих Герман (1805—1869), врач — 439.

Амьо Пьер, издатель — 354, 363.

Анакреонт (ок. 550 до н. э.), древнегреческий поэт — 101.

Андерсен Ханс Кристиан (1805—1875) — 162, 274, 294, 419, 514.

Андраль Габриэль, французский врач — 439.

Анненков Павел Васильевич (1813—1887), русский литератор — 483.

Ансийон Иоганн Петер Фридрих (1767—1837), прусский теолог, историк, государственный деятель реакционного толка; воспитатель наследного принца, будущего Фридриха Вильгельма IV; в 1832—1837 — министр иностранных дел — 165.

Анфантен Бартеlemi-Проспер («отец Анфантен»; 1769—1864), вождь сенсимонистов — 232.

Аренс Генрих (1808—1874), юрист, в 1831—1837 г. жил в Париже, член немецкого Народного союза — 207.

Аристотель (384—322 до н. э.) — 355.

Аристофан (ок. 446—385 до н. э.) — 73, 161, 426.

Арминий (Герман; 17 г. до н. э. — 21 г. н. э.), вождь германского племени херусков; в 9 г. разбил в Тевтобургском лесу войско римского наместника — 52, 212.

Ардт Эрнст Мориц (1769—1860), немецкий поэт и публицист националистического толка, активно выступал против Наполеона — 134.

* Мифологические и литературные персонажи в указатель не включены.

Арним Беттина фон (урожд. Брентано; 1785—1859), немецкая писательница, вышедшая из кругов романтического движения; сестра Клеменса Брентано, жена А. фон Арнима — 108, 109, 187.

Арним Генрих Фридрих фон (1791—1859), дипломат, в 1841—1845 гг. прусский посол в Париже — 299.

Арним Людвиг Ахим фон (1781—1831), немецкий писатель-романтик — 108, 109, 134.

Арно Алиса, дочь Элизы Арно, крестница Гейне — 345.

Арно Элиза, подруга Матильды Гейне — 345.

Ассинг Давид Артур (1787—1842), муж Розы Марии Ассинг, врач в Гамбурге — 61, 89, 94, 95, 113, 136, 175.

Ассинг Людмила (1821—1880), дочь Давида и Розы Марии Ассинг — 284, 376, 515.

Ассинг Роза Мария (урожд. Варнхаген фон Энзе; 1783—1840), жена Давида Ассинга, сестра Варнхагена — 61, 89, 91, 94, 107, 113, 126, 136, 175, 496.

Ауэрбах Бертольд (Барух Мозес; 1812—1882), немецкий либеральный писатель — 379.

Ауэрбах Исаак Левин (1791—1853), берлинский проповедник, член «Образовательного общества для евреев» — 51.

Ауэрсберг Антон Александр, граф фон (псевд. Анастасиус Грюн; 1806—1876), австрийский поэт, издатель, публицист — 214, 218, 302, 507.

Бабеф Франсуа Ноэль (1760—1797), деятель Великой французской революции — 356, 358.

Баггезен Йенс (1764—1826), датский поэт — 419.

Байрон Джордж Ноэль Гордон (1788—1824) — 37, 38, 44, 78, 129, 130, 169, 351, 488, 492.

Бакунин Михаил Александрович (1814—1876), русский революционер, теоретик анархизма, один из идеологов народничества — 376.

Бальзак Оноре де (1799—1850) — 160, 161, 208, 220, 242, 354—363, 380, 384, 386, 524, 527.

Бамберг Феликс (1820—1893), немецкий писатель и дипломат, друг Ф. Геббеля — 286, 290, 395.

Бамбоччио Антонио, итальянский художник XIV в. — 212.

Барбье Анри-Огюст (1805—1882), писатель — 209.

Барделебен Эвелина Ангелика фон (1800—1845) — 44.

Барнав Антуан-Пьер-Жозеф-Мария (1769—1793), социолог, деятель Великой французской революции — 140, 497.

Бауэрнфельд Эдуард фон (1802—1890), австрийский комедиограф — 218, 302.

Бах Иоганн Себастьян (1685—1750) — 111.

Бахерахт Тереза фон (1804—1852), жена русского генерального консула в Гамбурге; подруга К. Гуцкова — 325, 397—399.

Беккерат Герман фон (1801—1870), либеральный политик и банкир — 344.

Беллини Винченцо (1801—1835), итальянский композитор — 174, 175, 501.

Бельджойзо-Тривульцио Кристина, княгиня ди (1808—1871), итальянская писательница и политическая деятельница; с 1831 г. жила в Париже, где держала один из самых известных

салонов; Гейне познакомился с ней зимой 1833/1834 г. — 170, 174, 175, 186, 222, 223, 253, 266, 328, 375, 428, 457, 501, 511, 521, 531.

Бендавид Лазарус (1762—1832), берлинский философ и математик — 44.

Бенуа, второстепенный французский художник — 375.

Бер Михаэль (1800—1833), драматург, брат композитора Мейербера — 102, 111, 142, 151, 153, 499.

Беранже Пьер-Жан (1780—1857), выдающийся французский поэт-песенник — 375, 464.

Берлиоз Гектор (1803—1869), французский композитор — 168, 169, 222, 226, 275, 347, 362, 375, 416.

Бернайс Карл Людвиг Лазарь Фердинанд (1815—1879), немецкий эмигрант в Париже, публицист, один из редакторов немецкой эмигрантской газеты «Вперед» — 291, 515.

Бернар Клервоский (ок. 1091—1153), французский богослов, яростный защитник католицизма — 355, 524.

Бёрне Людвиг (Барух Леб; 1786—1837), выдающийся деятель радикальной мелкобуржуазной оппозиции в Германии, талантливый публицист, театральный и литературный критик; антипод Гейне; с 1830 г. жил в эмиграции в Париже, где стал ведущей фигурой в лагере левodemократической немецкой эмиграции — 47, 107, 116, 145, 146, 148, 154—156, 162, 164, 167, 176—178, 180, 181, 190, 193, 195—197, 200, 201, 210, 215—217, 234—236, 248, 254, 257, 267, 268, 271, 278, 283, 294, 297, 318, 321, 329, 334, 373, 375, 403, 453, 456,

483, 498, 500, 504, 506, 507, 510—512, 535, 538.

Бёрнштейн Генрих (1805—1892), немецкий публицист, один из основателей и редакторов немецкой эмигрантской газеты «Вперед» в Париже — 262, 286, 298, 330, 335, 482, 515, 522.

Берту Шарль — 363, 525.

Берье Пьер-Антуан (1790—1868), адвокат, консервативный политик — 261.

Бессер Иоганн фон — 95.

Блаз де Бюри Анри (1813—1888), писатель, музыкальный критик, переводчик «Фауста» Гете — 160.

Блан Жан-Жозеф-Луи (1811—1882), французский мелкобуржуазный социалист, историк, публицист — 366.

Бланкензее Георг, граф фон (1792—1867) — 44.

Блюхер Вальштатт Гебхардт Леберехт, князь фон (1742—1819), прусский фельдмаршал, командовал прусским контингентом в битве при Ватерлоо — 95.

Боас Эдуард — 327.

Бозьо Франсуа-Жозеф, барон де (1769—1845), скульптор — 171.

Бойрман Эдуард (1804—1883), публицист и адвокат, некоторое время тайный агент Меттерниха — 195, 212, 218, 504, 506, 507.

Бокаж — см. Тусе.

Бониц, суперинтендант из Лангензальцы, крестный отец Гейне — 86—88.

Борнштедт Адальберт фон (1808—1851), публицист, тайный агент австрийского и прусского правительств, член Союза коммунистов — 171, 178, 194, 262, 287, 515.

Боссюэ Жак-Бенинь (1622—1704), французский богослов, писатель — 248.

Брандус Гемми (1823—1873), парижский музыкальный издатель — 353, 382.

Браунхардт Левин, учитель — 51, 57.

Брентано Клеменс (1778—1842), немецкий романтический поэт и прозаик — 134, 450.

Брокгауз Генрих (1804—1874), книготорговец и издатель — 254.

Буонарроти Филиппо Микеле (1769—1837), итальянский политический деятель, участник Великой французской революции, получил французское гражданство от Конвента, последовательный республиканец — 373.

Бурлуа Катрин, сиделка Гейне в пору «матрачной могилы» — 456, 469, 475.

Бутервек Фридрих (1766—1828), историк литературы и эстетик, стоявший на позициях Просвещения; с 1797 г. профессор Геттингенского университета — 66.

Бюлоз Франсуа (1803—1877), публицист, главный редактор «Ревю де де Монд» — 347, 375, 378, 385, 394.

Бюргер, доктор из Лейдена — 328.

Бюргер Готфрид Август (1747—1794), немецкий поэт — 67.

Бюше Филипп-Жозеф-Беньямин (1796—1865), писатель левого католического направления — 209.

Вагнер Рихард (1813—1883) — 52, 250, 251, 256, 510—512.

Вайи Леон де (1804—1863), писатель — 209.

Валантэн Нанетта (1784—ок. 1848), жена банкира, хозяйка известного салона в Париже — 146, 147.

Вальдек Франц Лео Бенедикт (1802—1870), либеральный политик, товарищ Гейне по Геттингенскому университету — 38, 488.

Ван Дейк Антонис (1599—1641), фламандский живописец — 244.

Варнхаген фон Энзе Карл Август (1785—1852), литературный критик и публицист, писатель; в годы наполеоновских войн офицер австрийской армии, во время Освободительной войны офицер русской службы, позже — прусский дипломат; с 1822 г. в дружеских отношениях с Гейне — 43, 59, 64, 89, 91, 95, 107, 108, 127, 136, 142, 153, 154, 203, 208, 301, 376, 395, 410, 490, 492—494, 496, 497, 499, 505, 515, 517, 520, 528.

Варнхаген фон Энзе Рахель (урожд. Левин; 1771—1833), с 1814 г. жена К.-А. Варнхагена: почитательница Гейне и пропагандистка его творчества; ее берлинский салон был средоточием культурной жизни прусской столицы — 44, 58, 108, 187, 203, 208, 249, 490, 505.

Василевски Вильгельм Йозеф фон — 101.

Ведекинд Эдуард (1805—1885), юрист, друг Гейне по Геттингенскому университету; был членом Франкфуртского национального собрания; уволен в отставку по причине либеральных убеждений — 65, 75, 79, 106, 492.

Веерт Георг (1822—1856), немецкий революционно-демократический поэт — 417.

Везерман Карл Вильгельм (род. 1800), инспектор строительного ведомства — 47.

Вейль Александр (1811—1899), французский писатель и журналист, происходил из еврейской семьи в Эльзасе; в 1839 г. поселился в Париже, где сотрудничал в различных немецких периодических изданиях, после революции 1848 г. ратовал за конституционную монархию; впоследствии, отойдя от политики, стал заниматься религиозно-философскими вопросами — 159, 226, 231, 232, 252, 261, 262, 277, 299, 300, 301, 304, 330, 351, 354, 362, 363, 365, 374, 378—380, 383, 400, 410, 508, 512, 513, 524, 526.

Венедей Якоб (1805—1871), публицист, мелкобуржуазный демократ; в 1834 г. основал Союз справедливых, член Франкфуртского национального собрания—179, 194, 197, 324, 336, 373—375, 390, 409, 442, 501, 502, 512, 515.

Вергилий Марон Публий (70—19 до н. э.) — 33, 59.

Верне Орас (1789—1863), французский художник — 216.

Вернер Готфрид (1799—1871), архитектор, школьный товарищ Гейне — 31, 47, 48.

Верон Луи Дезире (1798—1867), публицист, директор парижской Большой оперы — 375.

Вертер Вильгельм, барон фон (1772—1859), с 1824 по 1837 г. прусский посол в Париже — 165, 166, 501.

Вертгейм Леопольд (1810—1890), австрийский врач в Париже — 400, 528.

Веске фон Путлинген Иоганн (1803—1883), австрийский дипломат и публицист — 302, 416.

Виланд Кристоф Мартин (1733—1813), немецкий поэт — 319.

Вилле Франсуа Арнольд (1811—1896), писатель и публицист, представитель немецкой республиканской оппозиции во Франции — 282, 285, 432, 515.

Виллизен Вильгельм, барон фон (1790—1879), прусский генерал — 108, 109.

Виль Людвиг (1807—1882), писатель и журналист; в 1838—1839 гг. сотрудник в «Телеграфе» К. Гуцкова, в 1848 г. посажен в крепость, откуда бежал во Францию — 209, 278, 282, 375, 506, 514.

Винбарг Лудольф (1802—1872), писатель и публицист, теоретик группы «Молодая Германия» — 89, 117, 128, 339, 420.

Винке Эрнст Фридрих Георг, барон фон (1811—1875), либеральный прусский политик — 344.

Виньи Альфред, граф де (1797—1863) — 208, 241, 242, 366.

Вит Фердинанд Иоганн (по прозвищу Дерринг; 1800—1863), писатель, политический авантюрист, провокатор и доносчик, замешанный во многих скандалах; позже стал помещиком в Силезии — 97—99, 110, 151, 494, 495.

Воловский, польский врач, с 1831 г. жил в Париже — 220, 507.

Воль Жанетта — см. Штраус Жанетта.

Вольвиль Иммануэль (Вольф Ноэль; 1799—1847), член берлинского «Образовательного общества для евреев», позднее — учитель и проповедник в Гамбурге — 64.

Вольтер (Аруэ Франсуа-Мари; 1694—1778) — 357, 360.

Вольф, переводчик, выходец из Эльзаса — 378.

Вольф Оскар Людвиг Бернгард (1799—1851), второстепенный писатель, профессор истории — 60.

Вольфрум Герман (1812—1834), один из основателей немецкого Народного союза в Париже; мелкобуржуазный радикал, приверженец Л. Бёрне — 164, 178, 500, 501.

Вольфрум Карл (1813—1888), брат Г. Вольфрума, ремесленник — 164.

Вьейо Эдмон, секретарь Александра Дюма — 436, 437, 533.

Гаген Теодор (псевд. Иоахим Фелье; 1823—1871), музыкальный критик, писатель — 277, 279, 286.

Гайльброннер Карл фон (1788—1864), баварский офицер — 322, 323, 325, 326.

Гакстаузен Август фон (1792—1866), экономист — 65.

Галле Тереза (урожд. Гейне; 1807—1880), младшая дочь Соломона Гейне — 124, 224.

Галлер, газетный репортер в Париже — 331, 332.

Галль Фердинанд фон (1809—1872) — 225.

Гамберг Антон (1806—1842), журналист — 259, 512.

Ганеман Сэмюэль, гомеопат — 355.

Ганзман Давид Юстус (1790—1864), представитель крупной рейнской буржуазии, прусский политический деятель — 344.

Ганс Эдуард (1798—1839), специалист по философии права, председатель «Образовательного

общества для евреев», позднее принял христианство — 43—45, 51, 57, 110.

Ганская Эвелина (урожд. Ржевусская; 1801—1882), помещица на Волыни; подруга, затем жена Бальзака — 208, 220.

Гарнье-Паже Этьен-Жозеф-Луи (1801—1841), деятель правой оппозиции при Луи Филиппе — 178.

Гарринг Гарро (1798—1870), публицист, немецкий эмигрант в Париже, республиканец — 181.

Гартман Мориц (1821—1872), австрийский писатель и публицист, революционер-республиканец, член лево-демократического крыла Франкфуртского национального собрания — 316, 320, 520.

Гати Франц Сервье Огюст (1800—1858), писатель, переводчик, поначалу подручный в фирме Ю. Кампе — 277, 528.

Гауди Франц, барон фон (1800—1840), офицер, второстепенный писатель — 122, 496.

Гаупт Иоахим (1797—1883), руководитель студенческого союза в Бонне, позднее протестантский теолог — 33.

Гауэншильд Рихард Георг Шпиллер фон (псевд. Макс Вальдау; 1825—1855), писатель — 423.

Геббель Фридрих (1813—1863), немецкий драматург и поэт — 53, 277, 278, 285, 289, 395, 493, 514, 515.

Гегель Георг Вильгельм Фридрих (1770—1831), немецкий философ — 43, 161, 303, 304, 386, 480, 488, 517.

Гейбель Эмануэль (1815—1884), немецкий поэт, представитель эпигонского классицизма — 420.

Гейберг Петер Андреас (1758—1841), датский писатель — 419.

Гейделоф, немецкий книго-торговец и издатель в Париже — 166, 168.

Гейне Бетти (урожд. ван Гельдерн; 1771—1859), мать Гейне — 30, 196, 414, 489, 510, 530.

Гейне Густав (1804—1886), брат Гейне, купец и журналист, издатель венской «Иностранной газеты» — 455, 457, 462, 469, 486, 510, 530, 532, 534—536.

Гейне Карл (1810—1865), сын и наследник Соломона Гейне — 124, 224, 306, 309—311, 326, 351, 353, 382, 395, 412, 508, 518—520, 523, 524, 526, 527, 529, 532, 535.

Гейне Максимилиан (Макс; ок. 1805—1879), брат Гейне, врач в Петербурге — 29, 35, 61, 74, 82, 92, 103, 284, 326, 412, 430, 431, 459, 460, 486, 487, 492, 529, 531, 532.

Гейне Матильда (Кресценция Эжени, урожд. Мира; 1815—1883), жена Гейне — 129, 183, 184, 192, 193, 197, 198, 201, 204, 226, 228—230, 232, 252, 262, 265, 292, 302, 317, 344—346, 374, 379, 381, 383, 389, 400, 411, 416, 417, 436, 439, 443, 445, 446, 449, 461—464, 467, 474, 501, 504, 506, 508, 512, 513, 528, 533, 534, 536.

Гейне Самсон (1764—1828), отец Гейне, купец — 25, 106, 495, 536.

Гейне Соломон (1767—1844), дядя Гейне по отцовской линии, гамбургский банкир — 31, 41, 42, 113, 124, 127, 136, 224, 255, 284, 293, 326, 351, 395, 488, 490, 492, 493, 502, 506, 508, 511, 517, 519, 521, 532.

Гейне Шарлотта — см. Эмбден Шарлотта.

Гейне Цецилия (урожд. Фуртадо; 1821—1896), жена Карла Гейне — 255, 508, 526.

Гейнрих Карл Фридрих (1774—1838), боннский профессор филологии — 33.

Гейнцен Карл (1809—1880), немецкий публицист, буржуазный демократ, выступал против Маркса и Энгельса, участник революции 1848 г. — 484.

Гельвиг Амалия (урожд. фон Имхоф; 1776—1831), писательница — 44.

Гельти Людвиг Кристоф Генрих (1748—1776), немецкий поэт — 364, 525.

Гензель Вильгельм (1797—1861), художник — 44.

Гентц Фридрих фон (1764—1832), писатель и публицист из либерального лагеря; в 1815 г. перешел на службу Рестаурации, став ближайшим помощником Меттерниха — 38, 110, 341.

Гервег Георг (1817—1875), немецкий революционно-демократический поэт — 324, 340, 375, 482.

Герман — см. Арминий.

Гёррес Йозеф фон (1776—1848), писатель и публицист; из горячего приверженца французской революции стал одним из ее ярых врагов; издавал газету «Рейнский Меркурий», выступавшую против наполеоновского владычества; пришел к позициям крайнего национализма — 134, 193, 214, 374, 507.

Герц Генри (1803—1888), пианист и композитор — 225.

Гесс Мозес (1812—1875), социалист, один из основателей «Новой Рейнской газеты» — 375, 482.

Гессе, врач — 439.

Гесснер Соломон (1730—1788), швейцарский поэт и художник — 319.

Гете Иоганн Вольфганг (1749—1832) — 36, 62, 67, 71, 73, 75, 77, 79, 80, 83, 85, 110, 118, 123, 128, 161, 169, 215, 234, 237, 368, 379, 404, 425, 447, 488, 489, 494.

Гизо Франсуа-Пьер-Гийом (1787—1874), французский историк, политический деятель — 266, 299, 365, 370, 381, 428, 435, 513, 538.

Гиллебрандт Карл (1829—1884), историк, секретарь Гейне — 406, 528.

Гиллер Фердинанд (1811—1885), композитор — 142, 144, 145, 149, 168, 201, 406, 498, 499.

Гири Арон (ум. 1836), фабрикант — 31.

Гитциг Эдуард (1780—1849), юрист, друг Э.-Т.-А. Гофмана — 58.

Гогенхаузен Элиза Филиппина Амалия, баронесса фон (1789—1857), писательница, хозяйка популярного в 20-х годах литературного салона в Берлине, который посещал Гейне; поддержала Гейне как начинающего поэта, провозгласив его немецким Байроном — 43—45, 489.

Гогенхаузен Фридерика фон, писательница, дочь Элизы Гогенхаузен — 43.

Гозлан Леон (1803—1866), романист, драматург, критик — 384.

Гомер — 31, 77.

Гонкур Жюль де (1830—1870), писатель-романист, писал в содружестве со старшим братом — 364.

Гонкур Эдмон де (1822—1896), писатель, брат Ж. Гонкура — 364, 401, 528.

Гораций (полн. имя Квинт Гораций Флакк; 65—8 до н. э.) — 73, 177, 422.

Готье Теофиль (1811—1872), французский поэт-романтик — 159, 160, 258, 347, 364, 365, 367, 375, 379, 380, 386, 415, 465, 527.

Гофер Андреас (1767—1810), предводитель освободительного восстания в Тироле в 1809 г. — 104.

Граббе Кристиан Дитрих (1801—1836), немецкий драматург — 53, 54, 57, 278, 280, 409, 410, 489, 490, 529.

Гренье Эдуар (1819—1901), литератор, переводчик, дипломат; перевел ряд произведений Гейне, в частности поэму «Германия. Зимняя сказка» (в прозе) — 263, 328, 420, 513, 521, 523.

Гризебах Эдуард — 56.

Грильпарцер Франц (1791—1872), австрийский писатель, драматург, прозаик — 189, 320, 370, 503, 520.

Гримм Вильгельм (1786—1859), филолог, фольклорист, историк литературы — 65, 491, 507.

Гримм Готлоб Кристиан (1771—1844), пастор в Хейлигенштадте — 85—88, 492.

Гримм Фердинанд (1788—1844), книготорговец, брат Вильгельма и Якоба Гриммов — 65.

Гримм Якоб (1785—1863), филолог, фольклорист, историк литературы, брат Вильгельма Гримма — 65, 491, 507.

Груби Давид (1810—1898) — венгр немецкого происхождения, известный врач в Париже — 266, 267, 400, 401, 465, 468—470, 528.

Грюн Карл Теодор Фердинанд (1817—1887), литератор, один из

представителей так называемого «истинного социализма» — 294, 517.

Грютер — см. Дипенброк-Грютер.

Губиц Фридрих Вильгельм (1786—1870), издатель журнала «Собеседник» в Берлине, в котором публиковался начинающий Гейне — 39, 56, 59, 490.

Гуго Густав (1764—1844), юрист, с 1788 г. профессор Геттингенского университета — 90, 493.

Гумбольдт Александр фон (1769—1859), ученый-естествоиспытатель, путешественник, дипломат — 300—302, 517.

Гумпель Лазарь (1770—1843), банкир в Гамбурге — 113.

Гундт-Радовски Гартвиг фон, второстепенный немецкий писатель — 181.

Гуровский Адам граф (1805—1888), польский публицист и политик — 205.

Гуцков Карл (1811—1878), немецкий писатель-прозаик, драматург, издатель журнала «Телеграф»; начинал творческий путь под знаменем «Молодой Германии»; с 1839 г. резко разошелся с Гейне — 199, 200, 207, 214, 218, 226, 227, 234, 258, 267, 268, 278, 285, 321, 324, 334, 339, 375, 376, 483, 503—505, 508, 511, 513, 526.

Гуэн Александр (1792—1872), друг Мейербера — 287, 353, 382.

Гюботтер Фридрих Вильгельм, немецкий политический эмигрант в Париже, член Союза справедливых — 181.

Гюго Виктор-Мари (1802—1885) — 169, 226, 241, 242, 273, 373, 375, 378, 384, 510.

Гюффер Герман — 406.

Дальбург Эммерих Иозеф, герцог фон (1773—1833) — 97.

Данте Алигьери (1265—1321) — 323, 520.

Дантон Жорж (1759—1794), один из вождей Великой французской революции — 356.

Дёблер, актер — 269.

Девриент Тереза (1803—1882), жена Эд. Девриента — 124.

Девриент Эдуард (1801—1877), актер и драматург — 124.

Девриент Эмиль (1803—1872), актер, брат Эд. Девриента — 116.

Дёллингер Игнац (1799—1890), католический теолог и историк — 374.

Демут Елена, помощница в семье Марксов — 289.

Десефи Аурел, граф (1808—1842), глава консервативной партии в венгерском парламенте — 337.

Дессаур Йозеф (1798—1878), композитор — 219, 267, 455, 513, 535.

Дессаур Леопольд, князь Ангальт-Дессау («Старый Дессаур»; 1676—1747) — 346.

Детмольд Иоганн Герман (1807—1856), адвокат и политик в Ганновере, в 1849 г. министр; знаком с Гейне с 1827 г. — 204, 205, 211, 366, 442, 504, 523, 533, 534.

Дешан де Сент Аманд Антони (1800—1869), писатель, поэт, переводчик — 209.

Дешан де Сент Аманд Эмиль (1791—1871), поэт и критик, брат Дешана А. — 209.

Дингельштедт Франц (1814—1881), поэт, прозаик, театральный деятель — 268—270, 272, 375.

Дипенброк-Грютер Людвиг, барон фон (1804—1870), юрист,

товарищ Гейне по Геттингенскому университету — 65, 66, 78, 90.

Диффенбах Иоганн Фридрих (1794—1847), хирург, студенческий друг Гейне — 308, 391, 518, 519, 527.

Дольчи Карло (1616—1686), итальянский художник — 212.

Дондорф Максимилиан (1805—1838), журналист, корреспондент «Всеобщей газеты» в Париже — 148.

Дройзен Густав, историк, сын И.-Г. Дройзена — 111.

Дройзен Иоганн Густав (1808—1884), историк — 111.

Дюверье Шарль (1803—1866) — 232.

Дюдеван, маркиза — см. Санд Жорж.

Дюкс Адольф (1822—1881), переводчик — 342, 522, 533.

Дюма Александр (Дюма-отец; 1802—1870) — 160, 226, 275, 276, 367, 373, 375, 436, 437, 439, 476.

Дюпор Поль (1798—1866), драматург — 163.

Дюран Шарль, журналист, газетный издатель — 205, 226.

Дюсберг Юлиус, журналист — 158, 159, 375, 500.

Жанен Жюль Габриэль (1804—1874), критик, романист — 225, 242, 244, 275, 367, 384, 473.

Жан-Поль (Иоганн Фридрих Рихтер; 1763—1825), немецкий писатель — 193.

Жирарден Эмиль де, публицист, издатель газеты «Ла пресс» — 242.

Жиске Анри (1792—1866), банкир и промышленник; в 1831—1836 гг. парижский префект — 167, 501.

Жобер Каролина (1803—1883), хозяйка известного па-

рижского салона — 169, 174, 201, 223, 260, 263, 387, 392, 415, 427, 451, 457, 468, 476, 501, 530, 531.

Жобер Максимилиан (1781—1865), советник конституционной палаты, муж Каролины Жобер — 429, 531.

Жюлиа Анри (1813—1890), правительственный чиновник, писатель и юрист, юридический консультант Матильды Гейне — 444, 534, 536.

Зете Кристиан (1798—1857), друг юношеских лет Гейне — 48.

Зибольд Филипп Франц (1796—1866), голландский ученый, японист — 328, 334.

Зибольд, невестка асессора Мелиса из Люнебурга — 91.

Зихель Юлиус (1800—1868), врач-окулист в Париже, выходец из Франкфурта-на-Майне — 259, 401.

Зойферт Генрих, журналист, парижский корреспондент аугсбургской «Всеобщей газеты» — 268, 375, 383, 385.

Зюдов Теодор фон (1770—1850), писатель — 137.

Ибн-Эзра Авраам Бен Меёр (1092—1167), еврейский поэт и философ — 227.

Иммерман Карл Леберехт (1796—1840), немецкий писатель, театральный режиссер — 50, 54, 96, 104, 108, 127, 133, 153, 278, 391, 495.

Йост Иоганн Карл Фридрих (1789—1870), актер в Гамбурге — 116.

Калиш Людвиг (1814—1882), писатель — 375, 408.

Кальмонис, придворный еврей Фридриха Великого, личность которого не вполне достоверна — 346, 523.

Кампе Луиза Фридерика (1821—1899), вторая жена Юлиуса Кампе—423, 443.

Кампе Юлиус (1792—1867), владелец издательской фирмы «Гофман и Кампе» в Гамбурге; постоянный издатель Гейне с 1826 г. до его смерти—88—90, 96, 108, 115, 116, 133, 137, 140, 168, 192, 193, 253, 254, 277—279, 281—283, 285, 286, 320, 321, 423, 424, 433, 439, 443, 455, 465, 489, 492, 493, 496, 501, 503, 505, 506, 509, 511, 514, 521—524, 529, 530, 532—534, 536.

Кампхаузен Лудольф (1803—1890), кельнский банкир, прусский государственный деятель, в 1848 г. премьер-министр—344.

Каналетто Антонио (1697—1768), итальянский художник—114.

Каннинг Георг (1770—1827), английский либеральный политик—96.

Карпелес Густав, исследователь творчества Гейне—31, 51, 57, 145, 370.

Карр Альфонс (1808—1890), писатель и журналист—230.

Каррель Арман (1800—1836), французский журналист республиканского направления, редактор газеты «Насьональ»—210, 506.

Карьер Мориц (1817—1895), искусствовед и литературовед—376.

Катрин—см. Бурлуа Катрин.

Каутский Карл (1854—1938), историк и экономист, один из лидеров германской социал-демократии—288, 399.

Кернер Юстинус (1786—1862), швабский поэт—114, 136, 496, 506.

Кертбени Карл Мария (Бен-

керт К.-М.; 1824—1882), венгерский писатель и переводчик—336, 522.

Кёлер, врач, путешественник по Японии—334, 335, 340, 522.

Кёхи Карл Георг Генрих (1800—1880), прозаик и драматург—54, 56, 490.

Кирхгертен, кассир мюнхенского филиала издательства Котта—96—99, 494.

Китц Эрнст Бенедикт (1815—1892), рисовальщик и литограф—432, 438, 522.

Клапрот Генрих Юлиус (1783—1835), ориенталист, с 1815 г. жил в Париже—165.

Клаудиус Маттиас (1740—1815), немецкий поэт—121—123, 496.

Клейст Генрих фон (1777—1811), немецкий писатель, драматург и новеллист—278, 280.

Клеменс Алоиз (1793—1869), врач во Фракфурте-на-Майне—136.

Клингеман Август (1777—1831), драматург, руководитель придворного театра в Брауншвейге—77.

Клиндворт Георг, публицист, тайный агент прусского и австрийского правительств—59.

Клопшток Фридрих Готлиб (1724—1803), немецкий поэт—71.

Книлле Георг (1803—1866), друг Гейне по Геттингенскому университету, позже чиновник юридического ведомства—63.

Колоф Эдуард, республиканец, эмигрант в Париже, писатель—259, 512.

Кольб Густав (1798—1865), либеральный журналист, редактор аугсбургской «Всеобщей газеты»—152, 154, 323, 499, 503, 512, 520, 527, 531.

Комбст Генрих Кристиан Густав, публицист и писатель республиканских взглядов, эмигрант в Швейцарии, позже в Эдинбурге — 182.

Конфуций (Кун-цзы; 551—477 до н. э.), древнекитайский философ — 451.

Коптель В. — 31.

Кореф Давид Фердинанд (1783—1851), известный врач, друг Э.-Т.-А. Гофмана; с 1820 г. жил в Париже — 218, 220, 300, 301, 376, 507.

Кореф Тереза, жена Корефа Д.-Ф. — 314, 315.

Корнелиус Петер (1783—1867), художник — 100.

Корнет Юлиус (1793—1859), певец, актер, антрепренер — 116.

Коссак Эрнст (1814—1880), журналист — 437.

Косте Жак (1798—1859), журналист; в 1829—1844 гг. редактор французской газеты «Тан» — 166.

Котта Иоганн Георг фон (1796—1863), издатель, сын И.-Ф. Котта — 272, 273.

Котта Иоганн Фридрих фон (1764—1832), издатель — 96, 99, 106, 108, 109, 152, 154, 272, 273, 433, 494, 495, 499, 503, 514, 532, 533.

Котта Элизабет фон (1789—1859), жена И.-Ф. Котта — 108, 109, 110, 152.

Краэ Эрнст, актер — 100.

Крейценах Теодор (1818—1877), преподаватель и журналист — 291, 301, 517.

Кречман Эрнст Карл фон (1802—1847) — 48.

Криниц Элиза (1828—1896), последнее увлечение Гейне, прозвана им «Мушка»; писательница, публиковавшаяся под псевдонимом «Камилла Зельден»;

позже учительница немецкого языка в Руане — 447, 456, 463, 464, 466, 470, 534, 535, 537.

Кузен Виктор (1792—1867), французский философ, основатель «эклектической школы», политик — 170, 223, 224, 428, 501, 508, 531.

Куранда Игнац (1812—1884), немецкий журналист, сотрудник газет «Пограничный вестник» и «Восточнонемецкая почта» — 252.

Куррер Генрих фон — 100.

Кюккен Фридрих Вильгельм (1810—1882), композитор — 274, 276, 300, 302.

Кюне Густав Фердинанд (1806—1888), немецкий писатель-младогерманец, журналист, в 1835—1842 гг. редактор «Газеты для просвещенных сословий» — 199, 202, 508.

Кюцель Генрих (1810—1837), журналист и писатель — 209, 214, 220, 508.

Кюстин Астольф, маркиз де (1790—1875), писатель — 189, 190, 205, 208, 242, 244.

Ла Брюйер Жан де (1645—1696), французский писатель — 468.

Лабулэ Эдуар-Рене-Лефевр де (1811—1883), политик, историк, писатель — 466, 536.

Ламартин Альфонс де (1790—1869), поэт-романтик, политический деятель — 187, 242, 365—367, 375, 384, 503, 525.

Ламенне Фелисте-Робер де (1782—1854), католический священник, идеолог «христианского социализма» — 180, 246—249, 296, 297, 510, 516.

Ларошфуко Состен де (1785—1864), легитимист, потомок Франсуа Ларошфуко (1613—

1680), французского писателя-моралиста — 246.

Лассайи Шарль (1812—1843), писатель — 159.

Лассаль Фердинанд (1825—1864), немецкий адвокат, видный деятель немецкого рабочего движения; положил начало оппортунизму в немецкой социал-демократии; публицист, литератор — 303—305, 310, 353.

Лаубе Генрих (1806—1884), немецкий писатель-младогерманец; в 1848—1849 гг. депутат Франкфуртского национального собрания; с 1849 по 1867 г. директор венского Бургтеатра — 63, 199, 203, 232, 247, 250, 251, 348, 365, 375, 376, 408, 509, 510, 518, 519, 523—526, 528.

Лакман Фридрих, гимназический учитель, сотрудник университетской библиотеки в Геттингене — 73.

Леваль Август (1792—1871), писатель, актер, журналист, издатель журнала «Эроп», знаком с Гейне с 1829 г. — 114, 155, 183, 195, 211—213, 269, 398, 496, 499, 502, 503, 506, 529.

Леваль Фанни — см. Штар Фанни.

Лёве, доктор — 457.

Лёве Людвиг (1795—1871), актер венского Бургтеатра — 252.

Лёве-Веймарс Франсуа-Адольф (1801—1854), французский публицист и литератор, переводчик немецкой литературы; в 1832 г. в «Ревю де де Монд» опубликованы его переводы отрывков из «Путешествия по Гарцу» и «Книги Le Grand» Гейне. В 1836 г. был в Петербурге, где установил обширные связи с русскими литераторами и был прозван Львом Веймарским; был знаком с Пушкиным, Вязем-

ским, Жуковским, А. И. Тургеневым, женился на О. С. Голынской, родственнице Н. Н. Гончаровой, опубликовал в Париже статью о Пушкине; Гейне посвятил Л.-В. небольшую статью-некролог — 159, 265, 450.

Лёвенталь, журналист — 406.

Лёвенталь Макс, барон фон (1799—1872) — 57, 267.

Лёвенцеллер, служащий мюнхенского филиала издательства Котта — 98, 99.

Леви Мишель (1821—1875), издатель — 303, 468, 473, 536.

Легуве Эрнест-Вильфрид (1807—1903), французский писатель — 226.

Ледебур Леопольд фон, знакомый Гейне по Берлину, впоследствии историограф — 44.

Ледрю-Роллен Александр-Огюст (1807—1874), французский адвокат, политический деятель-республиканец — 380, 527.

Леман Йозеф (1801—1873), журналист, писатель, член «Образовательного общества для евреев», издатель «Журнала иностранной литературы» — 43, 58, 490.

Ленау Николай (1802—1850), австрийский поэт — 270, 409, 513.

Ленсинг Элиза, многолетняя подруга Геббеля — 277, 285, 289, 515.

Лесман Даниэль (1794—1831), писатель и врач — 43.

Лессинг Готхольд Эфраим (1729—1781), немецкий писатель эпохи Просвещения — 52, 242, 280, 281.

Лизер Иоганн Петер (1803—1870), художник-иллюстратор — 119, 120.

Ликург, легендарный спартанский законодатель (IX—VIII вв. до н. э.) — 356.

Линднер Фридрих Людвиг (1772—1845), либеральный публицист и врач, ветеран движения студенческих союзов — 96, 102, 110, 494, 495.

Липке Леонгард, берлинский банкир — 41.

Лист Франц (Ференц; 1811—1886), венгерский композитор и пианист — 159, 169, 175, 222, 226, 244, 253, 338, 508.

Лист Фридрих (1787—1846), экономист и журналист — 147.

Лотц Георг (1784—1844), журналист — 122.

Луи Бонапарт (Луи Наполеон) — см. Наполеон III.

Луи Филипп (1773—1850), французский король (1830—1848), глава младшей ветви Бурбонов — 155, 157, 165, 166, 168, 227, 251, 269, 448, 457, 484, 499, 507.

Людвиг I Баварский (1786—1868), с 1825 г. баварский король — 105, 293, 299, 301, 323, 333, 374, 515, 521, 526.

Людвиг XIV (1638—1715), король Франции с 1643 г. — 172.

Людвиг XV (1710—1774), король Франции с 1715 г. — 451.

Люксбург, граф фон, баварский посланник в Париже — 300, 517.

Лютер Мартин (1483—1546) — 73, 355, 431, 452.

Люццов Элиза (урожд. Аелефельдт; 1788—1855), подруга К. Иммермана — 278.

Люфт, баварский цензор — 323.

Мазарельос Г. де, врач — 204.

Макиавелли Никколо (1469—1527), итальянский писатель, историк, политический деятель — 296.

Макс, впоследствии Максимилиан II, баварский король (1848—1864) — 324.

Малитурн Арман (1797—1866), журналист — 387, 388.

Мальтиц Аполлонус, барон фон (1795—1870), знакомый Гейне по Берлину, впоследствии писатель и дипломат на русской службе — 44, 47, 59.

Марат Жан-Поль (1744—1793), деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев — 168.

Марграф Герман (1809—1864), журналист, писатель — 158.

Маретцек Макс, журналист и музыкант — 287.

Маркс Женни (1844—1883), старшая дочь К. Маркса, с 1872 г. жена французского социалиста Ш. Лонге — 289.

Маркс Карл (1818—1883) — 288, 289, 299, 375, 399, 422, 480, 482—485, 486, 514, 515, 528, 537, 538.

Маркс-Эвелинг Элеонора (1855—1898), младшая дочь К. Маркса — 288, 399.

Маркус Людвиг (1798—1843), ученый, член «Образовательного общества для евреев», позже профессор в Дижоне — 51.

Марье Ксавье (1809—1892), писатель — 187.

Марр Иоганн Вильгельм, владелец гостиницы в Гамбурге — 120.

Марраст Арман (1801—1852), французский публицист и политик, в течение многих лет возглавлял республиканскую газету «Насьональ» — 296, 297, 324.

Мартин А., врач из Мюнхена — 331, 521.

Массман Ганс Фердинанд (1797—1874), филолог, пропо-

ведник немецкого национализма— 349, 409, 529.

Матильда — см. Гейне Матильда.

Мейсндорф Жюли, баронесса (урожд. Хагер)— 324.

Мейер Фердинанд, археолог— 112, 125, 306.

Мейербер Джакомо (Бер Якоб Либман; 1791—1864), оперный композитор— 225, 274—276, 286—288, 310, 311, 338, 353, 362, 380—382, 395, 498, 504, 508, 514, 517, 519, 524, 527.

Мейнерт Герман (1808—1895), писатель и журналист— 122.

Мейснер Альфред (1822—1857), австрийский писатель, знаком с Гейне с 1847 г. — 313, 342, 348, 370, 375, 383, 398, 402, 412, 438, 467, 470—472, 477, 522, 523, 529, 530, 536, 537.

Мейстер Георг Якоб Фридрих (1755—1832), профессор Геттингенского университета— 68, 70, 74.

Менандр (ок. 343—ок. 291 до н. э.), древнегреческий комедиограф— 177.

Мендельсон Абрахам (1776—1835), берлинский банкир, сын Моисея Мендельсона— 124.

Мендельсон-Бартольди Феликс (1809—1847), композитор, сын А. Мендельсона— 153, 391.

Мендельсон Йозеф (1817—1856), журналист— 231.

Мендельсон Моисей (Мозес; 1729—1786), немецкий философ-просветитель, эстетик— 44.

Менцель Вольфганг (1798—1873), немецкий литературный критик и публицист; с либеральных позиций перешел на реакционные— 33, 150, 162, 202, 203, 210, 214, 257, 498, 502, 505—507.

Мерлен Мария де лас Мерсе-

дес, графиня де (1788—1852)— 160.

Мертенс Иоганн Георг Людвиг (1803—1835), теолог, друг Гейне по Геттингенскому университету— 65, 66, 76.

Меттерних Клеменс Венцель Лотар, князь фон (1773—1859), австрийский канцлер, один из организаторов реакционного Священного союза— 138, 164, 323, 499.

Микеланджело Буонарроти (1475—1564)— 280.

Миные Франсуа Огюст Мария (1796—1884), французский историк, друг Тьера и княгини Бельджойозо— 131, 171, 186, 223, 365 — 367, 497, 508.

Мирабо Оноре-Габриэль-Виктор де Рикетти, граф де (1749—1791), деятель Великой французской революции, лидер либеральной буржуазии— 305.

Михаэлис Георг Генрих, содержатель кабака в Геттингене— 63.

Мишель Луи-Хризостом (1797—1853), политик-республиканец, адвокат— 188.

Мишле Жюль (1798—1874), французский историк— 366, 386, 390.

Мозер Мозес (1796—1838), банковский служащий, член «Образовательного общества для евреев», близкий друг Гейне в 20-х годах— 43, 51, 52, 64, 491, 492.

Мойрер Герман (1813—ок. 1882), немецкий писатель-демократ, член Союза отверженных, а затем Союза справедливых— 483.

Мольер (Поклен Жан-Батист; 1622—1673)— 282, 407, 528.

Монтес Лола (Жильбер Мария Долорес, 1818—1861), танцовщица, любовница баварского

короля Людвига I; в 1847 г. была возведена им во дворянство с титулом графини Ландефельд — 333, 374, 521, 526.

Моралес Луис де (1509—1586), испанский художник — 466.

Мориц Генрих (1800—1868), актер — 108, 109.

Моцарт Вольфганг Амадей (1756—1791) — 174.

Мошелес Игнац (1794—1870), композитор и пианист — 93, 493.

Мошелес Шарлотта (1805—1889), жена И. Мошелеса — 93.

Мундт Теодор (1808—1861), писатель и публицист, младогерманец — 199, 202, 206, 505.

Мунк Соломон (1805—1867), востоковед, с 30-х гг. жил в Париже — 51.

Мушка — см. Криниц Элиза.

Мюллер Никлас (1809—1875), швабский поэт, рабочий-печатник — 214.

Мюллер фон Кёнигсвинтер Вольфганг (Мюллер Вильгельм; 1816—1873), немецкий писатель — 390.

Мюнцер Томас (ок. 1490—1525), идеолог левого крыла немецкой Реформации, вождь Крестьянской войны — 355, 356.

Мюрат Иоахим (1767—1815), наполеоновский маршал, король Неаполитанский — 460.

Мюссе Луи-Шарль-Альфред де (1810—1857), французский писатель — 169, 222, 255, 266, 348, 364, 535.

Наполеон I (1768—1821), французский император (1804—1815) — 95, 101, 131, 195, 233, 368, 369, 460.

Наполеон III (1808—1873), французский император из дина-

стии Бонапартов (1852—1877) — 233, 528.

Немур Луи-Шарль-Филипп-Рафаэль, герцог Орлеанский (1814—1896), второй сын Луи Филиппа — 405.

Нерваль Жерар де (Лабрюни Жерар; 1808—1855), французский поэт-романтик, знаток немецкой литературы, переводил с немецкого; с Гейне знаком приблизительно с 1840 г.; ему принадлежат лучшие переводы Гейне на французский — 159, 265, 347, 375, 377—379, 384, 413, 415, 450, 507, 529.

Нестрой Иоганн Непомук (1801—1862), австрийский комедиограф — 461.

Новалис (Гарденберг Фридрих фон; 1772—1801), немецкий писатель-романтик — 134.

Ноднагель Август (1803—1853), писатель и теолог — 220.

Нойнциг Йозеф (1797—1877), врач, друг детских лет Гейне — 25, 30, 34, 35, 488.

Нойштадт Адольф — 252, 511.

Нольте Винцент Отто (1770—1856), купец — 165, 167, 168, 500.

Норман Вильгельм фон (1802—1832), чиновник юридического ведомства в Берлине, литератор — 51.

Норменби (Фипс Константин Генри; 1797—1863), в 1846—1852 гг. английский посол в Париже — 365.

Ноз (Нордберг) *Карл Эдлер фон* (1798—1885), шеф тайной полиции в Майнце, агент австрийской полиции — 181.

Овидий (Публий Овидий Назон; 43 г. до н. э. — 17 г. н. э.) — 31.

Одебран Филибер (1815—1906), писатель, журналист — 436, 533.

Окен Лоренц (1779—1851), естествоиспытатель, знакомый Гейне по Мюнхену — 105.

Опенгейм Мориц (1792—1882), художник — 140, 143, 497, 522.

Ориген (ок. 185—254), христианский философ и теолог — 345.

Осман Жорж-Эжен, барон де (1809—1891), при Луи Наполеоне префект Парижа — 352.

Остин Сара (1793—1867), английская писательница и переводчица, знакома с Гейне с 1833 г. — 142, 365, 497.

Паганини Никколо (1782—1840), скрипач-виртуоз и композитор — 116, 117, 496.

Панофка Генрих (1807—1887), композитор, скрипач, музыкальный критик — 314.

Пельцер Иоганн, юрист, товарищ Гейне по Берлинскому университету — 48.

Пернис Людвиг Вильгельм Антон (1799—1861), юрист в Галле — 277.

Петерс Адольф (1803—1876), математик, товарищ Гейне по Геттингенскому университету — 79, 82, 83, 85, 492.

Петефи Шандор (1822—1849), венгерский поэт — 342, 522.

Пехт Фридрих (1814—1903), художник, литограф — 250, 510.

Пиксис Иоганн Петер (1788—1874), пианист и композитор — 275, 276.

Пилат Йозеф Антон Эдлер (1782—1865), австрийский чиновник и публицист — 323.

Пилле Раимон-Франсуа-Леон (1803—1868), писатель и театральный антрепренер — 256.

Платен (Платен-Галлермюнде) *Август*, граф фон (1796—1835), немецкий поэт — 106, 108, 112, 125, 135, 193, 217, 339, 347, 391, 392, 495, 527.

Платон (428/427—347 до н. э.) — 90, 177, 355.

Плутарх (ок. 46 — ок. 127) — 52.

Полина — см. Рог Полина.

Полянск Огюст-Жюль-Арман-Мари, князь де (1780—1847), премьер-министр Франции (1829—1830) — 126.

Поццо ди Борго Шарль-Андреа (1764—1842), русский дипломат, в 1814—1832 гг. посол в Париже — 428.

Прудон Пьер-Жозеф (1809—1865), французский мелкобуржуазный социалист, позднее — один из основоположников анархизма — 372, 405.

Пфейльшифтер Иоганн Батист (1793—1874), консервативный католический публицист — 137.

Пфицер Густав (1807—1890), швабский поэт и журналист, редактор «Утреннего листка» — 272, 513, 514.

Пюклер-Мюскау Герман, князь фон (1785—1871), немецкий писатель — 306, 309, 312, 518, 528.

Пютман Георг (1811—1894), поэт из Эльберфельда, издатель ряда журналов «истинного социализма», позднее участвовал в «Новой Рейнской газете» — 482.

Расин Жан-Батист (1639—1699), драматург, представитель французского классицизма — 249.

Распайль Франсуа-Венсен (1794—1878), французский левореспубликанский политик и адвокат — 259.

Раумер Фридрих Людвиг Георг фон (1781—1873), немецкий консервативный историк — 44, 217, 254.

Раунах Эрнст Беньямин (1784—1852), немецкий популярный мещанский драматург — 146.

Рафаэль Санти (1483—1520) — 94, 493.

Рахель — см. Варнгаген фон Энзе Рахель.

Рашель (Феликс Элиза-Рашель; 1820—1858), знаменитая драматическая актриса — 397, 398, 446.

Рёбеништейн А. (он же Бернштейн А.), сотрудник немецкого журнала «Собеседник» — 50.

Рейнгардт Рихард (1829—1898), публицист, немецкий эмигрант в Париже, член Союза коммунистов, друг Маркса и Энгельса, в 1852—1855 гг. чтец и секретарь Гейне — 422, 439, 463, 513, 529, 534, 538.

Рейхель, служащий в мюнхенском филиале издательства Котта — 98.

Рельштаб Людвиг (1799—1860), писатель, автор развлекательных исторических романов, драматург, музыкальный критик — 273.

Ренуар Антуан-Огюстен (1756—1863), французский историк литературы — 482.

Ридель Карл (1804—ок. 1880), писатель — 214.

Робер Леопольд (1794—1835), французский художник — 426, 448, 530.

Роберт Август Людвиг (1798—1852), юрист, входил в

кружок друзей Граббе в Берлине — 54.

Роберт Людвиг (1778—1832), писатель, брат Рахели Варнгаген — 54, 108, 109.

Роберт Мориц, брат Людвига Роберта — 108, 109.

Роберт Фридерика (урожд. Браун; 1795—ок. 1832), жена Людвига Роберта — 44, 108, 109, 488, 489.

Роберт Эрнестина, жена Морица Роберта — 109.

Робеспьер Максимилиан-Мари (1758—1794), один из вождей Великой французской революции — 151, 356, 358, 361.

Рог Полина, подруга Матильды Гейне по пансиону, помощница в доме Гейне и компаньонка — 443, 446, 456, 473, 474.

Рогге Фридрих Вильгельм (1808—1889), писатель и публицист — 192, 193.

Розен Гисберт — 101.

Розенберг Карл (род. 1805) — 176.

Рокка Мария, княгиня дела (урожд. Эмбден; 1824—1908), дочь Шарлотты Эмбден, племянница Гейне — 328, 521.

Рольфе Генрих (1827—1898), врач — 418.

Ромберг Мориц Генрих (1795—1873), врач-невропатолог — 439.

Ронге Иоганн (1813—1887), идеолог немецкого католицизма — 345.

Россини Джоаккино (1792—1868), итальянский композитор — 261.

Рот Давид-Дидье (1800—1885), парижский врач-гомеопат — 346.

Ротшильд Бетти де (1805—1866), жена Дж. Ротшильда — 189.

Ротшильд Джеймс Мейер де (1792—1868), банкир, глава парижского дома Ротшильдов — 191, 192, 300—302, 308, 312, 335, 497, 503, 516, 517, 522.

Ротшильд Натан Мейер (1777—1836), глава лондонского дома Ротшильдов, брат Дж. Ротшильда — 92.

Рошфуко — см. Ларошфуко.

Руайе Альфонс (1803—1875), писатель, публицист, редактор газеты «Эроп литерер», затем директор театра «Одеон» и парижской оперы — 258, 375, 379, 383.

Рубо Юлиус (1796—1866), юрист, член «Образовательного общества для евреев» — 51.

Руге Арнольд (1802—1880), немецкий младогегельянский философ, публицист и политический деятель; после 1866 г. — сторонник Бисмарка, издавал «Галльский ежегодник» и «Немецко-французский ежегодник»; в 1848 г. — член Франкфуртского парламента; знаком с Гейне с 1843 г. — 276, 282, 290, 291, 295, 299, 375, 514, 515, 537.

Руژه де Лиль Клод-Жозеф (1760—1836), французский инженер, поэт и композитор, автор «Марсельезы» — 367.

Румор Карл Фридрих фон (1785—1843), искусствовед — 367, 525.

Руперти Кристиан Фридрих (1765—1836), глава протестантской церкви в Геттингене — 86, 492.

Рур Антуан Сципион дю (1808—1874) — 223.

Руссо Жан-Жак (1712—1778), французский писатель-просветитель — 213, 388.

Руссо Жан Батист (1802—1867), поэт, публицист консерва-

тивного толка, товарищ Гейне по Боннскому университету — 32, 137—139, 149, 491, 498.

Рюккерт Фридрих (1788—1866), немецкий поэт — 65, 218.

Савиньи Фридрих Карл фон (1799—1861), профессор-юрист в Берлине, глава «исторической школы» права — 246.

Савуа Йозеф (1802—1869), немецкий эмигрант-республиканец в Париже, публицист — 194.

Саллюстий Гай Крисп (86 — ок. 35 до н. э.), римский историк — 33.

Санд Жорж (Дюдеван Люсиль-Аврора, урожд. Дюпен; 1804—1876), французская писательница — 169, 175, 183, 185, 187—189, 223, 226, 242, 243, 245—249, 252, 255, 348, 376, 379, 380, 384, 396, 398, 473, 503, 510, 527, 535.

Сарвади Фридрих (Гиршль Фридрих; 1822—1882), венгерский политик и журналист — 266, 400, 468, 469.

Сафир Мориц Готлиб (1795—1858), австрийский писатель, публицист консервативного толка, сатирик и юморист — 139, 151, 453, 454, 497, 499, 535.

Севинье Мари Работен-Шанталь, маркиза де, французская писательница XVII в. — 416, 530.

Сен-Жюст Антуан (1767—1794), активный деятель Великой французской революции, один из вождей якобинцев, друг и соратник Робеспьера — 140.

Сен-Симон Анри-Клод, граф де (1760—1825), французский социалист-утопист — 372.

Сент-Бёв Шарль-Огюстен (1804—1869), французский кри-

тик и писатель — 188, 363, 364, 525.

Скриб *Огюстен-Эжен* (1791—1861), популярный французский драматург, либреттист — 275, 402.

Сократ (469—399 до н. э.) — 90.

Солон (ок. 638—558 гг. до н. э.), законодатель и реформатор древних Афин — 356.

Спиноза Бенедикт (1632—1677), выдающийся нидерландский философ-материалист — 196, 209.

Сталь-Гольштейн Анна-Луиза-Жермена де (госпожа де Сталь; 1766—1817), французская писательница — 355, 447, 534.

Стен Ян (ок. 1626—1679), нидерландский художник — 114, 496.

Стерн Лоренс (1713—1768), английский писатель-сентименталист — 193, 256.

Стюарт Мария, шотландская королева (1561—1567) — 229, 230.

Сю Эжен (1804—1857), популярный французский писатель-романист — 354—363, 365, 366, 525.

Тайандье Рене-Каспар-Эрнест (по прозвищу Сен-Рене; 1817—1879), историк литературы и переводчик — 265, 347, 449, 479, 534, 535.

Таубер Иозеф Самуэль (1822—1879), австрийский писатель — 315, 520.

Тенирс Давид Младший (1609—1690), фламандский живописец — 76.

Тепфер Карл Фридрих Густав (1792—1871), писатель, автор комедий, журналист, с 1832 г. в Париже — 116, 166.

Тереза — см. Бахерахт Тереза.

Тессье дю Мотей (де Моло; 1818—1880), писатель и изобретатель — 375, 385.

Тест Шарль — 373.

Тидге Кристоф Август (1752—1841), поэт, автор трактата в стихах «Урания», в котором доказывалось бессмертие души — 139, 497.

Тик Людвиг (1773—1853), немецкий писатель-романтик — 54, 59, 134, 237, 254.

Толок Фридрих Август (1799—1877), протестантский теолог — 407.

Траксель Август (псевд. Виктор Ленц; 1807—1839), журналист; с 1832 г. жил в Париже — 162, 165, 194, 198, 206, 269, 502, 504.

Тритто Якоб Дидрих Альфонс, гамбургский адвокат — 433, 532.

Тусе Пьер Мартиньен (псевд. Бокаж; 1797—1863), актер — 246.

Тьер Луи-Адольф (1797—1877), государственный деятель, историк, находился в оппозиции в годы Реставрации, в период Июльской монархии занимал министерские посты, впоследствии палач Парижской коммуны — 179, 181, 186, 197, 208, 365 — 367, 428, 435, 511, 525.

Тьери Огюстен (1795—1856), французский историк — 452, 535.

Уланд Людвиг (1787—1862), немецкий поэт-романтик — 136.

Уссе Арсен (1815—1894), романист и журналист — 377.

Фальмерайер Якоб Филипп (1790—1861), историк и публицист — 323, 520.

- Фейербах Людвиг* (1804—1872), немецкий философ — 480.
- Фейн Георг* (1803—1869), публицист — 182.
- Фейт Филипп* (1758—1838), берлинский банкир — 43.
- Фельгенхегер Вильгельм*, суперинтендант в Хейлигенштадте — 86, 87.
- Фёрстер Фридрих* (1791—1868), берлинский историк и публицист — 173.
- Фихте Иммануэль Герман фон* (1796—1879), немецкий философ, сын знаменитого философа Иоганна Готлиба Фихте (1762—1814) — 45, 170, 530.
- Фихте Эдуард фон* (1826—1905), врач, внук философа И. Г. Фихте — 45, 425, 530.
- Фогель Густав Адольф* — 268.
- Фогт Кристиан* — 162.
- Фома Аквинский* (1225—1274), средневековый теолог и философ — 386.
- Форст* (Шаль фон Фалькенфорст Йозеф), актер — 116.
- Фосс Иоганн Генрих* (1751—1826), немецкий поэт эпохи Просвещения — 70.
- Франк Герман* (1802—1855), писатель — 142, 153, 497.
- Франк Готлоб* (1801—1845), штутгартский книгоиздатель — 214, 499.
- Франц I* (1768—1835), австрийский император — 105.
- Фрейлиграт Фердинанд* (1810—1876), немецкий революционно-демократический поэт — 327, 375.
- Фрилендер Давид* (1750—1834), купец — 51, 52.
- Фрилендер* — см. Фридланд Фердинанд, Фридерика.
- Фридланд Фердинанд* (1810—1872), коммивояжер, коммерсант, знаком с Гейне с 1838 г. — 304, 305, 345, 353, 518, 523, 524.
- Фридланд Фридерика* (урожд. Лассаль; род. в 1822), жена Ф. Фридланда, сестра Лассалья — 304, 305, 313, 314, 518, 523.
- Фридрих Вильгельм IV* (1795—1861), прусский король — 288.
- Фризетта*, дама парижского полусвета — 446, 447.
- Фриццони*, братья из Флоренции — 339.
- Фульд Ахилл* (1800—1867), банкир и политик, дядя Цецилии Гейне — 380, 381, 526.
- Фульд Бенуа* (1792—1858), банкир, брат А. Фульда — 380, 381, 526.
- Фуке Фридрих де ла Мотт*, барон фон (1777—1843), писатель-романтик, плодовитый прозаик и драматург — 59, 77, 107, 450, 491.
- Фукс Фридрих Август* (1811—1856), ученый, преподаватель гамбургской гимназии — 282.
- Фуртадо Элиз* (1796—1867), банкир, зять банкиров братьев Фульдов; дочь Фуртадо Цецилия (Сесиль) — жена Карла Гейне — 255, 380, 526.
- Фурье Франсуа-Мари-Шарль* (1772—1837), французский социалист-утопист — 370—372.
- Христиани Рудольф* (1797—1858), адвокат и либеральный политик, друг Гейне; с 1833 г. женат на кузине Гейне Шарлотте — 106, 461, 491, 492.
- Цейдлер*, прусский тайный агент в Париже — 165, 166.
- Циглер Карл* (1812—1877), писатель — 53, 489, 490.

Цунц Леопольд (1794—1886), автор трудов по еврейской культуре, один из основателей берлинского «Образовательного общества для евреев» — 51, 411.

Цшокке Иоганн Генрих Даниэль (1771—1848), немецко-швейцарский писатель, теолог — 340.

Чези Вильгельм фон, сын В. Чези — 45.

Чези Вильгельмина фон (Гельмина; 1783—1856), популярная писательница в духе эпигонского романтизма, автор ряда оперных либретто — 44, 45, 176, 187, 189, 503.

Шаллер, берлинский студент из Данцига — 49, 50.

Шаль Филарет (1798—1873), немецкий писатель, критик и переводчик — 354.

Шальк, друг Г. Берлиоза — 226.

Шальмайер Эгидий Якоб, ректор дюссельдорфского лицея — 28, 487.

Шамиссо Адальберт фон (1781—1838), выдающийся немецкий поэт и прозаик — 43, 127, 176, 496.

Шамиссо Антония фон, жена А. Шамиссо — 127.

Шваб Густав (1792—1850), швабский поэт — 136.

Швенк Конрад (1793—1864), профессор гимназии — 106.

Шверс, владелица платной библиотеки в Киле — 118.

Швитринг, геттингенский студент — 76.

Шекспир Вильям (1564—1616) — 52, 78, 209, 249, 280, 349, 369, 435, 492, 506.

Шенк Эдуард фон (1788—

1841), баварский литератор и политик, с 1828 г. министр внутренних дел — 102, 105, 495.

Шеллинг Фридрих Вильгельм Йозеф (1775—1854), немецкий философ — 170.

Шёнберг, член «Образовательного общества для евреев» — 51.

Шеффер Ари (1795—1858), голландско-французский художник — 366.

Шиллер Фридрих (1759—1805) — 30, 67, 73, 75, 83, 122, 177, 215, 379, 404, 408, 489, 494.

Ширгес Георг Готлиб (1811—1879), либеральный писатель и журналист — 284.

Шифф Герман (Шифф Давид Бер; 1801—1867), писатель, актер, музыкант; родственник Гейне — 46, 49, 55, 489.

Шлегель Август Вильгельм (1767—1845), теоретик немецкого романтизма, историк литературы, профессор Боннского университета, наставник студента Гейне — 37, 40, 66, 70, 71, 77, 78, 217, 249, 500, 507, 534.

Шлезингер Морис-Адольф (1797—1871), немецко-французский музыкальный издатель — 225, 275, 276, 302, 303, 493, 510.

Шмидт-Вейсенфельз Эдуард (1833—1893), писатель — 375, 377.

Шмидт Филипп (1800—1873), врач в Гамбурге — 49, 50.

Шопен Фредерик (1810—1849) — 222, 226, 243, 245, 384, 396, 398, 509.

Шоттки Юлиус Максимилиан (1794—1849), историк искусства и писатель — 218, 507.

Шпальдинг Иоганн Иоахим (1714—1804), протестантский теолог — 407.

Шпацир Рихард Отто (1803—1854), писатель, журналист республиканской ориентации— 179, 181, 257, 504, 512.

Шпехт Адольф (ум. 1874), служащий почтового ведомства, один из переводчиков Гейне— 180, 502.

Шпитлер Людвиг, барон фон (1752—1810), историк— 407, 528.

Шпитта Людвиг, сын К.-И. Шпитты— 85.

Шпитта Карл Иоганн Филипп (1801—1859), евангелический теолог, друг Гейне по Геттингенскому университету— 79, 85, 91.

Штамман Фридрих (1807—1880), гамбургский архитектор— 99.

Штар Адольф (1805—1876), писатель и филолог, с 1854 г. женат вторым браком на Фанни Левальд— 420.

Штар Фанни (урожд. Левальд; 1811—1889), писательница, автор развлекательных романов, пропагандистка женской эмансипации— 396.

Штейн Шарлотта фон, подруга Гете— 305.

Штейниц, немецкий журналист в Париже— 453.

Штейнман Фридрих (1801—1875), писатель и юрист, школьный и студенческий друг Гейне; приобрел известность имитациями поэзии Гейне— 32, 37, 488.

Штибель Соломон Фридрих (1792—1868), врач во Франкфурте-на-Майне— 141.

Штиглиц Генрих (1801—1849), прозаик и поэт, муж Ш. Штиглиц— 111, 270, 513.

Штиглиц Шарлотта Софи (1806—1834), получила изве-

стность после самоубийства, которым хотела стимулировать творческий талант мужа— 111, 270, 513.

Штраубе Генрих (1794—1847), публицист, друг Гейне по Геттингену— 65.

Штраус Давид Фридрих (1808—1874), теолог, философ-младогегельянец— 210.

Штраус Жанетта (урожд. Воль; 1783—1861), подруга Л. Бёрне, с 1832 г. замужем за С. Штраусом— 146, 156, 201, 257, 262, 498, 504.

Штраус Соломон (1795—1866), купец из Франкфурта-на-Майне, с 1833 г. жил с женой Ж. Штраус(-Воль) в Париже— 257— 261, 272, 297, 385, 512, 513, 516.

Штродтман Адольф (1829—1879), писатель, биограф, издатель Гейне— 25, 30, 34, 46, 49, 55, 63, 75, 99, 113, 191, 219, 281, 417, 489, 494, 530, 536.

Шульц Генрих (1780—1844), книготорговец, редактор «Рейнско-Вестфальского вестника»— 49.

Шульц Кристоф Людвиг Фридрих (1781—1834), статский советник, представитель прусского правительства при Берлинском университете— 64.

Шуман Роберт (1810—1854), композитор— 100, 101, 251.

Шустер Карл Вильгельм Теодор (род. 1799), врач, немецкий эмигрант-республиканец в Париже, член Союза справедливых— 259, 512.

Шюккинг Левин (1814—1883), писатель и журналист, сотрудник «Всеобщей газеты» и «Кельнской газеты»— 321, 389, 520, 522.

Эвербек Август Герман (1806—1860), немецкий социалист, врач и писатель, один из руководителей Союза справедливых в Париже, некоторое время член Союза коммунистов, парижский корреспондент «Новой Рейнской газеты» — 483.

Эверс, пианист из Штутгарта — 270.

Эйхгорн Христиан Фридрих (1804—1836), математик, автор трагедии «Смерть Кримхильды» — 77, 491.

Экштейн Фердинанд, барон фон (1790—1861), востоковед, парижский корреспондент «Всеобщей газеты» — 386, 387.

Эленсегер Адам (1779—1850), датский писатель — 163, 294, 300, 301, 419, 517.

Элиссен Ганс — 63.

Эмбден Людвиг (1826—1904), сын Ш. и М. Эмбден, купец — 461, 465, 536.

Эмбден Мориц (1790—1866), муж Шарлотты Гейне, купец — 57, 61, 292, 490, 493.

Эмбден Шарлотта (Лоттхен; урожд. Гейне; 1803—1899), сестра Гейне — 25, 26, 57, 61, 284, 292, 458, 459, 461, 486, 487, 490, 493, 510, 517, 521, 536.

Энгельс Фридрих (1820—1895) — 480—485, 486, 514, 515, 524, 537, 538.

Энглендер Зигмунд (1828—1902), публицист — 280.

Эразм Роттердамский (1469—1536) — 73.

Эрст Генрих Вильгельм (1814—1865), скрипач и композитор — 346, 347.

Эскюдые Леон (1821—1881), музыкальный издатель — 375.

Эскюдые Мари-Пьер-Ив (1819—1880), музыкальный издатель, брат Л. Эскюдые — 375, 517.

Этьенн Морис — 417, 530.

Юнг Георг Готлоб (1814—1886), юрист и публицист, один из основателей «Рейнской газеты» — 482.

Юхтриц Фридрих фон (1800—1875), литератор, драматург — 53, 54, 59, 490.

Якоби Иоганн (1805—1877), врач и либеральный публицист из Кенигсберга — 91, 296.

Ян Фридрих Людвиг (1778—1852), организатор студенческих гимнастических союзов, проповедник националистических взглядов — 349.

Ярке Карл Эрст (1801—1852), католический публицист — 34.

СОДЕРЖАНИЕ

А. Дмитриев. О титане духа и человеке

5

ГЕЙНЕ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ

НА РОДИНЕ. ПЕРВЫЕ ПОИСКИ И СВЕРШЕНИЯ

Перевод с немецкого М. Раевского

<i>Шарлотта Эмбден.</i> Из воспоминаний	25
<i>Адольф Штродтман.</i> По сообщению Йозефа Нойнцига	25
<i>Шарлотта Эмбден.</i> Из воспоминаний	26
<i>Максимилиан Гейне.</i> Из воспоминаний о Гейне	29
<i>Адольф Штродтман.</i> По сообщению Йозефа Нойнцига	30
<i>Густав Карлелес.</i> Частично по сообщению Готфрида Вернера	31
По сообщению В. Коппеля	31
<i>Фридрих Штейнман.</i> Из воспоминаний о Гейне	32
<i>Жан Батист Руссо.</i> Из статьи о Гейне	32
<i>Вольфганг Менцель.</i> Из мемуаров	33
<i>Адольф Штродтман.</i> По сообщению Йозефа Нойнцига	34
<i>Максимилиан Гейне.</i> Из воспоминаний о Гейне	35
<i>Фридрих Штейнман.</i> Из воспоминаний о Гейне	37
Из статьи о Гейне	37
Из биографии Бенедикта Вальдека	38
<i>Фридрих Вильгельм Губиц.</i> Из мемуаров	39
<i>Йозеф Леман.</i> Из введения к адресованным ему письмам Гейне	43
<i>Фридерика фон Гогенхаузен.</i> По сообщению ее матери Элизы фон Гогенхаузен	43
<i>Вильгельм фон Чези.</i> Из мемуаров	45
<i>Эдуард фон Фихте.</i> По сообщению Иммануэля Германа фон Фихте	43
<i>Герман Шифф.</i> Сообщение Адольфу Штродтману	46
Из воспоминаний о Гейне	46
<i>Карл Вильгельм Везерман.</i> Из воспоминаний о Гейне	47
<i>Адольф Штродтман.</i> По сообщению Германа Шиффа	49

<i>А. Рёбенштейн.</i> Из статьи об Иммермане	50
<i>Левин Браунхардт.</i> Сообщение Густаву Карпелесу	51
<i>Фридрих фон Юхтриц.</i> Из письма Фридриху Геббелю	53
<i>Герман Шифф.</i> Сообщение Адольфу Штродтману	55
<i>Эдуард Гризебах.</i> По сообщению Карла Кёхи	56
<i>Макс Лёвенталь.</i> Из дневника	57
<i>Левин Браунхардт.</i> Сообщение Густаву Карпелесу	57
<i>Иозеф Леман.</i> Из статьи о посещении Гейне	58
Из предисловия к изданию адресованных ему писем	
Гейне	58
<i>Аполониус фон Мальтиц.</i> Из письма Варнхагену фон Энзе	59
<i>Оскар Людвиг Бернгард Вольф.</i> Из статьи о Гейне	60
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из дневника	61
<i>Максимилиан Гейне.</i> Из воспоминаний о Гейне	61
<i>Георг Книлле.</i> Сообщение Адольфу Штродтману	63
<i>Адольф Штродтман.</i> По сообщению Ганса Элиссена	63
<i>К.-А. Варнхаген фон Энзе.</i> Из анекдотов о Гейне	64
<i>Мозес Мозер.</i> Из письма Иммануэлю Вольвилю	64
<i>Фердинанд Гримм.</i> Из письма Якобу и Вильгельму Гриммам	65
<i>Эдуард Ведекинд.</i> Из дневника	65
<i>Максимилиан Гейне.</i> По рассказам геттингенских студентов	74
<i>Эдуард Ведекинд.</i> Из писем Адольфу Штродтману	75
Из дневника	75
Из статьи о Гейне	78
<i>Адольф Петерс.</i> Из письма Филиппу Шпитта	79
<i>Эдуард Ведекинд.</i> Из дневника	79
Из воспоминаний о Гейне	81
<i>Максимилиан Гейне.</i> Из воспоминаний о Гейне	82
<i>Людвиг Шпитта.</i> Сведения, содержащиеся в письмах Адольфа	
Петерса к Филиппу Шпитта	85
<i>Готлоб Кристиан Гримм.</i> Из донесения правительству в	
Эрфурте	85
<i>Кристиан Фридрих Руперти.</i> Из письма Готлобу Кристиану	
Гримму	86
<i>Готлоб Кристиан Гримм.</i> Из сообщения В. Фельгенхеге-	
ру (?)	86
<i>Вильгельм Фельгенхегер.</i> Рассказ о крещении Гейне со слов	
Г.-К. Гримма	87
<i>Юлиус Кампе.</i> Из письма к анонимному корреспонденту в	
Гамбурге	88
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из письма Варнхагену фон Энзе	89
<i>Людольф Винбарг.</i> По сообщению Юлиуса Кампе	89
<i>Людвиг фон Дипенброк-Грютер.</i> Из дневника	90
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из письма Варнхагену фон Энзе	91
<i>Максимилиан Гейне.</i> Из воспоминаний о Гейне	92
<i>Шарлотта Мошелес.</i> Из письма неизвестному адресату	93
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из дневника	94
<i>Юлиус Кампе.</i> Из письма Карлу Иммерману	96

<i>Фридрих Людвиг Линднер.</i> Из писем Иоганну Фридриху фон Котта	96
<i>Адольф Штродтман.</i> По сообщению Фридриха Штаммана	99
<i>Роберт Шуман.</i> Из письма Генриху фон Курреру	100
<i>Вильгельм Иозеф фон Василевски.</i> По сообщению Гисберта Розена	101
<i>Эдуард фон Шенк.</i> Из биографии Михаэля Бера	102
<i>Аноним.</i> Заметка в печати	102
<i>Максимилиан Гейне.</i> Из воспоминаний о Гейне	103
<i>Эдуард фон Шенк.</i> Препроводительное письмо королю Людвигу I Баварскому	105
<i>Август фон Платен.</i> Из письма профессору Швенку	106
<i>Эдуард Ведекинд.</i> Со слов Рудольфа Христиани	106
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из дневника	107
<i>Юлиус Кампе.</i> Из письма Карлу Иммерману	108
<i>Рахель Варнхаген фон Энзе.</i> Из писем К.-А. Варнхагену фон Энзе	108
<i>Густав Дройзен.</i> Со слов Иоганна Густава Дройзена	111
<i>Генрих Штиглиц.</i> Из мемуаров	111
<i>Фердинанд Мейер.</i> Из статьи о встречах с Гейне	112
<i>Адольф Штродтман.</i> Со слов неизвестных лиц	113
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из дневника	113
<i>Август Левальд.</i> Из воспоминаний о Гейне	114
<i>Людольф Винбарг.</i> Из введения к стихотворениям Гейне в одной из антологий	117
<i>Иоганн Петер Лизер.</i> Из воспоминаний о Гейне	120
<i>Тереза Девриент.</i> Из мемуаров	124
<i>Фердинанд Мейер.</i> Из статьи о встречах с Гейне	125
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из дневника	126
Из письма Варнхагену фон Энзе	127
<i>Адальберт фон Шамиссо.</i> Из письма Антонию фон Шамиссо	127
<i>Людольф Винбарг.</i> Из статьи о Гейне	128
<i>Роза Мария Ассинг.</i> Из дневника	136
<i>К.-А. Варнхаген фон Энзе.</i> Из анекдотов о Гейне	136
<i>Алоиз Клеменс.</i> Из статьи о Гейне во Франкфурте	136
<i>Мориц Оппенгейм.</i> Из мемуаров	140

В ПАРИЖЕ НИОЛЬСКОЙ МОНАРХИИ¹

<i>Герман Франк.</i> Из письма Саре Остин. <i>Перевод М. Раевского</i>	142
<i>Фердинанд Гиллер.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод М. Раевского</i>	142
Сообщение Густаву Карпелесу. <i>Перевод М. Раевского</i>	145

¹ Далее в книге переводы с немецкого выполнены М. Раевским, С. Фридлянд и С. Шлапоберской, а переводы с французского — Н. Кулиш.

<i>Людвиг Бёрне. Из писем Жанетте Воль. Перевод М. Раевского</i>	146
<i>Густав Кольб. Из писем Иоганну Фридриху фон Котта. Перевод М. Раевского</i>	152
<i>К.-А. Варнхаген фон Энзе. Из анекдотов о Гейне. Перевод М. Раевского</i>	153
<i>Феликс Мендельсон-Бартольди. Из письма Карлу Иммерману. Перевод С. Шлапоберской</i>	153
<i>Густав Кольб. Из писем Иоганну Фридриху фон Котта. Перевод С. Шлапоберской</i>	154
<i>Иоганн Фридрих фон Котта. Из письма К.-А. Варнхагену фон Энзе. Перевод С. Шлапоберской</i>	154
<i>Август Левальд. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Шлапоберской</i>	155
<i>Людвиг Бёрне. Из писем Жанетте Воль. Перевод М. Раевского и С. Шлапоберской</i>	156
<i>Герман Маргграф. По сведениям из несохранившейся статьи Ю. Дюсберга. Перевод М. Раевского</i>	158
<i>Александр Вейль. Заметка в газете. Перевод Н. Кулиш</i>	159
<i>Франц Лист. Из письма Мари д'Агу. Перевод Н. Кулиш</i>	159
<i>Анри Блаз де Бюри. Из воспоминаний об А. Дюма. Перевод Н. Кулиш</i>	160
<i>Теофиль Готье. Из статьи о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	160
<i>Август Траксель («Виктор Ленц»). Отзыв о сочинении Гейне «К истории новейшей художественной литературы в Германии». Перевод М. Раевского</i>	162
<i>Ханс Кристиан Андерсен. Из письма Кристиану Фогту. Перевод С. Шлапоберской</i>	162
<i>Из мемуаров. Перевод М. Раевского</i>	163
<i>Карл Вольфрум. Из мемуаров. Перевод М. Раевского</i>	164
<i>Аноним (Юлиус Генрих Клапрот?). Тайное донесение прусскому правительству. Перевод С. Шлапоберской</i>	165
<i>Аноним. Сообщение из Парижа. Перевод С. Шлапоберской</i>	166
<i>Фердинанд Гиллер. Из мемуаров. Перевод С. Шлапоберской</i>	168
<i>Жорж Санд. Из письма Францу Листу. Перевод Н. Кулиш</i>	169
<i>Каролина Жобер. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	169
<i>Адальберт фон Борнштедт. Сообщение из Парижа. Перевод С. Шлапоберской</i>	171
<i>Кристина Бельджойозо. Из письма Каролине Жобер. Перевод Н. Кулиш</i>	174
<i>Жорж Санд. Из письма Францу Листу. Перевод Н. Кулиш</i>	175
<i>Роза Мария Ассинг. Из письма Давиду Ассингу. Перевод С. Шлапоберской</i>	175
<i>Из письма Адальберту фон Шамиссо. Перевод М. Раевского</i>	176
<i>Карл Розенберг. Из статьи о Бёрне и Гейне. Перевод М. Раевского</i>	176

<i>Адальберт фон Борнштедт.</i> Секретное донесение австрийскому правительству. Перевод С. Шлапоберской	178
<i>Карл Ноз (псевдоним: Нордберг).</i> Секретные донесения австрийскому правительству. Перевод М. Раевского и С. Шлапоберской	181
<i>Аноним.</i> Заметка в газете. Перевод С. Шлапоберской	182
<i>Густав Комбст.</i> Из письма Георгу Фейну. Перевод М. Раевского	182
<i>Август Левальд.</i> Из статей о пребывании в Париже. Перевод С. Шлапоберской	183
<i>Жорж Санд.</i> Из письма Гельмине фон Чези. Перевод Н. Кулиши	189
<i>Франц Грильпарцер.</i> Из дневника. Перевод С. Шлапоберской	189
Из автобиографии (1853). Перевод С. Шлапоберской	190
<i>Адольф Штродтман.</i> В пересказе неизвестного лица. Перевод С. Шлапоберской	191
<i>Фридрих Вильгельм Рогге («Пауль Вельф»).</i> Из мемуаров. Перевод М. Раевского	192
<i>Август Траксель («Виктор Ленц»).</i> Корреспонденция из Парижа. Перевод М. Раевского	194
<i>Эдуард Бойрман.</i> Из секретного доклада австрийскому правительству. Перевод М. Раевского	195
Из статьи о Гейне. Перевод М. Раевского	196
<i>Карл Гуцков.</i> Из биографии Бёрне. Перевод С. Шлапоберской	200
<i>Каролина Жобер.</i> Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиши	201
<i>Теодор Мундт.</i> Из письма Густаву Кюне. Перевод М. Раевского	202
Из письма Варнгагену фон Энзе. Перевод С. Шлапоберской	203
<i>Г. де Мазарельос.</i> Письмо во «Всеобщую газету». Перевод С. Шлапоберской	204
<i>Август Траксель («Виктор Ленц»).</i> Корреспонденция из Парижа. Перевод С. Шлапоберской	206
<i>Теодор Мундт.</i> Из сообщения о пребывании в Париже. Перевод М. Раевского	206
<i>Астольф де Кюстин.</i> Из письма К.-А. Варнгагену фон Энзе. Перевод Н. Кулиши	208
<i>Оноре де Бальзак.</i> Из письма Эвелине Ганской. Перевод Н. Кулиши	208
<i>Аноним.</i> Из статьи об Альфреде де Виньи. Перевод С. Шлапоберской	208
<i>Людвиг Виль.</i> Из статьи о Гейне в Париже. Перевод М. Раевского и С. Шлапоберской	209
<i>Антон Александр фон Ауэрсперг («Анастасиус Грюн»).</i> Из письма Эдуарду фон Бауэрнфельду. Перевод С. Шлапоберской	218

Из письма Адольфу Штротдману. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	219
<i>Оноре де Бальзак</i> . Из письма Эвелине Ганской. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	220
<i>Генрих Кюнцель</i> . Из письма Августу Ноднагелю. <i>Перевод М. Раевского</i>	220
<i>Кристина де Бельджойозо</i> . Из письма Францу Листу. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	222
<i>Гектор Берлиоз</i> . Из письма Францу Листу. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	222
<i>Жорж Санд</i> . Из письма Сципиону дю Руру. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	223
<i>Кристина де Бельджойозо</i> . Из письма Каролине Жобер. <i>Перевод П. Кулиш</i>	223
<i>Соломон Гейне</i> . Письмо Терезе Галле. <i>Перевод М. Раевского</i>	224
<i>Фердинанд фон Галль</i> . Из рассказа о пребывании в Париже. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	225
<i>Гектор Берлиоз</i> . Из письма Францу Листу. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	226
<i>Александр Вейль</i> . Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	226
<i>Йозеф Мендельсон</i> . Корреспонденция из Парижа. <i>Перевод М. Раевского</i>	231
<i>Генрих Лаубе</i> . Из мемуаров. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	232
Из дополнений к мемуарам. <i>Перевод М. Раевского</i>	234
Некролог Генриху Гейне. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	234
Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод М. Раевского и С. Шлапоберской</i>	238
Из мемуаров. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	241
Из статьи о визите к Жорж Санд. <i>Перевод М. Раевского</i>	243
Из введения к «Мональдески». <i>Перевод М. Раевского</i>	249
<i>Фридрих Пехт</i> . Из мемуаров. <i>Перевод М. Раевского</i>	250
<i>Рихард Вагнер</i> . Из письма Роберту Шуману. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	251
<i>Игнац Куранда</i> . Из письма Адольфу Нойштадту. <i>Перевод М. Раевского</i>	252
<i>Франц Лист</i> . Из письма Кристине Бельджойозо. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	253
<i>Генрих Брокгауз</i> . Из дневника. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	254
<i>Элиз Фуртадо</i> . Из письма Цецилии Гейне-Фуртадо. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	255
<i>Жорж Санд</i> . Из дневника. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	255
<i>Рихард Вагнер</i> . Из набросков автобиографии. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	256
Аноним. Корреспонденция из Парижа. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	257
<i>Соломон Штраус</i> . В редакцию «Телеграфа» (К. Гуцкову). <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	258

Альфонс Руайе и Теофиль Готье. Из письма Соломону Штраусу. Перевод Н. Кулиш	258
Юлиус Зихель. Письмо Соломону Штраусу. Перевод С. Шлапоберской	259
Аноним. Корреспонденция из Парижа. Перевод С. Шлапоберской	260
Аноним. Газетная заметка. Перевод Н. Кулиш	260
Каролина Жобер. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш	260
Александр Вейль. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш	261
Генрих Бёрнштейн. Из мемуаров. Перевод М. Раевского	262
Эдуар Грене. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш	263
Фридрих Сарвади. По свидетельству Давида Груби. Перевод С. Шлапоберской	266
Макс Лёвенталь. Из дневника. Перевод С. Шлапоберской	267
Карл Гуцков. Из наброска автобиографии. Перевод С. Шлапоберской	267
Густав Адольф Фогель. Из статьи о визите к Гейне. Перевод М. Раевского	268
Франц Дингельштедт. Из письма Иоганну Георгу фон Котта. Перевод М. Раевского	272
Аноним. Заметка в прессе. Перевод М. Раевского	273
Людвиг Рельштаб. Из рассказа о пребывании в Париже. Перевод М. Раевского	273
Ханс Кристиан Андерсен. Из мемуаров. Перевод С. Шлапоберской	274
Фридрих Кюккен. Из воспоминаний о Гейне. Перевод М. Раевского	274
Арнольд Руге. Из письма к матери. Перевод М. Раевского	276
Фридрих Геббель. Из писем Элизе Ленсинг. Перевод С. Шлапоберской	277
Из дневника. Перевод С. Шлапоберской	279
Из письма Зигмунду Энглендеру. Перевод М. Раевского	280
Из письма Адольфу Штротдману. Перевод М. Раевского	281
Из письма Юлиусу Кампе. Перевод С. Шлапоберской	281
Франсуа Вилле. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Шлапоберской	282
Шарлотта Эмбден. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Шлапоберской	284
Соломон Гейне. Из письма Максусу Гейне. Перевод С. Шлапоберской	284
Георг Ширгес. Из письма Людмиле Ассинг. Перевод С. Шлапоберской	284
Фридрих Геббель. Из письма Элизе Ленсинг. Перевод С. Шлапоберской	285
Генрих Бёрнштейн. Из мемуаров. Перевод С. Шлапоберской	286

<i>Карл Каутский. По сообщению Элеоноры Маркс-Эвелинг. Перевод С. Шлапоберской</i>	288
<i>Фридрих Геббель. Из письма Элизе Ленсинг. Перевод С. Фрид- лянд</i>	289
<i>Арнольд Руге. Корреспонденция о пребывании в Париже. Перевод С. Фридлянд</i>	290
<i>(Теодор Крейценах). По сообщению неизвестного лица. Пере- вод С. Фридлянд</i>	291
<i>Шарлотта Эмбден. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	292
<i>Аноним. Несколько сообщений из Гамбурга. Перевод С. Фрид- лянд</i>	292
<i>Адам Эллислегер. Из письма. Перевод С. Фридлянд</i>	294
<i>Карл Грюн. Запись от 6 ноября 1844 года. Перевод М. Раев- ского</i>	294
<i>Арнольд Руге. Из воспоминаний о Гейне. Перевод М. Раевско- го и С. Фридлянд</i>	295
<i>Генрих Бернштейн. Из мемуаров. Перевод С. Фридлянд</i>	298
<i>Александр Вейль. Газетная заметка. Перевод Н. Кулиш</i>	299
<i>Арнольд Руге. Из письма к матери. Перевод М. Раевского</i>	299
<i>Фридрих Кюккен. Из воспоминаний о Гейне. Перевод М. Раев- ского</i>	300
<i>К.-А. Варнхаген фон Энзе. Из дневника. Перевод С. Фрид- лянд</i>	301
<i>Теодор Крейценах. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	301
<i>Эдуард фон Бауэрнфельд. Из дневника. Перевод С. Фрид- лянд</i>	302
<i>Фридрих Кюккен. Из письма Иоганну Веске фон Пютлингену. Перевод С. Фридлянд</i>	302
<i>Фердинанд Лассаль. Сообщение о заседании в Философском обществе. Перевод М. Раевского</i>	303
<i>Александр Вейль. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Ку- лиш</i>	304
<i>Фердинанд Мейер. Из статьи о встречах с Гейне. Перевод М. Раевского</i>	306
<i>Герман фон Пюклер-Мюскау. Письмо Карлу Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	306
<i>Карл Гейне. Письмо Герману фон Пюклер-Мюскау. Перевод С. Фридлянд</i>	309
<i>Джакомо Мейербер. Из дневника. Перевод С. Фридлянд</i>	310
<i>Письмо Карлу Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	310
<i>Карл Гейне. Письмо Джакомо Мейерберу. Перевод С. Фрид- лянд</i>	311
<i>Альфред Мейснер. По сообщению Фридерики Фридлянд. Пере- вод М. Раевского</i>	313
<i>Йозеф Самюэль Таубер. Статья о посещении Гейне. Перевод М. Раевского</i>	315

<i>Левин Шюккинг.</i> Из мемуаров. <i>Перевод М. Раевского</i>	321
<i>Эдуар Гренье.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	328
<i>Александр Вейль.</i> Газетная заметка. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	330
<i>Генрих Бёрнштейн.</i> Корреспонденция из Парижа. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	330
<i>А. Мартин.</i> Из письма невесте. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	331
<i>Генрих Бёрнштейн.</i> Из мемуаров. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	
<i>Карл Мария Кертбени</i> (К.-М. Бенкерт). Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд и С. Шлапоберской</i>	335
<i>Альфред Мейснер.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд и С. Шлапоберской</i>	336
<i>Франсуа Бюлоз.</i> Из письма Сен-Рене Тайандье. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	342
<i>Генрих Лаубе.</i> Из рассказа о пребывании в Париже. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	347
Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	348
<i>Джакомо Мейербер.</i> Из письма Александру Гуэну. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	352
<i>Александр Вейль.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	353
<i>Шарль Огюстен Сент-Бёв.</i> Из письма Шарлю Берту. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	354
<i>Эдмон и Жюль де Гонкуры.</i> Из дневника. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	363
<i>Генрих Лаубе.</i> Из мемуаров. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	364
Из рассказа о пребывании в Париже. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	365
Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	365
Из мемуаров. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	367
Из ответа Густаву Карпелесу. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	369
<i>Альфред Мейснер.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд и С. Шлапоберской</i>	370
<i>Александр Вейль.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	370
<i>Жерар де Нерваль.</i> По сообщению Эдуарда Шмидта-Вейсенфельза. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	374
<i>Людмила Ассинг.</i> Из письма К.-А. Варнхагену фон Энзе. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	375
<i>Мориц Карьер.</i> Из письма К.-А. Варнхагену фон Энзе. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	376
<i>Эдуард Шмидт-Вейсенфельз.</i> По сообщениям Жерара де Нерваля. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	376
<i>Александр Вейль.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	377
<i>Джакомо Мейербер.</i> Письмо Александру Гуэну. <i>Перевод Н. Кулиш</i>	378
<i>Альфред Мейснер.</i> Из мемуаров. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	382
Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	383

Из дополнений к воспоминаниям. <i>Перевод С. Фридлянд и С. Шлапоберской</i>	384
<i>Каролина Жовер.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиши</i>	387
<i>Левин Шюккинг.</i> Из «Мемуаров» 1868 года. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	389
<i>Вольфганг Мюллер фон Кёнигсвинтер.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	390
<i>Каролина Жовер.</i> Из дневника. <i>Перевод Н. Кулиши</i>	392
Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиши</i>	
<i>Феликс Бамберг.</i> Из письма Фридриху Геббелю. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	393
<i>Фанни Левальд.</i> Из рассказа о пребывании в Париже. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	395
<i>Карл Каутский.</i> По сообщению Элеоноры Маркс-Эвелинг. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	396
	399

ДРАМА МЕДЛЕННОЙ СМЕРТИ

<i>Александр Вейль.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиши</i>	400
<i>Фридрих Сарвади.</i> По рассказу Давида Груби. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	400
<i>Эдмон де Гонкур.</i> Из дневника. <i>Перевод Н. Кулиши</i>	
<i>Альфред Мейснер.</i> Из письма Фердинанду Гиллеру. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	401
Из рассказа о пребывании в Париже. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	402
Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд и С. Шлапоберской</i>	403
<i>Карл Гиллебрандт.</i> Из письма Герману Гюфферу. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	403
<i>Людвиг Калиш.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Шлапоберской</i>	406
<i>Карл Гейне.</i> Из письма Максимилиану Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	408
	412
<i>Альфред Мейснер.</i> Из мемуаров. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	412
Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	414
<i>Каролина Жовер.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод Н. Кулиши</i>	415
<i>Гектор Берлиоз.</i> Из письма Веске фон Пютлингену. <i>Перевод Н. Кулиши</i>	416
<i>Адольф Штродтман.</i> Со слов М. Этьенна. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	417
<i>Георг Веерт.</i> Из письма к матери. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	417
<i>Генрих Рольфс.</i> Из воспоминаний о Гейне. <i>Перевод С. Фридлянд</i>	418

<i>Эдуар Гренье. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	420
<i>Рихард Рейнгардт. Из письма Карлу Марксу. Перевод С. Фридлянд</i>	422
<i>Георг Шпиллер фон Гауэнишльд. По сообщению Юлиуса Кампе. Перевод С. Фридлянд</i>	423
<i>Эдуард фон Фихте. Из статьи о посещении Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	425
<i>Каролина Жобер. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	427
<i>Максимилиан Гейне. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	430
<i>Франсуа Вилле. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	432
<i>Альфонс Тритто. Из письма Юлиусу Кампе. Перевод С. Фридлянд</i>	433
<i>Филибер Одебран. Из статьи о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	436
<i>Эрнст Коссак. Рассказ о посещении Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	437
<i>Альфред Мейснер. Из воспоминаний о Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	438
<i>Рихард Рейнгардт. Из писем Юлиусу Кампе. Перевод С. Фридлянд</i>	439
<i>Юлиус Кампе. Из письма Луизе Кампе. Перевод С. Фридлянд</i>	443
<i>Анри Жюлиа. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	444
<i>Элиза Крениц («Камилла Зельден»). Из статьи о Гейне. Перевод П. Кулиш</i>	447
<i>Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	448
<i>Сен-Рене Тайандье. Из послесловия к написанной ранее статье о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	449
<i>Каролина Жобер. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	451
<i>Мориц Готлоб Сафир. Из статьи о посещении могилы Бёрне и о визите к Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	453
<i>Элиза Крениц («Камилла Зельден»). Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	456
<i>Густав Гейне. Из статьи о Гейне. Перевод С. Фридлянд</i>	457
<i>Шарлотта Эмбден. Сообщение Людвигу Эмбдену. Перевод С. Фридлянд</i>	461
<i>Теофиль Готье. Из статьи о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	465
<i>Элиза Крениц («Камилла Зельден»). Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	466
<i>Альфред Мейснер. По рассказам Матильды. Перевод С. Фридлянд</i>	467
<i>Фридрих Сарвади. Со слов Давида Груби. Перевод С. Фридлянд</i>	468
<i>Каролина Жобер. Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиш</i>	468

<i>Фридрих Сарвади.</i> Со слов Давида Груби. Перевод С. Фридлянд	469
<i>Катрин Бурлуа.</i> Из письма Густаву Гейне. Перевод С. Фридлянд	469
<i>Элиза Криниц («Камилла Зельден»).</i> Из писем Альфреду Мейснеру. Перевод С. Фридлянд	470
<i>Каролина Жобер.</i> Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиши	476
<i>Альфред Мейснер.</i> Из воспоминаний о Гейне. Перевод Н. Кулиши	477

К. МАРКС И Ф. ЭНГЕЛЬС О ГЕЙНЕ

<i>Ф. Энгельс.</i> Из работы «Людвиг Фейербах и конец немецкой классической философии»	480
<i>Ф. Энгельс.</i> Из работы «Роль насилия в истории»	481
<i>Ф. Энгельс.</i> Из работы «Быстрые успехи коммунизма в Германии»	481
<i>К. Маркс.</i> Письма Г. Гейне (от 12 января 1845 г., 24 марта 1845 г. и около 5 апреля 1846 г.)	482
<i>Ф. Энгельс.</i> Брюссельскому коммунистическому комитету сношений (№ 2)	483
<i>Ф. Энгельс</i> — К. Марксу (14 января 1848 г.)	484
<i>К. Маркс</i> — Ф. Энгельсу (17 января 1855 г.)	484
<i>К. Маркс</i> — Ф. Энгельсу (26 сентября 1856 г.)	485
Комментарии <i>А. Дмитриева</i>	486
Именной указатель	540

Г29 **Гейне в воспоминаниях современников: Пер. с нем. и фр. / Редкол.: Н. Балашов, Д. Затонский, П. Палиевский и др.; Сост., предисл., научн. подгот. текста и коммент. А. Дмитриева. — М.: Худож. лит., 1988. — 575 с. (Лит. мемуары).**

ISBN 5-280-00325-5

В книге собраны свидетельства современников великого немецкого поэта Генриха Гейне (1797—1856): родственников, друзей, издателей и журналистов, немецких и французских писателей, так как Гейне значительную часть своей жизни прожил в Париже. В особый раздел выделены высказывания о Гейне К. Маркса и Ф. Энгельса.

Г **4703000000-331** **137-88**
028(01)-88

ББК 84.4Г

ГЕЙНЕ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННОКОВ

Редактор *Е. Маркович*

Художественный редактор *Л. Калитовская*

Технический редактор *Л. Витушкина*

Корректоры *О. Наренкова* и *Н. Усольцева*

ИБ № 4169

Сдано в набор 03.02.88. Подписано к печати 29.08.88. Формат 84x108^{1/32}. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Тип. Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24+1 вкл.+альбом=31,13. Усл. кр.-отт. 32,44. Уч.-изд. л. 32,65+1 вкл.+альбом=33,42. Тираж 100000 экз. Изд. № VI-2293. Заказ № 2541. Цена 2 р. 30 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции и ордена Трудового Красного Знамени МПО «Первая Образцовая типография» им. А. А. Жданова Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 113054, Москва, Валовая, 28



Портрет Гейне работы М.-Д. Оппенгейма.



Вид города Дюссельдорфа. 1791 г. Рисунок К.-В. Бауэра.



Дом в Дюссельдорфе, в котором родился поэт.
Конец XIX в.



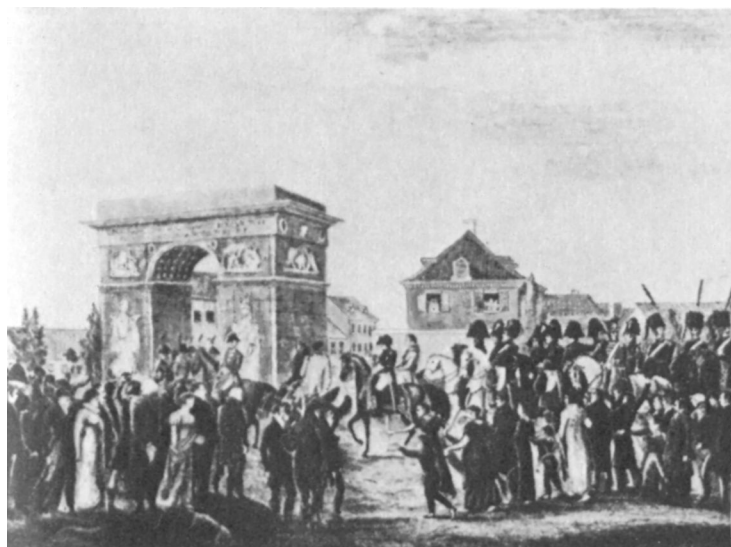
Мать поэта Бетти Гейне,
урожденная ван Гельдерн.



Шарлотта Эмбден, сестра поэта.



Максимилиан Гейне, брат поэта.



Вступление Наполеона в Дюссельдорф 3 ноября 1811 г.
Гравюра И. Петерсена.



Юношеский портрет Гейне
работы фон Коллы.
Около 1820 г.



Соломон Гейне,
дядя поэта.



Амалия Гейне,
двоюродная сестра поэта.



Тереза Гейне,
двоюродная сестра поэта.



Портрет Гейне 1828 г.
работы неизвестного художника.



Август Вильгельм Шлегель.
Гравюра 1820-х гг.



Вид на Геттингенский университет.
Около 1790 г.



Рахель Варнхаген фон Энзе,
урожденная Левин.



Карл Август Варнхаген
фон Энзе.



«Книга песен».
Титульный лист 1-го издания.



Юлиус Кампе,
издатель.



Кристиан Дитрих Граббе.



Карл Иммерман.



Берлин. Вид на улицу Унтер-ден-Линден.



Вольфганг Менцель.



Август фон Платен.



Скала Лорелей на Рейне.



Генрих Гейне. Берлин. 1829 г.



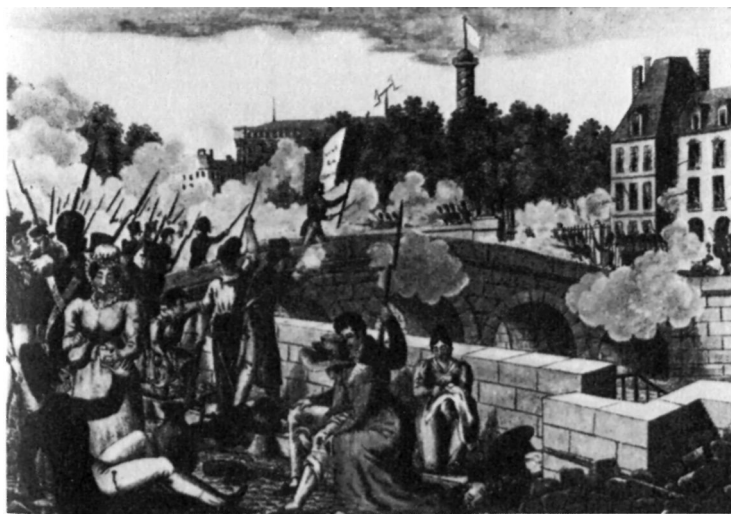
Вид на остров Гельголанд в Северном море.



Карикатура на Луи Филиппа.



Издатель Иоганн Фридрих фон Котта.



Июльская революция в Париже. Гравюра 30-х годов XIX в.



Бальзак.



Жорж Санд.



Париж. Итальянский бульвар. Около 1840 г.



Людвиг Бёрне.
Литография по портрету
М.-Д. Оппенгейма. 1827 г.



Матильда Гейне,
урожденная Мира, жена поэта.
Около 1845 г.



Генрих Лаубе.



Карл Гуцков.



Князь Меттерних.



Август Левальд.



Карл Гейне,
двоюродный брат поэта.



Князь Генрих фон Пюклер-
Мюскау.



Гейне и Матильда.
Картина Э.-Б. Китца. 1851 г.



Композитор
Джакомо Мейербер.



Элиза Криниц, по прозвищу
«Мушка».



Генрих Гейне в 1851 г. Портрет Э.-Б. Китца.

Г Е Й Н Е

В ВОСПОМИНАНИЯХ

СОВРЕМЕННИКОВ



СЕРИЯ

ЛИТЕРАТУРНЫХ

МЕМУАРОВ